

Звѣрь АСТАФЬЕВ

Звѣрь АСТАФЬЕВ

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений в пятнадцати томах

**КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997**

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

•

Том
седьмой

•

ЗАТЕСИ

Семь тетрадей

КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997

ББК 84Р7

А91

Художественное оформление
А. Озеревской и А. Яковлева

Астафьев В. П.

А91 Собрание сочинений: В 15 т. Т. 7. Затеси: семь тетрадей. — Красноярск: ПИК «Офсет», 1997 — 544 с., портр.

© В. Астафьев, 1997

© А. Озеревская, А. Яковлев.

Оформление, 1997

© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1997

ЗАТЕСИ

•

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ



ПАДЕНИЕ
ЛИСТА



ПОХОД ПО МЕТАМ

(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Затесь — сама по себе вещь древняя и всем ведомая — это стѣс, сделанный на дереве топором или другим каким острым предметом. Делали его первопроходцы и таежники для того, чтобы белеющая на стволе дерева мета была видна издалека, и ходили по тайге от меты к мете, часто здесь получалась тропа, затем и дорога, и где-то в конце ее возникало зимовье, заимка, затем село и город.

В разных концах России название мет варьируется: «зарубы», «затесины», «затески», «затесы», по-сибирски — «затеси». В обжитых и еще не тронутых наших лесах метами подобного рода пользуются и теперь лесоустроители, охотники, геологи и просто шатучие люди, искатели приключений, угрюмые браконьеры и резвящиеся дикие туристы.

Название таежных мет врубилось в мою память так прочно и так надолго, что по сию пору, когда вспомню поход «по метам», у меня сердце начинает работать с переборами, биться судорожно, где-то в самой ссохшейся дыре горла, губами, распухшими от укусов, хватаю воздух, но рот забит отрубями комарья и мокреца; слипшаяся в комок сухая каша не дает продохнуть, сплюнуть. Охватывает тупая, могильная покорность судьбе, и нет сил сопротивляться этой разящей наповал даже могучее зверье, ничтожной с виду и страшной силе.

Мы артельно рыбачили в пятидесяти верстах от Игарки, неподалеку от станка Карасино, ныне уже исчезнувшего с берегов Енисея. В середине лета на Енисее стала

плохо ловиться рыба, и мой непоседливый, вольнодумный папа сговорил напарника своего черпануть рыбы на диких озерах и таким образом выполнить, а может, и перевыполнить план.

На приенисейских озерах рыбы было много, да, как известно, телушка стоит полушку, но перевоз-то дорогават! Папа казался себе находчивым, догадливым, вот-де все рыбаки кругом — вахлаки, не смикитили насчет озерного фарта, а я раз — и сообразил!

И озеро-то нашлось недалеко от берега, километрах в пяти, глубокое, островное и мысовое озеро, с кедровым густолесьем по одному берегу и тундряное, беломошное, ягодное — по другому.

В солнцезарный легкий день озеро чудилось таким приветливым, таким дружески распахнутым, будто век ждало оно нас, невиданных и дорогих гостей, и наконец дождалось, одарило такими сиграми в пробную старенькую сеть, что азарт добытчика затмил у всей артели разум.

Построили мы плот, разбили табор в виде хиленького шалашика, крытого лапником кедрача, тонким слоем осоки, соорудили нехитрый очаг на рогульках, да и подались на берег — готовиться к озерному лову.

Кто-то или что-то подзадержало нас на берегу Енисея. На заветное озеро собралась наша артель из четырех человек — двое взрослых и двое парнишек — лишь в конце июля.

К середине лета вечная мерзлота «отдала», напрег гнус, загустел воздух от мощной сырости и лесной гнили, пять километров, меренных на глазок, показались нам гораздо длиннее, чем в предыдущий поход.

Плотик на озере подмок, осел, его долго подновляли — наращивали сухой слой из жердей, поспешно и худо отесанных — все из-за того же гнуса, который взял нас в плотное грозное облако. Долго мужики выметывали сети — нитки цеплялись за сучки и заусеницы, сделанные топорами на жердях и бревнах, вернулись к табору раздраженные, выплеснули с досадой чай, нами сваренный, потому что чай уже был не чаем, а супом — столько в него навалилось комара.

Но мы еще не знали, что ждет нас в ночь, в светлую, «белую», как ее поэтично и нежно называют стихотворцы, чаще всего городские, созерцающие природу из окна.

В поздний час взялось откуда-то столько гнуса, что и

сама ночь, и озеро, и далекое, пезакатное солнце, и свет белый, и всё-всё на этом свете сделалось мутно-серого свойства, будто вымыли грязную посуду со стола, выплеснули ополоски, а они отчего-то не вылились на землю, растекались по тайге и небу блевотной, застойной духотой.

Несмолкаемо, монотонно шумело вокруг густое месиво комара, и часто прошивали его, этот мерный, тихий, но оглушающий шум, звонкими, кровяными нитями опившиеся комары, будто отпускали тетиву лука, и чем далее в ночь, тем чаще звоны тетивы пронзали уши — так у контуженых непрерывно и пудно шумит в голове, но вот непогода, первное расстройство — и шум в голове начинают перебивать острые звоны. Сперва редко, как бы из высокой травы, дает трель обывавший, резвости набирающий кузнечик. А потом — гуще, гуще, и вот уж вся голова сотрясается звоном. От стрекота кузнечиков у здорового человека на душе делается миротворно, в сон его тянет, а контуженого начинает охватывать возбуждение, томит непокой, тошнота подкатывает...

Сети простояли всего час или два — более выдержать мы не смогли. Выбирали из сетей только сига, всякую другую рыбу — щук, окуней, сорогу, налимов — вместе с сетями комом кинули на берегу, надеясь, как потом оказалось напрасно, еще раз побывать на уловистом озере.

Схватив топор, чайник, котелок, вздели котомки, бросились в отступление, к реке, на свет, на волю, на воздух.

Уже минут через десять я почувствовал, что котомка с рыбой тяжеловата; от котомки промокла брезентовая куртка и рубаха, потекло по желобку спины, взмокли и ослизли втоки штанов — все взмокло снаружи и засохло внутри. Всех нас сотрясал кашель — это гнус, забравшийся под пакомарники, забивал носы и судорожно открытые рты.

Идти без тропы, по колено в чавкающем мху, где дырки прежних наших следов уже наполнило мутной водой, сверху подернутой пленкой нефти, угля ль, лежащего в недрах мерзлоты, а может, и руды какой, — идти без тропы и с грузом по такому месту — и врагу не всякому пожелаю.

Первую остановку мы сделали примерно через версту, потом метров через пятьсот. Сперва мы еще отыскивали, на что сесть, спимали котомки, вытряхивали из пакомарников гнус, но потом, войдя в чуть сухую

тайгу из чахлого приозерного чершолесья, просто бежали и, когда кончались силы, падали спиной и котомкой под дерево или тут же, где след, и растерзанно хрипели, отдыхиваясь.

Папа, еще возле озера, повязал мне тряпкой шею по накомарнику, чтоб под него не залезал гнус, и притянутый плотно к шее, продырявленный от костров и носки ситец накомарника прокусывать оказалось способней. Комары разъели мне шею в сырое мясо, разделали ее в фарш. Ситечко накомарника, сотканное из конского волоса, пришито было «на лицо» домодельными нитками — стежки крупные, время и попка проделали вокруг намордника ячейки, вроде бы едва и заметные, но в них один за другим лезли комары, как паглые и юркие ребяташки в чужой огород. Я давил опившихся комаров ладонью, хлопая себя по наморднику, и потому весь накомарник был заляпан спекшейся кровью. Но скоро я перестал давить комаров, лишь изредка в ярости стучал себя самого кулаком в лицо так, что искры и слезы сыпались из глаз, и комары сыпались переспелой красной брусникой за воротник брезентовой куртки, их там давило, растирало, воротник отвердел от пота, крови, прилипал к обожженной шее.

«Скорей! Скорей!» — торопили наши старшие артельщики — папы, отмахиваясь от комарья, угорело дыша, подгоняя двоих парнишек, которым было чуть больше двенадцати лет, и все дальше, дальше отрывались, уходили от нас.

Одышка, доставшаяся мне от рождения, совсем меня докопала. Напарник мой все чаще и чаще останавливался и с досадою поджидал меня, но когда я махнул ему рукой, ибо говорить уже не мог, он обрадованно и охотно устремился вслед за мужиками.

Я остался один.

Уже не сопротивляясь комару, безразличный ко всему на свете, не слышащий боли, а лишь ожог от головы до колен (ноги комары не могли кусать: в сапоги, за голяшки, была патолкана трава), упал на сочащуюся рыбьими возгрями котомку и отлежался. С трудом встал, пошел. Один. Вот тогда-то и понял я, что, не будь затесей при слепящем меня гнусе, тут же потерял бы я след, а гнус ослабшего телом и духом зверя, человека ли добивает моментом. Но затеси, белешкие, продолговатые, искрящиеся медовыми капельками на темных стволах кедров,

елей и пихт — сосна до тех мест не доходит, — вели и вели меня вперед, и что-то дружеское, живое было мне в светлячком мерцающем впереди меня пятнышке. Метаятнышко манило, притягивало, звало меня, как теплый огонек в зимней пустынной ночи зовет одинокого усталого путника к спасению и отдыху в теплом жилище.

Впереди, на рыжем мху, что-то лежало. Белое. Я подошел и долго не мог ничего понять. Наконец-то до меня дошло — рыба! Мужики и напарник мой — парнишка, отбавили из котомок груз и бежали, даже не прикрыв рыбу мхом, не упрятав ее где-нибудь под деревом или пнем, в мерзлоту. Надо было и мне ополовинить, а то и вовсе вытряхнуть груз, но снимать котомку, развязывать ее, шевелиться... Ноги сами начали переставляться, поволокли меня дальше. Один глаз, разъеденный гнусом и грязью, закрылся, второй еще смотрел в узкую щель, ловил и ловил загорающиеся впереди светлячки затесей.

Тайга густела, появился черничник, мох все чаще протыкало травой, меж кривобоких кедров и сухопарых елей начали белеть тоненькие, в инвалидность еще с детства впавшие березы, а там пошли и осинники, тальники, вербы, ольха — предвестье близкой реки.

Я сорвал с себя пакомарник, прокашлялся, отплевался, не обращая никакого внимания на комаров, поел черники, охладил ею спекшееся нутро и скоро вышел к Енисею.

На камнях, на обдуве, сидели два папы и мой напарник по артели. Они отводили от меня глаза, папа ругался, клял меня за то, что я вечно тащусь где-то, заставляю людей ждать, а когда стянул прилипшую ко мне котомку, вытряхнул на камни измичкашную рыбу, у него появилась новая, более весомая причина оправдаться перед своей совестью: «Ну вот зачем ты ее тащил? Зачем? Ты чё, башку задрал, не видел, что мы вытряхнули рыбу, так бы ее и перезтак?! Или башкой своей агромадной сообразить не мог...»

Я забрел в Енисей и плескал, плескал освежающую, холодную северную воду на лицо, на шею, на голову. Мне текло под куртку, в штаны, в сапоги. Папа орал, чтоб я хоть куртку снял, но я не слушал его — злые, жалкие, непрощающие слезы текли, бежали из моих заплавленных глаз, и я смывал их, смывал холодной водой, а под сомкнувшимися, окровавленными веками светились, призывно реяли беленькие меты.

ХЛЕБОЗАРЫ

Неторопливые сумерки опускаются на землю, крадутся по лесам и ложбинам, вытесняя оттуда устоявшееся тепло, парное, с горьковатой прелью. Из ложков густо и ощутимо тянет этим тихим теплом, морит им скот на яру, окошенные кусты с вялым листом, межи у хлебных полей, полого спускающихся к самому Камскому морю, и сами хлеба, двинувшиеся в колос.

За хлебами широкая стояла вода в заплатах проблесков. Над водою густо толкутся и осыпаются в воду поденки и туда-сюда сплывают стрижи, деловито-молчаливые в этот кормный вечер. Оводы и комары пудью своей гуще делают вечер и тишину его.

Над хлебами пылит. Пшеница на полях еще и чуть не тронутая желтизной, рожь с уже седоватым палетом и огрузневшим колосом и по-вешнему зеленые овсы, как бы застывшие на всплеске, дружно повернулись к замутневшим от утара ложкам, из которых все плыло и плыло тепло к колосьям, где жидкими еще каплями жило, набиралось силы и зрелости зерно.

Тихо стало. Даже и самые веселые птицы смолкли, а коровы легли поближе к берегу, к прохладе, где меньше донимали их оводы. Лишь одиноко стучала моторка за остроугольным мысом, впахавшимся в черную воду, как в землю; с короткими всплесками опадал подмытый берег, и стрижи, вихляясь, взмывали из рыжих яров, но тут же ровняли полет и мчались над водой, сталистую поверхность которой тревожила рыба. Пена была только у берегов, но и она погасала на песчаных обмысках, и лента ее порвалась уже во многих местах.

Все шло в природе к ведру, и оттого нигде и никто не торопился, вялая разморенность была кругом и добрая трудовая усталость. Деревня с темными домами остановилась на склоне горы с редкими лесинами, отчужденно и строго мигающим сигнальным щитом и двумя скворечнями, четко пропечатавшимися в заре, тоже разомлелой от спелости и полнокровия.

Ничто не сулило тревоги, сон надвигался на землю, короткий и глубокий. Но вдруг та сторона неба, что была за дальними перевалами и лесами, как-то разом потемнела, опустилась на только что видневшийся окоем и потекла чернотой во все стороны. Только-только еще были

видны облачка, чуть завитые по краям, пеживая ветла, залитая морем, ястреб, летавший пад этой ветлой и педовольно кричавший, должно быть, на птепцов своих, заробевших от тишины.

И вот ничего не стало. Все затянулось тьмою. Еще чуть просвечивало небо в том месте, где была заря, но и там щелка делалась все уже и уже.

Однако темень была хотя и густа, но не клубилась она, не метала молний куда попало, не била ими по деревьям, в столбы, в избы, куда от мала до велика прячутся люди в грозу и закрывают вьюшки. Эта темень пастоявшаяся бархатисто-мягкая, и от нее тоже вроде бы наносило живородным духом и чуть-чуть тревогой, всегда таящейся в темноте.

В мир пришло ожидание. Ничто не спало, а только притаилось, даже и небо зажмурилось.

Ожидание разрешилось внезапно, как это всегда бывает, когда долго и напряженно ждешь. Ящеркой пробежало легкое пламя и юркнуло за горы. По хлебам, на мгновение освещенным, прокатилась легкая дрожь, и они сделались совсем педвижны, склонились покорно, будто ждали, что их поглядят, как глядят ершистых детей, ввечеру усталых и ласковых.

Сверкнуло еще и еще, теперь ярче и длиннее. Желтыми соломинками сламывались молнии пад окоемом и озаряли разом весь этот окоем и все, что было там: зубья елей, пестрый щит, упорно мигающий красным оком, и две скворечни, почему-то сдвинувшиеся с подворий.

Зарницы тревожились в небе, зарницы играли на хлеба. В русских селах так и зовут их — хлебозары.

Казалось мне, поле, по которому я шел, было так далеко от зарниц, что свет их не доходил сюда. Но это только казалось.

Отчего же тогда еще в сумерках повернулись колосья в ту сторону, откуда вслед за теплом пришли зарницы? И отчего разом так мудро поседели хлебные поля, а кустарники будто отдвинулись, давая простор им, не мешая совершаться какому-то, хлебам лишь ведомому, обряду?

Отчего же и море, сделанное человеком, совсем ушло в темноту, несмело напоминая о себе тусклым блеском, а деревня вовсе ушла и будто ужалась в склон горы, стесняясь своих пепорядков и обыденности сломанной березы у причала, пустоглазой, навсегда смолкшей церквушки и подмытых огородов с упавшими в воду пряслами,

подслеповатых черных бань, рассыпанных на задах, и хриплого голоса, вдруг резанувшего по трепетной тишине, — всей этой будничной заботы на завтрашний день, всей этой суеты и первности, которой так богат сегодняшней век?

Зарницы. Зарницы. Зарницы.

Земля слушает их. Хлеба слушают их. И то, что нам кажется немостою, для них, может быть, самая сладкая музыка, великий гимн о немыслимо огромном походе хлебов к человеку — от единого колоска, воспрянувшего на груди еще молодой матери-земли, зажавшей внутри огонь — к этому возделанному человеческими руками полю.

Музыка есть в каждой минуте жизни, и у всего живого есть свои сокровенные тайны, и они принадлежат только той жизни, которой определены природой. И потому, может быть, в те часы, когда по небу ходят сполохи, перестают охотиться звери друг за другом, лосиха и лосенок замирают с недожеванным листом на губах, замолкают птицы, а человек крещеный осеняет себя, землю, небо трепетным троеперстием, и некрещеный тоже благоговейно, как я сейчас, остаивается среди поля, охваченный тревожным томлением.

Сколько же стою я среди хлебов? Час, два, вечность? Недвижно все и смиренно вокруг меня. Ночь без конца и края, такая же ночь, какая властвовала в ту пору, когда ни меня, ни этих колосьев, никого еще не было на Земле, да и сама Земля клочотала в огне, содрогалась от громов, усмиряя себя во имя будущей жизни.

И быть может, не зарницы эти, а неостывшие голоса тех времен, пластая в клочья темноту, рвутся к нам? Может быть, пробиваются они сквозь толщу веков с молчаливым уже, но все еще ярким приветом, только с виду грозным, а на самом деле животворным, потому что из когда-то дикого пламени в муках и корчах родилось все: былинка малая и дерево, звери и птицы, цветы и люди, рыбы и мошки.

И не оттого ли в летние ночи, когда издали сигналят о чем-то зарницы, утерявшие громы в миллиополетной дороге, а хлеба наполняются твердостью и могуществом и свято притихшая земля лежит в ярком осиянии, в сердце нашем пробуждается тоска о еще неведомом? Какие-то смутные воспоминания тревожат тогда человека. И небо

в эти минуты словно бы становится вестником нашего перворождения, доносит отголоски тех бурь, из которых возникли мы.

Я склоняюсь к древнему полю, вдыхающему пламя безмолвных зарниц. Мне чудится, что я слышу, как шепчутся с землею колосья. И, кажется, я даже слышу, как зреют они. А небо, тревожась и мучаясь, бредит миром и хлебом.

Зарницы. Зарницы. Зарницы.

РОДНЫЕ БЕРЕЗЫ

Заболел я однажды, и мне дали путевку в южный санаторий, где я никогда еще не бывал. Меня уверили, что там, на юге, у моря, все недуги излечиваются быстро и бесповоротно. Но плохо больному человеку, везде ему плохо, даже у моря под южным солнцем. В этом я убедился очень скоро.

Какое-то время я с радостью первооткрывателя бродил по набережной, по приморскому парку, среди праздной толпы, подчеркнута веселой, бесцельно плывущей куда-то, и не раздражали меня пока ни это массовое безделье, ни монотонный шум моря, ни умильные, ухоженные клумбочки с цветами, ни оболваненные пожницами пучки роз, возле которых так любят фотографироваться провинциальные дамочки и широкоштантные кавалеры, залетевшие сюда с дальних морских промыслов бурно проводить отпуск, прогуливать большие деньги.

Но уже через неделю мне стало здесь чего-то не хватать, сделалось одиноко, и я начал искать чего-то, рыская по городу и парку. Чего искал — сам не ведал.

Часами смотрел я на море, пытаюсь обрести успокоение, наполненность душевную и тот смысл и красоту, которые всегда находили в пространстве моря художники, бродяги и моряки.

Море нагоняло на меня еще большую тоску мерным, неумолчным шумом. В его большом и усталом дыхании слышалась старческая грусть. Вспененные волны перекачивали камни на берегу, словно бы отсчитывая годы. Оно много видело, это древнее, седобровое море, и оттого в нем было больше печали, чем веселости.

Впрочем, говорят, что всяк видит и любит море по-своему. Может, так оно и есть.

В приморском парке росли деревья и кусты, собранные со всех сторон мира. Встречались здесь деревья с африканским знойным отливом в широких листьях. Фигусы росли на улице, а я-то думал, что они растут лишь в кадках по российским избам. Воспетые в восточных одах, широко стояли платаны и чинары, роняя на чистые дорожки мохнатые шарики с питочками. Кипарисы, темные и задумчивые, и днем и ночью мудро молчали. Непорочными, какими-то невзаправдашне театральными цветами были завешаны магнолии.

И пальмы, пальмы.

Низкие, высокие, разлапистые, с шевелюрами современных молодых парней. В расчесах пальм жили воробьи и ссорились, как обитатели коммунальной квартиры, всегда и всем недовольные, если даже удавалось им свить гнездо в кооперативной квартире или на райской пальме. Понизу стелились и прятались меж деревьев кусты, бесплодные, оскопленные пожницами. Листья их то жестки, то покрыты изморозью и колючками. В гуще кустов росли кривые карликовые деревца с бархатистыми длиннопальмыми листьями. Их покорность, еле слышное перешептывание напоминали тихих красавиц из загадочной арабской земли.

Кусты, деревья, все эти заморские растения, названий которых я не знал, удивляли, но не радовали. Должно быть, открывать и видеть их надо в том возрасте, когда снятся далекие страны и тянет куда-то убежать. Но в ту пору у нас и сны, и мечты были не об этом, не о дальних странах, а о том, чтоб свою как-то уберечь от цивилизованных разбойников двадцатого века.

Бродил и бродил я по приморскому парку, глазел, дивился и вдруг увидел среди заморских куц три березки толщиной с детскую руку. Глазам своим я не поверил. Не растут березы в этих местах. Но они стояли на полянке в густой мягкой травке, опустив долу ветви. Березы и в наших-то лесах, если растут поодиночке, сиротами кажутся, а здесь и вовсе затерялись, не шуршали корою, не лопотали листом, и все-таки от них нельзя было оторвать глаз. Белые стволы берез пестрели, как всеселье сороки, а на пещной зелени зазубренных листьев было так хорошо, покойно взгляду после ошеломляющего блеска чужеземной, быющей в глаза растительности.

Садовник широкодушно высвободил место березам в этом тесном парке, где обязательно кто-то и кого-то хотел

затмить, а потом и задушить. Садовник часто поливал березы, чтобы не сомлели и не умерли они от непосильного для них южного солнца.

Березки эти привезли вместе с травяной полянкой на пароходе, отпоили и выходили их, и они прижились. Но листья лицевой стороной были повернуты к северу, и вершины тоже...

Я глядел на эти березы и видел деревенскую улицу. Козырьки ворот, паличники окон в зеленой пене березового листа. Даже за ремешками картузов у парней — березовые ветки. Скараулив девок с водою, парни бросали им в ведра свои ветки, а девушки старались не расплескать воду из ведер — счастье выплеснуть! В кадках вода долго пахла березовым листом. Крыльцо и пол сеней были застелены молодыми ветками папоротника. По избам чадило таежным листом, уже устоявшимся, набравшим силу. В этот день — в Троицу — народ уходил за деревню с самоварами и гармошками.

Праздновали наступление лета.

Какое-то время спустя под дощаной навес сваливали целый воз березовых веток. В середине зеленого вороха сидела и вязала веники бабушка. Видно у нее только голову. Лицо у бабушки умиротворенное, она даже напевает что-то потихоньку, будто в березовой, чуть повядшей и оттого особенно духовитой листве утонули и суровость ее, и тревожная озабоченность.

Веники поднимали на чердак и сарай, вешали попарно на жерди, на перекладины — где только можно уцепить веники, там и вешали. Всю зиму гуляло по чердаку и сараю ветреное, пряное лето. Потому и любили мы, ребяташки, здесь играть. Воробьи слетались сюда по той же причине, забиралась в веники на ночевку и не содомили.

И всю зиму березовый веник служил свою службу людям: им выпаривают пот из кожи, пацсаду и болезни из патруженных костей. Мужики, что послабже, да квелье старичишки надевали шапки, рукавицы, парились часами и, не в силах преодолеть сладкой истомы, омоложения души и тела, запаривались до беспамятства, молодухи выволакивали их из бани в наспех, неладно застегнутых исподниках и торопливо тыкали в загривок свекру или мужу, вымещая ему прошлые обиды.

Ах, как славно пахнет береза!

И ПРАХОМ СВОИМ

В густом топкоствольном осиннике я увидел серый в два обхвата пень. Пень этот сторожили выводки опят с рябоватыми шершавыми шляпками. На срезе пня мягкой шапкою лежал липялый мох, украшенный тремя или четырьмя кисточками брусники. И здесь же ютились хилешкие всходы елочек. У них было всего по две-три лапки и мелкая, но очень колючая хвоя. А на кончиках лапок все-таки поблескивали росинки смолы и виднелись пупырышки завязей будущих лапок. Однако завязи были так малы и сами елочки так слабосильны, что им уж и не справиться было с трудной борьбой за жизнь и продолжать рост.

Тот, кто не растет, умирает! — таков закон жизни. Этим елочкам предстояло умереть, едва-едва народившись. Здесь можно было прорасти, но нельзя выжить.

Я сел возле пенька курить и заметил, что одна из елочек сильно отличается от остальных, она стояла бодро и осанисто посреди пня. В потемневшей хвое, в тоненьком смолистом стволике, в бойко взъерошенной вершинке чувствовались какая-то уверенность и вроде бы даже вызов.

Я запустил пальцы под волглую шапку мха, приподнял ее и улыбнулся: «Вот оно в чем дело!»

Эта елочка ловко устроилась на пеньке. Она веером развернула липкие питочки корешков, а главный корешок белым шильцем впился в середину пня. Мелкие корешки сосали влагу из мха, и потому он был такой липялый, а корешок центральной ввинчивался в пень, добывая пропитание.

Елочка долго и трудно будет сверлить пень корешком, пока доберется до земли. Еще песколько лет она будет в деревянной рубашке пня, расти из самого сердца того, кто, возможно, был ее родителем и кто даже после смерти своей хранил и вскармливал дитя.

И когда от пня останется лишь одна труха и сотрутся следы его с земли, там, в глубине, еще долго будут преть корни родительницы-ели, отдавая молодому деревцу последние соки, сберегая для него капельки влаги, упавшие с травинок и листьев земляники, согревая его в стужу остатным теплым дыханием прошедшей жизни.

Когда мне становится невыносимо больно от воспоминаний, а они не покидают, да и никогда, наверное, не покинут тех, кто прошел войну, когда снова и снова передо мной встают те, кто пал на поле боя, а ведь были среди

них ребята, которые не успели еще и жизни-то как следует увидеть, ни полюбить, ни насладиться радостями мирскими и даже досыта поестъ, — я думаю о елочке, которая растет в лесу на пне.

СИЛЬНЫЙ КОЛОС

Лето выдалось дождливое. Травы и хлеба дурели от перепоя, перли в рост и не вызревали. Потом травы остановились, густым разноцветьем придавило их, и они уялись, перестали расти.

И сделалось видно высокую рожь со сплюснутым колосом. Она переливалась под ветром, шумела молодо и беззаботно. Но однажды палетела буря с крупным дождем и градом. Еще жидкую и нестойкую рожь на взгорьях прижало к земле.

«Пропало жито, пропало!» — сокрушались мужики. Горестно качали они головами и вздыхали, как вздыхают люди, утратив самое для себя дорогое. Из древности дошла до нас и еще, слава Богу, жива в крестьянах жалость к погибающему хлебу, основе основ человеческой жизни.

После бури, как бы искупая свой грех, природа одарила землю солнечными днями. Рожь по ложкам и пизинам стала быстро белеть, пакапливать зерно и зпойно куриться. А та, по взгоркам, все лежала вниз лицом и ровню бы молилась земле, просила отпустить ее. И были провалы в густой и высокой ржи, словно раны. День ото дня все горестней темнели и запекались они в безмолвной боли.

Пригревало и пригревало солнце. Сохла земля в поле, и под сваленной рожью прела она, прогревала стебли, и они один по одному твердели, выпрямлялись и раскачивали гибко согнувшиеся серые колосья.

Ветром раскачивало рожь, сушило, гнало ее волнами, и вот уже усы пустили колосья, накололи на них солщце.

Раны на поле постепенно закрылись, ровное оно сделалось, безоглядное.

Катились беловатые, будто вспененные на хребтах, волны, и среди них озерной, стоялой водою все еще не смело шевелилась рожь, поднявшаяся с земли. Но через неделю-две вовсе слижет зеленые проплешины и сольется поле во едином расчесе, в единый колос встанут хлеба, начнут шуметь полновластно, широко, зазвонят отвердев-

шим зерном и, радуясь хлебу, жизнестойкости его, хвалить будут его крестьяне, как верного друга. «Сильный колос! Взнял себя с земли!»

ЛУННЫЙ БЛИК

Ночью впереди теплохода, на гладкой воде, росчерком играл лунный блик. Он серебрился, фосфорно зеленел, искрился, извивался змейкой, прыгал головастиком, убегал шустрой ящеркой.

Верилось, с нетерпением ждалось: вот-вот настигнет теплоход живую тень луны, сомнет ее, срежет плугом носа.

Но проходили минуты, прошел час, другой, а отблеск далекой луны все бежал и бежал перед теплоходом, без усилия опережая напряженно работающую машину.

И было в этой ночной картине что-то похожее на жизнь, казалось, вот-вот поймашь, ухватишь смысл ее, разгадаешь и постигнешь вечную загадку бытия.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН

Вышел утром на берег реки, а по ней звон, тонкий-тонкий, еле уловимый.

Не сразу понял, в чем дело: река уходила в зиму высокая, прибрежные кусты затоплены, ночью ударил заморозок — вода «подсохла», — и на всех веточках, побегах тальников и на затопленной осоке настало по ледышке. Висели они колокольцами над водой, струями шевелило тальники, льдинки позванивали едва вятно, а когда занимался ветерок, звон густел, угрюмая, бурная, все лето недовольно гудевшая река начинала искрить из конца в конец, открываясь добрым материнским ликом.

В тихом, отходящем звуке, в легком свечении пустынной, всеми забытой реки чудилась вроде бы даже покаянная виноватость — была вот все лето злая, мутная, пеласковая, затопила птичьи гнезда, не оделила добычей рыбак, не одарила радостью купальщиков, распугала с берега детей, отпускников...

Поздняя осень, чуть греющее позднее солнце, но сколько от него светлого свету! И чуть слышный хрустальный звон кругом, россыпь искрящихся колокольчиков над берегами — голос грустного предзимья по всему поднебесному миру.

СЕРЕЖКИ

После сретенских морозов, когда разломится зима пополам и солнце повернет на весну, я, если живу в деревне, паломая веток ольхи с сережками, поставлю их в банку с водой и с удивлением наблюдаю, как эти черные, почти обугленные ветки, которых и солнце-то коснулось чуть, только чуть, да и солнце-то далекое еще, морозное, стroupтые соком, встрепенулись, зашевелились в себе.

Немного тепла, немного чистой воды — вот уж лаковая чернота сережек дрогнула, отеплилась багровым цветом, а ветви шоколадно заблестели и окропились бледными свечечными язычками набухших почек.

Одна, другая треснет почка, обнажит спрессованную в себе мякоть зелени и замрет, дожидая своего срока, пропуская перед собой краткую накипь цвета — листу родиться надолго, на все лето, лист может и должен подождать.

И сломаются в изгибах сережки, растрескаются, словно живые птичьи лапки, пасорят буровато-желтого цвета, похожего на отруби, и, обмерев от свершенного таинства обсеменения, обвиснут в изнеможении, неслышным, последним выдохом развеют прах цвета, бесплотную пыльцу. По всему столу, на бумагах, на черпильнице, на окне лежит, светится цветочная пыльца, а сережки, отдав себя грядущему празднику веснотворения, как-то опустошенно обвиснут, свернутся и упадут отгорелыми папиросными бумажками.

Однажды на исходе января шел я малонатоптанной узкой тропой, вижу: поперек нее лежит ольха, из снега желтеет пенек с красной каемкой. Кто-то наточил топор, пробовал острие и смахнул деревце. Может, выбирал палку иль оглоблю, на какую-либо хозяйственную надобность срубил, посмотрел — не годится, пошел дальше рубить. У нас много всего — чтобы выбрать по сердцу новогоднюю елку, иные привереды по двадцать их свалят.

Обут я был по-городскому, в ботишки, в лес идти убодро, вот и попользовался подарком — наломал веточек с вершины срубленной ольхи, подумал и три-четыре ветки от пенька отломил.

Быстро приободрились ветки в комнатном тепле. Приободрились, да не все. Те, что я от живого пенька отломил, — ожили, зацвели, семенем сорить начали, а на ветках, которые со срубленного ствола, сережки затвердели.

Висят каменно, словно летошний сорочий помет прилип к прутикам, — не хватает им силы зацвести, а судя по срубку пенька, и жили-то отдельно от корней не более недели. Измученная, дохлая, одна сережка наконец-то треснула, потом еще одна. Медленно, заторможенно, каждая по отдельности пробовали цвести сережки со срубленной вершинки, но так на полпути и замерли, засохли в полувцвете, выдохнув из своей сиротской души чуть видную порошок пыльцы — смогла песня цвета на полуслове.

А в этой же башке, на том же свету пластали пестрые сережки на пеподрубленных ветках, сливая животворящую силу с весенним разгулом цветения, распирало их силой парождающей жизни, рвало на них кожу, обнажало жаркую плоть.

Родная моя деревня, а как же ты там, в новых агрогородках, комплексах, отнятая от корней, с перерубленным стволом? И люди, русские люди, как же они-то? Уронят ли семя свое на повом месте, на железо, на кирпич, на цемент? И познают ли радость цветения, без которого сама жизнь уже не жизнь, а только производство скота, жратвы, назьма.

ДОЖДИК

Шалый дождик налетел с ветром, пыль продырявил, заголил хвосты куриц, разогнал их во дворе, качнул и растрепал яблоню под окнами, убежал торопливо и без оглядки.

Все замерло удрученно и растерянно. Налетел дождик, нашумел, но не утешил, не напоил.

Снова зной. Снова зажило все разомлелой, заторможенной жизнью, и только листья на яблоне все дрожали, и сама, кривая, растопорщенная, яблоня напоминала брошенного, обманутого ребенка.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ОСЕНИ

Конец августа.

Речка Быковка стала еще светлей и мельче. Она как бы оробела немощко и чуть-чуть шумит перекатами, словно боится нарушить зарождающуюся грусть, стряхнуть поседелость на кустах, висящих над нею.

По речке который уж десь плывут листья, набиваются у камней в перекатах, паутина плывет с татарника и кипрея. Его полно тут, татарника, на пашнях, особенно на овсах, кипрея — на вырубках. Ночью над Быковкой мелькают просверки, словно электросваркой разрезая сталистую твердь речки, — звезды ли августовские падают? Или отблески северных позарей достигают Урала? Может, и с Антарктики отголоски сияний достигают безвестной реки Быковки? Земля в августовские ночи совсем не ощущима, хочется притихнуть вместе с нею, пожалеть себя и ее за что-то, приласкаться к теплему — наступающим холодом, тьмою дышит ожившее пространство.

Рано начали просыпаться туманы, а как проступят, так низко и неподвижно лежат неровными слоями над зеленой отавой, по-над речкой. И речка сквозь туман и не смытую на песках пленку пуха кажется стилой.

Рано вечером многими сносокосилками стрекочут кузнечики, стрекочут длинно, трудолюбиво, боясь сделать паузу, ровно бы спешат докосить все, что еще недокошено в полях и лугах.

А недокошены лишь сданы и кулижки колхозников. Пынче, как и много лет назад, они получили покосы к сентябрю, косят урывками перестоялую, худую траву, мечут ее сырую. Корм из нее никудышный, но какой ни на есть, а корм.

Осень приближается. Осень.

Птицы все едят, едят. Овсянки затемно прилетают и садятся в поле и только на вечерней заре лепятся на кусты и чистят перья клювами от паутины. Песен птичьих уж нет, только хлопоты, только молчаливые заботы перед дальней дорогой. Природу охватило томление и тревога, за которою последует согласие с осенью, печальное прощание с теплом, готовность к трудному зимованью, так необходимому для обновления всего в природе, белому снегу, который глубоко и тепло прикроет верхушку земли, нарядит ее в белую шапку — и будет конец года — тоже с белой верхушкой.

ВЕСЕННИЙ ОСТРОВ

Пароход миновал Осиновский порог, и сразу Енисей сделался шире, раздольней, а высота берегов пошла на убыль. Чем шире становился Енисей, тем положе дела-

лись берега, утихало течение, река усмиряться, катила воды без шума и суеты.

Я один стоял на носу парохода и, счастливо успокоенный, смотрел на родную реку, вдыхал прохладу белой, тихой почвы. Нос парохода время от времени так глубоко зарывался в воду, что брызги долетали до меня. Я слизывал с губ капли и ругал себя за то, что так долго не был на своей родине, суетился, работал, хворал и ездил по чужим краям. Зачем?

Пароход шел по Енисею, разрезая, как студень, реку, светлую почву и тишину ее.

Все на пароходе спали. Не спал лишь сам пароход, рулевой не спал, и я не спал. Вахтенный матрос хотел прогнать меня с палубы, но посмотрел на меня, постоял рядом и ушел.

Я ждал солнце. Оно с час назад укатилось в лес и зависло в вершинах его. Туман поднялся над рекою, выступил по логам и распадкам, окурил берега. Он был недолговечен и пуглив, этот летний туман, и пароходу идти не мешал. Вот-вот после короткой дремы оттолкнется солнце от острых вершин леса, взойдет над широкими хребтами и спугнет туманы. Они потянутся под срез тенистых берегов, заползут в гущу леса и там падут росой на травы и листья, на пески и прибрежный камешник.

И кончится так и не начавшаяся почва.

Утром-то, на самом взлете его, я увидел впереди остров. На острове перевалка мигала еще красным огнем. В середине острова навалом грудились скалы, меж скал темнели кедрачи, местами выгоревшие, а понизу острова кипел вершинами лес.

Берега яркие, в сочной зелени — так бывает здесь в конце весны и в начале лета, когда бушует всюду разнотравье, полыхают непостижимо яркие цветы Сибири. В середине лета, к сенокосу, цветы осыпаются и листья на деревьях блекнут.

Но на подоле острова живая легкая зелень! Это только что распутившийся гусятник и пизенький хвощ. За ними синяя полоса, окропленная розовыми и огненными брызгами. Цветут колокольчики, жарки, кукушкины слезки, дикий мак. Везде по Сибири они давно отцвели и семя урошили, а тут...

— Весна на острове! Весна!..

Я побежал на корму парохода, я торопился. Остров

все удалялся, удалялся, а мне хотелось посмотретья на печаянно встреченную весну!

Остров зарябил птичьим косяком, задрожал в солнечном блике, свалился на ребро и затонул вдали.

Я долго стоял на палубе и отыскивал глазами такой же остров. Встречалось много островов, одиноких и цепью, но весеннего больше не попадалось. Тот остров оставался долго под водою, и когда обсохли его берега, — всюду уже было лето и все отцвело, а он не мог без весны — и забушевал, зацвел яркой радугой среди реки, и ничто не могло сдержать торжества природы. Она радовалась, буйствовала, не соблюдая никаких сроков.

Вспоминая о весеннем острове, я думаю и о нас, людях. Ведь к каждому человеку поздно или рано приходит своя весна. В каком облике, в каком цвете — неважно. Главное, что она приходит.

МАРЬИНЫ КОРЕНЬЯ

Однажды мне довелось побывать на Северном Урале. Я сидел на каменной осыпи одного из отрогов вершины Кваркуш. Из-за Вогульской сопки, отчетливо видной вдали, медленно поднималось солнце, и сопка то озарялась с восточной стороны, то снова делалась сумеречной от напозающих на нее облаков.

Но вот солнце выкатилось на горб сопки, ударило лучами по облакам и густым туманам. Снег засверкал на вершине, облака потускнели, нехотя сползли в ущелья, и мир разделился надвое. Вверху были сопки, с белыми зайцами на спинах, все в солнечном сиянии, все в сверкании. А внизу все затоплено, закрыто. Это был тот час, когда неживая чернота сопки и осыпей окутывалась призрачным дымком и сопки не отпугивали, а манили к себе этой призрачной загадочностью.

Под ними густо, непроглядно слоились облака, и в них слепо металась по ущельям речки, падали на камни и завалы и все же катились безостановочно с Кваркуша, с Вогульской сопки и с трех камней, с тех загадочных камней, куда с извечным постоянством ходят сбрасывать рога олени.

Здесь, на вершинах Урала, — начало жизни рек. Здесь, в поднебесье, лежат вечные снега, питая острые родники теми скупыми каплями, из которых потом рождаются ве-

ликие реки, то яростно, то степенно идущие до самого Каспийского моря.

Реки рождаются в блаженной, вечной тишине. Рождение не терпит суеты, рождению нужен покой. Низкое, скупое на тепло и щедрое на свет солнце все же оплавляет спрессованные, тяжелые, как свинец, валы снегов, и разбегаются во все стороны юркие ручейки. Еще малые, еще хилые, тут же совсем близко сходятся они вместе и вперехлест, весело заплетаясь на ходу, катятся вниз по камням и осыпям. Вниз! Вниз! С хохотом и звоном. И уже не остановить их, не вернуть. Реки — что человеческие судьбы: у них много поворотов, но нет пути назад.

Осыпь, на которой я сижу, окапчивается взлетом иссеченных ветрами сопок. Валуны кругом величиной с дома, на сопке тоже снег, припал плотно, белые лапы меж камней запустил, держится за них. От снега в спину мне несет стужей, в глаза бьет ослепительное нежаркое солнце. Под сопкою, чуть ли не выскакивая на усыпанные семенами снежные груды, растут подснежники с теплыми шероховатыми листьями. В листьях этих, как в доброй горсти, зажато по пяти белых цветочков. Расцветают они здесь почти все лето, преследуя линияющие под солнцем снега, расцветают по пяти штук на одном стебле. Нигде я не видел таких дерзких подснежников.

А на высыпке мелкого камешника, возле маленькой, но уже по-старушечьи скрюченной пихточки я вижу крупные багрово-розовые цветы.

Внизу, на склонах Урала, растут они выводками, корней по тридцати, голова к голове, лист в лист. И цветы там яркие, с желтыми зрачками.

Как же попали сюда эти? Каким ветром-судьбою занесло в безжалостные осыпи, в студеное поднебесье их тяжелые семена? Может, птица в клюве принесла? Может, лось в раскопytte?

Их всего три. И стебли их тонки, и листья у них будто из жести, и побагровели эти листья на срезах от стужи.

А цветы?

До чего же мудра жизнь! Венцы цветов прикрыты, и желтых зрачков не видать. Цветы стоят, как детишки в ярких шапочках с завязанными ушами, и не дают холоду сжечь семена. И лепестки у цветов с проседью, и мясисты они, толсты. Вся сила этого цвета идет на то, чтобы сбереечь семена, и они не откроются во всю ширь, не зазеваются на приветливо сияющее солнце. Они не доверяют

этому солнцу. Они слишком много перенесли, прежде чем пробудились от зябкого сна среди голых, прокаленных стужей камней.

Пройдут годы, и плеснут на осыпи всполохи ярких, багровых цветов. А пока их здесь всего три, мужественных, непокорных цветка, и в них залог будущей красоты.

Я верю, что они выживут и уронят крепкие семена свои в ручейки, а те занесут их меж камней и найдут им щелку, из которой идет хотя и чуть осязаемое, но теплое дыхание земли. Я верю в это, потому что лет восемьдесят назад возле Кваркуша и других приполярных вершин и сопок не было ни одного деревца. А сейчас в распадках низкие, костлявые, полураздетые, но сплошные леса, и даже на западном склоне Кваркуша, вокруг альпийских лугов где островками, где в одиночку — низкие, почти лагие деревья, но такие крепкие, узлистые, что корни их раскалывают камень, а от стволов отскакивает топор. Деревья ведут постоянное, тяжелое наступление и закаляются в борьбе, в вечном походе. Иные из них падают, умирают на ходу, как в атаке, а все-таки они идут. Идут вперед и вперед!

Первые солдаты тайги, согнутые, но непокоренные, иссушенные голодом и мертвящим дыханием скал, принимающие на свою грудь всю лютость севера ради лесов, что идут за ними, — низкий поклон им от бывшего солдата российского, который знает, как трудно быть первым.

А следом за лесом летят птицы, идут звери, идет живая жизнь, и вместе с нею эти багрово-розовые цветы с работающими корнями и живучим семенем. И все эти светящиеся внизу на полянах бледными лампадами купавки, желтые лютики, невиданно мелкие, с мошечку величиной, незабудки, и даже чудом пропикшие сюда лазоревые цветы, и уверенные в себе подснежники с восхищением глядят на нездешних жителей, на трех разведчиков, как бы наполненных живою, горячею кровью.

Пусть не остынет алая кровь в тонких жилах цветов!

ГЕРАНЬ НА СНЕГУ

В бараке бушевал пьяный мужик. Жена пыталась его утихомирить. Он ударил жену, и она улетела в коридор. Ребятишки еще раньше разбежались. Стал пьяный мужик искать, чего бы разбить. Но в комнате уже все было разбито и порушено.

Тоскливо мужику.

И тут увидел он гераньку на окне.

В дырявом чугушке росла геранька. Забывали поливать ее, и потому нижние листья гераньки скоро чернели, свертывались и опадали. Но набралась сил геранька и отросла — расцвела. Один цветок и был у нее только да с пяток листьев, которые ночью примерзали к окну, а как печку затопляли, они оттаивали.

Мужик бухнул чугушком в стекло. Упала геранька под окно. Земля из чугушка вывалилась в снег. Мужик после этого успокоился и заснул.

Всю ночь светилась геранька под окном, еще живая. Наутро снег пошел, припорошил ее.

Днем мужик окно фанеркой заделывал и увидел гераньку. Она тускло светилась под снегом. Каплей крови показалась она мужику, и он перестал работать, тяжело замер возле окна.

А гераньку все запысило и запысило снегом. Так она тихонько и погасла, и мужик подумал, что лучше, покойней под снегом гераньке, и теплее, и баракон ее не душит.

Скоро пришла весна. Снег под окнами барака смыло ручьями, и водою подхватило стебелек гераньки с мокрым черным цветком и унесло в овражек. Корешок гераньки оказался живой, и этим корешком поймалась геранька за землю и снова расти начала. Но как вышли два листика и заметной сделалась геранька — ее отыскала в овраге коза и съела.

В земле еще оставался корешок гераньки, и, набравшись сил, он снова пустил росточек. Тут началось строительство и пришел экскаватор. Он зацепил ковшом гераньку вместе с жалицей и бросил в машину, машина вывалила землю под яр, к реке.

Геранька шевельнулась и в рыхлой земле, попробовала расти на новом месте, да на нее все валили и валили сверху землю, и она расти больше не смогла, унялась, и корень ее лишился сил под тяжестью и начал гнить внутри земли, вместе со щепьем, хламом и закопанной травой.

Дырявый чугунок хозяйка подняла и посадила в него помидор. Мужик не выбрасывал за окно чугунок с помидором, хотя по-прежнему пил мужик и бушевал после каждой полочки и все время искал — чего бы разбить и выбросить.

ХВОСТИК

Смеется, заливается, хохочет мальчик...

Овсянский остров напоминал когда-то голову — туповатую с затылка и заостренную, чубатую со лба. В любое время года была та голова в окладе венца — бледная зимняя плешь обметана чернолесьем; весной плешь острова пчесано путалась серо-свалявшейся отавой, взятой в кольцо багряно-мерцающих тальников, которые не по дням, а по часам погружались в глубину вспешенного черемушника. Пока черемуха кружилась, метелила по берегам острова, в середине его вспыхивала и, стряхнув в себя рыхлый цвет, оробело останавливалась прибрежная гуща, утихали листом тальники, ольхи, вербы, черемухи, отгородившись от пожара полосой небоязного к огню смординника...

В осени мягкий лист кустарников бронзовел, и выкошенный, чистый остров в ровной стрижке зеленой отавы победно возносил мачту над высоким стогом сена. И всюто зимушку покрыто было боязливое темечко земли пухлой шапкой сена, и серебряно звенел венец, надетый на чело острова. Желтая птица кружилась и кружилась над зимним стогом. Ветер с Енисея гнал ее встречу бурям, и алым флагом вспыхивало крыло высокой птицы под широкой зарею в часы предвечерья.

Гидростанция зарегулировала реку, откатилась вода, и стал Овсянский остров полуостровом. Захудала на нем некошенная трава, усохли кустарники. По оголившейся отноге и пологим берегам палет зеленого помета — цветет малопроточная вода. Перестала цвести и рожать черемуха, обуглились, почернели ее ветви и стволы; не полыхают более цветы — они вытоптаны или вырваны с корнем. Лишь живучий курослеп сорит еще желтой перхотью средь лета, да жалица и колючий бурьян растут по оподолью бывшего острова.

Прежде были в заречье деревенские покосы и пашни, но где они были — уже не пайти. Ныпче сооружен здесь деревянный причал. Валом валят на эти берега хозяйственные дачники, чтобы холить на личных огородах и в теплицах редкую овощь, цветы, ягоды. В субботу и воскресенье — пароход за пароходом, теплоход за теплоходом, катер за катером, «Ракета» за «Ракетой» прилипают к причалу и выделяют из себя жизнерадостный парод.

Под бравую песню «То ли еще будет...» расплзаются они по затоптанному клочку земли, глядя на который, еще раз убеждаешься, что в смысле выделения мусора и нечистот никто сравниться с высшим существом не может — ни птица, ни зверь... Берега и поляны в стекле, жести, бумаге, полиэтилене — гуляки жгут костры, пьют, жуют, бьют, ломают, гадят, и никто, никто не прибирает за собою, да и в голову такое не приходит — ведь они приехали отдыхать от трудов.

Оглохла земля, коростой покрылась. Если что и растет на ней, то растет в глушь, украдкой, растет кривобок — изуродованное, пораненное, битое, обожженное...

Хочет мальчик на берегу. Увидел что-то не просто смешное, а потешное, вот и хохочет.

Подхожу, обпаруживаю: возле вчерашнего, воскресного кострища, среди объедков и битого стекла, стоит узкая консервная баночка, а из нее торчит хвостик суслика, и скрюченные задние лапки. И не просто так стоит банка с наклейкой, на которой красуется слово «Мясо», на газете стоит, и не просто на газете, а на развороте ее, где крупно, во всю полосу нарисована художником шапка: «В защиту природы...»

Шапка подчеркнута не то красным ломаным карандашом, не то губной помадой, через всю полосу шатающиеся, промоклые красные буквы, из них составлено слово: «Отклик».

— Что же ты смеешься, мальчик?!

— Хво... хво... хвостик!

Да, хвостик суслика смешон — напоминает он ржаной колосок, из которого выбито ветром зерно, жалкий, редкостный хвостик — не сеют пылче в заречье хлеба. Дачными ягодами суслику не прожить, вот с голоду и подался крошки по берегу подбирать, тут его поймали веселые гуляки и засунули в банку, судя по царапинам на обертке, засунули живого. И «отклик» на газете, догадываюсь я, написан не карандашом, а кровью зверушки.

КОСТЕР ВОЗЛЕ РЕЧКИ

Все-таки я встретил тех, кто не только сорит, но и убирает.

Нет, не на родине встретил, не в Сибири. В Подмосковье встретил.

Ехал из аэропорта Домодедово и возле березовой рощи

увидел седого, легко одетого мужчину с полиэтиленовым мешком, в резиновых перчатках, и женщину, одетую в спортивные штаны, в рубашку мужского покроя, тоже в перчатках и тоже с мешком.

Они петоропливо двигались по опушке рощи, о чем-то беседуя, время от времени наклонялись и складывали в мешок бумагу, коробки от сигарет и папирос, фольгу, обрывки полиэтилена, окурки, раскисшие куски хлеба, старые обутки, лоскуты — все, чем сорит вокруг себя человек.

— Видал чокпутьх? — почему-то со злобой воскликнул шофер-таксист, везший меня в Москву. Я поглядел на него вопросительно. — Академик с бабой своей. Дача у них тут недалеко. Как идут на прогулку, прихватывают с собой мешки и лопату. Какой мусор приберут, так сожгут возле речки, чё где выправят, чё где закопают. Цветки рвать не дают, прямо за грудки берут, и-и-ди-и-о-оты-ы! Да разве за нами, за поганцами, все приберешь? И-и-ы-ы-ди-и-о-о-оты-ы-ы!..

Он резко крутанул руль. Двое пожилых людей исчезли за поворотом.

...Всякий раз, как еду в аэропорт Домодедово и вижу дымок костерка над речкой Пахрой, с тихой радостью думаю: это они, терпеливые люди, делают посильную добровольную работу, так необходимую уставшей земле, — жгут мусор возле речки.

АХ ТЫ, НОЧЕНЬКА

За дальней горой садится солнце. В небе ни одного облачка. Только марево у горных вершин, мягкое, бледное к середине неба, золотит голубизну, паряжает высь в призрачное сияние. Легкие, ненадоедливые блики падают на широкое плесо. И оно млеет от собственной красоты.

Рыбки безбоязненно выходят на поверхность. То в одном, то в другом месте по глади расплываются ленивые круги. Низко, почти касаясь белыми брюшками воды, проносится парочка уток. Заметив нашу лодку, утки взмывают вверх, заваливаются на правое крыло и, облетев нас, снова снижаются.

Далеко на болотах деловито курлычат журавли. Возле берега суетятся заботливые трясогузки. Одна из них при-

села на нос нашей лодки и с пезависимым видом ощи-
лась, встряхнула хвостиком.

Тишь! Покой и такая благодать кругом, что хочется сидеть неподвижно и слушать, слушать.

Но мы — рыбаки, и мы добросовестно, даже с азар-
том, хлещем по тихому плесу блеснами. Поклевки нет.
Напарник мой первничает:

— Такое плесо! Такой вечер — и не берет! Тут что-то не то. Что-то не то...

Я и сам удивляюсь не меньше его. Делаю заброс к узкой горловине, в которую сливается плесо и за которой волнуется пережат.

Резкий толчок. Поклевка! Начинаю быстро подматы-
вать лесу, рыба сопротивляется, вываливается наверх, взбурлив воду, и... сходит.

Жалко, но ничего. Теперь-то уж мы знаем, что и здесь, на тихом плесе, есть крупная рыба.

Поднимаюсь на лодке до нашего стана и снова начи-
наю стегать плесо справа налево, слева направо.

Пора уже разводить костер и варить уху. А уха-то ходит где-то в воде и на блесну смотреть не желает.

Вдруг рядом с пучком травы, высунувшимся из воды, что-то шлепнулось, оттуда очумело метнулась пичужка, затем расплылись дугой валы.

«Ага, кумушка пиратничает!» — отметил я и, унимая дрожь в руках, швырнул туда блесну. Всплеск! Поворот катушки — и вот она, милая, заходила, загуляла.

— Ага, попалась!

— Чего у тебя?

Я подвожу к лодке щуку, с ходу поднимаю ее на уди-
лице, забрасываю в лодку и кричу напарнику:

— Уху поймал!

— А у меня пусто.

— Ничего, друг, не горюй, еще поймаешь!

Я поплыл кашеварить и, отталкиваясь шестом, затянул:

Сидел рыбак весе-ольий

На берегу реки...

— Не ори ты там! — раздраженно крикнул мой на-
парник, уже перебравшийся по пережату на другую сто-
рону протоки.

Вот и огонек разгорелся, а напарника моего все нет и нет. Я парубил веток для подстилки, выбрал из остожья

темного прошлогоднего сена под бок. Жду, растянувшись на траве.

Темнеет.

На фоне бледной зорьки проступают пики острых елей. Здесь леса сделались как бы гуще, сдвинулись плотнее. Замолкли птицы. Лишь неутомимые кулички, радуясь тихому летнему вечеру, завели свои игривые, убыстряющиеся в полете песни.

Люблю я их, длинноногих, голосистых. Они приносят с собой охотничью весну. Они своим пением подгоняют ручьи, до самых дальних гор провожают вечернюю зорьку и делают побудку среди речной пернатой армии по утрам.

Дотлела зорька. Темнота обступила костер. Вокруг него виднеются бледные пятна цветов. Эти желтые цветы на Урале и в Подмоскowie называют купавками, а в Сибири — жарками, потому что в Сибири они огненно-яркого цвета и светятся в траве, что жаркие угли.

Сибирь! Родина моя! Далекое и вечно близкое детство, почи у костра и пахнущие летом цветы жарки, и песни куликов, и звон кузнечиков, и такие же, как сейчас, мечты о томительно далеком!

Ах ты, душа рыбацкая, неутомимая и вечно молодая! Сколько запахов впитала ты в себя, сколько радостей пережила ты, сколько прекрасного, недоступного другим, влилось в тебя вместе с этими почвами, вместе с теми вон далекими, дружески подмигивающими тебе звездами!

Ах ты, по-о-очень-ка,

Но-о-очка те-о-омшая...

Я забыл о своем напарнике, о рыбе, которую пора спускать в котелок, обо всем на свете. Унимаются кулички, замирает все вокруг, только темная почка слушает, как я славлю ее.

Шуршит трава, появляется мой товарищ, заглядывает в котелок и молча берет весло, на котором лежит разрезанная на куски щука. Спустив рыбу в котелок, он садится на траву и подтягивает мне:

Только есть у меня

Добрый молодец...

Вдали слышен рокот мотора. Он нарастает, приближается.

— Товсь! — командует по-морязки напарник, и я, похрустывая суставами, поднимаюсь с травы.

Браво насвистывая, идет моторист, который подбро-

сил нас сюда по пути на лесоучасток. Идет он уверенно, как человек, здесь все знающий, каждую тропинку и кустик. Он сразу же возникает в свете костра, чумазый, веселый, бодрый. Вот такие они и бывают чаще всего, рыбаки — компанейские, бескорыстные ребята.

Без стеснения подсаживается он к нашему костру, чокается с нами эмалированной кружкой и громко провозглашает:

— За знакомство!

— За знакомство и за эту почь, — обвожу я вокруг себя рукой.

— Правильно! — поддерживают меня друзья.

В душе мы все — поэты.

ЗЕМЛЯ ПРОСЫПАЕТСЯ

Городского человека по утрам чаще всего будит какой-нибудь шум: звон будильника, гудок, грохот колес, сигналы автомашины, а то и гром посуды, уроненной стряпухой на кухню...

Нечасто приходится просыпаться от тишины.

Да, да, от тишины!

Вот как это бывает или, точнее, как было в то утро.

Сон неуверенно и медленно уходил от меня. Организм привык, чтобы его что-то взбудоражило и разом стряхнуло сон. А тут — тишина. Тишина и прохлада.

Устал ждать. Неуверенно открыл глаза и увидел над головой зеленый куст ивы, усыпанный каплями росы. Трава, цветы опились за ночь влагой, поникли их стебли и головки. Они тоже отдыхали, ожидая солнца.

Я приподнялся, сел. Над водой снежной поземкой летели клочья тумана. Задевая кусты, туман застревал в них, густел, как бы окуривая зелень густым дымом.

Молчали птицы, молчали кузнечики, даже рыба спала и не играла на плесе. Сон и туман окутали все вокруг.

Однако рыбаку спать в такое утро — непростительный грех. Хочу толкнуть товарища под бок, но он тоже смотрит во все глаза, смотрит, слушает.

Я бегу по траве, к берегу, оставляя за собой темные полосы. Сапоги мои блестят от росы. Забретаю в воду. Соновый окунишка запутался в траве, забился в панике, выкинулся на кочку. Он растопырил все колючки, готовый защитить свою маленькую жизнь. Но никто на него

не падал, и он бочком, бочком соскользнул в воду да как помчится по самому верху, прочеркивая гладь воинственно поднятым гребешком.

И вот мы снова среди плеса, немножко вялы со сна. Делаем первые забросы. Лодку кружит и медленно песет по течению. Я подматываю блесну. На тройнике усом висит трава, блесна не играет. Отцепляю траву, замахиваю для второго заброса, но слышу тихое: «Ша!»

Товарищ мой глазами показывает под склонившийся над водой черемушник, где расходятся плавные круги.

Я вглядываюсь пристальней и вижу парочку уток, ту самую, видать, что пролетала вечером над нами. Селезень, поистративший свою весеннюю красоту и изрядно отощавший, без всякой опаски кормится, то и дело погружая в воду голову. А утка окунется, почавкает и тут же озирется, побрякивая. Можно даже догадаться, о чем она говорит своему непутевому супругу. Дескать, вечно вы, мужики, такие. Ни заботы, ни печали. Поест, выпить да выспаться всласть — вот и вся ваша забота. А нам приходится крутиться как заведенным: яички спеси, потом детишек расти, переживай за них да еще на кормежке тебя, беспутного, карауль.

Селезень вынул из воды голову, крикнул раздраженно, не переставая закусывать, и мы поняли это так: «Довольно тебе ворчать. Вот пила! Срок охоты кончился, а ты все еще трусишь!» «Понадейся на тебя, так быстро в котелок браконьеру угодишь. Он, браконьер-то, не больно сроки признает», — отвечала рассудительная и недоверчивая утка.

Так они перебранивались между делом, а нашу лодку напосило все ближе и ближе на куст.

Я залобовался труженицей. Нелегкая у нее доля. Супруг утки действительно худой помощник и страшный эгоист. Он франт не только по виду, но и по духу. Если уж он завел жену, то требует от нее полной и безраздельной любви, заботы и внимания. Он даже не хочет знать никаких родительских обязанностей. Если заметит, что утка вьет гнездо — раскидает его и утке трепку задаст. Вот утка и убажает его, караулит на кормежке, потом на почевку определит и кловом ему все перышки переберет, весь пус из них вычистит и жиром смажет. А когда супруг благодушно уснет, она потихоньку уйдет в кусты и скорее гнездо делает. Не дай Бог, если супруг обнаружит яйца или даже утят, — все расклевает и детей не пощадит.

Право же, есть доля справедливости в том, что весной

разрешают бить селезней, а не уток. Этому утиному «стиляге» место в похлебке.

Лодка у самого куста. Утка заметила ее черной силуэт, выдвигающийся из тумана, отчетливо крикнула и побежала по воде возле стенки осоки. Селезень бестолково огляделся и, видимо, не совсем уразумев, в чем дело, ринулся за ней.

Парочка взметнулась над черемушником и ушла от реки, на лесные озера.

ЛЕТНЯЯ ГРОЗА

Мы так увлеклись рыбалкой, что не заметили дождя, мелкими шажками подкравшегося к нам из-за леса. Он густел, расходился, и вскоре на протоке сделалось тесно от пузырьков, которые, не успев народиться, лопались и расходились кружками. Дождь был так густ, что ветер не мог пробраться сквозь него и сконфуженно залег в лесу.

Мы заторопились и поплыли к островку, где был хвойный лес, окруженный со всех сторон покосами. Схватили рюкзаки и бросились к пихтам. Под ними лежала рыжая сухая трава. Дождь сюда не проникал. Но мы уже вымокли и продрогли. Не хотелось шевелиться. Однако надо было разводить костер. И с великим трудом мы его развели.

А дождь прибавлял прыти. Огромная черная туча напозала на реку, и в одну минуту стало темно. Затем дождь разом прекратился. И тут же порывы ветра понеслись по реке, морща и волнуя воду. Сверкнула первая молния, прогрохотал гром, и ветер опять стих.

Стало тихо.

Только крупные капли, скатываясь с мокрых смолистых ветвей пихт, звучно шлепались о широкие, сморщенные листья чемерицы, уже пустившей по четвертому побегу, да с той стороны реки доносилось тревожное бляение коз, пасшихся по лесу.

Молнии зачастили. Они прошивали нас сквозь темную тучу яркими иглами и втыкались в вершины гор, то отчетливо видных, то исчезающих во мраке. Гром грохотал почти беспрерывно.

Мы ждали бешеного ливня.

Но удивительное дело: грозная туча спустила на землю тихий, грибной дождь, сама же, громыхая в отблесках молний, поплыла дальше, волоча за собой пушистый, раз-

двоешный хвост. Этот хвост чисто смел все на своем пути. Снова появилось голубое небо с умытым и довольным ликом солнца.

И разом ожило все вокруг: запели птицы, затрещали крыльями бекасы, мимо нас побежала шустрая мышка. Туча была далеко. Она уползала за перевалы и все еще метала яркие стрелы, по звуку грома до нас уже не доносились.

ЗЕЛЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ

Шагаем с приятелем по берегу Койвы — притока Чусовой. Леса еще в зелени, еще по берегам щетиניתся густая осока, на прибрежных озерах не закрылись зеленые ладошки кувшинок, еще вчера тянулась длинными нитями в воздухе паутина — и на тебе — снег!

Сквозь тихую, снежную завесь мир кажется оробевшим, и мелькают, мелькают блики зелени. А вон впереди, в неподвижном белом царстве запыльхали огоньки. Подходим ближе и видим запламеневшую рябину. Пугливое дерево — рябина, оно раньше других почувствовало приближение снега и поспешило окраситься осенним цветом. С грустным шорохом опадают багровые розетки с рябины и одиноко, печально светятся на белом, но еще не ослепительном снегу. Холода-то настоящего еще нет, и снег не серебрится.

Но вот поредел снег. Больше зелени перед глазами, и наконец мы видим лес, небо, хмурое небо в мохнатых тучах, меж которыми лишь кое-где видна бледная просишь. На берегах бело, и оттого река кажется темной, неприветливой. Тени скал в ней не отражаются, как летом.

Утки тронулись в путь. Летят низко над рекой, большими стаями. Садятся на голые обмыски, прячут головы под крыло.

Снег быстро тает, на глазах оголяются бугорки, с зеленых листьев берез и мягких лап пихтача падает густая громкая капель. Весь лес заполнен шорохом, щелком и треском.

Но что это? Перед нами огромные зеленые звезды! Такие звезды возможно увидеть только в лесу и только после ранней выпадки снега. И еще такие звезды можно увидеть в мороз на окне, сказочные звезды папоротника, только звезды те меньше и белые они.

А здесь они раскидистые, зеленые.

Рос папоротник развалистым пучком. Пал на резные листья тяжелый снег, приклеил их к земле. Распростерлись зубчатые, огромные звезды таинственного, сказочного папоротника. Я как-то слышал, еще в детстве: если пайти цвет папоротника и взять в руку — станешь невидимкой. Сейчас, глядя на волшебные звезды, я верю этому. Я верю всему, что связано с лесом.

ПАДЕНИЕ ЛИСТА

Я шел лесом, затоптанным, побитым, обшарпанным, в петлях троп и дорог. Не колесом, а плутом вроде бы ездили здесь, вроде бы воры-скокари ворвались в чужой дом среди ночи и все в нем вверх дном перевернули. И все-таки лес жил и силился затянуть травой, заклеить пластырем мхов, припорошить прелью рыжих гнилушек, засыпать моросью ягод, прикрыть шляпками грибов ушибы и раны, хотя и такой могучей природе, как сибирская, самоисцеление дается все труднее и труднее. Редко перекликались птицы, лениво голосили грибники, вяло и бесцельно кружился вверху чеглок. Двое пьяных парней, насажая мотор, с ревом пронесли мимо меня на мотоцикле, упали по скользкому спуску в ложок, ушиблись, повредили мотоцикл, но хохотали, чему-то радуясь. Всюду по лесу чадили костры и возле них валялись паехавшие из города труженики. Была середина воскресного дня. Разгоняя гиподипамию, горожане рубили, пилили, ломали, поджигали лес, притомились уже и загорали под солнцем, с утра скрывшимся за такой громадой туч, что казалось, и месяц, и год не выпростаться ему оттуда. Но совсем легко, как бы играючи, солнце продрало небесное хламье — и скоро ничего на небе не осталось, кроме довольного собою, даже самодовольно бодрого светила.

Впереди, чуть выдавшаяся к дороге, стояла некрупная, коленом изогнутая черно-пегаая береза, вся прошитая солнцем, трепещущая от тепла, истомы и легкого, освежающего дуновения, происходящего в кроне, наверное, это и было дыханием самой кроны. Горькой струей сквозящую печаль донесло до меня — так может пахнуть только увядающее дерево, и не слухом, не зрением, а каким-то, во мне еще не отжившим, ощущением природы я уловил не-

слышное движение, заметил искрой светящийся в воздухе и посимый воздухом березовый листок.

Медленно, неохотно и в то же время торжественно падал он, цепляясь за ветви, за изветренную кожу, за отломанные сучки, братски припикая ко встречным листьям, — чудилось: дрожью охвачена тайга, которой касался падающий лист, и голосами всех живых деревьев она шептала: «Прощай! Прощай!.. Скоро и мы... Скоро и мы... скоро... скоро...»

Чем ниже опускался лист, было ему падать все тягостней и тягостней: встреча с большой, почти уже охладевшей землею страшила его, и потому миг падения листа все растягивался, время как бы замедлилось на размытом далью обрыве, удерживало себя, но могильная темь земли, на которую предстояло лечь листу, погаснуть, истлеть и самому стать землею, неумолимо втягивала его желтое свечение.

Я подставил руку. Словно учуяв тепло, лист зареял надомной и недоверчивой бабочкой опустился на ладонь. Растопорщенный зубцами, взъерошенный стерженьком, холодящий кожу почти невесомой плотью, лист все еще боролся за себя, освежая воздух едва уловимой горечью, последней каплей сока, растворенной в его недрах.

Упругости листа хватило на полминуты, не более, жилы и жилочки его ослабли, распустились, прогнулся серединой лист и обрывком искуренной бумажки расклеился на моей ладони. Обшаривая глазами березу, в чуть колеблющейся, как бы случайно здесь присутствующей, тонкой нити я обнаружил не прочерк, не проседь, а слегка лишь приморившуюся струйку зелени. Там, вверху, в зеленой березовой семье, жил и этот листок, величиною с гривенник. Самый маленький, самый слабый, он не удержал своей тяжести, у него не хватило силы на все лето, и суждено ему было первому подать весть о надвигающейся осени, первому отправиться в свой единственный, беспредельный полет...

Как он пробудился и занял свое место в лесу? Не замерз весною, не засох в июльской жаре? Сколько сил потратила береза, чтобы этот ее листок выпростался из немой, плотно заклеенной почки и зашумел веселым шумом вместе со всеми листьями, стал частицей того мира, в котором с таким трудом прорастает и утверждается все доброе, пухлое, а злое является вроде бы само собою и существует, совершенствуется в силе и паглости.

Земля наша справедлива ко всем, хоть маленькой радостью паделает она всякую сущую душу, всякое растение, всякую тварь, и самая бесценная, бескорыстно дарованная радость — сама жизнь! Но твари-то и, прежде всего, так называемые разумные существа не научились у матери-земли справедливой благодарности за дарованное счастье жизни. Людям мало просто жить, просто радоваться: к сладкому им подавай горькое, а лучше — кровавое, горячее, они сами над собой учиняют самосуд: сами себя истребляют оружием, но чаще словом, поклонением богам и идолам, которых сами же и возносят, целуют им сапоги за то, что те не вдрут, не сразу отсекут им головы или щедро бросят отобранный у них же кусок хлеба в придорожную пыль.

Их были тысячи и тысячи, ублюдков, психопатов, чванливых самозванцев. И все они, начиная от инквизитора Торквемады, дубиной проламывавшего неразумным черепа, чтобы вбить в них самую справедливую веру в Господа Бога, от конквистадоров, миссионеров и всевозможных благодетелей, пекшихся о «свободе» и «чистоте души» человеческой, до припадочного фюрера и великого кормчего, — упорно пытались искоренить «людские заблуждения». Всего лишь миг космического времени разделил Божьего слугу с Пиренейского полуострова от современных чванливых сверхвождей, но эти вместо Бога вбивали уже себя, и не дубьем — новейшим оружием и всею той же, вроде бы ветхой, однако во все времена пригодной моралью: дави слабого, подчиняй и грабь ближнего.

Повторялись «благодетели», повторялся смысл и дух новых правоучений, от которых все так же отвратительно смердило древней казармой и балаганом, но лист, оставаясь листом, никогда и ни в чем не повторялся. Даря земле, тайге, березе и себе радость вечного обновления, он расцветом и стораением своим продолжался в природе. Увядание его — не смерть, не уход в небытие, а всего лишь отсвет пескончаемой жизни. Частица плоти, тепла, соков и этого вот махонького листа осталась в клейкой почке, зажмурившейся скорлупками ресниц до следующей весны, до нового возрождения природы.

Падает лист, маленький, бледный. Наступает еще одна осень, всегда пробуждающая потребность в самоочищении. Пройдет неделя-другая, и всем ударам себя подставившая придорожная береза отодвинется от леса, от мира, от людей. Да, она будет стоять все тут же, все так же, на

виду, и в то же время делается отчужденной, в себя самое погруженной, и лес по горам оцепенеет в неслышанно ярком паряде, все силы, всю свою мощь, всю тихую тайну выставив напоказ.

Скорбь уходящего лета напомнит нам о наших незаметно улетающих днях; что-то древнее, неотступное строится в нас, замедлится ход крови, чуть охладится, успокоится сердце, и все вокруг обретет иной смысл и цвет.

Нам захочется остановиться, побыть наедине с собой, заглянуть в глубину себя.

Но и это робкое желание невыполнимо. Остановиться уже невозможно. Мы мчимся, бежим, рвем, копаем, жжем, хватаем, говорим пустые слова, много, очень много самоутешительных слов, смысл которых потерял где-то в торопливой, гомоющей толпе, обронен, будто кошелек с мелочью. Воистину как в шотландской пословице: «Чем хуже дела в приходе, тем больше работы звонарю...»

Ах, если бы хоть на минуту встать, задуматься, послушать себя, душу свою, древною, девственную тишину, прошикнуть светлой грустью бледного листа — предвестника осени, еще одной осени, еще одного, кем-то означенного круга жизни, который совершаем мы вместе с нашей землею, с этими горами, лесами, и когда-то закончим свой век падением, скорее всего не медленным, не торжественным, а мимоходным, обидно простым, обыденным — на бегу вытряхнет из себя толпа еще одного спутника и умчится дальше, даже не заметив утраты.

Притихла земля. Притихли леса и горы. Воссияло всей глубиной небо, чтоб отражение листа в нем было неслучайно, чтоб отпечатался его лик в беспредельности мироздания, чтоб сама земля, приняв форму листа, похожего на слабое человеческое сердце, легко и празднично кружилась среди звезд, планет и там продолжилась в стремительном движении неведомых нам миров.

Я разжал ладонь. Лист еще жил, слабо дыша воедино сплетенными жилками, однако не впитывал света, тепло солнца не прошикало в глубь его. Все силы листа растратились на чуть желтоватый, бледный цвет, на этот краткий и бескопечный миг падения к подножию дерева.

И возникла простая и такая будничная мысль: пока падал лист, пока он достиг земли, лег на нее, сколько же родилось и умерло на земле людей? Сколько произошло радостей, любви, горя, бед? Сколько пролилось слез и крови? Сколько свершилось подвигов и предательств? Как

постигнуть все это? Как воссоединить простоту и величие смысла жизни со страшной явью бытия?

Осторожно прижав выветренный лист к губам, я пошел в глубь леса. Мне было грустно, очень грустно, хотелось улететь куда-то. Показалось даже, что у меня за спиной крылья и я хочу взмахнуть ими, подняться над землей. Да пересохли, сломались и отмерли мои крылья. Никуда не улететь мне. Остается лишь крикнуть что-то, душу рвущее, древнее, без слов, без смысла, одним путром, одним лишь горлом, неизвестно кому, неизвестно куда, жалюсь на еще один, улетевший беззвучным бледным листком год жизни. Сколько их еще осталось? Сколько еще предстоит томиться непонятной человеческой тоской и содрогаться от внезапности мысли о тайне нашей жизни? Страшась этой тайны, мы все упорней стремимся ее отгадать и улететь, непременно улететь куда-то. Быть может, туда, откуда опали живым листом, в пути обретшим форму человеческого сердца, чтобы зеленью устелить планету, объятую пламенем, сделать ее живодышащей, цветущей или дождь в слепом, безумном огне и развеять пепел в пемой бесконечности?

Кто скажет нам об этом? Кто утешит и успокоит нас, мятущихся, тревожных, слитно со всей человеческой тайгой шумящих под мирскими ветрами и в пазначенный час, по велению того, что зовется судьбою, одиноко и тихо опадающих на землю?

ПАУТИНА

Грибное предосенье. Липнет паутина к лицу. Заденешь, раздерешь паутину — и в сырую траву горохом осыпаются пауки. Пугаясь в смятой паутине, они часто и беспомощно перебирают закорючинками лапок.

А ведь в только что растянутой паутине, в сложных и мудрых хитросплетениях ее они жили, кого-то сторожили и чувствовали себя по-хозяйски дома.

Нарушился порядок. Не стало гармонии. Рухнул паучий мир, выпало звено из природой отлаженной жизни, лопнула еще одна ее тонкая струна.

Я смотрю на железнодорожный мост, мерцающий сплетениями паутины над широкой рекой, и вижу, как быстро-быстро по его нитям перебирается многолапый и многорукый паук.

ПЕРВОВЕСТНИК

Маленькая звездочка на длинной цветоножке, белые, нежно пахнущие лепестки с розовинкой — это лесная ветреница — первовестница весны.

Корень у нее крупнее и крепче цветка, сок жгуч, почти ядовит.

Ветреницей лечат суставы — много сил набирает из земли корень ветреницы, будто знает, что ждут его люди не только с радостью, но и с надеждой на выздоровление.

СИНИЙ СВЕТ

Синий свет небес. Синий дым над горами. Перетомленная в летнем зное, дышит миротворно земля спелостью трав и лесов, дышит, будто сдобный каравай, выпутый из русской печи.

Но прохладнее ночи. Обильнее росы. Крупнее ночные звезды.

Лето ушло за середину.

«СИНИЧКА»

Нет более унылой, тоску нагоняющей реки, чем северная мутная Обь с ее низкими, однообразными берегами.

Но вот на кисельной воде Оби сверкнула искорка, лучше сказать по-ранешнему — зга, и стала разгораться, заполнять собой пространство, приближаться к нам. Белевская-белевская, маленькая-маленькая, словно игрушечная, баржа-наливайка встретилась нам, проскользнула вдаль, махнув по левому борту белым флажком.

Название баржи — «Синичка».

И все осветилось вокруг ясным светом, все заиграло, запело, и Обь потекла быстрее, и солнечные пятна заиграли на воде, пронзило солнцем высокие, на бамбук похожие тальники по берегам.

Заспанный капитан нашего катера засуетился, велел поднимать якорь — и мы поспешно двинулись на грузном судне вослед за легкой, веселой «Синичкой».

ЗНАК МИЛОСТИ

На далеком-далеком берегу озера Хантайки, там, где уже копчаётся земля и нет никакого населения, живут молодые парни. Они ушли от этого оголтелого и усталого мира на природу, первозданную, мало еще побитую и не испорченную. Они ловят рыбу, добывают зверьков ровно столько, чтоб хватило на нехитрое пропитание и одежду.

Сюда, в эти дивно красивые и суровые края, тоже проникает рука браконьера, чаще всего высоковельможного, владеющего воздушной и водяной техникой. Парни не дают браконьерить никому, в том числе и современным вельможам. Те обещают снять их с берега, выгнать из лесов и потихоньку, но умело — опыт-то по изводу честных людей в нашей доблестной державе, особенно в этих местах каков! — выживают их с Хантайки.

Но пока еще не выжили...

По берегу, по плодоносному песку или дресвянику, в крошечке камешника растут яркие, крупные цветы, россыпью — черничник, голубика и дивная ягода севера — княженика. Эта неженка, цветущая неброским розовым цветком, растет всюду островками, загорожена тонкими жердочками и ветвями, над нетолстыми пеньками стоят связанные треугольником жердочки. Бывали тут разные людишки, секли реденький, стойкий лесок бездумно, что поближе, что топором сподручней, оголили мыс, но природа не сдаётся. В раскоренье пеньев, которые часто не толще человеческого кулака, вдруг зашевелится куропашечным птенчиком, задрожит пушком хвои побег лиственницы — основного здесь дерева, годного на стройматериалы, на топливо, на дрова, на жерди, на плахи для ловушек, и погибнуть тому росточку, что и птенцу лесотундры, суждено чаще, чем выжить.

Парни-первопоселенцы над каждым побегом поставили треугольнички — смотри, человек и зверь, не наступи на лесного младенца, не растопчи его — в нем будущая жизнь планеты.

«Добрый знак жизни — их так мало осталось и еще меньше появляется вновь, — глядя на те жердяные треугольнички, под которыми растут малые деревца, — подумал я. — Сделать бы их экологическим знаком нашего сибирского края, может, и всей страны, может, и всего мира».

Между тем паршей-то дотаптывают потихоньку, с места сживают — перестали принимать у них рыбу, грозятся на пушнину договор не заключать. Парни подумывают в Канаду махнуть, там обжить таежное или тундряное место, и кто молча и зло, кто доброжелательно и сочувственно в спину подталкивают: «Вот и поезжайте подальше, не раздражайте наш люд бескорыстием своим, самостоятельностью этой, не по сердцу она нам».

«И не по уму!» — добавил я от себя.

ВКУС ТАЛОГО СНЕГА

Лет уже тому... много лет, кажется, век назад, сидел я на склоне Урала, на старых вырубках с ружьем среди пеньев и кореньев, слушал и не мог послушаться весеннего разгульного хора птиц, от которого качалось небо. Земля и всё на ней замерли, не шевелились, веточкой единой не качали, дивясь тому чуду, тому празднику, которому сама же она и была творцом.

Утро пролетело, туманы осели, солнце поднялось высоко, но птицы все не унимались, и меж пеньев, кореньев и кустов все шипели, все уркали и воинственно подпрыгивали распетушившиеся косачи.

Поднявшись из засидки, я тут же подрубленно осел — занемели поги. Много я часов просидел, от темноты до солнца, и не заметил времени. И только сделал я шаг, из-под ног моих, затрещав крыльями, черной бомбой катнулся косач, ткнулся в одинокую березу и вытаращился на меня.

Я выстрелил. Косач, ударяясь о ветви, клубя перо, покатился вниз, захлопался под березой, и только протянул я руку, чтобы взять птицу, как услышал над головой мелкую сыпь и щелчки дождя. Я поднял голову — небо было чисто, солнечно, однако в лицо мне, сгущаясь, падали и падали капли, облизнувшись, я почувствовал вкус талого снега, слабенькую, нежную сладь на губах и понял — это сок, березовый сок.

Падая вниз, косач выбил из пазухи березы, оторвал от ствола ветку, да и дробью пробило белую кору, и дерево тут же заплакало, зачастую слезами, будто пупром и кожей предчувствовало, что следующей весной с самолетом обсыплют порошком эти бесконечные вырубки, эту зем-

лю, на которой природе почти удалось залечить раны и парожать зверюшек, птиц и разпой живности.

Сам охотник будет идти в полуубитых молодых зарослях по щиколотки в пере и плакать, слыша, как хрустят под сапогами хрупкие косточки, и со смятением в сердце думать о будущем. Брызнет ли березовый сок в лицо детишкам нашим и внукам, почувствуют ли они пенную сладость талого чистого снега на губах, услышат ли пенье птиц, да такое, что от него даже качается небо и забывается земля хмельная, ошалелая от вешнего удалства и разгула?

МЕЛОДИЯ

Пестрый лист. Красный шиповник. Искры обклеванпой калипы в серых кустах. Желтая хвойная опадь с листвениц. Черная, обнаженная в полях земля под горою. Зачем так скоро?!

СТРОКА

Опять пришла зима. Холодно.

Эта строка приснилась мне теплой летней ночью.

ПРИВЕТНОЕ СЛОВО

Холодно. Ветрено. Конец весны, а приходится на прогулку прятаться в лес.

Иду. Кашляю. Скриплю. Надо мной пустынно шумят березы, никак не разрождающиеся листом, сережками лишь обвешанные и щепотками зеленых почек осененные. Настроение мрачное. Думается в основном о конце света.

Но вот навстречу по вытоптанной тропинке чешет на трехколесном велосипеде девочка в красной куртке и в красной шапочке. За ней мама коляску катит с малышом.

— Дядястуй, дядя! — сияя чернущими глазами, кричит девочка и шурует дальше.

«Здравствуй, маленькая! Здравствуй, дитячко мое!» — хочется крикнуть и мне, да я не успеваю.

Мать в синем плащике, наглухо застегнутом, — боится застудить грудь, поравнявшись со мной, устало улыбнулась:

— Ей пока еще все люди — братья!

Оглянулся — мчится девочка в распахнутой красной куртке по веселому березняку, приветствует всех, всему радуется.

Много ль человеку надо? Вот и мне сделалось легче на душе.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ



ВИДЕНИЕ



КАК ЛЕЧИЛИ БОГИНЮ

Наш взвод форсировал по мелководью речку Вислоку, выбил из старишной панской усадьбы фашистов и закрепился на задах ее, за старым запущенным парком.

Здесь, как водится, мы сначала выкопали щели, ячейки для пулеметов, затем соединили их вместе — и получилась траншея.

Немцам подкинули подкрепления, и они не давали развивать наступление на этом участке, густо палили из пулеметов, минометов, а после и пушками долбить по парку начали.

Парк этот хорошо укрывал нашу кухню, бочку для прожарки, тут же быстренько установленную, и кущи его, шумя под ветром почвами, напоминали нам о родном российском лесе.

По ту и по другую сторону головной аллеи парка, обсаженной серебристыми тополями вперемежку с ясенями и ореховыми деревьями, стояли всевозможные боги и богини из белого гипса и мрамора, и когда мы трясли ореховые деревья или колотили прикладами по стволам — орехи ударялись о каменные головы, обнаженные плечи, и спелые, со слабой скорлупой плоды раскалывались...

Нам было хорошо в этом парке, нам тут нравилось.

Мы шарили по усадьбе, ее пристройкам, обедались грушами и сливами, стреляли из автоматов кролей, загоня их под старый амбар, и кухню совсем перестали посещать. Повар сначала сердился, а потом прилачился распределять наш паек панской дворне, которую хозяин по-

кинул на произвол судьбы, убежав с немцами. Одной востроглазой паненке, молодой, но уже пузатенькой, ротный повар валил каши без всякой меры, и мы смекнули, что тут к чему. «О-о, пан повар!» — восхищалась паненка, принимая котелок, стреляла в кашевара глазами, беспричинно улыбалась и уходила, этак замысловато покачивая бедрами и как-то по-особенному семеня ножками. Может, нам это лишь казалось, не знаю.

В усадьбе мы быстро отъелись, выпарили вшей, постирали штаны, гимнастерки, одним словом, обжились, как дома, и начали искать занятия. И нашли их. Пожилой связист, мой напарник, чинил в конюшне хомуты и сбрую. Бронебойщик стеклил окна в пристройке, где обитала дворня. Командир отделения ефрейтор Васюков прилачился в подвале гнать самогонку из фруктовой падалицы, ходил навеселе. А младший лейтенант, наш взводный, вечерами играл на рояле в панском доме непонятную музыку.

На самом верху была комната с розовато-серебристыми обоями, и в ней стоял рояль орехового цвета. Большое зеркало там было с деревянными ангелочками на раме и сооружение, напоминающее и кровать, и скамейку, и диван одновременно. Нам пояснили — канапе! Один солдат с придыхом вымолвил, услышав это слово: «Во, пады, буржуи, живут, а!»

«В комнате этой, — пояснила востроглазая паненка, окончательно закружившая голову ротному кашевару, — проживала сама пани Мария — дочь пана, — дама одинокая и «бардзо пенькна и повижна»¹.

Портрет ее, большой, писанный маслом, висел здесь же, на стене.

«Баба и баба!» — решили знатоки и глядеть на нее перестали. Оно, может, так и было, баба и баба. И все же в худенькой женщине с распущенными по плечам белокурыми волосами, в тонкой и белой шее, в разрезе удлиненных или надменно прищуренных глаз и особенно во лбу, большом и умном, было что-то такое, отчего мы смолкали в этой комнате, ничего тут не трогали, а младший лейтенант все играл и играл на рояле. «Рахманинова играл», — сказал нам один узбек из пополнения.

Пополнение это, разное по годам и боевым качествам, прибыло спустя неделю после нашего блаженного житья

¹ Очень красивая и серьезная.

в панской усадьбе, и мы поняли: райские эти кущи скоро придется покидать, наступать надо будет.

Между тем немец тоже не дремал и подтягивал резервы, потому что обстрел переднего края все усиливался, и многие деревья, да и панский дом были уже повреждены снарядами и минами. Дворня перешла жить в подвалы, и днем ей шляться по усадьбе запретили.

При обстреле усадьбы пострадали не только дом и деревья, но и боги с богинями. Особенно досталось одной богине. Она стояла в углублении парка, над каменной беседкой, увитой плющом. Посреди беседки был фонтанчик, и в нем росли лилии, плавали пестрые рыбки. Но что-то повредилось в фонтанчике, вода перестала течь, лилии сжались, листья завяли, и рыбки умерли без воды, стали гнить и пахнуть.

Беззачными глазами глядела белая богиня на ржавеющий фонтанчик, стыдливо прикрывая грех тонкопалою рукою. Она уже вся была издолблена осколками, а грудь одну у нее отшибло. Под грудью обнажились серое пятно и проволока, которая от сырости начала ржаветь. Богиня казалась раненной в живое тело, и ровно бы сочилась из нее кровь.

Узбек, прибывший с пополнением, был лишь наполовину узбеком. Он хорошо говорил по-русски, потому что мать у него была русская, а отец узбек. Узбек этот по фамилии Абдрашитов в свободное от дежурства время все ходил по аллее, все смотрел на побитых богов и богинь. Глаза его, и без того задумчивые, покрывались мгlistою тоской.

Особенно подолгу тосковал он у той богини, что склонилась над фонтанчиком, и глядел, глядел на нее, Венерой называл, женщиной любви и радости именовал и читал стихи какие-то на русском и азиатском языках.

Словом, чокнутый какой-то узбек в пехоту затесался, мы смеялись над ним, подтрунивали по-солдатски солоно, а то и грязно. Абдрашитов спокойно и скорбно относился к нашим словам, лишь покачивал головой, не то осуждая нас, не то нам сочувствуя.

По окопам прошел слух, будто Абдрашитов принялся ремонтировать скульптуру над фонтаном. Ходили удостовериться — правда, ползает на карачках Абдрашитов, собирает гипсовые осколки, очищает их от грязи носовым платком и на столике в беседке подбирает один к одному.

Удивились солдаты и примолкли. Лишь ефрейтор Васюков ругался: «С такими фокусниками навоюешь!..»

Младший лейтенант отозвал Васюкова в сторону, что-то сказал ему, бодая взглядом, и тот махнул рукой и подался из парка в подвал, где прела у него закваска для самогонки.

Три дня мы не видели Абдрашитова. Стреляли в эти дни фашисты много, тревожно было на передовой — ждали контратаки пемцев, готовившихся прогнать нас обратно за речку Вислоку и очистить плацдарм.

Часто рвалась связь, и работы у нас было невпроворот. Телефонная линия была протянута по парку и уходила в подвал панского дома, куда прибыл, обосновался командир роты со своей челядью. По заведенному не нами, очень ловкому порядку, если связь рвалась, мы, и без того затурканные и задерганные связисты с передовой, должны были исправлять ее под огнем, а ротные связисты — нас ругать, коль мы не шибко проворно это делали. В свою очередь, ротные связисты бегали по связи в батальон; батальонные — в полк, а дальше уж я не знаю, что и как делалось, дальше и связь-то повреждалась редко, и связисты именовали себя уже телефонистами, они были сыты, вымыты и на нас, окопных землероек, смотрели с барственной надменностью.

Бегая по нитке связи, я не раз замечал копающегося в парке Абдрашитова. Маленький, с неумело обернутыми обмотками, он весь уж был в глине и гипсе, исхудал и почернел совсем и на мое бойкое «салам алейкум!», тихо и виновато улыбаясь, отвечал: «Здравствуйте!» Я спрашивал его, ел ли он. Абдрашитов тарачил черные отсутствующие глазки: «Что вы сказали?» Я говорил, чтобы он хоть прятался при обстреле — убьют ведь, а он отрешенно, с плохо скрытой досадой ронял: «Какое это имеет значение!»

Потом к Абдрашитову присоединился хромой поляк в мятой шляпе, из-под которой выбивались седые волосы. Он был с серыми запавшими щеками и тоже с высоко закрученными обмотками. Ходил поляк, опираясь на суковатую ореховую палку, и что-то громко и сердито говорил Абдрашитову, тыкая этой палкой в пагих подбитых богинь.

Ефрейтор Васюков, свалившись вечером в окоп, таинственно сообщал нам:

— Шпиёны! И узбек шпиён, и поляк! Сговор у них. Я подслушал в кустах. Роден, говорят, Ерза, Сузан и еще кто-то, Ван Кох или Ван Грог — хрен его знает. — Понизив голос, Васюков добавил: — Немца одного поминали... Гадом мне быть, вот только я хвамилию не запомнил... По коду своему говорят, подлюги!

— Сам-то ты шпиён! — рассмеялся младший лейтенант. — Оставь ты их в покое. Они о великих творцах художниках говорят. Пусть говорят. Скоро наступление.

— Творцы! — проворчал Васюков. — Знаю я этих творцов... В тридцать седьмом годе такие творцы чуть было мост в нашем селе не взорвали...

Богиню над фонтаном Абдрашитов и поляк починили. Замазали раны на ней печистым гипсом, собрали грудь, но без сосца собрали. Богиня сделалась уродлива, и ровно бы бескровные жилы на ней выступили, она несколько не повеселела. Все так же скорбно склонялась богиня в заплатках над замолкшим фонтаном, в котором догнивали рыбки и черпели осклизлые лилии.

Немцы что-то пропыхали насчет нашего наступления и поливали передовую изо всего, что у них было в распоряжении.

С напарником рыскали мы по парку, чинили связь и ругали на чем свет стоит всех, кто на ум приходил.

В дождливое, морочное утро ударили наши орудия — началась артподготовка, закачалась земля под погами, посыпались последние плоды с деревьев в парке, и лист закружило вверху.

Командир взвода приказал мне сматывать связь и с катушкой да телефонным аппаратом следовать за ними в атаку. Я весело помчался по линии сматывать провода: хоть и уютно в папской избе и усадьбе, а все же надоело — пора и честь знать, пора и вперед идти, шуровать немца до Берлина еще далеко.

Неслись снаряды падо мною с разноголосыми воплями, курлыкашьем и свистом. Немцы отвечали реденько и куда попало — я был опытный уже солдат и знал: лежала сейчас немецкая пехота, уткнувшись носом в землю, и молила Бога о том, чтобы у русских запас снарядов скорее кончился. «Да не кончится! Час и десять минут долбить будут, пока смятку из вас, лиходеев, не сделают», — размышлял я с лихорадочным душевным подъемом. Во время артподготовки всегда так: жутковато, трясет всего внутри и в то же время страсти в душе разгораются.

Я как бежал с катушкой на шее, так и споткнулся, и мысли мои оборвались: богиня Венера стояла без головы, и руки у нее были оторваны, лишь осталась ладошка, которой она прикрывала стыд, а возле заброшенного землей фонтана валялись Абдрашитов и поляк, засыпанные белыми осколками и пылью гипса. Оба они были убиты. Это перед утром обеспокоенные тишиной немцы делали артналет на передовую и очень много снарядов по парку выпустили.

Поляк, установил я, ранен был первый — у него еще в пальцах не высох и не рассыпался кусочек гипса. Абдрашитов пытался стянуть поляка в бассейн, под фонтанчик, но не успел этого сделать — их накрыло еще раз, и успокоились они оба.

Лежало на боку ведро, и вывалилось из него серое тесто гипса, валялась отбитая голова богини и одним беззачным оком смотрела в небо, крича пробитым ниже носа кривым отверстием. Стояла изувеченная, обезображенная богиня Венера. А у ног ее, в луже крови, лежали два человека — советский солдат и седовласый польский гражданин, пытавшиеся исцелить побитую красоту.

ДОМСКИЙ СОБОР

Дом... Дом... Дом...

Домский собор, с петушком на шпиле. Высокий, каменный, он по-над Ригой звучит.

Пением органа наполнены своды собора. С неба, сверху плывет то рокот, то гром, то нежный голос влюбленных, то зов весталок, то рулады рожка, то звуки клавесина, то говор перекатного ручья...

И снова грозным валом бушующих страстей сносит все, снова рокот.

Звуки качаются, как ладанный дым. Они густы, осязаемы. Они всюду, и все наполнено ими: душа, земля, мир.

Все замерло, остановилось.

Душевная смута, вздорность суетной жизни, мелкие страсти, будничные заботы — все-все это осталось в другом месте, в другом свете, в другой, отдалившейся от меня жизни, там, там где-то.

«Может, все что было до этого, — сон? Войны, кровь, братоубийство, сверхчеловеки, играющие людскими судьбами ради того, чтобы утвердить себя над миром.

Зачем так напряженно и трудно живем мы на земле нашей? Зачем? Почему?».

Дом. Дом. Дом...

Благовест. Музыка. Мрак исчез. Взошло солнце. Все преобразается вокруг.

Нет собора с электрическими свечками, с древней лепотой, со стеклами, игрушечно и конфетно изображающими райскую жизнь. Есть мир и я, присмиривший от благоговения, готовый преклонить колени перед величием прекрасного.

Зал полон людьми, старыми и молодыми, русскими и нерусскими, партийными и беспартийными, злыми и добрыми, порочными и светлыми, усталыми и восторженными, всякими.

И никого нет в зале!

Есть только моя присмирелая, бесплотная душа, она сочится непонятной болью и слезами тихого восторга.

Она очищается, душа-то, и чудится мне, весь мир за-таил дыхание, задумался этот клокочущий, грозный наш мир, готовый вместе со мною пасть на колени, покаяться, припасть иссохшим ртом к святому роднику добра...

И вдруг, как паваждение, как удар: а ведь в это время где-то целят в этот собор, в эту великую музыку... пушками, бомбами, ракетами...

Не может этого быть! Не должно быть!

А если есть. Если суждено умереть нам, сгореть, исчезнуть, то пусть сейчас, пусть в эту минуту, за все наши злые дела и пороки накажет нас судьба. Раз не удастся нам жить свободно, сообщая, то пусть хоть смерть наша будет свободной, и душа отойдет в иной мир облегченной и светлой.

Живем мы все вместе. Умираем по отдельности. Так было века. Так было до этой минуты.

Так давайте сейчас, давайте скорее, пока нет страха! Не превратите людей в животных перед тем, как их убить. Пусть рухнут своды собора, и вместо плача о кровавом, преступно сложенном пути унесут люди в сердце музыку гения, а не звериный рев убийцы.

Домский собор! Домский собор! Музыка! Что ты сделала со мною? Ты еще дрожишь под сводами, еще омываешь душу, леденишь кровь, озаряешь светом все вокруг, стучишься в броневые груди и большие сердца, но уже выходит человек в черном и кланяется сверху. Маленький человек, тужащийся уверить, что это он сотворил чудо.

Волшебник и песнопевец, ничтожество и Бог, которому подвластно все: и жизнь, и смерть.

Домский собор. Домский собор.

Здесь не рукоплещут. Здесь люди плачут от ошеломившей их нежности. Плачет каждый о своем. Но вместе все плачут о том, что кончается, спадает прекрасный сон, что кратковечно волшебство, обманчиво сладкое забытие и нескончаемы муки.

Домский собор. Домский собор.

Ты в моем содрогнувшемся сердце. Склоняю голову перед твоим певцом, благодарю за счастье, хотя и краткое, за восторг и веру в разум людской, за чудо, созданное и воспетое этим разумом, благодарю тебя за чудо воскрешения веры в жизнь. За все, за все благодарю!

КЛАДБИЩЕ

Как мигует пароход роскошную территорию с домами, теремками, загородью для купающихся, с живучими вывесками на берегу: «Запретная зона пионерлагеря», — впереди виден сделается мыс при слиянии рек Чусовой и Сылвы. Подмыт он водою, поднимающейся веснами и падающей в зиму.

Напротив мыса, по ту сторону Сылвы, сухие тополя в воде стоят.

Молодые и старые тополя, все они черны и с обломавшимися ветками. Но на одном скворечник вниз крышею висит. Иные тополя наклонились, иные еще прямо держатся и со страхом смотрят в воду, которая все вымывает и вымывает их корни, и берег все ползет, ползет, и скоро уж двадцать лет минет, как разлилось своедельное море, а берега настоящего все нет, все рушится земля.

В прощёный день приходят с окрестных деревень и с кирпичного завода люди, бросают в воду крупу, крошат яичко, хлебушко щипают.

Под тополями, под водой кладбище.

Когда заполнялось Камское водохранилище, большой штурм был. Множество людей и машин сгребали лес, дома, осиротевшие постройки и сжигали их. Костры были на сотни верст. Тогда же и упокойных перемещали на горы.

Это кладбище рядом с поселком Ляды. Невдалеке отсюда, в селе Троица, жил и работал когда-то вольный, удалой поэт Василий Каменский.

На лядовском кладбище тоже велась работа перед за-полнением своедельного моря. Быстрая работа. Перета-щили строители в гору с десятков свежих домовиц, заве-рились справкой из сельсовета о выполненном обязатель-стве, магарыч по случаю благополучно заверщенного дела распили и уехали. Тополя кладбищенские под воду пош-ли, и могилы — под воду. Костей потом много на дне белело. И рыба тут косяком стояла. Лещи большие. Рыбу местные жители не ловили и паезжим людям ловить не давали. Греха боялись.

А потом упали засохшие тополя в воду. Первым тот упал, что со скворечником стоял, самый он старый, са-мый костлявый и самый горестный был.

Новое кладбище на горе образовалось. Его давно уже травой затянуло. А деревца ни одного там нет, даже куст-точка ни единого. И ограды нету. Поло кругом. Ветер с водохранилища идет. Травы шевелит и свистит ночами в крестах, в деревянных и железных пирамидках. Пасутся здесь ленивые коровы и тощие козы в репьях. Жуют они травку и венки пихтовые с могил жуют. Среди могил, на хилой траве, не ведая ни трепета, ни страха, валяется молодой пастух и сладко спит, обдуваемый ветерком с большой воды.

И рыбу начали ловить там, где упали тополя. Пока паезжие, незнающие люди ловят, но и местные жители скоро начнут.

Уж очень здорово вечерами в парную погоду берет лещ на этом месте...

ЗВЕЗДЫ И ЕЛОЧКИ

В Никольском районе, на родине покойного поэта Яшина, я впервые увидел звездочки, прибитые к торцам углов сельских изб, и решил, что это пионеры-тимуровцы в честь какого-то праздника украсили деревню...

Зашли мы в одну избу испить водицы. Жила в той деревянной избе, с низко спущенными стропилами и узко, в одно стекло, прорубленными окнами, приветливая жен-щина, возраст которой сразу не определить было — так скорбно и темно лицо ее. Но вот она улыбнулась: «Эвон, сколько женихов-то мне сразу привалило! Хоть бы взяли меня с собой да заблудили в лесу...» И мы узнали в ней женщину, чуть перевалившую за середину века, но не раздавленную жизнью.

Женщина складно шутила, светлела лицом и, не зная, чем нас угостить, все предлагала гороховые витушки, а узнавши, что мы никогда не пробовали этаким стряпни, неупрощенно одарила нас темными крендельками, высыпав их с жестяного листа на сиденье машины, уверяя, что с такого кренделя в мужике дух крепкий бывает и на гульбу его тянет греховодную.

Я не устаю поражаться тому, как люди, и особенно женщины, и особенно на Вологодчине, несмотря ни на какие невзгоды, сохраняют и несут по жизни распахнутую, неупывающую душу. Встретишь на перепутье вологодского мужика или бабенку, спросишь о чем-нибудь, а они улыбнутся тебе и заговорят так, будто сотни лет уж тебя знают и родня ты им паближайшая. А оно и правда родня: на одной ведь земле родились, одни беды мыкали. Только забывать иные из нас об этом стали.

Настроенный на веселую волну, я весело поинтересовался, что за звезды на углах избы, в честь какого такого праздника?

И снова потемнело лицо старой женщины, улетучились смешинки из глаз, а губы вытянулись в строгую пичточку. Опустив голову, она глухо, с выношенным достоинством и скорбью ответила:

— Праздник?! Не дай Бог никому такого праздника... Пятеро не вернулись у меня с войны: сам, трое сыновей и деверь... — Она прошла взглядом по звездочкам, вырезанным из жести, покрашенным багряной ученической краской, хотела еще что-то добавить, да лишь подавила в себе вздох, прикрыла калитку за собою, и оттуда, уже со двора, сглаживая пеловкость, сделала мной, добавила: — Поезжайте с Богом. Если почевать негде, ко мне приворачивайте, изба пуста...

«Изба пуста. Изба пуста...» — билось у меня в голове, и я все смотрел неотрывно — в деревенских улицах мелькали красными пятнышками звездочки на темных углах, то единично, то россыпью, и вспоминались мне слова, вычитанные недавно в военных мемуарах о том, что в такую тяжкую войну, паверное, не осталось ни одной семьи в России, которая не потеряла бы кого-нибудь...

А как много на Вологодчине недостроенных и уже состарившихся изб! Любили вологжане строиться капитально и красиво. Дома возводили с мезонинами, изукрашивали их резьбой — кружевами деревянными, крыльцо под терем делали. Труд такой кропотлив, требует време-

ни, усердия и умения, и обычно хозяин дома заселялся с семьею в теплую, деловую, что ли, половину избы, где были прихожая, куть и русская печь, а горенку, мезонин и прочее уж отделявал петоропливо, с толком, чтобы было в «чистой» половине всегда празднично и светло.

Вот эти-то светлые половины изб и остались недостроенными. Щели окон, кое-где уже прорубленных, снова наспех забраши чурбаками. На некоторых домах начата уже орнаментовка мезонинов, оконных наличников и ворот. Но грянула война, хозяин вытер пот со лба, стряхнул стружки с рубахи и, бережно упрятав весь «струмент» в чуланку, отложил работу на потом, на после войны...

Отложил и не смог вернуться к ней. Лежит русский мужик в сальских или донских степях, подо Львовом или Варшавой, лежит на Зееловских высотах или под Прагой — спит непробудным сном в нашей и чужой земле, а на родине его, в деревьях, рассыпается съеденный ржой, но все еще хранимый на всякий случай женщинами «струмент», старятся сами женщины, старятся так и не высветлившиеся избы, и русская пословица «Без хозяина и дом сирота» обрела какой-то совсем уж горестный смысл.

«Пуста изба...»

Древняя, трудно рожающая хлеб земля, заселенная народом даровитым, бойким на язык и на работу, раскинулась меж болот и лесов. За околицами деревень чистой зеленью переливаются лыны, неопятнанным светом своим напоминая вяжущую вдовью красу; кломятся долу отяжелевшие ржи; слытно звенит колосом пшеница; шелестят пегие овсы.

Живет и работает земля, как сотню и тысячу лет назад, и, как в древности, на позднем клеверном лугу — женщины с литовками, в цветастых сарафанах, с яркими легтами по подолу фартуков, с оборками на кофтах и в белых платках.

— Помогите, мужики! — машут они руками.

И мы подворачиваем, скованно отшучиваясь, берем косы и, стараясь не посрамить мужской род, спешим сделать прокос пошире. И у кого-то уж лучиной хрустнуло литовище — больно размашисто всадил литовку в проволоккой свитый клевер.

— Такой клевер надо брить узко, плавно, — учат нас женщины и попарошку сокрушаются: — Ах ты, беда! Литовище парушили! Кто нам его изладит? Один у нас мужик на всю артель, да и тот три дня уж с повети не слезает — после именин...

И тут же принимаются утешать сконфуженного косца, уверяя, что литовище было надломлено и они, бабы, для потехи его подсунули.

— Заезжайте ввечеру! — приглашают они. — Вместе литовище ремонтировать станем! — хохочут озорницы, как в молодости, и цветастой цепочкой вытягиваются по клеверу, роюя малиново-зеленые валы его к погам.

Кажется такой труд легким, и хочешь не хочешь, а сравнишь этих вечных тружениц с теми, кто фыркает при словах «деревня», «сарафан» и прочих подобных вещах.

На одном из домов, высоко, под застрехой, увидел я елочку в ленточках, в тряпочках и поинтересовался: что, мол, опять за причуды?

И мне объяснили спутники, что не причуды, а обычай вологодский, дошедший до наших дней из старины: коли берут парня в солдаты, то невеста его обряжает елочку лентами да цветными тряпочками и прибывает к мезони-ну или стрехе избы суженого. Жених, вернувшись из солдат, сам уж снимает елочку и торжественно, под радостный причет и плач женщины, несет ее в одной руке, а другую вводит в дом невесту, которая умела ждать и была верной.

Но если парень почему-либо не вернулся из армии — так и будет сохнуть прибитая елочка, и никто ее, скорбную и укорную, не смеет снять, кроме самой невесты.

Увы, на многих вологодских домах ныне траурно чернеют и осыпаются елочки, а ленты и тряпочки выцвели, обмахрились — не возвращаются парни в родные села, под отеческие крыши, к вершым и чистым невестам. Они оседают в городах или на стройках, жепятся на случайных спутницах и кашителются потом с разводами, сиротя детей, тоскуя по родной земле и сожалея о легко утраченной верной любви.

Поля и села. Поля и села.

Облачное небо над ними в голубеньких прозорах, леса и перелески тронуты первыми холодами, листья багряные, что звезды на углах черных изб; елочки, выскочившие на обочину опушки, будто поджидают, когда их нарядят лентами; белый, мудро молчащий храм за холмом; пестрое стадо на зеленой отаве; конь, запывивший телегою по ухабистой проселочной дороге; первый огонек, затеплившийся в селе; грачиный содом на старых тополях; крик девчоночий, тонко прорезавший тишину деревенской улицы: «Мамаля, мамаля, в магазин белый хлеб привезли!..»

И снова тихая умиротворенность кормящей матери-земли, привычно, в труде прожитый день, привычные сумерки, наползающие из-за холмов, привычные дали, объятые покоем.

ПЕЧАЛЬ ВЕКОВ

Среди гор героической Боснии, больше всех республик Югославии потерявшей людей на войне и больше всех пострадавшей от войны, в тихом селении, где никто и никуда не торопится, где жизнь после боев, потоков крови, страданий и слез как бы раз и навсегда уравнилась, стоит мечеть с белым минаретом.

Полдень. Печет солнце. По склонам гор недвижные леса. Даль покрыта маревом, и в этом мареве молча и величественно качаются перевалы заснеженных гор.

И вдруг в эту тишину, в извечное спокойствие гор, в размеренную жизнь входит протяжный, печальный голос.

Мчатся машины, автобусы, едут крестьяне на быках. У кафарни толкается народ, бегут из школы ребятишки, а над ними, как сотню и тысячу лет назад, разносится далекий голос. В тепистом, прохладном распадке, в глубине боснийских гор он звучит как-то по-особенному проникновенно.

О чем это он? О вечности? Или о быстро текущей жизни? О суете и бренности нашей? О мятущейся человеческой душе?

Слов не понять. Да и нет почти слов в полуденной молитве. Есть беспредельная печаль, есть голос одинокого певца, как будто познавшего истину бытия.

Здесь, вблизи, шли войны, люди убивали людей, пришельцы отнимали и занимали эту землю; фашисты разбивали о борта машин головы детишек, а он все так же звучал в вышине — гортанно, протяжно, бесстрастно и удаленно.

Голос, плывущий с белого, нацеленного в небо минарета-ракеты, сделался уже привычным, и неверующие здешние жители его просто не слышат и не замечают. Но в утренний, полуденный и вечерний час заката солнца одинокий певец посылает приветствие небу, людям, земле, проповедуя какую-то, нам уже непонятную, утраченную истину, страдая за нас и за тех, кто был до нас, врачая душевные недуги спокойствием и потусторонней муд-

рой печалью веков, которой как будто не коснулась ржавчина времени и страшные, бурные века человеческой истории прошли мимо певца в толкотне и злобе.

Внизу, у подножия минарета, все мчатся и мчатся машины, спешат куда-то вечно занятые люди и раздается хохот у источника «мужска вода».

МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ

Вечером в курортном городе Дубровнике пахло цветущим жасмином. С причаленных белых кораблей и яхт разнеслось тихое пение мапюлин. Море лениво пошевеливалось в бухте, выступы скал растворялись в сумерках, и где-то за ними, за этими скалами, покрытыми сосняком и буйной южной растительностью, была Италия, и когда-то, давным-давно, далматинцы плавали к берегу италийскому — в гости к синьорам, и так им нравилось плавать туда, что они до сорока лет забывали жениться.

Как прекрасна эта южная земля в Югославии! Прекрасен вечер, и музыка прекрасна.

Я бреду по приморскому бульвару, вдыхаю нежный аромат цветов, слушаю море. Набережная пустеет. Все меньше и меньше людей. Тише море. Тише музыка. И только из ресторации песется голос подгулявшего портового грузчика: «Любова, Любова...»

А под кустом акации, уже сорящей белым цветом, сидят двое: он и она. И ему, и ей лет по восемнадцать. Она, в желтенькой спортивной кофточке, прикила к его плечу, волосы, желтые от света фонарей, упали ей на лицо, заслонили глаза. Он обнял ее и нежно гладил по худенькому, еще угловатому плечу и что-то напевал ей свое, тихо напевал, и слышала его только она. Слышала его песню, его сердце. Ни моря, ни редких прохожих, ни музыки, ни цвета акации, обсыпавшего их, не замечали они. Ни до кого им не было дела, и никто не мешал им быть в одиночестве в этой густой от тепла, темной южной ночи.

Мне почудилось, что я угадывал песню, которую пел ей он, быть может, ее случайный спутник, возлюбленный ли, молодой ли беспечный муж или навеки соединенный с нею друг жизни.

Взялась откуда-то и бродит по нашим интеллигентным компаниям песня, в общем-то бросовая, но есть в ней горестная, простенькая беззащитность. Песню эту любил

покойный Василий Макарович Шукшин и начал с нее свой малоизвестный фильм «Странные люди».

Миленький ты мой, возьми меня с собой,

И там, в стране далекой, назови меня...

Тихо, на носках прошел я мимо молодой пары, угадав, что они безработные, по губке, торчавшей из кармана куртки, брошенной на скамью, — этими губками молодые ребята моют машины туристов, зарабатывая себе кусок хлеба. Один безработный парень днем в портовой столовке зло и недоуменно говорил нам, советским людям: «Мой папа инвалид. Его изувечили немцы, а я мою машины немецких туристов. Это как?»

И мы не знали, что ему ответить. А он, безработный парень, напирал на нас так, как будто мы и только мы ответственны за него и за все, что с ним происходит.

Неприкаянностью, одиночеством, отрешенностью вело и от этой вот пары, и непонятное чувство вины, как и в разговоре с безработным, охватило меня — безработного я накормил, дал ему десять динаров из своего небогатого заграничного капитала, а что скажешь этим вот, чем их судьбу облегчишь, как согреешь, когда к утру потянет с моря сыростью и холодом?

Прижались вот друг к другу, греют сами себя телами в роскошном курортном городе, на крашенной в радугу скамейке, и поет он ей свою песню, конечно, совсем не ту, что мне мнилась, но чем-то очень и очень похожую на нее, простодушную и нелепую, как деревенская посказулька о любви, придуманная бесхитростной деревенской головой.

Рошад Диздарович, старый партизан и мудрый человек, говорил мне, что молодые люди в их стране фрондируют, вызываяще ведут себя до тех пор, пока не получат «место под солнцем», то есть не определятся на работу. Наши молодые не знают такой беды, и, получив работу, заведя жену и детей, они частенько ведут себя все еще как беспечные дети.

Но почему, почему из поколения в поколение во многих землях так трудно добиваться этого своего «места под солнцем?» Разве мы, прежде всего мы — граждане интернационального долга, жили, боролись, проливали кровь не для того, чтобы люди, вступающие в жизнь, были уверены, что для них есть место и пространство на земле? Почему же, почему так одиноки в своей тоске, в мечтах и в любви юноши? Что же мы недоделали? Чего недосмот-

рели? Чего недодумали? Быть может, разум наш занят другими мыслями и делами, совсем ненужными вот этим парню и девушке? Зачем им бомбы, ракеты, удушливые газы, заразные бактерии? Им нужна всего лишь работа, всего лишь хлеб, им нужно «место под солнцем».

Море шумит все тише и тише. Смолкает музыка на кораблях. Гаснут огни. Курортный город унялся до утра, чтобы завтра снова проснуться от разноязычного говора и открыть ворота к морю, к красоте и радости.

А в приморском парке, под цветущей акацией, до самого утра, ежась от холода, все будут сидеть те двое, отрешенные от людей и от мира, и он будет петь ей песню о том, что ни женой, ни сестрой не возьмет ее в далекую страну...

ОКНО

Ничто не наводит на меня такую пространственную печаль, ничто не повергает в такое чувство беспомощности, как одиноко светящееся окно в покинутой деревушке, да и в скоплении современных домов.

Подъезжаешь рано утром к большому городу, входишь в этот сделавшийся привычным, но все же веющий холодом и отчужденностью каменный коридор — и ощущение такое, словно медленно-медленно утопаешь ты в глухом, бездонном колодце. Равнодушно и недвижно стоят современные жилища с плоскими крышами, с темными квадратами окон, безликими громадами сплачиваясь в отдалении. Тяжелым спом повергнута окраина — ни огонька, ни вдоха.

Спит, сам себя загнавший в бетонные ульи, трудовой человек, спят по пять-шесть деревень в одном многоподъездном доме, спит волость или целая область в одном многолюдном микрорайоне, и только сны соединяют людей с прошлым миром: лошади на лугу, желтые валы сена среди зеленых строчек прокосов, береза в поле, босой мальчишка, бултыхающийся в речке, жатка, вразмашку плывущая в пшенице, малина по опушкам, рыжики по соснякам, салазки, мчащиеся с горы, школы с теплым дымом над трубой, лешие за горой, домовые за печкой...

«В самоволке находятся сны» — как сказал один солдат с поэтическими замашками.

И вдруг раскаленным кончиком иголки проткнется из темных нагромождений огонек, станет двигаться, обрести форму окна — и стиснет болью сердце: что там, за этим светящимся окном? Кого и что встревожило, подняло с постели? Кто родился? Кто умер? Может, больно кому? Может, радостно? Может, любит человек человека? Может, бьет?..

Поди узнай! Это тебе не в деревне, где крик о помощи слышен от околицы до околицы. Далеко до каменного окна, и машину не остановишь. Уходит она все быстрее и быстрее, но глаза отчего-то никак не могут оторваться от неусыпного огонька, и томит голову сознание, что и ты вот так же заболеешь, помирать станешь и позвать некого — никого и ничего кругом, бездушно кругом.

Что же все-таки у тебя, брат мой, случилось? Что встревожило тебя? Что подняло с кровати? Буду думать — не беда. Так мне легче. Буду надеяться, что минут твой казенный дом беды, пролетят мимо твоего стандартного окна. Так мне спокойней. Успокойся и ты. Все вокруг спят и ни о чем не думают. Спи и ты. Погаси свет.

ГОЛОС ИЗ-ЗА МОРЯ

Жил я на юге у старого друга и слушал радио, наверное, турецкое, а может, и арабское... Был тих голос женщины, говорившей за морем; тихая грусть доносилась до меня и была мне понятна, хотя и не знал я слов чужого языка. Потом, тоже тихая, словно бы бесконечная, звучала музыка, жаловалась, ныла всю ночь, и незаметно вступал певец, и тоже вел и вел жалобу на одной ноте, делался совсем неразделим с темнотою неба, с твердью земли, с пакатом морских волн и шумом листвы за окном — все-все сливалось вместе. Чья-то боль становилась моей болью, и чья-то печаль — моей печалью. В такие минуты совсем явственно являлось сознание, что мы, люди, и в самом деле едины в этом поднебесном мире.

ВИДЕНИЕ

Густой утренний туман пал на озеро Кубенское. Не видать берегов, не видать бела света — все запеленалось непроглядной наволочью. Сидишь, сидишь над лункой,

да и пощупаешь лед под собой, чтобы почувствовать опору, да и себя почувствовать, а то уж вроде бы и сам-то уплыл в пространстве, покрылся туманом, растворился в белом сне.

Рыбаки блуждают в эту пору на озере, кричат матерные слова либо, громко ахая для бодрости духа, рубят лед пешней, отгоняют от себя оторопную тишину.

Я первый раз на озере Кубенском. Мне здесь все занятно и жутковато немного, но я не признаюсь себе в том и только оглядываюсь вокруг, радуясь, что шагах в трех от меня маячит фигура товарища. Она даже не маячит, а проступает клочьями в текучем тумане и то совсем померкнет, то обозначается явственней.

Но вот товарищ приблизился. Я вижу уже башлык на нем, руку, подергивающую удочку с блесной, и белый ящик под пим. Дальше выступила еще фигура рыбака, еще, еще — есть парод, живет он, дышит и клянет ершей, которые одолевают рыбаков пенасытной ордою, не дают подойти доброй рыбе, за что и зовут их здесь хунвейбинами, фашистами и по-всякому. Любые неприличные слова считаются подходящими, и ни одно из них на ерша не действует, он клюет себе и клюет, на что угодно и когда угодно.

Я тоже вытащил ерша, растопыренного, невозмутимого, и бросил в вешнюю лужицу, образовавшуюся на льду. В лужице плавали у меня уже окунь и сорожки. Ерш, как только отдышался и перевернулся на брюхо, тут же почувствовал себя хозяином в луже, выгнал на закраек и опрокинул сорожек, таранил окуня. Тот сдрейфил, на бок упал, заплескался панически.

Пока мы наблюдали за ершом, который вел себя в лужице, будто подгулявший мужик в женском общежитии: разогнавши всю «публику», он удовлетворенно шевелил крылами и колючками, — туман расступился еще шире, бликом пламени замелькал в отдалении бакен, вмерзший в лед; возле луж открыли шумное сражение чайки с воронами из-за ершей, разбросанных рыбаками. Народу обозначалось все больше и больше — и стало на душе бодрее, да и рыба пачала брать чаще. Отовсюду слышались возгласы то удивления, то восторга, то разочарования, то вдруг срывались рыбаки и толпой бежали к одной лужке помогать вываживать крупную рыбку и, опустивши ее, хохотали, ругались весело и, утешая хозяина лужки, давали ему закурить либо выпить стопку.

Как и когда поднялось в небе солнце — я не заметил. Обнаружилось оно высоко уже и сначала проступило в тумане лишь призрачным светом, а потом обозначило и себя, как в затмении, ярким ободком. Туманы отделились к берегам, озеро сделалось шире, лед на нем как будто плыл и качался.

И вдруг над этим движущимся, белым в отдалении и серым вблизи льдом я увидел парящий в воздухе храм. Он, как легкая, сделанная из папье-маше игрушка, колыбался и подпрыгивал в солнечном мареве, а туманы подплавливали его и покачивали на волнах своих.

Храм этот плыл навстречу мне, легкий, белый, сказочно прекрасный. Я отложил удочку, замороженный.

За туманом острыми вершинами проступила щетка лесов. Уже и дальнюю заводскую трубу сделалось видно, и крыши домишек по угорчикам. А храм все еще парил надо льдом, опускаясь все ниже и ниже, и солнце играло в маковке его, и весь он был озарен светом, и дымка светилась под ним.

Наконец храм опустился на лед, утвердился. Я молча указал пальцем на него, думая, что мне пригрезилось, что я в самом деле заснул и мне явилось видение из тумана.

— Спас-камень, — коротко молвил товарищ мой, на мгновение оторвавши взгляд от лунки, и снова взялся за удочку.

И тогда я вспомнил, как говорили мне вологодские друзья, снаряжая на рыбалку, о каком-то Спас-камне. Но я думал, что камень — он просто камень. На родине моей, в Сибири, есть и Магнитный, и Меченый, и Караульный — это камни либо в самом Енисее, либо на берегу его.

А тут Спас-камень — храм! Монастырь!

Не отрывая глаз от удочки, товарищ пробубнил мне историю этого дива. В честь русского воина-князя, боровшегося за объединение северных земель, был воздвигнут этот памятник-монастырь. Предание гласит, что князь, спасавшийся вплавь от врагов, начал тонуть в тяжелых латах и пошел уже ко дну, как вдруг почувствовал под ногами камень, который и спас его. И вот в честь этого чудесного спасения на подводную грядку были навалены камни и земля с берега. На лодках и по перекидному мосту, который каждую весну сворачивало ломающимся на озере льдом, монахи патаסקали целый остров и поставили на нем монастырь. Расписывал его знаменитый Дионисий.

Однако уже в наше время, в начале тридцатых годов, в колхозе развернулось строительство и потребовался кирпич. Но монахи были строители — не чета нынешним, и из кирпича сотворяли монолит: пришлось взорвать монастырь. Рванули — и все равно кирпича не взяли: получилась груда развалин и только. Осталась от монастыря одна колоколенка и жилое помещение, в котором нынче хранятся сети и укрываются от непогоды рыбаки...

Я смотрел на залитый солнцем храм. Озеро уже распеленалось совсем, туманы поднялись высоко, и ближний берег темнел низкими лесами, а дальний вытягивался ровным пояском. Среди огромного, бесконечно переливающегося бликами озера стоял на льду храм — белый, словно бы хрустальный, и все еще хотелось ущипнуть себя, увериться, что все это не во сне, не миражное видение, на которое откуда бы ты ни смотрел, все кажется — оно напротив тебя, все идет будто бы следом за тобою.

Дух захватывает, как подумаешь, каким был этот храм, пока не заложили под него взрывчатку!

— Да-а, — говорит товарищ все так же утрюмо. — Такой был, что и словами не перескажешь. Чудо, одним словом, чудо, созданное руками и умом человеческим.

Я смотрю и смотрю на Спас-камень, забыв про удочку, и про рыбу, и про все на свете.

Памяти Бориса ХАРЧУКА

ЗАКЛЯТЬЕ

Саженец был крохотный. Одарка несла его, будто хуленького цыпленка, и слышала, как царапались корешки об ладони.

Саженец Одарке дал дед с такими торжественными словами:

— Тоби, Одарка, сегодня, исполнилось семь рокив. Посады цю чэрэшню, и хай вона растет с тобой, бо человеку назначено садить, а не рубать.

Девочка сама копала ямку под черешню, долго копала. Наступая боязливо сморщенной ступней на ребро холодной лопаты, она ковыряла под окном заштопанную кореньями травы землю и впервые в жизни узнала, как не легка земляная работа.

Дедушка сидел на завалишке. Из-под бровей наблюдал за внучкой. Когда ямка сделалась Одарке до колен, он сполз с завалишки, присел, и заговорили в нем все его кости и косточки, ровно бы внутри деда потрескивал догорающий хворост.

Скрюченными пальцами дед бережно размял каждый комочек земли, выкинул из ямки срезанные узелки травы и взял саженец. На раздвоенном стволе саженца устало обвисали листья. Лишь один еще стоял заячьим пастороженным ушком. Бережно, будто вышивальщица, дед узором расстелил пити корешков в ямке и, держась за тонюсенький ствол саженца, другою рукою разгребал и рыхлил землю, которую ловко кидала лопатой Одарка.

Девочка принесла воды в старой цибарке и осторожно, как велел дедушка, вылила ее под саженец, едва выставляющийся из земли.

Потом Одарка сидела рядом с дедом, смотрела на маленький раздвоенный саженец и шибко сомневалась в том, что из такой «билыночки» вырастет большое дерево. Дед уверял, что черешня почитается на Волини святым деревом, и в селе, да и во всей округе, существует древний обычай — не есть ягод черешни восемь лет, если умрет кто-то из родичей. Дед сам еще маленький посадил «маты цэй дытыны», и выросла она «пид пэбо», но он ни одной ягодки не съел: вот какая твердая вера в их роду. Так пусть же Одарка помнит это и чтит обычаи дедов и отцов.

— А дытына эта, — показал дед на росточек черешни, — хай будэ щастлывше своей маты. — Дед не сказал, что саженец был от той черешни, с которой никто и ни разу не ел ягод... Он молчал, и все вокруг молчало.

Солнце скатывалось за сады, за дремные хаты. Унялся шум на селе. Дед и внучка сидели, прижавшись друг к другу, а перед ними неподвижно на хрупкой ножке стоял росточек, еще не сделавший и малого шажка к свету, но уже оговоренный людьми, уже окруженный верою, как забором.

Подлетела к саженцу запоздалая пчелка, неуверенно опустилась на него, прощупала хоботком единственный, через силу бодрящийся лист и упырнула в глубь сада, видимо, сообщать жителям улья своего о том, что появилось на свете новое деревце.

День за днем, год за годом росла черешня. Сначала она выпросталась из травы, потом коснулась веткою окна, потом выглянула из-под обвисшей кровли и поймала вер-

шишкой теплый ветер, и от пьяного этого, солнечного ветра набухали на ветвях молодой черешни тугими девичьими сосками почки, и брызнуло деревце душистыми каплями цветов. И тогда поспешили пчелы и шмели к деревцу, перестали облетать его птицы, и люди больше не обходили его взглядом.

В конце мая на черешне робко высветились ягодки, всего несколько штук, и пошли паливаться соком. Ягоды так и просили сорвать их, взять на язык и отведать обжигающе-сладкого сока, и зубом попробовать, как еще гибка, как податлива косточка с незрелой сердцевинкой.

Одарка потянулась к солнечным ягодам, сорвала одну и долго разглядывала ее, дивясь тому подвигу, который проделал маленький росточек, обратившись в плодоносящее дерево, дивясь пастойчивости жизни, дивясь тому, что и сама она вроде этого деревца — вот-вот возьмется цветами, и парубки перестанут обходить ее взглядом.

— Нельзя! — Одаркина мать увидела на ладони девушки зоревую ягоду и швырнула ее.

Ягода светилась в траве угольком до тех пор, пока не истлела. Птицы, не ведающие человеческой веры и железных законов, склевали косточку той ягоды. Откуда было птицам знать, что в ту весну навсегда покинул хату старый дед, увенчанный во многих военных сражениях.

Восемь лет цвела и роения под окном спелые ягоды черешня, уже поднявшаяся выше дома. Она так и выросла — двумя стволами. Один из них распластался по крыше, как бы оберегая рыхлую соломенную кровлю от ударов, другой ствол взмыл ввысь, в небо, шумел листвою на ветру, будто пытался улететь.

И вот уже в тени под разлапистым деревом играют Одаркины дети, делая отметины в земле щекастыми пятками, и пытаются поймать яркого жука — ягоду. Но теперь уже сама Одарка хватает их за руки:

— Нельзя!

Дети таращат глаза, собираются плакать от обиды. Дети, как птицы, еще ничего не понимают, веры не знают, никаких заклятий не ведают. Одарка виновато гладила по голове дочку и сына и не знала, как им объяснить, что от трудов и горя умерла их бабушка, которая тянула хозяйство и дочь Одарку без отца, без «чоловика», убитого на войне.

И снова год за годом тоскливым дождем сыпалась черешня с дерева и покинуто гнила возле хаты.

Но еще не миновал этот срок, еще восьми лет не про-

шло, как ударило по земле громами орудий и где-то в смертном громе утонул, загаснул одинокий крик: «Ма-а-амо-о!» И не стало у Одарки сына.

Бессонными почвами, прижимая к себе теплого внука, Одарка слышала, как крупными слезами плакала под окном черешня, и казалось ей — кровавые эти слезы жгли землю.

Много этих слез. Много. Но если прибавить к ним и Одаркины, все равно не хватит оплакивать сына и мужа, убитых на войне, дочь, умершую в больнице от тифа, брата, зарубанного петлюровцами, невестку, племянника и еще, и еще...

На черешне появилась трещина, и стала видна ее потемневшая сердцевина. Дерево кончило рост, кряжисто уперлось в землю, будто боялось упасть и раздавить вросшую по самым окнам старую хату, в которой никто и ни разу не взял даже единой ягодки с широких, на диво плодовых ветвей ее.

И теперь уже никто не возьмет, думала Одарка, потому что срок вяжется к сроку, смерть к смерти. И когда кому минет восемь посмертных лет, она уже не помнила. Все перепуталось в ее памяти. Она чувствовала только одно: жизнь ее — сплошное заклятье.

Одарка была уже совсем старая и немощная, когда гром орудий снова ударил по земле, снова докатился до села и снова родину ее, заплаканную и зацелованную прощальными поцелуями, начали топтать сапогами чужеземцы-фашисты. Осталась старушка вовсе одна, потому что внук ее, Петро, прибежал как-то домой, тиснул на прощанье так, что захрустели кости бабушки, и, прокричав что-то в тугое ухо ее, махнул рукою в ту сторону, откуда вечной тучей приходят войны.

Бабушка целыми днями сидела на завалинке под расколовшейся черешней. У черешни уже высох один ствол, тот, что обнимал и хранил дом. Второй ствол все еще с безнадежной настойчивостью устремлялся в небо. Бабушка Одарка ждала внука и медленно, незаметно впадала в дремучую дремоту. И не слышала она уже ни шороха листьев над головой, ни птичьего перезвона — мир потухал и отдалялся от нее со всей своей суетой. Лишь грохот войны еще слышала она и вздрагивала от этого грохота. И думалось ей: из-под корней этой косолапой черешни, которую она когда-то и зачем-то посадила, идет он, из самого путра земли, из черного чрева ее.

Однажды бабушку Одарку тронули за плечо. Она нехотя открыла глаза и долго рассматривала человека, стоявшего перед нею, закопченного, потного, усатого.

Он о чем-то просил бабушку Одарку, показывая на черешню. Она внимательно смотрела на его беззвучно шевелящиеся губы, и ей казалось, что он повторяет одно и то же: «Петро. Петро. Петро».

— Дэ мои диты? Дэ мой Петро? — спросила она, и почудилось ей, что это он и есть, Петро ее, до неузнаваемости изношенный войною, бедами, усталостью. Она обхватила его и стала целовать сухими губами в русую, запыленную голову. Потом показала на черешню: — Сруби ее, сруби! Горе наше сруби!..

Черешню подпилили, навалились на нее плечами красноармейцы, выстрелом ахнул высохший ствол и устоялся в бабушку совсем уже почерневшей, выгнувшей сердцевиной, словно орудийным дулом.

Артиллеристы расчищали круг перед пушкой, иначе говоря — «сектор», разрубили дерево на кряжи, оттаскивали их за изгородь и сваливали в овраг. На ходу они торопливо срывали ягоды и бросали в рот. Бабушка Одарка хотела отвернуться, хотела промолчать, но кто-то старый, чужой, сломившимся голосом закричал:

— Нельзя-а!

— Что нельзя? — подошел к бабушке тот, кого целовала в голову, кто почудился ей в звуком.

— Нельзя исты ягоду! Грех!

Он пожал плечами. Бойцы покосились на бабу, заворчали сердито — это она видела по губам — и еще проворней взялись за работу. Но как только командир ушел из виду, бойцы снова принялись уплетать черешню.

Бабушка Одарка осудительно покачала головой, но говорить больше ничего не говорила. Один из бойцов взял и мимоходом высыпал ей в подол горсть ягод. Бабушка вздрогнула, хотела вытряхнуть черешню из подола, но вспомнила, видно, сколько смертей сейчас кругом, а разве отмолишь их или отвадишь от двора тем, что не будешь есть черешню с родного дерева?

Она осторожно взяла одну ягоду на язык.

— Давно бы так! А то всё нельзя, да нельзя, — сказали бойцы.

Бабушка не разобрала слов. Пытаясь угадать их по губам, она напряглась и не заметила, как проглотила ягоду вместе с косточкой. И тогда с пугливой торопливостью

и отчаянностью она сыпанула всю горсть в беззубый рот. Она жамкала, мяла языком черешню, давилась не то ягодами, не то слезами:

— Ой, горько! Ой, горько!..

Бойцы припились ее утешать. Они недоумевали: черешня была так сладка, так сочна.

Бабушка Одарка вырывалась из рук, поровила удариться грудью о землю. Сок черешни кровью выступал на ее сморщенных губах, она кричала и кричала:

— Ой, горько! Ой, горько!

Бойцы понимали, что всякая ягода со слезами несладка, но все-таки не польнь же. Ладно ли уж со старухой?

Пришел сосед бабушки Одарки и рассказал бойцам о волышском поверье насчет черешни, о жизни Одарки, о впуке ее, Петре, которого она никак не может дождаться.

Какое-то время бойцы молчали, а потом заторопились с работой и нацелили пушку в сторону оврага.

Всю ночь содрогалась хата бабушки Одарки от орудийных залпов, а утром сад опустел. Ушли бойцы вперед и орудие с собой увезли.

В селе сделалось тихо, а в хате бабушки Одарки посветлело. Она не сразу поняла отчего. Вышла в сад — догадалась: нет черешни, не застит она больше света.

Бабушка Одарка подбелила из ведерка стену хаты, потемневшую от дождей, катившихся с ветвей дерева, и стала собирать щепу и обломки в печку. Неожиданно бабушкина рука нащупала маленький росточек возле корней срубленного дерева. Она хотела вырвать его, выбросить, но руки не послушались ее. Они сами собой уже ласкали землю вокруг росточка, разминали комочки.

Долго стояла бабушка Одарка на коленях перед росточком и, как заклинание, роняла чуть слышные слова, напоминающие шелест листьев:

— Хай доля твоя будэ щастлившей! Будэ щастлившей... Щастлившей... Щастлы...

ИСТОЧНИК

Старый профессор Мамед Умарович живет в Ташкенте. Он знаток тюркских, арабских и древнетурецкого языков. Родился, вырос и, как отец его когда-то, работал сельским учителем в школе под Ялтой, в том селении, которое теперь именуется Васильевкой. И вот, спустя много лет, получил путевку в ялтинский Дом творчества, посетил

родину. С виду профессор замкнутый, нелюдимый, на самом же деле артельный, понимающий шутку и чутко чувствующий отзывчивую душу человек.

Шли мы вдвоем по Царской тропе, проложенной в горах, и, наконец, оттого, что шли именно по Царской тропе, Мамед Умарович рассказал о встрече с царем. Я еще никогда и никого не встречал, кто видел бы воочию императора всея Руси, и с удивлением пялился на него.

— Не помню сейчас, к какому празднику готовилась наша семья, — хриловатым басом повествовал профессор, — жарили барана во дворе. Дом наш стоял у самой речки и мимо каменной ограды пролежала дорога в горы. По ней часто ездили и ходили русские господа, с любопытством глядели на нас, а мы — на них. Мать накрывала праздничный стол под старым ореховым деревом. Отец и мы, дети, помогали ей, как вдруг раздался взволнованный голос отца:

— Царь! Царь! На колени!..

В гору поднимались всадники. Дамы были в нарядных платьях, господа все больше в военном, на груди и на плечах у них ярко горели аксельбанты, регалии и погоны. Впереди на чалой лошади кабардинке ехал рыженький невзрачный человек с погонами. Я не подумал, что это царь, и выделил из толпы бравого усатого офицера. Рыженький придержал коня у низкой каменной ограды, вся кавалькада всадников также остановилась.

— Велите всем встать с колен и поприветствуйте их, — сказал он чернявому офицеру.

— Я понимаю по-русски, ваше величество, — сказал отец, поднимаясь с колен. — Приветствую вас, желаю вам долгого здравия и приглашаю быть гостем на нашем празднике.

— Так вы готовитесь к празднику?! — удивился царь. — То-то вокруг вкусные запахи! — И, сморщив рот, улыбнулся, втягивая маленьким курносым носом воздух. — К сожалению, дорогой хозяин, нас очень много, да и не волею я собой распоряжаться. — Царь с усмешкой глянул на компанию, сопровождавшую его, и дамы угодливо заулыбались ему в ответ, а офицеры опустили глаза. — Желаю вам, супруге вашей и детям здоровья и радостного праздника! Надеюсь, вы еще не разучились веселиться? — Он грустно и, как мне показалось, потерянно улыбнулся, затем неуверенно добавил: — Саям алейкум! — Слегка поклонившись, царь тронул лошадь.

Мы снова упали на колени и разногласно запели: «Алейкум салям! Алейкум салям!» И так стояли до тех пор, пока всадники не исчезли в горах. Царь ехал все так же впереди, опустив повод, бессильно уронив руки. Мама паша заплакала, прикрыв рот платком. И мне тоже почему-то захотелось плакать...

Образ самодержца еще со школьных уроков, из книг и кинофильмов создавался в моем воображении пескольно-иным, и я озадаченно покашливал.

— Ничего не сочинил. Ничего, — сказал Мамед Умарович. — Я же не писатель! — Губы профессора покривило.

Мне было стыдно и пеловко, ровно я тот преуспевающий сочинитель, что бегал по ялтинским клубам в качестве лауреата, срывал аплодисменты и восхищение книгой, в которой он оклеветал друга Мамеда Умаровича, сделавши его предателем за одно то, что тот был местным уроженцем — крымским татаринном.

Справедливость восторжествовала: другу Мамеда Умаровича, одному из предводителей партизанского движения в Крыму, посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. А с писателя как с гуся вода! Он делает вид, что ничего не произошло, литератор, мол, имеет право на домысел. Он пишет роман за романом, и хотя тупы, примитивны эти книги, их еще издают и хвалят, но и ругают уже, робко, правда, с оглядкой на прошлые заслуги автора.

Много видел горя и несправедливостей старый профессор, давно уже перекипел сердцем, но мрачел, когда навстречу ему попадался верткий писака. Чувствуя тяжелый, недружелюбный взгляд профессора, писатель быстренько, кругляшком прокатывался мимо него, а потом и вовсе скуксился, заскучал и уехал домой раньше срока, объявив, что пынче ему в Ялте, против обыкновения, как-то плохо работается.

Бродили мы однажды с профессором вокруг Дома творчества, он стал рассказывать мне о том, что среди татар была сильно развита вера в загробную жизнь, и все они старались сделать побольше добрых дел на земле, чтобы зачислились они им на небе.

— Копили деньги, вносили их, по-русски выражаясь, на богадельни. У кого денег не было, те занимались подручными делами: мостили дороги, садили деревья, истребляли змей и вредных насекомых, лечили болезни. Знаете, какая тьма была зубодеров?! Самый доступный вид бла-

готворительности! За голенищем сапога послали зубодерку. Гонялись за теми, у кого болели зубы. Не успеешь и рта раскрыть, как тебе, во имя аллаха, зуб, а то и два выдерут...

Мамед Умарович остановился возле стены, выложенной булыжником. В стену вмурована плита с крапиком, и на ней проступала уже полустертая временем вязь древнего письма. И крапик, и плита эта находятся рядом с Домом творчества, вернее, у боковой его стены.

— Да вот! — указал Мамед Умарович на давно уже сухой крапик. — Это тоже работа здешнего филантропа. Хотите, переведу?

Профессор долго разбирал надпись на доске, шевеля губами, а я терпеливо ждал, не веря, впрочем, что из закорючек, лишеек и полудужек могут получиться какие-нибудь слова.

Но они получились.

«Долгое время источника не было. Народ изнывал без воды. Пришел благородный Исмаил. Провел источник будто из рая. Полилась вода целебная, дающая прохладу и радость. Утоли, путник, жажду свою и скажи: «Мир праху его!» Достигнуто желание по зову сердца. Да зачтется это в дни светопреставления! Пусть в рай попадет также Ибрагим Халил. Да живет в веках этот источник! Да будет в уладу сердца жаждущим!»

— Надпись сочинял другой филантроп, должно быть, этот самый Ибрагим Халил не забыл себя. Цветистые и пышные надписи в древности особенно цепились. — Профессор отдаленно, чуть заметно улыбнулся, качая седой головой: — На этот источник Исмаил, скорей всего ремесленник, всю жизнь копил деньги...

И когда умолк старый профессор, мы еще стояли какое-то время не двигаясь у затихшего источника. На душе было легко и грустно.

Так бывает всегда, когда встречаешься с добрым делом, от людей и к людям идущим, пусть и из молчаливого, окаменелого далека.

РАНЬШЕ ЗДЕСЬ ЗВОНИЛ КОЛОКОЛ

Скоротечны осенние сумерки. Еще мазок зари в небе не затушевался темнотою, а в лесу уже непроглядно. Лес плотней, деревья как будто сдвигаются плечом к плечу, и чем ближе к комлям и корням, тем гуще смоль темноты.

Я прибавляю шаг. Впереди лес редее и угадывается просвет. Быстро, быстро к редколесью, подальше от заседающей тьмы. Я с треском врываюсь в густые и хрустящие заросли малишника, распутившегося кипрея — и оставливаюсь.

Идти дальше пекуда. Впопыхах я сбился с тропы на тракторный волок, подернутый травой, и вот он, этот волок, привел меня в старую лесосеку, и здесь ему конец.

Слушаю. Озираюсь. Слушать уже нечего. Дневные птицы спят, а почных птиц осенью немного, да они и помалкивают. К этой поре отрастают зубы у всех зверушек, и попробуй пикни — вмиг отпоешься.

В небе одна за другой прорезаются звезды. Это хорошо. Я пойду по звездам. И падо же было крутануть совсем недалеко от города.

Итак, Полярная звезда, Малая Медведица... Все это прекрасно — и Полярная, и Малая, но ведь я могу уйти в обратную сторону. Я же плохо знаю звездную карту, и все-таки, все-таки это надежней, чем идти вслепую.

Итак, Полярная звезда, Малая и Большая Медведицы...

Но что это? Там, над темной грядой гор, почти на зубцах леса, горит еще одна звезда, очень крупная и очень яркая! Может, это спутник? Может, пока я бродил в лесу с корзишкой, отыскивая грибы, наши снова запустили в космос спутник или еще чего-нибудь похитрей?

Но звезда не двигается и не мерцает. Она горит спокойно, уверенно, будто бы века горела на этом месте. Что за певичанная планета объявилась на нашем небе?

Я иду напролом на эту спокойную, тихо зовущую звезду. Меня покидает чувство растерянности, и я совершенно успокаиваюсь, и только не спускаю глаз с крупной и яркой звезды. Кто-то зажег ее для меня? Или зажгли ее для всех людей, плутающих в потемках, сбившихся с пути в поздний час. И я иду на этот верный маяк. Я уже догадываюсь, что это.

Это светит ретрансляционная телевизионная станция. Ах, какие скучные названия дают люди тем чудесам, которые творят своими руками. Ретрансляционная станция! И не выговоришь разом.

Я иду на звезду, деловито несущую службу. Густой, пугающий темнотою лес остался позади. Выхожу на высокую гору, вижу ручьи и потоки огня. Среди них, на

своем месте, чуть повыше домашних печей, светит и светит полая звезда.

А раньше, если человек терялся в тайге или не являлся домой к ночи, в этом старом уральском городе звонили в церковный колокол.

ТОСКА ПО ВАЛЬСУ

Из районного дома инвалидов провожали упокоенного. Это совершалось здесь часто, почти каждый день, и было, можно сказать, делом привычным и будничным. Буднична и привычна была и среда, и обстановка: казенный, не очень гладко струганный гроб, казенная пирамидка из четырех досочек, чуть почище, чем гроб, струганных и сбитых вместе гвоздями, наверху крестик или звездочка — в зависимости от желания покойного, если он успевал сказать «последнюю волю». А кто не успевал, сплэш пабивали звездочки.

И покойник был обмытым: в черном просторном пиджаке, давно, видать, купленном, с подкладными еще плечами, в сереньком, с резиночкой галстучке, завязанном еще на фабрике, в казенных брезентовых тапочках, которые шили сами для себя инвалиды. На подушке из красного бархата, сильно потертого и исколотого от многократного пользования, висели тусклые медали «За отвагу» и «За победу над Германией» с пыльно обмахрившимися ленточками. Под ними плотным рядом расположились уже послевоенные, юбилейные медали и своею блестячей повизной, пестрядью ярких красок и ленточек глушили те, старые, боевые медали.

Покойный был инвалид войны и жил в этом доме долго, с января 1949 года — явствовало из похоронных документов. Долго жил. Тихо. Научился здесь столярному ремеслу и, пока мог, делал по дому что умел. И гробы тоже делал, и пирамидки. Потом остарел и сделался так болен, что ничего работать не мог. Последние два года жил и вовсе себе и людям в тягость — лежал на койке, окончательно и виновато стихнув.

В доме инвалидов имелась похоронная ячейка, составленная из самих жильцов, еще бойких на язык и на погу старичков и старушек. В задачу ячейки входило записываться снаряжением и проводами покойных, и также составлять и говорить речи у гроба тех, кто их заслуживал, — таких клали в обитые красной материей домовины и выставля-

ли для прощания в красном уголке. Но мероприятие это вызывало столько ссор, пареканий, кривотолков и нервного недовольства — всем хотелось в красный гроб и в красный уголок, что администрация невеселого пристанища в конце концов вынуждена была отказаться от выделения рангов и заслуг покойных, и теперь всех хоронили одинаково. Однако если кто имел чего сказать хорошее об отправляющемся в последний путь товарище по жилищу, то мог все это сделать на крыльце дома, где ненадолго опускали на пол домовину перед тем, как ее заколотить и поместить в кузов грузовой машины, принадлежавшей дому и перевозившей всякий без исключения груз.

На кладбище старики ездить не любили, особенно в осеннюю, зимнюю пору — холодно и далеко обратно брести. Прощались деловито, молча. Которые инвалиды крестились, которые смахивали слезы с глаз, которые виновато поровили что-то поправить в домовине и на покойном.

Этот солдат-инвалид и помер той же порой, что и поступил сюда, в ноябре.

Дула первая снежная метель, и товарищи его, ежась, думали, что могилу, вчера еще вырытую, забило снегом и кладбищенские рабочие конечно же не станут чистить ее, так в податливой пленкой обвисший снег и всунут гроб, так мерзлыми комками его и забросают, да, впрочем, какое это имеет значение — у всякого не только жизнь и смерть своя, но даже пора родиться или умереть — своя, и могила своя — в чужую не заляжешь.

Так о покойном никто и ничего не сказал — печего было, не накопил он материалу для речи, а вот страпность одну имел, и инвалиды, потакая ей, собрали по двадцать копеек с брата и заказали музыку для покойного.

Сзади дома инвалидов, за пустырем, был квадрат земли в два гектара, обсаженный тополями, лиственницами и горной колючей акацией. Посреди этого квадрата сколочена из толстых плах танцплощадка, за нею будка для музыки, и отдельная будка — для молодежных патрулей и дежурного милиционера. Инвалиды хоть и плевались, глядя на то, что пазывается пынче танцами, осудительно качая головами, говорили: «Шоркаются и шоркаются припародно!..» — но неизменно сюда волоклись, как только начинались танцы, садились на траву. Те, что были помоложе или выпившие, иной раз в круг затесывались и такую ли распотеху устраивали...

Никогда не ходил на танцплощадку инвалид-солдат.

Он, лишь только занималась музыка, начинал плакать, и никакие таблетки и уколы не помогали ему. Он надолго лишался сна, ходил серый, погасший, как бы даже и перед собой виноватый. Его пытались расспросить, и он пытался объяснить, что с ним, но ничего внятного и вразумительного сказать не мог, а только мял рубаху на сердце: «Тоска! Тоска тут, тоска...»

Тоску инвалиды понимали, и недалкий, привычный путь к ней тоже поняли: инвалид не успел до войны не только жениться, но и влюбиться, а с войны явился больным, дряхлым. Но ему тоже хотелось любить, ходить на танцы, гулять, может быть, даже и музыке выучиться.

Особенно безутешно плакал он, когда духовой оркестр исполнял «Вальс цветов», — прямо заходил в слезах, захлебывался ими. Но оркестр по причине отставания от моды распался. В будке установили проигрыватель, на будку выставили динамик, и он оглашал и оглушал окрестность новой музыкой, среди которой «Вальса цветов» не было. Зато сыскался «Белый вальс». Его-то и попросили инвалиды «вертеть».

Заспанный парень с вяло опавшими плечами, на которых спутанной гривой валялись волосы, не понимал, чего от него хотят инвалиды, а когда уразумел, сопротивляться начал: «Закрыто ж! Холодно ж! Да я и ключ потерял...» — «Постарайся, друг! Дело такое... редкое. В человеке болель особенная была...» — уламывали парня инвалиды.

Когда парню высыпали в пригоршни монеты, он, мягкая настроением, тряхнул грязной гривой: «Ну, вы даете! Во сколько надо-то? — И, узнав во сколько, оживился: — Я еще и опохмелиться успею!»

Он сдержал слово, под мышкой принес ящик для музыки, оторвал ломиком дверь в будке, подсоединил провода к динамику — и за пустырем так славно, так трогательно зазвучало:

Вальс над землей плывет,
Добрый, как друг, и белый, как снег.
Может быть, этот вальс нам предстоит
запомнить навек...

Музыку трепало ветром, трепало и бахрому на гробе, стармошенную из столовых синеньких бумажных салфеток, ворошило на голове покойного слабенькие, как бы в детском возрасте остановившиеся волосы. Раз-другой во дворе дома инвалидов крутануло снежный вихрь, а на

танцплощадке как возник беленький, на одну тонкую ножку насаженный султанчик снега, так все не опадал, все кружился, кружился, и за тополями, звенящими под ветром редкими мерзлыми листьями, опохмелившийся районный маэстро все гонял и гонял заказанный вальс. Провожавшие покойного подняли гроб, понесли к машине.

Музыка вновь слышна,
И на глазах у всех
К вам я сейчас иду...

Сунули гроб в машину, закрыли задний борт кузова. Но еще до того, как нажать шоферу на стартер и перечеркнуть визгливым моторным звуком вальс, певица успела молвить вослед навеки уходящему воину:

Я пригласить хочу на танец вас и только вас!

И когда ушла машина и совсем просторно стало на пустынном инвалидном дворе и все провожающие укрылись под крышей дома, долго еще над пустырем носило ветром музыку, а на танцплощадке все круче, все тоньше завивало снежный вихорек, и глядевшим сквозь мутные стекла инвалидам казалось, что там, на плахах, занесенных первой порошей, кружится девушка в белом, так и не дождавшаяся своего партнера на танцах, и кружится быстрее, быстрее, чтоб не было видно залитого слезами ее все еще юного лица.

Сестре Галине

ПЕСНОПЕВИЦА

В ту пору бакены еще были деревянные и держались они на деревянном угольнике. Вершины пирамидок белыми и красными маковками фонарей светились, в фонари эти вставлялись керосиновые лампы. Днем отец наливал в лампы керосин из большого ржавого бидона, Галка держала воронку и вкручивала горелки с фителем в горла ламп. Потом она спускалась на берег, вместе с отцом мыла руки, шоркая их песком, смешанным с галечником, и в маленьких ладошках хрустело, и руки делались белыми, но все равно от них пахло керосином, и платяшко ее постоянно пахло керосином, и в избушке пахло керосином. С запахом этим Галка свыклась и не замечала его.

Она свыклась и с жизнью в отдельной избушке, без подружек, без детских игр. У нее была одна игра — в бакенщика. Но она не считала это игрой, она не играла, она работала бакенщиком.

Еще солнце только-только упирало в горы и нижнюю часть его подравнивало дальней седловиной, а Галка уже начинала хлопотать. Она по деревянным ступенькам бегала вверх-вниз по крутому яру и посила в лодку лампы, весла, ведро — выплескивать воду, две старые тело-грейки — отцу и себе. Строго пасунив белесые бровки, стояла она у лодки и, тыкая пальцем, пересчитывала лампы, соображала, не забыли ли чего, и, подражая видом и голосом покойной матери, поворачивалась к избушке и кричала от реки:

— Ты долго иссо будешь там копать?

Отец громко кашлял в ответ и, хлопая широкими голенищами бродней, будто крыльями, неторопливо спускался к лодке. Здесь он крутил сигарку и начинал пугливо хлопать себя по карманам.

— Опять спички забыл?! — суровела Галка и доставала из кармана старой телогрейки коробок серпиков. — На! Совсем у тебя памяти не стало!

Отец прикуривал из лодочкой сложенных ладоней и, незаметно улыбаясь, косил взглядом на озабоченную, хмуро пасупленную девочку с неумело заплетенной косой, мокреньким носом, в стоптанных сапожках с белесыми от воды передками. Он брал дочь на руки, усаживал на беседку и, мимоходом, незаметно выдавив из ее носа мокроту, набрасывал телогрейку на спину с остренько выступавшими лопатками.

— Поплыли, благословясь, — роняла по-старушечьи Галка.

Отец наваливался на лодку, сильно гнал ее по камешнику. Галку часто откидывало назад и роняло с беседки.

— Эко, эко! — барахтаясь на дне лодки, выпрастывалась из телогрейки и ворчала Галка. — Сила есть — ума не надо!

Отец в мокрых броднях ступал в лодку, поднимал Галку на беседку и, шатаясь, шел к корме, брал сначала кормовое весло, затем шест и начинал поднимать лодку вверх по реке, до острова Заячьего, от ухвостья которого шла пачоса в реку песчаная игра — отмель, и отмель эту отмечал красный бакен.

И пока они хлопотали, собирались, поднимали лодку вверх по реке, вечер уже тихо спускался с гор. Он бесшумно выползал из глубоких распадков и перекрашивал весь мир, и речку, и горы в свой вечерний свет.

Вечер казался Галке дедом, тихим, бородатым и молчаливым, он курил трубку за горой, и оттого небо было там красное. Он шевелил бородой, почесывался, и оттого колыхались тени скал в воде и шелестел осипшик по горам. Деду было холодно в горах, и он с вершины сухой лиственницы голосом филина просил шубу. Дед кряхтел и ворочался в лесу, укладываясь спать, и выколачивал трубку о старый сухой пенек, будто черный большой дятел стучал по дереву.

Дед долго засыпал и успокаивался. Гасла его трубка — и остывало небо за горой. Дед дышал поздрями распадков — и на реку медленно напозлали легкие полосы тумана. Они качались над водой и оседали в тальниках Заячьего острова.

Дед закрывал наконец-то глаза, не ворочался больше, не кряхтел — и все кругом переставало шевелиться, стучать, и даже листья не хлопали ладошками, чтобы не беспокоить деда, потому что он, хотя и тихий дед, все же сумрачный, угрюмо молчаливый, и что у него на уме — никто не знает.

Шест железным наконечником пощелкивал о каменное дно, шумела носом лодка, толчками подаваясь встречь быстрой воде.

Галка опускала руку за борт, слышала, как щекочет ее пальцы живая и теплая перед ночью вода.

Кулички спинались с камней, обгоняли лодку, светясь белыми подкрылками, и стригли голосами привычную песню, которая веселила Галку: «Тити-вити, тити-вити, тити-вити...»

С Заячьей протоки, обросшей у берегов водяною чумой и копытником, шумно взбив воду, поднимались утки, но не все, поднимались лишь селезни, а матери с утятами бежали по воде врассыпную, прятались кто куда; Галка хлопала ладонями, пугая утят и неизвестно почему радуясь, что они бегают в панике по воде, прячутся в листьях и крепко сидят там, думая, что их никто не увидит. Утка с вызовом и бесстрашием то подплывала к лодке, то отлетала от нее, отвлекая таким образом опасность от детишек.

На ухвостье острова отец ненадолго останавливал лодку, и Галка выплескивала воду, скребя по дну лодки сплю-

щенным ведерком, а выплескав, начинала мурлыкать песню и видела, как утка собирала утят из-под листьев и плыла по воде чуть впереди, все еще встревоженно покрякивая. А утята строем за нею, и строй в сумерках казался единым, и только след белесый расходился на стороны, пошевеливая копытник. Отец клал шест под ноги, брал весло, отталкивался от острова и начинал выгребать к верхнему бакену, держа нос лодки наверх. Остров отдалялся, горы, уже слитые воедино, лес, в котором успокоился вечер-дед, — все это оставалось за кормою. И простор реки, холодноватый и мирный, подхватывал Галку, нес на мягких руках, покачивая и лаская.

Бывало-то, спашешь пашенку,
Лошадок распряге-ошь,
А сам тро-опой знакомою
В заветный сад пойде-ошь... —

запевала тоненьким голоском Галка, и слышала одну себя, и радовалась тому, что есть она, Галка, на этом свете, что отец слушал ее и даже веслом негромко хлопал, чтобы слышать ее лучше. И Галка пела, пела, уж забывши и про отца, и про лодку, и про деда, который хоть и привычен, но все же жутковат, и пока он не уснет, петь и кашлять было и страшновато, и неловко как-то.

Никаких детских песен Галка не знала, она жила тем, что переняла у взрослых, и песни ее сплошь грустные, протяжные и про любовь все больше:

В золотом садочке канарейка пела,
Пела так уныло, ой, голос раздавался-а-а,
Пела так уныло, голос раздавался-а-а,
Молодой парнишка, ой, с девушкой прощался-а-а...

И как он прощался, и как ей, девушке-то, горько было, когда она спрашивала: «Куда, милый, едешь, куда уезжаешь? На кого ты, милый, ой, меня спокидаешь?..» — все это Галка ровно бы и чувствовала и понимала, а потому и на сердце у нее делалось по-разному: то его слезами подтачивало, то озноб, возникший под кожей, кололся хвоею в сердце, то вдруг тепло подкатывало к груди.

Отец хватался за бакен, вставлял в фонарь лампу, зажигал ее и отпускал лодку. Ее шатало, разворачивало течением, несло вниз по реке, и огонек бакена, дружески моргая Галке, удалялся в темноту, и она пела только ему, огоньку:

В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха у окна сидит...

Голосишко у Галки становился тише, тоньше, слова она уже склеивала, головенка ее сморенно падала на грудь и пятнышком светилась в темной телогрейке среди темной лодки. Отец осторожно продвигался к беседке, бросал в нос лодки свою телогрейку, брал на руки Галку, бережно опускал ее на одежку, прикрывал сверху другой телогрейкой, и Галка, протяжно, с облегчением вздохнув, ложилась щекой на руки и сладко засыпала.

Отец, покачав головой и грустно улыбнувшись в темноте, садился за лопашни и, поскрипывая уключинами, плыл от бакена к бакену, засветлял их и сплывал по течению к избушке. Сложив весла, уронив натруженные руки на колени, он курил, слушал ночь, себя, тосковал о жене, думал о дочке, которой надо бы мать, но мать никогда уже не вернется; а мачеха еще какая и попадетя...

Лодка, чуть слышно коснувшись берега, останавливалась. Отец забредал в воду, брался за уключину и подтаскивал ее повыше, затем бросал окурок в воду и выскребал Галку из носа лодки, укутывал ее в телогрейку, на руках нес вверх по деревянным ступеням к избушке.

Иногда Галка просыпалась и невнятно спрашивала:

— Мы уже приплыли?

— Приплыли, приплыли. Спи, песнопевица. — И отец прижимал ее плотнее к себе, а она дышала ему в грудь маленьким, добрым теплом, и хотелось ему сказать: «Родненькая ты моя, миленькая ты моя! Что был бы я без тебя?..»

Но он этого не умел сказать, он лишь останавливался на яру, скрипуче прокашливая горло, сдавленное сладким горем, прижимал к себе дочку, ровно бы боясь остаться в одиночестве среди темной ночи, над темной рекой, на которой редко помигивали огни бакенов и где-то далеко, еще за поворотом реки, занималось шлепанье плиц и пыхтенье буксирного парохода.

— Пароход идет, — тихо говорил отец, слушая свой голос, — на твой огонек, дочка, смотрит и не заблудится в потемках...

Она и выросла там, в избушке бакенщика. Она и отца похоронила там, на травянистом взлобке, рядом с матерью. Работает она теперь в большом учреждении, за чертежной доской и, забывшись иногда, тоненько и грустно запевает:

Куда, милый, едешь, куда уезжаешь?..

И тогда сотрудники проектного отдела поднимают головы от столов, калек, чертежных досок и с улыбкой поглядывают на эту беленькую, всегда почему-то молчаливую и грустную девушку, о которой мало кто знает, как она жила, где выросла, о чем думает.

Вечером она часто выходит на набережную и, облокотившись на решетку, смотрит на реку, на мигалки-бакены с поплавочными железными туловищами, провожает глазами многооконные светлые пароходы с веселой музыкой и чего-то ждет. Она ждет, когда один из этих пароходов подойдет к ней, возьмет с собой, увезет туда, где ей пристать захочется. Может быть, там, в темноте, светится, горит тот единственный огонек, живой и теплый, о котором она мечтает так давно и терпеливо.

ГИМН ЖИЗНИ

Лина уже полмесяца жила в Москве. Жила? Нет, не жила, доживала.

Она постоянно разделяла слово «жизнь» надвое, но ничего не получалось. Ей хотелось, очень хотелось отделить жуткую приставку «до», выбросить ее вон. Зачем к такому замечательному, всеобъемлющему слову какие-то приставки? И все-таки она была, эта приставка, и все время, как биение сердца, отдавалась эхом в груди, в голове, в каждом мускуле, в каждой клеточке «до», «до», «до»...

Доживать в двадцать лет! Как это нелепо, несладко, страшно.

Она училась в медицинском институте. Она уже кое-что знала. Знала, может, и не так много, но уже столько, что ее нельзя было обмануть. А ее пытались обмануть. По каким-то, еще в древности рожденным законам медицины, ей не говорили, что она обречена и скоро умрет...

Мать, как и многие русские матери, рано состаренная войной, отец-инвалид, научившийся чертить одной рукой и заново сделавшийся конструктором, узнали о том, что их дочь смертельно больна, раньше ее. Они тоже пытались таиться и держаться бодро. Зачем? Разве можно это скрыть? Они были жалки и несчастны еще больше, они ничего не могли скрыть.

Однажды — это было ночью, это было после того дня,

когда в доме выставили зимние рамы, Лина встала и, шлепая, как в детстве, босыми ногами, отправилась к родителям в спальню, легла между ними и они, напуганные, освободили ей место, потом придвинулись оба, разом обняли. Первая заплакала мать, отец со скрипом сглатывал и сглатывал слюну, обрубок его правой руки больно тыкался Лине в бок.

— Отправьте меня в Москву, — потребовала Лина, когда мать обессилела от слез, отец перестал скрипеть горлом.

— Хорошо, хорошо, доченька, мы поедем все вместе в Москву.

— Нет, я хочу одна...

И они согласились. Они теперь соглашались с нею во всем. Они потакали любому ее капризу. Они не могли иначе.

И вот она уже полмесяца в Москве. Живет, ходит, смотрит. Она сказала родителям, что будет лечиться. И они обрадовались, поверили ей, ждали чуда. А она хотела только смотреть, дышать и ни о чем не думать.

Но не думать было нельзя

Забиться было невозможно.

Она ходила в театры, и там почти в каждой опере, в каждом балете, в каждой драме показывали смерть. Мир вечно разделен на два полюса: жизнь и смерть. В эти понятия, между этими полюсами в два коротких слова вместились все.

Люди очень любили и любят смотреть на смерть. О смерти они сочинили самые потрясающие книги, создали самую великую музыку, сняли до озноба жуткие кинокартины, написали еще более жуткие полотна.

В Третьяковке почти на половине картин изображалась смерть, и люди часами стояли возле царя, убившего сына, возле верещагинской панихиды, возле утопленницы, возле безумной княжны Таракановой и умирающего неизвестного арестанта; люди часами в длинной очереди медленными шажками продвигались к Мавзолею, чтобы взглянуть на умершего человека; толпами ходили по Ваганьковскому и Новодевичьему кладбищам меж густо и тесно сдвинувшимися могилами.

Может быть, они глядели на все это спокойно оттого, что им не мерещилась близкая смерть, не знали, когда умрут? Может быть. Лина уже устала глядеть на смерть, устала думать о ней и однажды пошла в зоопарк. Но и тут ей не понравилось, жалко было попрошайек медведей, зады

у которых были вытерты и голы оттого, что они часто на потеху людям усаживались и «служили» за конфетку, за кусок булки; жалко сошных, полуоблезлых хищников, которых она никогда нигде не видела, но с детства привыкла бояться. Они были совсем-совсем не страшны — эти засажённые в клетку клыкастые звери. Ещё больше не понравились ей змеи, приклеивающиеся к стеклянным стенам, шевелящие раздвоенными языками и зло клюющие ядовитыми зубами через стекло в посетителей. Какая-то женщина сказала явную глупость, глядя на ящериц, крокодилов и змей: «Я никогда не смогла бы жить там, где живут такие гады». — «А я хоть в клетке согласна», — поддакнула той глупости Лиана и быстро побежала по дорожке воп из зоопарка.

«Жить!»

Опять это слово. Везде это слово.

Она бежала вдоль забора, увидела вход в другую ограду, проскочила мимо тетки, разомлевшей под солнцем, упала на скамью, отдышалась и стала оглядываться. В последнее время ее все больше и больше охватывала усталость. Она уже не могла бродить целыми днями по Москве. Ее тянуло полежать. Но она боялась постели, пересиливала себя, бродила, бродила, и так ей хотелось крикнуть, остановившись среди площади, в толпе:

— Люди! Добрые мои люди! Я скоро умру. Зачем?

Глобус. Синий глобус, в желтом блестящем обруче, карты неба, трассы спутников. Лиана догадалась — она попала в ограду планетария.

«Планетарий так планетарий, все равно», — подумала она и пошла внутрь здания, купила билет. Экскурсоводы рассказывали о метеоритах, о смехе дня и ночи, времени года на Земле, ребятишки глазели на макеты спутников и на ракету. Вдоль карнизов тянулись изображения звезд, и Лиана содрогнулась, увидев звезду с тем же названием, как и болезнь, от которой она должна была умереть. Нелепая звезда, нелепое изображение. Кто его придумал? Стиснув зубы двинулась она наверх, очутилась в куполе планетария.

Доедая мороженое и потихоньку бросая бумажки под сиденья, люди ждали лекции.

Погас свет, и зазвучал голос лектора. Он рассказывал о Вселенной. На сиденьях шумели и возились ребятишки. Невидимый в темноте, лектор призвал посетителей к порядку и продолжил свое дело.

На небе планетария появились кинокадры: представ-

ление древних людей о строении мира, портреты Галилея, Джордано Бруно, фигура церковника, преградившего путь науке и познанию.

И здесь, как в театре, как в кино, как в Третьяковке, показывалось все то же: за смелость, за то, что люди не хотели подчиняться законам и говорили то, что они думали, их сжигали на огне, ломали им ребра, бросали в темницы. Властители никогда не терпели тех, кто был умнее и смелее их. Они придумали слово: выродки. И вместо того, чтобы бороться против войн, страданий, болезней, люди сами плодили смерть, тысячелетиями насильственно умертвляли друг друга.

В Америке — у нас-то ничего не рвется! — взорвалась головка водородной бомбы. Хорошо только головка. А если бы бомба? Она взорвала бы другие бомбы — и Нью-Йорка, этого самого крупного в мире города, не стало бы. Возможно, это было бы началом самой страшной войны, и все-все: звери на воле и в клетках, змеи в стеклянных коробках, властители и простые люди, царь, убивший сына, дети, спешно долизывающие мороженое, все-все может умереть, исчезнуть. Куда? Никто на это ответить не может и не хочет.

Люди любят смотреть на смерть, но не любят о ней думать.

А по небу планетария летело небесное светило — солнце. Солнце, дающее всему жизнь. Оно проходило по игрушечному небу, над игрушечной Москвой, и само солнце было игрушечным. Оно закатилось за зубцы домов, зал погрузился в темноту. Было жарко. Лица махала газетой возле лица, думала о том, как долго еще находиться ей в этом душном зале?

И вдруг купол над ней зацвел звездами. Такими же звездами, какие она привыкла видеть с тех пор, как научилась видеть. И откуда-то с высот, парастая, ширясь и крепчая, полилась музыка.

Лица слышала эту музыку не раз. Она даже знала, это музыка Чайковского, на мгновение увидела сказочных лебедей и темную силу, подстерегающую их. Нет, не для умирающих лебедей была написана эта музыка. Да и написана ли? Музыка звезд, музыка вечной жизни, она, как свет, возникла где-то в глубинах мироздания и летела сюда, к Лице, долго-долго летела, может, дольше, чем звездный свет.

Звезды сияли, звезды лучились, бесчисленные, вечно

живые звезды. Музыка набирала силу, музыка ширилась и взлетала к небу все выше, выше. Рожденный под этими звездами человек посылал небу свой привет, славил вечную жизнь, и все живое на земле.

Звезды, вечные звезды, как вы далеки и как близки! Да разве есть такая сила, которая могла бы погасить вас, заслонить небесный свет? Нет такой силы и не будет! Люди не захотят, не могут захотеть, чтобы звезды погасли в их глазах.

Музыка уже разлилась по всему небу, она достигла самой далекой звезды и грянула на весь необъятный поднебесный мир.

Липе хотелось вскочить и крикнуть:

— Люди, звезды, небо — я люблю вас.

Вскинув руки, она приподнялась с сиденья и устремилась ввысь, повторяя заклинание:

— Жить! Жить!

А над ней гремела музыка. Гимн, прославляющий жизнь.

И от этой музыки трепетали живые звезды, до которых было рукой подать.

ОДИНОКИЙ ПАРУС

Раскаленные за день пески и скалы исходили жаром. Камни крошились и сыпались в поток, глухо шумевший впризу. Где-то далеко-далеко грудью припадал к берегу океан, и страстное дыхание его отдавалось в недрах земли, но сюда, в горы, не достигала свежесть океана — скалы и пески иссушали ее.

Было душно и тихо. И в этой душевной тишине угадывались непонятная тоска и тревога. Генерал долго ворочался в привычном и все-таки неудобном гамаке, но не выдержал, накинул плащ поверх белья, надел разношенные, сбитые о стремени сапоги и вышел из палатки.

Лагерь спал. Догорали костры, на которых готовили еду солдаты. Кони спустились в долину и паслись там на редкой полусожженной зноем траве. Звезды светились на вершинах скал, и над головою пет-пет да и срывалась долго дрожащая одинокая звезда и светлой каплею падала за стены гор, топула в океане. Сколько их, этих звезд, упало и скатилось на дно океана. Недаром океан, когда тих и задумчив, переливается, искрится, светится, и ка-

жется тогда, будто дно темно-голубого океана состоит из звезд.

Генерал сторонился костров, чтобы не спугивать постовых. Но его замечали, и, вскочив с земли, постовой начинал рапорт:

— Мой генерал!..

— Тихо, солдат, тихо, — вполголоса говорил генерал и шел дальше, оставив в недоумении постового, поднявшего ружье «на караул».

Генерал был печален. Нет, не от военных неудач. Высадившись с горсткой солдат на берег родной земли еще молодым офицером, он начал небывалый по дерзости поход, создал армию, поднял народ против иноземцев. Сто лет спустя повторится его подвиг, повторится славная боевая страница в соседней, братской стране, а пока он, освободитель, шагает по отвоеванной земле, и тоска грызет его сердце.

Откуда она? Откуда это чувство одиночества? Ведь вся родная земля от океана до океана за ним?!

Может, он болен? Да, кажется болен. И тяжело. По почам он просыпается в поту, тупо давит под лопатками, мучает удушье, бьет кашель. Сказались изгнания, переходы через заснеженные перевалы, сон на земле и камнях, укусы moskitov и змей, беспечность молодых лет и увлечения — что там от себя скрывать, — и ранние увлечения, и пирушки. А может быть, нездоровье совсем рано умершей матери отозвалось в нем, любимом сыне? Во всяком случае склонность к печали — это от нее, от матери. Рано, ах, как рано ушла от него мать! Подозрительно исчез куда-то старый учитель, чудак, вбивший в него однуединственную науку: родина и служение ей — редкое и самое достойное мужчины счастье. Погибли все ближние и дальние родственники. Богатство, семья, здоровье — все, что было у него, когда-то юного и прекрасного аристократа, брошено на алтарь отечества. А что взамен? Одиночество! С ним считаются, его терпят, пока он на коне. А потом? О-о, он хорошо знает, чему научили завоеватели соотечественников. Страшнее нет науки — предавать.

Генерал шел по ущелью, не выбирая тропинок, туда, где слышнее и слышнее гремел поток, ворочающий камни. Глаза генерала умели видеть в темноте, ноги научились ходить без дорог.

Чуть в стороне от яростного потока в маленькой походной палатке его ждали. Он может войти в любую па-

латку, присесть к любому костру — и везде будет желанным гостем, но нигде, нигде его не ждут так, как в этой маленькой палатке с войлочным верхом и всегда для него отстегнутым входом.

И он шел туда. Он спускался с гор, вершины которых уже не видны в темноте. Шаги и осыпь камней глушил все нарастающий, все призывней ревуший гул потока, на котором вспыхивали и гасли клочья белой пены.

Генерал остановился возле маленькой палатки и почувствовал, как забилось его сердце. «Что это со мной?» — чуть досадуя, подумал он и замешкался у входа.

— Войди же, войди! — слышалось из палатки.

Согнувшись и уронив плащ, он вошел в палатку. Жесткие, мускулистые и в то же время по-женски легкие руки легли ему на плечи.

— Я так долго ждала тебя, — услышал он. — Так, долго... Я не устала бы ждать до самой смерти. — Она, словно слепая, трогала его впалые щеки, его волосы, лоб, глаза. И чтобы успокоить ее, он сложил ее руки вместе, ладонь к ладони, и прижал их щекою на своем плече. — Скажи мне что-нибудь.

Он ничего не говорил, и она почувствовала, что без слов лучше, спокойней.

— Ах! — встрепенулась она. — Я в таком виде. Я сейчас! Сейчас! — И, осторожно отняв у него руки, бросилась за гамак и зашуршала одеждой, зазвенела серебром...

Мятая, полузасохшая роза светилась у нее в волосах, в мочках ее ушей горели серьги, на запястье сверкал браслет. Но ярче всех украшений пылали ее глаза, когда она предстала перед ним. Разрез этих чуть ущемленных у висков глаз, неизмеримая глубина их, в которой угадывалась такая спокойная, древняя грусть, говорили о том, что прародители ее были ветвью отцов этой земли — славных ишков. И умение хранить в жестах и на лице достоинство и целомудрие пришли оттуда, от земли погубленных предков. И если бы он не знал ее, не видел в бою с саблей и пистолетом в руках, он был бы обманут этой забавной, но такой необходимой игрой в вечную женщину.

— Ты так и не можешь отыграть свое детство, отпраздновать свое девичество! — Он дотронулся до сухо шелестящего, колючего цветка. — А я все не могу понять, зачем я тебе, такой усталый, изношенный в походах, небритый, искусаемый москитами?..

— Молчи! Зачем ты мне всякий раз это говоришь?

Тебе тоже хочется играть в застенчивого юношу? — Он махнул рукою, засмеялся, и она прижалась к нему, стала слушать сердце. — Я узнаю все-все, что ты хочешь сказать! Там! — потрогала она ладонью грудь генерала. — Там нет генерала, там бьется простое человеческое сердце. Я знаю — беззащитное.

Он тронул губами ее губы, словно боясь нежности, исходящей от нее. Губы женщины были тоже жестки, иссечены ветром, песками, и он сразу усталосник, чувствуя себя виноватым перед нею. Она угадала это:

— Ты все отдал им. Но стоят ли они...

— Я не торговец. Я — воин.

— Да-а, воин, — вздохнула она. — Воина в тебе все знают и любят, и никому нет дела до твоей матери, до так рано угасшей жены... Бедные женщины. Бедные... — Она еще ниже опустила голову. — Бедный воин. Кто пожалует тебя?

— Господь и ты! — медленно и тихо уронил он. — Мне более никого не надо.

Они оба притихли, смущенные этой откровенностью; чуть позднее, лежа рядом с ним на душистой сухой траве, прикрытой шерстяной попоной и занавесом от полога, она не к месту громко рассмеялась:

— Я знаю о тебе все! Ты обо мне знаешь только то, что пужно знать мужчине. Что делать? Так устроены мы, женщины. И это не обман, не притворство. Желание вечной любви разве может быть обманом? А желание облегчить страдание любимого человека разве не награда за годы и годы ожидания чуда? Господь, ты и еще вечность — вот мое чудо. Вечно мое стремление к тебе!

Ты знаешь, где возникла эта сказка? В красном городе Лиме, на берегу огромного океана, почему-то названного Тихим. Там жила девушка, каких много на свете, и, как все девушки, она хотела любви, но не находила ее и была одинока. Родители девушки, как и все родители в мире, хотели счастья своей дочери и решили выдать ее замуж за такого же, как они, тихого и доброго человека. Он мог бы отдать ей все, но сердце ее молчало.

Девушка часто ходила на берег океана и с тоской глядела вдаль, ожидая, не покажется ли на горизонте ее парус. Также очень старо. Но корабли проходили мимо, и улетали паруса, а большой океан, хранивший много тайн и сказок, все волновался, словно бы говорил ей старческим мудрым голосом: «Тот, кто умеет ждать, дождетя! Только тот, кто умеет ждать...»

Она уже устала глядеть на пролетающие паруса и слушать седой, старый океан, как падоедает слушать одну и ту же, пусть и чудесную, сказку. Но она поборола усталость, и он пришел к ней. Не с моря, не под белым парусом, а на худом, запыленном коне, к ногам которого разжиревшие чужеземцы бросали свои надменные знамена. Он ехал по ликующему городу, и копь копытами наступал на позлащенные знамена, а соотечественники плакали и кричали: «Освободитель! Освободитель!»

Девушка сорвала все цветы, какие росли в саду, тоже бросала их к ногам коня и тоже плакала. Освободитель махал рукой народу, а ей показалось, он дал знак рукой ей, и, поймавшись за седло, она пошла за ним следом и стала солдатом Освободителя. Она ела тот же хлеб, который ел он, пила из тех же родников, из которых пил он, дышала тем же воздухом, которым дышал он. За храбрость и преданность делу революции ее произвели в офицеры, но, глупая, она не могла победить в себе женщину. В глубине души ее жила надежда, и она таила ее ото всех, даже хотела бы спрятать от самой себя, если б это было возможно.

После большого и тяжелого перехода солдаты генерала начали неравный бой. Врагов было много. У них были вода, пища и свежие кони. Воины Освободителя дрогнули и стали отступать. И тогда генерал сделал то, что делал всегда в таких случаях. Он выхватил саблю и поскакал один на врагов. Солдаты бросились за ним. Пуля иноземца пашла в этот раз полководца. Он упал с коня. Великое горе ударило в сердца его солдат, и они повернули коней, чтобы помочь ему. Генерал поднялся с земли и крикнул: «Вперед!»

Когда девушка из Лимы перевязала ему рану, обмыла лицо водой, которую всегда возила с собой и берегла пуще глаза, и дала глоток вина, он очнулся и сразу же спросил:

— Где мои солдаты?

— Они гонят захватчиков с нашей земли.

И еще с трудом спросил:

— Кто ты?

— Я один из твоих воинов, — последовал ответ. Но голос выдал ее, ибо за нее стало говорить сердце, она была уже над собой не властна.

— Как тебя зовут, мой славный воин?

И девушка из Лимы назвала свое имя. Она не называла его еще ни одному мужчине. Но этого ей показалось

мало. От счастья затемнился разум ее, как у всех любящих, которыми руководит сердце, только сердце. И она сказала...

— Она сказала, — перебил ее генерал, — «Если вам сделается одиноко и грусть поселится в вашем сердце, придите ко мне. Я буду ждать...»

— Ты помнишь?!

— И я пришел. Я помню доброту. Ее так мало на грешной земле.

— Ты подобен сеятелю, мой генерал, — заговорила она, пальцами разглаживая морщинки на его лице, высокий лоб с двумя складками, сбегаящими к переносью, властный подбородок. — Ты засеваешь огромные нивы зернами добра, но долг твой так велик, что все-все ты отдаешь в уплату его, и тебе остаются лишь колоски, и ты радуешься им, как изголодавшийся стражник.

Генерал склонился и благодарно поцеловал ее.

— Это же говорил мне учитель. Я потерял его. Даже его... Даже его...

— Прошу тебя, забудь о том, что ты воин, вспомни хоть раз о себе, и... мое глупое сердце может разорваться. Успокой его.

И снова шли дни и месяцы. Война завершилась победоносно. Чужеземцы были изгнаны из Южной Америки, остались они только на островах, огрызаясь оттуда.

Но генерал не напрасно опасался, что найдутся люди, которым захочется добытую в боях победу присвоить себе. Он много ездил по освобожденным странам. Время его проходило в жарких и часто бесплодных дебатах. Теперь уже без оружия завоевывал он землю и свободу для своих верных солдат. Здоровье его, подорванное в боях и походах, ухудшилось.

Все реже и реже встречались генерал и девушка из Лимы. Однако верную подругу полководец уже никогда не забывал и забыть не мог. Если они разлучались надолго, он присылал ей письма, письма великого и страдающего человека. Болезнь часто приковывала его к постели. Он лечился в таких домах, куда ей, простой девушке из Лимы, не было доступа. Но она всегда жила поблизости, возле него, и он это знал.

Была у девушки из Лимы одна маленькая слабость: она любила сладкое варенье, еще кипящее, обжигающее.

Остывшее варенье ей было не по вкусу. Она прятала эту слабость ото всех, даже от любимого человека.

Как-то вечером большой генерал поднялся с постели и с помощью слуги Сапго выбрался из президентского дворца. Сапго знал, куда надо вести своего господина, и они молча пошли к морю. Сапго трижды стукнул в дверь маленького домика, увитого плющом и глициниями. И когда дверь открылась, Сапго тут же исчез, как-будто растворился в темноте.

Она бросилась на шею любимому, осыпала лицо его поцелуями.

Генерал ответил осторожным поцелуем, чуть коснувшись губами ее глаз, озаренных счастьем встречи, но затем порывисто и долго целовал ее быстрые руки, каждый палец в отдельности. И она удивилась этой его страстности, хотела пошутить над боевым и суровым полководцем, но он опередил ее:

— Отчего так сладки твои руки?

— Это... Это... О-о! — вспыхнула она и закрыла лицо передником, испачканным вареньем. — Я не могу ничего с собою поделать. Я — сладкоежка!

— Ты говорила, что все знаешь обо мне, — по-прежнему пряча улыбку, сказал генерал. — Но разве ты забыла, что я тоже когда-то был мальчишкой? Может, тыпустишь меня в дом и побалуешь сладким?

— Ты смеешься надо мной! — Она тут же встрепенулась, забежала по комнате, хлопая в ладоши: — Он был мальчишкой! Он любил варенье! — И приостановилась в недоумении: — Вот уж никогда не думала! В голову даже не приходило.

Она принесла до блеска начищенный кувшин, полный горячего варенья, поставила его перед исхудавшим, усталым генералом, глаза которого оживились радостью, редкой уже теперь радостью.

— Ешь! Ешь, сколько хочешь! — Она дала ему самую большую ложку. Потом так же стремительно и со смехом вскочила, взяла салфетку и повязала ее на груди генерала, и попыталась сделать лицо строгим и суровым. — Дорогой Симонсито! — назидательно проговорила она. — Когда кушаешь варенье, будь аккуратен, не испачкай платья.

— Хорошо, моя пяточка! — смиренно опустил глаза генерал. — Я постараюсь быть аккуратным. Но кувшин такой огромный. Симонсито так мал, ему ни за что не осилить одному.

— А зачем же существует девушка из Лимы? Чтобы всегда и во всем помогать бедному маленькому генералу.

Они ели ложками варенье из светлого кувшина, играли в детей, а возле стены дома слышал их и улыбался старый слуга генерала, который помнил его с годовалого возраста, но никогда не замечал, чтобы генерал уж очень любил сладкое.

— Если бы нянечка дала еще чашечку кофе, то мальш Симонсито всегда-всегда слушался бы ее, — заканчивая игру, смиренно сказал генерал.

Нянечка упорхнула на кухню заваривать кофе, генерал оглядел ее бедное жилище. «Я совсем не заботился о пей. Она не хотела связывать меня детьми. Она все делала, чтобы я служил людям, весь отдавался борьбе. Ей доставались маленькие крошечки радости. Эта женщина достойна жить во дворце, быть матерью... — Коротко вздохнул: — Но она никогда уж не будет матерью...»

У входа в дом послышалась возня, затем крик Санто: «Мой господин, бегите!» И вслед за этим выстрел, звон шпага, голос девушки из Лимы: «Проклятые изменщики!» И снова выстрел. «Санто, я не пушу их. Спасай своего господина!»

Генерал бросился на помощь своим верным друзьям, но в это время в комнату прыгнула и захлопнула дверь девушка из Лимы.

— Спасайся! — крикнула она. — Там, — показала на заднюю стену дома, — потайная дверь...

Генерал был безоружен. Он попытался вырвать у нее шпагу, но она с мольбой взглянула на него:

— Ты пужен родине!

Он стоял в нерешительности.

— Я... Я прошу! Ты... Ты мне пужен...

Он толкнул дверцу, скрытую вьющейся зеленью, и, перед тем как упасть со стены в густые заросли, обернулся — и она унесла его взгляд в вечность — так много любви, страдания, детской беспомощности было в его прекрасных, темных, всегда печальных глазах креола. И только сейчас вот, в это мгновение, она наконец-то поверила, что он был и остается для нее и, может быть, еще для Санто, ребенком. Санто и подхватил его, как ребенка, обернул плащом и унес в темноту. В доме раздавались шум, грохот, крики и выстрелы.

Девушка из Лимы сражалась за своего генерала.

Им удалось встретиться еще раз.

Поздней ночью, всегда напряженный, всегда ждущий слух девушки из Лимы уловил едва слышимый стук в потайную дверь. Она выскочила в темный и прохладный сад. «Где ты, дорогой?» — позвала она чуть слышно. «Он ждет вас, сеньора», — ответил выступивший из темноты Санто и подвел к ней оседланного коня.

И вот они уже за городом. Она горячила коня. Санто едва успевал за нею. В ущелье, освещенном луной, глядя в кипящую воду горного ручья, сидел генерал. Сидел неподвижный, одинокий, словно бы окаменел и слился с этими горами, с этой неприветливой землей, и лишь рвущаяся тень его металась, крутилась в потоке.

Она угадала: разлука — может быть, вечная. Хотела замедлить, остановить минуты прощания, навсегда отпечатать их в своем сердце.

Молча они взялись за руки и долго-долго поднимались в горы. Поднялись так высоко, что казалось, протяни руку, и погтем позвонишь в серебряное дно луны.

Генерал тяжело, с хрипом дышал, но она не слышала этого, не замечала, она была рядом с ним и в каком-то бесчувственном отдалении. Только когда они остановились и генерал обессиленно упал на обожженную траву, она опомнилась, вытерла ладонью пот с его лица, осыпала его седую голову поцелуями, без конца повторяя: «Прости! Прости меня!»

— Не падо, — тихо прошептал он. — Не падо на это тратить наше время. У нас его мало. Послушаем нашу землю...

Они оба были метисы, кровь инков говорила сейчас в них, земля слышала молчаливый крик и мольбу о спасении, но ничем не могла им помочь.

— Я сделал все, что мог, — спокойно и отрешенно сказал он. — Отдал все, что имел.

Он долго глядел и слушал горы. Она не мешала ему. Потом он взял в ладони ее лицо и пристально глядел ей в глаза. Лик древней, мирной родины искал, угадывал в ее лице и запоминал его.

Она не дышала, не шевелилась, и только слезы катились и катились по ее лицу да ветром, даже не ветром, а почти неощутимым дыханием земли, ослабшим в высях, шевелило ее волосы, остужало кожу на гибкой шее. Генерал распластался на земле, прикрыл ее своим исхудалым, догорающим телом.

— Плачь, родина, плачь! — чуть слышно произнес он.

Ей хотелось закричать на всю эту спящую, равнодушную землю так, чтобы болью отозвалась и ее боль в каждом уголке, в каждом сердце, цветке и травинке.

Случилось то, что и предвидел Освободитель. Война закончилась. Солдаты ждали награды за свой подвиг и за свои долголетние страдания. Наградой этой могла быть только земля и воля, которую он им обещал. Он всегда выполнял свои обещания и поэтому стал неугоден властелинам и владельцам земель. Они устроили заговор, обвинили генерала в измене, что это не они, а он обманул свой народ, пообещал им невозможное.

Уже смертельно больной, он подал в отставку и перестал быть президентом своей страны и главнокомандующим армии.

Но Освободитель, даже больной, даже не у власти, был опасен. Солдаты, его сподвижники и патриоты, не верили наветам, любили, как и прежде, своего генерала, верили ему. И тогда с генералом сделали самое страшное — у него решили отнять родину. Враги знали, что Освободитель не переживет всего этого, а он не хотел, чтоб началась гражданская война, новое кровопролитие — народ устал от войн.

Луна уже скрылась. За дальнею грядою гор ярким тюльпаном стала набухать утренняя заря, и по ущельям потянулись белые жилы тумана. Молча и низко пролетела над вершиной сова с ночной охоты и скрылась в камнях. Все унялось, все затихло перед рассветом. Земля политая кровью и слезами, отдыхала. И Освободитель лежал, обняв эту до стога, до слез любимую землю, такую безбрежную, необъятную. Но не было места ему на ней.

Цветок, лишь на рассвете проклонувшийся из земли, аел у лица генерала; крупная капля росы дрожала в яркоротом бутончике. Он неотрывно смотрел на этот цветок, на эту каплю, вобравшую в себя все бури земли, всю кровь, все громы, войны, и, кажется, начинал понимать высший смысл своей жизни.

Амапола — цветок любви прекрасный,

Амапола — цветок любви моей...

Генерал открыл глаза. В полнеба уже горела заря, и слышалась тихая, сдавленная слезами песня.

Почувствовав его слабое движение, девушка из Лимы смолкла.

— Пой еще, пой...

Амапола, как море в час рассвета,
Любовь моя безбрежна и нежна.

Голос все ширился, заполняя собою утро, горы, дали. В голосе бились слезы, а может, это капля росы дрожала на цветке и тонко позванивала от едва уловимого ветерка. Внизу, у потока, зажав голову, плакал Санто, старый, много видевший слуга и солдат Санто.

Смолкла песня, но голос девушки из Лимы еще несся по горам и над горами, и эхом отзывалась песня в голосах птиц, в каждой травинке, и навечно уже, на все земные времена, эхо остановилось и окаменело в сердце генерала.

— На чужбине я всечасно буду помнить это утро и твой голос.

— Все песни нашей земли мы увезем с собой...

— Нет! — генерал отвернулся. — Нет!

— Но почему же? Почему я не могу быть с тобой?

— Я буду меньше страдать, если сердце мое останется на родине. А сердце мое с тобой. К сожалению, я слишком поздно это понял. Я не могу больше заставлять тебя страдать. Ты не знаешь, что такое чужбина. Я знаю. Я скоро умру, и ты останешься одна, в изгнании.

Она не давала ему говорить. Она закрывала его губы своими губами.

— Не целуй меня, пожалуйста, не целуй. Болезнь моя опасна...

Но она целовала его, целовала до того, что они оба задыхались от горьких поцелуев, и он понял — она хочет заразиться его болезнью и умереть вместе с ним, а еще говорят, что женские хитрости так тонки, что их невозможно постигнуть!

— Если есть Бог, Он сделает то, чего не сделал я. Он вознаградит тебя за любовь, которую ты подарила мне.

— Дорогой мой! Если бы Бог даровал мне еще одну жизнь, я прожила бы ее точно так же и просила бы Его лишь об одном — дать мне ту же самую любовь! Я — твой солдат, я привыкла выполнять твои приказания и потому сейчас покину тебя, мой великий, мой маленький генерал. Но перед этим выполни мою просьбу, единственную...

— Ты, помнится, никогда меня ни о чем не просила? Разве что съесть варенье. И я съел его. Ты помнишь? — Он с улыбкой покачал головой. — Это было редкостное варенье! Редкостное!

— Оставь мне право жить так, как я хочу.

И он понял: она никогда не вернется в Лиму. Он обхватил ее кудрявую голову исхудальными руками, прижал к выболевшей, уже западающей груди и расплакался первый раз за всю свою жизнь.

Он плакал. И она не мешала ему. Она слышала, как со слезами вытекают из его сердца остатки жизни. Она чувствовала — это последние слезы Освободителя, омывающие его родную землю. Она ушла.

Генерал долго лежал неподвижно, так долго, что слуга Санто приблизился к нему послушать — дышит ли еще его господин. Он дышал. Но в глазах его, провалившихся в глубокие глазницы, угасал свет.

— Скажи, Санто, у нас еще есть хоть сколько-нибудь денег?

— Да, господин, у нас есть еще триста песо. — Санто назвал точную сумму своих сбережений. У генерала, который был в молодости одним из самых богатых людей в Южной Америке, не осталось ни гроша.

— Санто, купи на триста песо роз и отнеси к крыльцу той женщины, которой я никогда не дарил цветов.

— Будет сделано, господин.

А девушка из Лимы, сменив коня, мчалась по горам и остановила его далеко от города, к дальнему, глухому порту, проехали молчаливые всадники.

Генерал в сопровождении нескольких преданных офицеров и слуги Санто покидал родину. Одинокая фигура его безвольно покачивалась в седле. Повод он не держал. Руки его покоились на луке седла. Лишь изредка он поднимал голову и потухшим взором обводил горы и леса, реки и льяносы в волнах седой и буйной травы. На пути его не было ликующих толп, и к ногам его коня не лился дождь цветов. Лишь показалось однажды, что на дороге незатухающим огнем светится дикая роза. Он хотел попросить, чтоб цветок подняли, но люди ехали в отдалении, не мешая ему думать и горевать, а конь все шагал и шагал.

Санто заметил розу, поклонился с седла, поднял цветок и глянул в горы. Он никого там не увидел и все-таки приветно помахал рукой.

По мере того как маленький караван удалялся, девушка из Лимы, срывая ногти о камни, карабкалась выше и выше на скалы, пока не затерялся в цветущем степном океане одинокий парус, и она сказала себе, что больше

никогда не станет жить возле океана. Пусть на его берег ходят другие девушки, слушают вечную сказку и вечно ждут свою любовь.

Спустившись в ущелье, она села на коня и медленно поехала, сама не зная куда. Вдали показался почти восстановленный от разрушений город. Она очнулась, погрозила кулаком городу и помчалась прочь от него.

На крыльце ее покинутой хижины осыпались розы...

Судьба сжалилась над генералом и выдала ему единственную награду — не дождавшись корабля, который должен был доставить его в Европу, сорокавосемилетний генерал скончался от чахотки в отдаленном порту, на земле своей родины.

Когда друзья омыли тело полководца, оказалось, что его не во что переодеть. Слуга Санто принес пару своего белья.

— Пусть это солдатское белье греет на том свете лучшего из людей. Я берег его к своей смерти, — молвил он, — да не оскорбится мой господин даром своего слуги.

В торжественном и горестном молчании друзья погребли Освободителя среди простых могил труженников и воинов. Слуга Санто остался жить неподалеку, чтоб ухаживать за могилой своего господина. Санто, как истинный христианин, верил в провидение — и народ воздал должное Освободителю. Все восхищение подвигом, все почести, какие Освободитель заслужил при жизни, были отданы ему мертвому раскаявшимися соотечественниками.

А в стране, названной именем генерала, в маленьком городке, затерявшемся в горах, жила ничем не заметная женщина. Она собирала ягоды, варила варенье и продавала его жителям, детей угощала просто так, бесплатно.

На имя этой женщины приходили письма из Лимы. Она отсылала их назад. Однажды ей привезли посмертное завещание на большую сумму. Она и от завещания отказалась. Жила она тихо, одиноко и так же тихо и одиноко ушла в землю, не оставив никакого завещания.

О ней в конце концов вспомнили и ринулись искать, чтобы выспросить, записать, что она знала об Освободителе, получить его письма и бумаги. Но ни ее, ни вещей, ни писем не нашли. Даже могила ее неизвестна.

БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ

В Эгейском море, среди синей воды стоит остров Патмос. На том каменном острове, на самой его скалистой вершине, слеплен, сложен, сотворен Патмосский монастырь, видный с моря со всех сторон.

На празднование девятисотлетия этого монастыря и занесло меня, русского человека, аж из далекой Сибири. На праздник сей торжественный собрались святые отцы со всего света, в том числе всеевропейский патриарх, но патриарха всея Руси с ним не было — какие-то нелады вышли между святыми отцами. А раз отказался от посещения Патмоса патриарх, отказалась быть в Греции и вся советская представительная делегация.

Я, того не ведая, двинул из Сибири через столицу нашу насквозь до самой Эллады и оказался в Греции, затем и на далеком Патмосе в единственном числе, «без языка» и безо всякого представления о том, что же я здесь буду делать, за что отвечать и чему соответствовать?

Но в Афинах на суше встретила меня и в море проводила деловитая женщина-гречанка. Усадила она меня на теплоход-паром, сунула пачку разноцветных бумаг, долго и громко говорила о том, что я должен делать, к кому обратиться. Из всего бурного потока слов я постарался застолбить одно — Костас, которое, как потом оказалось, было в Греции все равно, что Иван в России. Только тот Костас был не просто греческий Иван, был он зам. министра культуры страны Эллады, госпожи Меркури, как явствовало из приглашения, присланного и на мое имя.

Костас оказался человеком, как принято ныне говорить, коммуникабельным, ненавязчивым, но заботливым, всегда он оказывался в нужную минуту там, где была в нем надобность. По его наущению, думал я, но потом выяснилось — по воле Божьей, подле меня оказался святой отец Ириней, одетый в темные одежды совсем не праздничного свойства, просторы которых не скрывали его худобы, раскосые глаза и жидкая борода придавали ему вид псаломщика. Был он, однако, преподавателем Сербской духовной академии, знал несколько языков, в том числе и русский. Сказал, что станет мне помогать, и тут же включился в работу.

Шло освящение новой гимназии, построенной на уступе горы, неподалеку от монастыря и не без его помощи.

Во дворе новой гимназии, где уже начались занятия, я, американец с дежурным именем — Нил и юная прекрасная гречанка сажали древо жизни в серую, крупную, на кормовую соль похожую, супесь, едва склеенную затверделой глиной. Яма уже была готова. Мы втроем, сомкнув руки на тонком стебельке, занесли саженец в середину двора, опустили в яму и стали ждать воды, чтобы полить и закопать привядший росточек.

— Да они скорее вина дадут на поливку, чем воды, — проворчал отец Ирипей. Народ, заполнивший двор, загалдел, уборщица гимназии, хлопнув себя по просторной юбке, мешковато потрусилась в помещение, откуда и вынесла бачок с питьевой водой. Гимназисты, висевшие нарами по лестницам, антресолям и балкончикам, закричали, захлопали в ладоши, увидев, что мы поочередно льем воду в ямку и беремся за лопаты.

Потом были речи, и американец переговорил всех, поскольку был юрист. С английского никто не переводил, все оратора понимали. Кто, как я, ничего не понимал, делал вид, что понимает.

Сильно волнуясь, я сказал коротко о том, чтобы трудная земля эта и юноши из гимназии никогда не узнали, что такое война, и пусть залогом тому будет нами посаженное древо мира. Девочка-гречанка тоже попробовала что-то сказать, но от волнения расплакалась и закрыла лицо руками. Ей аплодировали и кричали больше, чем всем ораторам. После нас еще говорил Костас, министр образования, мэр города и директор новой гимназии. Затем был обед во дворе «в стоячку», и отец Ирипей, приободряя меня, помогал мне в выборе блюд, питья и всяких фруктовых яств, сладостей и десертов, а также есть и пить не садясь. Стол был так изобилен, яства были так разнообразны и вкусны, что одному мне, пожалуй, с обедом было не совладать.

Осоловелые от еды и легкого вина, искали мы тени под палящим солнцем. Кругом так все нагрелось, от почвы, от стен, от всего строения несло, будто от русской печки, сухим загнеточным жаром. Костас, выпивший со мной и с американцем отдельные тосты, от благодарности, не иначе, за наши пламенные речи, поощрил нас и сказал, что семинар по экологии, чтоб нас не спалило совсем, назначено проводить с утра и вечером в зале гимназии, сейчас же всем следует ехать по отелям отдыхать после столь важного и торжественного дела.

На острове Патмос мы пробыли пять дней, и все это

время отец Ириной был «при мне» — чудо, какой воспитанный и чуткий это человек оказался. Стремился он показать мне все самое значительное в монастыре, рассказать о наиболее ценном, что есть в нем и на острове.

Надо сказать, что монастырь, которому стукнуло девятьсот лет от рождения, бдением и старанием его обитателей, а также отсутствием великих революций и атеистически настроенного, мигом дичающего пролетариата, находится в хорошей сохранности, хотя печать древности и отразилась на его суровом лице.

Самое примечательное было то, что во время торжеств и празднества монахи работали, не дожидаясь команды и постановлений о перестройке. Монахи Патмосского монастыря грабили камень, копали землю, очищали потолки и фрески от пагара, пыли и сажи, ремонтировали утварь, строили, стряпали, жали хлеба, гнали вино, вовремя звонили в колокола, справляли все требы и только в день приезда патриарха всея Европы позволили себе несколько часов отдыха, не прекращая, однако, внутренние службы, принимая гостей, улаживая их, вели себя деликатно, но не подобострастно.

Стоит обошнуться на приезде патриарха Европы на Патмос. Из нашего нерушимого Союза были лишь грузинский и армянский высшие духовные лица. Грузинский патриарх, или как его называют — католикос Илия 2-й оказался веселым мужиком с живо и молодо сверкающими глазами, когда ему представили меня, не без ехидства заметив, что это тот самый тип, что написал рассказ «Ловля пескарей в Грузии», он лукаво подмигнув, воскликнул: «Зачем пишешь чего не надо?!»

Накануне прибытия патриарха Патмосскую разветвленную скалистую бухту в горловине перекрыли три военных корабля — крейсер и еще какие-то судна поменьше, наверное, каюперки. Уже с утра в вышине, на Патмосском монастыре, били редко, устало и равномерно большие колокола, и гул их разносился по небу, эхом опадая под обрывистые скалистые берега.

День был жаркий, над водою и в скалах мерцало, даль закрыло смолянистым маревом, по морю катилась легкая волна, плетя легкое кружево на ярко-синей воде.

Речной человек, я не ощущаю, не воспринимаю морских красот. Побывав на Черном, Адриатическом морях и даже на Тихом океане, ничего не воспринял, разве что много воды и что она во время бури страшна. Но Эгейс-

кое море — особая статья: ярко-синее, расшитое по всей ширине белыми прошивами, вдали оно сливается в белое покрывало, утопающее в мерцании воздуха, качаемого солнечным зноем. Из воды там и сям торчат скалистые останцы, растрескавшиеся, с гротами, впадинами, унырками, часто сквозными. На многих островах и скалах торчит деревце, живое, приземистое, длиннолапое, где и рожица сосен.

На Патмосе, Богом сеянные, растут лишь сосны, твердокорые, сучковатые, с длинными, хрусткими иглами. Подле этих сосен, в тени рожиц, по крутым склонам — огородики — перевернутые комки серой супеси, склеенные все той же бурой глиной. Что на них растет — не знаю. Стоял сентябрь, и огороды давно уже пустовали, сады так же были убраны, но в магазинах и в ларьках всего было навалом. В городке и в порту кое-где велись деревца, посаженные жителями — пиклые пальмочки, серые акации, инжир, орех и все та же живучая сосна да мелкие полузасохшие кустарники, уцепившиеся оголенными сплетениями корней за камни, которые там и сям крутобоко и обвально вдавались в узкие улочки, в каменистые щели переулков, чаще всего кончающиеся каменным тупиком. И в этом раскаленном пекле, в теньке, в щелке ли бликом желтел сухопарый цветок или обнаруживалась на обочине россыпь разбрызганных синеньких головочек, похожих на окаменелые брызги моря. Низкорослая, сухо хрустящая польня росла и дурманно пахла вечерами. Однажды нас угостили крестьянским вином, настоящим на этой польне, и я понял: как нелегка, но пряна жизнь обитателей здешних тысячелетних островов. Кстати, все здесь, даже солнце, приручено и приспособлено для труда и жизни. Электричество, например, добывают с помощью солнечных батарей, расположенных на всех крышах городка. В полдень солнце пекло так, что все вокруг плавало, колебалось в расплавленном воздухе, и не иначе, как по причине жары и слепящего солнца греческие военные моряки, ставшие заслоном в горловине бухты, прозевали пассажирский паром, и в тот же миг, когда на горизонте показался огромный белый корабль с патриархом и высокими духовными лицами, к пирсу подкатило суденышко, но было тут же отогнано в глубь бухты, к благоговейно замершим кораблям, яхтам, катерам и лодкам. Парадно были выстроены сдвоенные оркестры военных моряков в парадной форме, терпеливый народ не

простого рода, мэр города, начальство со всех концов Европы стояло под солнцем вокруг трона, сооруженного посреди пирса.

Корабль в сопровождении двух эсмишцев царственно вплывал в бухту. Он назывался «Эллада», был весь в праздничных гирляндах, украшен разноцветными флагами многих государств, сверкал золотом и ослепительной белизной. Дух захватывало при виде этого шествия с моря, думалось о Древней Греции, о ее сказочных царях, правителях, воинах, дворцах...

А на пирсе снова началось брожение, уже смахивающее на пашику — это неутомимый пассажирский паром подбортнулся к пирсу и вступил в диалог с руководством Патмосского порта, разряженным во все белое, серебряное, золотое. Мы, жители маленького прибрежного отеля, с крыши его следили за действием. Ученый-биолог из Англии, тоже под дежурным именем Питер, долговязый и ехидный, как и полагается британцам, комментировал происходящее на пирсе и, хотя слышать отсюда ничего не мог, переводил точно: «У тебя — патриарх! У меня — пассажиры! Знать ничего не хочу!..», «Ты будешь Богом проклят и наказан», «Для меня — Бог — компания, я не хочу терять хорошую работу...»

Ну, что бы у нас в России сделали с таким строптивым моряком и с его водяной калошей? Да торпедировали бы, и все дела! И военные моряки за бдительность и меткость еще и благодарность получили бы, может, и ордена.

Кончилось это дело тем, что начальник порта плюнул, замахал руками к себе, подманил к уголочку пирса паром, заторопил пассажиров, машины, те бегом выбрались на берег и растворились в праздничных толпах. Паром с облегчением шмыгнул от пирса и скоро бросил якорь у противоположного берега бухты, откуда уже неслись разноцветные лодки, каждая с ярким флагом, из глубины бухты тоже, веером рассыпаясь, мчались лодки, народ заволновался, качнулся, сдержанно загалдел.

«Эллада» бережно прислонилась к пирсу. Во все время приближения корабля к Патмосу на капитанском мостике стоял величественный патриарх, благословляя земли, воды, остров, монастырь на его вершине, народ, детей, скотов.

Играл оркестр. Махал руками, платками и флажками народ. Плакали пожилые люди на берегу.

Началось сошествие гостей с «Эллады». Самым наряд-

ным оказался почему-то румынский патриарх. Был он во всем белом, шелковом или атласном, серебром расшитом, золотом освещенный. Все остальные святые отцы сплошь были в черном, строгом одеянии.

Патриарх сошел с корабля последним, произнес короткую речь с трона, и на этом торжественная встреча закончилась. Во мне даже разочарование угнездилось: где привычный мне шум, гам, визгливая истерика, помпезность, отеческие приветствия вождей, крупные восторженные слезы и патриотические возгласы трудящихся. По привычке, не иначе, скорее от врожденного умиления, и на острове Патмос при виде ликующей толпы и Божьего человека стиснуло мое податливое российское сердце, и широкущее русское горло так и звало заорать, зарыдать, поги сами хотели запрыгать.

Между тем шли торжества в монастыре и церкви, служились молебны, почные бдения были, всеночные слушались, и обильное угощение в монастыре. И все это под неумолчный гул колоколов в поднебесье. Состоялось массовое посещение пещерки Иоанна Богослова, находящейся по соседству с монастырем, где с короткой проповедью выступил патриарх. Тут я его и поглядел близко, будучи ему представленным, поприветствовал его от имени россиян, поцеловал благословившую меня, грешника, сухонькую теплую руку владыки. Старенький, как и полагается патриарху, болезненного вида человек, несколько стесняющийся всеобщего почтительного внимания, он совершенно преобразался во время говорения духовного слова.

Пещерка, где работал великий пророк и мыслитель Иоанн-Богослов, тесна, но сводами высока, в сторону моря, в камне вроде бойницы пробито оконце, но все равно от многолюдного дыхания камень отсырел, по выступам его вытянулись следы капель. Длинные свечи, отгораживающие чуть принаряженный уголок, начали тускнеть, и огоньки на них удушенно задергались.

Здесь, в уголке, на выступе камня лежала топенькая книжка в малиновом переплете, обтянутом белым шнурком, — «Апокалипсис» — измышленное и здесь, в этой пещерке сотворенное бессмертное произведение...

В Патмосском монастыре хранится тринадцать тысяч древних рукописей. И как они хранятся! Зал в глубине монастыря сух, удален, тих, в нем постоянная невысокая температура. Книги в специально излаженных, на вид очень неказистых шкафах. Книгами пользуются, и для

каждого читающего отдельный стол, специальная лампа, не выжигающая, а хорошо освещающая текст.

И главный хранитель — монах — человек тихий голосом, с древними, печальными глазами, глядя в которые и в самом деле думаешь, что многие знания умножают скорбь. Надо заметить, что у греков — древнейшей нации земли — очень печальные глаза, и у патмосцев, и у арабов, и у фламандцев, и у испанцев, только у американца Нила да у меня глаза светлые, вечностью не затуманенные и печалью не обремененные.

На это я обратил пристальное внимание слушателей экологического семинара, который проходил деловито и волнительно во время торжеств. Самое удручающее и страшное это для нашей планеты обстоятельство, коли двум, еще не состоявшимся по существу нациям попало в руки самое грозное оружие — эти два незрелых народа, как дети малые с коробком спичек, играют, занеся спичку с огнем над головой человечества — зажгут — не зажгут земное помещение?

Зажгут — в глазах-то светло и пусто, подвигов, крови и всеобщего царствования хочется, миром владеть и командовать не терпится, иль просто так, жажнуть из любопытности — поглядеть на большой огонь, погреться в последний раз возле невиданного костра, не понимая, что наделал невзначай.

С отцом Иринеем много мы ходили по монастырю, смотрели достопримечательности его. Реликвий, богатств, ценностей в монастыре много, и все это хорошо доглядывается. Иконы, фрески, росписи под сводами и в залах здесь почти не реставрируются, они сохраняются в том виде, в каком пришли к людям из древности, после осад, пожаров, землетрясений. Кое-где видна лишь половина росписи, иногда лишь часть ее, но они, эти изображения, отмеченные временами, пропустившие через себя жуткую историю человечества, впечатляют куда больше, чем сияющие слюнявой позолотой, яркими красками, аляповатыми подмазками, неким папибратством, где и фиглярством наших реставраторов, подновленные иконы и росписи — кто здесь больше ощущается: древний иконописец или его залатавший, себя и свои скудные способности выразивший мазила?

Это, разумеется, не имеет отношения к тем истинным работягам, что спасали от оголтелых атеистов и начальствующих бандитов святые реликвии, слепуя в подвалах,

восстанавливали и восстанавливают выброшенные на свалку творения великих художников человечества, растерзанные иконы, спаленные фрески в храмах, где устраивались склады, пужники и копошники, называемые клубами. Современные варвары, глумясь над святынями нашими, превзошли в преступлениях всех завоевателей и чужеземцев, даже монголов. В тюрьмы, на лесоповал, в рудники, на дыбу, на огонь шли воистину святые и самоотверженные люди, истинные мастера, и поныне работающие на хлебе и воде, как веки назад работал преподобный Иоанн Богослов.

С иконами у меня получился конфуз. Их на Патмосе много. Все иконы древнейшие, и что-то меня в них не устраивало, было какое-то смущение оттого, что на иконах чего-то не хватало. А отец Иришей посмеивался и не подсказывал мне, в чем заковыка? Хожу, глазами и досаду: ну что-то неладно на иконах? И где-то уж на третий день ахнул: «Дырки! На иконах нет дырок!»

Дитя, рожденное в отечестве, где кто за гриву, кто за хвост растащили весь колхоз! И оставили нам сплошные дыры, прорехи и дырки — я ж не видел икон необразных, неизмордованных и, как современные дети не видят чистого неба и думают, что оно вечно было в дымах, в копоти, так и я — привык видеть иконы в дырках, будто испрострелянные картечью и шрапнелью.

В иконописи все целесообразно: и оклады, и венцы, и украшения, даже материал, на котором они писаны, — все-все дополняет лик иконный, сияние над ним солнечное, свет звезд небесных, с неба же посланный — идеал красоты и смиренности. К ним кличет чад своих Бог тысячи лет и никак не может докликаться, никак не может погасить в них первобытной дикости, звериной злобы.

Ходили по камням, все в гору, все по лестницам и булыжью, ноги болели, и я на каждом переходе присаживался на скамью, глядел и не уставал глядеть на прекрасное, светло-синее море. Оно навевало покой, думы о вечности, в которую у себя, в России, давно мы потеряли веру.

— Скажите, отец Иришей, — обратился я к моему постоянному спутнику, — вот это дивное море, монастырь этот, празднование нешумное и великое, мое почти случайное присутствие здесь и совершенно случайная, но необходимая встреча с вами — что это?

— Ничего случайного, — не сразу отозвался отец Ири-

пей, тоже неотрывно глядевший на море, — на все воля Божья, Божий промысел.

На прощание отец Ириней по сербскому обычаю подарил мне древнего, редкостного вина, привезенного с родины, пригласил к себе в гости, благословил, поцеловал в лоб и вдруг спросил:

— Вы иногда креститесь, но как-то стеснительно, зажато. Пробуете веровать?

— Пробую, отец Ириней. Да ведь недостоин. Будучи голодным беспризорником в детстве, воровал хлеб, на войне стрелял в людей, работая в газете и на радио, поганил души человеческие и прежде всего свою, крал людское доверие к добру, осквернял слово.

Отец Ириней внятно и печально смотрел на меня и совсем уж тихо молвил:

— Все мы недостойны, но верить и надеяться надо.

Порядочно уж дней и годов прошло после поездки на греческий остров Патмос, а все вижу и помню я так, будто был там вчера, но прежде всего вспоминается — нежно-синее море с райскими островами среди неторопливых волн с шевелящимися нитями белых кружев, монастырь на крутой горе, много-много добрых людей и среди них самый добрый, умный и чуткий — отец Ириней. И если поездка на Патмос, все пережитое и увиденное на нем было и в самом деле Божьим промыслом, то слава Ему, нашему многотерпеливому Создателю, и да святится во веки веков имя Его, как негасимая лампада под каменными сводами, над воротами древнего христианского монастыря, стоящего на острове, среди доброго-доброе, старого-старого моря.

НЕ ЗАПРЯГАЙТЕ ЖЕНЩИН В ПЛУТ

РАССКАЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

— Я и по сей день как увижу в телевизоре женщин, запряженных в плут, так меня и захлестнет слезами. Это что же такое? Человек хуже скотины! И показывают ведь, показывают, не стыдятся. Начальство бы, которое придумало экое измывательство над хресьянами, в плут-то, в пристяжку — вот тогда бы ладно было. Да чего-то не видела я пачальство за плутом-то. Люди пашут и боронят, оно на трибунах говорит чё-то, все время блага сулит...

Однова и меня запрячь хотели. К весне сорок четвертого года война чисто вымела в нашей деревне Деряжнице дворы и сусеки. Мужиков нет, лошадей — две калеки, бабы, что при силе, все угнаны на лесозаготовки либо при фермах волохают. А пахать и сеять надо. Председатель у нас повый, по фамилии, дай Бог памяти, чуть ли не Акулиничев, с им уполномоченный в галифе и с орденом. Собраше собрали — одне старики да подростки. Так и так, товарищи, война близится к победному концу, нужно еще одно напряжение, последнее, чтоб помочь фронту доломать супротивника. Доломать так доломать. Да чем и кем доламывать-то?.. Вот тут председатель наш и уполномоченный сообразили: раз тягла нет, придется самим колхозникам проявить сознание, пристягнуться к плугу и к боропам...

Парнишки зубоскалить начали: «Ты, Катька, тпру!», «Ты, Мотька, и-пу!» Старухи в голос. Старики затрецины зубоскалам раздавать. Мне тогда шестнадцатый год шел. Я за старшую в доме. Мама на почь с леспромхоза мокрая вся приехала, узнала про наши новости, завыла, давай Гитлера и жизнь проклинать. Я ей говорю: «Надо, дак...» Она мне: «Дура! Надсадишься. Кровью изойдешь. Рожать кого и чем будешь?!» — и от отчаянья, не иначе, хлесь меня, да и младшеньким ни про что падала, на печь всех загнала, сама по деревне к бабам побежала. Я так в слезах и уснула. Когда мама с похода вернулась — не слыхала.

Сделала я себе из старой детской пеленки ляжку, к веревке ее увязала, паказала младшеньким, что делать, да чтоб избу не спалить. Иду к правлению, там народ об чем-то шумит. Председатель Акулиничев отлаивается. Концы-кошцов Акулиничев сказал народу: «Как хотите, но чтоб сев произведен был в срок и полностью, иначе мне тюрьма и вам не поздоровится».

Акулиничев сел верхом на коня, в другие бригады уехал, да три дня и не появлялся в нашу Деряжницу.

Савоська-хромой, под косилку он в детстве попадал, заснул на кошной косилке, упал с сиденья, ну ему погу повредило, пальцы поотхватывало, шибко всего порвало и порезало, для войны он не годный был, дак вот хоть и хромой, и калеченный, но все-ш-ки мужик, голова у него варит. Савоська велел со всех подворий, чердаков и сараев нести в кучи сети, педотки, питки, иголки для починки сетей.

У воды живем. Река Вожга и певелика у нас, да шибко рыбна. Зимой палим в деряжшинские перекааты на икромет приходит, судак тут охотничат, веспушь мелочь соберется — аж вода кипит, после ледохода, ближе к теплу жалует икряная царица наших вод — пельма. Почитай, у каждого путевого, особо не у путевого, фартом жившего мужика, сетепки водились. Удочками у нас робятишки только баловались, мужики удочек в руки не брали, не хотели свое мужицкое достоинство ронять.

Целый ворох сетей попаташшыли бабы и ребятишки. Савоська гепералит, тлелые сети отбрасыват, подюжей которые — чиить велит. Развесили мы рухлядь на вешала, бегаем с иголками, чиим. Савоська на берегу с ребятами огошь жгут, баркас смолят — совсем он рассохся, давно на ем никто не рыбачил.

Из вязаных-перевязаных сетей — драшья и рванья — собрали мы певодишко метров на двести. Посадили, как могли, грузила, паплавки приладили, тетивы из вожжей да из бечевок разных навязали — узел на узле. Отобрали девок и робят, что покрепче. Поплыли рыбаки. На первой же топе баркас обернулся. Савоська в певоде запутался, ес мы его спасли.

Сидит Савоська на берегу у огня, сушится и даже не матерится. Не может. Все слова забыл. А уж такой ли спец был, такой ли визгун! Значит, верх психа у него. Убить может, на слово сил нету. Да и понимал: с баркасом и певодом мужики управлялись артельно, и потому сдерживался. «Робятки, робятки!..» А сам дрожмя дрожит, папор в себе держит.

А мы худо-бедно рыбачить-то под его командой приспособились. Одной топей половину баркаса рыбки черпнули. Как к берегу доплыли с добычей, пародишко, какой постарше, на берегу был, на колени пал, в небо руки тянет, Господа благодарит.

В той пробной топе угодило нам пяток пельмов. Ухи паварили, подкрепились, поспали — хода пельмы ждем. И вот она явилась! Пером воду режет, под перекаатом узлы вяжет, буйством река охвачена. Кинули мы певод и завязили в рыбе. Савоська голосу лишился. У рыбаков глаза на лоб от азарту. Потихошьку, помаленьку загружаем певод, к берегу его ведем, рыбу пятим, понимаю, конечно, что всю рыбу нам не взять, порвется хилый певодишко. Но хоть бы не всю рыбу, хоть бы долю какую взять.

И взяли! Савоська, опять же Савоська, не велел певод

на берег пятить, подвел баркас к отмельному месту, закрепит концы и кляч невода, да первым с себя штаны долой — черпать рыбу из притопленного неводишки. Ну тут и все мы. Кто нагишом, кто как, будто в святую купель бросаюсь, с ведрами, корытами, сачками. И начерпали рыбы — берег шевелится.

Леспромхоз в пятнадцати верстах. Послали Акулиничева на переговоры. Он как сказал директору леспромхоза про рыбу, тот целоваться полез, падали, говорит, трудармейцев, их ветром шатат, кормить нечем, план давай.

Леспромхозовский тракторный прицеп загрузили рыбой, картошшонок из последнего выделили, сами себе тоже по пуду-другому рыбы навесили, чтоб за плугом и бороной не падать. Леспромхозовскими тракторами вспахали и поборошили наши поля. Тем временем инвентарь отладили и где сеялками, где вручную, отсеялись. Товарищу Акулиничеву вышло поощрение, его в райком назначили, кабинет дали отдельный, в газете портрет поместили. А наш рыбный генерал Савоська простудился шибко и недолго маялся. Никому уж рассказать не сможет, чего ему, калеке, стоила та рыбалка. Некому стало рыбным делом руководить. Но мы уж сами паловчились от реки питаться, и даже после войны еще долгий у нас союз с леспромхозом был. Потом моторки появились, всю рыбу поразгоняли, молевой сплав по реке затеяли — перестилище нарушилось. Рыба куда-то подевалась.

Мне после победы калеченой-увеченой, а все ж живой солдатик достался. Четверых детей нажили, в люди вывели. А походи бы я в плуте, кому бы я пужна была?..

НИКТО НАС НЕ СЛЫШИТ

Я был в Вашингтоне в тот день, когда исполнилось 44 года с той осени, как мы сошлись с моей женой (тогда не женились, тогда сходились, и не иначе, как Бог помог многим фронтовикам не только выжить, но и сохранить семью!). Охватили меня септимертальные чувства, и решил я позвонить домой. В помощники попросил русского человека, отлично знающего английский язык и механизм современной цивилизации.

Он долго заказывал разговор, потому как на центральной станции связи Вашингтона плохо себе представляли, где этот город Красноярск, и так же, как наши дороги

связисты, все время путали его с Краснодаром. Но когда было объяснено, что это в Сибири, вашингтонские связисты удивились да еще и прониклись особым почтением к заказчику, а узнавши, что на войне он был связистом, и вовсе в умиление впали. Старший смеппы заверил моего терпеливого товарища: «Сэр! Я и моя смеппа сделаем все, что в наших силах, чтобы муж поговорил с супругой в такой для них знаменательный день, тем более что они женились на войне, где мы были союзниками».

Ничего из этой доброй затеи не получилось, хотя звонили с вечера да поздней ночи и продолжили вызов утром, после побудки. Американские связисты бились до усталости, преодолевая немислимые пространства и преграды на лишнях связи.

Наконец, изнемогши, старший смеппы устало сказал:

— Сэр! Передайте наши извищения русскому гостю и от нас поздравьте его со столь для него знаменательной датой. Мы сделали все, сэр. Мы дозвоились до Красноярска, но нам сказали, что дома никто не подходит к телефону. — Старший смеппы помолчал и добавил: — Да, сэр, везде в этой стране почему-то не берут трубку, когда мы, наконец, дозвоаиваемся до домашнего телефона...

Я взял трубку и от своего имени сказал связисту благодарность по-русски и по-английски, с помощью товарища заверил его, что расскажу всем друзьям и товарищам о том, как добросовестно умеют исполнять свои обязанности американские связисты...

Я же знал, растяпа, что мои земляки просто поленились набрать номер моей квартиры, они или болтали о перестройке, или дремали в этот поздний час, может, и согласовать хотели с инстанциями, как относиться к звонку из Америки, из какого-то Вашингтона, соединять — не соединять. Но ближнего начальства не нашлось, дальнее уже спало. И решили безответственные работники все просто — не соединять меня с женой, сказав обычное-привычное: «Квартира не отвечает».

Никто нас не слышит. Никто ни за что не отвечает. Ни у кого ни за что сердце не болит.

НЕПОНЯТНАЯ ЖИЗНЬ

Жил в славной современной гостинице Роттердама, неподалеку от единственного старинного здания величественного вида, уцелевшего во время войны. «Нашь корь-

совет, — не без юмора сказал мне вчера спутник, учившийся русскому языку в Москве.

Между «корьсоветом» и гостиницей — торговые ряды, где есть все, что угодно душе, телу, шоху и духу. А между ними огромная площадь с пустым уже к осени бассейном, с цветной разметкой по камню — для празднеств, и ближе к ряду кафе, пивных баров и мелких магазинчиков — две симпатичные скульптуры.

Одна — человек с гитарой. Старой формации у него и гитара, и стуртук, бородака, мешки под глазами, смышленный взгляд — бард прошлого века Пард Спеепхоф, поэт-певец со смиренным лицом, совсем не похожим на наших современных мужиков-бардов с пропитыми и свирепыми мордами.

Чуть поодаль скульптурка женщины, читающей книгу. Поскольку город ветреный, все заведения — питейные, едальные и прежде всего детские — незаметно огорожены стеклянными стенами, обвешанными цветущей зеленью.

Хожу, смотрю, и мне чего-то все недостает, что-то привычное глазу здесь не присутствует, не приковывает взор. И вдруг озарение: Ленина нету — привычной его примелькавшейся фигуры, то в кепке, то с голой лысиной под дождем и грязным снегом, отчего он, стандартно вытесанный или отлитый из гипса, плачет либо черными либо желтыми слезами, и за пазухой у него ведутся воробьи, на плечах сидят и марают его голуби мира...

Как же так? Растут цветы, фрукты, овощи, на продажу целым караваном разложены, да так, чтобы красиво смотрелись, привлекали взгляд. Магазины, ломящиеся от товаров, пустые от покупателей и оравы горластых продавцов — один тут, как правило, продавец со всем управляется. Где-то в высоте звучит тихая, миротворная музыка, народ шикуда не торопится, не матерится и о политике не орет.

Как же так? Это же неправильно все! Это ж не та и не такая жизнь! Вот там, где Ленин маячит на каменных площадях, на засраных козами и бродячими собаками райплощадках, рядом с хило колыхающимися вечными огоньками — непреклонно, хозяйски шагнув вперед, воинственно выкинув руку со стиснутой в ней кепкой или просто перст, указующий путь вперед, к светлому будущему — там все и вся напряжено, раскалено, дым, злоба над землей стелется, жених и невеста в напрокат взятой машине, в свадебном одеянии, тоже напрокат выданном, к подпо-

жию вождя несут в тридорога купленные на базаре у младших братьев цветы — там жизнь, там устремление, там трепет, ожидание и предчувствие небывалого счастья. А тут пустая площадь, непонятная жизнь. Что за жизнь? Это ж прозябание!

11 октября 1990 г. Роттердам. Утро.

Поставил я эту дату к «затеси» и думал — исчерпал тему. Аи не тут-то было!

Вечером заехали за мной журналисты, и я сообщил им свои радостные чувства оттого, что не увидел никаких вождей на площадях и высотах, а они мне в ответ: «Рано обрадовался!» — повезли меня в Гаагу, и я через какой-то час узрел бюст отца и учителя своего родного — Иосифа Виссарионовича Сталина. Стоял он под стеклянным колпаком посреди небольшой площади, отлитый из бронзы, на бетонной тумбочке, и перед ним хвост селедки. Стоял он, надо заметить, в шестом районе, а в районах этих по голландским городам располагаются самые развеселые заведения и зрелища, дома терпимости тут с прозрачными стеклами, и за каждой дверцей на виду почти совсем раздетая красotka поправляет чулок, причесывается у зеркала, подмигивает проходящим мимо мужчинам, покачивает бедрами; музыка и смех всюду, как на наших людных площадях во время торжественных празднеств.

И вот, значит, среди этого всеобщего, всем доступного бардака и стоит товарищ Сталин под колпаком. Отчего он под колпаком — мы сразу догадались: не зная, что это великий вождь международного пролетариата и всего советского народа, подвыпившая, греха вкусившая молодежь била об его бронзовую голову бутылки и справляла малую пужду за его спиной.

Но отчего он угодил в это место? Мы лишь могли предполагать, что после войны из почтения, всему миру внушенного нашей победой, участники довольно активного и героического сопротивления маленькой страны из чувства благодарности воздвигли сей скромный монумент в рабочем квартале. Но потом тут все перестроилось, возникли большие дома, и помните, как грузины утверждали, что Москва построена вокруг ресторана «Арагви», так тут бардаки вокруг нашего вождя и учителя...

И только одно недоумение не мог разрешить один из спутников:

— Я помню, точно помню — селедка на постаменте

еще в прошлом году была целая! И когда он ее съел?.. — Подумал, подумал и грустно добавил: — Ночью, наверное, когда все утихает, он ее грызет, каменную, твердую, без любимого грузинского вина...

НА ДНЕ РЕКИ

Медленно, по частям завозили в заполярный станок громадный памятник великому вождю, торжественно возводили стеклом сверкающее сооружение, внутрь которого, будто жемчужина в раковину, была всунута приземистая, с бапо величиной избушка с подрубленными нижними вещами и заплатами новых сутупков в стенах и по углам. В этой избушке мыкался будущий вождь мирового пролетариата во время ссылки и отсюда, из бездорожного, вьюжного Заполярья каким-то, совершенно непостижимым, образом бежал...

Когда работы по сооружению музея и памятника были завершены, власти, державшие под неусыпным контролем важное дело, издали указ: всем судам, проходящим по реке, вплоть до лодок, приставать в знаменитом отныне месте, командам, пассажирам и путешественникам идти в музей — на поклонение, называлось это скромно — экскурсией.

И шли. И кланялись. И плакали.

Время тоже шло, бежало. И однажды те же власти, по чьему велению сотворялись многочисленные монументы и составлялись указы, строгой бумагой велели памятники великому вождю по всей стране скovyрнуть. И началась работа, достойная памяти и патуры, им послужившей.

О спосе тех бесчувственных камней боязливый народ сложил легенды и шепотом рассказывает их до сих пор потому, что легенды настоль жуткие, насколь жутка и сама история камешного гостя.

Вот один из рассказов очевидца, старого сибирского капитана, который с юности ходил по реке и помогал сооружать памятник. Не раз бросало его судно якорь супротив музея, и уже в качестве капитана, сняв картуз, шел он с командой по осыпистому крутояру к высящемуся на берегу монументу.

После того, как по всей стране убрали памятники, тот монумент все стоял и стоял, одинокий, издали видный на заполярной плоской земле, и уже не приставали к берегу

послушные суда, не топтались благоговеющие скопища людей у подножия его с цветами. Клумба перед основанием памятника заросла редким северным бурьяном, ребяташки перебили камешьями стекла в помещении, бродяги унесли из избышки музейную рухлядь, памятник обгадили чайки, ветры, дожди и лютые северные морозы точили и покрывали трещинами мрамор, получившие после смерти вождя помилование слыльные и освободившиеся из лагерей заключенные справляли пужду на монумент, писали изречения и непристойности на мраморе, «и Аз воздам» — выцарапал какой-то грамотей гвоздем на груди камешного вождя, — и «я получил свое, ты получи свое — мы в расчете!» — изрек другой.

— Однажды почью, — рассказывал старый сибирский капитан — коцдовые сибиряки избегают называть собственным именем дьявола и всякую нечистую силу — с тайным, коробящим душу трепетом употребляя слово «он», — темшой осешей почью, нарастив пять буксирных тросов, набросив стальную петлю на «него», рабочий буксир городского порта, откомацдированный на эту работу, сроил «его» с постамента, сволок на середину реки. Речники передавали по цепочке с корабля на корабль, с теплохода на теплоход жуткую новость: «он» лежит вверх лицом и смотрит из воды... Мы тоже нарвались на «него». Шли в межеш с севера, груженые рудой. Вахтенный без ступа ворвался в мою каюту. «Николай Андреич!.. Товарищ капитан...» — и показывает пальцем за борт. У самого губа дрожит, глаза под лоб завело, лицо белей бумаги.

«Ну, напоролись! — мелькнуло у меня. — Половину навигации без аварии и...» — глянул за борт и, веришь — нет, обмер, волос на голове вроде бы ветром подняло... Со дна реки глядит «он»! Лицо бело, скорбяще. Не лицо, прямо-таки лик. Всего, может, минуту-две и было нам видение, но памятно.

Год за годом, навигация за навигацией, время стирало видение, да и забило «его» ледоходом, запесло песком, зарыло камешьями, но до самой пенсии ходил я в том месте с опаскою, на всякий случай рулил не фарватером, бережней рулил — риску-то сесть на мель почти нету. Река здесь широкая.

И вот что еще любопытно: станок-то, поселок-то ушел со своего места. Километрах в двух от станка было здание метеостанции и три домика с теплицей. Опытный овощ-

пой совхоз называлось это. Вот туда с худого клятого места один по одному и начали перемещаться дома. Перешли и кедрачом загородились. Школьники кедрач посадили, хотя здесь отродясь никто ничего не сажал, здесь только рубили, ловили, стреляли... Слышал я — зауральское село, где сын предал отца, тоже со своего места ушло, и забытый, проклятый односельчанами мраморный памятник отцеубийце стоит, обмаранный птицами, среди дикого леса.

...В грустном фильме лукавого, в морализаторство на старости лет впавшего киномаэстро, услышал я, что так хорошо пачавшийся двадцатый век испортили маньяки. Не испортили они его, испохабили совместно с нами. И стоят по всему свету многокилометровые очереди к сооружениям, напоминающим вермишельные ящики, замаливая грехи, жаждая милости и благодати, несут люди цветы, кланяются, плачут в храмах и маршируют у монументов императорам, вождям, героям, а под слоем песка, на дне реки лежит «он», терпеливо дожидаясь, когда его раскопают. Может быть, и дождетсЯ. «Он» нетленен. Мы — смертны. Время и впрямь сильнее нас, сильнее бед и зол земных.

ПОЙТИ К ЖУКОВСКОМУ

Молодой, по уже падменный бизнесмен, у которого на брюках сзади и спереди по-иностранному писано, что он очень модный, современный и богатый человек, кривя губу, спросил меня прошлым летом в Овсянке:

— А что это, Виктор Петрович, ваши односельчане вместо того, чтобы сказать «Пойду в магазин», говорят: «Пойду к Жуковскому». Кто он такой, этот Жуковский? Что за знаменитость?

— Кто он такой? Да всего лишь продавец сельского магазина, после — заведующий этим же магазином. Но, как видите, местная знаменитость — и до се почитаемый всеми односельчанами человек и хотя давно на пенсии, давно «не у дел», но помнят его люди, все еще идут «к Жуковскому».

Я много лет знал Филиппа Кузьмича, тихогоголосого, всегда вежливого, даже застенчиво улыбающегося, ко всем приветливого, доброго соседа, отца, мужа, деда. Проработал он в овсянском магазине с сорок седьмого года до конца годов восьмидесятых, ни разу не судим, не садим

за растраты, мздоимство, воровство и плутовство не привлекаем.

Я листаю его красный документ — военный билет: год рождения 1911, солдат, рядовой, оружейный номер, окончил пять классов в 1927 году, в Даурском районе, в селе Смоленка Красноярского края, бес — почему-то с перепосом — партийный, русский и наконец означено — служащий.

Ах ты, Господи Боже мой, как льстило это слово всякому деревенскому малограмотному мужику, как возвышало его в глазах односельчан, да и в собственных глазах тоже. Ныне шибко об себе понимающие борцы за народ и за гуманность высокомерно и презрительно, не говорят, но выплевывают, как харчок жевательной резинки — ип-тел-ли-ген-ция! А если к этому добавляется слово — сельская, то это уж и вовсе получается — тварь презренная, даже вредная.

Но Филипп Кузьмич понимал слово «служащий» буквально, безо всякого подтекста. Служащий — это человек, призванный служить народу. Он и «вид» и «марку» держал на людях соответственно редкостному званию — всегда в костюме, пусть и педорогом, но поглаженном, всегда в чистой рубашке, при галстуке, если сам за прилавком, то и с голубым карандашом за ухом. Летом и осенью в плаще ходил, зимою — в полупальто с меховым воротником, которое берег, и оно живо до сих пор, и его уж падевают только по хозяйственной надобности.

Родная и до стопу народом любимая партия и ее подручная, ополоумевшая от успехов, безнаказанности и разнузданности, советская власть в очередной раз перетряхивала страну, как старую вшивую шубу, и гнала с места на место народ, в первую голову крестьян, чтоб они не забывались, сидючи на земле и работаючи от темна до темна, что идет борьба за всеобщее счастье и при борьбе такой совсем не обязательно иметь свой дом, свое хозяйство, трудиться и детей труду учить, а падо в страхе куда-то бежать, ехать, двигаться, разорять деревни, рушить храмы, жечь иконы и негодные книги, орать на митингах и вечерами в клубах и бараках: «Все пропью, гармонию оставлю...» и «Стали, побольше бы стали, меди, железа вдвойне...»

Их табунами гнали из Забайкалья в Красноярский край, а из Красноярского края табуны пылили туда, в Забайкалье. Повезло тем, кто двигался вниз по рекам, каково

было тем, кому выпало устремляться вверх по течению, в горы, в дремучую тайгу, в тундры, в степи, в пустыни?.. Но направители жизни и новой морали считали, что в движении супротив течения и есть величайший смысл, крепнет мускул и дух народа, а что ребятишек, стариков да мужиков и баб в придорожье иль в ледяные торосы на Енисее закапывают — так без потерь борьбы не бывает, «лес рубят — щепки летят», — сказал мудрейший из мудрых, отец, учитель и «корихвей всех наук», как его именovali речистые пропагандисты.

Жуковские попали в благословенный приенисейский Даурский район, в село Смоленка, которое стоит так и на таком месте, что с него можно картинки рисовать иль открытки сымать и за деньги продавать. Я об этом говорю так уверенно, что уже во времена новые бывал здесь, на подпором обезображенных берегах, на воде, называемой морем, а на самом-то деле это дико и наплевательски заросшая, мертвая во всех смыслах лужа, и ловил хариусов на подпертой, подмытой, робко, в кустах и среди полей прячущейся, окороченной и упиженной речке Смоленке, в которой ключевая, студеная вода и без сахара сладка. Но и здесь, на выселении, хорошо обжившимся трудягам-крестьянам не давали спокойно жить, все их гоняли по разнарядке на лесозаготовки, на сплав леса, на какие-то бурные, многолюдные стройки. Увезут, забросят в котлованы, в ямы, во льды и снега, подержат, поморят, погоняют и бросят. Хочешь — возвращайся, хочешь — тут оставайся, к индустриальному району прикрепляйся.

Вот и служба подошла-приспела. Попал Филипп Жуковский в 98-й артиллерийский полк, орудийным номером семидесятимиллиметровым пушкам и два года около них учился родину защищать. Потом его уж все крепило к хозяйственным службам: был завоём военной столовой, в танковом полку и механизированном корпусе при хлебозаводе — пекарем, ну, а в поход на восток, воевать с японцами отправился стрелком отдельной мех. дивизии.

У-уф-ф-ты — передых! Мирная жизнь началась, женился на выселенке из Забайкалья, с коей знался еще до армии, да и отвековал с ней весь век. Ох, сколько же за этот век они отработали, отпахали вместе. Ведь он-то, служащий-то — хоть днем при карандаше за ухом и за прилавком отдохнет, а она-то, Феня-то — я уж так ее и буду называть, как все в деревне знают и зовут ее — на производстве, да при дворе и при детях. А производство-то,

Господи, спаси и помилуй — все те же лесозаготовки, все тот же лесосплав.

— До того устряпаемся, Виктор Петрович, что мокрые поровим на пары упасть. И пикаких мечтов о гулянках или о баловстве каком. Иной раз так одежонка и не досохнет на теле, в сыром снова в лесосеку.

Какое-то время Филипп Жуковский работает в городской торговле, но не может пайти свою жизненную ячейку в городе, по природе и складу души он — деревенский мужик, и когда ему предлагают поехать из Красноярска в недалекую деревню Овсянку, он с радостью соглашается.

В этом доме и сейчас магазин, начал он переходить из рук в руки, потому как маникюрная в нем торговля происходит: иностранные бутылки, соки, жвачка, дорожные предметы обихода. Дожили до того, что соли в магазине не стало, хлеб перестали привозить, спичек не купишь. Воистину догнали друг друга город и деревня, сравнялись в беспутстве, разгильдяйстве и безответственности — полная смычка города с селом наконец-то произошла, и хоть плачь от осуществления древней мечты деревенский люд.

И плачут, особенно старухи и старики, которым непосильно подниматься в гору, в поселок Молодежный за покупками, или ехать на Усть-Ману, а то и в Дивногорск.

А было, было всеобщее возбуждение в селе и тихий говор собравшегося возле магазина люда, сидят, пересуживают друг друга, молодежь продергивают, бывлые дни и годы вспоминают, и чем ближе к обеду, тем кучней у магазина.

Это значит, с утра пораньше Жуковский уехал на базу. На городскую. База та где-то на Бугаче, и работают там сплошь дружки-приятели Жуковского, и он уж непременно привезет товару всякого от дядюшки Якова.

И вот она, долгожданная машина, забренчала, зафырчала, лбом в ворота уперлась, стоит, радиатором парит. Из кабины выходит сам, усталый, халат на нем мукой измазан, пахнет от него табаком, конфетами и фруктой. Карандаш, как всегда, на месте, за ухом.

— Граждане-товарищи, — говорит он народу. — Зря сидите. Домой идите. Будет разгрузка, распаковка товаров, занос их в магазин, раскладка, то да се, да и мне надо пообедать — с утра, как юшковский кобель, — голодный. Так что откроюсь не раньше трех-четырёх.

— Да ничё, Кузьмич, ничё, подождем — время у нас цело берем. Может, помочь?

И никто не расходится, ребятня в щель ворот заглядывает, бабам и дедам сообщают, чего привезли и в ящиках на склады попесли.

Народ прибывает, напряжение возрастает.

Но вот звякнуло что-то внутри магазина, звякнула шкворина в ставне окна, и двери открылись — заходи, народ честной, чем богаты, тем и рады!..

Всякое бывало в жизни Кузьмича. И писали на него, и докладывали, и комиссии посылали — одна строже другой. Главное преступление: утаивает товары, хитрован — для начальства пасет, на всякий случай бережет. Но никогда никто не говорил, навета не давал: себе, мол, взял, унес, присвоил.

— Да он, — рукой махнет Феня, — еще и из дому чего-нибудь в лавку свою уташшит, метлы, веники, дерюжку под ноги — это уж непременно унесет.

Помаргивая глубоко сидящими, стеснительными глазами, жаловался Кузьмич:

— Да я ж, для них же, для деревенских покупателей и придержу товар: кому на похоропы, кому на свадьбу. У меня всегда на этот случай все есть, — помолчит, отвернется и вздохнет. — А и комиссия та же: не дай ящик тушенки, альбо колбаски деликатесной и коньячку — не отвяжется, понапишет, магазин запрет, все как есть кишки вымотает...

Сам Жуковский был человек непьющий, если уж в праздник да с гостями рюмочку замучает, и то как-то не к душе, через силу вроде бы.

А жизнь шла, бежала, и до пенсии дело дошло, но еще долго и не по разу на день бегал Филипп Кузьмич в магазин — «помочь девкам», покалякать о делах торговых, обороте, плате — паценках — ух, он в этих делах знал толк, за три метра в землю видел.

— Поедет, бывалоча, на курорт, — смеется Феня, — отдохнет-не отдохнет, мчится в Овсянку на всех парах, а тут девки из магазина со слезами — растрата, недочет, на базе омагули. Мы еще и чаю не попьем (так вот деликатно Феня называет свидание после долгой разлуки), а мой Кузьмич очки на нос, шшоты на стол — и пошел считать-пересчитывать. Скоко он их, этих сикушек от тюрьмы спас — и сказать невозможно.

Ушел на пенсию Кузьмич, отрешился от торгового дела, спокнул свой магазин — и начал расклеиваться, болеть, по все корову, поросенка, домашнюю птицу держали — дети и внуки в городе живут, помощь им пужна, понаедут

на выходные полон двор пароду. Но трудно стало с сенокосом — негде скот пасты — все удобы, поляны, электро-трассы дачами застроены. И вот отчего-то заболела коро-ва — лишились главного кормильца, притих двор, и сам Кузьмич слег, как оказалось, окончательно и навсегда.

Среди лета, в погожий солнечный день провожали односельчане Филиппа Кузьмича Жуковского в последний путь, и невольно вспоминались мне строки одного провинциального поэта, и очень мне хотелось, чтоб их прочел не только тот новоявленный, форсисный бизнес-мен, а все, кто еще способен думать о своей судьбе и конце жизни:

А так ли прошли мои годы?
А много ль осталось прожить?
И много ли будет народу,
Когда понесут хоронить?..

За гробом сельского продавца, Филиппа Кузьмича Жуковского, шло все село. И вот уже много дней и месяцев прошло со дня его кончины, а в Овсянке все еще люди говорят:

— Пойду к Жуковскому.

МАНСКАЯ ГРИВА

В начале века, может, и позднее, на Манской гриве был пожар и огнем смахнуло с нее всякую растительность. Огонь произошел, скорее всего, от палов, с помощью которых на Манском перевале деревенские мужики расчищали земли для пашен.

Во время моего раннего детства, когда дозволено мне было самостоятельно ходить на Усть-Манскую заимку деда, все уже на Манской гриве отросло, воскресло и освежилось. Поднялся лес, среди которого там и сям, из травы, мха и цветов черным дулом целилось сторевшее когда-то дерево иль выступала, блестя синей сажей, что вороним крылом, вся в рыжей трухе, в дырках на месте выгоревших сучков валежина, со всех сторон обросшая земляничником, костяником и клубничником. Цветов и ягод в молодом лесу было море. Не знаю, доводилось ли кому-то видеть покрытую ало-красным ковром земляники гору? Я видел этакое чудо на Манской гриве.

На горах же, за Королевым логом, образовались паш-

ни, звалось это место Бетехтинско-Шахматовским улусом. Земли на горе были неважные, намного хуже, чем на Усть-Манском и Фокинском улусах, где нынче располагается плодово-ягодный совхоз «Манский», а на месте крестьянских заимок вырос целый городок дач, принадлежащих в основном престижной публике. Губа у этой публики не дура — здесь, с этих земель наши крестьяне меньше тридцати центнеров зерна с гектара не брали. Овощи здесь не росли, можно сказать, перли из земли дуром. Девкам и парням фокинского рода из-за тех земель, следовательно, и «богачества», отбою от женихов и невест не было.

Не знаю, сколько хлеба брали на горах, по-над Манской гривой, однако же не голодовали, за океан с протянутой рукой не бегали. И красиво же здесь было, на Бетехтинско-Шахматовском-то улусе! Особенно приглядно делалось на исходе лета, когда желтые хлеба, как бы выпроставшись из-под зеленого покрова леса, отделившись от окошенных покосов, уйдя от сочно-цветущих ложбин, горели, переливались золотом под высоким небом и звон колосьев был так нежен, что, казалось, они играли на солнечных лучах, будто на тонко натянутых струнах.

Отдельные великаны-деревья, устоявшие при выжиге тайги, стояли среди хлебов, замороженно опустив ветви, и на каждом из них, как некое дополнение, на самой ветреной вершине непременно дремал, окаменев, сокол или коршун. Всякой птицы тут: перепелки, коростеля, жаворонка, тетерева — было так много, такой тут происходил хор, что, бывало, невольно замедлишь шаги, а когда дух займется от восторга — и вовсе остановишься, пораженный дивом и щедростью природы.

Прежде на Усть-Ману из Овсянки были две дороги: одна, от деревенского кладбища занявшись, пролегла через Фокинскую речку и затем взнималась в долгий подъем в гору, звавшийся точно и емко — «тянигусом»; вторая уходила по-за деревню, в верхнем ее конце, почти на займище петляла в крутую каменистую гору, заслоненную тайгой, от того места, где нынче располагается деревообрабатывающий заводик, оставленный в наследство гидростроителями, надоевший и овсянцам, и властям, и себе, да дурдом, с каждым годом все плотнее заселяющийся. Обе пелюдные травой-муравой, гусятником и другой придорожной неприхотливой травкой заросшие дороги соединялись возле Королева лога и далее — по змеиному распадку, по тому самому, где нынче никто не ездит, спускались к Усть-Манским пашням и заимкам.

С тридцатых годов, с полного воцарения в стране победного строя большевиков началось вытеснение местных крестьян с их пашен и заимок; в тридцать четвертом году размашисто действующие сплавщики, в основном самоходы-пролетарьи, которым пикого и пичего не жалко, избурили, изувечили усть-манские благодатные пашенные земли, потом и кровью отвоеванные у тайги, понастроили на них шумные, клопяные бараки, столовую, клуб, понакопали ям под мертвяки, сшибли избы — заимки — тракторами и всяким сподручным нахрапистым железом, вроде лебедок, воротов, и наши растерянно помалкивающие мужики, уцелевшие от коллективизации, гонений и нападок, не заметили, как оказались вытуренными на горы вместе с чадами и женами.

Бабушке и дедушке участок (не пашня уже, нет, участок!) достался там, где сейчас печально заселяет ромашковые поля и березовые рощи новое овсянское кладбище. Одну лишь осень копал я здесь картошку вместе со старшими, точнее, помогал копать, стало быть, собирал клубни, таскал сучья в костер, бегал за водой в ручеек, ел духовитые, рассыпчатые печонки. Мне кажется, я не забыл вкус той жжепой картошки и по сей день.

Потом овсянцев выжили и с этой земли, спустили их вниз, в свои дворы, пообрезали кругом, пообузили. Земля и деревня отошли в ведение Березовского, потом Емельяновского района. Через горы, через перевалы ходили парни пешком за паспортами, через горы, через перевалы — на приписку, на призыв в армию, на фронт.

Мой двоюродный брат опоздал на работу, и сплавная контора спровадила его за это в суд. В Березовке нарушителю припаяли полгода принудиловки, но пока он возвращался из этой самой Березовки домой, снова опоздал на работу — и тем же судом ему добавили еще полгода принудиловки, и он снова опоздал на работу. Тогда уж ему, как злостному нарушителю социалистической дисциплины, присудили год тюрьмы. Более он пешком через перевалы не ходил, его увезли в город бесплатно, на катере или на специально наряженной подводе.

Когда, как, какими головами придумано было передать эту вне своего района болтающуюся деревню, — никому не известно, сама-то деревня с ее дурдомом, лесо-

пилкой, блатным поселком энергетиков под бодрым названием Молодежный и двумя слизневскими, стихийно возникшими, поселками пикому не нужна, а вот земли, прежде всего манские, богатые — всем необходимы, и все ими распоряжались как хотели. В чьем только распоряжении они не перебивали, кто их не обгаживал, кто под дурнорост не пускал — хозяина-то фактически нет. Хозяев загнали в Игарку, в Верх-Енисейские прииски, кого и еще дальше, поумертвили там, поистребили — гуляй, свободная земля! Дурей и опускайся, родина!

В шестидесятые годы на Мане снимался фильм по моей повести, и я жил на Усть-Мане у родственницы по левую сторону реки, тогда еще дачами не захлестнутой. Сидя во дворе, подолгу смотрел я на Манскую гриву, которая отовсюду глядится красиво. Смотрел, дивовался природе и соразмерной мудрости ее. Шестьдесят лет прошло, а на гриве, на самой ее выгнутой шее какая была щетинка леса в моем детстве, такая и осталась, — ни единого деревца, ни одной березки не убыло и не прибыло, все они того же росточку, что и шестьдесят лет назад. На утесе, под этой гривкой леса, почвы почитай и пету, намыло, намело кое-что в щелки меж камней, тут и выросли, укрепились вечные деревца. Под ними дивной красоты произрастает мелочь. Здесь, на припеке, рано появляются подснежники, медуница синеет, первоцвет-баранчик в тепелке берез укрывается; потом их сменяют летние цветы: люпинчик, красоднев, петушки, примулки, потом одуванчики, горянки-саранки и куриная слепота, клубника в камешках забелеет цветом и непременно в ягоду обратится, подножную, мелкую, по гостям и любому путнику в радость. Потом много-много зацветет ромашки — сиреневая, желтая, ближе к лесу и полям — белоресничный поповник внахлест, кружевами скудную землю укроет. Акация, таволожник, волчья ягода здесь низкорослы, ершисты, но по осени загораются они таким разноцветьем, так искрят на гриве, что от них даже низкорослая, кислая на вкус горная репа, стало быть, карликовые кактусы, вроде бы обжигаются и тоже начинают багроветь соком палитыми лепестками, скорее похожими на языки диковинных существ.

Приехал я в семидесятые годы, глянул на Манскую гриву, и что-то меня встревожило, что-то на ней было

целадно, вроде бы не хватало скольких-то берез на юру, вроде бы дыра на гриве образовалась, глаз или зуб там выпули. Поднимаюсь, иду на Манскую гриву — и вот тебе привычная, современная картина: в гриву леса, в самую ее середку врублена и поставлена бетонная будка без окон, без дверей, зато опутанная колючей проволокой. По этой проволоке, по бесцеремонности обращения с природой видна рука наших никем не победимых военных. И долго они на этих горах обороняли ту будку, шикого сюда не пускали, кроме тех жителей Овсянки и Усть-Мапы, которые уже издавна сажали тут картошку.

И не раз еще летами сиживал я на Манском утесе, где и в детстве любил сиживать, хотя и боялся змей, во множестве тут в камнях живших, любовался слиянием двух рек — Мапы и Еписея. Змей здесь уже не велось, повытоптано многое было, кто-то из любителей костра огонек тут для распарки чефира разводил. Мапа, захлавленная сплавным лесом, едва шевелилась; Еписей на шиверах оголился; Манская стрелка, продырявленная мостом и дорогой, расколота, исковыряна, донага раздета. Но еще изсиливалась природа, еще восстанавливала себя, поднатужась на бровке котлована, выкопанного для бетонной будки, взялось и быстро шло в рост несколько березок, мелкой травой, неистребимыми цветами, клубничником и репой зарастали рапы от костров и порубок. Манскую гриву, как и всю российскую природу, утробить трудно, да возможно.

Вот за одно лето по всем старым пашням возникли обозначенные кольями участки под дачи, вокруг них запестрели заборы и заборчики, все, что было посажено детским овсянским лесничеством, немедленно было срублено, выкорчевано, лишь за дорогой, плотно сомкнувшись, непродуваемо и непроезжаемо стоял бор юношески крепкого соснячка, возведенного все тем же лесничеством. На участках возникло несколько будочек, даже пробным грибком взнялся было один-другой дачный домик, — и все надолго замерло. «Военные не разрешают, — покатылся слух по округе. — Будут тут строить что-то секретное. У них, у военных, от веку все секретное, от штанов галифе до голов, покрытых фуражкой, в которых неизвестно чего и есть ли?»

Тем временем, ломая яростное сопротивление сплавщиков и местечкового куражливого начальства, удалось

остановить сплав леса на Маше, почти уже погибшей от топяка. В первую весну после остановки молевого сплава, побывав на Манской гриве, я поразился пустышности реки Машы, ее какому-то сиротски-растерянному виду — так арестант, отбывший большой срок в неволе, неуютно себя чувствует, выйдя за ворота тюрьмы, — мир, ему открывшийся, кажется пугающе-просторным, в нем много дорог и пет конвоя, который хорошо умеет направлять именно на ту дорогу, по которой назначено идти.

Пятьдесят с лишним лет горная река, совсем не пригодная для сплава леса, делала подневольную работу, — тащила смертельно тяжелый груз и ослабела, износилась, обсохла. Богатая, свободная красавица, она выглядела бедной, бесприютной старухой. Много лет, много весенних ледоходов, много горных снегов и резвых речек потребуются, чтобы излечить обескровленную реку, чтобы воссиял ее прекрасный лик, чтобы воскресла она, оздоровела и снова сделалась той чудесной частицей природы, которую нам, дуракам, подарил Создатель.

Не с одной Машы был снят намордник, пужен был пример. Сразу на двенадцати реках края прекратилось насилие, был остановлен молевой сплав. Сдирал с себя большевистский намордник и народ, продолжалась борьба за «ничейную» овсянскую землю. Давно уже у деревни есть свой район, давно уже со всякой пуждой и доукой овсянцы ездят в Дивногорск, подписывают там пужные бумаги, и судят их здесь, и рожают они здесь, и свидетельство о рождении и смерти выписывают в Дивногорске, и милиция здешняя пусть и худенько, но бережет их, и свет, и телефон отсюда, а вот земель по-прежнему распоряжаются березовские и емельяновские власти. И как распоряжаются! Овсянцам вместо земли дулю в нос суют, людям пужным, стало быть, всяким блатным хитровавам, в основном высокоруководящего ранга, отдают лучшие земли, но чтобы трудящиеся не обижались, их под высоковольтные опоры, в лога, на пустоши определяют — так и всегда-то у нас на Руси было: сиятельству — палаты, холопу — скотный двор.

Начальник емельяновской администрации, закаленный кабинетный партдеятель, глумясь и рогоча, возглашает: «А вы боритесь, воюйте за землю, как ваши деды и отцы! Ишь чего захотели — задаром!» Как точно говорит мой

старый знакомый: «Коммунизм сдох, но дурь его осталась».

Бетехтинско-Шахматовский улус ныне не узнать. Весь он застроен дачами. Участки из-под высоковольтных опор вылезают и теснят молоденький сосновый бор, сотворенный детьми, вырубают его, сжигают, изводят. Русскому человеку, до крайности доведенному коммунистической шайкой, участок земли, как бы в издевательство называемый дачным, сделался последней надеждой от голода, спасением от удушливой городской заразы. Тесно стало народу русскому на своей запущенной земле — вот уж и Манская гривка на утесе почти исчезла. Здесь не ради урожая строятся, здесь, на самом юру и обдуве, закрепляется эстет, современный любитель выщелкнуться, чем-то себя выделить, выставиться на вид. И что за диво: жизнь так убога, так бессодержательна, а заявить о себе хоть в чем-нибудь, хоть где-нибудь так хочется. Время жалкое, оголтелое плодит себе подобных — сделать все похожим на себя стремится современный, убогий умом обыватель, и улучшает, улучшает, усовершенствует он дикую природу: протаранили берег Енисея от Красноярска до Шумихи ради железной дороги, которая никому не нужна; покатали бетоны на Слизневский утес, сделав так называемую смотровую площадку, и довольны собой, не понимают, что улучшать такую природу — все равно что жемчуг глотать — для улучшения пищеварения и скорейшего выделения дерьма. И еще, современный рвач, этот преобразователь природы, не хочет понять, что и Слизневский, и Манский утесы, и вся вокруг благодать принадлежат всем людям, они Богом созданы не для услаждения вельможи или ловкого проходимца, на ходу, жадно сглатывающего горячий кусок, сейчас вот, в подходящий момент вырванный изо рта брата своего и, главное, отнятый у детей своих, которым для укрепления сердца и уразумления башки нужен весь вольный Божий мир, а не обнесенный штакетником участок — ведь в загороди содержатся и выгуливаются дрессированные звери, но не люди.

Природа наша и народ наш похожи друг на друга, они способны воскресать из праха. Вдруг русские люди поумнеют, им захочется первозданной природы, потянет восстановить, облагородить свою землю; повлечет человека, как меня влекло с детства, посидеть на Манской гриве, отдаться тихому созерцанию, глядя на родные просторы, порадоваться им. может, и поплакать...

УЖАСНАЯ ДЫРА

Превращая страну в помойку, в отвальный овраг для радиационного и всякого другого заразного и губительного мусора, небо — в темную адскую завесу, — и все это во имя спасения нас, бедных, хозяева отечества нашего породили совершенно паплевательское отношение народа к себе и к своей земле. И чем дальше вглубь тем неяршливей, грязней паша белая Русь. Паршой и ржавчиной она покрыта, гибнущим лесом завалена, прокислой, гнилой водой рукотворных морей залита...

Во всех цивилизованных странах чем дальше вглубь, тем дальше от дыма, гама, воли — там и экзотика своя, и продукты дешевле, и редкие фрукты иль овощи произрастают свои, здешние блюда готовятся иль хлеба пекутся. У нас же чем дальше, тем больше заразы, дикости и жрать совсем печего.

Вот среди Сибири, на берегу Енисея, в роскошнейшем месте расположен поселок Бор. Здесь и грязи-то негде быть — пески желтые кругом, сосняки и боры сплошные, а по поселку ни проехать, ни пройти — загадили его жители, завалили мусором, облили дерьмом. Возле двухэтажного деревянного дома, смело названного гостиницей, где нет даже умывальника, стоит сооружение все в деревянной резьбе, в нарядных деревянных кружевах и, конечно же, называется оно «Кафе», хотя кофе здесь со дня его сотворения не бывало и нет, зато паливают мутную воду в непромытые стаканы, именуя ее чаем, да бросают в окошце блюдо с загадочным названием «глазунья» — шлепают яйцо на грязную сковородку и, не глядя, испеклось оно или нет, велят брать. Но и эта работа утомила пищеблок, блюдо упростили: в грязный бак с грязной водой вываливают ведро немытых яиц, и колотые, порой черные, вошочие, приказывают брать — подавать тут не списходят, разве что хлеба буфетчица нарежет, да и то крупно, раскрошено. Коли хочешь жрать — не разговаривай! Мы-то тут при чем? Нам что дают со склада, то мы и реализуем.

Слава Богу, хоть в «Кафе» этом зеркал нет. А то в одном зашпахашом кафе в пригороде Красноярска, с грязными стеклами и колотыми столами — потолок зеркальный, стены из дорогого пятнистого, пиленого гранита — кажутся облеваными, какие-то дыроватые сооружения, создающие впечатление недостроенного помещения, пре-

граждают путь. По идее-то это не что иное как архитектурные украшения — помещение строили заезжие армяне и пытались свой южный, броский стиль совместить со скромным а-ля рус.

Борское кафе, зато с петухами и кружевами; вместо зеркал, дырчатых каменных завитушек всунуты в помещение скамьи, сотворенные под русскую старину, подле них пластиковые, шаткие столики, от мокра и грязи потрескавшиеся. Ходит уборщица с тряпкой, материт столующихся за перьяшливость, тычет тряпкой в стол так: поровит сор и мокро на штаны клиентов смахнуть.

Вокруг Бора еды от веку дополна всякой растет, цветет, бегаёт, летает, плавает. Есть приемные пункты, куда свозятся ягоды, сдается дичь, мясо оленей и лосей, изловленная рыба — ну, пошевелитесь, люди, посообразайте, найдите предпринимателей, смените всех злых и вороватых работников пищеблока на радушных и оборотистых — и все у вас будет в полном порядке, все будут довольны друг другом — и столующие, и столующиеся. Неужто нужен специальный указ президента России и губернатора края о налаживании работы кафе в поселке Бор и ему подобных «рыгаловок». Налаживая работу, попутно не забудьте переименовать свой пищеблок на что-нибудь понятное и близкое народу — в харчевню, трактир, кабак. Неужели никто и не чувствует, что чужое, пусть и изящное слово «кафе» звучит издевательски на дверях этих облеваных, проматеренных, пустых, грязных, ко всему равнодушных, размалеванных дыр.

Почти все отдаленные порты и вокзалы, железнодорожные, автобусные, речные и прочие во глубине Сибири, да и не только в ней — это непереносимо страшные дыры, однако такой ужасной дыры, какая находится «во глубине сибирских руд», на дивном по красоте притоке Енисея, реке Сым, больше нет. Здесь влачит жалкое существование самая выдающаяся дыра под названием Сымская фактория. У этой дыры соответствующий «аэровокзал». У нас проводится много всяких конкурсов, вот если бы кто-то из веселых людей объявил конкурс на самую оскорбительную для рода человеческого обитель, то Сымский аэропорт без всякого сомнения, без всяких голосований занимал бы всегда первое место среди препаскуднейших наших бытовых заведений.

С неба, с вертолета это смотрится так: река в белых, словно бы пенной молока облитых берегах, излучина с

высыпкой тальниковых рощиц на правом берегу, и по-за пеоу лес, сперва темной, прибрежной каймой опоясывая берега, затем ровным, в небо уходящим валом лазоревого цвета, разъятым то старицей, то озеринной, то проранами самих себя забывших, сонных рыжих болот; в загогулине излуцины, на подмытом сыпучем берегу — россыпью избы со дворами и бедными даже по расцветке огородами. Одна изба зависла над рекой, не вся изба, половина ее. Весна была разливистая, многоводная, роняла на берегах деревья и кусты, несла их лохматые, корнями вверх, будто плепешно vzdымающиеся руки в мольбе. В поселке, с каждым годом отступающем в глубь песчаных лесов, река смыла песколькo сараев и один дом почти унесла — завис он над водой, вот-вот завалится вместе со своей худобой, разнесет его, разбросает по берегам.

После запойных майских праздников хозяин вышел из дома помочиться, постоял, справляя пужду в реку, затылок почесал, думал, думал и додумался: взял бензопилу и половицу избы отрезал. Она разломилась, забусила гнилем, пылью, перхотью старого сена и веников и, хряпнувшись в реку, закружилась в водовороте, роняя одно по одному бревна, оконные рамы, пужники и скворечники. Так строение и унесло за поворот Сыма, вдаль. Хозяин постоял, подышал, пустил еще раз презрительную струю в бурные воды Сыма, резанул на всю округу удовлетворенно, поддернул штаны и пошел допивать брагу.

Все домишки поселка, отскочившие от подмытого берега, стоят в сыпучем белом песке, среди поврежденных сосенок, в корье, щепе по колено, будто скипули с костлявого тела одежошки на просушку.

В версте или в двух от села видна просторная поляна в белых полосах и вымоинах — это взлетное поле, обочь которого без оград и ворот, вольно стоят амбар и кособоккая избушка, похожая на башо, — избушка та и есть аэровокзал. Было в ней когда-то окно со стеклом, да выбили его умельцы, теперь вместо стекла пришили мутный полиэтиленовый мешок. В самом же помещении все без затей, без архитектурных излишеств: две скамьи, прибитые к стене, стол на укосинах да железная печка с сорвашой дверцей. Гвоздь на двести миллиметров вбит в стену — вешалка. И сору, сору!.. Окурки, железные пробки от бутылок, ореховая скорлупа, ощепки, рваный кед, осколок бутылочного и всякого иного стекла, клочья мятой бумаги — все это прямо на земле — пол в избушке

давно сожжен, ведь иной раз из-за непогоды или технических прорух на авиалиниях здесь приходится сидеть сутками.

Самолетик ходит в Сымскую факторию раз в неделю, вертолеты залетают чаще. Да до конца лета и осени здесь летать-то особенно некому и незачем, но с начала грибной и ягодной поры валом валят на Сым шабашники, бродяги, девицы, перекупщики, начальственный народ со своей техникой. Промысловый народ встречается тоже, гребет грибы — боровики, диковинно здесь плодящиеся, кто может, сушит их или маринует, кто на катерах, на лодках — плавят — всем добра хватает. С сентября на Сыме наступает ягодная пора и ореховая, есть приемный пункт, где и деньги за дикоросты выдаются сразу же.

Выпивки в поселке никогда не хватает, сшибившие же деньгу налетчики жаждут сей же час честно заработанное прокутить. А тут ни самолета, ни вертолета. От скуки и тоски режут на столах и скамейках матерщину, оставляют памятные именные знаки, иногда — мудрейшие изречения и целые поэтические опусы остаются на века запечатанными, впечатанными в тесаное бревно.

Вот один из поэтических перлов, украшающих сымский авиационный приют:

Сымский порт — ужасная дыра,
Раз в неделю ходит самолет,
В магазине негу ни хера
И вина Назаров (предпосовета, уже бывший.— В. А.) не дает.

Э-эх, Россия — мати, тех ли ты Божиих чад ждала и села на своих просторах, в своем доме? Иль тебе, больной, израненной, истерзанной — уж все равно?

СОВРЕМЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ

Вечерело уже, когда мы возвращались с рыбалки через широкое озеро и на снегу вдруг что-то засверкало, запереливалось разноцветными блестками. Когда мы сделали привал, я нагнулся и со снега поднял несколько серебристых ленточек, похожих на фольгу, и вспомнил, что днем в воздухе кружилось, сверкая, какое-то вроде бы елочное украшение и на меня опустилось несколько таких вот ленточек. Я еще подумал: «Откуда принесло их на озеро? На озере-то безветрие и тишина...»

Мне, технически безграмотному и темному, пояснили, что это проделки военных или наших идейных охранителей — ежедневно с большой высоты, с самолетов выбрасывается тоннами эта вот специальная фольга, дабы делать радиопомехи, дабы не слушали мы вражеские голоса и морально не разлагались.

«Господи, — подумал я, — такую бы заботу проявляли о душе, а не об ушах и башке, которая у нас и без того забита черт знает чем. Инвалиды без досмотра мрут, дети болеют, школы и больницы нищи, а тут в воздух миллионы вышвыриваются...»

И только ли в воздух? Вон родной город в ядовитых горях, парах и ядах плавает — то военное колесо наматывает на себя наши жизни и будущее наших детей.

Сейчас, когда обнаружился полный разор страны, проруха во всем хозяйстве, жрать нечего, денег ни на что не хватает, я все чаще вспоминаю реюющие в небе, сверкающие по всему белому озеру, висящие на кустах, на крышах домов, школ и райкомов ленточки. Воровато, тайно выбрасывали хитрую придумку, неусыпное происходило действие, чтоб только наше идейное целомудрие сохранилось — ради этого ничего не жалко было.

ОТМЩЕНИЕ

Он, пасечник-любитель, убирал на зиму ульи в омшаник, утеплил их, настелив на дно тряпье, куделю, старые телогрейки, штаны. И вот в одном из ульев завелись мыши, а это беда для пчел, большая беда.

И тогда пасечник пустил в дело мышеловки, поймал мышей, папу и маму тоже поймал. Малые их дети, оставшись без догляда, еды и питья, попищали и умерли в улье.

Когда весной пасечник выставлял ульи из омшаника, он обнаружил мертвую семью пчел в том самом домике, где погибли мышата. Пчелы — существа нежные, чистоплотные — они не перенесли вони и тленного воздуха в своем домике, тихо, как и мышата, загасли, перестали жить.

ЛЕС АДЕНАУЭРА

Раз уж меня занесло в Германию, тем более в Западную, не могу не рассказать о том, как я там ходил на охоту...

Был я в ФРГ по приглашению международного общества «Интернационале», не очень большого, небогатого, но внимательного и по-немецки пунктуального заведения.

Составляя программу моего двухнедельного пребывания в Германии, немцы, узнав из книг, что я из таежной Сибири, часто пишу про охоту, значит, и сам охотник — решили потешить меня охотой, да не просто охотой, но охотой, как ее прежде в России называли, «сокольничьей». Только вместо сокола немцы держали ястребов или коршунов, как у нас на Руси всех подряд хищников кличут.

Сборы охотников назначены были на пригородной станции, и я думал, что мы поедем куда-то дальше, в леса, в горы. Но оказалось, что охота будет происходить в пригороде.

Нас с переводчицей Кристиной, очень долговязой, очень курящей, великовозрастной студенткой какого-то международного института, где она изучала русский и польский языки, встретила компания охотников. Привычного оружия при них не было, но снаряжены они были чинно и эффектно: все в шляпах с перьями, жожами на поясах, значками своего общества, с какими-то аксельбантами, шнурами, подвесками, с заплочными замшевыми сумками — для дичи, — подумал я, и почудилось мне, что в сумках уже что-то шевелится. Сумка заплочная и кожаный ягдташ весь в эмблемах, кожаных кисточках, медных, серебряных, позолоченных украшениях, на которых стояли даты такой почтительной давности, что, принявши первоначально всю эту сряду за маленький спектакль, я почтительно и молча следовал за живописной компанией, слушая оживленные рассказы о том, какие знатные бывали охоты в Германии, убедиться легко, взглянув в национальный музей-парк, а что касается ястребиной охоты, то общество пернатых уцелело не только в Германии, но и, кажется, в Европе, единственное — кельнское.

Как и положено охотникам, они немощко хвастались достоинствами своих птиц, предметов снаряжения, доставшегося еще от прадедов, а то и от прапрадедов, ведь в древних замках, более всего в предгорьях Альп, у баронов и графов были такие охоты-ы! Но немцы есть немцы, в раж особо не входили, не напивались заранее и, если призирали, так в меру.

Однако не птицы, не охотники, не охотничьи атрибуты заняли мое внимание, а рассказ о том лесе, по которо-

му мы шли и который почтительно назывался «лесом доктора Аденауэра». Уроженец города Кельна, еще до войны Аденауэр был бургомистром родного города, но с приходом нацистов к власти от общественной и политической деятельности отошел, всю войну прожил на своей вилле, в стороне от кровавых событий. После войны его вновь избрали бургомистром в прах разбитого английской и американской авиациями города Кельна. Он был уже в почтенном возрасте, когда стал главой нового, побежденного, полуразрушенного государства, населенного перепуганным и присмирелым народом.

Стоит ли сейчас говорить, как немцы во главе с Аденауэром работали, восстанавливая свое хозяйство, — Западная Германия уже продолжительное время имеет самый высокий прожиточный уровень жизни в Европе. Меня занимало совсем другое — это когда у нас Кукрыниксы рисовали Аденауэра с окровавленным топором в руках, своего же усатого вождя, отца и учителя — с ребенком на руках, что не мешало «отцу» держать в лагерях смерти миллионы соотечественников, сиротить миллионы детей; а его выкорышам — опустошать землю, уничтожать основу государства — русскую деревню, старичок Аденауэр в свободное от работы время брал заступ на плечо и следовал на развалины. Естественно, жители Кельна, Бонна, близлежащих городков и селений не могли оставить своего вождя в одиночестве, ворча и поругиваясь, устало следовали за ним и по доброй воле, но не под ружьем, разбирали завалы, очищали землю, садили леса.

Пятидесятикилометровая полоса леса вокруг Кельна и зовется лесом доктора Аденауэра. Вот памятник, достойный человека, почитающего Господа, любящего свою родину и желающего добра и светлого будущего своему народу. Памятник, состоящий в основном из кленов, ясеней, бука, акаций, диких яблонь и груш, подсвеченный по опушкам, впадинам и ручьям лещиной, кустарниками барбариса, бузины, боярышника и дудочкиком. Лес сомкнулся над головой, качался, шелестел ветвями, хлопался неопавшей, кое-где уцелевшей парядной листвой. По нему летали голуби, уркали горлишки, где-то заливался зяблик, и перекликались синицы. Местами, в особенности ближе к станции, лес был подзасорен. Охотники осудительно качали головами, ругали отдыхающих нерях, соображали насчет воскресника, который возглавит охотобщество перчатых, и они же, наконец-то, не выдержат и обратятся в

бундестаг с предложением внести на обсуждение закон о порядке в лесах Германии, о строжайших мерах по их санитарному содержанию.

Немцы, в отличие от нас, разговорами не ограничатся, пустопорожней болтовней дела не заменят — в предгорьях Альп есть у них Шеллингерово озеро — этакое балтийское Байкал, глубокое, светлое, незамерзающее. В нем давно, со времен баронов-владельцев этих земель, велся рыбный промысел, охота на водоплавающую дичь, здесь зимующую. Тенор Мюнхенского оперного театра, знаменитый тенор, имел страшное хобби — маленький рыболовный заводик, и разводили в нем знаменитую севанскую форель, которая в самом армянском озере Севан водится ли ныне — не ведаю. Заводик тенор завещал государству, вместо баронов здесь рыбачили несколько здешних семей, реализуя рыбу живьем в своих маленьких, удобных лавках на берегу озера.

Однажды по озеру поплыла мертвая рыба, поредели косяки птиц — фекальные отходы, химические удобрения и прочий перегруз обрушился на озеро, берега которого сплошь и плотно заселены вилами и крестьянскими хозяйствами. Решено было на правительственном уровне заняться экологическим бедствием. Во спасение альпийской жемчужины — Шеллингерова озера — народом быстро была сделана обводная канализация вокруг озера, вышло запрещение пользоваться крестьянам химическими удобрениями, а тем, кто не захотел перейти на органические, предложены были земли под сельские хозяйства вдали от озера. Да что там озеро? Случился аварийный выброс на Кельнском нефтеперерабатывающем заводе, и «зеленые» тут же потребовали на специальном заседании правительства принять меры, иначе, пригрозили «зеленые», они на свои деньги паймут бульдозеры, а денег у них на десяток бульдозеров достанет, и за одну ночь скопают это вредное предприятие...

Я видел тот комбинат уже модернизированным, преобразованным, белехонек стоит, красными и зелеными красками по белому украшен, ни одна труба не дымится, и на смехе обслуживает его всего восемьдесят пять человек — вот вам и догнивающий капитализм!

Немцы-охотники даже и расшумелись, заспорили о чем-то, растревожили коршунов, сидящих в гнездах подставок на вытянутой правой руке хозяина. Птицы вертели головами, у одного коршуна, прошу прощения, — у

ястреба, купленного за большие деньги в Испании или в России, я не расчухал, имеющего медали еще царского достоинства, вспыхнули, зафосфоресцировали глаза, сделались похожими на кругляки светофоров, хищник перво задергался, поднял перья на хребте, вытянул шею, вдруг сорвался с руки и молча полетел над землею, вихляясь меж стволов деревьев. Хозяин метнулся за ним, вся артель охотников загалдела, и без перевода понял: охота на кроликов началась, коршун гонит и уже, наверное, «взял».

Но коршун никого не взял и брал ли — понять было невозможно. Зато он не хотел возвращаться к хозяину, и тот бежал по лесу, свистел в свисток, издавал какие-то звуки, звал, требовал, чтоб хищник возвращался на место. Птица, однако, летала себе вольно по лесу, присаживалась на ветку, барственно поправляла на себе какое-то перо и глядела сверху на потного хозяина, впавшего в неистовство. Раза два владелец пернатой твари употребил крепкие ругательства, среди которых было и наше родимое: «бият такая!»...

И другие коршуны, сорвавшись с рук других охотников, вели себя по-партизански — мятежно — и, пока не полетались вволю, никакой охоты не получилось.

Бегая вместе с охотниками за птицами, потерявши где-то двух птиц и хозяев вместе с ними, мы с Кристиной и приземистым седым пемцем при пере и шляпе, при поже, свистках и украшениях, но без птицы, как оказалось, ответственным за охотничье мероприятие и за нас — гостей редкостного охотобщества, мы углубились в сырое овражистое место, где было много мхом обросших камней, при ближайшем рассмотрении оказавшихся бетонными глыбами дотов. Здесь-то, в развалинах укреплений, и было скопище дичи. Впрочем, не очень густое. В Германии, как и во всей Европе, появилось много желающих поохотиться на кроликов. Но мор на них нападает часто — эта зима как раз и была отмечена падением кролика, и если бы не гость из далекой Сибири, никакой охоты никто не разрешил бы.

Я забыл сказать, что уже в лесу из кожаных и замшевых мешков были вытащены хорьки и пересажены в форсистые сумки, похожие на ягдташи. Шустрые мордочки с круглыми ушами и зоркими глазками зверьков торчали наружу. Время от времени хорек выскакивал на землю, углублялся в норы, шарился в кореньях, желтеньким лоскутком мелькая там и сям; порой казалось, уж хорьков-

разведчиков орудует не один, а целый десяток. Вот зверек еще шустрее засуетился, запрыгал, запырял и из расщелины дота выпугнул кролика величиной чуть больше белки. С руки молодого, но уже бородатого охотника сорвался ястреб, мгновенно настиг и закогтил по-детски заверещавшего кролика. Охотник деловито пересек лощину, достал пожик со специальным шилом, воизил его в затылочную кость кролика, отчего тот смертно закричал пронзительным голосом ребенка, и тут же все смолкло. Ястреб уселся на руку хозяина, глаза его все еще яростно сверкали. Держа за задние лапы зверька, охотник дождался, когда кровь стечет с головы кролика, и аккуратно уложил добычу в сумку. После этого он вытер руки фланелевым полотенчиком, отстегнул с пояса фляжку, изготовленную из коричневого дерева, палил в пробку-стаканчик походного копыяку: первую — Кристине, вторую мне, третью — пашему командиру, палил и себе напиток, поклонился лесу и произнес: «Данке», — выпил еще и добавил: «Дай Бог не последнюю добычу», — и протянул нам с разжатой горсти жестяную, парядную коробочку, в которой на выбор были зернышки жареного миндаля, мол-пансье и ореховые конфетки.

Мы закусили ароматными сердечками миндаля, и я сказал руководителю, что всем весьма доволен, видел, как происходит редкостная охота в Европе, но нам пора в Кельн, на встречу с авторами рок-оперы «Иуда и Христос».

Проводив нас до станции, пожилой немец — руководитель паш — купил всем по стакану пива, искрящегося, свежего, путро не просто освежающего, но прожигающего благодатью. Пили пиво, неторопливо разговаривая.

Немец этот был на Восточном фронте командиром роты, воевал в Белоруссии, долго и с большими потерями отступал, сдал остатки роты и себя американцам — все с ним обошлось более или менее благополучно, но...

Немец достал замшевый кошелек с золотой застежкой, купил «айн копяк», чокнулся со мной, с Кристиной и безо всякого торжества, с палетом неподдельной грусти произнес:

— Давайте, бывший солдат, выпьем за то, чтоб никогда и никаких войн не было. О-о-о, — он отпил глоток. — Я заметил, как неприятно было вам, фрау, видеть кровь кролика, как вы содрогнулись, когда охотник колот зверька шилом!.. Н-но, разве это кровь?.. — он посмотрел выше

вокзала, на лес, на небо, куда-то далеко-далеко посмотрел и тихо добавил: — Мы такую кровь повидали!.. Не дай Бог...

Весь седой-седой, несмотря на бравые охотничьи доспехи, очень усталый и грустный человек проводил нас до электрички. Мы обнялись с ним. Он как-то отрешенно, показалось мне, — покаянно и дружески — как человек, хорошо понимающий и чувствующий другого человека, похлопал, даже не похлопал, а тряхнул меня за плечо и быстро пошел от нас.

Мы ехали молча в электричке. Переводчица устало курила. Я смотрел в окно, за которым все тянулось лес.

...А личный заступ старикашки Копрادا Аденауэра хранится в Национальном музее Германии.

ПРАЗДНИК СОЛИДАРНОСТИ

Недавно в газете «Известия» прочел: «Экстрасенс Владимир Максимов без колебаний пришел на помощь незнакомому человеку, потерявшему сознание на улице Новосибирска: брызгал водой в лицо пострадавшего, нажимая пальцами на перво-чувствительные точки, растирал уши, похлопывал по щекам. Тут-то его и огрели резиновой дубинкой по спине. Ошеломленный экстрасенс оказался в паручниках...»

И далее, когда Максимов, приехавший в Новосибирск аж из Америки, объяснял в милиции, что он не карманы обшаривал у человека, а помогал ему, — спасителя оборжали, как наглого враля-авантюриста, и добавили ему еще дубинкой, чтобы знал, где находится — тут не Америка, тут давно через упавших на улице спокойно перешагивают и идут дальше, спешат на заседание общества «Милосердие», может, и поважнее куда.

И вспомнился мне в связи с этим один случай. Он произошел совсем недавно, лет сорок тому назад. По историческому измерению мизер, миг, мгновение, а как далеко мы успели за этот исторический миг уйти вперед...

Есть на свете, точнее на Урале, городок Чусовой. Советский город со всеми его советскими порядками и достижениями. В этом городе издавалась и издается газета «Чусовской рабочий». Я в ней трудился более пяти лет, и мы, сотрудники, прозвали ее «Очусовельный рабочий» за

суету, насаду, вечную бедность и бдительный надзор «сверху».

Этой газете, как и всем советским райгазетам, полагалось в майские праздники, точнее в День печати, проводить городскую спортивную эстафету.

Стоило бы описать и грандиозный праздник солидарности, и патриотическое возбуждение народа в задымленном трудовом городке, погруженном почти в полумесячное безделье, потому как именно в мае сосредоточились праздники один важнее другого, жизнь города, повседневные его трудовые будни, но это как-нибудь в другой раз, в другом месте. Здесь я поведаю об эстафете, о ежегодной городской эстафете, которая для редакции была бедствием, для города — еще одним массовым праздником.

К ней, к эстафете, готовились задолго. На какое-то время редактор газеты и от главных своих обязанностей отклонялся ради важнейшего мероприятия.

Средств никто никаких не давал, эстафету же требовали и ждали все, но прежде всего патроны газеты — партийные власти, чтобы отчитаться вверху о своей пестрой деятельности среди народа и для блага народа. Вот почему сверху, пусть и невысокого, всего лишь чусовского, жали немудрено и настойчиво редакцию, брали подготовку к эстафете на особый контроль, требовали, чтобы редактор на бюро горкома время от времени докладывал, как там дело идет с подготовкой к общегородской эстафете.

Редактор, сдавив кулаками виски, подсчитывал, мудровал, ловчил и мухлевал, чтобы из бедного гонорара городской газеты как-то выхимичить средства на эстафету, на приветствия, кубки, призы, грамоты, знамена, государственные и партийные хоругви, потому как контролировали, страшали, проверяли со всех сторон, а помочь делом никто не помогал, считая, что пламенное партийное слово важнее всяких дел.

Я долгое время на эстафеты и массовые празднества не допускался по той причине, что у меня не то чтобы парадного, но и вообще никакого костюма не было. Я жил и трудился во фронтовой гимнастерке сперва слесарем, затем литейщиком, затем разнорабочим, и к моему пришествию в газету «Чусовской рабочий» военная моя одежда потеряла не только боевой, но и вообще всякий вид.

Но наконец-то мы с женой поднапряглись, залезли в долги и купили на базаре костюм — из американских

подарков был костюм, бостоновый, темно-синего цвета. Проявив российскую сметку и ловкость, трудовая жена моя из какого-то стародавнего кукольного лоскута иль из чулка сшила мне галстук, и стал я ходить на солидного совслужащего, которому и на люди показаться, и советскую печать представлять в массах не стыдно.

По случаю такой нами невиданной социально-материальной победы жена же созвала меня спячься на карточку, и мы с нею сиялись, и чудовская карточка та с неумело на мне завязанным галстуком висит на степке в моем пынешнем кабинете, напоминая о нашей бедной молодости, памятной радостями, поскольку были они очень редкие.

Редактор газеты «Чусовской рабочий» не менее меня обрадовался моей обпвке и спизошел до приглашения меня на эстафету, чтоб вместе с ним руководил я этим грандиозным в городских масштабах соревнованием. Было это не просто приглашение, но и тактический маневр со стороны редактора, который раскусил я не сразу. Дело в том, что редактор у нас из-за давнего, еще в детстве полученного увечья был шибко хром, эстафета же дело хлопотное, бегучее — то забыли принести спортивные принадлежности, то лозунг иль призыв не туда прибили, иль портрет лучшего друга всех совфизкультурников на не очень видное место повесили, то молоток утеряли, то гвозди рассыпали, там и вовсе паника поднялась среди руководящей головки — в каком-то финансовом документе не обнаружилось подписи бухгалтера исполкома, и живет он, голубчик, аж за рекой Чусовой, в поселке Чутьжино иль на Больничной горе, куда в связи с возведением там новых благоустроенных домов началась массовая миграция местного начальства. Транспорта ж пассажирского в городе нету, свои машины партийное руководство свято берегло, да ему, местному начальству, и в голову не приходило, чтобы кому-то еще доверять ездить на своих машинах, тем более запыханным работникам запыханной редакции. На эстафету главные-то чудовские вожди и не приходили. Народ и физкультурников приветствовали, взбодряли руководители спортотдела горисполкома, завгороно, профсоюзные и комсомольские деятели, а также замдиректора по быту металлургического завода — главного в городе предприятия. Если эстафета проводилась под эгидой железнодорожников, тогда громко кричал в жестяную трубу о служении и верности народу, родине и Сталину начальник политотдела железнодорожного узла.

Тут-то я, в новом костюме, при галстукe, хорошо облегченный послевоенной пайкой, выветренный вольными ветрами бездомья, после победы выброшенный на улицу главным нашим командиром и отцом, тут-то был я в самый раз. Носился по городишку, не чуя под собой земли, собирал какие-то подписи, бумаги, спортивные предметы, на кого-то даже и голос повысил, кого-то куда-то даже и послал.

Редактор, которого мы простодушно именовали фюрером за служебное величие и похожесть прически, как и положено вождю, повелительно указывал влево, вправо и вперед. А я носился, а я носился обаддело, резво, возбуждение в моем сердце и праздничный набат в голове все возрастали и возрастали.

Когда, как унялась организуемая сумятица — я и не заметил, но уже по ту и по другую сторону дороги, грубо высланной булыжником, стояли жидкие цепи милиционеров, и сам начальник горотдела по фамилии Зайцев в нарядном картузе взялся на трибуну, благоговейно охраняемую с двух углов специально подобранными молодыми, самыми красивыми чувовскими милиционерами с пока еще несмелыми, но все равно бравыми усами.

Обвалом грянул оркестр, все на минуту замерло, а мою спину скоробило падвигающим ожиданием чуда, какой-то еще неизведанной радости или потрясения. И многие чувовляне вокруг меня и даже ко всему привычный редактор малость побледнели. Побледнел, должно быть, и я, да самого-то себя ведь не видно, зеркальце же в те годы мужики с собою не носили, чтобы поглядеться.

Редактор «Чуовского рабочего», фюрер наш незабвенный, взыскующим, строгим взглядом обвел сверху город, улицу, зрителей на старте, почти под горою, потому как центральная улица имени, конечно же, Ленина была горбата, с уклоном, сгрудившихся участников эстафеты, молодых парней и девушек, одетых в разноцветные трусы и майки с номерами — по случаю спортивного соревнования отряженных из школ, РЭУ, с предприятий и контор в физкультурники. Лицо редактора посуровело, напряглось, во всем его облике проступила суровая решительность полководца перед броском его боевых соединений в битву, и, как полководец, он повелительно взмахнул рукою. И тут же толстый мужик с розовым лицом и обвислыми щеками по фамилии Вайсбаум, всю жизнь двигавший

местный спорт к победам и достижениям, сорванным голосом скомандовал: «Н-на ста-аарт!»

А я в ужасе содрогнулся: «Речь! Редактор забыл произнести речь!» Они же, речи-то, в ту пору произносились по любому поводу, часто и без повода, и одна другой волнительней и патриотичней. Следом за редактором должен кто-то от партийной власти слово молвить, затем от комсомола, от профсоюзов, от школ, от предприятий, от ветеранов труда, просто от общественности, и все с волнующими призывами везде и всех побеждать, быть здоровее всех в мире, жить вдохновенно и красиво, как товарищ Сталин и партия велят...

Бывало, к концу этих всех речей участники эстафеты, почти нагишом, переминающиеся, пританцовывающие на кривой большой улице, до того околеют, до того у них ноги онемеют, что бегут они совсем резво от стужи и скуки, а власти-то думают, слово их яркое, возжигающее имело такое благотворное влияние на физкультурников, воспламенило оно и погнало их к победам.

Однако ж и простывали участники эстафеты часто, не являлись на работу, сидели на бюллетене, и решено было речей не произносить на этот раз, а только бегать и побеждать. Но я-то не знал этого, вот и ударился в панику. Молодой газетчик еще был, зеленый, но насчет идеологических явлений и передовой нравственности был уже крепко подкован.

Пока я паниковал и думал, как мне поступить, напомнить ли редактору и начальству о речах или оставить это без внимания, авось забудут и «не заметят», парни и девушки сжали в разом отверделых ладонях палки, напиленные из рыбацкого удилица школьным плотником дядей Колей Неустроевым, и замерли между двумя жердями, на которых было натянуто красное полотнище со словом «старт».

Стартового пистолета у Вайсбаума тогда еще не водилось, он взял в воздух волосатый кулачище — все вокруг совсем перестало шевелиться, вроде бы и дышать перестало, и, громко выпустив из себя много воздуха вместе со звуком, напоминающим: «ах, гах или арш», рубанул кулачищем — и тут же физкультурники сорвались с места, ринулись вдаль по булыжнику.

У Господа нашего праведного есть, видать, особые претензии к плутоватой советской прессе — никогда Он, милостивец, просто так торжественный День печати не про-

пустит, непременно на нем поприсутствует, испортит его, поднапустив ветру, холоду, а то и дождя со снегом.

Вот же, совсем недавно, несколько дней назад, прошел праздник солидарности трудящихся в солнечном сиянии, в тепле, люди на демонстрации шли в пиджаках, в платьях, физкультурники почти и вовсе без ничего пирамиду делали на открытом кузове грузовика Вторчермета. Празднование Дня печати первоначально тоже ничего неприятного не сулило. С утра солнышко выглядывало, даже теплом с Уральского хребта веяло, редактор руки потирал, радуясь погоде, но, пока я носился по городу, пока редактор организовывал эстафету, выводил ее к цели, на небе произошли резкие изменения.

Надо заметить, что, кроме множества природных красот, исторических достопримечательностей и социально-бытовых страшностей, окружающих город Чусовой, и всяческих событий, происходящих в нем и по-за ним, есть совсем уж особенность уникальная, единственная в мире: именно здесь, в уральском городе и его окрестностях, окончательно останавливается и замирает течение Гольфстрим. И кабы оно, течение-то морское и воздушное, взяло бы и просто так остановилось, так нет ведь — прежде чем остановиться, походит, покружится подле города и над городом космической грозой, повыщелкивает все стекла в домах, побьет чего надо и не надо, смочит в улицы бешеными потоками все дерьмо, весь хлам, вывезенный на гору, и, поверженный, растерянно замрет тогда город, по улицам которого сочатся мутными потоками нечистоты, дымятся и парят возвращенные ему с гор богатства сапобоза.

Металлургический завод и город подле него строили французы, капиталисты проклятые, хорошо строили, правда, добротнo, но ближе к удобствам и сырию — им тут не жить, sprыснули вот от очистительной революции, а небо город громит и моет, живи вот в нем, передовой трудовой народ, эстафету каждый год проводи.

Словом, еще до того, как взметнул вверх свой кулачище спортивный вожак Вайсбаум, до того, как он издал клич, зовущий к победе, накрапывало уже, с Уральских гор дохнуло холодом и не был еще пройден первый этап эстафеты, а улицу Ленина уже паискось прочеркнуло несколько белых линий, ко второму этапу обвалило, понесло снежную завесу по улицам города, ничего сделалось не видно, однако физкультурники все равно героически

бежали и передали палку кому надо. Народ, ко всему привычный, тоже не расхотелся, закрываясь от непогоды кто чем, кричал, взбадривая «своих», даже начальство с трибуны не сошло. В разрывах снежного смерча стойко сверкал кокардою парадный картуз начальника милиции Зайцева. Но вот, как-то разом, словно из мучного мешка всё вытряхнулось, осажало в улицы белую пыль вместе с дымом и сажею металлургического завода, черно поплыло по кашавам и меж бульжников, обвисли, скомкались лозунги с бодрими призывами, спикили красные знамена, и тут подпорченная, почти погубленная небесами эстафета газеты «Чусовской рабочий» подверглась еще одному, совсем уж губительному, испытанию.

На третьем, последнем этапе вдруг схватилась за грудь девушка в белой кофточке и голубых трусах, шибко намокших, обозначавших формы далеко не богатырские. Ноги девушки начали в коленях гнуться, раздваиваться, движение их совсем замедлилось. Девушка падала, но, и падая, не выпускала эстафетную палочку, протягивала ее вперед и беззвучно распахнутым ртом звала кого-то принять эстафету, донести до цели.

Забухали сапоги по камням — это два самых молодых, самых красивых чусовских милиционера, бросив пустую, хотя и почетную службу по охране празднично убранной трибуны и начальство, на ней восседающее, зажав картузы под мышками, бросились навстречу девушке. Один из них подхватил физкультурницу, уже оседающую в жидкую грязь на бульжник, другой, переняв палку, бросился догонять эстафету. Поскольку стоял на посту без дела, силы молодецкие в нем сохранились, он у самого уж финиша настиг бегущих и, будь еще хоть маленько дистанции, обогнал бы их, но все означенные пределы уже кончились, милиционер по собственной инициативе еще пронесся сколько-то метров, затормозил возле тротуара, взяв сапогами ворох брызг, и из толпы послышалось: «У-у, лешой, всю грязью обвожгал...»

Милиционер тряхнул мокрым чубом, бросил на голову картуз и потрусил к трибуне, на пост, а ему со всех сторон овации, крики, сам начальник милиции Зайцев руку жмет, редактор приветствует, горкомовское руководство одобрительные улыбки шлет. Милиционер же одно свое: «А как девушка-то? Что с ней?» — «Да вот она я.. — выступила из-за трибуны девушка в наброшенной на плечи шинели ремесленного училища. — Вы уж меня изви-

ните, пожалуйста...» — «Да чего там, — махнул рукой милиционер, — главное, не померла, главное, эстафету донесли, лицом в грязь не ударили...»

Когда вручали грамоты и кубки, заминка получилась, хотели молодых милиционеров чем-то поощрить, но грамот лишних не было, тогда наш редактор нашелся и объявил устную благодарность молодым бойцам и еще раз руку им пожал. А я на завтра написал отчет об эстафете в газету «Чусовской рабочий», и он был крупно, выделительно набран и напечатан на первой полосе под развевающимися знаменами среди радостной толпы чусовских трудящихся.

Это было совсем-совсем недавно, кажется, вчера было.

МОНБЛАН

В далекие годы, в далеком городе Игарке, точнее, уже за городом, стоял домик старой школы, отданный под детдом, и в этом детдоме всюду на стенах — в красном уголке, в коридоре, даже в столовой, даже в некоторых комнатах, висели географические карты. И я не сразу, а с годами догадался, отчего так много было в том детдоме карт. Денежек на картины не хватало, но, может, репрессированный, в ссылку загнанный человек, наш тогдашний директор детдома боялся приобрести «не ту» картину или не тот портрет. Спрос за идеологию тогда был грозен.

И вот, когда морозы запечатывали наш дом, метели заматали его до застрехи и не надо было идти в школу, от праздного времяпрепровождения любил я путешествовать по географическим картам. Боже мой, где я только не побывал! Чего я только не повидал!

Постепенно моя страсть сделалась привычкой. На всю жизнь. И всегда путешествие по картам приносило мне неизъяснимое удовольствие и мечты о дальних странах. Со временем даже что-то сбилось из тех мечтаний.

Кажется, века спустя, летел я из Амстердама в Рим. В Голландии я пробыл более недели, устал и, что со мной бывает очень редко, задремал в самолете.

Гудели моторы, шелестел, будто снег за окном, воздух в вентиляторе над головой. Пилоты время от времени чего-то рассказывали на английском языке и на итальянском. Поскольку ни того, ни другого языка я не знаю, говор пилотов, объявления стюардесс сливались с общим полет-

ным шумом, и под эту умиротворяющую музыку я и уснул. Вдруг щелкнуло над головой, раздалось негромко, но четко произнесенное слово:

— Монблан.

Я очнулся и поглядел в окошко — самолет плыл над скалистыми развалами, над ущельями, заполненными ярким белым снегом, и среди них белела вершиной огромная, временем не стертая, старостью не уиженная, миллиополетняя гора. «Кончилась жизнь!» — отчего-то возникла печальная во мне мысль. Зачем? Почему именно над Монбланом произнеслись во мне эти слова — не знаю, но не раз и не два потом они повторялись и повторялись.

Прошлым годом, поздним вечером, почти уже ночью, когда в щели ставен не голубел уже свет телевизоров, шел я по утихшей улице родной деревни и вдруг замер перед домом дальней моей родственницы. Утром я узнал, что у хозяйки этого дома справлялся день рождения, окна были открыты, но шторы плотно задернуты, и оттуда, из-за занавесок, звучало: «Пушшай богачка тебя любит, пушшай владеет она тобой, она любить та-ак не сумеет, как я любви-ы-ыла, мила-ай- мо-о-ой».

Эти слова были из любимой песни моего дяди, уже девять лет покоящегося на кладбище, но голос его жены звучал все еще мощно и вольно, выделялся среди других голосов. И вспомнил я, как при словах «как я любила, милай мой» жена дяди всегда гладила его по голове обеими руками, как бы обмывала ее, эту, ох, какую в молодости красивую, волной волос с прорыжью украшенную голову. И дядя мой, истинный сибиряк, сконфуженно произносил: «Да ладно те».

Я долго стоял вблизи того занавешенного окна, потом долго, почти до утра не мог уснуть, и в который уж раз звучало во мне, не знаю почему и зачем: «Кончилась жизнь, кончилась...»

А спустя несколько дней заехали ко мне гости и среди них очень красивая, если не бояться редких слов, то можно сказать, прекрасная женщина, прекрасно одетая, в прекрасной иностранной машине, которую сама она и вела. Эта «новая русская» с простецкой мужицкой фамилией и коммерческие дела вела толково — владела фирмой, жила пезависимой жизнью, работая по 12—14 часов в сутки, по лицу ее, особенно густо-синие глаза были так выжжены, так далеко, так глубоко светилась в них такая боль, такая тоска, свинцовой тяжестью осевшая, что я

невольно спросил у спутников ее: отчего так печальна наша гостя? Неужто от усталости?

— Нет, не от усталости, — ответили мне, — жених этой женщины, тоже деловой парень, с которым они соединились сердцами в десятом классе, исчез. Бесследно, беззвучно, вместе с машиной — будто в воду канул человек...

Соседки мои, деревенские старухи, вывалившись за ворота, дивовались на молодую, модно одетую, красивую женщину, лихо развернувшую машину и умчавшуюся вдаль.

— Тошно мне! Это чё же тако, Виктор Петрович, а? Эко чудо! Как в кипе! И не курит.

И отчего-то опять произнеслось на этот раз вслух:

— Монблан.

И снова одинокий в своей одинокой избушке мучился я до утра, и снова звучало во мне и повторялось: «Кончилась жизнь, кончилась».

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ



ВЗДОХ



ВЗДОХ

Однажды в редакцию иллюстрированного журнала пришло письмо. Женщина, автор письма, читала этот журнал, он ей нравился, и она хвалила его, а в конце письма попросила: «Чаще печатайте на обложках вашего журнала виды нашей Родины, может быть, это поможет моему мужу вернуться ко мне».

Все в редакции весело над письмом смеялись, и лишь секретарь журнала, человек седой, лохматый, почему-то ходивший в одной и той же кожаной, еще трофейной куртке, из-под которой всегда виднелся воротник мятой рубахи, сказал:

— Олухи! Над чем смеетесь? Будь я не потаскан и свободен, я отыскал бы эту светлую женщину...

ЗАПОЗДАЛОЕ СПАСИБО

В тридцать девятом году я панес себе тяжелое увечье — поломал погу. Сотворил я это тем самым образом, каким безнадзорные сорванцы, паходящиеся в диком мальчишеском возрасте, ищут и находят всяческие приключения. Мне показалось недостаточным захватывающим делом прыгать на лыжах с трамплина, нагребенного лопатами, и решил я сигать с крыши сарая.

Ну, раз сиганул, два сиганул, а потом загремел так, что глухо хрушнуло что-то во мне и огонь из глаз полетел. Думал, лыжа поломалась, повернулся — и темно вокруг

сделалось. На первых порах мне было не больно, а страшно отчего-то, и я сразу весь замерз, лоб и спина покрылись каплями.

На финских лыжах, выданных мне в качестве премии за исполнение песни бобыля на районном смотре самодеятельности, ребята вывезли меня из лога и доставили в больницу. Куда делись те изящные, гибкие, лаком покрытые лыжи, я так и не знаю — от лыж меня с тех пор отбило, становлюсь на них только в случае крайней необходимости, с гор не катаюсь, с трамплинов и подавно не прыгаю.

Долго, как мне показалось, бесконечно долго лежал я в приемной больницы, впервые познавая чувство беспомощности и какого-то сиротского отчуждения ото всех, но пока еще не плакал, лишь глядел на людей, которые что-то со мной делали, повертывали, раздевали, ругали, и все мне казалось, что это кого-то совсем другого поворачивают, ругают и раздевают, и только боль того, другого человека почему-то оглушает меня — отчего становилось еще обидней и горше.

Помню, как больничная тетка ударила меня по рукам, когда я попытался придержать штаны, которые она стягивала с меня, — было мне пятнадцать лет, и я ничего в ту пору не боялся, забиякой был, подражал блатнякам, а тут вдруг покорился и дал снять с себя штаны старенькой ворчливой тетке. Разом утратилась во мне вся прыть. Я как будто почувствовал или осознал, что перехожу в другой разряд людей, с которыми могут делать что угодно, и остается лишь подчиняться и слушаться — инвалид я.

Тут и заплакал я первый раз, прикрывшись от стыда и горя рукой.

Второй раз я уже не заплакал, заорал на столе, и даже не заорал, взвизгнул по-поросячьи.

Отчего-то смутно все мне виделось, и комната, в которую меня втащили на носилках, сумеречна была, по углам ее скопилась темень. Меня переложили с носилок на высокий стол, прикрыли простыней, но мне все холодно было, и колотила меня дрожь. Из темного угла выступила фигура, призрачная, колеблющаяся, клешнясто схватила меня за ногу, начала тискать ее твердыми пальцами, потом как повернет да как дернет — и позеленела в глазах моих лампа, висевшая надо мной. Тут я и рванул по-поросячьи.

Очнулся. Надо мной дядька в белом колпаке и халате

стоит, пасупленный, страшный такой, а я перед ним беспомощный, жалкий, дрожу весь дрожмя. Куда и делся тот громила, что наводил папику на целую школу, если по улице ходил, так разная мелочь с мячами, клюшками и прочими игрушками блеющим стадом разбегалась по дворам.

Грозный дядька, явившийся из тьмы, и сам, как тьма, черный, вдруг шевельнул усами, ткнул в меня пальцем:

— В гипс его, сукиного сына! Будет знать, как с амбаров прыгать! — И, снимая резиновые перчатки, тише, но все так же недовольно продолжал: — В такие годы поломать погу! Бедро ведь порушил, бедро! Понимаешь ли ты, что это такое?! — обратился он ко мне и безнадежно махнул рукой: — Драть вас надо, чтоб берегли себя!..

Я три с лишним месяца пролежал в больнице. Тяжело и долго ставил меня на ноги тот, черный и «страшный» — доктор Иван Иванович Сабельников, и поставил, хотя в игарской больнице не было даже рентгена и вообще обилием медикаментов не могла похвалиться она в ту пору.

Ругал меня Иван Иванович нещадно, и так я приучился к этому, что, когда доктор не отводил на мне душу, догадывался: он чем-то расстроен и не в духе.

А когда меня выписали из больницы и я пришел прощаться с доктором, он потрепал меня по стриженной голове, боднул взглядом острых, пронизательно-насмешливых глаз:

— Ну вот! Теперь голову себе сломай! — И уже деловито: — Костыли не выпускай еще месяцок-другой — и в солдаты сгодишься...

В солдаты я оказался годен, воевал как мог, и лишь непогода до сих пор напоминает мне поющей болью в бедре игарскую больницу, доктора Ивана Ивановича, которого я никогда уже не мог забыть, и, приехавши после войны в Игарку, расспрашивал о нем, хотел повидать. Многие игарчане помнили его, но куда девался — не знали. Одна женщина, работавшая в поликлинике, сообщила, будто бы ушел он на войну, тоже доктором будто бы...

«Вот и затерялся след еще одного хорошего человека, — подумал я тогда. — Не успел я его ничем отблагодарить, даже спасибо-то забыл сказать — так обрадовался, что вырвался из больницы. А он, может, погиб на войне...»

Но не мною сказано, что судьбы людские так извилисты, круты и запутаны, что ничего в них не угадаешь и где с кем встретишься — даже в самых лихих фантазиях не измыслишь.

Приехал я как-то на родину и решил сходить на базар, побаловать себя кедровыми орешками. А их продавали и продают здесь в любое время года.

Пробую я у одной тетки орехи, а она смотрит на меня как-то слишком пристально. Орешки каленые, хрустящие, один щелкаешь, другой — и оторваться от такого лакомства невозможно. «Пять стаканов, — говорю, — возьму. Давно не пробовал такой забавы!»

Тетка со скорбным и, как у ореха же, коричневым лицом вдруг спокойно так заявляет:

— Бери, Витя, бери! Родных-то орешков слаще не сыщешь!

Я, конечно, удивился, разговаривать с теткой давай. Ну, ах да ох! И оказалась она Анной Шипигузовой, в общем-то женщиной мне мало знакомой: как-то зимовали мы нашей доблестной семейкой в холодном каркасном бараке, а Шипигузовы напротив в комнатке уютились. Оттого ли, что выжить на заполярной земле трудно, или оттого, что город тесен и дружен был — игарчане при встречах, будто родные, радуются друг другу.

Вот и Анна заликовала. Даже за орехи не хотела деньги брать, и я с трудом их всунул, по лицу и одежде заключив, что не корысти ради Анна подалась на базар.

Анна тут же торг прекратила, зазвала меня пить чай, по дороге известив, что сыны ее оба с войны не вернулись, а Алевтина... «Помнишь ли ее?» И я кивнул головой, помню, хотя убей меня на месте, понятия не имел, что это за Алевтина такая. Так вот, Алевтина эта в тюрьму попала за растрату в магазине, и маются они теперь со стариком Шипигузовым вдвоем. Старик с войны без руки явился, пьет непробудно, пропьяется — по тайге шляется с шатушей артелью, рвет черемшу, берет ягоды, бьет орех.

Жили Шипигузовы за речкой Качей, неподалеку от базара, в половине старого скособочившегося дома. Жили бедно, однако обиходно. Сам Шипигузов отсутствовал, и я не спрашивал, где он, а принялся разглядывать карточки на стенах. Анна поставила самовар и поясняла мне, кто тут на карточках изображен, заутирала глаза платком, когда дошли мы до братьев Шипигузовых, снятых еще в Игарке, возле морских причалов, у штабеля досок. Широкоротые, бровастые, здоровые парни, в сапогах, в брезентовых спецовках, стоят с плахами в руках, улыбаются.

— Вот и Алевтина! Узнал?

С фотокарточки, обломанной на углах и подмоченной чем-то желтым, на меня из-под прямоволосой челки насулещено и тускло глядела девчонка в мужицкой шапке и в платьишке горошком. Шапка эта или челка напомнили мне бесконечно длинный и темный коридор барака, игру в пряталки под лестницей, девчонку, которой я однажды изобразил в общей тетрадке, названной «альбом», пальмы на желтом берегу и белый парус на горизонте, отчерченным синим карандашом, и подпись под рисунком закурдявил: «На добрую вечную память».

Господи! Как далеко-то все это было! В совсем какой-то другой жизни, в другом миру...

— Выучилась на продавца, замуж собиралась. И человек-то подходящий встретился — летчик полярный, а тут растрата!.. И все... — Анна опять поднесла платок к глазам и придавленным шепотом продолжала: — Пишет теперь, кается: дура, говорит, была, роскошной жизни захотела, вот и получила роскошную-то жизнь... Почитаешь, дак сердце раскалывается. — Анна полезла за икону и достала пачку писем: — На вот, почитай, а я еще послушаю да поплачу... Вся уливаюсь слезами, как получу от нее весточку — одно дите осталось, и то в неволе...

Я читал Анне письма, она обреченно и покорно слушала, покачивая головой и тихою завывая на особенно трогательных, с ее точки зрения, местах, вроде тех, где говорилось о братьях, как жили они все вместе хорошо, и о том, как не дорожила она, дура, добрыми родительскими советами, рано стала жить своим умом, а ум-то короток оказался.

Неожиданно среди этих, одинаково тоскливых писем, которые я читал унылым голосом, стараясь угодить бедной женщине, прочел: «Дорогая мама! А посылку, которую послали вы мне, пришлось разделить. Так уж получилось. Работала я на лесоповале, а рябина в зиму осталась, и все ее едят. И я ела да застудила живот и со мною плохо сделалось, заворот кишок получился. В беспомощности меня с лесу увезли, что было со мной — не помню. Очнулася уж в палате, в больничной, и возле койки моей старик седой высокий стоит. «Дура! — говорит. — Зачем мерзлую рябину жрешь, — говорит, — здоровье губишь?» А я и не знаю, что сказать, — ослабела. Это уж мне операцию успели сделать, захватили еще, а то бы и не видать мне больше свету белого, и вас, дорогие мои родители, тятя и мама. Старик-то поругался, поругался, и по-другому уж,

по-доброму, спрашивает: что это у меня за рубец, заросший на животе? Я и говорю, это, мол, мне аппендицит вырезали, давно еще. «А где, — спрашивает, — вырезали-то?» Я говорю — в Игарке вырезали. А тут, дорогая мама, старичок аж с лица смелся и спрашивает еще: не помню ли я, кто мне операцию делал? Я говорю, как же не помню? Иван Иванович Сабельников! Его вся Игарка знала и почитала.

Тут старичок этот худой ко мне весь подался — не узнаешь, говорит? Я говорю: не узнаю что-то. Силюсь, а не узнаю. Он мне тут и сказал, дорогая мама, что и есть тот самый Иван Иванович Сабельников и опознал игарчанку по своей операции: у каждого, говорит, стоящего хирурга есть свой почерк. Я, говорит, хоть грубиян был и остался им, но людей не пластал как попало, и шовчик делал маленький, аккуратненький. Так и сказал — «шовчик». И как он сказал это, дорогая мама, оба мы с ним заплакали. Я на койке лежу и плачу, а он возле койки стоит и утирается — будто родные свиделись, и слез не стесняемся... Я-то что, а он-то ведь такой сильнувший был человек!

Ну, он потом рассердился, велел мне уняться, а то хуже, говорит, сделается, — и ушел быстро. Но заходил ко мне часто и не по делу только. И когда мне легче стало, я набралась духу и шепотом спросила, как, мол, Иван Иванович, вы-то, такой честный, хороший человек, с такой нужной квалификацией, сюда попали?

Он будто в сомненье впал, задумался, а потом и сказал, горько так сказал: «Из-за честности и попал. Хирургом в саибате был и одного большого командира пытался спасти. Начальник саибата настаивал в госпиталь спроводить его. Он безнадежный был, командир-то, — не довезти. Ну, я рискнул. Ну... командир скопчался на операционном столе нашего саибата...»

Вот так мы и повстречались, мама, с Иваном Ивановичем-то... Сабельниковым, доктором нашим игарским. И посылку я с ним разделила. Он не брал ничего, но истощал сильно, так согласился. В больнице он дал мне выхаживаться до крепости, а выписывать стал, шутит: теперь, говорит, землячка, дважды ты мной крещенная — долго жить будешь! Бодрится он, но тяжело ему быть здесь — я-то вижу. Да и кому легко? Блатным? Подонкам?.. Да срок его, слава Богу, уже к концу идет, уж скоро десять-

то лет минет, может, выдержит и полечит еще людей на вольной волошке...»

Иван Иванович! Игарский доктор! Хочу верить, что кончилась папасть и вы живете где-нибудь на большой земле нашей, уже совсем старенький, но все такой же колючий и шумный. Вспоминаете, может быть, молодую тогда Игарку с деревянной больницей на окраине, где вы лечили трудовых людей и поставили когда-то на ноги со-рванца-парнишку.

Поклон вам от него и запоздалое спасибо.

ТУРА

У нас на Руси от века по дорогам, вокзалам и пристаням шатаются ушибленные судьбой, хромые или кривые бабенки, со шрамом по лицу, то с кривым, зубатым ртом.

И обязательно бабенка такая волочит за собой дитя в драных пеленках или рядне каком, из которого торчат кривые грязные ноги. Байкает зачуханного, грязного мальчика потерявшаяся в миру мать, тупо, покорно и зло поглядывая на людей и на мир этот Божий. А малец обязательно тугощекий, пузатенький, с наревленным пупом, глазет вокруг, палец сосет либо черную корку и воркует себе, пузыри пускает, не ведая горя.

Всегда у нас где-то находится пакостный мужик, который доберется до такой вот бабы, объест ее, обопьет, обрюхатит и смоеется без шума. Бабенку убогую сгонят с квартиры, уволят из домработниц и пняшек. Пойдет она по свету с поклажей своей. И везде-то ее толкают, из очередей оттирают, судят и рядят. А она помалкивает да ребеночка к себе прижимает.

Жила такая бабенка и в городе Чусовом. Шурой ее звали. Сама она говорила невнятно, глухая была и выговаривала свое имя по-своему — Тура.

У Туры тоже появился дитенок-сынок. Он ходил вместе с моими ребятишками в детсад, и тут я ближе узнал ее и мальчишку. Как она билась, чтобы вырастить сына, выстоять в жизни, не дать себе раскиснуть и опуститься.

Работала Тура в сапожной артели уборщицей, а как сын подрос, еще и еще работы нахватала. По городу она не ходила — летала, но работа вроде бы теперь не угнетала ее, а, наоборот, взбодряла, радовала.

И те людишки, что судили, даже позорили Туру за то, что она пагуляла брюхо, почитать стали ее за трудолюбие, неутомимость и исчезнувшее озлобление, которым она отличалась в девках.

«Тура! Тура! Тура!» — слышалось в садике, в магазине, на улице.

И мальчишка звал ее не матерью, а Турой — так уж привык сызмальства. Мальчишка рос балованный, капризный, орал на мать, топал ногами, она вокруг него хлопочет, улыбается, головой трясет, сюсюкает. Водила она свое чадо хорошо, покупала ему матросские костюмчики, бескозырки, красные сапдалии — все, что ей казалось модным, все, что она углядела у людей состоятельных и современных.

На демонстрацию Тура ходила только с сыном. Поднимала его на руки, показывала на трибуны, где стояла местная власть и приветствовала народ. Лицо ее было такое сияющее, так она была возбуждена праздником, своей причастностью к людям, к матерям, что я не видел счастливой человека во всей толпе города.

День за днем, год за годом вела Тура в жизнь своего сына и изпосу не знала. А сын, как в школу пошел, стыдиться матери начал. И что одевается она худо, и что на грязной работе она, и что говорит невнятно.

Знающие люди предсказывали, что вырастет Турин сынок и бросит ее, уедет куда-нибудь, она же станет таскаться за ним, и он будет вытирать об нее ноги, помыкать ею станет, в няньки приспособит...

Кто его знает, как бы оно было. Может, и по-иному. Но однажды летом пошла Тура с сыном по грибы к разъезду Ермак. И набрали они грибов дивно, назад шли усталые, мирные. Сын нес обе корзины. Он только на людях держался с матерью плохо, а наедине был внимателен, заботлив, мать не обижал.

И вот шли они так, шли, разговоры разговаривали, как вдруг палетела гроза, зачастили молнии. Грозы на западном склоне Урала бывают страшные. Одна молния ударила в Турино сына. На груди, в карманчике рубашки, торчал у него столовый нож. И в этот нож угодила молния и прожгла грудь до самого сердца.

Гроза была скоротечной, яростной. Налетела туча, ошпарила молниями да тугой полосой дождя землю и скрылась за хребтом.

Поголубело небо, солнце выглянуло. По улицам бежа-

ли ручьи, с деревьев весело капало. Природа, сотворив преступление, как собачонка, виляла хвостом, пошумливала, улыбалась...

По улице города, по центральной, шагала Тура с сыном на руках. Медленно по самой середине улицы шла она и через равные промежутки выдыхала крик. Крик не звериный, не человеческий, ни на что не похожий крик. Остонавливались машины, разбежались люди по сторонам, старухи крестились.

Тура шла мокрая, в одной сандалиии и, словно обжигаясь о раскаленную землю босой ногой, вскрикивала:

— Уой! Уой! Уой...

Так она ушла куда-то, исчезла. Нет, из города она не уехала — осталась возле могилы сына. Но уже незаметной сделалась Тура, растворилась в жизни, как соль в воде. Никто не видел ее на улице, не слышался громкий Турин голос в магазине, в садике, на улице.

Если и появлялась она где, то жалась в уголках, спешила, крадучись, куда-то вдоль заборов, ныряла по закоулкам.

Артельные сапожники жалели Туру и нашли ей простецкое утешение — научили пить. И она, еще вовсе не втянувшаяся в это дело, стеснялась себя и людей.

ЗА ЧТО?

В вологодской тихой и удаленной деревушке был у меня дом, и напротив жили соседи с коровой, собакой, кошкой. Было у них два сына — один, его звали Алексей, жил и работал в Ленинграде на заводе газорезчиком, другой жил и работал плотником поблизости, в райцентре.

Летами сыновья с семьями приезжали к родителям в отпуск, иногда вместе, но чаще врозь. Родители — простодушные, добрые селяне, посадженые колхозным трудом, ждали детей, радовались им, особенно внучке-ленинградке. У второго сына детей не велось. Родители считали, что так оно и лучше, пили оба, с женой, молодожены, и ничего у них не слаживалось ни в хозяйстве, ни в семье, сами едва кормились от трудов своих.

Мать и отец держали корову, поросенка, кур, чтобы подсоблять детям, копили к лету денежки, мясо, масло, сметану, яйца, берегли варенье, прятали в сундук печенье,

конфетки и что-нибудь из редкостных, заморских вещей или игрушек, купленных у спекулянтов для вилучки.

Однажды Алеша приехал из Ленинграда отчего-то зимой, редко спускался вниз со второй «высотной», как тут говорят, половины, кланялся, ронял два-три слова и понурясь сидел на лавке, навалившись затылком на стену. Был он бледен, осунулся, почти не ел и совсем не выпивал. Соседка моя незаметно качала головой. Отец, придя на обед, швыркал посом, таская ложку над столом, вдруг взъедался на кобеля-тунейдца, затесавшегося в избу, под стол и, страшно матерясь, выпинывал его на улицу. Поднимался вой, гам, грохот.

— Помешал он тебе? — всякий раз взъедалась хозяйка на хозяина.

— А, помешал! — отвечивал тот с лютостью. — Он под столом будет, а я там мокну под дождем, а?

— У него такая жизнь, собачья, не то что наша...

И нежданый, печальный поднимался в доме скандал, сосед бросал ложку на стол, схватывал горбушку, запихивал ее в противогазную сумку, привезенную им еще с войны, орал: «Пропадите вы тут все!» — и, сагнув дверь, уходил на телятник, матерясь на всю округу, выгонял за деревню стадо, лупцуя пещадно телят и коня, на котором сидел. Поостыв, высказывался громко, пространно, торопиться-то некуда: «Это жизнь, а? Почему кому дак все, а кому дак ни х.., а?»

И вспоминал ближние обиды, как ему прошлой осенью не доплатили за привес бычков, который был, но почти испарился к той поре, когда скот свешали, приняли и угнали. За время стояния в помещении глупая скотина приела корма, предназначенные на зиму и для других телят, скотину же пригнали в расчете на то количество кормов, которое было заготовлено, и зимою жрать ей сделалось нечего, начался падеж. На пастуха катят. Он доказывать свою правоту ринулся, ему судом пригрозили, и все, что за лето и осень заработано было, спес сосед в кассу совхоза, да еще и не хватило, должен он остался и работал уже на дядю.

Это ближний долг, ближние обиды, дальше он уже не помнил, когда и чего было, потому как всю жизнь должен и обижен...

«А за что, а?» — не раз вопрошал он российское сельское пространство. Не отвечала ему ни даль, ни близь,

потому как год от года пространства эти все более пустыли и становились безлюдными.

Пастушье дело длинное, и не раз перебрал он всю жизнь по годам и дням, отыскивая в ней грехи, за которые карал бы его Господь или кто там еще, так постоянно и жестоко. Были, конечно, были и грешки, и поступки нехорошие, поганец человек-то, печестивец, и как же он может жизнь прожить без поганства и поганости — двух девок расколупал походя. Правда, их все равно кто-нибудь расколупал бы, потому как возраст девок к такому рубежу подошел, что дальше невтерпеж. Они пели, плясали за речкой на лужку до позднего часа, звали, кликали. Ну и дозволялись...

В колхозе будучи, приворовывал, как все советские счастливые колхозники. Воровать их у себя в колхозе выучили, чтобы не сдохнуть с голоду. Вот и тащили сырым и вареным. В тюрьмы гужом шли, гинули на лесоповале и на сплаве, а все крали и крали, иначе нельзя.

Дрова крадче рубили, крадче сено косили, коня крадче держали, для него клинышек овса на пустоши крадче сеяли и крадче молотили. Мужики крадче пили, старики крадче постились, бабы аборт крадче делали. Как прикинешь, так крадче и дышали — кругом виноваты были, кругом озирались, отовсюду беды и наказания ждали. Желающих наказать в отечестве родном больше сделалось, чем трудящихся и все при галифе, при галстуках, при хорошей оплате. Ее, кормную оплату, оправдывать надо, пусть она и несправедная.

Жизнь такая выдалась, что только в летнем училище он почувствовал себя человеком, и кому казарма, муштра, ему — рай, — питание бесплатное, одежда форменная, форсистая, постель с простынями, обязанностей всего ничего, учишься, выполняй команды, слушайся, поворачивайся налево-направо...

На фронте тоже повезло, на почтовика-«кукурузника» посадили, пыркал он, ползал по фронту невысоко над землей, угадывал, конечно, в переплеты, попадали в самолет зениткой, гонялись за ним истребители, но он же в колхозе вырос, ловкач, соображать на ходу и убегать будь здоров как обучился! Подбитый «кукурузник» в кусты засунул, шлем с головы стянул, зажег и на землю бросил — немец подумал, горит русская козявка, и улетел. Случалось, и от окопников попадало, палят из всякого оружия, едва до аэродрома доберется, все крылья в дырках,

троса болтаются, колеса хромают. В починке месяцами сиживал, к девкам из аэродромного обслуживания на посылки ходить повадился — война! Но одного немца-таки уговорил, орден и отпуск за него с Карельского фронта получил.

Дело было так — свез он почту на передовую, и там ему раненого командира вместе с пустыми мешками задули. Командир пехотный, злой, в земле весь, стонет и матерится. Летчик был хоть и колхозник, но не шалопай, дорожил профессией, самолетом и жизнью своей, держал в самолете медицинский и продуктовый запас. Еще пулемет Дегтярева прятал — мало ли, приземлят вражеские асы в лесу или в болоте, отстрелится, уйдет, во всяком разе живым не дастся, до последнего будет биться, как велели в летном училище.

Сердце как будто чуяло неладное. Дал он раненому из запасов выпить и поесть, пулемет рядом с ним сулил, тот и успокоился, заснул. Летчик мчится по небу домой и орет свою любимую песню охальную, благо никто не слышит.

Боевой «кукурузник» привык к такого рода песням, подхрюкивает одобрительно. В это время и возник он, враг-то. Выпрыгнул, холера такая, из облаков, на хвост напел, песню слушает и сбивать не торопится — летчик пистолет достал, по врагу пальнул да и командира разбудить надеялся. Не разбудил. Устал командир в боях. Еще пальнул — немец газ сбросил, то приблизится, то приотстанет от «кукурузника» и большой палец, зараза, показывает, хорошо, дескать, стреляешь, отчаянный ты Иван, гут...

Ну что вот ты с ним, с варнаком, сделаешь — у него техника, скорость, оружие убойное, надоест спектакль, пажмет на гашетки, да ежели по бензобакам.

Бросал летчик «кукурузника» с крыла на крыло, ногами топал, орал: «Эй, пехота! Проснись! Погибнем!..»

Бог пособил, не иначе. Проснулся командир, продрал глаза, врага увидел совсем рядом, но тоже тот еще попался русак, с гопором. Поднял флягу, приложился, немец-летчик ему маячит, не все мол, пей, мне оставь маленько. Но какой же русский водку оставит врагу?

Допил командир все до капелюшечки и в истребитель флягу фуганул. Чего тому немцу-издевателю поместилось, не узнать нам никогда. Должно быть, срок жизни его пришел к концу, Бог его или еще кто приговорил. Он от хвоста «кукурузника» отсунулся, вроде как на поворот взял, и

в это время наш боевой и бухой командир из «дегтяря» весь диск ему на добрую память высыпал...

— Я с тех пор в полет только полную флягу, «дегтярь» брал да исключительно про милку и про бутылку пел, — тряся головой и обнажая три коричневых зуба, рассказывал сосед. — А и во всей эскадрилье эта патриотическая песня с моего почина распространилась.

Он приехал в отпуск в летной форме, белозубый, румяный, в ремнях, при ордене и на выбор присоседился к лучшей, на его взгляд, девахе. А и была она в ту пору самой пригожей, несмотря на тяжелую мужскую работу и одежду мужицкую — телогрейка, сапоги, зато теплая, зеленая косынка на голове, шарфик на груди, ямочки на щеках, волосья волною.

Ах ты, разакты! Потерял голову пилот, ошалел от головокружительной любви, подвигу хочется. А какой тут тебе в полупустом, пазьмом заваленном сельце подвиг? Из пистолета палил, людей и куриц пугал, на крыло их поднимал, но однажды и похулиганничал, по скворечнику пулей вдарил.

В нем, в скворечнике-то, птенцы.

«Это за них, за них, за пташек меня Бог карает, а», — не то спрашивая, не то утверждая, говаривал сосед. Вникая в нехитрую, житейскую историю, я думал — что-то и в самом деле есть. Ведь не второго сына настигла беда, первого, того самого, что был зачат во дни незабвенного героического отпуска...

Алеша работал газорезчиком и, как все русские люди, был беспечным, если не безалаберным — зимой резал металл, сел перекурить на стылую болванку и скоро почувствовал недомогание — спину заломило, в позвоночке запыло — думал, радикулит, привычная при его профессии болезнь, и, когда его завалили в больницу, никакой тревоги и горя не ведал, даже родителей не известил о болезни.

Пролежал до весны, получил инвалидность. По теплу с женой и дочкой прибыли в родное село. Мед, молоко, родное солнце подживили человека. Возвращаясь в Ленинград, Алеша улыбался, бодро восклицал: «Ничего, мы еще повоюем, мы еще имя дадим!» — «Конечно, конечно!» — глуша тревогу, поддакивали родители. «Экой баской, молодой да сильной, да чтоб не выздоровел...» — «Экой же я в сорок-то третьем годе был, когда в отпуск прибывал, ладной, цветущай, скажи, мать, а?..» — «Экой же, экой же, в точности...»

Долго не было Алеши. Появился в родном селе опять по теплу, но уже на костылях. Жена его как-то тихо и незаметно слыхала. Родители просили оставить внучку. Не оставила.

Дальше все было, как и бывает в смертельной болезни, — медленное, мучительное угасание, муки больного, муки родителей, чаша горя и страданий, испытая до такого глубокого дна, что мать взмолилась: «Господи, да приberi ты его, упокой мученическую душу!..»

Великая печаль, непобедимое горе человеческое и к нему недоуменная досада — жена Алеши ни разу более не приехала в село и внучку не послала. Даже на похоронах отца дитя своего и мужа не побывали жена и дочка. Нет, нет, не из мести, не из-за того, что жили плохо, не союзно, что обижал их покойный, нет, просто так, не приехали и не приехали. Некогда было, дела более важные нашлись.

...Долгий день у пастуха, все он за день передумает, все вспомнит да и спросит у Господа или у пустого оглохшего российского пространства: «За что, а? Неужто за скворчат? За пташек? Так меня бы и карали. Я — злодей, а оп-то, оп-то... Не дорого ль спрашиваете с нашего брата? Тех ли судите? О-оох ты, о-о-ох ты! Зла жизнь, земля нам мачеха и небеса немилостивы...»

ТОТ САМЫЙ КОМАРОВ

Никогда не думала Машенька, что человеку может быть так одиноко в большом городе, среди такого многолюдства. И город-то был не какой-нибудь пустычный, а сама Москва, куда Машенька так мечтала попасть с самого раннего детства.

И вот попала нежданно-негаданно. Не пожелает она и врагу своему таким образом и по такому случаю очутиться в столице.

Прямо с вокзала — в клинику на машине с крестами, а из машины — тут же и на операционный стол.

Жизнь Машеньки до той весны, трудной для нее весны сорок восьмого года, шла быстро и незаметно. Еще учась в школе, она сумела окончить курсы медсестер и, как началась война, сразу же оказалась в госпитале. Четыре года войны не прошли, а пролетели в такой работе, в таком напряжении и тяжком труде, что, когда она огля-

нулаь вокруг и на себя поглядела, — удивилась: когда-то успела уж из подростка превратиться в девушку, и первые морщинки птичьим следом обозначились у глаз, прочертили лоб в двух местах, и одна желобком скатилась на широкую переносицу.

Но лицо ее по-прежнему было свежо, польхало румянцем, хотя питалась чем Бог пошлет и за все четыре года вдосталь не выспалась и четырех раз.

«Ничего, — утешала она себя, — главное: война кончилась. Дальше лучше жизнь пойдет».

Но в жизни ее перемен почти не наступило. Госпиталь прикрыли, в помещении его, как и до войны, начали учиться дети, Машеньку перевели работать в городскую больницу операционной сестрой. Только и различия: в госпитале была сестрой палатной, здесь — операционной, а так все, как прежде, — те же недужные, пуждающиеся в лечении и ласке люди, те же стоны, те же запахи, те же белые стены кругом и жизнь впроголодь, на карточки.

Она и замуж вышла за человека, которого сама в больнице помогала оперировать и выхаживать, за Лешу-прокатчика, у которого от военных харчей и тяжелой работы получилась язва желудка.

Намытарились они, пока обжились и хлеба досыта паелись. Леша из ремесленного училища, угла своего нет — в общежитии всю войну бедовал, Машенька в большой семье жила, которая за войну вся распалась: братья погибли на фронте, мать умерла, а отец пошатнулся умом и, пропив дом, угодил в инвалидку.

Ютились по чужим углам молодые супруги, дом себе строили. Долго строили, перебиваясь с хлеба на квас, и в своем уже доме Машенька родила первенца.

Самая большая это радость в ее и в Лешиной жизни была. Да рано обрадовались. Надорвалась, видно, Машенька в работе и послабела здоровьем, да и не побереглась после родов, застудилась. Грудь у нее заболела, распухла, и она, никогда не болевшая, долго крепилась и в больнице никому ничего не говорила, не жаловалась. Когда совсем плохо стало, хватилась — лечить поздно: опухоль злокачественной сделалась.

Вот тогда-то и отправили Машеньку почти силком в Москву, к знаменитому хирургу. И он удалил ей левую грудь — ничего уж сделать было нельзя. А пока она в клинике была, ребеночек — первенец ее — умер, двухмесячный, не успел памаяться.

К Леше возвращалась Машенька домой. А под платьем пустота, будто вместе с грудью и с ребечком, к которому она и привыкнуть-то не успела, выпули у нее сердце. Так-то все кругом ушло и незнакомо, так-то одиноко среди чужих людей.

Жизнь почти сначала надо строить. Женщина без руки, без ноги — и то нехорошо, несправедливо, не идет быть женщине инвалидом. Но женщина без груди...

Леша, он хороший, он примет ее и такую. Но он же еще молодой. Она была первой женщиной в его жизни, и что, если попадет ему ладная, складная, без изъяна?..

Ничто не радует Машеньку. Скорей, скорей на вокзал. Думала посмотреть Москву, Кремлем полюбоваться, да не тот момент. В другой уж раз как-нибудь.

А людей-то, людей кругом! Море, целое море — так оно и волнуется, это море, так и двигается. И ведь среди людей этих есть и те, которых она лечила, поднимала на ноги в госпитале. Много там и москвичей попадалось. Вот бы интересно встретить да поговорить.

И только Машенька так подумала, тут же и увидела одного, опознала. Он спускался по катушей лестнице в метро, и она спускалась по этой же лестнице да обернулась зачем-то — и вот он, стоит сзади нее, смотрит скучно, без интереса, перед собой. Солидный такой, в шляпе, в серой паре и с портфелем.

А был-то, был... Горе горькое! Ранение целовкое — выше ягодицы, тазовая кость у него повреждена была, и гнила рана сильно. Пахло от него на всю палату, когда привезли. Но Машенька и не таких обихаживала. Она возилась с ним, беспомощным и отоцалым, как с ребенком, бигтики всегда повеньские поровила положить на его рану, книжки ему вслух читала, а когда на раздаче дежурила, старалась супишку или каши добавочной для него раздобыть.

«Как же его фамилия?» — мучилась Машенька. И пока мучилась, подвезло ее до пиза и чуть с лестницы не сбросило. Дежурная в красной фуражке поддержала ее и укоризненно покачала головой. Или тряхиуло Машеньку, или с испуга, но под платьем, там, где была грудь, у нее заныло, и она, прикрыв ладошкой это место, поспешила в вагон.

Она и в вагон заскочила следом за тем, что был в серой паре и с портфелем, думая, что как вспомнит фами-

лию, так и заговорит: «Вы меня не помните?» — или что-нибудь в этом роде.

В вагоне была густая толчея, и Машенька поскорее оттиснулась к железному поручню, схватилась за него, боясь, что ее пенароком прижмут к железу или к стене, — боль в груди еще не прошла.

Устоявшись после того, как поезд загудел и тронулся, Машенька отыскала глазами того, с портфелем, и едва заметно ему улыбнулась. Но, тут же вспомнив, какая она после операции желтая и некрасивая, погасила улыбку. Гражданин этот ухватил ее улыбку, и в глазах его, чуть припухших со сна или еще от чего, проскользнуло изумление, он покривил уголок губ и отвернулся.

И по этому движению губ, которые раньше кривились от боли, а теперь как бы презрительно, Машенька окончательно убедилась, что это и есть тот самый раненый, и фамилию его вспомнила — Комаров!

Но имени вспомнить уже не могла. А ведь знала, знала имя-то — он ей на прощанье и адрес свой оставлял, и просил писать ответы на его письма. Да мало ли их за войну-то было, от благодарности влюбленных в молоденькую сестру, просивших писать и помнить.

Многих она тут же и забывала, как только они уходили за порог госпиталя. Но Комарова отчего-то долго еще помнила. Может быть, оттого, что был он тяжелый, лежал в госпитале долго и много сил и ласки на него было затрачено. А еще запомнился он тем, что среди неунывающей солдатки, которая, поправляясь и входя в силу, прокудничала, всяческими способами нарушая режим, Комаров выделялся скромностью и вежливостью. Умел он хорошо говорить, читал много и стойко переносил боль, да еще стыдился сестер и нянь, дожидался ее дежурства, не давался с перевязкой другим сестрам, и терпел насчет судна.

На прощанье Комаров поцеловал Машеньке руку, чем очень ее смутил. «Я никогда-никогда, Машенька, вас не забуду!»

И еще что-то говорил, она обняла его взволнованно, бережно, поцеловала в щеку и заплакала умильными и жалостными слезами — было у нее такое чувство, будто свое дитя она от смерти спасла.

И вот надо же, он, Комаров, через столько лет! Машенька еще раз попыталась встретиться с его глазами и встретила вцепилась в них. «Ну, узнайте, узнайте меня!» — молила она взглядом. Но Комаров снова отвел

глаза, и Машенька огорченно вздохнула: «Видно, так я сильно переменилась...»

В это время поезд затормозил, Машенька забыла держаться за поручень, ее качнуло и бросило на Комарова. Он, видимо, привыкший ездить в толчее, ловко от нее увернулся, и Машенька на лету уловила его высокомерный взгляд, тот самый взгляд, каким москвичи так любят одаривать всякую там деревенщицу, бестолково спущую по столице. И еще она успела увидеть пакипевший подбородок Комарова, эти брезгливо искривленные губы и чуть обвислые гладкие щеки хорошо и вовремя питающегося человека.

Комаров направился к выходу. Машенька попыталась опередить его, думая, что он уйдет сейчас и пропадет в людском скопище. Она решила заговорить и, протискиваясь между людей, поравнялась с Комаровым. И в это время он неожиданно толкнул локтем ее в то место, где раньше была грудь, а теперь жалким, мятым птенцом лежал кусок ваты.

— Смотреть же надо, полоротая!

Она еще услышала этот надменный рык Комарова, но видеть-то уже ничего не видела — в глазах ее вдруг сделалось темно.

На той же или на следующей станции — этого Машенька не помнила, — шатаясь она вышла из вагона, медленно побрела в угол станции, спряталась за киоск или телефонную будку и, навалившись на стену лицом, долго плакала от обиды, от боли и еще от чего-то. Плакала первый раз с тех пор, как похоронила мать.

Потом она добралась до Курского вокзала и уехала в свой родной город, что на Урале стоит, и живет там с мужем Лешей и по сию пору. Только в Москве она больше никогда не бывала...

Очень мне хочется, чтобы Комаров прочитал эти строки. На свете людей с такой фамилией много, в одной Москве, наверное, тысяча. Так напоминаю ему: вы тот самый Комаров, что лежал в госпитале № 2569 в городе Чусовом, в бывшей девятой школе, что возле железнодорожной линии. Год тогда был 1942-й. Вас в ту тяжелую и голодную зиму возвращала к жизни медсестра Машенька, с ямочками на румяных щеках, ласковая, добрая, какими полна и жива наша российская земля.

КРУЖЕВО

Огромная, в простенок величиной, снежинка в хрустальной изморози — тропь: рассыплется!

«Пять тысяч рублей стоит!» — почтительным шепотом говорит кто-то из посетителей выставки, говорит шепотом не потому, что дорого, боится, чтоб не облетело, не рассыпалось от громкого голоса кружево, точно снежный куржак с ветвей дерева.

Далее кружево «Лодья» — не ладья, как написано в каталоге, а «Лодья» — так называют ее служительницы выставки. И кажется мне, значительностью тона и голоса ставят в названии большую, заглавную букву.

Рядом эскизы рисунков этого кружева, клочья кружевец, кружев, уже и целое почти кружево, тоже очень красивое, — по все что-то не удовлетворяло кудесницу, беспокоило ее воображение, не давало спать ночами, и заметно даже неискушенному глазу, как пачала она убирать с кружева все лишнее. Плакала небось, распуская хитрые витые узоры, на которые потратила недели, месяцы, годы. Но однажды, в миг озаренья, отчаянья ли, решила на самое невероятное, убрала и самое лодью с центра кружева, оставив лишь по краям, в белой каемке, маленькие, легкие лодейки, — и плывут они по обводному каналу вокруг бела-озера, плывут и никуда уплыть не могут — заморозила их чистая вода, и весело им вместе быть — хороводиться.

Я много раз глядел на это рукотворное чудо, и всякий раз посещала меня мысль: вот бы всем нам, современным писателям, художникам, кинорежиссерам, операторам, научиться у этих кружевниц убирать все лишнее, оставляя открытой и чистой лишь мысль и красоту.

И еще думается о тех старушках, что сидят зимами одиноко по одичавшим деревьям, у одиноко светящегося окна, в натопленной избе и по заказу местных кружевных объединений плетут то узенькую прошивочку к постельному белью, то стеариново-желтеющую «дорожецьку» к подшторникам, то увязавшие тонко меж собою, соединенные остриями звездочек «снежиночки», из которых однажды выпула затейница одну лишь летучую снежинку-звездочку и сотворила чудо, которому не пять тысяч рублей цена, а нет ему цены, как не бывает у чуда, у сказки, у выдумки...

Строга, взыскательна, куражлива контора, заказыва-

ющая кружевной ширпотреб по деревням, цена снежинки — двенадцать рублей за десять метров — это если первым сортом. А если вторым — восемь, а третий сорт идет в полцены. А где же первым-то сдашь?

Работа долгая, чистая, а тут печь, тушилка для углей — самовар-то по сию пору не забыли крестьяне, кошек по пяти на избу, — уехал народ из деревень, побросал живность, старушки подобрали, маета с ними, с кошками-то, и кормить надо, а они свободу обрели на приволье-то, без хозяйского надзору круглый год гуляют, рожать взялись по два-три раза. Котят топить бабе непривычно, нельзя ей живность губить, ей Богом велено создавать живое, мужиков не стало, которые есть — все увечные, нутром порченые, пьющие и жалостливые с войны — тоже боят-ся животное топить, вот и шляются кошки по пустым избам, визжат, пластаются, яйца из гнезд выгребают, наловчились скворчат из скворечников когтями цеплять, ласточек по чердакам и поветям приели.

У бабки Евлампии в кошачьей семье за главного кот — Мурых, так его впучка Светланка парекла, а бабка Мурлом его зовет. Самый это большой плут, разбойник и гуляка на селе. Так вот, Мурых имает мышь только по настроению, мори голодом — промыслит, пачни столовать — лежит на печи либо под теплым старухиным боком и делает вид, будто никаких мышей слыхом не слышит — «коммунизма ему уже наступила!» — смеется над котом сухогрудая бабка Евлампия.

Котята рвут кружева, катушки укатывают, петли выдергивают да почто-то грызут когда питки — остервенели от безделья, видать, либо порошок химического хватили, коим поля удобряют, и не в уме от него сделались. Сама вязальщица тоже хороша! К печке супется, к помойному ведру, а то углем самовар зарядит и черными-то, пемытыми лапами цап за «снежинку!» — и все! Второй сорт.

Вечно пьяненький приемщик, в парядном кружевном галстуке на шее, неотмолим.

Ладно, старушонка смекалиста, шустра и запаслась «бутылоцькёй» — сей же миг рыжичков на стол, картошечки, капустки и: «Покушайте, погрейтесь. Экая ведь стужа зарядила, экой ветрище, прости Господи! Ране вроде бы тепляе было, аль кровь горячае?..» И блеснут хитрецей и отгоревшим озорством глаза старушонки Евлампии, затрясется рот в притворном мелком смехе.

Конторский люд вступит в разговор с бабкою Евлампией насчет ранешнего и настоящего, доказывая, что это уж такое обманное свойство человеческой памяти — все ранешнее кажется хорошим, а понешнее — плохим, тогда как диалектика и весь ход жизни свидетельствуют об обратном.

— Так оно, так, касатик! Мы цё понимаем? Никакой в нас ценности нет, одно токо недоразумелье...

Затянется беседа допоздна. Бабка Евлампия уж при огнях бегала к продавщице за вином, случилось, в другую деревню гололяхом строчила, сжимая мелочишку в сухонькой горсти.

«И рассялся! И рассялся! Где я на вас наберуся?! Экие глотки, прости Господи!» — шепотом поругивалась бабка. А отступить уже нельзя — первый сорт ей обеспечен на всю зиму!

Старушонки, что проявили строптивость, не умаслили полномочный люд — на дыбу бабку, на суд, шумный и мятежный: «Поцё тарификацию сбивашь? Поцё менклатурой не дорожишь? Мы как договорились? Не выставлять! Стеной на лихоимцев! Всегда ты, пердунья, поперек народу! У тя и мужик экой же был! Навонят в обутку и помалкиват...»

Не перечит бабка Евлампия, глаза в землю, вздохнет только летуче — доходу от сдачи кружев никакого не получилось, все, что накопила, — стравила конторским, надеялась на их памятьливость и благодарность. Да ведь много таких вот догадливых да услужливых по селам. Как забудут про нее приемщики, как объедут? Иль, спаси Бог, с работы полетят! За вымогательство. Их, слышно, там шибко контролируют и чуть што — по шапке! С чистого-то места и метнут на общие работы, в кудельную фабрику костру глотать, а в городе у сына права шоферские отняли, пьет сын-то, запиться не может, пропасти на него нет! Невестка жалуется в письме, уйти грозитя, семью порушить. У Светки, внучки-то, сообщает, пну... пню... пне... пшев-мо-ния. Тьфу ты! И болезни-то пошли — не выговоришь. Вон раньше как все понятно было, болезни как болезни: понос, рожа, холера, грыжа, родимец, тиф...

Переболела Светочка, исхудала, ласточка, навязалась хворь на ребенка, на маков цветочек. Питание хорошее требуется, воздух чистый, молоко. Хотела к лету кошек извести, козу купить, чтоб молоко Светочке — ребенку больному, ради которого бабка Евлампия все готова стерпеть, срам, стыд, унижение...

А бабы срамят, ох как срамят! И она бы срамила — как иначе-то? Артельно падо жить. Раз похитрила, заговор парушила — терпи!

Но скоро уймутся бабы, отведут душеньку. По деревенькам па целый месяц поселится тишь да благодать.

Белы снеги пластом лягут вокруг, тропутые лишь лапами вороп да круглым следком рыжей лисицы. Белое безмолвие не потревожится до тех пор, пока не пробуровит снег вездеход, папимаемый кружевным объединением местпрома исключительно для пользы дела — никакой другой машине не пробуровать снега к запустелым деревенькам, в запустелых улицах.

И весь долгий зимний месяц, до приезда приемщиков, от дома к дому, по узеньким щелкам тропок бегают друг к дружке так люто сражающиеся старушонки, подглядывая: не опередила ль ее товарка? Не оставила ль на запятках? И, маясь головой, недосыпая, питаюсь порой на ходу — доходы — черт с ними, главный стимул — соревнование, как утверждает районная газета, — плетут незатейливые кружева древние плетей, а видится явственно — отсюда исток, отсюда льется, течет белая реченька к тому дивному, бесценному кружеву, отсюда отчалила и плывет в вечность легкая, сказочная лодья и, не истаивая па лету, накрывает землю тихой белизпой легкокрылая снежинка.

ЗАПИСКА

«На прокорм легка, хотя и объесть может. Но не зловредна».

Нет, это не из Гоголя и не из Салтыкова-Щедрина, и не из прошлого века.

В наши дни, в век, так сказать, энтэра, из старой русской деревни, подбив продать домишко, родной сынок привез в город собственную мать, неграмотную, изношенную в работе, и «забыл» ее на вокзале.

В карман выходной плюшевой жакетки матери вместо денег сынок вложил эту самую записку, как рекомендательное письмо в пяньки, сторожихи, домработницы.

Все же жаль порою бывает, что отменена публичная порка. Для автора этой записки я сам нарубил бы виц и порол бы его, порол до крови, до визга, чтоб далеко и всем было слышно.

СТАРАЯ, СТАРАЯ ИСТОРИЯ

Окно углового номера выходило во двор и в пригости-ничный сквер, где густо клубилась и уже зацветала сирень, топорщились беловатыми ростками низкорослые акации, а вверху недоверчиво припохивались к российской весне поздристыми почками канадские клены.

В номере было пакурено. Голова моя разламывалась после работы над рукописью с редактором.

Я распахнул обе створки окна. В номер панесло прохладой, начало вытеснять из него ту дурную духотищу, которую могут наделать только люди, целый день громко ругавшиеся, бесполезно махавшие руками, на ходу в номере поевшие бутербродов с селедкой и — для творческой стойкости — выпившие по стакану водки.

Я перевалился через подоконник. Затянутые илом никотина, нос и горло мои уловили запах палого листа, смешанного с острой горьковатостью повой травы и какой-то тревожащей, полузабытой уже тоски о певедомом, не то о дальних путешествиях, которые получились совсем не такими, какими грезились, — всегда были по чьему-то велению; не то по любви, которая являлась в житейских буднях и тоже буднично прошла, улетела, оставив на душе неизбывное чувство вины и печали. Тихо и завистливо думалось: у тех вои, что гуляют в скверике, и судьба, и жизнь, и любовь совсем иные.

В гостиничном ресторане, зал которого виден из моего окна, ударила музыка, слегка интимная, слегка развязная, и штангисты, съехавшиеся в этот город на всесоюзные соревнования, обняв дам, запереступали осторожно, боясь их кружить и прижимать. Дам они сыскали себе подобных — с лошадиной статью и пудовыми бюстами.

Это была, слава Богу, заключительная музыка и последний танец. Официантки напоминающе мигали люстрами, затем и вовсе погасили их, оставив лишь несколько настольных светильников для произведения расчетов с клиентами. Те, как водится, не хотели уходить. Их, как водится, в конце концов выдворили.

По коридору грузно прошли штангисты с дамами, припужденно смеющимися и чего-то пегромко, чуть встревоженно напевающими.

Окна в гостинице отемнялись одно за другим. В сквере погасли плафоны, в гостиничном дворе, забропанном

кожурой апельсинов, клочьями целлофана, появилась курящая сторожиха с палкой и в плаще.

Я тоже выключил свет. Закинув руки за тяжелую, вовсе разболевшуюся голову, привалился к спинке кровати и почувствовал, что из окна запахло дождем.

Официантки, изруганные, усталые, падышавшиеся табаком, кухней и вишними испарениями, расходились с работы.

— Ой, дождь!

Сторожиха сказала что-то шутовское радостно повизгивающим официанткам. Представилось, как протягивают они ладони под капли первого весеннего дождя и как им хорошо дышится. Есть там одна совсем юная, только-только кончила десятилетку, пенаторелая еще, стойкости не имеющая против наветов и пьяных, блудливых мужиков, обсчитывать боится и чаевые не берет.

Шуршало в скверике, стучало каплями по крыше и в железный закопник. Заполошно взвизгнув, затопали, побежали под дождь официантки. Кто-то, дурачась, свистнул им вслед.

Наползало забытье, отдалялись звуки, шумом дождя заполняло двор, гостиницу, номер...

Бритвой полоснувший вопль подбросил меня с кровати, и я сидел очумелый до тех пор, пока не понял, где нахожусь и что где-то, скорее всего за окном, кричали. Я кинулся к подоконнику и увидел, как одно за другим зажигаются в гостинице окна.

— Коля, ты что?! — задушено взвывает женский голос в скверике. — Коля, миленький, нельзя! Ко-о-оля, га-ад!..

Меня отпустило: нет, женщину не режут, не грабят. Штагист из соседнего номера с облегчением пророкотал во тьму:

— Эй, Коля! Ты почему такой пехороший? Мотри у меня!

У соседей засмеялись и захлопнули створки. Коля, певзирая на непогоду, молча добивался своего. Слышались возня, рвущиеся слова. По ломкому писку и неподдельному испугу догадаться можно было — попалась в руки Коле совсем еще салага, российская душка с модным пачесом и подрисованными глазами. Доверилась, дала себя увлечь от людей, забыв о коварстве темной весенней ночи, когда кругом мужик голодный рыщет — он мигом увлечет и скушает.

Коля представился мне вербованным бродягой с наколкой во всю грудь: «Умру за горячую любовь!»

— Дура! Так ей и надо! — объявила по двору сторожика.

В гостинице как по команде погасли остальные окна.

— Я-а-а вот ва-ам! Й-я-а вот вас! — постучала на всякий случай палкой по крыльцу сторожика.

Я был уверен, что сторожика спугнула парочку, да и сыро на дворе, дождь. Какая тут может быть любовь? И вообще все это ерунда по сравнению с трудностями жизни — рукопись вон на столе белеет, ждет, проклятая. Надо готовиться к завтрашней работе, отдыхать, набираться сил.

Но сон отлетел. И дождь вроде бы кончился.

За окном все звуки были вятыны, отчетливы и чисты, слышно даже, как сторожика чиркнула спичкой. И в этой, омытой дождем тишине, раздался смятый, обреченный уже голос:

— Коля! Да отпусти ты меня, ради Бога! — Ясно угадывалось: просьба лишняя, бесполезная и говорится она на всякий случай, для самоутешения.

«Ну и Коля! — завистливо подумал я. — Боец!»

Вскрик, еще более острый и отрешенный, прервал мои размышления. Будто погружаясь в студеною воду с головой, в ознобе и страхе еще раз прорыдала девушка: «Коля! Коля! Ах, Господи!..» Она еще пыталась защититься, оградиться словами от неизбежного, но все оборвалось погибельным стоном, за которым и в котором угадывалась вековая усталость и облегчение живого существа, обреченного пройти через неизбежную боль, униженность и муки к успокоению плоти и продлению рода.

— Еще одна девичья душа отлетела, — длинно и шумно вздохнула сторожика, — бабой-страдалицей больше на свете стало...

По двору метнулся свет фар, сильно затрещало. Появился милиционер на мотоцикле. Сторожика объяснила ему ситуацию. Милиционер хохотнул, угостил сторожику сигаретой, сверкая в темноте зажигалкой, прикурил сам и, резко рыкнув машиной, умчался.

Шелестел дождь. Кутаясь в плащ, сторожика убралась под навес и топишко запела сама себе: «Усидишь ли дома в восемнадцать лет...»

Ночь продолжалась. Жизнь продолжалась. Все гуще, все явственней делался шорох дождя, навевающего сон, и, как выражался поэт сумеречной российской старины, «томительны грезы и сладки виденья».

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ

Жил-был в деревне Межово мастеровой мужик Митряха, и у него была жена — Митряшиха. Митряха с Митряшихой в самой деревне появлялись лишь по большим праздникам, все остальное время трудились на заимке, где срублена кузенка, а к кузенке с подветренной стороны прирублена избушка об одно окно, с наветренной же загорожено что-то паподобие загона, именуемого мастерской, и стапок для подвески и подковывания коней.

В кузенке Митряха с Митряшихой постукивали да побрякивали молотками, становясь попеременно к горну, в мастерской гнули распаренную березу и черемушник — на санные полозья и вязы, сотворяли сапи, гнули дуги, делали грабли, вилы, кочерги, ухваты — словом, позарез необходимый в сельском обиходе инвентарь.

Когда на селе начались бурные преобразования, Митряха с Митряшихой совершенно для себя незаметно перешагнули из одной эпохи в другую — раньше они мастерили всякую утварь для единоличников, после обобществления земли и хозяйства — для коллектива. Смекнув, что коллектив не так глазаст, вреден и прижимист, как единоличник, можно теперь жить и работать повольготней, тратить больше времени на культурный досуг, Митряха завел собаку, ружье, стал шариться по лесу, бил осенями рябчиков и тугих тетеревов, зимой, случалось, добывал белок, колонок. Крупшей добычей не шла Митряхе в руки, и он от этого сделался совсем неразговорчивым. Зато жена его, Митряшиха, совершенно преобразилась, забегала, засуетилась, шастала за шесть верст в деревню — на собрания и митинги, где много набрала разных слов, пугала ими мужа, выкрикивая под стук молота: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!»

Запасмурнел Митряха, чуя недоброе, потому как Митряшиха не хотела работать — плевать ей на Митряху, на кузню. «Мапсипация, — кричала она, — освободила на веки веков от беспросветной женской доли, и она теперь совершенно во всем с мужиками сравнялась, и еще чей верх будет — время покажет!..» В подтверждение всего этого Митряшиха стала курить махорку, выступать перед межовцами с собственной речью.

Митряха от стыда перестал появляться в деревне и подумывал о том, чтобы бабу свою побить, а коли и это не поможет — Бог его ведает, что и делать?

По первому снегу заметил Митряха лисьи следы возле заимки, и почудилось это ему добрым знамением: «Вот добуду лису, отдам своей дурочке — она шукуру пока выдѣлывает да шапку шьет — и кончится вся катавасия...»

Ночь, и другую, и третью сидел в скирде соломы Митряха с ружьем, пемая от холода, тоски и разных мыслей, видел лису под луною, но близко она не подходила: как и полагается лисе, была она умная и хитрая. Тогда начал тропить ее Митряха с собакой — кобелишкой черной масти под названием Зуб. Пес этот был обязан жизнью Митряхе: его кто-то выбросил в речку, но он выбрался на дорогу, что вела к заимке, был подобран Митряхою и отогрет за пазухой. Преданный получился кобелишка, но характером слабый, увертливый и, хоть имел пугающее название, предпочитал лизать, а не кусать. Бельчонок хоть и неспоро, но Зуб искал, птицу облаивал, да и по лисьему следу пошел бойко, звонко зазвенел в черное поле, ударился по льду речки, но, отдалившись, отчего-то умолк.

Удивление и негодование охватили Митряху, когда он обнаружил, что его Зуб и ловкая, как щучка, лиса-огневка с желтенькой проточинкой на мордочке и таким же желтеньким яичным фартучком на груди схлестнулись и играют! Лиса припадала на снег, лапки вытягивала, ушками стригла, а кобелишка-дурачок черной головешкой катался по снегу вокруг нее, взвизгивал, тербил лису за шерстку.

— Усь ее, усь! — заорал Митряха.

Лиса отпрянула в кусты, подождала там чего-то, потаилась и затрусилась к лесу. Зуб, вместо того чтобы броситься за нею, заскулил жалостно, по-ребяченчески, ровно бы просил взять его с собою.

— Ах ты, тварь ты подлая! — заорал Митряха.

Зуб безо всякого сопротивления упал на спину и лапки на брюхо сложил: бейте, дескать, лупите!.. Митряха бить кобеля не стал, шул только разок, надеясь, что пес подобру все осознает и пригонит под выстрел лису или сам ее придавит.

Напрасные надежды! Кобелишка днями пропадал в лесу, явившись домой, усталый, но, легкий, выбегавшийся, празднично какой-то, валился на спину, покорно ожидая наказания. Митряха смотрел на все это без зла, отстегал-таки Зуба ремнем да привязал его на веревку.

Зуб сидел на веревке подле кузни. Лиса крутилась по полям, потягивала невятно, вроде бы как беззубо и со-

всем пегромко. Но пес слышал ее и отвечал таким громким и отчаянным рыданием, что у хозяина рвалось на части сердце.

— Да пропади ты пропадом, пропади ты совсем, скотища бестолковая!

Митряха отпустил кобеля с привязи. Лизнув его благодарно в лицо, Зуб помчался в поле, буся снегом, и так завертелся возле лисы, а она вокруг него, что Митряха, глядя на все это, умилился: «Животные вот, звери, можно сказать, но друг без дружки не могут! Понимают дружбу и любовь!... А моя срамовка — по собраниям! Я ей все ребра переломал!» И совсем перестал утешать кобелишку. Пусть тешатся, решил он, пусть людям пример показывают, лелея тихую надежду воздействовать таким редкостным в природе случаем на свою жену, вовсе отбившуюся от рук. Но, явившись на заимку и увидев, что лиса, привыкшая к Зубу и Митряхе, нагло играла с кобелишкой на глазах людских, жена вовсе не восчувствовала, не прошилась сердечностью, а назвала мужа нецензурным словом. Она будет не она, заявила Митряшиха, если не прекратит этот цирк и не обманет плутовку.

Такие слова заденут за живое какого угодно мужика. «Да она и на самом деле верх берет! Отволохат, отволохат как следует придется!» — подумал Митряха, но, прежде чем провести воспитательное мероприятие, он все же подзудил жену:

— Ну-ка, пу-ка, окажи свою умствешность, окажи! Добудь лиску-то!

— И окажу!

— Окажи, окажи!..

Митряшиха потеряла сон, вертелась ночью, перестала бегать в клуб на собрания — явно мучилась она задачей. Митряха же ликовал в душе, веря, что баба его — азартный человек, увлекшись таким интересом, глядишь, уймется и снова делается ему другом в жизни и помощником в работе.

Однажды среди ночи вскочила Митряшиха да как завезет себя кулаком по лбу:

— Эх, чугушка моя все же варит кое-что!

И прямо среди ночи умчалась в деревню, не боясь тайги и темени. Оттуда явилась она на другой день с кобелем белой масти на поводке...

«Все! Конец! Раз уж баба начала гулять, как городская дамочка, с собачкой — не жди хорошего!»

Белого кобеля, без призору шлявшегоса по селу из-за старости, Митряшиха поила, кормила и холила так, что мужу и не спилось, и все на след его, на след лисий ставила. Кобель почует след да еще лису завидит — ярится, вперед рвется и при каждом удобном случае люто треплет Зуба, не глядя на старость.

Неделя, не больше времени прошло, и Митряшиха приступила к осуществлению своего тайного замысла: она затащила кобеля в кухню, стянула ему ремешком морду, придавила коленями и давай его сажей мазать...

У Митряхи даже спину холодом скоробило: «И вправду копец! Свихнулась!.. Напрочь баба свихнулась!..» И когда Митряшиха крикнула сердито: «Помогай! Чё рот раззявил?!» — он послушно начал мазать кобеля сажей, соображая про себя, как ему ловчее связать жену, чтоб везти ее скорее в город, в больницу. Одному, пожалуй, не управиться — здорова, к тому же у повернутых умом людей силы прибавляется. Он и боялся, и горевал: «Жили как люди, трудились, кормились — и такая напасть!» Особенно сейчас остро сожалел, что нет у них детей, — из-за тяжелой работы дважды скидывала в молодости Митряшиха, потом — шабаш, отрубил! «И я хорош мужик! Бабы ли дело — кузня, сани, дуги...»

— Все! — решительно заявила Митряшиха, когда кобель из белого сделался черным. — Держи Зуба за загривок. Да выпусти мне! — И бесовато, совсем бесовато подморгнула мужу.

С кобелем на поводке вышла Митряшиха за ригу погулять — вот она, лисичка, мышкует в репейнике, резвится, матушка. Кобель, как завидел ее, начал дергаться, придавленно мычать пастью, дрожать от возбуждения.

Митряшиха дала войти кобелю в накал, отвязала с пасти его ремешок, спустила с поводка, и он соря сажей на стороны, пятная черными следами снег, во весь опор ринулся к лисе.

Лиска мордочку задрала, радостно хвостом дернула и навстречу потрусил.

«Эх ты, лиса Патрикеевна — хитрый зверь! — глядя из кухни в поле, вздохнул Митряха, все разом понявши. — Спета твоя песенка!..»

Сошлись на полном скаку кобель и лиска, сшиблись, закрутились, взвился снег, трепыхнулось пламя на ветру и погасло, лишь язычок его вытянулся по снегу, светился ярко на белом... Старый кобель потерял мертвую лису,

порычал, пока она билась и пахла горячей кровью, но скоро утратил к добыче интерес, начал валяться в снегу, обтирая сажу и облизывая себя.

Митряшиха подняла за шкурку лису, еще теплую, но вялую, как бы стекающую угасающим телом по мешочку шкуры, деловито поводила мордой зверушки по снегу, вытирая кровь, подула в богатую ее шерсть и подалась к кузне.

— Вот! — бросила к ногам мужа мертвую зверушку Митряшиха и прикрикнула на Зуба, который вдруг загавкал, запричитал в голос. — Голова дадена человеку сообщать, а не токо шапку носить! — взяв щипцы и прикуривая из горна, гордо заявила она мужу.

— Сатана ты! Сатана! — Митряха долго возился в огне, грел плоскую железку и, не оборачиваясь, сказал устало: — Уходи! Чтоб глаза мои тебя не видели!..

Митряшиха не сразу ушла, пошумела для порядку, грозя, что он, чурка с глазами, пропадет без нее, вовсе одичает и еще навалется у нее в ноги. Но она все равно к нему не вернется, потому как подхвачена новой волной жизни, и развитость ее, а также вострый ум гаснут в черной кузне, а она, дура, не знала, что достойна других дел и свершений, но теперь кабала кончилась, теперь...

— Не доводи ты меня до греха! — взмолился Митряха. — Зашибить могу!..

И стала Митряшиха, обутая в солдатские ботинки, щеголять по селу в стеганой телогрейке с обернутой вокруг шеи пышной лисою, дымя папиросой и независимо поплеывая через губу. Руководила она сельским клубом, словом, заправляла всей деревенской культурой, проводила слеты, собрания, ставила спектакли, в которых все буржуи и буржуйки поочередно наряжались в ее лису.

От частой поски, плохой выделки лапы и хвост у лисы быстро оторвались. Тогда Митряшиха-артистка — такое прозвище прочно закрепилось за ней в Межове — переладила воротник на шапку и без горя и забот вела бурную жизнь дальше.

Сколько бы она еще бесилась — никому не известно, да стала прибалывать из-за неустроенности быта и от напад, полученных в молодости. Среди студенкой зимы, совсем простуженную и плохую, увезли ее на колхозной подводе в городскую больницу, и дошел слух, будто она померла, не вынесла тяжелой операции. Но на этот слух наложилась другая, и по нему выходило, что никакой опе-

рации и не было вовсе. Митряшиха не в больнице, а в доме отдыха и так выступала, что ее прямо оттуда в городской театр увезли, где она так изображает буржук и всяких эксплуататоров, что народ валом валит на представления и билет — хоть дешевый, хоть дорогой — купить невозможно...

Однако все эти слухи осеклись, когда на имя Митряхи пришло из города письмо. Сам он, явившийся по вызову с заимки, запряг подводу, минуя село, кружным, обозным путем отправился в город и оттуда через таежную седловину привез домой закутанную в шаль и доху жену — Митряшиху. Не отвечая на вопросы и расспросы деревенских баб, Митряха до самой весны ездил в город за лекарствами, о чем-то советовался с местной фельдшерницей. Не раз она наведывалась на заимку, но тоже не распускала язык — твердая женщина была.

Весной тихую, просветленно-женственную, одетую в ситцевую юбку и белую кофту, видели Митряшиху на огороде. Презиравшая всякую бабью и тем более земляную работу, на удивление всем, она делала гряды, сажала что-то и кланялась людям, как бы виновато и в то же время обрадованно.

Летом Митряшиха проводила мужа на войну. Межовцы этому удивились — Митряха так был всем привычен, так всегдашеч, как бывает только с кузнецами, всегда черными, одинаково одетыми, — мастеровые эти люди жили и живут на земле вечно, как будто не меняясь в облике и возрасте. Но оказалось, что Митряха вполне еще годился в солдаты, исправно воевал целых два года в саперной части, дотянул до Днепра, где и погиб под бомбежкой, крепя железными скобами перекидной мост.

Митряшиха после ухода мужа на фронт с заимки не съехала, а распалила загасший огонь, взяла в подручные парнишку и всю войну правила кузнечные дела, ладила инвентарь к посевной и уборочной и уже не материлась и подручному своему похабничать не давала, а вот курево бросить так и не смогла. Часто писала она Митряхе длинные письма, реденько получая на них ответы, всегда одинаково короткие — Митряха с трудом наскребал слова на тетрадную страницу, да и та была сплошь заполнена поклонами односельчанам. Но и над этими незамысловатыми письмами ревмя ревела Митряшиха, и чем дальше, тем слезней просила она и даже умоляла односельчан не звать ее артисткой. Но так с этим прозвищем и век дожила.

Простодушные межевцы даже и надгробие Митряшихе украсили надписью: «Здесь покоится прах Митряшихи-артистки».

Новые честолюбивые поколения межовских жителей в дни праздников и торжеств, перечисляя свои, а затем и исторические достижения, сообщают, что из деревни Межово, хоть она и в тайгу отдаленная, вышло в большую жизнь немало людей, которыми можно и нужно гордиться: один ученый, один снайпер — Герой Советского Союза, три врача, два полковника, шестеро летчиков и Митряшиха-артистка.

Из особого, глубоко сидящего в нашем народе поклонения перед людьми искусства ее не перечисляют бездушной цифрой, а именуют персонально.

Памяти Е. А. ТЯПКИНОЙ

СТАРОЕ КИНО

Она и поныне еще снимается в кино, играет тетушек, бабушек, вздорных мещанок, играет напористо, умело владея выразительным жестом, взглядом, мимикой, — это у нее осталось от немого кино, где она изображала то пламенных синеблузниц и пролетарок, то нэпманш и торговок с еврейского базара. Потом ее «увидел» кто-то из режиссеров «трудовой женщиной», и в кино тридцатых годов он ткала полотно, пшеницу жала, ездила на колесном тракторе, истово перевоспитывала неосознательного мужа-единоличника, строила город на востоке и уж непременно появлялась на трибуне с пламенной речью.

Мы, начинающие зрители начинающегося звукового кино, очень любили всякие речи, свадьбы и песни в конце фильмов, а она, владеющая чистейшим старомосковским говором и любовно им пользующаяся, совершенно очаровывала и потрясала наши сердца, готовые в любой миг отозваться на страстное слово, и, что было, то было, сначала мы отзывались, а потом уж думали: на что отзывались-то? И главное — зачем?

О жизни артистов ничего мы в ту пору не знали и знать, кто на ком женат и сколько получает, не пытались — артисты для нас были людьми неземными, дрались и умирали взаправду, и много споров, а то и потасовок требовалось, скажем, нам — игарским детдомовцам, чтобы

выяснить, как убитый командир, хоть бы его и сам Крючков играл, возник снова целый и невредимый?! Словом, были мы простофили-зрители. Мы и титры-то не имели привычки читать, артистов кино помнили часто не пофамильно; а в лицо и с гордостью за свою глазастость и памятьливость, сидя в темном, часто холодном кинозале, тыкали друг дружку в бока: «Помнишь бабдюгу в «Золотом озере»? Он! А этот в «Тридцати» и в «Морском посту»! Точно! Он всегда командиров играет...»

И никто не одергивал, как пылче: «Эй, теоретик, заткнись!» Наоборот, прислушивались к памятьливому парнишке и даже переспрашивали: «Это который? С дыркой, что ли, на подбородке? Сильный артист!..» А стоило, допустим, появиться на экране Файту, фамилия которого запомнилась оттого, что чудной шибко казалась, как возникал и катился по залу ненавистный шепот: «У-у, вражина! У-у-у, га-ад!» Мои старые друзья и по сей день не верят, что именно этот актер сыграл недавно в телефильме «Гончарный круг» премилого, добрейшего мастерового старика, — он, мол, гадов только может изображать...

Что делать? Уж такие непосредственные, такие доверчивые мы были зрители. Играя злую мачеху, артистка Раневская однажды до неистовства довела зрителя из переселенческого барака, который сидел на спинке скамьи, чтобы видеть экран, — лет пяти от роду, но как страстно воспринимал он искусство! Только мачеха возникала в кадре, он с ненавистью цедил, зашипывая по-блатному слова: «У-у, сс-су-ка! Змеюка! Подлюка! Перышко по тебе сучает!»

На фронте, будучи уже взрослым и тертым воякой, сидел я как-то в тесно забитой бойцами украинской клуны прямо на земляном молотильном току и смотрел кинокартину о войне, смотрел и вдруг дрогнул сердцем, вскинулся, узнав знакомую с детства актрису. Ровно бы родного кого встретил и хотел тут же поделиться радостью с товарищами, но не до того стало, исчезло вдруг ощущение условного действия, и хотя постукивал за клуней электродвижок, жужжал и потрескивал киноаппарат, по серому от носки, не раз уже чипешному экрану секло полосами, все воспринималось въяве.

Может быть, причиной тому были звезды, видные в разодранном соломенном верху кровли, перестук пулетных очередей, доносившийся с передовой, тепло бойцов, плотно, будто в обойму, набитых в клуно, запах зем-

ли и гари, исходящий от них, — не знаю, но ощущение доподлинности захватило всех бойцов. Когда дело дошло до того места в картине, где мать убитого дитяти, тайком от фашистов закопавшая его во дворе, притаптывала землю, чтобы «незаметно было», и глядела на нас широко открытыми глазами, в которых горе выжгло не только слезы, но даже самое боль, и сделались они, эти глаза, как у младенца, прозрачны и голубы, хотя кино было не цветное, почудились они нам звездами, они даже лучились, остро укалывали в самое сердце. Отстраненная от мира, она ничего уже не видела, она топталась и топталась по своему дитяти, с кротким недоумением, с немой мольбой глядя куда-то, должно быть, в вечность. Белая рубаша до пят, припачканная землей и детской кровью, похожая на савап, распущенные шелковистые волосы и ноги, босые материнские ноги, будто исполняющие знакомый, но въяве первый раз увиденный танец вечной муки, возносили ее в ту недоступную высь и даль, где обитают только святые, и в то же время блажились — живыми ногами наступает она на живое, думалось, дитяти больно и страшно в темной земле...

Хотелось остановить ее, да не было сил крикнуть, шевельнуться — оторопь брала, костенела душа, стыла кровь. «Господи! Господи!.. — зашелся кто-то сзади меня. — Что деется! Что деется!» Я очнулся: в клуше глухой кашель, хрип — солдаты плакали «про себя», давя разбухшую боль в груди, и каждый думал, что плачет только он один — такой жалостливый уродился, и если ударится в голос — спугнет женщину, не в себе которая, и она, очувшись, упадет замертво.

Потом на экране появилась хозяйка избы, занятой врагом-фашистом, чистившая острым ножом картошку. Она встретила квартирантку, тешившуюся в постели с оккупантами, таким взглядом, что я совершенно «вживе» вспомнил: «Перышко по тебе сучает»...

«Немецкая подстилка!», «потаскушка!», «прости господи!» — как только не крестили бойцы сожительницу немецкого офицера и, нетерпеливо ерзая, подсказывали хозяйке, от одного взгляда которой попятилась с кухни продажная тварь: «Пырни ее! Пырни ножиком-то!» Когда же возлюбленная фашиста забилась в истерике, уверяя лупоглазого Ганса в том, что хозяйка-змея прикончит их, со всех сторон удовлетворенно раздалось: «А-а, падла! Ты что же думала?!»

...Целую вечность спустя я поднимался по скрипучей лестнице старого замоскворецкого дома и на каждом пролете переводил дух, решая про себя задачу: не задать ли стрекача? Первый раз в жизни шел я к настоящей живой артистке! Страшно-то как!

Пересилив-таки себя, дошел я до пужной двери, перевел еще раз дух и позвонил, ожидая, что мне откроет горничная, непременно хорошенькая и в белом фартучке. Но дверь отворила сама артистка и, приветливо улыбаясь, пропустила меня в прихожую.

— Вы такая же точно, как в кино! — неожиданно для самого себя ляпнул я.

— Ра-азве?! — по-молодому звонким и растяжным голосом удивилась артистка, и я узнал все ту же, что и в довоенном кино, располагающую к себе, чуть лукавую, с искоркой в карих глазах улыбку. — Ну, давайте знакомиться! — Она подала руку и, сразу посерьезнев, окинула меня быстрым и пронизательным взглядом, в котором светилась природная широта души, может быть, даже удаль, но все это было уже притушено временем и глубоко таимой, да все же угадывающейся печалью. — Так вот вы какой! — несколько смешавшись, как бы невпопад, сказала она, чувствуя, что я вглядываюсь в нее слишком пристально.

— А вы вот какая! — разом справившись со смущением и скованностью, отозвался я почти грустно, почувствовав пережитое этой женщиной большое горе, совершенно для всех одинаковое, хоть для моих деревенских теток, хоть для артисток. Сделав такое открытие, я почувствовал себя проще и свободней в квартире артистов. Не умея владеть застольными приборами и вести светскую беседу, я запросто спрашивал, что чем есть, шутил сам над собою, если получалось не по этикету, и просил не обращать на меня внимания.

— Эк вас вымуштровали! Не думайте вы об этом! — махнула рукой артистка. — Будьте сами собой...

И я поймал себя на мысли, что умение быть самими собой, наверное, не только в жизни, но и в искусстве — главнейшее качество. Смогла же вот она, почти не снимавшаяся в главных ролях, занять свое, пусть и скромное, место в искусстве, остаться в памяти, я теперь знаю, не только моей, но и многих зрителей.

Я рассказал артистке о том, как мы смотрели кино на фронте, повзводно меняясь с передовой, и как потрясла

меня сцена на кухне, неподдельная ненависть к пемцу, к «продажной шкуре», и, конечно же, задал наивный вопрос, как это можно так вот все доподлинно сыграть?

— А я и не играла, — почти спокойно, с глубоким достоинством произнесла актриса и потупилась, чтоб я не заметил дрогнувших губ.

Муж ее бросил в мою сторону встревоженный взгляд. Мне стало пеловко — я коснулся какой-то запретной темы, сделал им обоим больно.

— Ничего-ничего, — сдавленным голосом проговорила она и, незаметным движением обмахнув глаза, слабо и ободряюще улыбнулась мне: — Вы и не представляете, какая мне награда ваш рассказ за ту мою работу...

Чуть рвущимся голосом, восходящим порой до высокой, готовой вот-вот вдребезги разбиться звонкости, она поведала мне о той действительно тяжелой, а в моем нынешнем понимании до подвига поднимающейся работе. Был мне тот рассказ как драгоценный подарок, который никому не передаривают, но и в себе его носить уже невозможно — годы бегут, люди уходят, и как часто опаздываешь сказать им спасибо.

Столичная киностудия, эвакуированная в Алма-Ату, снимала фильм в полуразрушенной клуше. Одну из второстепенных ролей в этом фильме играла уже пожилая замоскворецкая актриса, и роль ей, особенно центральный эпизод, не удавалась. Да и мудрено, чтоб он удался, — эвакуация, разлука с родимой Москвой, где остались муж и восемнадцатилетний сын, который — только мать за порог — тут же поспешил в военкомат и подал заявление.

В разгар работы над фильмом пришла телеграмма, которой срочно вызывали актрису в Москву — на похороны убитого в ополчении сына.

Ей выписали пропуск, проводили на поезд, а через десять дней встретили. Была поздняя ночь, холод, пустота. Она удивилась, что на вокзал приехал сам постановщик фильма, прославленный режиссер, запытый человек. Но тут же забыла об этом. Привезли ее почему-то не на квартиру, в киностудию повезли и, как была она — в старой шалюшке, в древней стеганке и в домашних подшитых валенках, завели в павильон, где их уже ждала съемочная группа.

— Это бесчеловечно! — сказала актриса режиссеру. — Я не могу сейчас работать! Не могу! Не могу...

Она рыдала. Режиссер, поникнув седой кудлатой го-

ловой, гладил ее по мокрой, сиротски-серенькой шалюшке и ничего не говорил.

— Я правда не могу! — взмолилась актриса. — Пощадите!..

И тогда режиссер шевельнул скорбно сжатым ртом и выдавил короткое, но такое в ту пору распространенное слово:

— Надо!

— Да-да, — покачала актриса головой, — понимаю... — И неуверенно добавила, что попробует, но не помнит она текст роли и что делать на съемке, совершенно не знает.

Режиссер засуетился вокруг, с ним, с эпизодом. Что же делать...

Режиссер был опытный и хитрый. Он знал, как и чем отвлечь женщину, да еще хозяйку, да еще замоскворецкую хлебосолку. Он дал актрисе пожик, мешок с мелконькой картошкой, какая только в войну вроде и рождается, усадил ее на скамейку, а сам принялся тихонько расспрашивать про Москву, про сына, про похороны.

Раз только, в самом начале съемки, когда ослепили ее светом, актриса зажмурилась, сжала руками голову:

— Что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете?! — А потом послушно стала исполнять свою работу, чистить картошку, и ушла куда-то так далеко, что актера, игравшего немца, а был он доподлинный немец, предупредили: «Будьте осторожны. У нее в руках пож...»

Она работала всю ночь, чистила картошку и тихо рассказывала про Москву, про сына, про похороны, и все, что от нее требовалось, сделала — весь кусок в фильме был отснят без репетиций и дублей. Когда закончились съемки и измученные люди повалились спать кто где, режиссер встал на колени перед актрисой и поцеловал ее руки, вымазанные картошкой:

— Прости!

Она хотела спросить — за что? Но тут же поняла, что он так все и задумал — снять ее в потрясении и горе, снять еще «горячей», значит, полумертвой, и она только покачала головой, подумав: «Какая жестокая паша работа!» — а вслух медленно произнесла:

— Бог с тобой. — И слабо, заторможенно пошевелила ртом: — Получилось ли хоть что? Мне ведь не переснять-ся. Я умру...

Ту военную картину больше не показывают на экранах, должно быть, лента износилась от долгого употреб-

ления или потеряла она свою силу, по мне все помнится старая клуния с дырявым верхом, тесно набившиеся в нее бойцы, слышится вперемешку перестук пулеметов и движка, не гаснет в памяти танец — голыми ногами, по голой земле и видятся тоже голые, белые от ненависти, испепеляющие глаза русской женщины, которая так умеет страдать, терпеть и ненавидеть, как никто, наверное, на земле не умеет.

МЕДВИДЕВЫ

Медвидев-старший показывал кино на станции Койва и однажды поехал в город с отчетом. В городе он получил зарплату и премию за перевыполнение финплана по прокату фильмов.

На радостях Медвидев-старший выпил, и так сильно выпил, что уснул на вокзале. Спать же на вокзале не велено. Дежурный милиционер заметил беспорядок и зачал Медвидева-старшего будить. А когда Медвидев-старший засыпал пьяный, будить его нельзя было. Об этом знала его жена Зинка, а милиционер изгибы характеров всех вокзальных пассажиров знать не мог. Пассажиры, да еще пьяные, давно ему надоели, и он их презирал. Долго тряс Медвидева-старшего милиционер, уши ему тер, стучал спиной о скамейку.

Очнулся Медвидев-старший, поглядел, поглядел — и бах милиционеру по уху. Тот, недолго думая, скрутил Медвидеву-старшему руки, больно ему сделал и в дежурку уволок.

В дежурке капитан милицейский, пожилой, службой надсаженный, собрался поговорить с Медвидевым-старшим, рот уж открыл, а Медвидев-старший и ему по уху.

Свету не взвидел капитан, затрясся, взревел: «Ах ты, негодяй! Я двадцать лет на службе, а ты меня по уху!..»

Дали Медвидеву-старшему два года. Зинка осталась на станции Койва при трех ребятишках. Ларка еще только в первый класс собиралась, Вовка на шестом году, а Толька в зыбке. Плакала, плакала Зинка и к свекру на поклон подалась.

Свекор Медведев, по-уральски — Медвидев, жил в Зуятах. Зуята — отголосок большого села Вереино, расположенного на крутой горе. Под горою озера, луга пойменные, подле озер три дома стоят, овчарня тут и парники — это и есть Зуята.

Медвидев-свекор раньше был в колхозе зоотехником, но как потерял руку на войне, сделался пенсионером. Человек он крутой, неуживчивый и пьющий. Зинка с ним не ладила, и со свекровью — женщиной тупой, жадной и подвижной — ужиться не смогла. Оттого-то и уехала Зинка с Медвидевым-старшим на станцию Койва, и обжились уж было, ладно все у них пошло, да вот беда — отпустила мужа одного в город — ребятишек не на кого оставить, — и все пошло кувырком.

Глухой зимою явилась Зинка в Зуюта, пала перед свекром на колени, Ларку с Вовкой на колени поставила, Тольку к груди прижала.

Свекор Медвидев не вдруг простил и принял Зинку с ребятами. Корил ее долго, унижал и по избе бегал. А она ползала за ним и хваталась за ноги.

Осталась в Зуютах Зинка с ребятами жить и мужа из тюрьмы дожидаться. Поступила она работать в колхозную овчарню, летом на парниках землю ворочала и хозяйство свекра вела. Корова, свинья, гуси, куры да еще ульев штук восемь у свекра, хозяйство — знай поворачивайся. А свекор без руки. Какой работник?

Сама же Медвидиха заперомгла разом и свалила всю работу на Зинку.

Терпит баба, волохает да на ребятишках душу отводит. Шибко она их била и смерти намаливала, особенно младшему. Да живучи ребятишки уродились. Растут, шкодят, хлеб едят и картошку.

— Чисто мельница — эти ребятишки! — удрученно трясла головой Медвидиха.

Зинка иной раз расплачется, ссориться со свекром начнет, а он ей:

— Чье жре-те-то?

И притихнет Зинка.

На лето я снимал низ избы у Медвидевых и выслушивал ту и другую стороны. Выходило, что все они правы и все виноваты, только ребятишки росли, не жаловались, да все Ларка с Вовкой спрашивали: скоро ли возвратится отец из командировочки?

Не сказали ребятам, что отец в тюрьме, сказали, что в командировочке. Ребята и верят.

Милые, забытые ребятишки, выросли уж теперь, а все стоят в моих глазах такими, какими я увидел их в то лето.

Тощенькая, большеглазая Ларка, надсадно изогнувшись в пояснице, таскает в беремени Тольку. Мальчишка чер-

поглаз, пухлощек, и питочки у него на запястьях рук, ноги кривые, и он как скатится пизко, так упирается Ларке в живот погами, будто верхолаз, карабкается по ней. Устает Ларка. Только на траву посадит и забудет о нем. Он, переваливаясь с ягодицы на ягодицу, шурует по траве, гусиный помет, щепки, стекляшки гребет рукой в рот. Края малый еще не знал, ползет, ползет — и с берега в озерину свалится. Вынет малого Ларка из жалицы, его же соплями пузыри ему смажет и клушкой кудахтает:

— Убился, Толечка, убился, беднепский, обжегся мой холесенький...

Ипой раз на крик из овчарни Зинка прибежит, наподдает и Ларке, и Тольке. Свекор Медвидев, если оказывался поблизости, вразумлял невестку:

— Чё ты его по спине зубишь? У его спина ишшо жидкая...

Один раз пчела ударила Тольку в голову, уж он орал, уж он орал. Зинка лупила его, потом шишку на голове обпаружила, пчелиное жальце выпула и давай в это место Тольку целовать:

— А-ах ты, ма-а-атушка! Пчелка тебя жогнула, пче-о-олка... пче-о-олка...

Горшка и стульчика у Тольки не было, он делал свои дела где придется. Ларка посила его в озеро обмывать. Возьмет под мышки и болтает в воде малого, полощет его, будто опучу. Толька крепко-крепко в Ларку вцепится и не моргает, замрет весь, боится, как бы Ларка его в воду не отпустила. Жить Толька хочет.

Вовка, тот все на отшибе.

После первой же почевки на моих удочках не осталось ни одного крючка.

— Володька откусил! — заключил свекор Медвидев. — Ах, печистый дух! Ну, я ему!..

На одной удочке была жилка поль-шесть, ее и щука не всякая перекусить может! Каково же было мое удивление, когда свекор Медвидев привел за ухо Вовку и в ладоши его обпаружились все мои крючки с откушенными кончиками лесок, в том числе и поль-шесть!

— Силен! — сказал я и сделал Вовке удочку.

Волос на голове Вовки короткий и толстый, глаза смышленные, на лице злая непримиримость. Еще на станции Койва научили его ребяташки взять у отца из выручки десятку. И он взял десятку, да попался.

Отец порол его электропроводом, и с тех пор Вовка мочится под себя.

Теперь, как только начнут его бить Зинка или свекор, Вовка грозится сбежать в детдом. А я, бывший детдомовец, гляжу на него, и тяжело мне делается дышать: «Там тоже не сладко, малыш, ой, не сладко».

С Вовкой мы сделали друзьями. Рыбалка сблизила нас. И какая отзывчивая, доверчивая душа открылась мне. Главная беда в жизни Вовки заключалась в том, что он не умел забрасывать удочку. Грузило делал он большое, пулял удочку через голову и, конечно же, отрывал на крапиве и осоке крючки, потом промышлял их у паезжих рыбаков и в откусывании крючков достиг небывалого совершенства.

Фантазер оказался мальчишка неслыханный. Слушать его — одно удовольствие.

— Дядя, правда, что есть рыба кит?

— Есть, Вовка, есть.

— Большая?

— Очень.

— А чё паживлять надо на кита? Корову? — И тут же хитро прищурился. — Наживишь корову, а как потом ее закидывать?

По соседству с Медвидевыми жили Ваньшевы, безраздельные хозяева колхозных угодий и вод. Ваньшев был учетчик, Ваньшиха — на парниках, грабили они колхоз беззастенчиво и еще рыбу ловили в озерах и пикого сюда ловить не пускали, мол, колхозные водоемы.

Вовка непавидел Ваньшева и Ваньшиху за хорошую жизнь, и за то, что жаловались они на него деду, и тот его драл; пчел ихних ловил и давил, лодку у Ваньшевых продырявил железным костылем, курице ваньшевской лапу камнем перешиб.

Рассказал он мне такую историю в красках и лицах:

— Весною в озера с Чусовой рыба пошла: щука, язи, сорожины. Ваньшиха уж тут — загородила сетками горловины. А на эту пору по Чусовой моторка ту-ту-ту, ту-ту-ту... Рыбачий падзор едет. И проехал совсем. А потом завернулся. Обрати моторка пошла и в озера зашла. А тут сети! Рыбный падзор моторку остановил и паганом на дедушку прицелился: «Твои сети, старый хрен?» — «Откуль мои? Видишь, я безрукай. И не грози паганом! По мне из пушки стреляли! Я ничего не боюсь».

Ваньшиха прибежала. Ла-ается! А рыбачий падзор сети

выбирает. Р-рыбы-ы! Ры-ы-ыбы-ы! Щуки — во! С поле-по! Полную лодку нагрузили рыбы — и ж-жик мотор! — уехал рыбадзор, только его и видели! А еще сказал рыбадзор, что штраф Вапышихе будет, может, пятьдесят, а может, тыща рублей...

Вапышевы действительно весною бракопьерили в горловице, и рыбадзор действительно по реке проезжал — слышал я об этом, и Медвидеву-свекру сказал:

— Попались Вапышевы-то? Достукались?

— Че-ево-о? Это тебе Володька наплел?! Ну-у, вруша, п-ну, вруша!..

Летом же Зинка снарядила ребят на свидание к отцу. Он отбывал срок на строительстве Камской ГЭС. Вымыла в бане ребят Зинка, чистые рубахи и новые ботинки надела на Вовку и Тольку, Ларка парядилась в ситцевое платье, в сацалии, в белые посочки, еще бапт ей в волосы привязали.

Они по доске переправились через горловину озера, потом по лугу шли. У Зинки на шее сидел и заливался Толька. Ларка с Вовкой за руки держались. И шли они по зеленому лугу, словно на праздник. Даже медвидевский гусь не узнал их и зашипел было, шею вытянул и пошел боем, но Вовка хворостиной оборонил себя, мать и сестренку.

За лугом они поднимались в гору. Зинка обернулась, помахала нам рукой. Медвидиха и моя жена плакали: Медвидев-свекор тоже заширкал носом:

— Учил ли я его? Аль в школе учили пить, фулюганничать, на милицию бросаться? Учили ль?

Тягостен был рассказ Зинки о свидании с мужем. Исхудал Медвидев-старший на подневольной работе, смиренным сделался. Постряпушки, какие ему принесли, почти до единой ребятишкам скормил, все уверял:

— Ничего, пичего, хлопцы, скоро моя командировочка кончится. Я денег подзаработаю, и поедем мы жить на Кавказ либо в Молдавию. Там тепло и фрукты дешевые. Яблоки — рупь ведро, а что сливы и виноград — так совсем задарма. Ух, и заживем мы...

Ларка, девка шустрая, первый класс кончила, читать умеет. Пока гуляла она по зоне, все приказы и правила поведения на будке и в бараках прочла. И как уходить стали, она упала перед постовым на колени, обхватила его за ноги, целует в сапоги:

— Отпустите папку, дяденька, отпустите! Он не в ко-

маңдировочке. Я все бумажки прочитала. Оп... оп хороший будет. Оп... оп исправится! Отпустите, дяденька! Плохо нам жить...

— Эх, девочка, девочка! — вздохнул постовой. — Вывести бы всех этих папок на волю, и твоего тоже, завалить бы брюхом на бревно и пороть, пороть принародно!.. Не ходи, девка, замуж за пьяницу, не ходи. — Постовой пошарил в кармане, достал кусочки хлеба с колбасой, сушил Ларке: — Вот покусай на дорожку. И беги. Не положено мне разговаривать. Мне только плакать можно. И то молча. — И постовой, махнув рукой, отвернулся.

Неделю черная ходила Зинка после свидания с мужем, и со свекром не ругалась, и свекровка не точила ее, сдерживалась, хотя рожала Зинка и била посуду, била скот, детей, молча била, осатанело.

А ребятишки все росли.

Только пошел на десятом месяце. Ровно бы торопился малый встать на ноги, чтобы руки Ларке развязать, которая осенью стала учиться во втором классе.

Последний раз видел я Медвидевых ранней зимою — приезжал подергать рыбешки на озере по перволедью. Только, Вовка и Ларка валялись в кори. Всю ночь они кричали и бредили. В избе жарко, душно, пахло угаром, поросенком и помоями.

Поросенок за печкой жил и тоже маялся от жары да брыкался так, будто и он корью болел. Только бился в деревянной качалке, по щелям прошитой дратвою опившихся клопов.

Зинка, усталая от работы, с полночи к ребятам не поднималась. Сама Медвидиха ушла в дальнюю комнату и на крики не отзывалась. Свекор Медвидев лежал в больнице — у него моча не отходила. Стоит, бывало, на улице изогнувшись Медвидев-свекор, ветер рукав его пустой полощет, а он высказывается:

— Раньше трехметровый сутроб прожигал, расписывался — фамиль, имя, отчество полностью, год и день рождения обозначаю. А поне — кап-кап за голяшку. На мыло тебя, Медвидев, на мы-ло!..

На Покров нажрался Медвидев-свекор браги — и моча у него вовсе остановилась, в больницу его довели едва живого.

Дом ветром шатает. По окнам шуршит. Застоялая, густая духота в доме. Здоровому дышать тяжело. Я встал, приблизился к Толькиной качалке и при свете засижен-

пой мухами лампешки увидел Толькины глаза. Они горели так ярко, что, казалось, вот-вот войдут в последний пакал и лопнут.

— Что, малыш? Тяжело тебе? — наклонился я над разметавшимся, красным от сыпи Толькой.

Он замолк и со взрослым страданием глядел на меня.

— Дядя, — сказал чуть слышно Толька и неуверенно протянул ко мне руки.

Я вынул малыша из кровати, стряхнул с его рубашонки клопов, начал ходить с ним по избе. Толька обхватил мою шею, прерывисто, со свистом дышал мне в щеку. Телишко его, испеченное горячей болезнью, успокаивалось возле моего тела.

— Дядя, — совсем уж доверчиво выдохнул ребенок и обмяк, уснул.

Я бросил на пол свой полушубок, принес подушку, осторожно опустил Тольку на эту постель. На полу было прохладней, тянуло снегом от окна. Поросенок проклятый все хрюкал и взвизгивал. Я вынул табуретку, загораживавшую поросенка в запечье. Он деловито застучал копытцами по полу, подсеменял к Тольке, бухнулся рядом с ним.

Толька обнял поросенка за голову, и тот умиротворенно засопел.

Поднял я и Вовку, поддерживая, как пьяного, сводил к ведру, и он, не просыпаясь, справил малую нужду. На столе были порошки и навар травы. Я напоил сонного Вовку, потом метавшуюся на жаркой печи Ларку. Ее вырвало желтым. Я снял девочку с печи и уместил рядом с Толькой, Вовкой и поросенком.

До утра просидел я возле стола, то впадая в дрему, то вскидываясь от криков ребятишек. Что я передумал за ту длинную-длинную ночь — мне не передать, но с тех пор я еще больше возненавидел наших русских, бессердечных и безответственных пьяниц, и когда их судят и сажают, никакой у меня к ним жалости нет, хотя древняя, наша российская болезнь — жалеть «бедных арестантиков» все еще жива, и эти «бедные арестантики» надеются на нее и шибко эксплуатируют сердобольных россиян, в особенности одиноких бабенок и жертвенно воспитанных девиц.

С петухами проспулась Зипка, увидела поросенка, спавшего в обнимку с Толькой, и, зевая, сказала:

— Жить друг без дружки не могут. Ты так и не ло-

жился? А я уж вся одеревенела, слышу — кричат, но очнуться не могу.

Через три дня Толька снова пробовал ходить. Ларка, закутавшись в старый платок, читала книжку, по-старушечьи шевеля губами. А Вовка еще долго не мог поправиться — у него воспалились отбитые почки.

Но и он сам по себе оклемался, рано начал помогать падсаженной матери.

Выжили, поправились медвидевские ребяташки. Весной из заключения вернулся долгожданный папа. К дешевым фруктам и роскошной жизни ребят и жену он не увез, поступил работать на кутамышевский лесучасток кипомехаником. Потом семья куда-то переехала — согнали, наверное, Медвидева-старшего снова за пьянство.

Где сейчас Медвидевы? Как живут — не знаю. След их затерялся. В Зуятах я тоже давно не бывал. Слышал, что Медвидев-свекор помер, и сама Медвидиха будто бы тоже совсем плоха, да и Зуята едва ли существуют.

БУДНИ

Гололед.

По окраине города култыхала подвода с цыганами. Раскат. Выпал цыганенок из узлов. Грузовая машина переехала цыганенка. Выскочил шофер, схватил мальчика, трясет, ахает, просит позвонить в «Скорую помощь».

Тем временем цыган останавливает лошадь, идет к машине, а там, как на притчу, как на грех (нарочно не сочинишь!), — сынишка шофера лет трех-четырёх. Цыган вспорол ему ножом живот, выколол оба глаза, бросил на сиденье и отправился к своей подводе.

Шофер с цыганенком на руках остолбенело смотрел на все это и, когда опомнился, ринулся в кабину, догнал подводу, раздавил цыгана, жену, девочку лет двенадцати и лошадь изувечил, осатанев.

Выслушал я этот рассказ. Не могу сидеть, не могу работать. Пошел на улицу. Выхожу к реке. На льду «скорая», два парня крошат лед пешнями, расширяют прорубь: убил кто-то кого-то и под лед засунул, в прорубь. Маленькая толпа любопытных, состоящая в основном из пенсионеров. Неторопливо, с перекурами долбят лед парни, ковыряется в моторе шофер, катаются по льду на коньках ребяташки, за ними, балуясь, гоняются собаки...

На горке идут машины, степенно прогуливают бабушки вшучат, экскурсия осматривает памятники старины, из пединститута спешат куда-то студентки, хохочут, на старом базаре торгуют кедровыми орехами, по три шестьдесят за кило, семечками и цветками, привезенными с юга барыгами в чемоданах. Выбрел на горку пьяный мужик, поглазел, пошатался, побрел дальше...

Это происходило в будни, в пятницу, поздней осенью одна тысяча девятьсот семьдесят шестого года, в одном из самых смиренных и добрых городов России.

УЖАС

За полгода примерно до своей гибели моя мама повезла меня в тюрьму, на очередное свидание к папе. Чудовищная эта привычка — таскать детей по больницам, тюрьмам, гулянкам еще и по сию пору сохранилась в русских деревнях.

Мне шел седьмой год, память уже начинала работать, и я чуть помню стоящие у каких-то глухих и здоровенных ворот, какие-то пеловкие шутки часового и злой голос человека, впускавшего людей в ворота, то запирающиеся, то отворяющиеся со скрипом.

Какие-то коридоры, коридоры, глухие, затхлые и, наконец, какая-то также затхло пахнущая, угрюмая комната, разделенная на две половины решетками, меж решеток коридор, и сидел или вроде бы ходил здесь в военной форме человек с кобурой на боку.

За одной решеткой оказались мы с мамой, долго ждали. Рядом с нами терпеливо и тупо тоже ждали женщины, дети. Они вдруг оживлялись, подавались к решеткам и, взявшись за них, громко и все разом разговаривали. Я ничего не разобрал из тех разговоров. Наконец в пустом проеме показался низенький человек в черной косоворотке с белыми пуговками, в долгополом мятом пиджаке, руки его были заложены назад, он кого-то искал глазами.

Это был мой отец.

Мать тоже что-то закричала, помахала рукой — и охранник открыл одно звеньшко решетки, взял меня под мышки и передал отцу за то же отодвинутое и тут же задвинувшееся железо.

Я сидел на коленях у отца и что-то ел. Он угощал меня чем-то из узелка, переданного вместе со мною. О чем го-

ворили мать и отец — тоже не помню. Но что он гладил меня по голове — помню. Я быстро утомился в душном помещении, мне хотелось к матери, но я не просился, понимал, видно, что должен быть по эту сторону решетки, с отцом.

Свидание длилось пятнадцать минут. Вдруг все громко заволновалось, будто на пристани, когда пароход уже забрал трап, начал отделяться от стены, меж людьми образовалась пропасть, на дне которой вода, и они торопились успеть еще сказать что-то нужное и главное. Люди просовывали руки сквозь решетки, пытались достать друг дружку, притронуться рукой к руке. Комната опустела, но в ней, как дым, висели духота и растерянность. Мы остались одни, и я уж изготовился к тому, что меня передадут матери, как вдруг охранник заявил, что я останусь здесь, в тюрьме, с отцом...

Дальше — затемнение в памяти. Говорили, что я дико кричал, вцепился руками в решетку и задергал ее, пытаясь вырваться наружу, что и папа, и мама, и охранник, так целовко пошутивший, меня успокаивали и не могли успокоить. Я закатился, будто в родимце, и пришел в себя только за воротами тюрьмы, на холоду, но долго еще вскакивал и кричал почками...

Как кричал, как вскакивал — забылось, но запах железа, окислившегося от спертого воздуха, от горячего человеческого дыхания, оставшийся на руках, преследует меня с тех пор, меня мутит от запаха пресного, пронзающего не шох, не нос, а как бы все тело и кости — этот запах не отплюнешь, не отмоешь, не отскребешь. И всякий раз, когда я беру потное, голое железо голыми руками — во мне поднимается волна, нет, туча ужаса и начинает давить меня, слепить, глубоко погружать в беззвучие и темноту...

ЗАДВИЖКА

На воротах моего деревенского дома сделана задвижка, сработавшая по древнему нехитрому расчету — в одну сторону ее движешь — закрыто, в другую двинешь — открыто.

И вот с этим-то нехитрым приспособлением мучаются мои гости. Деревенские или те, кто помнит деревню, управляют с задвижкой без мороки, но городские и осо-

бешно технически подкованные люди, вертят эту бедную задвижку, трясут, приподнимают, вверх и вниз ее давят — привыкли к сложностям современной жизни, переучились люди и такие ли хитрые запоры и разные штуковины выдумывают, что в иных наших жилищах в ванне воду непустишь, в пужник не попадешь или изувечишься, овладевая секретной задвижкой, — все закодировано от сверхразвратных воров.

А между тем жители Европы снова пользуются деревянной ручкой в ванне и ключик в двери торчит старого образца, вправо повернешь — открылось, влево повернешь — закрылось.

Возле дома на двух или пяти сотках стремятся европейцы развести «дикую природу» — ели одна-две темнеют, березы, клены и даже осины кое-где. Внизу подле завалинок клубятся кусты бузины, волчатника, барбариса, таволожника, дикие цветы лесные, дурные травы, дудочник, морковник — устали от прогресса и технических диковинок людей, «домой» им хочется, к тихой обыденной жизни тянет.

У нас же все хитрости житейские мастерят, все задвижку деревянную вертят, усложняя и без того запутанную жизнь свою.

ПЕРВЫЙ КОМИССАР

Было это еще в ту давнюю пору, когда люди еще жили в пещерах и кормились с помощью охоты.

Один глава семейства убил камнем оленя, зажарил его на костре и, разорвав на куски, поровну разделил между членами семейства.

А были в том большом семействе два братца — Иван и Карл. Иван любил работать и покушать тоже любил. Карл тоже покушать любил, но до работы земляной и охотничьей не был очень охоч. Быстрее всех сыпоев съел кусок мяса Карл и, показывая обглоданной костью в небо, молвил:

— Смотри-ка, братец Иваша, пташка летит! — и пока Иваша глазел ввысь, отыскивая глазами пташку, Карл схватил его кусок мяса и съел.

В другой раз насчет пташки не прошло. Тогда Карл сказал Ивашу, что самолет летит и его с собой возьмет. Однако на третий раз не прошло даже насчет самолета.

Не верит Иван братцу, и все тут. Тогда находчивый братец Карл отвлек брата Ивана от куска его тем, что стал рассказывать сказку о том, какая жизнь впереди будет счастливая, и как много будет пищи, что все будут сыты, сделаются братьями, станут жить в полном согласии и без обмана...

Тут уж не только Иван, но и все семейство первобытного добытчика рты пооткрывало, слушая сказочку Карла. А он тем временем у всех братьев и сестер, даже у мамы с папой пищу съел и начал оглядываться по сторонам, отыскивая вора. И нашел его поблизости и указал пальцем на полоротого простофилю — брата Ивана.

Так на земле появился первый комиссар.

ВРЕМЕННОЕ ЖИЛИЩЕ

Не где-нибудь, а в новом сибирском городке увидел я прошибленную кулаком или железякой дверь, слепленную из какого-то заменителя, похожего на картон. От устья Ангары до Карских ворот лежит и прееет первоклассная древесина, а тут — картошечка на дверь!

И как это часто теперь получается, и не только со мною, вдруг остро резанула мысль: «Да уж не временное ли это жилище?!»

Историей еще не забыто: горстка цивилизованного человечества, ютившаяся в основном вокруг Средиземного моря, строила жилища из слабого туфового камня, ракушечника, песчаника, из глины, кизяка и плетеных ветвей. Они, те далекие люди, жили на исходе первого тысячелетия, ждали нового пришествия Христа, Страшного суда, кары и гибели.

Мы изживаем второе тысячелетие. Перевалим ли?

СТРАХ

Загудел включенный пылесос, и мальчик, ползавший по ковру, вдруг забился, закричал, закрылся ладошками от страха.

И подумал я: «Разве это страх, мой милый мальчик, моя живая кровиночка? Самые добрые из добрых дядючьи и политики на каждую живую душу и на твое еще крохотное телишко заготовили тысячи тонн взрывчатки.

На этом они не успокоятся. Таким путем они берегут мир и планету. Очень заботливые дяди!»

Мальчик притих. Я открыл глаза и увидел: мальчик тычет в пылесос пальцем — «привыкает» побеждать в себе страх. Может быть, он приручает будущую жизнь к себе?

ЗАМОРСКОЕ ЧУДО

У высокого административного здания высадили ливанские ели, лапчатые, подернутые вроде бы искусственной сединой, и придумали хранить их в зимнюю пору нашими, российскими елушниками. Нарубят их, колочих, бедных, возами из лесу навезут и навалят плотно на холмные деревца. Те и млеют под зеленой теплой шубой.

Не так ли вот во все времена, во всю историю российскую спасают заморских «друзей» жизнями русских мужичонок, теплом их тел сберегают хлипкую заморскую красоту.

СМЕРТЬ ОХОТНИКА

Дядя Саша, или Алексан Митрич, был самый знаменитый в нашем селе охотник, и оттого, что он был охотник настоящий, следопыт и истинный зверобой, ему не было надобности такового изображать, пагонять холоду и страху на людей, особенно на бабенок. Какой бы пьяный он ни был, за ружье никогда не хватался, не палил из него попусту, берег и его, и припас пуще глаза, про ремесло свое, охоту и тайгу рассказывать не любил и тихо улыбался, когда возле него в компании врали, хвалились охотничьей удаляю.

А вот о нем ходили и ходят легенды по нашей округе до сих пор. Однажды, еще в молодости, белкуя, он столкнулся с медведем-шатуном. Заряды у охотника были только дробовые. Шатун пригнал его на скалу, подпятил к обрыву и бросился, оскалив мокрую пасть. Охотник подпустил медведя вплотную, упал под него, и, ослепленный яростью, в общем-то очень ловкий зверь не удержался на задних лапах, кувыркнулся через человека со скалы на лед реки и там из него получился мешок с костями.

Или как дядя Саша нес на себе трое суток раненого

папарника, как выводил людей из лесных пожаров, как помогал мясом в голодный год деревенскому люду. И на войне не затерялся дядя Саша, около сотни фашистов положил из снайперской винтовки.

Не помню я другого человека на селе, которого в детстве мы так же почитали бы, хотя и был Александр Митрич строг, малообщителен, ко всем относился одинаково, всех нас звал парнишшонками, гонял от лодки и от ружья и лишь изредка баловал кедровыми шишками, приплавливая их с загадочной, таежной реки Маны, пыле облысевшей от лесозаготовок и обмелевшей от безобразно везущегося сплава леса.

В доме охотника не было никаких рогов, никаких шкур и таежных диковин — некоторые художники-профессионалы, замечал я, совсем не терпят в доме своих, а зачастую и чужих картин. Жена его была мягкодушна, приветлива, но тем не менее, как теперь я догадываюсь, имела над мужем большую власть, домашнюю, вела она дом на свой, крестьянский лад, чему таежный бродяга, как видно, не перечил и, полновластный хозяин тайги, здесь охотно, как бы понарошке, допускал над собою руководящую роль.

Ему было за шестьдесят, когда он тяжело заболел, и крепкий, крупнокостный, тайгой и ветрами каленый, дичиной кормленный, сделался, как метлячок, по выражению жены, — метляком у нас зовут бабочку. Долго не могли дознаться, что сосет и точит изнутри охотника, сплывили на лодке его в город, и там у него нашли ту болезнь, о которой врачи сказывают только родным, больного же держат в псеведении и заблуждении.

Но тот, кто видел звериный глаз в предсмертной тоске, читал в нем непрощающий укор, обману не подвластен, — он знает тайну взгляда, знает, что кроется за ним, пусть и торопливым, брошенным вскользь. Словом, догадался Александр Митрич, какие его дела, по родичам, даже сыну своему, догадки не выказал, ничем и не обеспокоил. Всем, кто его спрашивал про болезнь, говорил так, чтобы слышали и жена, и сын, и невестка: «Язва желудка привязалась, чтоб ее холера взяла! В тайге много бывал — всухомятку едал, да и мурцовку отведать не раз доводилось, вот и спноил курсак-то...»

Старый охотник, хитрый следопыт неслышными шагами подкрался к своим близким, отвел им в сторону глаза и даже попрощаться со всеми сумел. Летним утром он

поднялся, надел катанки и шубенку, вышел на крыльцо, сел и засмолил сигарку. Сидит, морщина лица, улыбается ссохшимся ртом солнцу, над Енисеем взошедшему, горам, качающимся в синеватой мари, огороду, росой облитому. Жену он накапуне за лекарствами в город отправил. Сына до ворот проводил. Сын шофером работал, раньше всех на работу уходил. Потом певестку — «служашшу» — проводил тоже до ворот, потом вгучат в школу снарядил, вгуча и вгучку. Любушку, вгучку, даже по голове погладил и сказал: «С Богом!»

Днем проезжал на машине мимо дома сын Алексан Митрича, и ровно бы кто дакнул за него на педаль, тормознул он у ворот. Кинулся домой — дверь закрычена. И тогда вспомнил сын, как провожал его до ворот отец, как длинно и грустно поглядел на него, как шевельнул запавшими губами, и теперь только стало ясно, что шепнул он: «С Богом!»

Дико закричал сын и сорвал дверь с крючка.

Алексан Митрич лежал посреди пола и рядом с ним лежало его старое, со сношенной воронью курковое ружье, выданное ему как премия еще в двадцатых годах крайзаготпушкиной.

Он признавал только собой литые, круглые пули и выстрелил такой пулей в то место, где болело, где впился в него, сосал кровь и силу этот проклятый рак, казавшийся Александру Митричу скользким, похожим на змею, на лягуху, на припадочного таежного клеща, на всех вредных и страшных тварей. Он убил эту тварь в себе, прикончил, чтоб ни на кого не переползла.

На столе охотник оставил записку.

Четвертушка бумаги, аккуратно вырванная из старой тетрадки вгучки Любушки, и на ней дрожащие каракули: «Не хочу муцица, гнить заживо да всех мучить. Простите меня, а я вас всех на веки вечные прощаю. Саша-охотник».

НА КОГО БЕДА ПАДЕТ

Пришло письмо от любимой певицы.

Где-то в пути оно попало в «переплет», измазанное, рваное, истолченное, моченое.

Еще было несколько писем в тот же день. Все они в полном порядке. И, зная, как тяжела жизнь певицы, сколь-

ко бед и страданий выпало на ее долю, я подумал: «На кого беда падет, того пужда не оставит...»

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ

Видел на Пермском конезаводе человека семидесяти шести лет, выглядел он чуть более чем на сорок. Был всю жизнь тренером коней, сначала на Чердынском, потом с тем конезаводом переехал в Пермь. Не пил спиртного, не ел мяса, каждый день зарядку и прогулку делал, не курил табаку, сосал конфеты.

— Какой железный человек! Так сохранился, да в такие времена. Уметь надо! — восхищались мы.

— А зачем? — спросил один пьяненький поэт, бывший на экскурсии на конезаводе. — Зачем это? Да я ни одного измощенного, изувеченного, «неправильно» жившего корешка из моего пулеметного взвода не променяю на этого себялюбца, — они, мои пулеметчики, все делали для других, себе уж что останется!..

ВОПРОС РЕБЕНКА

Жадно растут пынешние ребятишки, рано, стремительно развиваются и, сдается мне, чувствуют трагичность времени, в которое они народились.

— Баба, а баба! Скажи, пожалуйста, когда на комбайн принимают работать? — спросил мой шестилетний внук у бабушки.

— А зачем тебе это?

— Я хочу работать на комбайне.

— Почему именно на комбайне?

— Чтобы никого не убивать.

ПРЕДЕЛ

Ночь. Темнота. Давно ветер не звучит за окном.

Терпение кончилось. Предел. Надо помогать себе. Высыпаю горький порошок в рот. Половину мимо. Слезы застревают в ростках бороды, смывают перхоть порошка.

Провал. Забытье.

ИЗ ДАЛЕКОГО СНА

Что же ты, девочка, из далекого детского сна более не приходишь ко мне и не зовешь меня?

Ты была в синееньком ситцевом платье.

ПОСЛАНИЕ ВО ВСЕЛЕННУЮ

Люди Земли послали в космос пластинку, надеясь завязать контакт с разумными существами, если они есть в небесном пространстве.

Все добрые сведения о нас, о нашей планете нанесены на пластинку, и только ничего там не сказано о войнах, о голоде, болезнях и братоубийстве.

Что это — «лакировка действительности»?

Нет. Разумные существа, если они воистину разумные, не могут творить такие позорные и черные дела, какие натворили и творим мы, земляне. Истинно разумные могут не понять нас и не принять нас за разумных, а дикарями кому хочется выглядеть, тем более что среди землян хоть изредка являлись Гомер и Леонардо да Винчи, Бетховен и Циолковский, Моцарт и Данте-божественный. Последователи их не всегда же хватались за меч, случалось — и за орало, а то и за кисть, за перо, за увеличительное стекло — чтоб заглянуть дальше во время и пространство.

МНЕ ЕЩЕ МНОГОЕ НРАВИТСЯ

В Москве слушал оперу, сидючи рядом с музыкальным знатоком. Мне опера понравилась, хотя и шла в будни, будничным составом. Я хлопал и орал: «Браво!» Знатоки сидел с кислой мордой, досадливо на меня косился.

— Я счастливей тебя! — сказал я знатоку. — Мне еще многое нравится.

ДОЛБЯТ ГОРУ

Подрубили, обнажили пригородную Базайскую гору. Огородами ее стиснули. Электропроводами опутали. Дачами опятнали. Карьером изуродовали.

В юности, еще в войну, мы, фэззушники, слабые от долгой зимы, полуголодной житухи, карабкались на ту крутую гору за первыми подснежниками и затихали в теплом поднебесье.

Нам хотелось жить, любить, надеясь на лучшее.

Целые районы с готовой землей заброшены, порастают дурьем.

Неужели вам мало места, люди? Неужели ради огородного участка нужно сносить леса, горы, всю святую красоту?

Так ведь незаметно и себя под корень спесем.

Анатолию КОЗЛОВУ

ЧЕТЫРЕ ПЛИТОЧКИ ЖМЫХА

Мой сосед, вошедший в зрелые годы из тех, что росли в послевоенную голодную пору, часто рассказывает о том, как жили они, и удивляется — как выжили? Ведь, случись сейчас голод, первыми вымрут ребятишки, не умеющие питаться от земли, вялые в жизни, мало сообразительные, бойкие лишь на язык и горадые на пакость.

А те, семи-, восьмилетние карапузы, полураздетые, босые, брошенные на произвол судьбы родителями, работающими в полях, сгорающими у мартеповских и доменных печей, глохнущими в шахтах, застывающими в лесах — ради светлого будущего, — были добытчиками и борцами за свое существование: они что-то тащили, меняли, подрабатывали сторожкой, в пеньках, пели патриотические песни в госпиталях для раненых, ловили рыбешку, тербили шерсть, пряли куделю, вату, копали коренья рогоза, саранки, солодки, ели медуницу, первоцвет, черемуху, пучку, тащили из гнездовой яйца, выливали водой из пор сусликов.

О-о, какой сообразительности, изворотливости достигали эти жадные до жизни малые умельцы: находчивость их не знала пределов, полет мысли — расстояний.

Доведя народ и страну до полного обнищания, партия и правительство лихорадочно искали ходы и выходы из ахового положения. Опасаясь падения последнего скота в зауральских областях, бросили в колхозы и совхозы на армейском транспорте выметенный по сусекам и складам фураж, с южных маслоделательных заводов повезли со-

евый и подсолнечниковый жмых — самый лакомый ребячий продукт. А как его добыть, если живешь далеко от складов и баз, в деревушке, затерянной в бескрайней лесостепной полосе?

Нашлись молодцы, сообразили: выходили к дороге и палками, дощечками углубляли колею, чтобы машины с грузом сбавляли ход, и тогда парнишки, выскочившие из придорожных кустов и бурьяна, хватали из кузова кто сколько может кусочков жмыха. Солдаты-шофера часто гонялись за добытками, догнав, били в кровь, особенно свирепствовали молодые парни — они еще не понимали отчаянного положения деревенских детей или уж лютовали от усердной заскорузлости, развязности, зла и силы, обильно посеянных по Руси Великой в годы разных переделов, так ныне разгулявшихся.

Но помнятся не они. Помнится пожилой шофер, который хитрую капаву, покрытую ледком, ловко миновал, видать по фронтовым хлябям да разбитым дорогам ездил, но, проскочив «ловушку», остановился, запустил руку под брезент и, вынув оттуда четыре плиточки жмыха, покликал четырех мальчишек-добытчиков, отбежавших подалее от дороги:

— Нат, робяты! Возьмите!

Парнишки не подходили. Включив скорость, шофер медленно поехал. Не веря своему счастью, добытки схватили жмых, прижали плиточки к груди, с недоумением глядя вслед машине. Отъехав недалеко, шофер открыл дверцу, свесившись, оглядывался, широко улыбался ребятишкам и утирал рукавом грязной гимнастерки усталое, заросшее лицо.

Божешка, миленький, верни того шофера на русские дороги, в русские села, к русским ребятишкам.

ЯРЦЕВО — ЕРЦЕВО

Жил-был еврей по прованию Юз. Как и полагается еврею, тем более питерскому, был он ученым в области русской словесности. Еще будучи студентом, изучал в университете древнерусские летописи и рукописи. Ну и изучал бы себе, добывал звание кандидата филологических наук неустанным застойным трудом. Так нет ведь, егозливая еврейская натура требовала, чтоб он делал свой труд честно, проицательно и принципиально. И нашел

он, что летописи времен русского царя Ивана Грозного подправлены, подчищены, дописаны в пользу авторитета и во славу кровавого царя — деспота, о чем в своем труде, взыскиющем ученой степени, и заявил еврей Юз во всеуслышание во время защиты кандидатского диплома, забыв или пренебрежительно отнесясь к тому, что на троне в ту пору царил не менее кровавый деспот и любимым духовным отцом естественно считал он Ивана Грозного.

Прямо из аудитории взяли умственного еврея, вещающего черт знает какую крамольную историю про русского царя, увели куда следует, и там он быстро признался, что оклеветал отечественную историю, хотел пролезть в славную советскую науку в качестве польско-японского шпиона, чтобы вредить стране и народу изнутри. И вместо кандидатской степени молодой человек получил десять лет исправительно-трудовых работ в лесах Сибири и, ударно проработав в ярцевском леспромхозе пять лет, здесь же, в достаточном поселке Ярцево, оставлен был отбывать пять лет ссылки.

У еврея Юза остался в Ленинграде с мамой мальчик Юзик, и этого мальчика с самого первого класса звали сыном врага народа, и это, конечно же, не правилось Юзику. Помнил он папу молодого, кудрявого, еще в студентах начавшего лысеть, добрым, тихим, уткнувшимся в какие-то толстые, зашощенные, от руки писашные книги, пахнущие пылью и воском свечей. Где, как, чему мог навредить его папа, Юзик не понимал, сомневался и, затаив сомнение в себе, решил съездить в Ярцево, в Сибирь, чтобы спросить у папы: правда или нет, что он — враг народа?

Одно дело иметь желание и совсем другое дело осуществить его. Но он был в папу — упрямым и прилежным, старательно учился и тихо себя вел в школе, откуда его, случайно забыв или за прилежность эту, не исключили, как исключали и куда-то отправляли многих других враженят.

Мама Юзика с конторской должности была изгнана и кое-как устроилась контролером трамвая. Ее зарплаты едва хватало на хлеб и оплату квартиры да на школьный завтрак ребенку, завтрак тот стоил сперва тридцать, а затем и сорок копеек. Вот эти-то завтраковские деньги малый Юз откладывал в консервную банку, устроенную в виде копилки, а сам прилачился помогать тете Гане — продавщице мороженого: собирал и относил во двор магазина ящич-

ки, в которых оставались раскрошенные хлебные вафельки из-под мороженого, иногда отвозил и тележку, за что тетя Галя разрешала мальчику заскрести остатки мороженого из цилиндриков-бачков.

Юзик по географической карте нашел Сибирь и кружком означенное на берегу Енисея селение Ярцево. До него было далеко, и следовало иметь еще и крепкую силу, чтобы туда добраться.

Он учился в шестом классе, когда у него скопилось пятьдесят рублей. И тогда он заявил маме, что поедет в Сибирь — навестить папу, и попросил дать ему противозащитную сумку — мать имела ее, как член кружка ПВО, запасную майку и трусы, а также сшить новые сатиновые штаны, которых хватило бы на путь туда и обратно.

Мать у Юзика была русская, в молодости еще приехавшая из Костромской деревни учиться конторскому делу, на вокзальную кассиршу. Звали маму Юзика Устиньей. Она еще по папе хорошо знала, что, если евреем, пусть и малым, овладела идея, перечить ему бесполезно, а возражения и уговоры только распалют его.

Она сделала все, что просил Юзик. От своей скромной зарплаты добавила сыну десятку, настряпала подождников и со слезами проводила его на поезд.

Ехал Юзик очень долго. Видел всего очень много. В дороге сделал три пересадки, даже поголодал, но добрые люди не дали пропасть ленинградскому мальчику, подкармливали его, кто чем мог, а он за это — кому вещи поднесет, пожилым спуститься с подножки поможет, случалось, и проводникам помогал — кипятил вагонные самовары.

До Красноярска Юзик доехал серединой лета, без копейки денег и, когда посмотрел на речном вокзале на освещенной лампочками карте, какое количество километров еще осталось до Ярцево водным путем, узнал, сколько стоит билет на пароход, то понял, что пропал: до Ярцево не доехать и в Ленинград не вернуться — не на что.

Ночевал он на речном вокзале среди пестрого и шумного народа, устремившегося на север, на какую-то путину, называемую Карской, на новостройки, на рыбные промыслы. А днем шатался по городу, читал объявления с целью — где бы и кому пригодиться, чтоб заработать денег. Но отощавшего бродяжку-мальчика даже улицы подметать не брали. Попытался он пристроиться к базарной шпане, но шпана его презрела и отлупила за то, что ни по

карманам, ни по огородам он лазить не горазд, даже курить не умеет.

Пришла пора пропадать Юзику совсем, но тут красноярские заплоты, витрины и улицы запестрели плакатами с нарисованными на них самолетами о перелете отважных советских летчиков из Ленинграда аж до заполярной Игарки. Перелет возглавлял уже и тогда известный полярный летчик Водопьянов.

Юзик спустился к Енисею, постирал штаны и рубаху, искупался и помыл песком лицо. Прибравшись, он пешком поднялся в гору, к аэропорту и долго кружился вокруг аэродрома, наблюдая, где, вокруг каких самолетов толкется народ и по плакатам, но скорее по велению Божию, прошик на запасное летное поле, именно к той машине, на которой совершался легендарный полет, а здесь отыскать товарища Водопьянова смекалистому малому не составило труда.

Водопьянов, молодой, румяный, при ремнях и орденках, долго не мог понять, чего от него хочет кучерявый малый с тысячелетней печалью в глазах, тощий телом, костлявый лицом. А, понявши, уставился на него ошарашенно: еврейский мальчик, не являющийся даже пионером, просился, чтобы взяли его на самолет и высадили в населенном пункте Ярцево. Водопьянов долго хохотал, хохотал и весь его героический экипаж, все техники да разные люди вокруг хохотали. Хохотал вместе с ними и Юзик. А что делать? Потом Водопьянов сделался совсем серьезным и спросил у своих коллег, где будет производиться дозаправка в пути. Ему ответили — в Ярцево и в Туруханске. Там же будут происходить и встречи с восторженно их ждущими трудящимися советского Севера.

«В самолет отважного ленинградца!» — скомандовал Водопьянов и прижал палец к губам, чтобы Юзик никому ни гу-гу.

И как в русской сказке, Юзик оказался там, куда стремился, в Ярцево, на Енисее, и даже помахал самолету Водопьянова рукой, когда тот, взнявшись в воздух, гудя могучими моторами, проносился низко над рекою.

А на Енисее Юзик оказался потому, что в поселке ему сказали, мол, все ссыльные живут по домам, но днем околачиваются на берегу, ловят рыбу, там же варят ее и едят. Иногда и на ночь остаются, возле костра, иные уж что-то подобное землянкам вырыли в яру.

Люди сидели на корточках возле закидушек, лежали

на песке в одеже, будто ждали, что их вот-вот куда-то повезут. Никто не купался, не загорал. Эти люди явно не чувствовали себя здесь курортниками. Каким-то родственным паитием Юзик еще издали узнал папу, одетого в полубрезентовый дождевичок, и такая же брезентовая, мягкая шляпа прикрывала его голову. Шитые тоже из брезента башмаки стояли возле прогоревшего костерка, над которым висела на проволоке консервная банка.

Папа не открываясь смотрел на закидушки и нетерпеливо перебирал босыми ногами, кто-то теребил, потом резко задергал шнурок закидушки. Папа сделал подсечку и, споро перебирая руками, вытащил на песок суматошно бившуюся на крючке крупную белую рыбину.

— Здравствуй, папа! — сказал Юзик.

— Здравствуй, здравствуй, сынок! — отозвался папа, снимая рыбину с крючка, отозвался он таким будничным голосом, будто расстались они только вчера и вот сегодня опять увиделись. — Вот видишь, какой ты счастливый — только-только появился и тут же — на твою долю — поймался сиг! — Папа ногой, подальше от воды, швырнул рыбину, паживил из банки черными червями, жирными и бойкими, и, лихо размотав привязанную к закидушке крупную гайку, закинул ловушку далеко за приплесок, после чего вытер руки о штаны, поцеловал Юзика в щеку и спросил: — Кушать хочешь?

Он мог бы и не спрашивать об этом, было видно и так, что ребенок голоден, давно голоден. Сняв почерневшую от сажи банку с тагапка, папа отломил краюху хлеба, хранящегося в самодельной холщовой торбочке, и кивнул на ложку, прислоненную к камню, где лежал и складной ножик, но папа почему-то не воспользовался им, он ломал хлеб, крошки с ладони ссыпал в рот.

Пока Юзик обедал, папа рассматривал его: лицо сморщенное, испитое, с провалившимися глазами, и грустно выдохнул:

— Какой ты большой стал!

«А ты какой старый сделался», — хотел сказать Юзик, но ничего не сказал, полагая, что папа и сам об этом догадывается.

Папа попросил Юзика рассказать все про жизнь в Ленинграде и про проделанный путь им сюда.

Собрались вокруг рыбаки, охали и ахали, хлопали себя руками по коленям, хохотали, вскрикивали и, наконец, дружно сказали: «Молодец парень!» — постелили на пе-

сок какое-то рваньё, надели на него пакомарник и велели ложиться спать после дороги, а сами продолжили свою работу — рыбалку.

Шел сиг, язь и окунь. Люди запасали рыбу на осенне-зимнее пропитание.

Юзик прожил у папы в Ярцево почти два месяца, и еще бы жил, но подходила пора отправляться дитю в школу. Его приодели в полубрезентовую, как оказалось, эсковскую одежду — портной, тоже из ссыльных, подогнал брезентуху по росту мальчика. Работавшие на сплотках и выкатках леса, также занимавшиеся заготовкой дров, кедрового ореха и ягод, ссыльные пустили шапку по кругу и собрали денег на дорогу Юзику. Из тех денег папа купил сыну новую, теплую телогрейку, чтоб было в чем ходить мальчику в школу, маме послал давно им хранимый меховой воротник и теплые варежки, из заячьей шерсти вязаные.

Снабженный харчами, с небольшим бочонком вкуснейшей рыбешки-тогунка и связкой сушеных сигов, да гостинцами для мамы, Юзик пустился в обратный путь, и все ему слышались тихо и печально сказанные на прощанье слова отца: «Ну, сынок, Бог даст, еще увидимся на этом свете». И тогда-то, после этих слов Юзик и спросил папу, правда ли, что он — враг народа? На что папа также тихо и грустно, но выразительно ему молвил: «А как ты думаешь, сынок?» Юзик долго, считай, все лето, не решался спросить папу о главном, о том, чего ради тащился он в далекую Сибирь. И героический летчик Водопьянов, и многие добрые люди помогали ему. Так как же не спросить было, вот он и спросил. «Висунулся!» — как говорят евреи.

И они увиделись. И очень скоро. Война еще не началась, но они уже увиделись. Папа отбыл ссылку, и ему больше ничего не добавили, более того, ему позволили вернуться в тот же отдел древних рукописей, где он-таки снова всем доказывал, что рукописи русского царя Ивана Грозного подделаны.

Его обещали снова отправить — упрятать лет на десять в Сибирь. Но этому мероприятию помешала война. Усовершенствовав в ссылках знание языков — немецкого и французского, папа сразу же попал в какой-то бластной военный отдел, где занимался агитационной работой,

разлагая той агитацией вражескую армию. Разложил он ее или нет — пойдя, узнай, но дожил он до Дня Победы и даже получил за свою ответственную работу две медали, один орден. Семья еще до блокады была эвакуирована в глубь России, на родину мамы, где она работала на сельхозполях, добывая фронту хлеб и овощи. А Юзик под надзором бабушки учился в школе, летом тоже трудился на полях и у бабушки в огороде.

Бабушка сперва не любила Юзика. «У-у, жиденок!» — говорила она, но потом полюбила и, когда провожала дочь с внуком по вызову папы в Ленинград, плакала и наказывала, чтоб приезжали еще.

Папу после войны на прежнюю работу не приняли, к древним рукописям больше не допускали, так он, из упрямства — не иначе, начал патаскивать на опасную тропу своего щенка. И вот Юзик уже медалист школы! Вот он уже студент! Вот он уже защищает кандидатскую диссертацию, и, следуя по папиному крамольному пути, доказывает, что рукописи Ивана Грозного — поддельные! Теперь уж его берут под белы ручки и везут, куда надо, на этот раз недалеко, с небольшими тратами. Поручают ему рубить лес на Вологодчине, неподалеку от села под названием Ярцево.

Ярцево — Ярцево! И стоило ради этого получать золотую медаль, слеповать в читальных залах, не спать почей, стоило продолжать бороться за историческую правду!..

Сомнения, сомнения, сомнения. Сомнения и тревоги. Грустные размышления. А тут еще папа приехал в вологодское село Ярцево. А что ж не ехать? Это ж не в Сибирь далекую добираться! Это ж почти рядом с Ленинградом...

И старый же сибирский волк все знает, всех людей изучил, и военных, и гражданских, подходы ко всякому человеку имеет. Папа привез кое-что, подарил кое-кому — и отпустили лесоповальщика Юзика в село Ярцево, на два дня. Первый день Юзик с папой только ели и пили, а на второй день — опохмелялись, и папа, во память так память у человека! — спросил: «Ну как, сынок, правда ли, что ты — враг народа?»

Ну что Юзик мог на это ответить? Ничего он не мог ответить, однако, вернувшись с лесоповала в Петербург-Ленинград, он-таки добился, чтоб с него сияли судимость и клеймо «враг народа», да чтоб и восстановили на прежней работе.

Времена пришли новые, да вот папа до них не дожил, зато Юзик долго заведовал рукописным отделом старейшей Петербургской библиотеки. Труд его о подделке летописей периода царя Ивана Грозного — давно напечатан и никакой сенсации не произошло, и никого за это не посадили в тюрьму, потому как много всего оказалось на Руси Великой поддельного, загаженного, утаенного, поклепами и наветами испоганенного.

Юзик ушел на почетную пенсию с ученой степенью доктора филологических наук, но ни в какой Израиль не поехал, хоть и приглашали, а вот в туристическую поездку по Енисею отправился. Высадившись в Ярцево, неделю жил одиноко на окраине села, на берегу под яром, ловил закидушками рыбу, варил уху в котелке, обнявши колени, сидел возле воды, смотрел вдаль, о чем-то думал и качал головой, вовсе не облысевшей, лишь от уха до уха, в скобку кучерявым венцом объятую, будто рыженьким роем пчел облепленную.

Меня он просил, если я вздумаю писать эту расчудесную историю, доподлинной его фамилии не называть.

Ну и что, что другие времена? Что гласность? В стихе одного здешнего ссыльного, израильским поэтом написанном еще в начале перестройки, говорится: «Товарищ, верь, пройдет она, эпоха этой горькой гласности. И органы госбезопасности запомнят наши имена...»

А у него внуки, два очаровательных внука: девочка Устя и мальчик Петя, и он за них боится больше, чем за себя и сильнее, чем за папу, боится.

КАК МОЯ ТЕЩА БЛЮЛА НРАВСТВЕННОСТЬ

Благодаря жепитьбе я печально угадал на Урал, в большую, войной разбитую, да почти добитую рабочую семью.

Тесть мой, Семен Агафонович, удивительной чистоты и трудолюбия человек, из вятских крестьян, в тридцатые годы подавшийся из деревни на Урал, долгое время работал на станции Чусовская сцепщиком. Но потом ему поломало руку и до пенсии он «швейцарил» на вокзале, возле ресторана.

Жена его, Пелагея Андреевна, была когда-то женщиной не могучего, но крепкого тела и еще более крепкого духа и характера. Вятская эта порода, неутомимая в труде

и прочем деле, парожала и вырастила девятерых детей. Пятерых из них взяла, изуродовала им судьбы, загнала в рашние могилы война, про которую теща часто и тихо говорила: «Война не по лесу, а по народу...»

Я застал ее в сорок пятом году, уже маленькой, увядшей, с заплаканной памятью и растекшимися до бесцветия глазами, сохранившей лишь сыпучий вятский говорок. И вдруг откуда-то проблеском возникающая энергия озаряла в этом человеке остатки острого, прозорливого ума, юмора и какой-то неумемной, врожденной деловитости. И тогда я узнавал в ней ту женщину, ту мать, которую знала и преданно любила моя жена. Однако ж была моя супруга середишняя и внимания родительского ей доставалось меньше, чем другим ребятам, а любви хватало на всех и строгости тоже. Пожалуй что носатенькую, подвижную, головастую дочь выделял отец, Семен Агафонович, но, конечно же, «не выдавал себя» и самую, самую близкую сердцу девочку ничем не баловал, разве что чаще, чем других ребят, брал на покос, где показывал ей ягодные, земляничные места и рано смастерил ей грабельки, которыми она ворошила сено.

Мария Семеновна написала на материале своей семьи славную повесть «Отец», где с любовью поведала все, и об отце, и о семье, так что мне писать об этом надобности нет. А вот о том, как блюлась — соблюдалась в этом доме нравственность, мне давно хочется рассказать. Дом есть дом, дети — выдумщики, проказники, непоседы — уследи-ка за оравой-то! Тут уж, как и во всякой русской семье — старшие в ответе за младших, родители за всех сразу.

Времена тревожные, полуголодные — знай изворачивайся. Семен Агафонович чинил обувь соседям — приработок, корову держали — подспорье, сами стежили одеяла, вязали носки, рукавицы. Все ребята учились хорошо. Мария, или Миля — как ее звали в семье — отлично. А родители совсем неграмотные, но уже обколотившиеся в городе, понимали, что ребятам не только без грамоты, но и без «культуры» вперед дороги нету.

Иногда Пелагея Андреевна приходила в школу, ее приглашали в класс, она садилась на заднюю парту и сидела целый урок, смотрела, как ведет себя тот или иной ее ребенок, и этого вполне доставало, чтоб ее парней и девочек «подстегнуть» в учебе. Уроки делали за одним столом, если случались все дома, то по очереди. Спали вповалку на полу — стежили общее одеяло, с поле велико,

которым укрывались почью. Стежили семейно, и на заказ — соседям тоже стежили. В огороде работали тоже семейно, и в очередях за хлебом, селедкой и сахаром тоже стояли семейно, часто почи напролет.

«Сколько себя помню, — вспоминает Марья Семеновна, — все ладоши были исписаны химическим карандашом — отметка очереди».

Но среди многих хлопот и забот, часто уже и непривычных, да и неподъемных для современных родителей, Пелагея Андреевна еще успевала следить за правильным, значит, идейным воспитанием детей, может оттого, что в их раскулаченной вятской родове не было потравы, садили дядьев, по пенадолго — для выдержки, да Семен Агафонович песколько почей провел — пролежал в борозде меж гряд в огороде, опасаясь, что и за ним вот-вот придут, но в остальном был полный ажур. Да и как ему не быть. С получки и аванса мать выделяла детям мелочишки — «на кино». И вот пошел в кинотеатре фильм с завлекательным, скорей с подозрительным названием «Богдаский вор». Мать не дает ребятам серебрушек на билеты в кино. — «Отец еще аванс не получил, на железной дороге задержали...» Потом говорила, что страховку заплатили, или покупки необходимые сделали и на кино денег не осталось. Так и «уклонилась» она от кинокартины с таким подозрительным названием «Вор» да еще и «Богдаский» какой-то. «Упаси и помилуй, Господи, от соврвителя! Чего доброго, ребята после такого кино пойдут не по той дорожке...»

Сами, Семен Агафонович и Пелагея Андреевна, тоже ходили в кино песколько раз за свою жизнь. Кинотеатр располагался через дорогу от дома, но супруги Корякины тщательно готовились, собирались в кино. Уходя на сенокос, иногда на сутки, а то и на трое, за десяток километров, в тайгу, ничего они остающимся дома ребятам не наказывали — соберут котомку и рано поутру, часто еще до восхода солнца отправятся. В семье старшие и младшие знают свои обязанности и управляют с домом и хозяйством. А вот собираясь в кино, супруги Корякины уже с утра одевались «в чистое», стало быть в праздничную одежду, нервничая и волнуясь, наказывали ребятам, чего, как и когда делать, куда ходить и куда не ходить, не поджечь дом, когда самовар разжигать станут, следить за младшими, чтобы те на железную дорогу не убредли — она пролежала за огородом... Когда все просьбы и наказания

кончались, супруги Корякины недолго сидели на скамье подле дома, напряженные, не знающие, куда себя деть, измученные праздностью, и наконец поднимались и, тихо молвив: «Ну, с Богом!» — уходили.

И ребята, которым тоже передавалось напряжение момента, с облегчением провожали родителей в такой редкостный культурный поход. Может, были бывшие вятские крестьяне робки по природе, может, чего боялись? Отшодь! Мать воздействовала на ребят не столько наказаниями, наказаниями иль бранным словом, она на них юмором действовала.

«Соседка Анна сказала, что ты с ней не поздоровалась, так, может, скоро и лба не перекрестишь, может, и Богу — иконе святой поклониться тяжело делается — хребет переломится?»

Сколь сильна была характером эта маленькая женщина — проявилось в смутные годы: пришел старший сын Сергей из школы и давай увещевать выбросить иконы из дому. И тогда Пелагея Андреевна сказала сыну-активисту непреклонно и властно: «Вот тебе Бог, а вот тебе порог. Коли не правится, можешь уходить, а иконы на месте останутся!» Это были такие «страшные минуты», что содом в доме сразу унялся, ребятинки забились в углы и надолго смолкли.

В доме никто никогда не матерился, никто никого не бил. Самой большой угрозой дитю было: «Вот придет с дежурства отец да как ошпетит тебя полотеищем по заднице!..»

Но я знавал силу характеров войной надломленных и горем подбитых стариков Корякиных. Жил в городе Чусовом человек по фамилии Тобиас. Чужой всем человек, с чужой фамилией, в молодости состоял он в комсомоле, сбрасывал кресты и колокола с церковей, позорил и зорил храмы. Бог его, как и многих ретивых борцов-безбожников, наказал: у него отнялись ноги, разбил его паралич. Лишь немалое время спустя смог он подниматься с постели и выходить на костылях на крыльцо престижного дома, где жило местное начальство.

Город певелик, и все в нем про все знали, многие люди ходили по центральной улице, мимо того элитного дома. И мне случалось не раз проходить на пару с моей старенькой тещей. Ни разу, ни разу она не прошла мимо того дома, где на крыльце, повиснув на костылях, стоял, дышал воздухом безбожник, чтобы не плюнуть в его сто-

ропу. Сколь негодования, сколь презрения было в этом песгибаемом, Богом укрепленном человеке! И когда я работал в местной газете и мы чем-то и как-то отметили деяния «старого большевика», моя теща сказала мне напрямую: «Зачем ты написал об этом варнаке хвалебное. Он же поганец!» С тех пор ни я, никто другой в газете о Тобиасе не писали, и как, когда он исчез с оскверненной им русской земли — я не знаю, не запомнил.

Но и тут, на идейном фронте, тоже чудеса в решетке случались.

Я уже работал собкором областного радио и в каждые выборы обязан был сразу после шести передать на областное радио ударную информацию по телефону о том, как горячо и дружно голосуют металлурги города Чусового за партию и ее «лучших представителей». Начало выборов в шесть утра, первый выпуск выборных новостей в шесть утра, точнее — в шесть тридцать — вот тут и успевай и вертись. Я приходил на избирательный участок, заранее побеседовав с трудящимися, бегом бросался к своему дому, к телефону и передавал ударный материал в Пермь.

Как-то явился я к ближнему избирательному участку в половине шестого, невыспавшийся, злой, а там уже толпятся несколько патристически настроенных стариков, жаждущих проголосовать первыми. Смотрю, под фонарем, в сторонке, в праздничном пуховом платке, без привычной рогожной сумки в руках, топчется моя теща!

— Мамаша! Да ты-то чего в такую рань здесь делаешь?!

— Да не спится мне, — сконфузясь, ответила Пелагея Андреевна. Думаю, отдам голос — от да и с плеча долой...

На тех выборах, помню я, по Чусовскому округу в Верховный Совет выбирался генерал Зачепа — начальник областного управления КГБ, страшный палач и, как вскоре оказалось, матерый вор и преступник — во время обмена денег огребший миллионы и попавшийся на этом. Пришлось трудящимся делать новые выборы. На этот раз уж своего человека, заместителя министра черной металлургии единогласно выбрали, который, однако, вскоре на строительстве комбината в Индии тоже проворовался. Но моя теща об этом уже не знала, она к той поре успокоилась и упокоилась.

ОДНА МИНУТА

Одна такая минута может решить судьбу и творческую жизнь.

Этот рассказ об одной встрече с читателями во Владивостоке, даже и не о самой встрече, а об одной минуте, на ней случившейся.

Друзья-дальневосточники особо не мучили меня выступлениями, и даже как-то они так изловчились сделать, что пути мои с местным начальством не пересекались. Может, оттого, что катилась за мной молва: «не выдержал на язык», и, значит, при встрече с руководством могут выявиться разногласия, а творческой интеллигенции, хотя ее во Владивостоке кот наплакал, в первую голову писательской организации, и без того жилось нелегко. «Сам все увидишь и сообразишь», — рекли мне мои помощники.

Заранее, еще до приезда моего, было оговорено, что одна встреча с читателями-дальневосточниками — в Доме офицеров — непременная, она давно объявлена, народ ждет.

Ну, ждет — не ждет народ, обещал — надо встречаться. К Дому офицеров нас подвезли на черной крайкомовской «Волге». Дама, вроде как заведующая отделом культуры крайкома, с прической, несколько вольной, отбеленной, волною катящейся по голове, в строгом нарядном одеянии, под локоток нас с супругой ведет, говорит, чтоб мы не волновались — все будет хорошо. И на этой же машине нас после выступления доставят в отель. «Непременно-непременно!» — частила дама и увела мою супругу в зал, мне же путь лежал на сцену.

Я поклонился залу. Он был переполнен. В зале полторы тысячи мест, но возле стен стояли и сидели на принесенных стульях.

Пока шло объявление о встрече, я безотрывно смотрел в тесно заполненный зал. Бросилось в глаза, что люди не просто нарядно, со вкусом, но и богато одеты. У большинства женщины только что сделанные модные прически, золотишко, драгоценности мелькают — несравнимо, допустим, с вологодской, простенькой, доверчивой, много читающей, бедновато живущей публикой. Что же они собрались? Чего от меня ждут?

Я не артист, не певец и даже не гитарист, всего лишь русский прозаик, в Сибири родившийся, на Урале в писа-

тели крестившийся. Что я могу сделать? Чем могу им помочь? Чем разрешить их давние мучительные ожидания? Ах, какое чувство смятения и неразрешимой тяжести всегда ложится на сердце. Когда один предстаешь перед публикой, свято верящей в слово и совершенно убежденной, что уж кто-кто, но писатель знает истину, откроет ее им — и все сразу разрешится, все станет понятно: куда идти, с кем, где лежит точный путь к лучшей, может, даже и праведной жизни...

А не врать, не уваливать, не опутывать доверчивых людей паутиной демагогии! Нельзя, не можно ловчить перед более чем полутора тысячами людей, уставших от неправды, от бардака, называемого советской жизнью. Храбро порешился — если не утешу людей, так хотя бы неправдой не оскорблю. Лишенные веры в Бога и духовного общения, обездоленные люди, не стовариваясь, сделали из советского писателя духовника-проповедника и ждут, и требуют от него точных ответов и указаний: как жить? В какой стороне света счастье — укажи? Раз уж ты согласился на эту работу, принял на себя эту роль — ответствуй!

Встреча длилась три часа. Для начала, помнится, я рассказал о судьбе бабушки командира 17-й армидивизии, в которой довелось мне воевать.

Восемнадцатилетней девушкой Людмила Михайловна Александрова вместе с такими же, как она, неустрашимыми русскими народниками участвовала в покушении на харьковского губернатора, была приговорена к смертной казни, которую в последний момент заменили Шлиссельбургской крепостью, где она в одной камере с Верой Фигнер пробыла тринадцать лет и потом через Одессу выслана была на Сахалин. Следом за ней на Сахалин приехал ее муж и привез с собой полуторагодовалого внука, будущего командира дивизии, в которой я повоевал рядовым бойцом.

Через какое-то время ссылкой Александровой разрешено было с мужем и внуком переехать на материк, поселиться во Владивостоке и работать врачом, где она была убита в 1905 году выстрелом в затылок во время демонстрации протеста против жестокостей царского самодержавия.

Затравка беседе была задана любопытная, народ проникся ко мне доверием и засыпал вопросами, устными, но больше письменными, которые в основе своей содер-

жали один и тот же злободневный вопрос: «Как дальше жить?» Иногда сразу и с ответом: «Так дальше жить нельзя!»

Преодолев волнение, почувствовав родство аудитории, я разошелся в беседе и, вероятно, наговорил много непривычного для этого моряцкого дома, города, аудитории. Самое неожиданное и даже страшное, что я вслух называл среди великих современных писателей Солженицына, отлично сознавая, что в зале сидят не одни просоленные моряки и моряцкие жены, но и в крепком, кэзбешном тузлуке вымоченные литературоведы в штатском, да и просто люди, которым, что Иван Андреевич Крылов, что Александр Исаевич Солженицын — одинаково ценные и остроумные писатели. Были и те, для которых русская литература, тем более великие русские писатели перевелись еще в девятнадцатом веке.

В зале свершилось колыхание, кто-то на кого-то цыкнул, кто-то даже захлопал, поток записок возрос. Посмотрев на часы, я сказал, что очень устал, ответить на все вопросы не в состоянии, выберу самые-самые, отвечу на них и на этом беседу закончим.

На страничке, вырванной из блокнота, каллиграфическим почерком, красиво и вкрадчиво спрашивали: «Почему вы не состоите в коммунистической партии?»

Я зачитал вопрос, обвел тесно заполненный зал зрячим глазом и не очень громко, но так, чтобы все было слышно, молвил: «Не хочу!».

Вот тогда и наступила та самая минута. Зал погрузился в гробовое молчание. Зал был ошарашен. Зал ожидал, что я отшучусь, увильну, спрячусь за давно проверенную, ловкую и привычно-трусливую демагогию: «Не созрел...».

Вот такие-то вот минуты для неокрепшего разума и слабого сердца всегда губительны. Глядя на трусливо при молкших моряков, романтиков-строителей, зэков, отбывавших срок, возможно, и не один, можно сорваться, впасть в неистовство, плюнуть, сказать, что все вы — говно, или двинуться с копьем на машущие сплывшими крыльями, перемальвающие пропагандистскую словесную мякину, большевистские мельницы, и на весь скот, вокруг мельниц пасущийся.

Я уже многие годы прожил в этом передовом советском обществе, знал его нравы, и не без ехидства поинтересовался: «Ответ понятеп, надеюсь?»

В зале зашевелились, загудели, жидкий аплодисмент

разшесся. Женщина из крайкома, сидевшая на первом ряду, мотнув головой прически, метнулась в боковую дверь.

Потом было много цветов, особенно роз — осень на дворе стояла парадная, яркая, какие только на Дальнем Востоке и бывают. Сухонокая старая женщина с благородным прекрасным лицом — такая, наверно, была бабушка моего командира дивизии — мелькнуло в моей голове, пыталась целовать мне руки: «Спасибо! Спасибо! Спасибо!»

И какие-то люди, вбивая меня в окончательное смущение, толкались вокруг, благодарили, пожимали руки. Нашлись и те, кто вроде бы снисходительно, но пряча глаза, отчески журили меня: «Очень уж вы откровенны, а они — злопамятны...».

Машина — черная «Волга» — нам с супругой на обратный путь предоставлена не была.

Из Владивостока, вслед мне, то есть через Сибирь в Москву, полетели доносы и «отчеты» о моем выступлении. В одном из доносов опытный лепило-сексот сообщал, что, назвав великими писателями современности Маркеса, Шолохова и Солженицына, я и себя к ним приплюсовал.

Грубо, кляузно, зато по-партийному принципиально и нагло. Сейчас так пишут в «Дне», в «Советской России» да в провинциальных газетенках, им подражающих. Справедливо было бы все вместе эти утильные листки назвать «Подворотня». В подворотне той твякает моська, виляя сношенным хвостом, скалит изношенные на лживом лае и патриотическом скулеже протезы о прошедшей «замечательной» жизни. Для моськи была та жизнь и в самом деле завидная: отдельная копура, перед копурой в старой гнудой миске кость с барского партийного стола, каша без масла, украденная из казенного эковского или детсадовского котла, зато до краев полная — лижи, брещи, радуйся и не забывай вовремя поджимать хвост.

ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ

—

ИГРА

•

БОЛЬШОЙ СТРАТЕГ

Дядя мой, младший Кольча, по роду и характеру своему был крестьянин, пашенный человек. Ни ягодами, ни грибами, ни охотой не увлекался, рыбачил только промысловой снастью. И вообще к тайге был мало привержен, хотя и угрохал одного медведя, но тот взломал крышу на стайке возле бакенской будки, метил задрать корову — и тут хочешь не хочешь бери ружье и обороняй удобу. В детстве Кольча-младший, конечно же, как и все деревенские ребятишки, хаживал в лес по грибы, по ягоды, но удочку в руки не брал, брезговал ею и, будучи долгое время бакенщиком, рыбачил сетями, самоловами, колол рыбу острогой в ночное время.

Старенький он уже стал, когда в нашей местности под напором наступающего прогресса начала скудеть природа, исчезли самые нежные цветы, выродились травы, не стало ягод и даже грибы начали исчезать.

Деревенские бабы иль ребятишки пойдут и принесут сыроежек, лисичек, серух, которые тут от веку считались поганками, и дядя их не ел, случалось, и на помойку выбрасывал. Однажды он «заспорился» с домашними и сказал, что они лодыри и верхогляды, вот пойдет в лес, знает куда, и полную корзину рыжиков принесет, нос им, говенным грибникам, утрет. Бойкоязычные городские внучата подначивали деда и доподначивали: он не выдержал, надернул резиновые сапожишки, пиджачишко, кепку старую да и побежал на Манскую гриву, где быстренько и наломал корзину рыжиков, снова обзывая грибников сле-

пошарыми, потому что грибов тут, как и в старые, добрые времена, как и в ту пору, когда вокруг этой гривы располагались еще деревенские пашни, полным-полно. Позаросло, правда, все вокруг, заглохли тропы и дороги, в лесу маячили какие-то сооружения, и вроде как взгляд на себе грибник чувствовал, не иначе как звериный.

Он уже собрался вернуться домой верхней дорогой, что переваливала в Фокинскую речку, но тут из лесу бесшумно выступили два солдата с новенькими автоматами и молча указали оружием пришельцу следовать в глубь соснового леса. Дядя безропотно последовал и оказался в поселке, построенном на манер пионерского лагеря, но с той казенной ранжировкой и убранством, в котором и такой сугубо мирный человек, как Кольча-младший, угадал военное устройство. Его завели в помещение, велели поставить корзину с грибами в угол, и скоро явился офицер с красной повязкой на рукаве гимнастерки, спросил документы, но поскольку у нас отродясь с документами в лес не ходили, то дядя чистосердечно все о себе рассказал и даже показал место, где раньше были крестьянские, затем колхозные пашни, когда он бригадирствовал. Офицер сказал: «Ладно, выясним. Побудьте здесь...» — и ушел, оставив дядю под надзором вооруженного солдата.

Дядя догадался, что попал под подозрение как шпион, и пробовал разубедить солдата, мол, он ничего не видел, но слышал, что где-то тут ракета стоит, однако ракету он ни сном, ни духом не зрел, пустить ее на Америку тоже не может, поскольку далее бакенской лампы и поперечной пилы никакой техникой за жизнь свою не овладел.

Солдат был неумолим, домой не отпускал. Дядя вздохнул и растянулся на деревянной скамейке, давая покой натруженным ногам. В это время пришел один из тех солдат, что задержал его в лесу, и поинтересовался одной овсянской девахой. Дядя мой, Кольча-младший, обрадованно сообщил, что это его племянница, и подумал, что теперь-то уж его отпустят домой, в деревню, потому как он почти родней приходится здешнему солдату...

Но вместо освобождения солдат принес кружку с водой и баклажку в защитном матерчатом футляре. «Чтоб не скучно было», — сказал и удалился. Дядя, не теряя времени, развел спирт, выпил, потом еще выпил, ему сделалось хорошо, и он зашел. Так, с песнями, на военной машине, и привезли его домой, не потеряв ни одного гриба по пути и оставив ему почти половину баклажки спирта.

Дядя два дня опохмелялся, потом исчез, и домашние только по корзине догадались, что он снова убрел по грибы. Дядю снова замели, снова допрашивали, выяснили и напоили до песен, а петь он был большой мастер еще с молодых лет. И в третий раз пошел по рыжики в лес на Манскую гриву, снова попался, но тут опытный офицер погрозил ему пальцем и сказал: «Ты, дед, однако, большой стратег, но если еще раз попадешься близ военного объекта, мы тебя отошлем далеко-далеко...»

Боле дядя до самой смерти по грибы не ходил, да и военный объект скоро исчез с Манской гривы. Всамделишний шпион, большой шпион, не знал, где грибы растут, но где стоят военные объекты, хорошо ведал и запродал на месте всю нашу оборонную мощь, разорил и без того трудно живущую страну так, что до сих пор народу нашему приходится держать ремень затянутым до последней дырки.

НА ЗАКАТЕ ДНЯ

На закате дня, в тихое солнечное предвечерье, сидел я на деревянном помосте пристани, парохода дожидался, обняв чехол с удочками, будто самую желанную женщину. На одной со мною скамье вольно расположились три девицы, бравшие впереди меня билеты. Одеты и накрашены они были с той щедростью, которая с первого взгляда выдает заскорузлую провинцию, тужащуюся утратить нос столице, и не одной, а всем сразу: уж если штаны, так не штаны, а «шкеры», на полметра ширше, чем у «ихих»; ежели краски на лицо, так без нормы. По норме-то и родители нажились...

Девицы не щебетали, не жеманились, не хихикали. Они вели себя с той вальяжной томностью, которую где-то увидели, подхватили, усвоили, а усваивая, удвоили и утроили. Они неторопливо и даже как бы нехотя потребляли мороженое, заголяя наманикюренными вишневыми ноготками хрустящую оболочку, и лениво перебрасывались фразами на предмет, кто во что и как одет. Особенным, каким-то закоренело-неприятным их вниманием пользовались девушки, и потому, как часто раздавалось: «Фи-фи-и! Пугало! Вырядилась!..» — выходило, что все хуже их одеты и вообще неполноценны.

По деревянному перрону медленно двигалась с мет-

дой усталая пожилая женщина в синем запыленном халате, в рабочих ботинках и белом, по-старинному глухо повязанном платке. Она вытряхивала в ящик, приставленный к тележке, мусор из железных урн, сметала с перрона бумажки и окурки в совок, и когда подошла к скамьям, пассажиры неохотно, кто и с ворчанием, задирали ноги, потому что всем ожидающим скамей не хватало, и если покинешь место, его могут занять.

Молча выметая мусор из-под ног, женщина прошла нашу скамью, закапчивала уже работу, когда на пристани объявился всем улыбающийся опрятный мальчик в старенькой ермолке и начал ей помогать. Он подбирал бумажки, бросал их в ящик, и женщина что-то ему тихо говорила: хвалила, видать. Мальчик, судя по всему, когда-то душевно переболевший, чистосердечно радовался похвале матери ли, родственницы ли, а может, и совсем незнакомой женщины, старался изо всех сил, ладонями сгреб мусор, понес его, словно пойманную пташку. Женщина распрямилась, вытряхнула из рук мальчика сор и, что-то ему тихо выговаривая, терла ладони полкой халата, и он преданно смотрел ей в рот, ловил затуманенный усталостью взгляд и все улыбался.

Одна девица домучила мороженое, скомкала обертку, небрежно швырнула ее под ноги и, широко зевая, лениво потянулась, забросив руки за спинку скамьи. Две другие девицы также шлепнули намокшую бумагу о доски и тоже скуксились, как бы решая утомленно, куда себя девать или чего еще выкушать?

Подошел мальчик, подобрал бумажки и укоризненно сказал:

— Тетенька подметает, а вы сорите. Как нехорошо!

— Ой, дурак! Дурак! — тыча в него пальцами, оживились девицы.

Лицо мальчика дрогнуло. Еще плавала улыбка, делающая лицо мальчика отстраненно-печальным и в то же время доверчиво-ласковым, как у всех детей, когда они исполняют добрую работу, радуются сами себе и тому, что полезны, необходимы кому-то. Но она, эта улыбка больного, ущербного человека, уже сделалась лишней, отделилась от лица, а само лицо, разом осунувшееся, обрело выражение той унылой покорности, какая бывает у стариков, навсегда приговоренных доживать век в немощах, в тоске, в безнадежности.

Женщина, закончившая работу, с трудом разняла руки

мальчика, в которых он затискал мокрые обертки от мороженого, бросила их в тележку и пошла, ни слова не сказав девицам, лишь слегка покачала головой — перевидела она, должно быть, всякого народу, натерпелась всякой жизни.

Мальчик догнал тележку, взялся подталкивать ее сзади и снова улыбался всем встречным и поперечным, забыв летучую обиду, потому что снова у него было дело и он кому-то был нужен.

— Надо же! Дурак и шляется! И его не забирают...

— Девушки! Вы не в педучилище ли сдавать экзамены приезжали?

— Ой! А как вы узнали?! — соседки мои с пастороженным вниманием уставились на меня: не набиваюсь ли на знакомство?

Я дал себя разглядеть — стар для знакомств — и повел разговор дальше:

— Понимаете, какое дело: есть профессиональные отличия, уже укоренившиеся, отштампованные. — И безбожно засластил пилюлю: — По вдохновению на лицах и наитончайшему такту в вас уже угадываются будущие педагоги.

— А-а! — согласились девицы и обмякли. Благодушие, паиградная леность, самодовольство занимали свое место на их лицах. Лишь какое-то время спустя до одной, под мужика стриженной и под шамана крашенной, девицы дошло:

— Гражданин! — зыкнула она ломающимся басом. — Если выпили, так не вяжитесь к людям! Пошли отсюда, девочки! — И, уходя, обрушила на меня тяжелый взгляд сытых глаз: — Бр-родят тут всякие! З-заразы!..

Я сидел, обняв чехол с удочками. На брусчатый въезд от причала поднималась женщина с тележкой. Мальчик одной рукой помогал толкать тележку, другой на ходу подбирал мусор.

ДЕРЕВЕНСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Сонная, летом зарастающая водяной чумой и всякой другой водорослью похмельного цвета, речка Балавуриха в короткую весеннюю водополицу дурела и делалась похожа на колхозного овощевода Парасковьяна, который

зиму и лето до одурения копался в земле. Но раз в месяц, а то и в два он напивался, пластал на себе рубаху и с осиновым колом гонялся за своей бабой. Баба эта, Парасковья, заслопившая в мужике все, вплоть до фамилии, была злая и хитрая. Она поколачивала мужа в день Восьмого марта и по другим новым праздникам. Но в дни запы мужа она сопротивления не оказывала, а пряталась: зимой в подпол, летом западала на огороде в жалицу и пересидивала смутное время.

Овощевод Парасковьяин для порядка и куражу бил колом по окну, выносил полрамы и ложился спать, совершенно удовлетворенный этими действиями.

У овощевода Парасковьяина была дочь, похожая лицом и правом на отца. Она и в труде пошла по его линии, тоже копалась в колхозной теплице и парниках, выхаживала рассаду капусты, помидоры и огурцы снимала и целиком отдавалась этому занятию, не участвуя ни в каких гулянках и посиделках девичьих.

И все же в одну из весен, когда огурцы в колхозной теплице дали первый цветок, отец обнаружил, что по лику дочери, покрытому, как у монашки, темным платком, тоже будто цвет пошел и походка у нее сделалась тяжеловатой и кошачье-осторожной.

Отец поскорбел лицом и стал думать, каким образом это могло получиться. Все время девка на глазах, занятая важным сельскохозяйственным делом, и вот на тебе — «растет у нее брюхо другое», как поется в одной частушке местного сочинения. «Не от назьма же она раздобрела! От назьма гриб заводится, овощь от назьма прет большая, — размышлял овощевод Парасковьяин, — а детей от назьма не бывает... И ветром их тоже не надувает. Тут непременно должен мужик участвовать!»

Придя к такому невеселому умозаключению, овощевод Парасковьяин начал перебирать в памяти всех мужиков-односельчан, способных еще сотворить живого человека, и очень скоро наткнулся на него, потому что боеспособный мужик в обезлюдевшем селе Ковырино весь был на виду и в коротком счету — он был один, этот мужик — шофер Кирька Степанидин.

Степанидиным Кирьку именовали потому, что его мать звали Степанидой. Как и Парасковьяина-овощевода, всех мужиков в этой деревне кликали только бабьими именами, и потому тут баба от века была главной фигурой в

труде и в жизни. Мудро решив, что с Кирькой — парнем разухабистым и дураковатым — ему ни о чем не дотолковаться, Парасковьиин-овощевод подался к самой Степаниде и, поговорив с нею о погоде и космонавтах, мол, на Луну лететь собираются, а в сельпо белой пету уж другую неделю, намекнул, что вот-де осенью Кирька и его дочь Шурка ездили в райцентр за покупками, так дорога-то длинная, а дело молодое и ума большого не надо... Парасковьиин-овощевод скованно хохотнул в завершение своих слов, чем и озадачил Степаниду.

Она поглядела на Парасковьиина-овощевода пристально и сочувственно заохала: долга, мол, дорога, ох, долга... Покуль до базара доберешься — все яйца переколотишь, ягоды так и не бери на продажу — кашу привезешь, мол, вот поселил Бог людей которых поближе к городу, так они всегда с копейкой, с базара живут — припеваючи...

Степанида сделала вид, что она совсем не понимает мужика, и свела все дело к тому, будто овощевод Парасковьиин хочет занять у нее на пол-литра, а она всячески должна увиливать, ссылаться на трудности жизни и полное безденежье.

Совсем запасмурнел овощевод Парасковьиин: раз уж Степанида начала прикидываться и Ваньку валять, ему не подобрать ключа к ее сложной и закоулистой душе. Не зря же кум Замятин подался в заречную деревню на жительство к другой бабе, махнув рукой на сына Кирьку, на Степаниду и на всю лавку с товаром, как именовал он хозяйство, пажитое долгими трудами и заботами.

Вздыхнул Парасковьиин-овощевод глубоко, взял шапку, отправился в сельпо, напился, чтобы взбодрить угнетенную душу и на время забыться. Но забыться ему не удалось, потому что Шурка была у него единственным дитем, он ее любил и жалел.

Пошел Парасковьиин-овощевод бродить по земле и отыскивать Кирьку-обидчика. И нашел возле правления колхоза — уже в другом селе нашел. Поздоровался чинчином, вытащил бутылку напитка «Дар осени» — другого в сельпо не оказалось — и пригласил распить напиток совместно, тут же, на крыле колхозного газика.

Кирька неожиданно ударился в амбицию, заявил, что он за рулем не пьет, тем более под окнами правления, и что любое вино, хоть «Дар осени», хоть какое, — все равно алкоголь, и потерять из-за него шоферские права можно

запросто, потому что дыхнуть могут заставить в райцентре, куда он важного начальника повезет.

Был Кирька в кожаной куртке, в больших, чуть не до локтей, перчатках — краги называются. Чуб у него из-под каракулевой шапки торчал, в районной парикмахерской завитый, а во рту у него зуб желтый красиво блеснул.

Поставил мысленно рядом с Кирькой дочь свою Парасковьино-овощевод, безответную, тихую с детства, чего-то мастерящую, копающуюся в парниках вроде мышкземлеройки, поставил и загоревал еще больше, а загоревавши, поинтересовался:

— Начит, не пьешь за рулем?

— Не пью! — отрезал Кирька, и глаза свои спрятал пахальные, забегал ими, замельтешил.

— Начит, алкоголь? — воинственно наступал Парасковьино-овощевод.

— Алкоголь! — подтвердил Кирька.

— Начит, брезгуешь моим угощением?

— Что вы, гражданин Парасковьино, привязались? — возвысил голос Кирька, заметив, что из правления выходит председатель колхоза, провожая к машине уполномоченного райзаготконторы. — Сказано вам — на работе я, за рулем, а это не лучок в парниках щипать...

Если бы Кирька не ухмылялся вызывающе при этом, не заблеснул бы пагло зубом, не назвал бы его, как милиционер, гражданином — все, может быть, и обошлось бы мирно. Однако зуб блескучий, слова «вы, гражданин», особенно «вы», совсем выбили Парасковьино-овощевода из равновесия. Это он-то, Парасковьино, гражданин?! Он, которому этот шибко грамотный кавалер крестником приходится, и совсем еще недавно крестный сопли ему подтирал и как-то с базара привез ему сладкого петуха на палочке, он — гражданин?!

Бац поллитровкой Кирьку по голове — с того шапка долой, и бутылка вдребезги!

На Кирькином же кургузом «газике» повезли связанного овощевода Парасковьино в район, чтобы определить его там куда следует.

Парасковьино-овощеводу все уже было пипочем, и он кричал, что ему очень даже нравится ехать вместе с начальством, что он хоть попутешествует, будто чин какой, на мягком сиденье, а то всю жизнь на конях да на попутных машинах до города мотался, и надоела ему такая жизнь.

Уполномоченный сохранял выдержку и в разговор с пьяным человеком не вступал. Кирька вертел баранку, штурмуя дорожные хляби, и что-то угрожающе выстанывал сквозь стиснутые зубы. Травмы никакой ему Парасковьи-овощевод не нанес — спасла Кирьку кучерявая шапка. Однако в голове гудело, наплывал на левый Кирькин глаз сипяк, а главное — облило его «Даром осени», и по всей машине плыл запах сена, свеклой пареной пахло и еще вроде бы пазьмом, сторевшим на грядках, паносило. Сомневался в папитке Кирька — как бы не скоробилась от него кожаная куртка, не вылез бы волос на шапке.

Кирька крутил баранку резко, петерпеливо, газовал шибко, чтобы скорее примчаться в райцентр, высадить уполномоченного, а потом завернуть за угол, напинать Парасковьи-овощевода, не глядя на то, что он крестный, и, насладившись местью, сдать его в милицию, паразита такого.

Парасковьи-овощевод не совсем осознавал, какая гроза над ним нависла. Упав рылом на переднее сиденье, он вдохновенно доказывал уполномоченному, какой он есть трудовой человек, почему и имеет полное право выпить. Уполномоченный долго крепился, но не вытерпел, обернулся и сказал Парасковьину-овощеводу:

— Хулиган ты, а не трудовой человек!

— Я-а, фулига-аг?! — обиделся Парасковьи-овощевод. — Сам ты фулиган! Я на фронте ранетый, медаль у меня «За оборону Севастополя» лежит в ящике. — Парасковьи-овощевод попытался вспомнить о себе еще что-нибудь положительное и вспомнил: — Мне грамота за огурцы дадена!..

— Погоди, погоди, — прервал Парасковьи-овощевода Кирька. — Дадут тебе еще одну грамоту. До-олгую, аж рублей на тридцать с прицелом...

— Молчи, варнак, молчи! — рванулся Парасковьи-овощевод, готовый растерзать Кирьку, но руки у него были связаны и весь он был спеленат вожжами, как ребенок. От резких усилий он свалился с сиденья на пол машины. Возился, пытаясь влезть обратно. — Кот колхозный! Ты что с Шуркой с моей сделал? Ты кто такой? Почему девок пикорчишь безвозмездно?

— Не пришьешь нахаловку, не пришьешь! — злорадно отвечивал Кирька. — Я свои печати-штампеля не ставлю тама. Не докажешь!..

— А вот докажу! Вот докажу! Я в райсовет пойду, к партийным людям и разобъясню им все как есть буквально-досконально!

Фыркнул презрительно Кирька: дурак, мол, ты, дядя, — и прибавил газу так, что забрякала голова Парасковьи-на-овощевода об пол. Он еще покричал маленько, погрозил, а потом курить попросил. Уполномоченный достал папиросу «Беломорканал», прижег ее и сунул Парасковьину-овощеводу в рот. Тот умилился поступком уполномоченного, сказал, чтобы на него не обижались, и покурив, уснул на полу между сиденьями.

Пятнадцать суток Парасковьину-овощеводу дали без лишних разговоров и суеты. Он четыре дня скреб тротуары возле райисполкома и долбил помойку, что ледяным айсбергом плыла по вытаявшему пустырю сзади столовой и пачинала вонять. В труде он проявил прилежание, режима не нарушал и освобожден был досрочно по настоянию председателя колхоза, потому как Шура скрылась из села и овощное дело в ковыринской бригаде начало приходить в запустение и упадок. Председатель же сам и штраф выплатил в счет будущих заработков Парасковьи-на-овощевода.

Вернулся в Ковырино овощевод Парасковьин темной ночью, истопил баню, помылся, сменил одежонку и скрылся в теплицу от жены, которая то и дело налетала на него с ухватом и срамила так, что уж никакого терпения больше не хватало.

В теплице Парасковьин-овощевод дневал и почевал, домой почти не показывался, ссылаясь на занятость да большой объем работы. Дел у него в весеннюю пору и всегда-то было много, а тут еще и помощника не стало — убежала Шурка из села от стыда и позора, от грозной матери спряталась.

В душевной смуте, в трудовых заботах и тревоге прожил овощевод Парасковьин неделю-другую. Село Ковырино устало обсуждать поступок овощевода и дочери его, нагулявшей «брюхо другое». Началась пахота в огородах, и пашни к севу приспевали, а давно известно, что делу — время, потехе — час.

Вот тогда-то, переждав деревенские пересуды и пережив лютую вспышку буйства и отчуждения жены своей Парасковьи, овощевод Парасковьин купил в сельпо конверт с фестивальной цветочком и послал письмо дочери в заречное село, где жила Шуркина бабушка, то есть его,

Парасковьяна-овощевода, мать, — дальше нее, как рассудил отец, Шурке с ее характером и сноровкой не уйти.

«Письмо опущено 20 апреля из села Ковырино, — писал овощевод Парасковьян. — Дорогая дочь Александра! Пишет тебе родной твой отец, Данила Евсеич Замаракин, да еще мать твоя, Парасковья Архиповна Замаракина, как есть ты у нас одна дочь и писать больше некому нам, горемышным, то вертайся домой. Мать плачет об тебе, и я тоже скоро заплачу, а мне нельзя, как есть я фронтовик бывший и медаль имею «За оборону Севастополя», да и работы шибко много. Об ребенке не думай, прокормим как-нибудь. Еще из рук ничего не выпадает, и поги ходят. А какая баба чево вякнет, так наплевай. Нонче не старое время. Нонче мать-одиночка конституцией окружена и которым даже деньги дают за это. Так что не сумлевайся в себе и нас не бросай. Мы скоро уже старые сделаемся и трудицца не сможем, а кто нас доглядит и докормит, как не родная дочь. Низко кланяюся мамаше Аксинье Ивановне, а еще поклон передай куму Замятину и его супруге Евдокии Федоровне.

Остаемся пока живы-здоровы, чего и вам желаем. Замаракины — родители твои Данила Евсеич и мать Парасковья Архиповна, которая уже все окошки проглядела и глаза выплакала».

Письмо это шло кружным путем: сначала в райцентр, где на него штемпель поставили, а потом уж со штемпелем оно обратно в село Ковырино попало, потому что здесь ходил паром на ту сторону Валавурихи, точнее, должен был ходить, но его не палладили, оттого что лед не весь прошел по реке.

Потом лед прошел все-таки, и Валавуриха стала полнеть и пучиться, вода затопила низинные покосы и лес по берегу, после добралась до огородов и бань.

Паром пустили по большой воде — поджимала посеяная, да и почтальон нервничал, таскаясь с сумкой по берегу, говорил, что служба его не может ждать, когда вода спадет.

Письмо отправилось в сумке на другую сторону Валавурихи и через полмесяца со дня отправления благополучно достигло заречного села. Шура, теперь уже молодая мама, вся уревелась, читая письмо, да тут же и домой стала собираться. Укутала ребеночка в тряпицы и старенький полушалок, поклонилась бабушке. Та перекрестила

ее, узелок с гостинцами паладила, — и отправилась Шура на переправу.

На паром заехала телега, набухали торговки мешков с картошкой и луком, гусей в корзинах наволокли и всякого разного груза патащили столько, что низко сел паром и, как пошел он по реке, захлестывать его стало, трос до звона натянулся. На середине реки паром застрял, огрузать начал. Все люди бросились к тросу, чтобы помочь руками скорее паром двигать. Паром скособочился, покатила телега, ударила в ноги лошадь, та рванулась на людей, сшибла кого-то, падая. Поднялись крики, забились гуси в корзинах и тоже заорали. Паром качнулся, медленно на ребро стал крениться и, оборвав трос, медленно перевернулся.

С парома спаслась лишь Шура. Как только паром начал тонуть, она прижала к себе ребеночка и, зажмурившись, бросилась в воду. Остальных накрыло паромом, побило телегой и мешками.

У берега Шуру подхватили, выволокли на траву и попытались разнять руки, но не могли разнять — так крепко она притиснула к себе ребенка. Но в полушалке захлекало, зачихало, и Шура, услышав живые звуки, тут же потеряла память.

С нею отваживались бабы, прибежала, на всю деревню заголосила Парасковья, потом появился отец и, суетясь по берегу, бледными губами твердил:

— Она же плавать не умеет! Она же воды боится!..

— Мать! — сказал милиционер, примчавшийся на мотоцикле к месту происшествия, и грустно посмотрел в мутные воды Валавурихи, где болтались концы оборванного троса, панически орал, плавая по реке, вырвавшийся каким-то чудом из корзины единственный гусь, вдали, выброшенный на обмысок, темнел разбитый паром.

От того и от другого берега уже отходили лодки с людьми и кружили они по реке. Голосили тот и другой берег на всю округу по утопленникам. Людей все прибавлялось и прибавлялось. Шуру привели в сознание, мать с трудом перенесла ее и усадила на доски, лежавшие на берегу, и все пыталась выдернуть ребенка:

— Да что ты, доченька, дай ребеночка, дай! Мокрай он, мокрай...

Шура смотрела на нее мутными, остановившимися глазами и ребенка не отдавала. Мать испугалась и запричитала:

— Ой, тронулось мое дитяtko умом, сдвинулось, родимое!

Отец укутывал Шуру в свою телогрейку, пытался поднять и увести домой. Она же ровно бы задеревенела телом, не шевелилась, не моргала глазами.

И отец тоже испугался. Но тут ребенок заревел, как придавленный грач, и Шура встрепелулась, замычала, дрожь по ней пошла сильная, изо рта фонтаном хлестанула мутная вода.

Мучительно билась и стонала Шура, катая голову по доскам, но ребенка из рук не выпускала.

В это время подпрыгивая на камнях, бревнах и кочках, рывкая гудком, скатился с яра колхозный «газик» и чуть было в воду не угодил. Из «газика» выскочил Кирька. На ходу снимая кожаную куртку, он ругался.

— Охломоны! — кричал он. — Дураки необразованные! Надо же искусственное дыхание делать!.. — И осекся, встретившись глазами с Шурой. — Жива! Жива-а-а! — заблажил он на весь берег. — Шурка! Да как же!..

Так глупо кричал, удивлялся и ахал Кирька, а сам тянул из рук Шуры ребеночка. И, страшное дело, она ослабила руки, разомкнула их, и Кирька мигом завернул ребеночка в свою шикарную кожаную куртку на синтетическом меху, подхватил Шуру левой рукой, ребеночка правой к груди притиснул и поспешил на яр, забыв, что у него техника с собой, машина.

— Мама! — еще в заулке орал Кирька. — Затопляй печь! На печку, милые вы мои. Отогрею спиртягой, ототру!.. А еще говорят, Бога нет, а?! Да хоть ты мне сто антирелигиозных лекций теперь давай — не поверю!.. Все потопли, а Шурка плавать не умеет — и живая, а!

— Мать она, — сказал Данила Евсеич и подхватил с другого боку свою дочь, несильно, однако же настойчиво направляя все общество в свой дом.

— Печь у нас и своя топлена, — одышливо заявила спешившая сзади Парасковья Архиповна. — Неча по людям шляться!

— Да, топленая, — подтвердил Данила Евсеич, — и вообще давай сюда ребенка. Я его сам понесу! — Он подождал, не скажет ли чего Шура, но та едва живая была, ноги у нее волочились, и все была ее крупная дрожь, стучали зубы.

Данила Евсеич заторопился открывать дверь в избу, и, когда в горнице Парасковья принялась спешно сдирать с

дочери мокрую одежду, подвывая при этом, он сурово прикрикнул на оробевшего Кирьку:

— Чего пялишься? Выдь отседова, покурим на улке!

ЖУЧИНА

После изнурительной и пустой охоты, чуть живой сидел я на скамейке возле крепкого, без затей рубленного дома и слушал хозяина — Ваньку Архипенку, которого я знал давно и слушать любил, потому как человек он потешный и рассказывает о приключениях, бывавших с ним, так уморительно, что болони надорвешь.

Лицо у Ваньки, особенно крупный поздрястый нос с пучками торчащих из него волосев, в крапинках пороха — следы мальчишеского увлечения пистолями-поджигами. Ноги у Ваньки нет — осиновая деревяга торчит пулеметом «максимом» со скамейки, взблескивая прибитой к торцу сношенной стальной пластиной. После окончания ремесленного работал Ванька вальцовщиком на мелкосортном прокатном стане и потерял там ногу. Когда в ярко нагретой металлической полосе оказывается изъян — пустоты, утолщения, раковины, или, как на Урале хорошо говорят, жучина, полоса, идущая с огромной скоростью в калибр (так зовут прокатное отверстие), застревает и мгновенно вяжется узлами, штопорами, вензелями, петлями, которые тут же затягиваются. Если оператор мгновенно не остановит стан — спасайся кто может, бросай клещи и убегай! Ванька замешкался, и ногу ему по самое колено отхватило раскаленной петлей.

Нигде и никогда не встречал я инвалида, который бы так беспечно и наплевательски относился к себе, к своему увечью, ко всему на свете. Ванька, уже безногий, какое-то время работал дежурным слесарем на мясокомбинате, пил, воровал, дом отнюдь не на трудовые сбережения построил, да вдруг бросил все: и дом, и семью, сказав напоследок супруге: «Ищи себе другого мужика. Цельного. Баба ты справная, я мужик удалой, можем много детей паработать, а мне и двух по-честному-то не прокормить. В тюрьму неохота. Буду жить в деревне. Инвалиду в деревне легче. Не обижайся...»

И шел Ванька на деревянной ноге по земле, пока не уморился. Оказался он в ближней от города деревеньке

Ерзовке, заметил острым и ушлым черненьким глазом дом, явно ему подходящий, попросил папиться. В доме, как он и предполагал, жила еще молодая и могучая телом вдовая доярка по имени Устинья. Она дала Ваньке папиться, и они разговорились.

Сперва заделался Ванька почтальоном, но скоро сошел с должности — ехал пьяный па коне, упал вместе с ним в реку Ерзовку с крутого берега, утопил сумку с пенсией на всю деревню и копя изувечил. Хозяйка продала старый дом, расплатилась за урон, заявила: «Себе дороже твоя работа», — и заставила Ваньку рубить новую избу. Ванька приказал поставить бочку браги, созвал таких же, как он, ухарей-инвалидов из города и моментом избу скатал в кучу, соорудил скамейку у резных ворот, которые снял в почное время в соседнем селе, обрезал их, перекрасил, сидит вот «возле милкиных ворот» довольный и, дымя цигаркой, рассказывает, как чуть было не утоп ношей весной.

Ерзовка прошла, очистилась ото льда, а речка Ельцовка еще стояла, но уже двинулась в нее рыба на икромет. Горела душа у Ваньки Архипенки, страсть как хотелось ему рыбки сетью черпануть! Устинья ни в какую. Утопнешь, к лешему, говорит, — хоть дурак, а жалко. Но где же ей с Ванькой совладать?! Только ушла Устинья на ферму коров доить — Ванька в лодку и через заберегу да в залив, па прососаший мягкий лед. Цельной погой Ванька стоял в лодке, а деревянной прошибал лед и мережку в прорап выметывал. В одном месте, в тепьке, за островом, лед крепкий попался, бил его Ванька своей деревягой, бил — ничего не получается. Остервенился Ванька да как долбаул изо всей силы и тут же кувыркнулся из лодки вниз головой!

— У меня сердце чуяло! — встрянула в разговор Устинья, обихаживая скотину во дворе. — Не послушает, не послушает большеносай! Додоила коров и бегом па Ельцовку. Гляжу: матушки вы мои — деревяшка из леду торчит, а хозяина нет! Я и грянула караул. Набросили веревки па деревягу, вытащили паразита на берег, а он и не шушукает уж, токо глазами, как параличный, водит из стороны в сторону! Я ему на пузо-то коленкой. Кэ-эк хлынуло из него! Какое вино и брагу за жись выжрал — разом выполоскало...

Ванька, довольнехонько улыбаясь, слушал рассказ о себе и, заерзав на скамье, сам пустился в воспоминания:

— Эт че! Тут не намаешься! Бултых из лодки — и под ледом... Я вот, когда ногу мне отчекрыжило, не понимал, что ноги-то уж пету, ружье цап-царап — и на ржаво болото, куда с детства ишшо охотничать ходил. Место гнилое, но глухаря там прежь много было. Вот, думаю, пошшипаю выводки, каких глухарей продам, каких на еду. Молодой был, протез носил, чтоб пофорсистей. Забрался на болото, палить давай. Война. Пороху нет, заряды слабые. Подбил глухаря. Он бежать, я за ним. В кочках травяных запутался, бац мордой в грязь! Протез — хрусть! Два дня и две ночи на ягодах жил, прыгал, как воробей. Потом вовсе обессилел, пополз, все брюхо об коренья испротыкал, кожу с себя содрал, но к реке выполз...

— На мою бедную голову! — громко вздохнула Устиья во дворе.

Ванька подморгнул мне, лесопилка, дескать, на дому, но в общем и целом баба ничего, жить можно, и тут же принялся меня просмеивать за то, что я весь Божий день по лесам и болотам мыкался, а убил лишь свои ноги.

— Учись, пока я живой! — гордо заявил он, бухнув себя в грудь кулаком. — Я вон штрауса, не выходя из двора добыл.

— Какого штрауса?

— Всамделишного! Вышел утресь побрызгать, глядь — а он по огороду ходит на долгих ногах, че-то там в траве имат и меня не видит. Хлобысь его из ружья первым номером — он и лапы кверху! И пету ваших!..

— И вовсе это не штраус, — тут же заспорила Устиья. — Штраусы в Расее не водятся. Штраусы в жарких странах живут и яйца по пуду носят — учила я в школе, помню...

— К-кто же это?

— Журавель.

— Хрен с им! Пусть журавель. Все одно на штрауса похожий, — возразил Ванька и радостно потряс головой, — поморговала, лягушками, говорит, штраус твой питается! Ну его! Поросенку отдала. А тому чё? Ссопёел! Свинья и есть свинья, хоть чё ссопёет...

Ванька чесал за ухом у приластившегося к нему пса и широко, с таким смачным воем зевал, что пес, глядя на него, зазевал и завыл. Блаженно щурясь, глядел Ванька на реку, на леса, синеющие за ней, потом ковьяльнул в сенцы, забрегчал ковшиком и, гукая горлом, стал боль-

шими глотками пить воду из липового бочонка, в котором черной головешкой плавала чага, — Ванька прибыл сюда из города с язвой желудка, давно уж ее залечил молоком и настоем чаги, но так к питью этому привык, так поверил в его чудо-силу, что до сих пор потреблял настой вперемешку с брагой и денатуратом, заверяя всех: ни голова, ни брюхо у него не болят и вообще он молодец — бросил город, душегубку дымящую, поправился на природе вон как хорошо и проживет, как его дедушка Архипенко, переселенец с Украины, не меньше ста лет!

— Если, конечно, в реке не утону...

Я залез на печь. Ванька, тукая своей деревяшкой, ходил по двору, собирая весла, сети, чтобы ночью поботать по здешним курьям и заостровкам щуренков, язя, ну и все, что попадается, — днем-то нельзя, днем рыбнадзор притесняет.

Слышно, как спихнул Ванька лодку по камням, как шлепнул веслами пробно, подбил уключину, высморкался с треском за борт и поскребся гребнями, затаив тихую песню без слов — голоса и слуха у Ваньки нет, не в предков своих голосистых он удался, и оттого пел он лишь на природе, где некого стесняться.

— Ружье-то пошто взял? — окликнула Ваньку с берега встревоженная Устинья.

— Как же — мужик и без ружья! Штраус попадетя опять или кто...

— Штра-аус!.. Знаю я этих штраусов! Не связывайся с рыбнадзором, обормот. Арестуют!..

— Еэсь, гражданин начальник! — уже издали, чуть внятно откликнулся Ванька.

Устинья управлялась по хозяйству, принимаясь время от времени громко ругаться, кричать на скотину, но, вспомнив про почевальщика, переходила на сердитый шепот, и чем позднее становилось время, тем чаще она выскакивала на берег, встревоженно всматривалась в густую августовскую темень и слала на голову большеносому кровопийце ужасные проклятья: утонул бы скорее, так легче бы ей было, схорошила бы, оплакала, и все, — но, вспомнив, что бабий язык притчеватый, наветный, тут же спохватывалась и уже совершенно иным, жалостливым тоном вопрошала у себя, а может быть, у кого и повыше:

— Где вот он? Где? Прямо все сердце изболелось...

БЕСПЛАТНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

В деревне в первых классах учился я вместе с Липкой-зуд, худенькой, золотушной девчонкой, все время сующей куда попало руки, и еще шеей вертела она постоянно, может и в самом деле зудела у нее кожа под воротником. Лицо девочки выражало оживление ужаса, глаза смешанно-водянистого цвета ошарашены.

От золотухи на лице Липки остались пятна не пятна, какие-то блеклые разводы, ровно бы на желтое, почти коричневое, кто-то плеснул снятого молока, или было лицо обморожено и плохо оттерто. В юности Липка выправилась, в девках была бойка характером, резво танцевала, громко смеялась и прижила ребеночка с кем-то из вербованных или ссыльных трудяг.

Я долго не был в деревне и забыл бы, наверное, про Липку, если б мой деревенский дружок не купил избу против старого, чем-то давно мне знакомого, так и сяк перекосившегося дома.

Однажды я увидел на скамейке через улицу довольно пожилую, вдоль и вкось и еще накрест изморщенную худющую женщину, у которой грузно отвисла одна грудь, а другой вроде бы и не было, и мордатого мужика в давно нестиранной рубаше, к которой, однако, был прицеплен синтетический галстук на резинке, давно уже не роняющий искру.

Мужик и баба уютно расположились на скамье. У подножия бутылки на расстеленной газете белел кусок сала, вяло свисал со скамьи вечерошний зеленый лук. Захватанный пальцами, словно испятнанный серой, мутный здоревенный стакан переходил из рук в руки. Мужик с бабой братски из него пили, громко разговаривали, хохотали, задирая прохожих, кого и выпить приглашали.

— Это ведь Липка-зуд, — сказала мне мать друга. — Неужто не узнал?

— Чего они тут, на виду водку хлещут?

— Чтоб все видели, как они гуляют. Чтоб шик показать. Скоро спектакль начнется.

Я чем-то занялся и забыл про дружную пару, как вдруг на улице раздался громкий баян и женский прокуренный голос сорванно выдал:

Мы едали — не пропали
И потом не пропадем!..

Я выглянул в окно. Пьяная Липка, обнажив желтые клыки, пустым, провально-черным ртом изрыгала препохабные частушки, неожиданно довольно умело подыгрывая себе на баяне.

Кто-то из деревенских плевался, кто-то пробежал мимо поскорее, а больше хохотали, забавлялись. Но приезжий человек, живший рядом с избой друга, не выдержал, сделал замечание Липке, и она тут же исторгла давно заготовленный ответ:

— Я в гробу всех видела!

Мужичок встал возле Липки обороной:

— Мы — дети культпросветучилища!.. Кы-то желает культурно побеседовать?

Желающих не находилось.

— В училище они и схлестнулись. Пока наш клубишко не сторел, работали там, танцы играли, постановки представляли, ну и фулоганничали, конечно. А теперь вот на поминках, на свадьбах играют да на улице спектакль бесплатно представляют, — рассказывала мать друга. — Ты погоди, погоди, чё дальше-то будет...

Я чем-то опять занялся и снова забыл про гуляк, и черти меня вынесли за ворота. Липка, подстегнуто охнув, двинулась ко мне, раскинула руки, облобызала, взасос целуя широко раззявленным, луком, табаком и сивухой воняющим ртом.

— Ты смотри, с-сэка, чё делат? — сурово заметил муж Липки. — Пр-ри пароди!..

— Да ты чё? Ты чё? — оторвавшись от меня, возмутилась Липка. — Это ж наша гордость! Пи-исарь! — И откуда-то, показалось мне из-за лифа, извлекла бутылку. — И не стало у нее никакой груди. — Пей! — совала она мне бутылку. Я пятился, даже в отдалении чуя согретую слабым теплом, взболтанную самогонку в нечистой посудине. — Пей! Чё ты?! Угошшаю!

Выскочила мать друга, закричала:

— Не трогайте человека, срамцы этакие! — бесцеремонно оттолкнула Липку и поскорее пустила меня во двор.

— Под-думаешь, пи-исарь! С народом выпить не хочет! Из горла брезгует! Я ж его об кофту вытерла! Вот! — И, потыкав себя в то место, где быть надобно груди, запрокинулась и начала пить из горла.

Мужичок взял баян на колени, и супруги дуэтом исполнили:

Ведь были мы счастливыми когда-то,
Любили мы, а разве это мало?
Пришел другой, и я не виновата,
Что и любить, и ждать тебя устала...

У мужичонки водился когда-то тенорок, но перержавел, дребезжал жестью. Липка, преодолевая хрипоту, ревела первым голосом довольно громко и ладно. В общем-то у нас в селе многие петь и играть большие мастера, а эти еще в культпросветучилище натренировались.

После дуэта, как и следовало ожидать, разжалобленные супруги всплакнули и начали драться. Липка орала «караул», и довольно рослая красивая девка в мини-юбке, не то приемыш, не то квартирантка, не то дальняя родственница, растаскивала супругов. И растащила. После чего мужичонка оказался на скамейке, возле бутылки, один. Липка рыдала во дворе и крыла его, и жизнь, и весь свет матом. Время от времени она распахивала ворота и, раскосмаченная, зареванная, размахивая топором и крича: «Зарублю!» — рвалась на улицу. Девка в мини-юбке хватала ее, волокла назад и не выпускала со двора.

Не сразу, но Липка унялась, повскрикивала, словно курица, снесшая яйцо, посморкалась во дворе и появилась потухшая, смиренная, без топора.

— Дай закурить, сволочь! — уныло потребовала Липка у насупленного, отвернувшегося мужа.

Он презрительно бросил к ногам жены сигарету, коробок со спичками. Липка подняла сигарету, прикурила из горсти, попробовала скорчегать зубами, но зубов не было.

— Один все выжрешь? — смятым, старушечьим ртом враждебно спросила она.

Мужичок вдруг вспрыгнул, завизжал, схватил Липку за волосы, отогнул ей голову и начал лить в пустой клыкастый рот самогонку. Липка захлебывалась, не успевая проглатывать зелье. Мужичок совал, забивал ей бутылку в горло, но, видно, побоялся, что ничего в посудине не останется, бросил жену в пыль, пнул, и она плакала, валяясь на земле. Спокойно допив самогонку, мужичонка пососал салыца и заметил, глядя на все еще не унимающуюся Липку.

— Ты у меня, с-сэка, добьешься!

Липка села, огляделась, нашла окурочек, потянула. Окурочек разгорелся, и молча уже, сутулясь старой костлявой

спиной, поволоклась домой. Супруг ее посидел, поплевал под ноги, разъял баян и на высоком дребезге повел, глядя с мечтательной тоской вдаль:

Сссы-пускался тихий осенний вечер,
Пликала в берих ны-ачной струй-я-а,
А ты спиш-шила ка мни на встр-речу,
С улыпкой ясы-най, ль-любо-ё-ё-ёовь м-мая...

— Ы-эх, с-сэ-эки! — вдруг зарыдал певец и уронил голову на баян. — За что погибаим?!

Липка подала голос из дома, заявив, что такой падле давно надо погибнуть, сгинуть, а он все живет, воняет на весь белый свет. Мужичонка послушал, покачал головой, скорбно оглядел улицу и объявил:

— Надо идти добивать! — И, распаяя себя, рванул галстук, бросил его в палисадник, сжал кулаки, трясущийся и воистину страшный, медленно двинулся к воротам. — Р-разорву! Н-на части! Н-на куски! Сырое мясо жрать буду! Вот этим вот хавалом! — Он ударил себя кулаком по рту, в кровь разбил губу.

Это был припадок ярости. Если он игрался — а он все-таки игрался, потому как повторялось такое почти каждый день, — Липкин муж мог стать великим артистом, да вот не совладал с талантом.

Липка последний бой не приняла. У нее в завалившихся стайках и одряхлевшем сарае были ходы, и она через них, по огороду бросилась к реке, спряталась на берегу.

Муж искал ее, кликал то ласково, то грозно, топал ногами, ярился, и наконец гнев его иссяк. Почти уже в потемках он возвратился с реки узким проулком, долго тряс пустую бутылку, запрокинувшись, выжал, видать, каплю-другую на язык, хряпнул пустую посудину о забор, она осыпалась в кучу стекла, и продолжал романс:

А я брожу опять в надежди
Услышать шорох и плеск висла...
Ты что ж не в-выйдишь к-ка мне, как прежде,
Ты все забыла, ты не в-ве-еип-р-р-рна-а-а...
Мы-не па-тиря-а-ать тибя не-э-э-эльзя-а-а-а...
Друх мой, услышь —
Мне а любви тв-а-ае-е-еэ-э-эй былой
Ш-шумит ка-а-амы-ы-ыш...

На последний отчаянный вскрик певца откуда-то из-за заплотов просочился Липкин голос, затем и сама она

возникла, бросилась на шею артисту, укусила его щеку клыками, и оба они, уже в рыдании, в неудержимом экстазе наивысшего вдохновения допели:

Мне а любви тваей было-ой
Шу-у-уми-из-э-эт ка-а-амы-ы-ы-ыш...

— Что ты смыслишь в любви? В искусстве?

— Пойдем, пойдем! Нашто нам эта любовь? Это искусство? Мать его растуды! Пушай имя всякие писаря занимаются. А мы люди хорошие. Мы еще выпьем. Я припрятала! Я хитрая. О-ох, хит-рая!..

— Вот за чьто я тебя, с-сэку, не бросаю! — громко и патетично воскликнул артист.

За этим последовали объятие и страстный поцелуй. Наступил привычный, благополучный финал бесплатного спектакля.

А еще говорят, что на селе скучно жить!..

У ЗНАМЕНИТОГО ПРОФЕССОРА

Глаз у меня начал часто моргать и дергаться, в контуженной голове звон, что в древнем Ростове Великом. И сказали мне друзья-заботники: «Сходи-ка ты к знаменитому профессору, да к платному, не жмись — здоровье дороже всего...»

Долго я его искал, еще дольше домогался приема, уплатил пятьдесят рублей, да не в липкие руки обожравшегося и тупого лекаря проклятого прошлого, а модной титькастой девице, бойко выписывающей квитки. И все: «Пожалуйста! Пожалуйста!» Это вам не в регистратуре районной больницы или областной: «Куда без очереди прешь? Почему номер не тот? Вас много — я одна...»

И вот я у профессора. Кабинетишко чист, но до того ли прокурен! Сам профессор лет сорока двух — сорока трех, без галстука, с кудряво выющейся головой, сигаретку сосет, под воздушный пропеллер морду подставляет, норовит под мышкой почесать и нет-нет да и улыбнется какому-то приятному воспоминанию.

— Ну, чё у тебя там? — спросил профессор и сплавщицкой лапицей под мышку, волосья дернул пучком, но тут же перехватил мой взгляд и бросил волосья в плевательницу. Сидит, барабанит пальцами по стеклу, слушает не слушает.

— Вот,— говорю,— шум в голове постоянный, а иногда и звон.

— С похмелья?

— С похмелья,— говорю,— усиливается, и к непогоде тоже, и вообще хуже себя чувствую с годами.

— Растешь!

Я было в обиду.

— Звание?

— Рядовой,— говорю,— всю жизнь рядовой...

— Так вот запомни: у самого маршала Жукова в голове шумит.— Не удержался профессор, почесал под мышкой и продолжал: — А что касается глаза... Где раньше-то был? Сразу после ранения и контузии надо было обращаться в больницу, и дали бы тебе спецочки, выпрямили бы косину, подключили бы глаз к работе, и, глядишь, сейчас меньше бы звенело.— И доверительно ко мне склонился: — Даже мужичьи дела могут пошатнуться от простоя. Слышал? Нет? Еще услышишь...— профессор сделал пальцем такую фигуру, какая нигде еще и ни у одного мужика оптимизма не вызывала.

Давай я поскорее прощаться с научным светилом.

— Убухал зазря полсотскую,— пробубнил профессор.— Лучше бы пропил.— Он подал через стол горячую руку — из-под чистой манжеты рубахи, схваченной золотой запонкой, обнажился барсучий волос.— А вообще-то,— первый раз без насмешки, серьезно сказал он,— старайся меньше пить, можешь если при своей работе курить бросить — брось, можешь оторваться от бумаг — оторвись, передохни, хоть на стену смотри, о женщинах думай... А к нам не ходи. И в здоровом глазу ковыряться не давай. Нельзя мужику лишка ковыряться в глазу. А девке где?.. Вот! Вспомнил. Молодец! Память у тебя еще хорошая.— Всякий раз, как профессор поминал про девок или женщин, а делал он это охотно, взгляд его мягчал и устремлялся в неведомую мне даль, из которой возвращался он неохотно. Ходок, видать, этот паренёк, большой ходок! А я-то предполагал, профессора только лечат и лечат, лечат и лечат, и ни об чем таком не думают, никакого у них баловства в мыслях нету.

В голове у меня по-прежнему шумит, зрение стало хуже, очки все приплюсовываются и приплюсовываются, давление меняется, руки порой дрожат. Но я живу, работаю. Иной раз выпиваю. Спасибо профессору. Честный попался человек.

ПИЛА

Летчик-вертолетчик с какой-то представительной комиссией облетел «мертвую дорогу» со стороны Енисея.

Про мертвые поселки, про зоны, обтянутые колючей проволокой, про кладбища, затянутые болотом, и даже про паровозы, привезенные по воде и выгруженные на берег, рассказывал. Заросли паровозы дурниной и почему-то больше всего смородишкой, среди которого долго бродила седая женщина, обирала ягоды в корзины и пела: «В саду ягода-малина под укрытием росла».

Сказывали, женщина эта сторожиха мостостроевского поселкового общежития, осталась здесь после ликвидации зоны одна, жила какое-то время, питаясь оставшимися от эков-строителей продуктами, ягодами, грибами, потом куда-то пропала — утонула ль в Енисее, потерялась ли в лесу...

— Что тебе больше всего запомнилось на «мертвой дороге»?

Летчик отвел взгляд, посмотрел куда-то за горы, за край земли и шепотом сказал:

— Пила! — помолчал, подумал и громко повторил: — Продольная пила! Люди пилили лесину на полатах-покатах, допилили до середины и оставили. Пила заржавела, опилки сгнили, травой проросли, но пила в половине дерева висит, ручки, как кости отполированные, не гниют, кажется, терпеливо ждет инструмент, надеется, слышит — торопят сюда людей, заставят взяться за ручки и... пойдет работа, завизжит, заскрипит ржавая пила, зашуршит дерево, заструятся опилки.

РАСКОПКИ

Близилась весна.

Пошел с внуком гулять в парк. Раньше был это парк «патриаршим» или «архиерейским», потому что он позади реки, на которой расположены кремль, собор и множество церквей были, и парк был, и каскад прудов, и горка рукотворная с круглой верандой, на которую восходил его преосвященство и озираал окрестности, довольно просторные и живописные.

Из каскада прудов остались две лужицы, заросшие ряской, а по берегам реденькие липы, клены да березы —

под видом борьбы с больными деревьями старые деревья срубили, новые посадить забыли. Горка с верандой обросла неслышанно яркой и густой бузиной, но ее также истребили под корень, чтоб не пили в заманчивых кущах и не шалили юные отроки. И эта коммунальная забота лишний раз подтверждает, что Господь Бог сотворил землю круглой исключительно для того, чтоб людишки не грешили по углам.

Как все-таки давно и упорно ведется борьба за человеческую нравственность!

Идем мы с внуком по пустышному оснеженному парку. В грязных лужах копошатся двое трудяг городского коммунального отдела, долбят канаву — промерзли пруды до дна, а падо, чтобы вешней воде было куда течь.

Вся свежедолбленная канава сверкала малахитовой прозеленью.

Остановились с внуком, глазеем. Трудяги охотно оставили работу, вступили в беседу.

— Дно водоемов покрыто стеклотарой, — пояснили они. — Современная молодежь без подогрева танцевать не желает. Куда девать бутылки?

Один трудяга, из ученых видать, задумчиво поцарапал под шапкой:

— И вот откапают нас лет этак через тыщу, и будут гадать умные головы: зачем и почему предки устлали дно водоемов бутылками?

— Много теорий выдадут! Много чинов и денег на этом деле добудут! — поддержал мыслителя его соратник по труду.

— Предположим одну из вероятных теорий, — словно на общественной трибуне вещал он. — Сии сосуды опускались на дно водоемов для обогащения жидкости. Возможны варианты. Поскольку раскопают танцплощадку, то сама собою возникает догадка, что бутылки издавали звуки горлами, под которые проходил праздник.

И, берясь за лопату, спросил один из прорицателей не у меня и не у себя, как бы у пространства:

— Интересно, какую музыку угадают? Ассоциативно-коммулятивную? Ха-ха!

— Угадают, угадают, — махнул рукой сотоварищ. — Есть песня, которая прозвучит толщу веков: «Шумел камыш, деревья гнулись, и почка темная была...»

Я пошел в глубь парка, держа маленькую и теплую руку внука в своей руке. Трудяги, лишившись слушателя,

продолжили работу, выбрасывая из канавы звенящее стекло вперемешку с месивом плесневелой ряски и жиденькой грязи.

ХРЕНОВИНА

На вокзале большого города, галдя, позвякивая лопатами, мешочники штурмовали электричку, наседая друг на дружку, как в войну. Только что оголилась земля, едва ожила трава, в логах и под скатами холмов с полупушной стороны еще лежал снег, а эти уж с лопатами! Может, в садах прибираться, огороды чистить? Но грязно еще, мокро, только землю притопчешь. Так и не понял я, какое такое занятие увлекло из города этих совсем не крестьянского, скорее старательского вида людей.

Возвращаясь в город, я встретил мешочников уже усталых, уработавшихся, но довольных собою. Мешки их были грязны и полны какой-то поклажей, отдающей прелью земли и напористой, тугой горечью. «Сажены, — догадался я, — дикие сажены везут из лесу. Приперло, видать, и горожан — разводить саморучно пачали не только садики с клубникой, но и леса».

И когда один хлопотливый мужичонка, одетый в потрепанную штормовку студенческого стройотряда, попросил у меня закурить, я охотно дал ему сигарету и, как бы заслужив тем самым право на дорожный разговор, спросил его, кивнув на мешок, чего, мол, везет, рябину, калину, молодую липку? Мужик ушибленно кхекнул, шевельнул крупным шохастым носом и усами, измазанными землею.

— Чё-о-о?! — оскорбленно возрился он на меня. — Да ты пошохай, голова! Улови скус! Кали-и-ина! — И, сплонув под ноги, презрительно отворотился от пустого такого и неразумного человека.

Я попытался уловить «скус», все более густеющий и напряженный — получалось что-то до неприличности вонькое. Дурманшо-тяжелый дух, перший из мешков, натолкнул меня на иную догадку: «Травники! Накопали кореньев, вот и воняет куколем и бодягом». Откровенно говоря, как воняет корешь куколя и бодяга, я не знаю, не думал, по раз эти растения такие паглые в жизни, развесисты листом, крупны цветом, то и корни их должны вонять по-

дурному. А тут еще и разговор меж мешочников пошел общий, кто сколь кореньев взял, да какого объема и веса. Женщина, обутая в резиновые бродни, мужицкие штаны и шапку, ошеломила всех, заявив, что у нее один корень не меньше «кила» будет.

Мужики ей не поверили, стали прокатываться насчет бабьего языка, напирали на то, что ихнему брату веки вечные корень невиданной величины мерещится.

Женщина не приняла грубого мужицкого юмора, рассердилась, зубами раздернула грязную тесемку на мешке и выхватила из нее за прошлогодние бледные стебли растение, похожее на козье вымя с тремя распертыми внутренней мощью сосцами, меж которых шаловливо торчали желтенькие пырочки народившихся и нарождающихся хреновин, от которых, однако, напористо шибал во все члены, всверливался в нос резкий, здоровый дух.

— Вот дак хре-ено-о-овина-а-а! — заулыбались и завистливо восхитились мужичонки.

Совершенно счастливая тем, что победила всех мужиков, сразу утерла им всем нос, прощая похабные наветы и намеки, женщина-добытчица хохотала громко, повествуя о том, как ей повезло:

— Кы-ть, я из этих местов! Все здесь насквозь знаю. Вы шары-то налили и в глубь страны поперли, а я, кы-ть, хи-итра! Я, кы-ть, на хуторок. Жалича по всем огородам густущая, дурманом земля занялася. Да к чё мне жалича, морозом оскопленная? На мне, кы-ть, штаны мушшинские, ничё не ожгу. В жаличе, в жаличе он, голубок, и хоронился. Сколько лет его никто не тревожил, он и уядрел!

Держа редкостную хреновину за прелую ботву, точно убитую птицу за крыло, так и этак поворачивая чудо природы перед глазами поверженных мужиков, тетка все тарабанила нелепое, куричье, так к ее рассказу идущее «кы-ть». Прикрывшись ладонью и съежась, сообщила о том, как нашла избу деверья-покойника и ночевала в ней, и хоть закрестила и дверь, и углы, сотворила молитву от всех скорбей и напастей, все же опасалась — кабы не явился деверь-то покойничек или еще какой лихой мужик. Поло. Окна выбиты, двери сорваны, все кругом скрипит, ровно кто ходит по дому, а она пужливая, за ней бродяга-арестанец до войны еще гонялся, страшной, в лохмотьях, ножик у его за голяшкой...

По оглохшей земле шатаются шустрые, умеющие жить острым моментом людишки. Пенсионеры, по большей частью бездельники, промышляющие на рышке, открыли новый, доселе невиданный на русской земле промысел, именуя себя гордо — «хреновниками». Тычут, роют они землю, как свиньи, так и сям, выдирая из прибитой дождями и снегом, заросшей земли плод, который не дает себя удавить бурьяну, растет наперекор течению жизни и хозяйственным прорухам, отстаивает свое место, становясь в борьбе крепче, ядреней. Неделями пропадают «хреновники» в сиротских деревнях, почуют в пустых гулких избах, топят остывшие печи. Ни звука вокруг. Только забухает где-нибудь под ветром оторвавшаяся доска, крякнет калитка на ржавой петле, загудит, покатится и с грохотом упадет на отлепившуюся подшивку дома кирпич из выветренной трубы, зазвенят оборванные провода на пошатнувшемся столбе, иль засвистит в продырявленной напарьей стене, простонет, проскулит что-то на чердаке, и снова немота, тишь, темень.

В заглохшей избе, кинутой как будто при пожаре или при отступлении в войну, где святые угодники смотрят с полублезших икон да часы-ходики, упершись ржавой гирей в пол, свидетельствуют о том, что время здесь остановилось, витает чувство тяжелого, вязкого сна. Нет даже страха, а лишь тупая покорность неумолимому ходу жизни. Веками скопленная крестьянская рухлядь скомкана, разбита, развалена. Пропаренные многими поколениями детей лоскутные одеяла съедены мышами; лоскутные же, но с рукодельными кисточками коврики все еще на стене над кроватями, самовар на боку, побитые фарфоровые кружки, лампы без стекол, недопряденная кудея в старой прялке, залощенной до блеска руками, веретешки, пожницы, ржавые вилки, выеденные по бокам ложки, сапожные седухи, коклюшки для плетения кружев, самодельная азбука, старые тетради с упрямо рыжеющими отметками учителей и сердитыми исправлениями ошибок, буквари тридцатых годов, где и самодельная балалайка попадает, сводельные копытки, бабки, запряженные в игрушечные салазки, смастеренные детскими руками. А в одной старой избе плакат военных лет с вырванным лоскутом бумаги, но так он памятен, что и без букв оторванных читается кричащий взгляд русской женщины. «Родину-мать спаси!»

Заезжие городские люди пишают рухлядь, выбирая из нее чего для прихоти, толкают в печь всякое дерево, крушат доски широких деревенских полатей, усыпанные, будто маком, неистребимым клоповым пометом, плоские кровати, расщеперенные скамьи, шаткие столы и табуретки, где и венский стул случается. Особенно много по деревенским избам гардеробов, шкапов, комодов, крашенных какой-то устойчивой бордовой краской, а по ней, по бордовой-то, нарисованы кони, собаки, петухи, цветы. Хорошо горит нехитрая деревенская мебель в печах — выветрилась, высохла до звона за столетия.

На поветях пылится старое ломкое сено, крошатся пересохшие рыжие вешики, плесневеют телячьи и коровьи шкуры, рассыпаются ушаты и кадки из-под грибов, ломается изопрелая кожа хомутов, обротей с озеленеными медными бляшками, осыпаются из-под застрех ласточкины гнезда — не живут в покинутых дворах птицы.

В этакой забытости, запущенности нет даже домовых, да в нежитей и во всякую чертовщину, вечно обретавшуюся по углам деревенской избы, по подпечьям да чердакам перестаешь верить и в самого всезащитного Бога, будь Он, как же бы допустил до этакой обездушенности человеческого жилья и земли, возделанной руками крестьянина, согретой его дыханием? Одной нечистой силы лишь боязню, и все время кажется — кто-то стоит в плесневелых углах, вздыхает и не шевелится.

Зато на городском базаре людно, бойко, шумно: тертый, маринованный, со свеклой, с морковью, с яблоками, а то в собственном натуральном соку и натуральном виде, пучками и россыпью — хрен, хрен, хрен — модная нынче закуска. К итогам хреновников положены или на дощатые прилавки выставлены попутные товары: прялки, скалки, туеса, жалейки, иконы. Загородились на них перстами от людского содома все пережившие и все перетерпевшие святые.

— Кому хрена? Кому Бога? Пр-р-р-родаю-у! Чуть не даром отдаю! — осклабясь, орет современный хам и матерщишник, выставивший на продажу икону Богородицы, орет вчерашний деревенский житель, не так давно еще пуще смерти боявшийся небесного грома и Божьей кары. Все дикое сделалось привычным, все привычное — диким.

УРБАНИЗАЦИЯ

Я вышел на улицу — передохнуть от работы. Хожу я обычно к Соборной горке — здесь тихо, уютно, не урчат машины, не трещат лихие мотоциклы, одни лишь пьянчужки досаждают, распивая бормотуху под зелеными кущами, привязываясь к прохожим.

Но в ранневешнюю пору и пьянчужек здесь обычно не бывает — скамейки еще только-только вытаяли, еще снег бел в затенях, лужи кругом. Малолюдно в эту пору на Соборной горке, синиц можно услышать, матерей молодых с колясками увидеть, старушек, чего-то воровато жующих, встретить.

Однако ж времена меняются, и в такую благостную пору не минуло Соборную горку вселюдское бедствие. Только вышел на аллею, гляжу — навстречу идет взъерошенный, яростно настроенный парень, голоухом, без пиджака, в мятой расстегнутой рубаше. От него шарахаются старушки, мамы коляски в грязь скатывают. А он идет, сжав кулаки, скричигая зубами и с неистовой жаждой схватки возвещает:

— Дратьча хоцю! Ух, как я дратьча хоцю!..

Поравнялся со мной, сделал вид, что меня не заметил, далее устремился. Парень как парень, судя по выговору, с худородных харовских земель: шея тонкая, зубы редкие, прогнившие, лицо костляво, хотя и кругло по рисунку, нос пипкой, глаза бесцветны, из-под рубахи ключица виднеется, что старая колхозная дуга.

«Вмажет, ведь вмажет кто-нибудь дураку по морде! Напросится!» — подумал я.

Возвращаюсь от базара, смотрю: возле собора старушонка привратница кого-то умывает, черпая ладонью воду из снеговой апрельской лужи. Парня-задиру умывает, догадался я и, приблизившись, услышал:

— Это тебе не в деревне! Тут город, тут смирно себя веди... А ты: «Дратьча хоцю! Дратьча хоцю!» — вот и надрался!..

— Ох, город! Ох, город! — мотал головой парень, а по лицу его текло красное мокро, из носу сочились две темные полосы. — Не поговорили, не позаедались, не потолкались... Раз — и в харю! Это шчѐ же тако? Как же тут жить-то?

— А так вот и жить. Раз дадут, два дадут — и поумне-

ешь! Наши ученые девки из музею урр... уррр-банизацией это зовут.

— Ково?!

— Урбанизация!

Парень воззрился не на старуху сторожику, а мимо нее и выше, на главы старого собора, потом медленно побрел куда-то, прижимая по-детски беспомощно локоть к глазам. Плакал он горько, но уж молча.

ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ

Один наш симпатичный, но подобалдевший от славы и похвал, космонавт, хорошо выпив и закусив на обильном кремлевском приеме, вступил в беседу с рядом сидевшим духовным лицом:

— Владыко, а там ничего нету, — и показал пальцем вверх. — Я все облетел. И нету!..

— Чего нету? — переспросило духовное лицо.

— Бога нету! — жизнерадостно воскликнул космонавт.

Владыка по-отечески же тепло и пристально поглядел на всеми любимого, забалованного космонавта и спокойно сказал:

— Сын мой, Бог-то не всякому дурачку открывается.

А вот американский космонавт, побывавший на Луне, заявил, что ему там помогал Бог и что совсем не важен человек на Луне, а важен Иисус Христос на Земле.

С КУСОЦЬКЁМ

За околицей деревушки Сиблы, на склоне холма, в зарослях пижмы, череды и гравилатника, видна ржавая форма, отдаленно напоминающая опрокинутый зарядный ящик. Здесь же валяются тяжелые дырявые камни с грубо тесанными по ним желобами. В выдолбах зеленеет закисшая дождевая вода, в отверстиях камней пучками торчат пезабудки, возле маленького, наваленного на камни муравейника робко краснеет редкая здесь мелконькая земляника.

— А был этта масленой завод,— рассказывала мне словоохотливая жительница деревушки Сиблы. Она, как и все здешние женщины, выглядела намного старше сво-

его возраста.— Завод-то... какой завод? — поправилась она.— Так, маслобойка, но все наши ребятишки выросли коло нее... Хозяин-то маслобойки смурной экой был, сердитый на вид, одежка на см липка, фартук шебаршит... А робятишки-то стайкой придут, у каждой девчонки, парнишки ли кусоцёк... Подолгу ковды с кусоцкём-то стоят — переступают... Хозяин-то вроде их не видит... Ну, ковды цё подать, подсобить — парнишки со всех ног. Потом хозяин-то глянет эдак вот, из-под бровей, ровно огнем ожет, а жалко, видать, и ему робятишек, не удержится, масла льняного — давил-то завсегда льняное семя — линет в стару треспуту цяшку и сольцы сыпнет. Цяшка-то у ево ишшо до переворота велась, с ей и в ссылку хозяин-то съездил, с ей из ссылки воротился, в колхоз вступил, и опять тем же делом занялся — масло давить. Облепят это робятишки цяшку, кусоцкём мачут да наворачивают за обе шшоки. Экое лакомство! Экая благодать! В войну дак ей, маслобойкой, дети и выжили. Мой Колька, старшой-то, што на железной-то дороге в Семигородной поне робит, и вырос коло той маслобойки. Цють шчо: «Мама, дай кусоцёк...» — и уташшится туды, ковды там и поспит на траве...

В войну стали из соседних деревень робятишки с кусоцкями приходить. У которых и кусоцкя нету... Стоят в сторонке, ницё не просят... А сибловские-то на них ишшо и палетают: наш завод да наш завод! Хозяин-то и имя, цюжим-то, маленько уделит маслица. Он токо видом экой смурной был, но серьцём мягкой — у самово росли робятишки...

С войны и пацялось у нас опустение. Мужиков поубивали... А то ведь, не поверишь, завидовали нашей деревушке, богачеству нашему, и песно про нас сложили: «Как на Сибле-то деревне все зажитошной народ! У их кузница, и мельница, и масляной завод!..»

С косогора, где мы стоим с говорливой и доброй женщиной, видно старый разрушенный мост; в бурной речке Сибле темнеют затянутые водяной слизью сваи мельницы, а где кузница — уже не угадать.

Нынче начали в Сибле разбирать на дрова школу. Годом раньше испилили и истопили дом, в котором жил когда-то маслобойщик, и когда раскатывали бревна, выворачивали полы, потолки и навесы — отовсюду сыпалось пустое льняное семя. В сарае и на повети обнаружилось множество каких-то железяк, втулок, скоб, вкады-

шей. Никто уже не знал их названий, но смутно догадывались — это детали и запчасти бывшей маслобойки.

ТАКАЯ СЕ ЛЯ МИ

Умер Дима Ковалев. Панихида в ЦДЛ. Спасли туда венки, кто — дежурные, кто — от сердца и горя.

Похоронили человека и поэта.

А славный был человек-то.

Я познакомился с ним году в шестидесятом, в издательстве «Молодая гвардия». Он был тогда зав. отделом, и народу перед ним мелькало много.

Второй раз нам пришлось с ним знакомиться на каком-то выступлении.

Более мы не знакомились, встречались приветливо, иногда даже говорили, один раз по пути в Белоруссию, которую он беззаветно любил, немало для своей родной земли и для белорусской литературы делал, беседовали долго.

Дима сморился, посерело у него лицо, глаза жестяно заблестели. Он извинился, ушел ненадолго в туалет. Вернулся оттуда вялый, обезволенный, с угасшим взглядом.

Кто-то из спутников, разрешая мое недоумение, шепнул, что у Димы диабет и потребовалось ставить укол.

— Что же ты? Мы бы вышли.

— Ничего, ничего,— тихо отозвался Дима.— Вы так хорошо разговаривали.— И, помолчав, собравшись с силами, добавил: — Так редко встречаемся и редко говорим по-людски...

Помню, как в Вологде, в областной библиотеке, Дима неожиданно-негаданно встретил свою однополчанку — вместе в войну были на Северном флоте,— и сиял, и счастливо всем представлял пожилую женщину. Помню его несколько горячих выступлений на редколлегии «Нашего современника», хорошо помню некоторые его стихи, особенно злое, страстное стихотворение, бьющее под самый дых обывателя, «Болезненное», с хлесткими последними строками: «Хлеба и зрелищ! Как перед пашествием варваров на Рим!»

Обывателю-то хоб што — он не читает стихов, он по-прежнему ходит на футбол, лижет мороженое, выпивает из-под полы, орет по-бараньи, свистит. А Дима, старый боевой моряк и поэт,— сторел!

В померах четвертом и пятом «Нашего современника» еще значилась его фамилия, обведенная черной каемкой, в шестом фамилии уже нет, сдавили, стиснули верхнюю строку, нижнюю подсократили — в мире одним человеком стало меньше, будто волна сомкнулась с волной в безбрежном океане. «Такая се ля ми», — вздохнул как-то при мне в поезде интеллигентно себя понимающий человек в шляпе.

ЗЛАЯ СОБАЧОНКА

Ничего не забывает народ, и — как ни суди, ни ряди — образ, им созданный, живуч и долговечен.

Жил я в глухой деревушке на Урале. Напротив обитала семья пастуха, безалаберная, драчливая, шумная и всегда голодная. Зауголки когда-то крепкой красивой избы сколоты на растопку, крыльцо проломано, окна перебиты. В летней половине, что вторым этажом сложена над зимним двором, и рама вырвана. Остались лишь подоконник да подушки с прибитыми к ним старинными фигурными паличниками.

Несмотря на бесхлебье, жила у пастуха собачонка, похожая на подсвинка, почти бесшерстная, с помороженными ушами, с курносом носом, плюгавая собачонка, но с таким вьедливым голосом, что слушать ее было невыносимо. Лаяла она круглые сутки. Встанет лапами на низкий подоконник летней, пустой половины избы, тьякает и тьякает, тьякает и тьякает...

Трогать эту тварь нельзя, прикрикнуть тоже — залетя пуще прежнего, завоет ушибленно, а то оскалится мелкими зубами, поднимет на загривке щетинку, долго будет помнить и караулить того, кто ее напугал или обидел, и какое бы время ни прошло, обязательно отомстит: подберется сзади — и цап за штаны!

Ночевал у меня в избе старикан грибок и не спал из-за собачонки всю ночь, ворочался на печи, матерился. Утром, измученный, трясущийся, пошел он на пристань и, глядя на заливающуюся собачонку, опершую лапами на подоконник, словно на трибуну, покачал головой и плюнул:

— Ну, Троцкай! Ну, Троцкай! Так твою перезтак!.. — И трахнул камнем, поленом ли в собачонку.

Она завизжала, увернулась, опала с окна во двор, выметнулась в подворотню и — слышно было — гналась за стариком до околицы, а возвратившись, снова забралась на свою «трибуну» и гавкала уже просто так, в пустоту и пространство.

ЧУЖАЯ ОБУТКА

У обувного старого магазина, сбоку дверей, стояли аккуратно, пятка к пятке, поношенные кирзовые сапоги, еще крепкие, по стоптанные внутрь. Кривоног был их хозяин. Он купил новую обувь, надел на ноги, притопнул, поглядел. Хорошо! А куда старую, согретую теплом ноги, обувь девать? Крестьянского, видать, роду был покупатель. Выкидывать добро жалко. Вздохнул он и поставил на вид сапоги. Может, подберут.

В большом фирменном магазине я увидел уже пластмассовый ларь, полный обуви. Всяких. Были там и чуть поношенные туфли, ботики, сапоги. Может, разбогател человек, пренебрег пошеным, форсил? Может, малые сделали? Может, из моды вышли?

Вечером машиной увозили ту обувь в кочегарку и сжигали.

А я глядел на стоптанные кирзухи, такие знакомые, чем-то даже сродственные — столько в них путей-дорог исхожено, и вспоминал, как мой товарищ на фронте изорвал ботики, ходил по снежной каше, подвязав подошвы проводом, застудился, не вытерпел, стянул с убитого офицера кирзухи, обулся. Морщится. «Давит?» — спрашиваю. «Да нет, — говорит, — стынут ноги. Стынут и стынут. Никак чужую обувь согреть не могу».

ШОПЕНИАНА

Председатель одного далекого приозерного райисполкома знаменит был тем, что научился спать с открытыми глазами на сессиях и всевозможных заседаниях, и так предался этой сладкой слабости, что стал дергать волосья из бровей, чтоб не спать, — и все брови повыдергивал.

Однажды этот предрика поехал в туристическую по-

ездку за границу и вернулся оттуда, охваченный загадочной идеей.

Вскоре идея начала претворяться в жизнь. В центре приозерного городка резво заурчал бульдозер, и когда был выворочен древний булыжник, тут же явился экскаватор и, окутавшись пылью, начал бросать камни и землю в кузова самосвалов.

За пятьсот верст, преодолевая болотные хляби и бездорожье, везли от железной дороги в приозерный городок машинами трубы, патрубки, плиты, сифоны и светильные установки.

И городишко замер в ожидании чуда, даже и пьяные боялись по улице шляться, и бродяги, и бичи, всегда здесь густо обретавшиеся, частью покинули приозерный городишко — на всякий случай, частью временно трудоустроились на повостройке, контролируемой лично предриком, который не спал уже много ночей и дней, перестал терзать свои брови, и они на радостях и от строительной пыли так пошли в рост, так ли молодо закустились!

Всякое другое строительство в городке прекратилось, не ремонтировались школы, с открытой крышей стояла больница, остановился санобоз, на куполе древнего собора, имеющего архитектурную ценность, спали реставраторы — ибо весь бюджет района был переключен и брошен на осуществление замысла предрика.

Хотя трудовые ресурсы городка были невелики, до наступления осенних холодов задача была выполнена. И населению было доведено до сведения с помощью местного радио, газеты и простой молвой, что в воскресенье среди города ударит фонтан, ярко переливаясь, в струях вод радужно брызнет свет — и все это диво станет свершаться под звуки вальса великого композитора Шопена.

В торжественный день с утра центр городка оцепило пять милиционеров, чтоб ребятишки, оборони Бог, не покрутили гайки и винтики, не сбили бы настрой фонтана. К полудню прибыл отряд пионеров с барабанами и возники старые партизаны, почетные граждане города, с красными лентами через плечо. Двое.

Явился и предрика, в галстук, постриженный, бледный, с молодо темнеющими на изможденном лице бровями. Секретарь райкома на торжества не прибыл — у него срочное дело оказалось в леспромхозе.

Открыли митинг. Говорил старый партизан. Один. Вто-

рой не только говорить, но и стоять не мог — ему принесли табуретку, и он лишь согласно кивал головой.

Еще выступали от учителей, пионеров, комсомола, профсоюзов и от банно-прачечного предприятия. Все шло в общем-то неплохо, если бы дело не портили реставраторы. Подвыпившие, они вели себя вольно, как специалисты уверяли, что ничего из этой «шопенианы» не выйдет.

Вышло! Сперва, правда, ударила ржавая вода и не играла музыка; но потом струи посветлели, в них заискрило, вверху послышался хруст и из спрятанного в тополях динамика донесло нежные звуки шопеновского вальса.

Предрика прослезился, старый партизан, который еще мог говорить, сорвавши крикнул: «Не зря боролись!» Бабы качали головами: «Чё деется! Чё деется!» И лишь главный врач больницы, молодой, но не современный, нажрался казенного спирту и крушил местные власти за то, что больница без крыши, зима на посу. А вот директор школы, заслуженная учительница республики, страдала молча за неотремонтированную школу.

Через час фонтан иссяк, музыка смолкла, свет погас. Все разошлись по домам.

До сих пор заброшенный фонтан рассыпается ржавчиной. Возле него пурхаются курицы, туристы же думают, что это какая-то историческая загадочная реликвия, и фотографируются возле нее.

Предрика снова спит с открытыми глазами на сессиях и совещаниях, его с почетом собираются провожать на пенсию. Больница за счет сверхбюджетных средств все же отремонтирована, собор, имеющий архитектурную ценность, все еще реставрируется...

Покой и лад царят в древнем городке на берегу большого озера.

ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ

В купе поезда, куда я вошел с опозданием, человек с одной рукой, судя по возрасту, инвалид войны, надевал милостливой, молодящейся даме мягкие тапочки с розочками-апликациями на носках.

Обутая и ободренная, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в окно. Инвалид принялся заправлять постели.

Ничего не скажешь, делал он эту работу одной рукой

довольно ловко, хотя и не очень скоро, — привык, видать, заправлять домашними делами. Но одна рука есть одна рука, и он устал изрядно, пока заправил две постели.

— Мурочка! Все в порядке, — известил он даму и присел к столику.

Дама вошла в купе, пальчиком подправила не совсем ловко заделанную под матрац простыню и победительно взглянула на меня: «Вот как он меня любит!»

Инвалид по-собачьи преданно перехватил ее взгляд, подтвердил: «Вот как я ее люблю!»

Потом они перепирались насчет нижнего места, и дама снисходительно уступила:

— Ну, хорошо, хорошо! — Поцеловала усталого спутника, мужа, как выяснилось потом, пожелала ему спокойной ночи и стала устраиваться на нижнем месте.

Сходив в туалет, инвалид попытался молодецки вспрыгнуть на вторую полку — не получилось. Он засмутился, начал извиняться передо мной, спрашивать у Мурочки: не потревожил ли ее?

— Да ложись ты, ради Бога, ложись! Что ты возишься? — строго молвила дама, и супруг ее снова заиспугался, заспешил.

Дело кончилось тем, что мне пришлось помочь ему взобраться на вторую полку. Поскольку были мы оба фронтовики, то как-то и замяли целовкость, отшутились. Познакомились. Инвалид был известный архитектор, ехал с ответственного совещания, жена его сопровождала, чтобы ему не так трудно было в пути.

Долго не мог уснуть архитектор на второй полке, однако шевелиться боялся, чтоб не потревожить свою Мурочку. И я подумал, что любовь, конечно, бывает очень разная и, поверное, я ее понимаю как-то упрощенно, прямолинейно или уж и вовсе не понимаю. Во всяком разе, такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне постичь было непосильно.

ДУГА

«Мода, она как корь, всех красной сыпью покроеет», — сказал пенсионер Вахрушин, плюнул и пошел за избу в крапивные джунгли, чтоб уничтожить эту вредную растительность и посадить на ее месте полезные культуры: малину, крыжовник и даже яблони.

Истинный сын сибирского таежного села, от веку привыкший сводить лес и всякого рода живность, Вахрушин долго сопротивлялся садовому начинанию, охватившему село, увиливал всячески от бесполезной, как ему казалось, работы, говорил: «На что мне эти ягоды? Сроду сладкое не ел и исти не буду. Мне подавай все горькое!»

На этом он и попался. Сосед, мастер столярной артели, по сговору с женой Вахрушина угостил его настойкой, дождался, когда тот осоловеет, спросил: «Как?»

Настойка была в меру горькая, приятная и крепкая. Вахрушин с простоты душевной показал большой палец. Тогда сосед объявил, что настойка эта из плодов и ягод его собственного сада. А жена Вахрушина уж тут как тут: давай его ругать, убеждать, указывать на положительный пример соседа и других пенсионеров.

Словом, заломали Вахрушина. Взял он лопату, топор, ушел в крапиву и принялся рубить ее и выкапывать, ругаясь на всю деревню такими словами, какие ни одна белая бумага не выдержит — продырявится.

Но потом отчего-то примолк — ни хрюку, ни звуку. Анна мгновенно насторожилась, заподозрила, что мужек ее бросил полезный труд, перелез через заплот и улизнул в магазин: плоды-то в саду еще когда вырастут да созреют для настоек, а в магазине уж все готово, привезли красное вино с нездешним, каким-то собачьим, названием: «Мицше».

Подозрения ее на этот раз оказались напрасными. Просто в гуще зарослей Вахрушин находил много всякого добра, больше всего бутылок. Он их собирал в мешок и прятал в сараюху, чтобы потом вымыть в речке и сдать. Попадались подковы, гайки, веретешко, черное от сырости, со сгнившим хрупким острием встретилось, пестик и ступа, много бабок костяных попадалось, нашелся даже папок, палитый свинцом. А в углу огорода, прислоненная к избе, стояла дуга, уже до оглобельных желобков впаявшаяся в землю. Вахрушин поднял дугу, хотел было через заплот бросить, но раздумал, опустился на завалинку и притих.

Колечко на дуге заржавело, а краска почти не отцвела. Краску эту выменяли когда-то у маньчжур-китайцев за три мешка пшеницы. Маньчжурцы эти — народ мастеровой, хотя и мелкий — вместе с башмаками и мотыгой два пуда, — смеялись местные зубоскалы, — в красках и

разных хитрых штуковинах крепко маракующий. На дуге вкось полосы: зеленая в ладонь шириной, а голубая и красная — в палец. Эти рядом — красная и голубая, а зеленая вроде бы как козырная промеж них, и сверху лаково блестит все.

Делал дугу ссыльный поселенец, умевший, как говорили про него, не только строгать, но и слышать дерево. Вахрушин видел топорнице, сделанное этим поселенцем, — хоть в музей ставь.

Дуга предназначалась не для работы, а для выездов, и оттого она была так легка, изящна и парадна. Время, дожди и крапивная прель не разогнули ее, только почернели концы дуги от земли и выбелился под дождем круто и правно загнутый верх ее, а все остальное светилось и играло, как и прежде, празднично, ярко, с вызовом.

— Чего уставилась? — спросил Вахрушин жену свою Анну, тихо пробравшуюся в огород. — Не узнаешь? Мы ведь под этой дугой венчаться ездили!..

Видя, что муж ее чем-то растревожен, что с таким настроением он, чего доброго, может и в самом деле через забор махнуть, Анна беспечно заявила, мол, сейчас еще лучше жить стало: в загс молодые на легковых машинах ездят — весело, быстро и красиво!

— А мне-то что! — вдруг разъярился Вахрушин, человек в общем-то добрый и бесхарактерный. — И пусть себе ездят на своих машинах! Пусть свои яблоки и груши растут!

Он бросил лопату и не через заплот, а воротами решительно покинул двор.

Явился он вечером, с песнями. Анна, долго искавшая его по всей деревне, подтягивала мужу: «Кончил, кончил курс науки и в дом родителей попал...» Пели они ту самую песню, которая так хорошо получалась у них в молодости.

Дуга до сих пор лежит у Вахрушина на сарае, а под окнами за избой, на взопревшей земле растут немисливо высокий малишник да две яблоньки. Нынче они уродили первые яблоки, до того горькие, кислые, что от них сворачивает пабок скулы и вышибает слезу из глаз.

ИГРА

Мальчишки гоняли по тротуару шайбу. Она щелкала звонко, летала легко и отчего-то крошилась.

Я приблизился и увидел: мальчишки играют пряником, какие в детстве нам давали по праздникам, и, бывало, прежде чем надкусишь пряник, долго слизываешь с него сладь, застывшую разводами, пятнами и лунками.

Пряник походил на маленькую далекую луну и так же, как луна, был маляц, недоступен и призрачен.

ЭКЗОТИКА

У всего экзотического две меры восприятия.

Когда наши корабли прибыли в Индонезию с дружеским визитом и пригласили на угощение здешних жителей — тех привели в восторг красные яблоки со стола, и они танцевали, держа их в высоко поднятых руках.

А уроженец самой экзотической страны, знаменитый футболист бразилец Пеле, сойдя с самолета в Подмосковье, с восторгом прошептал, увидев наш лес:

— Берёза!

ТОСКА

Растаял мокрый снег.

Осталось на стекле приклеившееся птичье перышко. Смятое. Тусклое и до боли сиротливое. Может, птаха малая стучала ночью клювом по стеклу, просилась в тепло, а я, тугой на ухо человек, не услышал ее, не пустил. И перышко это, как укор, белеет на стекле.

Потом обсушило солнцем стекло. Унесло куда-то перышко. А тоска осталась. Должно быть, не перезимовала птичка, не дотянула до тепла и весны, вот сердцу-то и неловко, печально. Залетело, видать, в меня перышко. Прилипло к моему сердцу.

СОВРЕМЕННЫЙ ЖЕНИХ

На свадьбе говорили: живите дружно, делите горести и радости пополам.

— Радости и без жены хороши! — отвечивал современный жених.

НЕТ, ПРАВИЛЬНО!

Дитем я еще был, услышал по радио песню и по врожденной привычке с утра до вечера мозолил ее. Мне очень нравились красивые, непонятные слова: «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты...» Далее я слов не запомнил и о мелодии не заботился.

Иду я, значит, из школы по снежным убрдам и все под нос себе повторяю: «Средь шумного бала, случайно...»

Женщина мне у въезда в поселок встретилась и долго шла впереди меня, замедлив шаги, потом обернулась и строго сказала: «Мальчик, ты неправильно поешь».

«Как это неправильно?» — хотел я возразить, но, застигнутый врасплох, ничего не сказал, проскользнул мимо женщины, и более песня с красивыми и непонятными словами во мне не возникала.

И вот ныне, уже на старости лет, мне хочется сказать той женщине, и всем, кто обрывает поющего ребенка: «Дети, коли им хочется петь, всегда поют правильно. Это вы, взрослые люди, разучились их правильно слышать».

СТОЯЩАЯ НАДПИСЬ

На памятнике Сталину, долго валявшемуся в Курейке до того, как его тросом стянули в Еписей, среди многих надписей, славословящих, ругательских и просто хулиганских и праздных, была одна пророческая надпись: «Я получил свое, и ты получи свое».

Время-то, время что делает! Какой оно неумолимый и беспощадный судья!

А музей в Курейке все-таки напрасно закрыли и разгромили, да памятник вождя, видный на десятки верст, в реке напрасно утопили, будто историю можно спрятать или объегорить. Пусть бы все это стояло, маячило со всеми похабными надписями, патриотическими славословиями, дабы глупость каждого пишущего видна была и мучила пашу совесть и память.

Мы — достойны этой памяти и творений сих. Нам воздается поделом.

ВЫСШИЙ ПОДХАЛИМАЖ

Есть слова — высший пилотаж. Но как бы летчики высоко ни летали, им никогда не залететь выше того подхалима, который на одном из высоких собраний с высокой кремлевской трибуны, на глазах у совсем не изумленных, а умиленных участников собрания сотворил бесмертный шедевр:

— Дорогой товарищ Никита! Дорогой товарищ Сергеевич! Дорогой товарищ Хрущев! — молвил он с пафосом и со слезами на глазах.

...Недавно один высокопоставленный военный болван велел покрасить траву перед приездом в его соединение правительственных гостей. Думаю, это был внук того ретивого оратора, который так непринужденно и умело пользовался выразительностью языка нашего, гибкого и великого.

Находчивый, однако, был человек и, поди-ко, характеру легкого.

ШУТОЧКА

Как-то собрались мы вологодской писательской дружиной, в ту пору еще очень соединенной, братски встречать Новый год в нашей большой квартире, куда я только что переехал.

Должно быть, очень весело было, хотелось нам не только петь и плясать, но и озоровать. Тут кто-то кому-то решил позвонить и в новом телефонном справочнике наткнулся на фамилию Барклай-де-Толли.

— Братва! — заорал гость. — Давайте позвоним Барклаю-де-Толли, поздравим его с праздником, а?!

— Какому Барклаю-де-Толли?

— А хрен его знает! Вот в справочнике есть такая фамилия.

Надо заметить, что город Вологда — древний русский город, и если покопаться в его истории, такого накопишь, что и дух захватит. Всякие исторические редкости в справочниках всяких можно повстречать допдна — ведь одних только пленных французов после Отечественной войны 1812 года сюда поселено было несколько тысяч, всяческие смуты российской крутой волной прибывали к

вологодским берегам всяческих людей и людишек. Здесь, конечно же, и Сталин бывал, и родственники Ленина — где только эти пройдохи не побывали! Здесь совершил свою историческую аферу юный прощельга-дворянчик, подаривший замечательный материал для бессмертной комедии «Ревизор» бессмертному Гоголю.

Словом, на Вологодчине не соскучишься!

Кто-то из наиболее трезвых вологодских писателей, но скорее из их рассудительных жеп предостерег веселую компанию — вдруг, мол, это лицо с исторической фамилией и в самом деле является родственником достопочтенному полководцу России, и что тогда? Вы, мол, хоть жеребятый тон сбавьте, лучше же совсем человека не беспокойте — время позднее, а он, Барклай-то, де-Толли, скорее всего человек уже преклонных лет.

Но предостережение лишь подстегнуло компанию, идея, как известно из хитроумного учения, овладевшая массами, да еще подвыпившими...

Позволили, вежливо поздоровались с женщиной, со спокойным благородством в голосе, которое дается лишь родом и воспитанием. Нам было отвечено, что да, это квартира Барклая-де-Толли и он еще не спит. Жепский голос заверил нас, сейчас, мол, она Николая Васильевича (за имя-отчество не ручаюсь) пригласит к телефону. Звонил в телефон самый из нас веселый и крепко выпивший поэт Коротаев. Он зажал трубку кулаком и, вытаращив на нас глаза, сдавленным шепотом возвестил: «Идет!»

Мы все разом оробели и притихли. Впук мой, ни резону, ни почи, ни исторического момента не понимающий в силу своего резвого возраста, с гиком выкатился на трехколесном велосипеде в коридор, чего-то завопил веселое и тут сгреб от деда воспитательную затрещину, собрался было привычно заорать, а орал он громче Шаляпина, но, глянув на сосредоточенно, почти испуганно замершую компанию, орать все же не решился и упрятался в другую комнату.

«Шаги слышу!» — сказал поэт Виктор Коротаев, и на бороде его, тогда еще не седой, выступило мокро, он начал ее с задумчивостью чесать.

Я бросился в кабинет, к другому телефону и услышал тихий голос пожилого человека:

— Вас слушает Барклай-де-Толли.

— Простите, — сразу вдруг засадившимся голосом, но

все еще с игривыми потами в нем сказал поэт Коротаев. — Вы не родственник ли тому самому Барклаю-де-Толли?

И голос, полный достоинства, внятно ответил:

— Да, я — правнук великого русского полководца, генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая-де-Толли.

— Это говорят вологодские писатели, — произнес Коротаев до шепота севшим голосом, — мы хотели бы поздравить вас с Новым годом и пожелать вам доброго здоровья.

— Благодарю вас! Я в свою очередь поздравляю вас и ваших товарищей с Новым годом и желаю всем вам того же самого, чего любезно пожелали и мне — доброго здоровья, ну, разумеется, и успехов на литературном поприще. Надо вам сообщить, что я слежу за работой ваших товарищей, читаю, что мне доступно, и почтительно отношусь к вологодским писателям за то, что они не роняют достоинства русской словесности. Желаю вам весело встретить Новый год!

— Благодарим вас, — совсем уж хрипло, совсем уж потный и протрезвевший сказал поэт Коротаев, бережно опуская трубку телефона и, опустив уже ее, вдогонку добавил: — Очень благодарим вас! Все!

Тихо и отчего-то на цыпочках вернулись мы к столу. Самый из нас трезвый или опять же кто-то из рассудительных жеп язвительно произнес:

— Ну что, пошутили?!

— Пошутили, мля.

Поэт Коротаев дрожащей рукой палил себе полный фужер водки, выпил махом, персонально, и мы не перечили — заработал! А он еще палил и уже почти восстапавливающимся голосом бодро возгласил:

— За славную русскую историю! За русский народ!

Зазвенели рюмки, пошел разговор с уклоном на патристическую и историческую линию, песни родного отечества зазвучали, но все не проходило чувство целовкости от наших легкомысленных намерений кого-то разыграть, высмеять. Поэта Коротаева целовали за то, что он так героически, с достоинством вышел из щекотливого положения. Поэт Коротаев радовался себе, тряс мокрой бородой, в которой, как всегда к середине вечера, торчала рыба кость, и от умиления плакал.

С тех пор, собираясь вместе, перед каждым Новым годом мы торжественно поздравляли правнука великого

полководца Баркляя-де-Толли, желали ему всего хорошего, и он нам тоже, а вот собраться сходить к нему побеседовать все не решались, и однажды тот же, благородством преисполненный женский голос мягко и грустно сообщил нам, что не может пригласить к телефону Николая Васильевича — нет его больше с нами.

Я помню, как печально всем нам было, как не задался праздник, и, думаю, не одного меня, но всех вологжан, моих товарищей по труду, до сих пор угнетает какое-то смутное чувство неосознанной вины и неловкости.

ВОСТОРЖЕННЫЙ ИДИОТИЗМ

Жил-был на свете Бодюл. Секретарь цэка компартии Молдавии, по-ранешнему — царь. Он долго и здорово правил на бессарабской земле, разоряя ее и губя беспощадно во имя коммунизма и неслыханной досель дружбы народов.

И бездельников плодил, как тля или древесная гусеница, высыпая облаком непрерывный прожорливый помет. И бездельники, в первую голову отставники, обожали своего партийного царя, тянулись к нему со всех сторон, особенно краснорожие высокопоставленные чины, выслужившие высокие пенсии, хорошо отточенным шухом чующие не только падаль, но и сладкий корм.

Однажды на празднике битый моллю, недалекий умом, но хитрый и коварный разоритель Молдовы провозгласил здравицу покойному Сталину, и дыбастая, тупая масса устроила получасовую овацию — вот сколь упрямой доблести и преданности своему времени, своим вождям скопилось в грудях большевистских молодцов. В парке города Кишинева, заставленном гипсовыми и бронзовыми бюстами и скульптурами любимых вождей, был возвращен венец искусства: красные яблоки заставили так расти на ветвях, что, алой вязью сплетаясь, те молдавские яблоки образовывали слова: «Слава КПСС» и еще что-то в этом духе. Хитрый, мастеровитый садовник держался как величайший творец, сдержанно и достойно, но партийные шестерки, его представляющие, били чечетку вокруг тех чудодейственных идейных растений, кричали чего-то высокохвалебное товарищу Бодюлу и его покровителю товарищу Брежневу — тогда же один из представителей братской делегации, ленинградский остролов и поэт, назвал

это восторженным идиотизмом. Да какой с него спрос, с поэта и вечного юмориста? Неразумное дитя своих родителей, моральный урод героического времени.

Отставникам-то, красногорим молодцам, густо заселившим Крым, юг Украины, Молдавию и другие солнечпо-виноградные места, очень все тут глянулось, от яблонь, патриотически растущих, до вождя Бодюла, стубившего во имя пламенных идей и своей карьеры родную республику. Это они, отставники да недобитые приживалы, визжат сейчас об утеснении русскоязычного населения, боясь за свою шкуру, но больше за свое пахапанное добро и солнечные утренние местечки.

Остальным русскоязычным бояться нечего — бери шинель, иди домой, к маме, в Сибирь, либо в старорусские земли. Яблоня и виноград — да еще этаким вот идейно направленным мапером — тут, конечно, не растут, но полоса земли для жительства, кусок хлеба и толика тепла в пока еще живом российском сердце всегда для них на родине найдутся.

ГОГОЛЕВСКИЙ ТИП

В пятидесятых годах учился я в школе рабочей молодежи в стареньком рабочем уральском городке и как-то плелся устало после работы в школу. Гляжу: из огороженной будки, из длинного, змеей загнутого крапа, змеино шипя, плещется вода — в клюку загнутый затвор неплотно прикрывает водяной насос. На деревянном тротуаре намерз лед, его кисейно припорошило снежком — этакая привычная российская ловушка для престарелых и подслеповатых людей, катушка для малолеток-сорванцов.

По соседству, в канаве, другая ловушка — открытый люк подземной связи, и в него уже капает вода, лед собачьим языком ввалился в зевасто открытую пасть люка. «Вот, — подумал я мимоходом, — понесет ночью пьяного — непременно поскользнется на тротуаре и по этой катушке на задку в люк съедет...»

Возвращаюсь в час ночи из школы и слышу не то стон, не то песнь из-под земли. Сразу догадался: кто-то угодила-таки в люк. Подхожу, наклоняюсь: есть! Попался! Да вроде бы и человек-то в чинах — от лампочки, прибитой к копынку будки, слабый свет падает и высвечивает погон со звездочкой.

— Что ты там делаешь, младший лейтенант? — пошутил я, соображая, как мне и чем из колодца вытаскивать жертву коммунального разгильдяйства.

— Какой я тебе младший лейтенант? Я — майор! — раздалось из-под земли. — Сразу видно, что в армии не служил.

— Служил, служил, только рядовым.

— А раз рядовой, вынь командира из-под земли!

Долго я с майором возился — тяжел майор. Раза два рою я его обратно в колодец, а там вода — плюхнется майор вниз увесистой болванкой — брызги вверх! Какой-то мужик, весь черный, шел со второй смены из паровозного депо, помог вытащить человека, вывозил его с ног до головы в мазуте, но майор того не замечал. Он нас все время, пока мы его вытаскивали из лока, выручали из беды, свирепо материл за пеловкость, но как оказался наверху, сразу приосанился и рывкнул:

— А карту-уз?! Кто за вас картуз доставать будет?!

ОСТРЯКИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ

Увидев в рыбном магазине камбалу, точнее, перазумных деток камбалы, угодивших в трал передовых рыбаков, прокатчик крупнорыбного стада сказал: «Рыба мелкого профиля», а садовод-любитель выразился лирически: «Осенние листья».

РАЗГОВОР ВОЛОГОДСКОГО ПОЭТА С РЯЗАНСКИМ ПРОЗАИКОМ

У вологодского поэта Сарапчукова рано начали выпадать волосы на голове. У рязанского же прозаика Межова — наоборот: чем он дольше жил, тем пышнее становилась шевелюра — от горения ли таланта или от глубоких мыслей шевелюра его сесть начала, и совсем красивой и умной сделалась голова рязанского прозаика.

Не выдержал вологодский поэт Сарапчуков и сказал однажды рязанскому прозаику Межову:

— Вот ничему я не завидую: ни таланту, ни богатству, ни уму — Бог всего каждому дал столько, сколь достоин

человек, или по-попешнему — индивидуум. Завидую я только тем, у кого волосья на голове хорошо растут. Вот скажи ты мне: как ты такую шевелюру приобрел и сохранил?

Рязанский прозаик Межов, подпитой, веселый, юмор по нему бродит с такой силой, что волосья искрят, и говорит он пазидательно рассоловевшему от чувств вологодскому поэту Сарапчукову:

— Всякое растение на чем растет?

— На земле.

— Так. Правильно. Сколько ты раз в месяц голову моешь?

— Ну, сколько? От бани до бани, в декаду раз, пожалуй что, выходит, как в исправительно-трудовой колонии. Ну а летом, когда жарко, да в городе, дак и почаще, в ванной мою.

— Во-от! В ванной! Дала вам, дуракам, наша власть эту ванну — вы и рады стараться! Всю землю-то и вымываете! На чем же волосу-то расти?

Задумался вологодский поэт Сарапчуков, голову, почти уж совсем голую, долу опустил, а рязанский прозаик тряхнул копой волос и запел русскую народную песню. В середине песни он прервался и сообщил, что недавно одного профессионала — оперного певца — «запел в доску» и, не простуди он голосу на флоте, в морских просторах, так и самого Шаляпина, Федора Ивановича, запел бы. Облысевший почти вологодский поэт смотрел на волосатого рязанского прозаика с любовью — человек добрый от природы, жалостливый, он умильно восклицал и просил:

— Дорогой ты мой! Спой еще! Спой! И чубом, чубом потряси!..

СИЛА ИСКУССТВА

Очень я люблю наши прежние картины, в особенности детские, в которых охотно снимались все лучшие артисты страны и, мне кажется, делали это с радостью и получали истинное наслаждение от работы в так называемом «детском» кино, которое я и поныне смотрю с удовольствием.

Несколько лет назад был возобновлен чудесный фильм «Золушка». Показ его, по-современному — ретроспекция, состоялся по телевидению. Фильм представлял на телевидении единственный его еще «боеспособный» участник — Алексей Апатольевич Копсовский. Исполнительница Золушки, артистка Жеймо, уехала на родину, в Польшу; любимый пами Эраст Гариц, прелестно игравший короля, умер; всеми обожаемая Фаина Рапевская, изображавшая отвратительную мачеху, не очень уж и тогда здорова была, да и телевидение, говорят, не любила. Ныне и ее нет уже, и Копсовский покинул земные пределы.

Алексей Апатольевич Копсовский, артист театра им. Моссовета, великолепный чтец, благородный голос которого мы ежедневно слышали по радио или в дубляже кинокартин, с годами не утратил обаяния и притягательности, за которые и пригласили его, наверно, в свое время на роль принца в фильме «Золушка».

Кроме всего прочего, как и все наши «старые» артисты, мягче сказать — артисты старой русской школы, он превосходный рассказчик и, по-современному говоря, порядочный хохмач.

Вот что рассказал он, щуря свои «искристые» глаза, за которые так полюбила принца Золушка и по причине которых чуть было не спялся он в роли Лермонтова в так и не состоявшемся в ту пору фильме. Глаза эти не утратили с годами молодого блеска, хотя «искра» и поугасла...

Вскоре после ретроспекции «Золушки» на телевидении, буквально через несколько дней, устав от репетиций в театре, привычно прошелся по улице Горького до станции метро «Пушкинская», чтоб поехать домой. Спустился в метро, двигаюсь к остановке, как вдруг меня догоняет человек в ватнике и в шапке, явно выданных в казенном месте, не очень к Москве близком. опередил меня, вперился мутноватым взглядом. Грудь у него распахнута, на шей орел какую-то жертву терзает. Я сразу как-то поубыл в росте, а он у меня и без того невелик, но делаю вид, что не замечаю ничего, прибавляю шаг. Слышу опять громкий топот. Настигают меня! В метро пусто, время за полдень, трудовой москвич, он в это время работает, состоятельный — спит после обеда. Это нам, служителям муз, спать некогда, рыщем в поисках хлеба насущного.

Обежал меня громила, в лицо уставился. «Уж грабить так грабил бы скорее, — думаю я. — В кошельке у меня

рубль семьдесят, шапка на мне недорогая, курточка так себе, да и по размеру ему не подойдет...»

Однако пикто меня не грабил, и вот уж поезд вдали зазвучал, я снова шагу прибавил — и снова сапожищи топают. «Господи! Неужто мне конец! Неужто до дому не доеду и Маришу — мою милую жену — больше никогда не увижу?!» Однако у самого входа в вагон настиг меня громила, встал передо мной, в грудь рукою уперся — не пускает.

— Прыщ?! — словно бы не веря себе, прошептал паплетчик. И не знаю: я ли ему кивнул — да, мол, я — принц, или окончательно удостоверился незнакомец в своей догадке, но в совершенном упоении, в неподдельном восторге рывкнул он на все московское метро:

— Прыщ, мбля! Прыщ!..»

ВСЕ ПРО ВСЕХ ЗНАЕТ

Режиссер принимал экзамены у молодых людей, собирающихся быть актерами, и спрашивал то, что обычно спрашивают в другом месте, например, у людей, собирающихся быть разведчиками.

— Вы долго сидели в прихожей? Видели там...

Почти все абитуриенты, жаждущие быть кинозвездами, срезались на каверзном вопросе или называли два-три предмета. И лишь один парень перечислил все, что было на полу, на стенах, на столе, и не просто перечислил, но и сказал, где что приобретено и сколько стоит.

— Отлично! — сказал экзаменатор. — Вы были когда-то вором?

— Да, вором-домушником.

Получился из этого человека не очень большой, но обаятельный характерный артист, он часто и заслуженно появляется на экране и этак многозначительно и грустно улыбается, и кажется — все про всех знает.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Молодая почтальонка спросила у нашей соседки:

— Это ваш сын все время играет на пианино?

— Да, мой сын. Готовится в консерваторию.

- Женатый?
- Нет.
- Х-м, не женатый, а так громко играет!

НАКЛЕПКИ

Шли по лесу молодой и старый охотники, точнее, — дядя и племянник. Дядя — звали его Василий Васильевич — всю жизнь в лесу. Он работает на сплаве древесины и попутно занимается рыбалкой и охотой.

Племянник приехал к нему в гости из города. Человек он страшно говорливый, всему удивляется, всем восхищается и поровит обязательно выстрелить. Это всегда так: попало ружье в руки горожанина, да еще такого, который на охоте не бывал, — ну, берегись, малые птахи, берегись, сороки, галки и вороны, — идет погубитель. Дичи-то ему не добыть, а тех птиц и зверушек, что сами на мушку садятся, такой охотник очень любит подшибить. Да еще сфотографируется с дятлом или галкой, держа ее двумя пальцами и улыбаясь — это на потеху родным деткам: вот, мол, какой ваш папа меткий стрелок...

Ходили, ходили дядя с племянником — нет уток, даже в глаза ни одной не видели. Скис племянник, едва плетется. Он-то думал, что будет палить без устали и набьет птицы мешок под завязку, и на тебе — даже ни разу не выстрелил.

Свернули они в лог, вышли на покос, среди которого стоял подбоченившись этакий пухлый, пышный, похожий на кулич, стожок сена. Стожок был приметан к старой, наполовину обломленной рябине. И на рябине...

— Что это? — сразу пересохшим голосом спросил его племянник.

— Рябчики, — спокойно ответил Василий Васильевич и на полянку шагнул. Фыркнули крыльями рябчики и — врассыпную.

Племянник за ними. Василий Васильевич поймал его за руку:

— Куда? Не видишь, что ли, что рябчики еще малы, бесхвостые вовсе. Вот подрастут, тогда и стреляй...

— Одного, дядя Вася, на пробу.

— Говорю — нельзя!

— Одного, дядь Вась... Никто не узнает.

— Тьфу ты, азартный какой! — ругнулся дядя Вася и хитро сощурился:

— Ну, ежели одного, на пробу. А не пожалеешь?

— Да что вы? — сглотнул от нетерпения слюну племяшничек, а сам уже курок взвел и глазами зыркает по леснякам, по рябчиков увидеть не может. Малы еще рябчики, а маскироваться уже умеют. Вот рядом, совсем рядом чирикают, на голос матери откликаются и не показываются.

— Ну, как? — подошел ближе к племяшнику дядя.

— Не могу заметить. Мне бы только на миг... Я бы... — зашептал племяшник.

Дядя покосился на племяшника и усмехнулся. Аж побледнел от напряжения паренек, а глаза алчные. «Ну, это надо сразу отучать от лесного блуда, иначе лихой браконьер-хапуга из него получится», — подумал Василий Васильевич и показал племяшнику на пихту:

— Гляди, во-он подле пихты липа?

— Вижу.

— Одна ветка липы поздоровалась с пихтовой лапкой и на пей...

— Ах, как же это я раньше-то не заметил? Сейчас, сейчас, — целится паренек в сережкий комочек, чуть видимый сквозь пихтовую хвою, а руки у него дрожат.

— Лучше целйся, не промажь, — сказал Василий Васильевич, и в голосе его смех послышался, но не обратил на это внимание племяшник. Он еще плотнее прижал ружье к плечу и ба-бах! Побежал к пихте, а Василий Васильевич в лог, к воде.

Спустя минуту увидел: мчится по кособору его племяшничек, ружье бросил, орет благим голосом, а за ним столбится и гудит осиный рой.

— В воду! — скомацдовал Василий Васильевич, — руками не маши! В воду!

Дзвизгнул паренек и бултыхнулся лицом в ручеек, который лениво сочился по логу. А когда приподнялся — Василий Васильевич упал на траву, сраженный смехом. Племяшника не узнать. Все лицо его в огромных воддырях, один глаз вовсе заплыл, не смотрит, верхнюю губу на сторону унесло, и стала она с черныльницу-непроливашку величиной.

— Ха-ха-ха! Наклепали тебе рябчики морду-то!

— Болит ужасно, — чуть не плача сказал прыткий

охотник и пошук головой. Он уже понял, что Василий Васильевич нарочно втравил его в эту историю — осиное гнездо вместо рябчика показал. И обижаться нельзя — не жадничай, не подличай в лесу.

СДАЛИСЬ МНЕ ЭТИ САПОГИ!

Этот путевой вагонный рассказ отчего-то врезался в мою и без того перегруженную память надолго.

— Ездил я в молодости в Москву, за покупками, — рассказывала пожилая, наделенная броской красотой женщина. — Ближний свет! А что ж делать-то, коли в наших магазинах было шаром покати. А уж так ли мне хотелось сапожки купить, чтоб на танцы ходить! Мечта! Сплю и вижу я те сапоги. Уехали поездом Пермь — Москва — кто за продуктами, кто культурно поразвлечься, а я вот за сапогами...

И познакомилась я в пути с парнем. Возле окна он курил. Вроде бы не такой уж грамотей, не такой уж и красавец, но что-то бросило меня к нему, а его ко мне, и, перебивая друг друга, захлебываясь, спеша, проговорили мы до полуночи. Надо бы расходиться — в разных купе едем, но расстаться не можем! И, отчаянные головушки, целоваться начали, под стук колес и... будь место да время, так, чего доброго, и до иного прочего дело дошло бы — так забылись мы, так увлеклись друг дружкой, так прильнули сердцем к сердцу...

Но вот уж и рассвет, утро, и Москва — вот она. Тогда я сказала парню, что вечером мы встретимся и поедем обратно. И место назвала — Большой театр. Москвы-то ни я, ни он не знаем. А это место — Большой театр, где встречаются ветераны в День Победы, кто не знает.

Целый день я просвистала в поисках сапог. Сказали, после обеда в ГУМе выбросят. Обед затянулся. Сапоги выкинули без десяти минут четыре. А очередь! Версты две! Свидание наше назначено в пять часов. Цыпущечьим шажком продвигалась я к прилавку. А время бежит. А стрелки черные на часах скачут. И вот в цифру пять уперлась остроносая стрелка. «Миленький мой! Желанненький мой! Подожди меня, подожди!..» — кричу я, молюсь про себя, но до сапог мне еще ой как далеко!..

Купила я их перед самым закрытием магазина и хва-

тила бежать по улице, в поворот, под арку, через площадь, так, казалось мне, путь короче, и все кричу, кричу, уж сердцем одним кричу: «Подожди-и! Подожди! Не уходи, миленький, только не уходи!..»

Никого я уж возле театра этого Большого не увидела. Спектакль начался. Может, парень мой с рук билет купил и в театр подался... Может, плюнул и ушел... А я все кружилась, кружилась по садику возле крыльца широкого, стараясь хоть следочек его угадать...

Женщина умолкла, поглядела в окошко иль выше него и дальше, и горше выдохнула:

— Ведь это судьба моя была! Судьба. А я ее на сапоги променяла! И на кой мне сдались те сапоги! Я их давно уж сносила, а судьба — не лапоть, с ноги не скинешь. Потеряла я ее, свою судьбу. — Женщина смолкла, снова поглядела далеко-далеко, высоко-высоко и каким-то не просто усталым, по размозженным голосом не то пропела, не то выстонала, будто на могилке: — Эти наши вечные очереди, вечные недостатки... Сколько же это народу истратило себя, свое время золотое, свои судьбы порастеряло, порастеряло понапрасну. Ах ты, ах ты! Дожить бы хоть детям нашим до времени, когда за свою рабочую копейку купить можно будет все, и судьбой, судьбой своей распорядиться, как сердце подсказывает, как Бог велит...

Столетию кино посвящается

ЭПИДЕМИЯ

Каких только глупостей, какой ахицей не паговорили коммунистические деятели и вожди! В каких только обертках, чаще всего в красных, в виде лозунгов, эти глупости и банальности не преподносились. Особенно в глаза лезли разные, в основном плоские, но броские высказывания товарища Ленина. Раньше других достигло нас и гвоздем в память воткнулось изречение насчет кино, что важнее важных оно из всех искусств. Мы, дети наступившего века, бредили этим искусством и чего только не вытворяли и не придумывали, чтобы достичь его тайн.

Помню, объединившись в шайку, мы, парнишки, наскребем на один билет денег и засылаем в зал лазутчика, в обязанность которого входило: как только начнется кино и дойдет до «интересного», со звоном отбросить длинные

кованые крючья, и тогда скопившаяся у дверей шпана толпой ринется в зал со светящимся, звучащим экраном и рассыплется по толпе, растырится под скамейками, по углам, за сценой, осядет мелкой пылью меж дяденек и тетенок, которые, конечно, патычут палетчика кулаком, но и спрячут с мольбой: «Не мешай токо, паршивец!»

Выдавали палетчиков редко — такие были времена на Руси, вконец пыше издешевившейся, недружелюбной.

В одном из клубов выгребная яма открывалась дверками паружу прямо в сугроб и после очистки приманчиво светящимися очками маячила над головой. В морозы, когда в яме не вошько, выскреблено лопатой, подметено голком, банда действовала так же — покупала один-разъ-единственный билет. Обилеченный, силой паделенный, крепкий оголец склонялся над очком, будто над колодцем, и бодро требовал: «Давай!» Тогда на плечах подымали и снизу, головой в очко всовывали не очень объемного малого, а потом уж веселей дело двигалось, и кто плотней телом, того, как пыж, вдергивали в дыру и что-то подобное копвейеру налаживалось, зритель переходил на поток. Случалось, соскользал вниз, обрушивался жаждущий зрелищ малый человек, и не по разу обрушивался, но устремлений своих не бросал. Случалось, трудящийся мчит-ся в отхожее помещение, на ходу расстегивая ремень или ширинку, — приспичило. Но, слава Богу, дырка не одна, садись, пожалуйста, или потерпи. Но если уж совсем не-втерпеж — вниз дружно кричали: «Па-асторонись!» — ибо ипой обжора живую цель поражал, как из мортиры — вразлет, шрапнелью.

Конечно, такое вот общественное очко пройти и совсем не испачкаться, запаху не приобрести — не всегда получалось, хотя мы и обтирали бумагой, обскребали щепками попадавшего под залп кинозрителя. По случаю кино празднично одетый, приобретший билет на трудовые деньги, гражданин водит-водит посом бывало и недоуменно вопросит: «Да откуль это говном-то прет?!»

А то еще одно ловкое и дерзкое дело ради искусства: со дня не обедавшие, уроков не делавшие ребята должны были пролезть в зрительный зал и пролежать под скамейкой или простоять за плотной шторой окна до начала сеанса либо в пожарный люк пырнуть, а когда и через дымоход проникнуть в зал. Но самое дерзкое, самое ловкое — это, припав к спине солидного гражданина, пробраться в

зал мимо бдительной контролерши, иной раз мимо двух — тут уж и на карачках приходилось. Раз до трех делались попытки — изловят и взащей вытолкают.

Но чему постоянно и настойчиво молодое поколение учили опытные большевики? Ни перед чем не пасовать, брать любые крепости, мозгой шевелить и, чего бы то ни стоило, достичь намеченной цели.

И достигали! Мысль творческая работала напряженно и чаще всего плодотворно.

В игарском лесокомбинатовском клубе в поздний час для совершеннолетних показывали кино «Пышка». Я к той поре уже много чего без разбору и выбору прочитал, в том числе и кое-что из Мопассана, не поняв, правда, за что его считали непристойным писателем, запрещали читать его книги не только детям, но и взрослым, спецпереселенцам в особенности. Оно и понятно: элемент этот враждебный и без того всесторонне ущербен, а что как под воздействием буржуазной морали вовсе разложится, некому работать сделается, социализм строить. «Пышка», когда я ее читал, мне шибко поглянулась. В какой-то недобрый час предсонного, темного времени я пересказал братве ее содержание, и хоть не всем корешам, но многим «Пышка» тоже понравилась.

И вот кино «Пышка». Мы к лесокомбинатовскому клубу и сзади, и спереди подступаем — никак не получается — нет лазеек. Главное — народ нас не допускает смотреть кино, про которое на вывеске написано: «Детям до шестнадцати запрещается». А ведь известно давно: чем больше запрещается, тем больше хочется. Но время очень уж позднее, глухое. В Заполярье и без того зимою всегда ночь, темно, начало же последнего и единственного сеанса с «Пышкой» — в десять часов. Окончание в полночь. Вот тут и прорвись к искусству!

Ах ты, разакты! Чего же делать-то? До того хочется «Пышку» посмотреть, аж в штанах заранее мокреет...

Но пету ж такой крепости, которую мы, большевистские последователи, не взяли бы!

Клуб отапливался посредством печей-голландок. Правда, это уж слишком громко сказано — отапливался! Всего две печи на весь зал, пристройка, величиной и формой напоминающая пужник: без окон, но с дверью, заваленной дровами, на замок запертой, на железный, на самозащелкивающийся.

Среди детдомовцев были такие спецы, что они тот замок и пасировать-то шибко не стали, булавкой ковырнули — и открыто! Мигом! Голландки-печи стояли в виде шкафов, спаренно, жаром пышут, наверху выходят в пропиленный в потолке четырехугольник трубы, и между труб расстояние как раз для огольца, не шибко раскормленного. Подсадили туда одного, он полежал-полежал и вниз спросился — жжет брюхо невыносимо. Кто-то предложил отодрать беленые доски, нашитые по бокам голландок в виде заборки. Предложение было сразу забраковано — заметят проруху и пометут нас как миленьких, а место золотое, его надо беречь. Набросали мы дров между печных труб, и дело пошло ударнее. Минут по пятнадцать огольцы наслаждались кино, вниз, в обогревалку-кочегарку сваливались очумелые от угару, потные от жары, и поскольку смотрели кино урывками, то и понять ничего не могли: кто, куда и зачем едет или кого куда везут, и кто там враги и кто там наши? Но женщина, Пышка, нравилась парням, красивенькая и в самом деле пышная до того, что глядишь на нее и штаны сами собой оттопыриваются.

Вечер, другой, третий преют парни на голландках, томление испытывают, но никак не могут главного дожидаться. О нем, о главном-то, и в самой повести неясно написано, а тут и вовсе какая-то невяница, ну, добывается офицер, чтобы Пышка пошла с ним куда-то, но куда и зачем — не показывают. Это вам не понешнее передовое киноискусство, где не только все по полкам разложат, но и на полку женщину положат, когда и на бильярд, и со всех сторон ее заснимут, да еще и охат, и ахат заставят. А в той, далекой «Пышке» возвращается женщина мятая, виноватая в чем-то перед этими буржуазными мордами, ее спутниками. И поехали дальше. И Пышка заплакала.

И все! И смотреть нечего. Опять же, в понешней киноленте, любо-дорого посмотреть, как мужик по бабе пагашом ползает, пыхтит. Та, старомодная Пышка, исполненная симпатичной артисткой Сергеевой, невинной пионеркой, может, даже и октябренок выглядит по сравнению с пышешними героинями.

Спор меж ребятни шел жаркий, до драки дело доходило, меня обвиняли в том, что в моем рассказе все подробней, замечательней и точней выглядело. Может, я и в самом деле глубже, чем следовало, пропик в подтекст Мопассана? И гордо заявил я парням, как наши современ-

ные разумники-критики, — что они все дураки и хмыри болотные, ничего в искусстве не понимают. Мне в ответ: мол, раз ты все понимаешь, залезай за трубу с кем-нибудь из парней и показывай главное с толком и вовремя. Но что я мог им объяснить и показать, коли и сам не все тонкости искусства улавливал? Испечься ж на печи мог запросто, как картошка. Тогда я брюхом попибал, попибал полею по кирпичам и вместе с крошками кирпича, с пылью и копотью уронил его в зал, на головы зрителей задних рядов.

Поднялся хай. Паника! Кто-то крикнул привычное «горим!». наших двух ротозеев зрители поймали, зады им пипкарями прокомпостировали, но главное — завассарили нашу киношную плацкарту на печи.

И что вы думаете? Зашили тесом прораз между трубами? Сменили замок? Железом запаковали плацкарту?

Нет, нет и нет! Время то было героическое, напряженное, всюду велась борьба, все делалось принципиально, обдуманно, хотя и ненадежно. Завхоз клуба — шкура, может, и сам завклубом, тоже шкура, — сколотили щит из толстых плах и, пробив его гвоздями-сотками, положили на плацкарту ловушку шляпками гвоздей вниз, жалами вверх.

Вот тут и смотри важнейшее из всех искусств, наслаждайся!

Но время, время-то какое! Все советские люди работали и изобретали, думали день и ночь, к вершинам рвались. Парни наносили сена с конного двора, прикрыли гвозди, чтоб пожарные не спохватились, свистнули спецовку в АХО, прикрыли сено старыми ватными брюками, двумя копскими попонами да телогрейкой — гуляй, братва, внемли искусству!

Хорошо было смотреть кино, правда, по-прежнему шибко жарко, зато мягко и чего не стерпишь ради зрелища? Однако со временем сено спрессовалось, спецовка проткнулась, остриями гвоздей брюхо прокалывало, грудь и все прочее тоже.

Но зрители, число которых с каждым днем, то есть вечером, увеличивалось, все героически переносили потому, как после схода «Пышки» с экрана, начали показывать кинокартины одну другой героичней и захватывающей: «Волочаевские дни», «Тринадцать», «Джувльбарс».

И что тут гвозди? Тут кишжалы не страшны!

Но дело отлаженное, хитрое все же кончилось крахом. Неожиданным и полным. В детдоме нашем, да и в нашем ли только, шла, и небезуспешно, вечная борьба со вшами и чесоткой. И вот в бане малые парни, а они у нас, как всюду и везде беспризорики, пропырливые были и зоркие, что совы почные. Узрели чертенята, что старшие все в красной сыпи по брюхам, грудям, бедрам и прочим местам: «Ага! Ага! — зашумели малые. — С чесоткой в баню! Зараза!» — и к Анне Ивановне с доносом. Анна Ивановна, замещавшая директора детдома, большая сердцем, сперва нас, голубчиков, сама осмотрела, затем строем в кожную поликлинику погнала. Дорогой мы дурачились, пели жизнерадостные песни, поскольку от школы, от уроков нас освободили. «Жопу мой перед едой, чирку после ужина!» — нарочно громко орали мы, чтобы подразнить Анну Ивановну. Но она особо на нас не сердилась, лишь пальцем грозила. Она была озабочена напастью, на детдом свалившейся: опять карантин, опять пропуски уроков, опять комиссии, всякие проверки.

В поликлинике возник было переполох — массовое кожное заболевание! А какое? Врач, из ссыльных тоже, одного за другим нас осмотревший, впал в удручение, не понимая характера и природы сыпи на детях: в отшибе от мира, в малом городке всякая эпидемия — страх. Но врач был старенький, добрый, и ребята ему объяснили, что никакая это не сыпь, изранеты они по причине искусства. Долго старичок ничего не мог взять в толк, и только когда ему подробно рассказали, откуда что взялось, он уронил слуховую трубочку на пол, очки тоже уронил и катал голову по столу, пытаясь объяснить перепуганной Анне Ивановне:

— Самое важное, ой, самое... из всех искусств... самое... — и махнул рукой, так и не закончив высказывание великого человека. — Ступайте домой, ступайте, проказники.

Анна Ивановна сначала тоже смеялась, потом ругалась, потом опять смеялась. Затем усилила контроль, чтоб вечером орлы по городу не шлялись. Потом весна наступила, игры на воле пошли, кино смотреть не очень уж машило. Потом лесоконбинатовский клуб сгорел, говорили, пожар начался сверху, загорелось между труб...

Тогда и начали строить настоящий кинотеатр на веселом угористом месте. «Октябрь» назывался. Мы в него пробирались, хотя сделать это было очень трудно: кон-

троль, запоры, штаты неумолимые. Но и «Октябрь» с лозунгом на фронтоне: «Из всех искусств самое важное для нас — кино» — тоже сгорел. А вот в каком году и по какой причине сгорел — сказать не могу, меня к той поре из детдома уже вытурили по причине зрелого возраста и определили в РУ, где кино показывали очень редко, самим рэушникам ходить в кино было не на что, зато пыне, на старости лет, наверстываю упущенное — все кино подряд смотрю по телевизору бесплатно.

ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ



ДРЕВНЕЕ, ВЕЧНОЕ



ДРЕВНЕЕ, ВЕЧНОЕ

Загулял наш кошоx. Поехал в райцентр вставлять зубы и по случаю завершения такого важнейшего дела загулял. Рейсовый автобус ушел, и он остался почевать у свояка.

Копи (их было семеро — два мерина, две кобылы и трое жеребят) долго бродили по лугу, и когда я шел от реки с удочками, вскинули головы и долго смотрели мне вслед, думая, что, может, я вернусь и загопо их в стойла кошошни, но не дождавшись никого, сами явились в деревню, ходили от дома к дому, и я решил, что они уснут на лугах или прижавшись к стене кошошни, пагретой солнцем со дня.

Поздней ночью я проснулся, пошел на кухню попить квасу. Что-то остановило меня, заставило глянуть в окно.

Густой-прегустой туман окутал деревню, далее которой вовсе ничего не было видно, и в этой туманной пелене темнели недвижные, как бы из камня вытесанные, силуэты лошадей. Мерины и кобылы стояли, обнявшись шеями, а в середине, меж их теплых боков, опустив головки, хвосты и желтенькие, еще коротенькие гривы, стояли и спали тонконогие жеребята.

Я тихо приоткрыл окно, в створку хлынула прохлада, за поскотиной, совсем близко, бегал и крякал коростель: в ложку и за рекой Кубеной пели соловьи, и какой-то незнакомый звук, какое-то хрюканье, утробное и мерное, доносилось еще. Не сразу, но я догадался, что это хрипит у самого старого, падсаженного мерина в сонно распустившемся путре.

Время от времени храп прекращался, мерин приоткрывал чуть смеженные глаза, переступал с ноги на ногу, настороженно вслушиваясь — не разбудил ли кого, не потревожил ли, — еще плотнее вдавливал свой бутристо вздутый живот в табунок и, сгрудив жеребят, успокаивался, по-человечьи протяжно вздыхал и снова погружался в сон.

Другие лошади, сколь я ни смотрел на них, ни разу не потревожились, не пробудились и только плотнее и плотнее жались друг к дружке, обнимались шеями, грели жеребят, зная, что раз в табуне есть старшой, он и возьмет на себя главную заботу — сторожить их, спать вполусон, следить за порядком. Коли потребуется, он и разбудит всех, поведет куда надо. А ведь давно не мужик и не муж этим кобылам старый заезженный мерин, давно его облегчили люди и как будто избавили от надобностей природы, обрекли на уединенную, бирючью жизнь. Но вот поди ж ты, нет жеребцов в табуне — и старый мерин, блюдя какой-то там неведомый закон или зов природы, взял на себя семейные и отцовские заботы.

Все гуще и плотнее делался туман. Лошади проступали из него — которая головой, которая крупом. Домов совсем не видно стало, только кипы дерев в палисаднике, за травянистой улицей, еще темнели какое-то время, но и они скоро огрузили в серую густую глубь ночи, в гущу туманов, веющих наутренней, прохладной и промозглой сонной сырью.

И чем ближе было утро, чем беспросветней становилось в природе от туманов, тем звонче нащелкивали соловьи. К Кубене удрал коростель, пытался перескрипеть заречного соперника, и все так же недвижно и величественно стояли спящие кони под моим окном. Пришли они сюда оттого, что я долго сидел за столом, горел у меня свет, и лошади надеялись, что оттуда, из светлой избы, непременно вспомнят о них, выйдут, запрут в уютной и покойной конюшне, да так и не дождались никого, так их тут, возле нашего палисадника, сном и сморило.

И думал я, глядя на этот маленький, по недосмотру заготовителей, точнее любовью конюха сохраненный и все еще работающий табунок деревенских лошадок, что, сколько бы машин ни перевидал, сколько бы чудес ни изведal, вот эта древняя картина: лошадь среди спящего села, недвижные леса вокруг, мокро поникшие на лугах цветы бледной купавы, потаенной череды, мохнатого и

ядовитого гравилатника, кусты, травы, доцветающие рябины, отбелевшие черемухи, отяжеленные мокром, — все это древнее, вечное для меня и во мне нетленно.

И первый раз по-настоящему жалко сделалось тех, кто уже не просто не увидит, но даже знать не будет о том, что такое спящий деревенский мир, спящие среди села смиренные, терпеливые, самые добрые к человеку животные, простившие ему все, даже живодерни, и не утратившие доверия к этому земному покою.

А кругом туман, густой белый туман, и единственный громкий звук в нем — кряканье коростеля, но к утру устал и он, набегался, умолк. Вышарил, наверное, в траве подружку, затаился с нею в мокрых, бело цветущих морковниках. И только соловьи щелкали все азартней и звонче, не признавая позднего часа, наполняя ночную тишину вечной песней любви и жизни.

УНИЖЕНИЕ

В клетке зоопарка токовал глухарь. Днем. Прилюдно. Клетка величиной в два-три письменных стола являла собой и тюрьму, и «тайгу» одновременно. В углу ее было устроено что-то вроде засидки в раскоренье. Над засидкой торчал сучок сосны с пересохшей, неживой хвоей, на клетке разбросана или натыкана трава, несколько кочек изображено и меж ними тоже «лес» — вершинка сосны, веточка вереска, иссохшие былки кустиков, взятые здесь же, в зоопарке, после весенней стрижки.

Глухарь в неволе иссох до петушиного роста и веса, перо в неволе у него не обновлялось, только выпадало, и в веером раскинутом хвосте не хватало перьев, светилась дыра, шея и загривок птицы были ровно бы в свалывшейся шерсти. И только брови налились красной яростью, горели воинственно, зоревой дугою охватив глаза, то и дело затягивающиеся непроницаемой, слепой пленкой таежной темноты, забвением тоскующего самца.

Перепутав время и место, не обращая внимания на скопище любопытных людей, пленный глухарь исполнял назначенное ему природой — песню любви. Неволя не погасила в нем внешней страсти и не истребила стремления к продлению рода своего.

Он неторопливо, с достоинством бойца, мешковато

топтался на тряпично-вялой траве меж кочек, задира л голову и, целясь клювом в небесную звезду, взывал к миру и небесам, требовал, чтоб его слышали и слушали. И начавши песню с редких, отчетливых щелчков, все набирающих силу и частоту, он входил в такое страстное упоение, в такую забывчивость, что глаза его снова и снова затягивало пленкой, он замирал на месте, и только чрево его раскаленное, горло ли, задохшееся от любовного призыва, еще продолжало перекачивать, крошить камешки на шебаршащие осколки.

В такие мгновения птичий великан глохнет и слепнет, и хитрый человек, зная это, подкрадывается к нему и убивает его. Убивает в момент весеннего пьянящего торжества, не давши закончить песню любви.

Не видел, точнее, никого не хотел видеть и замечать этот пленник, он жил, продолжал жить и в неволе назначенной ему природой жизнью, и когда глаза его «слепли», уши «глохли», он памятью своей уносился на дальнее северное болото, в реденькие сосняки и, задирая голову, целился клювом, испачканным сосновою смолою, в ту звезду, что светила тысячи лет его пернатым братьям.

Глядя на певольника-глухаря, я подумал, что когда-то птицы-великаны жили и пели на свету, но люди загнали их в глушь и темень, сделали отшельниками, теперь вот и в клетку посадили. Оттесняет и оттесняет человек все живое в тайге газонепроводами, адскими факелами, электротрассами, нахрапистыми вертолетами, беспощадной, бездушной техникой дальше, глубже. Но велика у нас страна, никак до конца не добить природу, хотя и старается человек изо всех сил, да не может свалить под корень все живое и под корень же свести не лучшую ее частицу, стало быть, себя. Обзавелся вот «природой» на дому, приволок ее в город — на потеху и для прихоти своей. Зачем ему в тайгу, в холодную ночь, по колено, а где и по пояс в воде переть на ток. Он здесь получит удовольствие, за два гривеппника насмотрится на зверей, наслушается реву, песен и стопа.

Обойдя огромный зоопарк, я возвращался в подавленном настроении — звери в неволе были болезненно вялы, полуоблезлы, в свалывшейся шерсти и проплешинах. Самые вольные и грозные звери выглядели совсем жалко. Волки смотрели сквозь решетки отстраненными глазами, в которых была такая бездонная тоска, что и не выразить ее человеческими словами. Если только завывать на весь белый свет...

Меня все что-то тянуло и тянуло к клетке глухаря. Он «оттоковал», сложил свой дырявый хвост, без интереса порылся в кормушке, наполненной хвоей, смесью семян, песком и какой-то скорлупой. Зрители и слушатели, большей частью дети, набросали на пол клетки токовика семечек и кедровых шишек да орешков, будто уличному певцу в уплату. Глухарь взял в клюв орешек, подержал его и выронил, не раскусив. Посмотрел на людей без осуждения, или сквозь них, в пустоту, и поковылял в угол, за искусственно сделанную из коряги засидку.

Там сидела и терпеливо ждала его капалуха. Резиновая. Глухарь замешкался возле нее, поглядел, подумал и ткнул клювищем — для порядка — по затылку. Капалуха покорно закивала жениху резиновой, красиво разрисованной головой, кисельно колыхнулась жидким телом. Певец замер на мгновение, ожидая ответного призывного клохтанья, думая: потоптать невесту или не надо? И угадывалось, явно угадывалось — он все еще видел дальним зрением и неугасшей памятью недосягаемую тайну, разгорающееся за лесистым болотом небо, шастающих меж сосен и кочек, осыпанных прошлогодней клюквой, любвеобильных, нарядных невест, раззадоривающих, подбивающих клохтаньем на драку яростных в страсти кавалеров. Клекнул токовник, огляделся, вспомнил, где он, постариковски устало опустил на подогнувшиеся лапы, поправил что-то в крыле и задремал, прижавшись теплым боком к телу никуда не улетающей, соперникам не внемлющей, свадебной строптивости не проявляющей подруги жизни.

Она не звала к бою.

Лесной краснобровый боец сплосходительно, вроде бы даже нежно тронул глухарку, может, привычно почистил о резину клюв и, как положено благородным защитникам всех времен и лесов, похрустел, выдохнул скорбно и всепрощающе: «Что поделаешь? Надо и с этой бабой бедовать кому-то...»

КРИК В ТАЙГЕ

Жили мы в охотничьей обустроенной избушке на берегу чудной реки Сым. Жили среди дивной природы — река вся в белых песках, сахарными дюнами наплывшими на каждый мысок, загогулину, поворот, остров. Бело

сверкает пространство над водою, текущей плавно и быстро, но вдруг взрывающейся на перекатах, воронками заваливающейся в омутах и сердито, даже вздыбленно палетающей на частые подмоины с упавшим в воду лесом. Вспенно, взлохмаченно, сердито кружась, вылетает из теснин и завалов смятая река, чтобы через несколько сажен успокоиться и побежать, побежать к далекому батюшке-Енисею, припасть к нему, зарыться в его мягкую, упругую воду истосковавшимся лицом, притихнуть на его бугристой груди, успокоиться в нем.

И над всей этой благодатью теплое солнце, погожие дни, берега, полыхающие низкою рябиной, сплетеньями краснотала, пестрядью яркого листа кустарников, хоро-водной листвой березняка, осип и черемух. Чуть выше, чуть отстраненней, табачного цвета лиственницы, уже тропутые первой тихой красотой увядания.

Не перестает сердце радоваться, глаз — внимать и волгнуть от умильных слез — есть еще, есть красота да покой на земле! И пусть там где-то, за этой рекой, за горами, за долами суета, голодная, злобная толкотня, говорильня о перестройке — у нас здесь даже радио нет! Нас не досташешь!..

Хозяин колет дрова, кашевар варит рябчиков и жарит рыбу, художник рисует и на всю округу орет что-то радостное, бессмысленное. Я сижу на берегу и, забыв о проблемах соцреализма, глазею на реку, щелкаю кедровые орешки, слушаю рябчика, беззаботно свистящего неподалеку, который надул меня утром, ушел, улетел, и думаю, что, однако, скоро все же я его надую, подманю — и быть ему в ощипе...

Вдруг, и здесь, именно здесь-то и вдруг! Загудели моторы на реке, из-за речного мыса вырвались две лодки, чуть не сбив мольберт художника, сильно ударились в берег и раздался хриплый глас парода, изъеденного комарами, закопченного у костров, заляпанного рыбьей чешуею и възгрями:

— Мужики-ы-ы! Закурить?

Мы с художником переглянулись и пожали плечами. Гости, недоуменно посмотрев на нас и поняв, что городские эти придурки — не курящие, ринулись на яр, к стану, но хозяин наш и кашевар были тоже некурящие. Трое гостей, хозяин и кашевар порылись в избушке, все там перевернули — на полках, на парах и в шкафчике, даже пол хотели поднять — не завалился ли в щели какой оку-

рок. Нигде пичего не было. Над столом висел портрет киноактрисы Удовиченко, и один гость, на нее указывая, убито сказал:

— Вот она небось курит, а вы, бляди, все здоровье свое бережете!

Долго ругали нас гости распоследними-то словами, потом советскую власть ругали, потом Горбачева с его перестройкой материли, потом поели с нами горячей пищи, перед этим выпив водочки нашего подношения. Немного осоловев, гости вздохнули, подергали моху из пазов избушки и, как мы в детстве учились курить на таком «табаке», подымили, покашляли, еще раз поматерили Горбачева и перестройку, потом широко улеглись спать на полу. А я, как представитель советской интеллигенции, — на нары. И начались разговоры таежников, те бесценные, редкие уже рассказы, из которых можно составить несколько томов и все будет интересно и занимательно.

Горела жаркая печка, по стенам мелькали и колыхались отсветы огня, выхватывая иногда отблеском портрет киноактрисы в позе и с улыбкой Моны Лизы, рассказчики один по одному отключились, огласив приветливую таежную избушку пробным храпом. Проснувшись утром, я обнаружил аккуратно свернутую палатку и одежонки, засунутые под нары, шипящий соском чайник со свежей заваркой.

На столе среди раздвинутой посуды ножом придавлена записка, пацарапающая моей ручкой на обратной стороне консервной наклейки, «Ребята! Спасибо за почлег и простите нас за выраженья — уж очень шибко курить хотелось».

КУЗЯКА

Ущелье речки Белокурихи, заросшее мохнатым дурнолесьем, если смотреть на него от крайних домов поселка, производит впечатление угрюмое, неприветливое.

Первое это пейзажное впечатление смягчают чопорные зеленые сосняки, посаженные по крутым склонам речки. Рукотворные боры соседствуют с россыпью осинников, кленов, редко и стройно стоящих дубов, яблонями в садах, вошедшими в рожальный возраст. Старожилы-белокурихинцы сказывают, что по причине дубов и яб-

лошь старшего лесничего чуть было не привлекли к судебной ответственности за перерасход средств — и ничего хитрого: привлекать проще, чем деревья садить или урожай убирать, но дубы у речки выросли, яблоки к осени усыпаны некрупными, очень яркими и сочными плодами, похожими на капризно падутые детские губы; клены и всякие другие южные кусты и растения сорят семена, пускают побеги по сибирской, якобы для них не подходящей земле, бывших же местных руководящих дубов самих куда-то пересадили — исправлять природу и перевоспитываться в духе нового времени.

Саморостные леса по осыпистым местам меж камней смотрятся празднично. Березы, что сои в выздоровлении — белые-белые, часто сидят в земле семейно, растут из одного корня, пучками. Сосны, кучерявые, со скрученными ветвями, словно бы исчужа, со знойного юга явившиеся, стоят широко, кряжисто, упершись в склоны окостенелыми корнями. Меж них клубится серый кустарник таволжника, волчатника, жимолости, и там и сям из гущи выпрастываются каменья, да все причудливых, колдовских форм: то баба ядреная телом, без шеи, с маленькой круглой головкой, с надсаженным пузом и вызывающе дерзкой грудью выйдет на склон; то завиднеется в кустах шесток немазаной русской печи, на нем грудой «отдыхают» после жара ржаные караваи; то вышедшие из леса и не сданные на склад спортсменами метательные диски кучкой свалены; то перья; то крылья, то корыта; то растрескавшийся угол обомшелого храма или замка высунется из заросли, и рядом обнаружится склеп с голой желтой дверью, навечно закрывшей от любопытных глаз какую-то древнюю тайну.

В одном месте, почти над дорогой, есть круглый камень, напоминающий корабль, рухнувший с небес и одним ребром впаявшийся в алтайскую гористую местность. С исподу он напоминает обычную земную сковороду, на сковороде, на этом, модно выражаясь ЭНЛЭО, с исподу есть познавательные письма: «Гена — Рита из Зауралья». Рядом более решительно: «Косых и Серженко — 12.V.1982», сбоку элегически томная надпись голубой масляной краской: «Геолог Венка из Таймыра и Нюся из Двуречья = вечная любовь». По всей этой писанине категорично, красной краской, для патриотического, видать, воспитания, начертано: «Адиеты!»

В речке, непроломной, стиснутой камнями, изорван-

пой на ручейки, изверченной в воронки, буруны, запертой плотинами и порожками, где как, кто на ком — гранитные булыги. Впечатление такое, будто ехала большая колонна самосвалов, груженная гранитными глыбами, — перекрывать еще одну великую реку, чтобы воздвигнуть еще одну гидростанцию, но с дороги сбилась, смена же у шоферов кончилась — и они как попало и где попало сбросили свой груз, спеша в гаражи, домой, к семье, в теплую постель.

На серых, лишаями обляпанных камнях, летами нагретых жарким солнцем, возлежат парами курортник с курортничихой, поэтому мох на многих глыбах вышеркан, есть камни в пролежнях — значит, на сем месте маялся и в самом деле больной ревматизмом, остеохондрозом или радикулитом человек, не по благу сюда угодившая чья-то престижная жена, пресытившаяся сочами, ятами и варнами, решившая попробовать для здоровья и Сибирь-матушку.

Но поздняя осень, погода холоднее, курортник реже и попроще, камни снежком припорошены, речка в сером рваном льду мается, выворачиваясь кипящим клубом иль неукротимой змеею, у которой отбили голову и хвост, но пестрое, грозное тело ее все бунтарски дико вбормочается, все вяжется в узлы, все не покоряется ледяной броне. На порожках цветет мажжетками яркая пена, в каждой водяной щелке, меж камней и камешков приросла сосулька, струит-струит сиротский тихий свет, вдруг радужно загорающийся от дальнего солнечного проблеска, и кружится, кружится в воде будто пугливый огонек на восковой свечке. На подъеме его смывает пенный вихрь, как харюзка, кружа, уносит под равнодушную пластушину мучного льда, и вязнет в тесте голос потока, только брызги, алмазно сверкающие по наклонным, в камнях выросшим кустам напоминают о силе, о неистовстве, которое могло быть и бывает еще по весне в короткое половодье на Белокурихе. Вверх по речке внешней порой будто бы заходит еще рыба, немного, но заходит, и такой харюзок в Белокурихе сытый, изварлыженный, опытный, что, взявши червяка иль муху в рот, задумчиво подержит ее и с пренебрежением выплюнет, говоря человеческим голосом: «Да ну вас! Еще попадешься!»

Много возле речки обретается мелкой птахи. Даже поздней осенью ее здесь густо. И все птахи тоже опытные, бойкие на язык. Табунятся они не столь в лесу, сколь-

ко возле домов и санаториев, без устали шныряя по балконам, тропинкам, залетая в открытые окна и двери комнат, в столовые и на кухню.

По части квартирных дел самые большие специалисты — белошекие, юркие синицы в жилеточках купоросного цвета. А вот гаечки, те больше на дорогах и на тропках промышляют, точнее, побираются, садясь на человеческую руку, не без боязни тычутся в ладонь, хватают семечко или орешек — и тягу в кусты, с писком, изображающим испуг, но может, и благодарность.

Шел я так вот, с протянутой ладонью, останавливался, кормил пташек орешками, все далее и далее провожающих меня в лес, в горы, и вот из серых осинников, из непролазных кустов бузины, черемушника, ивняка и другой черполесной дурнины возникла и полетела ко мне, как бы сорванная с затухшего костра, лохмочка отгара и, пискнув «цирк-цирк», вцепилась в ладонь коготками и оказалась поползнем, которого и в лесу-то, в тайге нечасто увидишь, коли увидишь, так никакого он внимания не оказывает человеку. Вертится по корявинам ствола, чуть слышно царапает коготками ветви и паросты, громко долбит острым клювом, сует его везде и всюду, добывая пропитание и в трудах своих не сознавая никакого одиночества, отторженности от птичьего и всякого другого мира, живущего на свету опушек и в полевом раздолье. За трудягой-поползнем зорко следят гаечки и другие малые птицы, подбирают после ловкого добытчика сроненную вместе с коринкой сохлую мушку, где и недоклеванного короэда, где и пухлую личинку усача. Не сердится на соседей поползень, братство лесное и ему, отшельнику, ведомо, хоть он и виду не подает, что готов поболтать, посумерничать с пернатой братвой, готов быть кумом и советчиком всякому лесному жителю, но занят, занят от рассвета до темна.

И вот этот-то лесной хлопотун и труженик уселся на мою руку, вцепился в пальцы коготками, и хватать кедровый орешек, и второй поровит сгрести, да клюв маловат, не удержалось два орешка, один выпал. «Цырк-цырк! Цырки-цырки-цырки!» — пропищал поползень, улетая на ближнюю березу. Я понял его так: не уходи, дескать, погоди, я сейчас управлюсь с орехом и второй возьму — он моим клювом мечен и положен мне по закону.

Вокруг меня вертелись, чиркали гаечки, но на ладонь решилась присесть лишь одна, и та лишь на миг, чтоб схватить орешек и поскорее укрыться в кустах.

«Цырк-цырк!» — послышалось от речки, из серых зарослей возникло сперва белое пятнышко, затем лохматущечка, и вот, уже поныривая, прет, остренько опустив крылья, подобрав лапки, без шейки, белогруденький, с чуть заметным поджаром по бедрам, поползень, во всем, даже в полете, приспособленный жить в хвойной глуши, в чащобнике и непролазной дуршине, выедавая там всякого мелкого лесного врага, когда семечко попадет иль орешек — тоже не отвернется, не погребует.

Гнезда поползень, его в нашей местности лазутиком зовут, вьет очень редко, он занимает старые дупла, выдолбленные дятлом или выгрызенные какими-то зверушками дыры в деревьях, крошит на дно их гнилушек, стружечек, сверху сухие соломки кладет, если перья или пух попадутся, устелит ими гнездышко, и самка, совсем уж скромная одеянием, белогруденькая, серенькая, положит в гнездышко яички величиной с самую известную в послевоенные годы конфетку, под названием «Морские камешки». Не ахти какая добыча эти яички иль голопузенькие птенцы, таракашками копошащиеся в гнездышке, но колонок, горноста́й или соболишка мимоходом могут прихватить и их незаметно скушать, поэтому папа устрашающе и гулко рокает в хвойной гуще: «Ык-ык-ык», издали это звучит вроде как «Бык-бык-бык» — попробуй походи к быку — забодает.

У затаенной таежной птицы, живущей лесом и в лесу, вообще множество всяких сигналов. Есть тревожное: «Чжок-чжок-чжок-чо-ок, чо-чо-чо-чо-чок и чик-ык-ык», постигнув птичьей башкой своей высший смысл бытия, прижившийся подле курорта, перешел лесной отшельник на подхалимский голос, на «Цы-цы», на «цы-цык».

Сжавши кулак, не пускаю к орехам Кузяку — такое имя я придумал лазутику от праздного времяпрепровождения. Он вцепился в рукав шубейки и сердито долбит по пальцам шильцем клюва. С головы похож Кузяка на крошечного дельфинчика, в клюве у него будто черная ниточка, которую забросило ветром на щеки, темным лоскутком перекрыло глаза с маковое зернышко величиной. Хвост у Кузяки словно отчекрыжен ножницами почти до самого подгузка, осталось ровно столько, чтобы рулить да чтоб сквозняком на зимнем ветру птаху не продирало.

— Что ж ты дошел до жизни такой, таежник! Побирušкой сделался! Не стыдно?

«Цырак-цырак-цырк!» — оправдывается Кузяка. Как

все, мол, так и я. Что ж, значит, я добывай в трудах хлеб пасущий, а они, эти трусливые гаечки, будут жить припеваючи, беззаботно, на дармовом харче? Не-эт, не поступлюсь курортной привилегией! Шут с ним, с тем таежным привольем! Чего сам туда не лезешь? Тоже таежником был, а на курорт приволокся. Горазды все поучать и таежное житьё славить, сидючи в городской избе, возле теплых батарей, с магазином рядом.

На другой день, только я вышел к речке, углубился по тропе до каменисто осыпавшегося поворота, слышу: «Цырк-цырк!» — и вот он, Кузяка, передо мной, с ходу на ладошь, орех в клюв — и пошел работать, пошел посититься туда сюда. Сипицы большие да гаечки порхают вокруг, восхищаются: «Ах, какой храбрый Кузяка! Ах, какой верный друг! Он и нас орешком не обделит!..»

Организовалась вокруг Кузяки артель, этакий, спаянный дармоедством, коллектив получился, нахваливают пташки работника, возносят его трудовую доблесть звонкими голосами — он и рад стараться.

— Да вы тут вроде как по бригадному подряду действуете!

«Цырк-цырк!» — вскричал бодро Кузяка. Не отстаем, дескать, у людей уму-разуму учимся и постигли уж кое-что, и кое-чего достигли.

И еще одна любезная в Кузяке особенность открылась: в труде и добыче он хваток, но не жадеп. Спрятавши орешек или семечко, часто забывает, где спрятал, да и роляет на пол, в траву, в чашу, в заросли, и писколь не сердится, что корм, им добытый, достается каким-то другим птахам.

Устроив в щель замшелого камня орешек, Кузяка, раздалбливая, часто скатывал его вниз, в снежок, там его мигом подбирали сипицы и, воровато пырнув, уносили во впадину речки. Сипица держит семя или орех в коготках цепко, долбит его быстро, одному Кузяке таких ловких нахлебников не прокормить, он дружков покликнул, семейство собрал на подмогу. Я не стал ждать попрошайку, пошел по тропе в горы, но вослед неслось настойчивое «цырк-цырк!» — подожди, мол, не сердчай, сам же раздразил подачкой. Над ухом у меня что-то дробно хуркнуло, и возле груди моей бабочкой забилась, затрепыхалась серая пташка, явно меня оставившая. Что же делать-то? Я долго стоял с полусжатой ладошью, из которой поползши таскали и таскали без усталости орехи.

Прошло несколько дней, и вокруг меня на горной тропе трепыхался уж целый выводок поползней. Верховодил всеми Кузяка. Тут же вертелись, чиркали и поощряли криками своих собратьев гайки, далее, в кустах, как бы вовсе ни на кого не обращая внимания, шпыряли пузатенькие силицы с черненькой ермолкой на макушке. Эти, случалось, и схватывались в воздухе, дрались из-за корма. Кузяка шпырял по лесу, садился на камни, на тропу, на мое плечо, на голову, и слышалось его непрерывное «цырк-цырк!» — приветствовал он меня или благодарил, унося зерно в ухоронку, может, просто ободрял пернатый народ, мол, не бойсь, ребята, всех прокормлю. А может, и посмеивался надо мною: «На наш век дураков хватит!»

Однажды я зажал пальцами лапу Кузяки, поймал его и взял в правую руку. Не шевелится, не кричит Кузяка, лишь черные точки глаз, что спичечные головки, пет-нет да и зажгутся, сверкнут от птичьей ярости. Я приложил брюшко пальца к груди Кузяки — тычется сквозь перо птичье сердчишко, бьется судорожно, толчками, гневается и боится птица. Страх парализовал его, отнял у него разум? Подставляю ладонь с орехами. Кузяка хлесь, клювом — все орехи с ладони разбросал — «цырк-цырак, цики-цики-цики!» — заругался. Не злоупотребляй моим доверием, не имеешь морального права меня иметь и мучить, раз тебя гуманистом именуют. И я разжал пальцы.

Лети, Кузяка! Живи, милый дружок, сколько можешь и как можешь. Вот только длинным ли будет твой век? От легкого, дармового корма не ослабеет ли в тебе птичья жила и крыло, не облениться ли ты без трудов и забот лесных до того, что и детей выводить перестанешь или выведешь таких, что и летать не смогут? Их, вольных птенцов, не на курорте надо заводить, не дармовым харчем кормить, в лесу их тебе полагается высиживать и растить. Но там холодно и боязно: зверек может съесть, сороки да вороны яички могут украсть, птенцов заклевать. Но все же лес, тайга густая — твой дом.

А люди, Кузяка, что ж? Люди, они все разные. Развращая тебя, многие из них и не ведают, что творят, они развлекаются, хотят кого-то любить, ободрить, помочь кому-нибудь, забыть о болезнях, нелегких своих буднях, о бомбе и военном проклятье, нависшем над ними.

Помогая тебе, они тем самым помогают себе стать лучше и добрее.

Много времени прошло после поездки в Белокуруху, но все видятся малые, доверчивые птахи, отважно сажающиеся на теплую человеческую руку, и почью из сонной чащи звучит мне приветливый голос: «Цырк-цырк! Цыки-цыки-цыки!..»

ТИХАЯ ПТИЦА

Старая скопа, чуть пошевеливая тряпично-вялыми, дырватыми во взмахе крыльями, плавно и упрямо кружилась над Енисеем, выглядывая добычу.

Выше по реке огромная гидростанция перемальвала воду, обращая силу и мощь ее в электроэнергию, и тугими, круто свитыми волнами, ударом ли зеленого от напряжения слива, гулом ли могучих машин и кружением колес оглушало ль придавливало мелкую, реже крупную рыбу. Плыла она кверху брюхом, шевелила жабрами, то открывая небу красный их жар, то закрывая на вдохе хрустящие крышки жабер в узкие щели и настойчиво пытаясь опрокинуться на бок, затем на белое чуткое брюхо. Иной рыбине удавалось стать на ребро, кверху «святым» пером, и даже на некоторое время разворотиться встреч течению головой, бороться с ним, рассекать воду, упираясь хвостом в струю, упрямо плыть вверх, куда-то туда, где исток рыбьего рода или где была когда-то большая вольная вода вечности, заронившая в рыбий мозг неистребимый зов к движению, к воде обетованной или к чему-то так и не отгаданному хитромудрым человеком, который делает вид, будто все вокруг постиг, а уж про такую молчаливую тварь, как рыба, и знать-то печего — она и годна лишь в котел да на сковородку.

В первые годы работы гидростанции, как и на всех загороженных реках, рыбы у плотины толкалось много и ее хватало всем: и птицам, и зверям, даже пенасыгтным воронам хватало. И людям, которых тут, как и ворон, звали стервятниками за то, что они вылавливали полудохлую, а то и дохлую рыбу, хватало и на пропой, и на закусь. Но прошли годы, рыба, истолченная водой и железом, которая нашла другие пути и воды, зашла и обжила их, и редко уж, редко пронесет по Енисею, обмелевшему, суетливому, со дна вывернутому, будто старый овчиный тулуп, галечными, серыми шиверами и отмелями, зевающего

окушка либо судорожно шепчущую что-то вялым ртом сорожопку, искрящегося чешуею ельчишку, и тогда старая скопа из лохматого, малоподвижного существа, похожего на истрепанную меховую шапку, скуки ради кем-то кинутую в небо, сразу преобразалась, сжав тело и крылья, падала стремительно и расчетливо вниз, ловко с одного захода брала с воды добычу.

Скопа жила в рыжих скалах, продырявленных пещерами, по левому берегу Еписея. На одиноком, ветром остеганном дереве было у нее и начинало уже рассыпаться издаലെка видное гнездо. Здесь, на левом берегу реки, не так еще шумно и людно, как на правом, редко, как бы крадучись, по кромке каменистого берега проковыляет к дачам частный «Жигуленок» или прохрапит напряженным мотором самосвал с уворованным бетоном, грузовик с гвоздями и пиломатериалами.

Скопа привыкла к этому украдчивому, рвущемуся шуму и редкому движению, да и живет она высоко. Под деревом, одиноким и полузасохшим, в расщелине, заросшей жимолостью, шипицей и таволжником, у нее есть спокойная засидка. Она там спит и может о чем-то думать свою птичью, никому не ведомую думу, а над нею проносятся ветры, самолеты, хлещутся летами и оседают меж камней осеями торопливые и какие-то беспокойные листья, сорит обломками сучков и прелью гнезда старое дерево. К одиночеству скопе не привыкать: одиночество — удел хищника, даже такого смиренного, как скопа, очищающего от дохлятины и большой рыбы большие и малые водоемы, в особенноти новые, так страшно загаженные всякой зарослью водорослей, еще не паладившие ни берегов, ни жизни водяной, ни погоды, ни природы.

Пищи старой скопе падо уже немного. Летний день велик, и она углядела бы и схватила бы с воды пяток-другой рыбок, не спеша расклевала бы их в камнях, и мышки за нею подобрали бы, источили и косточки. У мышек очень острые резцы, их зубу любая кость дается. Это они, мышки, истачивают и обращают в прах сброшенные в тайге олепы и сохатинные рога, павших от ран и болезней зверьков и зверей: мышка, ворон, скопа — санитары, и какие санитары, вод и лесов.

Но стара скопа, стара. Затупились когти на ее лапах и очерствела на них кожа, ссохлись пальцы. Чтобы донести пойманную добычу до скал, падо скопе крепче зажать ее в когтях, и она садится на сплавную бону, сделанную из

пиленого бруса, широкую и удобную бону, добывает клювом рыбицу, если она еще живая, и пробует упрыгать, скатиться с бонь, затем уж уверенно берет птица в лапы, зажимает в когтях рыбицу и, неспешно махая крылами, направляется в скалы, в рыжие, древние камни, наполненные мудрым молчанием тысячелетий, чтобы там, в горделивой, высокой дали, попитаться, очистить о камни клюв и, отдыхая, глядеть вниз, на реку, на суетящиеся по ней моторки, катера и буксиры, на «Ракету», детской игрушкой, ткацким ли челноком, пролетающую то вверх, то вниз по реке. У нее, у «Ракеты», и дымок-то сзади какой-то легкий, тоже игрушечный. Качает куда-то и зачем-то плывущие бревна, пошевелит скрипучую бону, ударит по берегу, катнет отточенный волной камешник, выбросив на него кору, щепу, обломки деревьев, мусор и мазутные тряпки. И долго, уже после того как «Ракета» унесется, исчезнет за островами, среди городских недвижимых громад, возле берега будет еще мутной полосой поплескиваться, успокаиваться и отстаиваться вода. И, задремывая, старая, высокая птица раздвоит в зрачке мир: солнечное поднебесье с животворительной голубизной — в верхней половине и мелкий, суетный нижний мир, исходящий шумом и вошью, с этой всеколышащейся, всей быющей в берег, грязной, взбулгаченной полоской воды.

Отдохнет, успокоится, наберется сил старая птица — и снова на работу, снова круг за кругом над рекой, словно в бесконечном, утомительном и сладком сне, парит, неприкаянная, всеми забытая душа. А по берегу на бонах и на бревнах сидят вороны и сторожат свой момент. В Сибири вороны черны, что головешки, никакого просвета на теле, никаких теней и оттенков, и характер у здешней вороны, как у черного каторжника: ни себе, ни птицам, ни людям от нее покоя нет. Вместе с сороками ворона тащит все, что уцелит глаз, вплоть до мыла во дворе и на пристани. Беспощадно чистит скворечники и гнезда от яиц и птенцов, дерет зазевавшихся цыпущек, рвет харч из рюкзака у забывчивого, мечтательного рыбакишки. Друг дружку вороны тоже не жалуют: видят, что какой-то проныре повезло, раскопала она что-то или стибрила, в клюве добычу несет, похарчиться метит, — немедленно целой оравой бросаются догонять, отбивать — братство тут не в чести.

Ворона, которая постарей да поопытней, съестное урвет или добудет — скорее молчком махает в бурьян, под

застреху сарая либо в заломы бревен и там, воровски озираясь, поскорей жадно исклевывает в одиночку — корку хлеба, дохлятину, случается, и кильку в томате выкушает. Алкаши напьются на берегу, посваливаются, ворона у них все тут и подберет, издолбит; один раз из стакана бормотухи клювом хватанула, головой затрясла, к реке попрыгала — горло промывать — бормотуху вороны еще не освоили.

За скопой вороны никогда не бросаются сразу. Увидев, что та разжилась рыбкой, они приотпустят ее до середины реки и тогда с торжествующим, враждебным криком и гомоном бросаются вслед за добытчицей, быстро настигают и атакуют ее со всех сторон, рыча при этом и каркая. Кажется, я даже разбираю, что они кричат: «Отдай, хар-харя, отдай! Наш харррч! Харррч!..»

Скопа какое-то время увертывается, вихляется, вихляется, жметя к воде, скользит над рекой. Вот уж и берег недалеко, и скалы с родными расщелинами близко — там разбойницам-воронам ничего с нею не сделать, там она спрячется от черной банды в камнях, в сохлом, колючем кустарнике. Скопа умеет прятаться, так сложится вся и замрет, что сама делается похожей на камень, даже шакалье, всезрящее око вороны не различит ее в камнях.

Но скопу гонит черная банда, паторевшая в разбое и воровстве, ее подшибают снизу, палетают сверху, будто вражеские истребители, и долбят клювами, царапают лапами и орут оглушительно, стайно, вразнобой и все вместе: «Харрч! Харрч! Хар! Хар!..» Вот и перья вышибли или вытеревили из старой птицы, по хребту с прореженным пером когтями прошлись. И не выдержала скопа патиска, разжала скрюченные лапы, уронила из когтей добычу. Серебрушкой сверкнув на солнце, рыбешка упала в воду, вороны, клубясь, закружили над ней, погнались вниз по течению, хлопаются, орут, толкают друг дружку, но рыбку с воды взять не могут и в конце концов теряют ее и с руганью рассыпаются по сторонам. Рассевшись по бревнам, они клювами укладывают на себе перья, приводят себя в порядок и угрюмо ворчат: «Уплыл харрч! Улетела харря!» — однако нам торопиться, мол, некуда, наша жизнь такая — ждать, терпеть и надеяться. Но над заломами из бревен, над болами, над всей вороньей стаей, почитай, еще с полчаса мотается, хлопает крыльями мама-ворона или папа-ворона и кроет своих детушек подслушанными на берегу, от пьянчуг почерпнутыми словами, главным

образом блатными: «Фрайерра! Харрри! Трррепачи! Трретий срок на земле мотаете, а жрратву, корррм урррвать не можете, хмырри!» Детки, смиренно подогнув лапы, прижимаются брюхом к нагретым бревнам, безропотно внимают ругани родителей, учатся уму-разуму.

Скопа, лишившись добычи, всякий раз издавала протяжный, топкий стоп и махала ослабевшими крыльями к берегу, к скалам, и я никогда не видел — куда она улетает, где садится, потому что вблизи и на фоне скал она делалась незаметной. Какое-то время еще мелькало что-то серенькое, мохнатое, трепыхалось почной бабочкой иль пыльным листиком в воздухе, но свет скал, их рыжеватосерая тень постепенно вбирали в себя птицу, и всякое движение замирало, ничто не тревожило покой каменных громад — ни крики, ни стоп, ни взмахи крыл, и только почью, сперва за Караульным быком, потом на спуске от него и по узкой полосе берега мелькал иногда свет машинных фар да прорезал темноту и полоской ложился на воду огонек терпеливого рыбака иль приютившегося у реки туриста.

К осени скопа над Енисеем появляться перестала. Улетела ли тихая птица в другие края из приенисейских скал, подалась ли на просторное водохранилище, где больше рыбы и такое обилие хлама, воды и заливов, что не пайти, не достать ее там грабительницам-воронам, да и с хлебных полей в тех местах вороны питаются, на помойках и захоронениях дохлого скота пасутся.

Но скорее всего, померла скопа от голодной старости, и тело ее ссохлось, упало в камни с одинокого, рыжим пухом к холодам покрывшегося дерева, там и растеребил ей, и съели шустрые, старательные мышки. Перья разнесло по родным расщелинам и распадакам, и весной соберут перо малые пташки, устелят им гнезда.

Ах, старость, старость — всем-то, всем как есть она не в радость.

ГНЕЗДЫШКИ

По реке Малый Абакан, да и по Большому Абакану рубят пустотелый лес, в основном кедр. А пустотел он оттого, что на пустошах, сделанных лесорубами и пожарами, по склонам гор смыло почвенный слой, и деревья стоят по колени, а где и по горло в голом, перодливом и

равнодушном навале камней. Но лес все равно рубят, выбирая из огромного хлыста иногда бревнышко, иногда два, а то и ничего не выпилив, бросают лес по берегам, запалив его напоследок.

Выгорает хвоя, сухие сучки, ветки обгорают, кора на стволах, а сами деревья валяются, где вразброс, где штабелем, но чаще завалом, так и смяк, на крест вершинами перепутавшись, с горелыми стволами соединясь.

По весне ледоход, другой, третий — ледоходы в горных реках бурные — патолкает в завалы камней, курумнику, песку, упрется вода в эту преграду, побьется, побьется и с ревом обогнет ее, сделав еще одну загогулину на своем и без того извилистом, запутанном пути.

Из берега, из камешника, заново обросшего смородиной, красноталом, бузиной, ольхой и всякой травяной и древесной дуршиной, торчат закопченные стволы орудий, как из стены древней крепости многорядно торчат — это пустотелые, недогорелые стволы деревьев, отбросы лесозаготовителей, сор щедрой и богатой нашей державы.

И вот ведь жизнь! Вот сила и стойкость ее. Глянешь в пустой черный ствол дерева, а в нем гнездышко птичье, где и два. Кто-то убегает в глубь ствола, в темь — от страшного человеческого глаза, кто-то шипит устрашающе, щелкает зубами. А из других стволов, из готовых дупел, к которым еще не подошел человек, не пугнул глазом живую душу, сыплются, вылетают зверьки, птахи. Вот мягко катнулся сверху на камни пестрый бурундучок с надутыми щечками, принес, видать, в свой запасник кедровых орехов за щеками, тоненько засвистел, напуганно взвился на ближнее дерево. Смотрит оттуда, отрывисто чикает, словно бьет кресалом по кремнию, и чудится, что хочет сказать взглядом и звуком: «Ну чего тебе здесь надо? Ведь загнал уже нас в удушливое, горелое дупло, так оставь хоть здесь в покое!..»

Да где же оставит его в покое царь природы, коли он себя загнал в отравленный горельник, подыхает там и делает все, чтобы вокрут все живое вместе с ним подохло.

АЛЕХА

— Алеха! Слушай, Алеха! Вот в газетке пишут, молодая девка, студентка, ребеночка оставила в роддоме. Это как так? В Стране Советов, понимаешь! Это ведь его из род-

дома в Дом ребенка. После — в детдом. Все дом, дом, а дома-то нету. Понимаешь?

— Понимаю, — открыл глаза Алеха, ехавший из лесу, с работы, в промасленной спецовке. — Мне бы не понимать! — фыркнул он широкой губой.

И смолк Алеха. Человек немногословный и, должно быть, категоричный, кроме того, усталый после трудового дня и долгого пути в холодном автобусе. Он снова закрыл глаза, плотнее прижался к скользкой спинке сиденья, вдавился в него, чтоб теплее было, и через некоторое время, как бы для себя, начал рассказ размеренно, тихо. Но чем далее он говорил, тем тише становилось в рабочем автобусе, обшарпанном, изношенном сверх всякой меры и безопасности.

— Осенью было. Нет, че это я? — Алеха потер черным кулаком лоб. — Летом было. В середине июня. В лесу черница цвела, рябина и всякая ягода. Мы перемещались с участка на участок. Я тянул сани с будкой. В будке были такие же вот трудяги, как вы, и инструмент. Дорога старая, еще в войну геологами проложенная, вся уж заросла сквозь, где травкой, где мхом, где кустом. Еду. Дремлю. По радиатору ветками хлещет, по кабине шебаршит. Привычно. И вот ровно кто толкнул меня под бок. Вроде бы проснулся, вроде бы и нет. Покажись мне на дороге, в самой середке, в ягодниках, под калиновым сохлым кустиком гнездо. Большое. И птица на ем. Большая. Я уж паезжаю на его. Э-эх, Алеха, Алеха! Скоко тебе говорили: «Не дремли за рулем!..»

Остановил машину, бегу, всмятку, думаю, и птица, и яйца... Аж все сердце зашлося, как с большого похмелья. Подбегаю. Все на месте! Птица сидит на гнезде — попала меж гусениц, меж полозьев. И усидела. Это ж какое мужество, какая героизма! — Голос Алехи возвысился и оглушил, должно быть, и самого Алеху. Он прервался, ерзнул на сиденье, будто удобней устраивался, и все под ним заскрипело и даже чего-то, какая-то гайка или железяка, тошко и жалобно проскулило. — И вот сидит, стало быть, капалуха, глаза закрыла. Меня не видит. Ничего не видит. Ничего не слышит. И вроде бы как завяла, мертвая сделалась. Я потрогал ее пальцем: перо сваялось, все мясо в кости провалилось, но тело горячее. «Сиди, — говорю, — не бойсь меня!» Оглянулся: никого нету, погладил ее укладкой, а то ведь оборжут.

Назавтре возвращаюсь в старый поселок — неужто мать еще на гнезде? Зренье напряг. Сидит! Я остановил трактор, газую, спугну, думаю. Нет, как камень сделалась птица. Ломик взял, по кабине зублю. Сидит! Ну чё делать? Поехал. Осторожно, осторожно... Оглянулся — все в порядке!

И так вот восемь рейсов я сделал. И ни разу, ни разу пташка не сошла с гнезда! Ни разу! Нельзя уж было, видно, ни на минуту яйца открывать — остыли бы. — Леха прервался, отмахнул от лица дым, который пускал на него сосед. — Одним рейсом вез я паше бабье: поваров, там, пекарей, бухгалтеров, учетчицу и просто лахудров. Вот, думаю, покажу я имя. И расскажу. Остановлюсь специально, выгошно с вагончика — и дам урок этики и эстетики: как птичка неразумная трактор над собой и сапи пропускала. Это ж подумать — и то ужась! Это ж курица домашняя не выдержит! Улетит и пестись перестанет. Но уж не было капалухи на гнезде. Издаля еще заметил: белеют скорлупки в лунке, а матери нету. Ушла. И птенчиков увела. Сразу, видать, и увела, как вылупились. А гнездо — чисто шапка мушшинская, большая, перышки в ем. Я гнездо взял в кабину. Храпо. Как школа на участке новая откроется, так и отнесу туда. И расскажу ребятишкам про капалуху...

Алеха смолк и сомкнул не только глаза, губы, но и весь сомкнулся — надолго, накрепко. Наговорился. А напарник его или попутчик удивленно смотрел на Алеху, словно видел его впервые, и, погасив окурок об обшивку автобуса, прочувственно молвил:

— С меня по-литра, Алеха! Нет, — рубанул он себя по колену, — литра! Мог переехать птицу? Запросто! Потом ее сварил бы — и на закусон. Не сварил! Не съел! Это же подвиг, товаришши?! Про это надо в газетах писать, а не про бабов-курвов, что детей плодят и по всему белому свету рассеивают...

Никто, ни Алеха, ни лесорубы, едущие с зимней деляны, разговора не поддерживали. Устали, замерзли трудовые люди, подремывали, домой едучи, в тепло, к женам, к детям. А где-то, в большом городе, маленькие ребятишки играли бутылочками с падевшими на них сосками и собственными кулачками — игрушек на всех не хватало, и воспитательниц на весь дом было только две.

БОЛЬНЫЕ ЛАМЫ

Я не пишу и почти не рассказываю о заграничных поездках — ни к чему себя и людей расстраивать, у них и без того жизнь черная. Воспоминания во мне, со мною, они стали частицей моей жизни и, значит, в любую минуту, в любой миг, в любой работе влияют на мои отношения к действительности, да и на творчество тоже.

Но в поездках случается такое, что пулей ранит сердце, скукоживает тело, холодит кровь и тревожит, тревожит память.

Я был в Колумбии на международной выставке книги, и посольские работники, не забалованные вниманием и не утомленные гостями, заласкали меня, заразвлекали, заугощали и в заключение даже на рыбалку свозили высоко в горы, на озеро дивной красоты, где у наших посольских работников есть постоянное место и даже стол в берег вкопан.

Ловили форель, но ловилось худо, зато елось и пилось хорошо, потому что в этой благодатной стране есть что кушать, есть что пить.

Теплынь, благодать, цветет все крупно, ярко, и даже топтун-трава, что растет по нашим улочкам под забором и где только есть место, цвела тут сплошь беленьким ситчиком. Цветя и отмирая, травка становится таким мягким проступаемым матрацем. Ходить в горах вообще тяжело, шаг ускорить нельзя, утомляется сердце и болят ноги, а по такому вот травянистому настилу, как по болотному мху, ходить вовсе утомительно. Поэтому я больше сидел на стане, глазел и, наговорившись в дороге, помалкивал, любовался.

Было на этом голубеющем озере, охваченном воистину буйно цветущими, в каждую щель лезущими растениями и лесами, столько всего, что попытка описать заморские дива заняла бы очень много места.

Среди красот и предметов, окружавших озеро, мое внимание привлекли неподвижно стоящие возле воды животные, издали похожие на наши деревенские скамейки, к которым приставлены длинные шеи с головой. Что-то трогательное и смешное было в этих, с виду неуклюжих, но прекрасных животных с голубыми печальными глазами. Это были ламы, поилицы, кормилицы, согревательницы, спасительницы всех горных народов Южной

Америки. В первую голову перуанцев, боливийцев и индейских племен, проживающих в горных провинциях Колумбии.

Одну ламу я видел из машины и заметил неизбывную человеческую печаль в ее чистых голубых глазах, совершенно схожих красотою с нашими цветками незабудками. Лама стояла почти на дороге, вяло переступив, уступила путь машине, вроде бы не отошла, а отодвинулась с укором, как мне показалось, глядя нам вслед.

Я изъявил бурное желание остановиться, посмотреть, погладить это экзотическое животное, но мои спутники переглянулись, прибавили скорости и сказали, что на озере, на берегах его очень много лам. И в самом деле, только на ближних травянистых мысках стояло их до десятка. Неподвижные тени животных четко отражались в прозрачной воде, и во всей этой неподвижности было что-то завораживающее, молитвенное, может даже, и потустороннее.

Я все порывался пойти к ламам, посмотреть, погладить их, но, проявляя воистину дипломатическую гибкость и изворотливость, спутники мои не отпускали меня к животным, и, хорошо освоившись в компании, накопив некоторую вольность в поведении, я сердито и упрямо, может, и капризно — гость же! — дипломаты так вели дело и мораль такую держали, что ради редкого русского гостя и затеяли эту поездку, потрафляя мне во всем, довели меня до определенной распоясанности, и я, значит, сердито на них: «Почему к животным не подпускаете? Они что, застрахованы или забодают меня! Но у них нет рогов, и я читал и слышал, что это самые мирные и безобидные животные на земле».

«Все так. Все так», — поддакнули дипломаты и провозгласили тост в честь посла, только что изловившего форель хорошего веса и неопикуемой красоты — цветок водяной, и все тут!

Про лам я забыл. Пробовал тоже чего-нибудь добыть, но в озере плавала не моя рыба, да тут еще рыбнадзор нагрянул, нарядно одетый, на вихревом катере — обмерял трех рыбин, пойманных дипломатами, сказал, чтоб на икру не рыбачили, только блесенками, крючками и не далее того вон выступа — иначе будет штраф, и, как мне назвали сумму штрафа, так я сразу протрезвел и подумал: «Вот бы таких нарядных, быстроходных и беспощадных храшителей природы нам!..»

Словом, о ламах я вспомнил уже тогда, когда поехали мы домой, и снова попросил остановиться — обещали же! Видимо, я так надоед дипломатам, что они категорически мне сказали:

— Нельзя!

— Да почему? — взмолился я.

— Они больны.

— Да чем же?

— Сифилисом! — безо всякой уже дипломатии объявили мне.

— Ка-ак! Вы что? Каким сифилисом?

— Человеческим.

— Ка-ак? Кто же это?..

— Человек!

Больше мне ничего не объясняли, не хотели портить мое светлое праздничное настроение — хорошие все же люди дипломаты. Не только хитры, со всегдашними тайнами в сердце и неизменностью в характере, но и чуткие среди них попадают.

Дай им Бог большого здоровья и терпенья, чтобы утеречь свое и наше достоинство. Но вот годы прошли, а все не могу забыть тех несчастных и покорных животных, что догнивают заживо у родного озера и однажды тихо упадут на тихую, цветущую траву подле врачующей воды. И птицы расклюют их, зверьки изгрызут, кости соберут могильщики — местные санитары, отвезут их в лес и закопают.

ЖИЗНЬ ТРЕЗОРА

Пестрый кобель с крупными лапами и сонной мордой враспяжку лежал поперек крыльца, обязательно поперек, чтобы кто ни шел — за него зашпунлся и он следом прорвался бы в избу. В жилище Трезор сразу забирался под стол, вольготно там растягивался; если на него ставили ноги сидящие, наступали на широко разбросанные лапы, он подскакивал, бухался башкой о столешницу и дико влзлаивал: «Э-э, товарищи, не забываетесь! Я здесь!»

Ел Трезор из старой эмалированной кастрюли. Посуда — одна на всех животных, обитающих в доме: трех кошек и его, Трезора. Засунув морду в кастрюлю, пес выбирал что помягче, повкусней. Кошки терпеливо сиде-

ли вокруг и облизывались, не смея потревожить трапезу господина. Если какая из кошек совала морду в кастрюлю, Трезор изрыгал рокот такой гневный, что кошки бросались врассыпную.

— Ну, печистый дух! Жадина! Тигра и тигра! — кричала хозяйка.

Трезор вопросительно глядел на нее, пытаясь понять: тигра — это хорошо или плохо?

Просыпался он и пехотя вылезал из-под стола после полудня, когда хозяйка начинала собираться в магазин — работала она на телятнике и еще торговала в магазине. Стоял на крыльце магазина Трезор, бухал на всю округу лаем, словно в колокол бил: «Спешите! Спешите! Открыто! Открыто! Открыто!» — и меж ног покупателей пробирался в магазин. Если же не было таковых, лбом отворял дверь и останавливался перед прилавком в ожидании.

— Куда тебя денешь? — говорила хозяйка. — Заработал — получи! — И бросала Трезору кусочек сахара, колотый пряник либо мятую конфету.

Скушав угощение, Трезор или засыпал возле дверцы топившейся печки, или снова выбредал на улицу, потягивался, широко, со сладким воем открывая пасть, и отправлялся заедаться на брата Мухтара.

Мухтар был мастью и статью вылитый Трезор, по характером совершенно от него отличался. Если Трезор — отпетый тунядец, хитрован и увалень, то брат его, наоборот, был трудолюбив, особенно на охоте, строг, сердит и потому сидел на цепи. И горька же ему, вольному, стремительному, подтянутому телом, быстроногому, была такая жизнь. А тут еще братец явится и ну рычать, ну разбрасывать снег лапами, иной раз до земли докопается, весь столб обрызжет, полено в щепки изгрызет, показывая, как и что бы он сделал с Мухтаром, если б захотел.

Мухтар на все эти издевательства отвечал свирепым хрипом, рвань с цепи, душился до полусмерти, глаза его кровенели, изо рта сочилась пена и, случалось, рвал ошейник или цепь — и тогда бело-пестрый клубок из двух колебелей катился по заулку, разметывал сугробы, ронял поленицы, сшибал ведра, ящики — так пластали псы друг дружку, что разнять их было невозможно.

Раскатятся, разойдутся на стороны братья, оближут-ся, отдышатся и снова «Р-р-р, рр-ра, ррр...».

Схватки чаще всего случались зимой, от скуки, должно быть. Надравшись до изнеможения, до полной потери

сил, кобели надолго успокаивались и, если встречались, воротили друг от друга морды, издали предупредительно рыча: «Ну, погоди, гад! Погоди!..»

Летом Трезор совсем ни с кем не дрался. Он был совершенно поглощен заботами о сладком пропитании, которое научился вымогать у приезжих из города ребятишек, сердобольных тетенок. В то время когда брат его Мухтар плавал по реке следом за лодкой хозяина, шастал по берегу, кого-то отыскивая или раскапывая, караулил, и строго караулил, пехитрое имущество рыбаков, Трезор, начиная с крайней избы, обходил деревушку. Он садился против ворот или перед открытым окном и ждал, когда ему дадут сахарку или какое другое лакомство. Если долго не давали, Трезор напоминал о себе лаем и в конце концов получал чего хотел. Неторопливо хрустя сахаром, Трезор облизывался и совал здоровешную свою лапу благодетелю либо ложился возле ворот и какое-то время «стожил» добродетельных людей, двор их и хозяйство.

Норма его работы зависела от угощения: мало дали сахару — он лежал под воротами недолго, а то и сразу убежал к другой избе; и так по два раза на день происходил обход и совершались поборы, при этом Трезор совершенно не замечал изб и дворов, где его не баловали подачами и когда-то прогнали, и пусть после раскаялись, всячески пытались заманить — он деликатно уклонялся от приглашений.

Ближе к осени Трезор скучнел: городской народ разъезжался из деревушки, и каждую семью он провожал до автобусной остановки. Опустив голову, повесив хвост, плелся пес по дороге, со вздохом ложился в тень: «Что поделаешь? Отпуск есть отпуск. Но помните, люди, у вас здесь остался верный и надежный друг».

Стоило, однако, автобусу удалиться за мосток, переброшенный через речку, исчезнуть за островком ельника, как Трезор завинчивал кренделем хвост, ставил уши топориком и с бодрым лаем возвращался в деревушку: «Протурил я, протурил этих дачников! Наповадились, понимаешь. Одно от них беспокойство...»

Осенью, перед октябрьскими праздниками, Трезор — полная всей деревушке любезность! Приближался забой скота: пир собакам, кошкам и птицам. Глянешь — возле какого-нибудь двора на тополях и черемухах осыпью вороны, сороки, галки; на колышках оград кошки окаменели, будто крипки, на острие надетые. На земле Трезор

лежит, уронив на лапы морду, все сосредоточенно и молчаливо ждут — стало быть, в этом дворе забили на мясо овцу, телку или быка.

Обдерут хозяева скотину, уберут обветриваться мясо на поветь, уйдут жарить картошку со свежатиной — вся живность придет в движение: столбятся над двором вороны, отбирая друг у дружки поживу; суетятся и трещат сороки с окровавленным кусочком кожицы или крепкой жилы в клювах; шастают со свирепо горящими глазами кошки, шипя и фыркая друг на дружку. Трезор тоже с угощением в обнимку на поляне лежит — кость-то уж ему обязательно отломится, его никто не забудет. Иной раз и поспит возле кости, отдохнув, снова брюшками передних лап ее прихватит да неторопливо, с чувством, с толком грызет, развлекается.

Как-то раз уписывал он кость, скрежеща зубами, а с тополей на него смотрели жадные вороны, время от времени мешковато переступая и переговариваясь: «Это что же такое?! Жрет и жрет! Ни стыда, ни совести! Оставил бы хоть маленько...»

Вороны срывались с деревьев, планировали над Трезором, пугая его криком, пытаясь задеть когтями, — кобель и ухом не шевелил, грыз кость, белую, хрупкую, точно сахарок. И одна старая смелая ворона села прямо перед мордой Трезора, ждала, когда он забудется или задремлет. Мелкими шажками, будто по своим делам, ходила ворона возле жирующего пса, ворошила землю клювом, долбила что-то, совсем уж подкралась, изловчилась хватануть у собаки косточку — да не тут-то было! Трезор начеку, сделал такой прыжок — чуть было ворону без хвоста не оставил!

Села старая ворона на ветку тополя, смотрела на Трезора, думала, думала, и додумалась до большой стратегии — каркнула, приказав семейке следовать за ней; и начали вороны вокруг пса ходить-кодобродить, подлетать и даже кричать на него. Кобелю взять бы кость да убраться подобру-поздорову под навес, так нет, он настолько обленился или таким себя считал умным и сильным, что никого и ничего не хотел признавать, и поплатился за это.

Старая ворона ходила-ходила вокруг песьего хвоста, да ка-ак схватит его клювом, да ка-ак дернет! Пес не выдержал, вскочил и с лаем бросился на ворону. Шерсть дыбом, глаза яростно сверкают.

Ворона вроде бы испугалась, отлетела, замахала крыль-

ями, еще шага на три отлетела, качается от страха, клюв открыла бессильно. Трезору того и падо — он дальше за вороной погнался, вот-вот ее сцапает за хвост.

В это время семейка вороныя и ограбила пса, схватив кость, и, то роняя ее, то снова подхватывая, вороны несли поживу Трезора за деревню, в огороды, и закаркали там, закружились, деля добычу.

Трезор слушал, слушал, вернулся к тому месту, где грыз кость, шохал мерзлую траву на поляне, когтями царапал землю, огляделся, шерсть на нем опала, уши опустились на стороны, хвост распустился — ничего не мог понять пес: была кость — и нету! Куда девалась? А на жерди сидела мама-ворона и, дергая хвостом, орала: «Дур-рак! Дур-р-ррак!»

Трезор побежал по деревне, распутивая ворон и сорок, надеясь, что где-нибудь да отломится ему кость, а может, и мяска кусочек.

Прошлой зимой, глухой, метельной, длинной, Трезор и Мухтар бились особенно озверело. Мухтар почти выдрал Трезору глаз, прорвал ухо, губы. Трезор прокусил у брата какой-то перв на голове, и Мухтар быстро начал глохнуть. Сразу погас охотничий пес, распустился телом, стал ходить медленно, уши у него обвяли, хвост сделался мятый, неопрятный, с редким волосом. Старого, больного кобеля заменили повожителем — большелобым гончим щенком Дунаем, который скоро вымахал с колодезный сруб ростом и бухал лаем так, что старухи по домам с перепугу крестились.

А Мухтар исчез со двора: дострелил ли его, больного, никому не пужного, хозяин, ушел ли он сам умирать в лес — неизвестно.

Непонятное начало твориться и с Трезором. Он тоже разом постарел, закручинился, перестал принимать лакомства, гавкать, провожать хозяйку в магазин. Потом взял и совсем ушел из села верст за пять от своего дома, стал жить на скотоферме, спать на соломе, неизвестно чем питаться.

Хозяйка не раз бывала в соседнем селе, звала Трезора с собой. Он хвостом вилял извинительно, даже провожал ее за околицу, но на всполье присаживался, отставал.

— Трезор! Трезор! Пойдем, миленький. Пойдем домой! Пойдем!

Кобель в ответ сыпло, старчески, безнадежно и горько

взлаивал, словно бы говорил: «Не могу! Уйти не могу... Простите...»

Может, за тем селом, за той фермой Мухтар зарыт? Может, повернулось что-то в разуме Трезора? Поди теперь узнай!

А без собаки как-то тоскливо стало, деревушка вроде бы живую душу утратила, притихла, сделалась совсем сиротой.

ЯГОДКА

Куда только не занесут охотника ноги!

Меня затащили они в скалистый распадок, в бурелом, в шипицу и малишник. Здесь, на малинниках, спугнул глухаря и пальнул по нему наудачу и попал нечаянно. Да плохо попал. Взаясь бегать за подранком, забыл глядеть под ноги, и на гриве, сплошь затянутой брусничником, резиновые сапоги со сношенной резьбой соскользнули, и я полетел из соснового краснолесья вниз. В мешке моем гремели котелок, ложка, кружка, и кости мои вроде бы тоже гремели, а зубы от ударов клацали.

Немного уж, сажени три, оставалось до скользкого среза, и я бы во всем боевом виде ухнул вниз, в осеннюю воду. Из воды камни торчали. Они кляксами на чистой воде казались.

Говорят, что трезвого и умного Бог бережет, а пьяницу и дурного охотника — черт. И не иначе как черт подсунул мне громадный пук колючей шипицы, и я в этот куст въехал ногами.

Застопорил, отдышался, глянул вниз, на воду, и понял, что мне еще жить отпущено. От этого весело мне сделалось, и стал я осторожно подтягиваться, хватаясь за игристо ошетилившийся шиповник. Так, от кустика к кустику, от камешка к камешку и полз я вверх. До сосновой гривы рукой уже было подать, как вдруг увидел я во мшистых камнях, среди горной репы и колючек землянику в цвету.

Батюшки вы мои! Октябрь месяц, осень, глухая осень, лист почти весь упал, ишей и утрешник звонкий не один уж выдавался, а земляника цветет!

Я поклонился к ней. На тощеньком стебельке в багровых листьях жил и растерянно глядел на осенний мир белешкий цветок. Холодом подпало округлые лепестки

его. Ягодка, только еще зародившаяся, черной точкой светилась в цветке, и умерла уже ягодка, цветку оставалось жить день, от силы два...

И тут в моей памяти неожиданно всплыла станция Комарихинская. Толпа рыбаков и пассажиров, ждущая поезда, как по команде повернула головы в одну сторону.

От пакгауза двигалась безногая девушка. Она опиралась взятыми в руки деревянными колодками и бросала вперед свое коротенькое тело в кожаной седухе-корзине. И была она не в тряпье, не грязная и не пьяная. Непривычная она была, и оттого все смолкли и загляделись на нее.

В зеленом ярком берете, из-под которого выбивались лынящие кудряшки, голубоглазая, с блескучими клипсами в ушах, в капроновой блузке и с покрашенными, как у киноактрисы Софи Лорен, губами, широко покрашенными, ярко, вызывающе.

Рядом с девушкой шла пожилая женщина, должно быть, мать. Они о чем-то разговаривали, и парядная яркогубая девушка делала вид, что не замечает оторопелых лиц и очень она занята разговором.

Так они миновали перрон, людей, и такой бы она и осталась, независимой, гордой, но перрон кончился, и нужно было девушке с женщиной переходить пути. Она перебросила легкое тело через один рельс, через другой, и внезапно корзиною задела за третий. Корзинка легко отделилась от девушки, выпало из нее короткое тело и сделалось видно подогнутую, узелком связанную юбку, а в корзине-гнездышке — куделя, ватка, чистая тряпица.

Девушка качнула свое тело в воздухе, пытаясь угодить им в гнездо, но уже устала она или растерялась, и угодила мимо корзинки, на мазутный камешник междупутья, и упала на бок. Берет зеленый, только что, видать, снятый с тарелки, тоже упал, и кудряшки рассыпались, завалили щеку и глаза девушки.

И кто-то уже загоготал в толпе по-жеребьячи, и кто-то уже облял загоготовавшего.

Женщина подняла девушку, усадила в корзинку, отряхнула берет, падела на голову девушки, да еще и поправила его, чтобы сидел на кудрях ладом. И они последовали дальше.

Но перед тем как перебросить свое тело через рельс, девушка обернулась, глянула на нас и...

И с тех пор я пошу тот взгляд в себе. Он пробил меня до самого сердца. Он был презрителец, надменен, этот

взгляд, и будь у девушки глаза взрослые, так бы оно и осталось — презрение и надменность. Но голубые детские глаза читаются. За вызовом и надменностью глубоко-глубоко билась растерянная беспомощность: «Что я вам сделала плохого?..»

И знаю ведь, ничего банальнее нет, чем сравнение этой девушки с земляникой, не к месту и не ко времени расцветшей на речном скалистом обрыве. Но ничего не поделаешь — так они и живут в памяти рядом: цветок, что никогда не станет ягодой, и девушка, которой не видеть счастья.

БЕДНЫЙ ЗВЕРЬ

Было это в Карпатах. Наши батареи прямо с марша развернулись по опушке леса цвета окислившегося, серо-зеленого металла, лавой сползающего с горы, на вершине которой виднелась башня замка, а может, развалины его или утес. Взводы управления выбросились с телефонами и средствами наблюдения к селу, где хаты и садики разбежались по склонам холма и вдоль речки, текущей из европейского, но дикого и глухого леса, что был отбит от дорог и селений краешками полей, возделанных под озимь. Из-за холма один за другим вылезли немецкие танки, поводили, как бы припохиваясь, стволами пушек и двинулись вдоль речки. Наши батареи, расчетам которых не было времени валить деревья, выпиливать секторы для стрельбы, повели огонь с опушек и дымами да выплесками огня как бы окоптурили полуостров леса. Машины, лошади хоззвода были убраны под укрытие леса совсем уж темного, совсем уж «нашенского», в глубь тем только и отличавшегося от сибирской тайги, что по оврагам и поймам речек росли здесь дикие груши, яблони, черешни, ежевика и другие ягодные и плодовые деревья и кусты неизвестного нам вида и названия и еще, густо сплетенная, клубилась лещина с пучками орехов, которыми тыловики тут же стали набивать карманы, а свободные от дежурства работницы медсанбатов прищались собирать по сосняку для раненых уже перезревшую, темную бруснику.

Бой получился затяжной. Танки маневрировали вдоль ручья, прятались за выступы холма, за хаты, сараи, на минуту-другую выскакивали, делали из пушки выстрел

по нашим батареям, полосовали пулеметом по залегшей в полях пехоте и откатывались назад, за холмом или таились в садах — было ясно: они выполняли вспомогательную задачу, стараясь задержать в предгорье продвижение наших частей и давая возможность отойти своим.

Огонь наших батарей плотнел, усиливался, уже весь клин дикого леса окутался черным дымом, в середине его загорелось, огромное, на грозовое облако похожий клуб дыма вспухал над горами, все шире расплзаясь по блеклому, грустному небу осени, заполняя его из края в край темнотой и тревогой.

Впереди нас, в селении, тоже горело несколько хат и сараев. Наконец-то один за другим вспыхнули два танка, затем громко рвануло тягач или машину со снарядами. Артиллеристы подбавили жару, повели огонь азартней. Немецкие танки, жалься огнем, взвизгивая гусеницами, рыча горячими двигателями, отходили, вертясь среди густеющих разрывов, которые, казалось, вот-вот сомкнутся в смолистом дыму, расплзшемся по долине речки, и разнесут эти тупорылые, бездушные машины в черепки.

Я дежурил у телефона на наблюдательном пункте артиллерийского дивизиона, передавал команды, уточняя координаты, довороты, коэффициенты: «Правее ноль-ноль!», «Левее ноль-ноль-пять!» Меня ругал командир дивизиона, если я управлялся с работой не так проворно, как ему хотелось бы, а я придирался к телефонистам на батареях, крыл их почем зря, и все у нас шло, как всегда во время боя и стрельбы. Но вот и заминка — без нее уж, будь она проклята, никак не обойдешься. Молодой, недавно прибывший из пополнения связист, громко окая и по-беличьи цокая, бойко кричавший: «Ноль-ноль-пять!», «Повторици!», «Не орици!» — замолк и не откликнулся с батареи. Обрыв! А обрывы, сколько бы их не случилось на войне, всегда вызывали одно и то же желание — набить морду пропавшему связисту. Поскольку у дежурящего на наблюдательном пункте телефониста руки короткие — он в версте, а то и дальше от батареи, он в этом случае, улучив момент, обращался к своему управленческому связисту с возбужденной просьбой: отдать трубку телефонисту-огневику, самому же сбегать к соседу и узнать, что там стряслось. На сей раз «дырки» не выпадало, работа шла все напряженней, батареи грохотали все дружнее, и вдруг среди грохота и гама запаленный голос:

— Извиници, пожалуйста! Я отвлекался.

— Ты где шлялся, разгильдяй?!

— Да мы тут, — все еще запаленно дыша в трубку и над чем-то в то же время похихикивая, продолжал связист, — ведмедя пужали!

— Кого-о-о-о?

— Да ведмедя! Бродит, понимаици, воеваць мешает...

— Я тебе такого ведмедя дам!..

— Да правда ж...

— Прекратить! Передаю координаты!..

— Есть прекратить! Да я ж правду...

— Прекратить!

К той поре, как дотянуть телефонную линию от Оки до Карпат, я набегался по связи вдосталь, пасиделся на телефонах столько, что хорошо ведал: нет на передовой народа более трудового, загнанного и в то же время беспечно болтливого, чем связисты. Особенная им воля в почное время, тогда всеми способами они не дают друг дружке заснуть. Наслушаешься в телефон и песен, и басен, и анекдотов, и повествований о том, как тот или иной боец искушал девку в мирные дни или женился, да еще и не по разу. Однако такого паглого вранья, такой нахрапистой изворотливости я еще никогда не встречал! Ну, отбегал по пужде, ну, еще что — скажи, всегда пойму, сам из связистов!

Весь я кипел от негодования и ждал вечера, когда снимемся с наблюдательного и придем в лес, «потолковать» с повичком и павсегда внушить ему древнюю мудрость: «Знай край, да не падай!..»

К исходу дня мы отогнали немецкие танки. И пехоту тоже. И все, что надо было сделать, сделали. Впереди в деревне уже суетились наши пехотишцы, в выгоревших гимнастерках, по огородам и в облетевших садах минометчики копали укрытия для своих «самоваров». От дгорающих хат тянуло по долине кислой соломенной гарью и тяжким, затхлым духом заживо сгоревшей скотины и птицы.

Вечером, когда закончится бой и от лесов, гор и речки потянет осенней сыростью, прелью опавших яблок и листа, всякий чад и дым сильнее ощутимы, а вид разрушенного жилья как-то по-особенному тягостен и скорбен.

Молодого связиста искать не пришлось. Он сам меня нашел, схватил за руку:

— Вот не верици, не верици, а все правда! — И поволок меня в глубь леса.

Сначала мы шли по высокому корабельному сосняку, под погами у нас хрустел и кровенился брусничник, затем спустились в овражек, густо заросший лещиной, и возле мокрого каменного желобка, затянутого слизью мха, увидели уткнувшегося в гущу табачно-воняющего таволжника мертвого медведя. Он лежал большой бурой кучей, подобрал под себя задние лапы, а передними зажав уши и морду, точно хотел быть поменьше, незаметней, забиться в какую-нибудь щелку, влезть под корешок.

Связист погой тронул тушу медведя. Она не закачалась киселью, не шевельнулась и не свалилась на бок. Зверь словно присосался к мокрой земле брюхом. В глазах его безбоязненно шарили мухи, по шерсти ходили муравьи, мышка пробила под зверем порку.

— Окошел! — вздохнул связист. — А такой был потешный...

И поведал о том, что как только поднялось в лесу движение и открылась пальба, откуда-то взялся этот самый медведь. Сначала он стремительно бежал по лесу, взъерошенный, молчаливый, — искал уединения. Но немцы открыли ответный огонь. Лес загорелся. И тогда медведь заметался по кругу, заорал утробно, после поднялся на задние лапы и, ровно в плен сдаваясь, ходил от одной грохочущей огневой позиции, объятый дымом и пламенем, к другой. Было не до него, и огневики отпугивали зверя чем могли.

Заряжающий третьего орудия, здоровенный тульский мужик Гызин, в жизни брезгливый, пудный и медлительный, во время стрельбы совершенно преобразался. Словно ошкуренную горячую картоху, бросал он с руки на руки снаряд, совал его в казенник орудия, досылал банником, тут же без тычков и промахов лихо бросал вслед снаряду празднично светящуюся гильзу, с лязгом запирали замок и звонким, ликующим голосом извещал: «Тррр-рыть-тово!» — а через минуту выбрасывал ту же самую гильзу, уже грязную, горячую, широкозевую, и она, неужно валяясь на изжитой хвое, курилась горчично-желтым дымом. С зачерпешной копотью, оскаленной рожей, в нижней рубаше, радужно пропотелой на спине, Гызин, увидев позади себя медведя, заорал, осклабясь:

— Ты чё тут стоишь, обормот? Подавай снаряд! — И бросил к ногам зверя горячую гильзу, поровня угодить по когтям. Медведь подобрал погу, и, как выдрессированный, стоял на одной лапе, в потрясении открыв розовую осо-

велую пасть. — А-а-а, дак ты хвокуспик?! — взревел Гызиш и, огрев зверя бапшиком по башке, погнал его от огневой, тыча бапшиком в кущый бесхвостый зад.

Поначалу пугающияся шатучего звёря огневики, увидев такое его упижение, кричали теперь всякую всячину, смеялись, бросая в медведя чем попало, куражились над ним. Ну и паши телефонисты — где же без них обойдет-ся?! — включились в дело. Всем потехой сделался грозный зверь, никто не списходил даже пристрелить его. А ведь многие из тех вояк, что потешались над медведем, встретить его здесь в иное время, в штаны бы навалили. Зверь кружил, кружил, орал, орал, да и сипеть паралично начал, и все лапами махал возле ушей — окоптузило его, видать. Молодой связист божился: сам видел — медведь плакал по-человечьи, в голос, и слезы катились по его волосатой морде. Хватило его пенадолго. Зверь разбито опустился на четвереньки и поковылял куда-то, до земли уронив тяжелую голову.

После боя солдаты отправились по воду и обнаружили медведя возле ключа — попить пришел косолапый или спрятаться хотел в привычном затишном месте, да тут и умер.

Вечером на опушке леса, под огромной, ветрами скрученной сосной, хорошили убитых бойцов. Два старых огневика — заряжающий Гызиш и наводчик Кушаков — после похороп подались по оврагу вниз — умыться и попить, однако, переглянувшись меж собой, прихватили лопаты, и по дороге к ключу Гызиш буркнул:

— Кобылке токо бы потеха, закопать — того нету!..

Наводчик мог бы сказать Гызишу: «А сам-то?..» — но они давно воевали вместе, ели из одного котелка, откапывали друг дружку из заваленной взрывами огневой позиции, так что Кушаков и без слов знал — напарник его сейчас как бы после похмельного угара, чувство вины его гнетет, и он будет говорить всякое, выслуживаться, неизвестно зачем вести себя не по-мужицки — мелковато. Гызиш пивал до войны, не всякий раз и получку до дому доносил, потом семенил перед женой, метусился, да и подызмельчал незаметно натурой.

С видом знатока Гызиш похватал горстью мертвого зверя за бока, развел кудельно-мягкую шерсть на кочковатом загривке медведя, подул в нее и важно сказал, усаживаясь на голыш, маковкой выдавшийся из травы, сочным островком окружившей исток ключа:

— Чистой ости шерсть. Подшерсток уже пепелится. — И начал сворачивать сигарку.

Кушаков посомневался насчет подшерстка: какой подшерсток у зверя, которому в глухой берлоге лежать? Не белка ведь, не куница. Но он снова ничего не сказал. Закурив и зачем-то отогнав рукою дым, поплывший в сторону друга, который и сам сидел, зажав сигарку губами, Гызин добавил со вздохом:

— Скоро зима! Еще одна. — И тронул ботинком тушу зверя: — Выгулялся пап-михаил на сельских овсах! Может, оснимаем?

«На тутошних овсах, как на солдатских сухарях!» — хотел возразить Кушаков, да так глотнул дыма, что зашелся в кашле и сердито замахнулся бросить сигарку в желоб ключа, но изменил решение уже в замахе, остановил руку и, разжав пальцы, уронил окурочок под ноги.

— Оснимаем, командиру батареи шкуру отдадим.

— Ему только медвежьей шкуры до полного счастья и не хватает! — глядя, как серым слепнем шевелится и пожужживает в траве газетный окурочок, заговорил наконец Кушаков. — А так уж все есть: на груди ордена, в паху осколки, полсотни гавриков-потешников на шее и в придачу взводный, который за год учебы в артполку так и не запомнил, с какого конца пушку заряжают...

— Не осмыывать так не осмыывать. Я ведь так это. У него все одно шкура с мясом состылась, не отодрать.

— На ем сала, как на борове! Состылась...

— И сало не лишнее. Пользительное... Чего это ты сердишься-то?

— Да не сержусь я, — дождавшись, как отшипел в траве окурочок и синяя питочка дыма сплелась с травкой, тоже осипевшей от ожегшего ее ипея, глухо произнес Кушаков. — Зверя мне жалко. Бедный зверь! И ему спасенья нету...

— А людей? — вскинулся Гызин и ровно бы даже обрадовался, что вот наконец-то и у него нашелся основательный предлог возразить другу. — Сколько в яму-то рядом положили?

— Да-а... Пока дошли до Карпат, паоставляли. — Кушаков поднял лопату и, опершись на нее грудью, смотрел на зверя, будто все еще дожидаясь, что тот вскочит и деранет от них в кусты. — Может, завтра и самим рядом лечь. Разве в этом дело?

— Не бери ты, Шура, душу себе и мне! Ну, растревожил тебя михайло, и меня растревожил.

Гызин заморгал жалостно, глядя поверх кустов, совершенно расстроившись и забыв о том Гызине, который вдохновенно метался возле пушки и огрел певичую зверину, выпачкав его морду баншиком, черным от пороха и склизким от кипящей смазки. Вспомнилось даже, как зверь глупо облизнулся и тут же отфуркнул брезгливо черное пушало, а он, Гызин, про себя или вслух, вроде бы вслух, заорал: «А-а, не глянется тебе наше угощение! Не глянется?!» — и баншиком медведя, баншиком...

— Закапывать давай, — тихо и повизно вздохнул Гызин, — я так упехтался за день — руки-ноги отымаются. Месту рад.

Солдаты принялись забрасывать зверя размоченной черной землей. Под остро паточенными лопатами хрустели коренья трав, дудок и смородины. Когда над зверем вырос свежо чернеющий бугор и артиллеристы, еще раз попив зуб ломящей водицы и умывшись из ключа, утирались подолами рубах, Кушаков сказал примирительно:

— Мартышкин труд! Лисы разроют. Воронье склоет. Мыши источат.

— А это уж совсем не наше дело, Шура. Круговорот природы...

Кушаков покачал коротко стриженной головой: «Круговорот! Ах, люди, люди, чего только не напридумывали, чтобы оправдать себя, обелить...»

Над лесом неуверенно всходила настороженная луна. Отблеск ее пробно шевельнулся в воронке ключа и ртутью покотился по желобу. Впадина ключа, над которой сомкнулся кустарник, сделалась тенистой, холм затемнил отчетливей среди белой травы. В овраг потянуло гарью из леса. Горел многолетний слой травы и листьев, огнем выедало древесный прах из корней и развилки. Иное дерево занималось от земли, и огонь рвался вверх, вспыхивал шапкою, распадаясь красными ошметками. Лес никто не гасил. Пожар этот казался людям, занятым хлопотами и подготовкой к завтрашнему бою, игрушечным и нестрашным. Когда уже совсем ярко вспыхивало, где-то начинали беспокойно ржать и топтать копы, шарахались слепые от огня птицы, со стороны противника летела в огонь строчка трассирующих пуль. Щелкая по ветвям деревьев, сыро чмокая, пули входили в мягкую плоть стволов или взвиз-

гивали, срикошетив, и опадали искрами в овраг, где спали, прижавшись друг к другу, два уработавшихся за день солдата, и ничего они, никаких выстрелов не слышали, пожаров не чуяли, спов не видели.

И МИЛОСЕРДИЯ...

Девочка в красном пальтишке, в меховых башмачках, в пуховой шапочке кормила голубей из куллка.

И они кружились вокруг девочки хороводом, раздув зобы, хлопаясь, долбя друг дружку, оттирая боком. Девочка смеялась, сыпала крупу с крошками и все повторяла: «У, какие! У, какие!..»

А на скамейке сидел ее отец, курил, жмурился от сильного, но уже пригревающего солнца и поощрял девочку, хвалил ее за усердие, а ночью он сгребал лопатой мертвых голубей в кузов машины и, когда нагреб их полный кузов, отвез на свалку и сжег там.

Вернулся он домой наутре, осторожно прошел мимо кровати дочки, которая спала глубоко, руки ее были хорошо, с мылом омыты, и девочка сладко причмокивала губами, даже чему-то улыбалась.

И когда я услышал от этого спокойного отца, спокойно рассказывающего о том, как «несмышленная» девочка кормила голубей отравленной пищей, полученной им в санэпидстанции, потому что голуби стали болеть, могли заразить людей и животных и нужно было их истребить, то вспомнил, как в другом месте другие «борцы» за здоровье людей обсыпали предвесенний лес дустом, чтобы убить энцефалитного клеща. Но клеща в эту пору не убить — он, оцепенев, спит, в гнилых пеньях, колодинах и под корой, а вот птицу в той местности истребили всю подчистую.

А птицы там было, птицы! Уже отравленная, но все еще живая, способная двигаться, птица — глухари, тетерева, рябчики вылетали на солнцевосход, грелись и падали замертво на узкую, «обогрившую» тропинку и так их много упало, что, когда я шел весной по этой тропе, под ногами у меня хрустели птичьи скелеты, и сапоги по щиколотку уходили в перо, и было идти тяжело и вязко, будто по мягкому проседающему мху.

Но я шел, шел, ослепленный слезами, и не мог проклинать, а молил каким-то полузабытым отрывком из ста-

рой молитвы, себя, детей своих, всех людей, таких беззаботных и жестоких: «Боже, милосердия ми воздаждь... и милосердия ми воздаждь... и милосердия...»

ОН ЖИВОЙ!

Темнели осинники вглуби, густою тучей становился лес, а над белоствольем берез бесшумно смыкались только что рыжевшие, но уже очерняющиеся кроны. Небо еще было светло, однако догорало с закатного края. Птицы гомонили все реже, отряхиваясь перед сном на ветках. Трещали сварливо дрозды, и через кулижку, отмеченную посередине черным прошлогодним стогом, редко пролетали вальдшнепы, роняющие призывной клич и качающиеся в лад своему кожаному скрипу клювом.

Я лениво, как бы по обязанности, палил в пролетающих вальдшнепов из ружья и досадовал на промахи, но где-то в глубине души, совсем отдельно от меня, и все же во мне, плавала умильная радость оттого, что я лишь пугал вальдшнепов и наводил панику на дроздов — грохотом выстрела их подбрасывало над мелколесьем, и они сердито пикировали на меня, обрызгивали своей жижей и делали это куда как метко.

Вечере, уже опеленавшем лес, в мокрой кулижке и прелом стогу, в паническом крике дроздов, в остывающем небе, в ременном скрипе и железном цоканье вальдшнепов, в ушастых ветреницах-цветках, смеживших белые ресницы на ночь, в волглых, растопырившихся хохлатках, в иглистых травинках, в муравейнике, приваленном ко пню, в мышинном шорохе под стогом, в каждой осинке, березке, елке — во всем таилась близкая мне радость пробуждения, хотя вроде бы все вокруг собиралось на покой.

Мне это казалось как бы детской игрою. Природа смежала лишь один глаз на ночь, притворялась спящею — ведь солнце-то закатилось, и вечер наступил, и покою полагалось быть, и сну, и отдыху.

Земля вздыхала, сыро туманилась далями, но все это делала с лукавинкой, как бы играя в сон и послушание.

Чу! Бормочет в лугу укрытый темными черемухами снеговой ручей; заваачил в осинниках заяц, утративший в страсти свой страх и осторожность; и ворон, молчаливый ворон завозился в пихтах и такое мурлыканье, такой

говор повел, что уж вроде бы и нет во всем лесу добрей и влюбленней его ни единой живой души. Где-то пиликает куличок-мужичок, развеселый кавалеришка; где-то клювом деранул по сухому стволу черный дятел очередью. Деранул и сам заслушался — какая музыка! А далеко-далеко, в тихих и пустынных полях, залитых лужами, расплакались чибисы и пробудили стон в груди одинокого журавля, что третий день ходит долговязо по полю и зовет, зовет кого-то больным голосом...

Нет сна, есть видимость его. Покоя тоже нет и не будет его до первого листа. Все живет, радуется и озорует в бездомовье лесном, наслаждаясь вольностью, разбродом, предчувствием любви.

Земля-мать и вся природа мудро, со снисходительной усмешкою наблюдает за детьми своими — скоро, совсем скоро всему этому конец: будут виться гнезда, рыться норы, отыскиваться дупла в деревьях, будут драки на токах, только перья полетят, будут страсти бушевать. Братство лесное, безалаберное и бесшабашное перекипит, отбушует, разделится на семьи и закрепится заботой о детях и доме. В мир вступят деловитость и долгие хлопоты, уважительный труд восторжествует в лесу...

А пока отошальный, но нарядный лесной люд, пробавляющийся больше песнями, а не пищей Божьей, ждет нетерпеливо первого солнечного луча, бредя неотвратимо надвигающейся любовью. В жилах всего живого, в сердцах ли птиц и зверьков текут, колотятся, бродят соки и кровь весны.

Вальдшнепы летают. Все медленней взмах темных крыльев и нетерпеливей ожиданье, и все чаще скомканной шапочкой подскакивает из осинников она — клюватая дама. Зацокав радостно, дуром валится с неба кавалер, и поднимается возня в траве, в прошлогодних листьях — это, заигрывая и понарошку таясь, в чаще и меж пеньев бегаёт, хорохорится, по-бабьи норовисто и капризно цокая на кавалера, вальдшнепиха.

Я уже не стреляю, только слушаю. А ко мне ломится через осинник молодой паресь — он первый раз с ружьем, он жаждет стрельбы и добычи, но он бегал с места на место весь вечер и никого не подстрелил — ему все думалось, что там, в другом перелеске, тучею летают вальдшнепы, и он гонялся за ними — он нетерпелив, в нем тоже бродят соки и кровь бродит, но он еще не понимает этого.

Только он остановился около меня, запыхавшийся, с

расширенными глазами, и ничего еще не успел сказать, как от речки к поляне потянул вальдшнеп. Была еще вдали полоска неба светлой, и на этой поляне вальдшнеп, как аэроплан. «Цырк! Цырк!» — петоропливо рокает припоздальной вальдшнеп. «Хорк! Хорк!» — другим уже голосом, страстным, мужицким, взывает он.

Парнишка вскинул ружье, напрягся, оцепенел. Он не попадет — я в этом почти уверен. Я качаю головой: «Ну, пальни, пальни! Сорви азарт. Порадуйся и потом подосадуй на себя...»

Вальдшнеп тянет мимо осевшего стожка, к осинникам. Он уже миновал пас, не видя ничего и не сознавая никакой опасности.

Вдруг полоска огня, грохот. Подсеченный дробью, вальдшнеп, оттопырив крыло, упал за стожок, ударился о кочку и забился почной бабочкой, почти бесшумно.

— Попал! Попал! — завопил парень и, бросив ружье наземь, ударился бежать по поляне, спотыкаясь и счастливо взрыдывая на ходу.

Я стою на месте. Мне как-то не по себе.

— Он живой! — услышал я оробелый голос парня из-за стога.

— Это подранок, — чьим-то чужим и, как мне показалось, спокойным голосом говорил я. — И ты сейчас или добьешь его о приклад, или никогда не возьмешь в руки ружье и не посмеешь стрелять.

Ни звука за стогом. Думает парень. Я знаю, он держит теплую птицу в руках, живую, беспомощную, с остановившимися круглыми глазами, и ладонями слышит, как содрогаясь, часто захлебисто бьется ее сердце.

— Может, ты?.. — слышу я тихий просительный голос парня.

— Нет!

Сопит парень, прокашливается, а затем шлепает обувью по мокрой кулижке, поднимает ружье, и слышу, как он долго и неумело колотит птицу головой о приклад.

Я не стал дожидаться его. Спустился к речке, закурил и пошел сквозь черные, горько пахнувшие черемухи. У брода парень догнал меня. Он держал за длинный клюв вальдшнепа, и была птица ему вроде бы ни к чему, но бросить птицу уже нельзя — добыча!

Я подумал, что он будет хвастаться, как первый раз и первым выстрелом ловко сбил птицу. Но он молчал.

Мы перебрали речку. Парень был в кедах, а вода холодная была, но он и тут ничего не сказал.

На горе тускло светилося окно в моей избе. Поднялись на косогор, и здесь парень чуть слышно обронил:

— Я маленько посижу.

Я кивнул ему и отодвинул жердь лаза в огород.

Оглянулся. Над речкой в сероватой почти тоскливо маячила одинокая фигура, она была печальна.

И понял я, осознал потрясенность молодого человека. Во мне пробивалась давно зреющая горечь. В возрасте этого парня я убивал и добывал не задумываясь.

Боль и раскаяние пришли ко мне уже к седому и эхом отозвались в молодом парне, почти еще мальчишке.

Это был мой сын.

УДАР СОКОЛА

Днями выпадал снег, было мокро и слякотно, струнуло первым снегом с мест здешнюю перелетную птицу и утнало в места, которые погодистей, теплее.

Мы опоздали к перелету местной утки, а северная еще не пошла, не наступил срок. Но после выпадки снега, которая на Среднем Урале чаще всего случается в середине сентября, так все вокруг разгулялось, такое мягкое тепло реяло над горами, лесом и рекой, что мы совсем не досадовали на недобычливую охоту, реденько стреляли по отставшим уткам-одиночкам. Если не удавалось подшибить на суп утку, сворачивали в мелколесье либо в черемушники возле проток и устьев мелких речек, начинали манить рябчиков. Они плохо шли на манок, и мы принимались выгонять из крепей и тропить их, подстреливали парочку-другую, теребили на берегу и варили суп уже затемно.

Ночевали мы на берегу, возле стожков сена, у жарко нагоревшего огня.

Хорошо нам было, покойно, никуда мы не спешили, не жадничали, не ожесточались, как это случается при большой стрельбе, — редко удается провести осенью отпуск так вот, на приволье, в краткое погожье, и оттого, верно, до сих пор слышатся и помнятся те осень и поход по берегам реки Койвы.

Может быть, Койва и не из красивейших, но уж зато из правнейших рек на Урале. Начавшись в скалистых Басегах — одном из самых красивейших мест на Среднем Урале, — вместе с реками Вильвой и Усьвой Койва сразу же поровисто забирает в сторону, течет, рассекая могу-

чий хребет паискосок, чтобы вдали от рек-сестер, сливающихся возле города Чусового, слиться с тою же, что и они, рекой Чусовой, но верстах в шестидесяти выше города.

Скальные берега, осыпи, сопки, пороги и шиверы — все есть и на других уральских реках, но не везде они таких причудливых очертаний, а главное — берега Койвы сплошь почти отвесны, слоисты, такие ли узоры, такие ли письмена каменные увидишь на обвально спускающихся стенах, сопках и грядах! То засверкают зеркально прослойки слюды, то багряным, остывшим потоком выплещется лава яшмы, то, обкатанная, будто из подводного дворца, вымытая непорочной чистотой блеснет со дна реки плита белого камня, то лесной тишиной, хвойной ласковостью и верой в окаменевшую легенду одарит кусочек змеевика, или черная, могильно-темная глыба обсидиана, так просто валяющаяся на берегу, напомним о древности земли, о том, что и до тебя здесь кто-то жил, ходил по этим же берегам, охотился на зверя, на птицу, брал ягоды, грибы, мастерил лодку и «думал о своей судьбе»...

В среднем течении берега Койвы перевалисты, вилочи, и если справа — отвесные скалы и за ними одна на другую насаждают седловины, то левый берег пологий, со стожком сена на бечевке или с росплеском широкого заливного покоса, на котором старчески горбится зарод, иной до восьми промежков. Заливные луга по оподолью отшатнувшихся гор зачинаются болотом, переходящим в цепочку озерин, заросших хвощами. Озерины ближе к реке делаются заливом, ничем, правда, не отличимым от озера, лишь синее в заливе вода осенями да хлама водорослей меньше. И озерины, и заливы, и старицы непременно начинаются ключом, который не вдруг сыщешь среди обвалившегося, мохом заплеснутого камешника, заросшего непролазной шарагой и смородинником, завешанным смоляными ягодами.

Осень была виновато-тиха — бескормная осень всегда такая, не уродились в тот год рябина, брусника, калина и черемуха — главный корм птицы, и не только боровой. Смородину же быстро обили по берегам самые жоркие птицы — дрозды да сороки. Стайками перепархивали птицы по прибрежным покосам, клевали семечки трав, высискивали насекомых. Молодые дрозды едва летали, были они желтоклювы, бледнолапы, с детски-серым и слабым пером на крыльях и под грудкой. Завидев нас, дроздята

испуганно верещали, в страхе забиваясь под камешки, в коренья и кочки.

Штук до десяти собирали мы птиц, совали под телогрейки, и, поцарапавшись в грудь коготками, дроздята угревались от тела, успокаивались и дремали. Грустно было выпускать их на волю, зная, что никуда они не улетят и погибнут от бескормицы и надвигающихся холодов.

Пиратничали хищники. По берегу и по бечевкам-пocosам там и сям валялись растерзанные тушки птичек, у иных были выклеваны внутренности, а иные лежали чуть потеревленные, со сведенными под живот лапками и скорбно прищуренными глазами.

Мы падали по сытым коршунам, которые сидели на вершинах деревьев и для тренировки иль от хищного нрава срывались и, устрашающе хакая крыльями, гнали над водой гибло стрекочущую птицу.

На исходе третьего дня мы подошли к закончившему свои дела, покинутому поселку лесозаготовителей и спутнули с задичавшего овсяного поля выводок тетеревов, посеннему тяжелых, выгулявшихся, чернокрылых. Молодые тетерева свалились за покинутые дома и огороды, попадали там в бурьян, рухнули в березы, соря желтый лист. Один старый черный косач отчего-то бросил табун и полетел за реку, на покосы, а может, и в тайгу, которая проплешисто горела по перевалам, окольцовывая ярким осенним пожаром недоступные пиле, затаенно темнеющие кедрачи.

Косач летел невысоко и петоропливо — гребнется дватри раза остро изогнутыми крыльями и планирует, гребнется и планирует, все ярче, все чернее отражаясь в свете зари, наспевающей над горами. Но вот тяжелая, уверенно плывущая над рекой птица заработала крыльями быстро-быстро и вроде бы даже всполошенно. Подумалось: косач увидел на покосе иль под горой охотника. Однако тут же все объяснилось: от серой известковой скалы, на которой стояла с сухой, угольно-темнеющей вершинкой наклоненная к реке лиственница, мчался вдогон косачу сокол. Он вроде бы совсем не работал крыльями, не гнал себя, не торопился, но расстояние между ним и отчаянно рвущимся к берегу косачом стремительно сокращалось. Казалось, косач остановился в полете, лихорадочно гребется крыльями, но сдвинуться не может, он вдруг сделался какой-то короткокрылый и до того неуклюжий, толстый, что и деться ему стало некуда.

Сокол настиг косача над серединой реки, незаметно

снизился и, вроде бы не коснувшись его, а лишь попутав толстозадую эту курицу, пронесся мимо, но на малиново горящей заре мелким листом закружило полоску перьев, птица вздрогнула, сбилась со скорости, обвисла задом, затрепыхалась крыльями, лирой хвоста, краснобровой головой, пытаясь выровнять себя, унести в полете до берега. Меж тем тяжелое тело, как бы сломившись в спине, прогнулось, красивая голова закинулась к красивому хвосту, и весь косач скомкался, закрутился в воздухе; часто, громко, разноройно захлопались его крылья.

Не дотянул косач до берега, падал в реку, вот-вот должен был плюхнуться в воду, вымокнуть, и мы уже решили, что ждет нас нечаянная добыча, как рядом с растрепанной, выбивающей из себя перо птицы возникла стрелка сокола, мгновенно припаялась к ней и часто, напряженно заработала отточенными остриями крыльев — сокол успел развернуться после удара и подхватить добычу в воздухе.

РАДОСТЬ ПЕРВОГО ПОЛЕТА

Осторожно пробираюсь по речке Быковке с удочкой. Черемушник наклонился над нею. Цвет с черемух почти осыпался. Деревца стояли с еще неполным листом и чуть обозначившимися ягодками, немного растерянные, неприбранные. Слишком быстро сорвало с них сильным ветром цвет. Над речкою два дня бушевала словно бы снежная метель. Не обило лишь нижние кисти черемух. Они касались воды, размазывали свои же белые отражения и густо сорили в струи чешую цветов.

От этого речка вроде бы взялась куржаком под бережками, в уловцах и возле замоин. По всему извилистому коридору речки плыл тугою струей горьковатый запах тлеющего цвета. Было не по-весеннему тихо, будто перед заморозком. Злой ветер растрепал деревья, смял их наряды из нежного шелка и успокоился. Изредка на кружливых плесах раздавался всплеск — это хариус бросался на крутящийся в воде лепесток, приняв его за мотылька.

Я закинул удочку. Жду поклевку и думаю, люблюсь, чуть грущу. «Отцвела черемуха, быстро отцвела и не ко времени. И жизнь вот так же...» Словом, мысли тихие и бесследно уходящие. Слышу, издали, из черемушной густоты, несется звонкое, такое тонкое: «Тити-вити, тити-вити, тити-вити».

Что за оказия?! Днем, при всем свету, при ярком солнце поют кулики — вечерние птицы! И главное, судя по голосам, — кулики-то молоденькие. А у куликов ведь совсем недавно были свидания возле весенних снеговых луж, и долгоносый кавалер взмывал ввысь и такую самостоятельность устраивал перед серенькими клюватыми дамами, такой пилотаж давал, такие кределя выделывал — куда там!

Сразив искусством какую-нибудь куличиху, он уединился с пею в листья желтого кулижника и замолкал до вечера. А вечером кулик снова летал над речкою, покинув милую подружку, и этак мелодично наговаривал: «Тить-вить, тить-вить, тити-уить, вот он я, куличок-мужичок, неженатый — холостой, налетай, девчата!»

Это было совсем-совсем недавно, и совсем недавно тот самый кулик всю ночь зазря летал над Быковкой и сзывал невест, сначала самоуверенным пением, потом уж каким-то заполошным криком. С этой ночи он стал холостым до будущей весны и ныл, стоя на одной ноге возле камешных обмысков. Спокинули, забыли! А сколько было?! Эх вы!

Но скоро и кулик замолк, спрятался в крепь чащобную — менять нарядные весенние перышки на будничные. Весна подходила к концу, кончалось праздничное буйство.

Затихли кулики, и я думал — до осени затихли. А гляди ты! «Тити-вити, тити-вити, тити-вити!» — приближается ко мне песня, и никаких. Что за гуляки такие?!

Тут, прямо из черемух, из речной пахучей студености вылетели два кулика, взмыли с песнею над моей удочкой и стриганули вверх по речке. Хвостики у них веерочком, у лапок — голенько, и клювы еще желтоватые, остренькие, как только-только высунувшиеся из земли травинки. Куличата-детеныши — и уже на крыле?! Ну и труженица у них мать! Уже успела вырастить дитят! Когда и успела только?

«Тити-вити, тити-вити!» Дальше и дальше летят кулики. Ну, летите, летите, может, мать где вас ждет.

Смолкла песня, нашли, должно быть, родительницу малыши. Однако через несколько секунд песня возникла за тем же поворотом вниз по речке и опять понеслась по черемуховому коридору. Снова куличата вынырнули из черемух, качнулись над удочкой, показали лапки, прижатые к животам, покрытым еще мягоньким и реденьким

пушком, показали хвостики, похожие на зубчатое кружево.

Я думал — все, больше не прилетят. Но куличата вновь и вновь делали круг, возвращались за поворот речки и оттуда, набрав разгон, тянули вверх по течению, пролетали рядом со мной, плавно и как-то важно взмывали над удочкой, ровно бы всем своим видом хотели показать: «Гляди, как мы умеем!» И я догадался: да они и в самом деле хотят, чтоб кто-нибудь видел, как они летают! Ну, конечно же они лишь сегодня, может, утром, а может быть, и всего несколько часов назад «встали на крыло». И вот летают и не могут налетаться. Им, наверное, так хочется поделиться с кем-то своей радостью, счастьем первого полета!

Я решил проверить: так ли это? Пробрался за поворот речки, сел на мысочке подле подмытой ивы и закинул удочку. Сразу же сильно взял хариус, второй — и мне стало не до птичек.

А они между тем кружились высоко над речкой, над вершинами ольшаника, черемух и не то удивленно, не то растерянно покрикивали: «Ти-вить, ти-вить!»

«Уж не ищут ли они меня?» — подумал я, и тут кулички отыскали мою засидку, радостно вскрикнули, трепыхнули крыльями вниз, развернулись и пошли над речкой с восторженно-упоительной песенкой. Зорким, круглым глазом куличата косили на меня, делая дугу над удочкой, и трепетали еще несильными крылышками, и напевали, напевали...

— Да вижу, вижу, — ворчал я на них. — Ну, летаете! Ну, рад за вас! А зачем же рыбачить-то мешать?

Кулики, должно быть, понимали, что я несердито им выговариваю, и все летали, летали надо мною, до самого позднего вечера, пока я не ушел домой.

ЗАЧЕМ Я УБИЛ КОРОСТЕЛЯ?

Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу.

Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже завалилась на бок.

От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать — непременно бросится он в погону, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа.

Я догнал птицу в борозде и, слепой от погоны, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилицем.

Я взял в руки птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана.

Я узнал птицу — это был коростель. Дергач, по-нашему. Все другие его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края — зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки — в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его.

И худое, почти невесомое тельце птицы, пехитрая ли окраска, а может, и то и другое, и что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность.

Я вырос в семье охотника, и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей.

Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни.

Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли.

И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке.

И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая несмышленного, азартного парнишку.

Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете.

Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косою не тронут, где васильковые глаза...». Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от губельной зимы.

Не приспособленная к полету, но быстрая на ногу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути и особенно при перелете через море.

Как идет коростель, где, какими путями — мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц — небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает, все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас на Руси пекут жаворочков к их прилету.

Птица коростель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти.

Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли.

Но отчего же, почему же, как слышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?

ВОРОНЫ-ОХОТНИЦЫ

Все зверушки и птицы, живущие возле человека, очень ловки и хитры. Самая среди них хитрая — ворона.

Как-то я занял избу в полуопустевшей вологодской деревеньке и обнаружил гнездо за городьбой, на старой березе. На том месте тоже когда-то стояла изба, но ее сломали, и заброшенную усадьбу обозначали два черных тополя, береза да несколько черемух. Вороны опасаются вить гнезда возле человеческого жилища, но эта, видать, привыкла к запустению, надеялась близко добывать пищу, и вот как на грех принесло меня. Спыхватилась ворона, да поздно, у нее уже появились яйца, надо было выпаривать воронят.

Каждый день не по разу проходил я мимо березы, на

которой черпело гнездо, то по воду, то на рыбалку и, лишь пристально вглядевшись, обнаружил наседку на месте. Небольшое, из грубых веток сложенное гнездо укрыть ворону не могло, но она так вдавливала себя внутрь засидки, так вытягивала шею вдоль сучка, что и не увидеть бы ее совсем, да только хвост выдавал птицу — торчал метелкой.

Когда забусило зеленую, приехал ко мне в деревню друг. Я указал ему на березу и сказал, что в гнезде, темнеющем в ветвях, сидит ворона и у нее воронята, скоро «станут на крыло». Долго ходил мой друг вокруг дерева, задирая голову, и объявил, что гнездо покинуто. Тогда я усадил его в избе подле окна и попросил наблюдать. Поздним вечером мой друг, чтобы не разбудить нас, тихо и восхищенно произнес: «Ай да пташка! Ну не ведьма?!»

Он-таки увидел ворону. Она вымахнула черной тенью из густеющей березы, скользнула в ближний двор, на помойку — за кормом для себя и птенцов. Эта же ворона скоро повытаскивала из нашего скворечника скворчат и слопала их. Прилетит на тополь, где скворечник прибит, потопчется, замаскируется, затем когтями по доске поскоблит. Скворчата думают, мать принесла им корм, и по одному высовываются в дырку. Который высунется, того ворона цап за голову — и только его и видели. Верещит птенец, а разбойница махает к своим прожорливым воронятам. Широкозевая, беспокойная, тут она не то чтобы орать — она и крылом не хлопнет, скорее воровски исчезнет с глаз долой.

Друг негодовал, видя такое бандитство, хотел ворону застрелить, но я ему сказал, что сделать это не так просто, как кажется. Человек горячий, в охоте ничего не смыслящий, друг мой целый день просидел в ограде, однако ворона и близко не подлетала, она издали, из кустов орала: «С ружьем человек! С ружьем! Спасайтесь! Спасайтесь!..»

Я дал другу вместо ружья палку — и ворона тут же закружилась над оградой, села на тополь, осмотрелась — и к скворечнику, да там уж ни одного птенца не осталось. Скворец со скворчихой сиротливо сидели рядышком на столбе и молча горевали — пытке им уж не иметь детей, на вторую кладку не хватит сил и лета.

Совсем докопал я друга, рассказавши о том, какую картину наблюдал однажды. На небольшой веселой речке Ягрыш.

Та северная вологодская речка то чурлюкает перека- том, то завьется глубоким омутком у подмытого яра, то зашумит меж огромных валунов, то разольется тихим травянистым озером. Возле длинного, разжужканного ско- том переката был брод, и сделалось здесь совсем мелко.

Выше переката, с окошенного взлобка я пристроился рыбачить. Прячась за оческом сухо хрустящей осоки, до- вольно прытко таскал парядных подъязков, сорожек, слу- чался и окунек. И не сразу, но обратил внимание, что над бродом, по кустам черно воронья. Сидят на ольховниках, сложившихся по-над водой, тихо, не шевелиются, не база- рят, как обычно, и не сидят, а прямо сказать — окаменело висят, втянув в крыльца головы, — похожи все на зловещих горбатых колдуний.

Отдельно от стаи, по другую сторону речки, над са- мым входом, или лучше сказать — горлом переката, за- мерла в густой вербе, тронутой ржавчиной осени, старая седая ворона...

Что-то она узрела, приподнялась на лапах, вытянула шею — следит. Не каркала, а как бы, урча горлом, подала команду: «Внимание! Приготовились!» — и поворотом головы долго провожала кого-то в рукав переката. Среди воронья произошло движение, и тут же птицы оцепене- ли. Если какая-либо молодка, не выдержав стойки, пере- ступала, роняя лист, либо издавала какой шум, мама при- поднималась в вербе и щелкала клювом, показывая, что она сделает с нарушителем, коли он испортит охоту. И случалось, если какая ворона спугивала добычу в речке, вся стая паваливалась на подругу, трепала ее, катала, что тряпичный мяч, и такой поднимался крик, такое хлопанье крыльев, так летели перья, что уж на войну походило. Мама и папа к наказанию прибегали редко, они лишь кружились вокруг черного клубка птиц, поддавали жару: «Так ее! Так! Учи уму-разуму!..»

Сотворив суд и расправу, вороны рассаживались по- над речкой, а побитая молодка пряталась в зарослях, ощипывалась, приводила себя в порядок, не жалуясь, не сердясь, лишь скорбно покаркивая: «Господи! Что за жизнь? Всего стерегись! Всего бойся! Чё и сделала-то? Лист в речку сронила. Родиться бы синичкой. Вон их как все любят...»

У ворон закон суровый — дармоедов не терпит. И, маленько отдышавшись, пристроив на место вздохмаче- ные перья, молодка выскальзывала из зарослей, бесшум- но прилипала на ольхе, зависала по-над речкой.

«Чего же они там караулят?» — озадачился я. Перестал рыбачить — наблюдаю. Вот снова шевельнулась мама на вербе, напряглась, вытянулась: «Внимание!» — и замерло все вокруг. Даже и я невольно замер. Прошла минута, другая, третья. Напряжение в природе нарастало, слышнее сделалось речку, рокот трактора, работавшего в полях, за холмами, звук радио в дальней деревушке.

Все длиннее и длиннее вытягивала шею мама-ворона, провожая кого-то взглядом встречу воде в перекаат. «Кар-арр!» — заорала ворона воинственно — и ворошье послушно сыпануло вниз, зашлепалось в мелкой воде брода, завозилась в растоптанной грязи, усеянной пометом. Выхватывая из воды какой-то корм, вороны в клювах тартали его на поляну, бросали в траву и тут же спешили обратно к перекаату, а мама с папой командовали, как сержанты у раздаточного окна в военной столовке: «Налетай! Не зевай! Молодцы, ребята!..»

Но вот вся компания утомилась. Ходит по поляне деловитое воронье, клюет чего-то, питается. Мама с папой, важно переваливаясь, бродят среди табуна и тоже нет-нет да и клонут разок.

Я воткнул удочку в берег, перебрел через речку по перекаату и, спугнув ворон, вышел на поляну. Вышел и ахнул: вся она усыпана панцирями раков. Вои оно что! У раков пачался икроемет, и они, как и многие водяные жители, сбивались в стайки, тянули вверх по воде к своим нерестилищам, к заветным местам, обязательно вверх, обязательно встречу воде, обязательно наперекор стихиям — таков уж закон у водяных обитателей.

Целая банда воронья дежурила у мелководья и во всемото брачном наряде полных икры и любовных вождедений клешнятых невест и женихов цап-царап под ручки — и на бережок!

Панцири раков лежали по всей форме, пьяно раскинув клешни, выпрямив хвост, словно бы баловались раки, бузотерили, просто так валялись на траве. Да какое уж тут баловство?!

Все туловище съедено, склевано, вычищено до икринки! Кладбище, сплошное кладбище! И вспомнил я, как в одном заграничном кино злой рыцарь, одетый в железные доспехи, грозно кричал: «Я пропору его шпагой!» И докричался! Пришел горный богатырь, дунул на рыцаря огнем из левой поздри — и остались от вояки одни доспехи — латы и шпага. Тут тоже, словно латы рыцаря, лежат панцири, клешни, только шпаги не хватает...

Я вернулся к речке, сел в коренья ольхи. Вороны долго каркали, летая вокруг, брашили меня, проклинали, и я им сказал: «У вас своя ловля, у меня своя. Не мешайте!» И они успокоились, расселись по кустам, повозились, замерли, кося на меня хитрыми и паглыми глазами.

Прошло темного времени. Смотрю: по светлому рябешкому от дошной гольки рукавичку переката толкается рак, благодушный такой, самоуверенный, чудилось даже — напевает что-то дурашливое, веселое, а его спешит нагнать второй, третий. Нагнав, заиграют раки и рачихи, суетятся, щекочут друг друга, гальку в струе шевелят, икру отметать налаживаются, но из-за речки, с вербы, из рядной листвы раздается уверенная, неумолимая команда: «Ух-ррр! Внимание!» По вороньей банде пробежал ток. Ворохнувшись, птицы приподнялись на лапах в боевой стойке, ожидая клич в атаку, в разбой.

А речка шуршит... И плывут по ней желтые листки. И мелкую мошкару, падающую на воду, ловят малявки, вот и у меня клюнуло, поплавок уверенно занырнул в воду, речка так светла, что я не сразу и понял, что поплавок увело в глубину, и только уж когда совсем он исчез из виду в сонном мороке, занимающемся на дне речки, я резко подсек и выбросил на берег бойкого пузатенького окуня.

ОРЛАН-МОГИЛЬНИК

Казым, мыс на Нижне-Обской низменности, видно в ясную погоду верст за пятьдесят. Весь он в темной и теплой шубе кедрочей. Поселок, раскинувшийся по песчаному взгорью, тоже в кедрах. Казымчане во дворах шишку бьют, за огородами морошку, бруснику с голубикой собирают. Приволье тут, обский простор и многоверстная тишина, да такая, что уж и не верится в ее светлую первозданность. Ходишь, явившийся из грохочущей и копотной цивилизации, и недоверчиво озираешься, ожидая какого-нибудь подвоха или привыкая вновь к благостно-покойному миру.

Мы компанией бродили по поселку, ожидали, когда откроют магазин. На травянистых улицах играли ребяташки: узкоглазые — хантыйские и курносые, конопатые — россияне. Тут же стаями толкались мохнатые псы,

и ребятишки садились на них, теребили за хвосты и за уши — вроде бы и нет более мирного существа, чем северная лайка. Но и нет среди собачьего народа ревнивей лайки. Стоило молодцеватому остроухому псу оттереть в сторону пса потертого, отяжелелого годами и затесаться в компанию ребятишек, чтоб его тоже трепали бы за уши, играли бы с ним, как поднялась свалка. Зарычали, покатались псы под гору кубарем — шерсть клочьями летит. Сопленосые же ребятишки и растащили этих свирепых псов. Они тут же хвостами им махнули, дескать, порядок, все спокойно, готовы служить и веровать, и начали облизывать себя, врачуя и латая раны и рваную шубу.

На краю поселка, за небрежно и как попало наставленными домами и худенькими северными огородами, приветливой рощицей густо клубился приземистый кедр, и мы подались поглазеть на него. Попали к кладбищу, на котором кресты стояли, как и дома в поселке, разбродно, сикось-накось. Заметно было, что по неогороженному кладбищу шляется скотина, и псы прячутся здесь и грызут брошенные им оленьи кости — много их белело на запущенных, неприбранных могилах, бугорки которых затынуло дурманно воющим болотным багульником и кровависто рдеющей брусникой.

Мы стояли возле кладбища, молча дивуясь его дикости и убожеству, которое старательно прятали разлапистые кедры, опустившие густохвойные, всегда нарядные ветви до земли, как вдруг под одним кедром что-то зашевелилось, захрипело, и на нас прыжками вымахала огромная взъерошенная птица.

Женщины вскрикнули, мужчины вздрогнули. Все невольно сделали шаг назад. Птица, в которой мы не сразу признали орла, клеточала раскрытым клювом, всхрипывала, глядя на нас, и горло ее судорожно дергалось, а глаза с фосфорическим, зеленоватым ободком свирепо крутились.

— Это он ись просит. Не бойтесь его, — пояснили нам незаметно объявившиеся ребятишки и рассказали о том, что орлан этот белохвост был кем-то давно-давно подбит и вырос здесь вот, в поселке. Живет он на кладбище и зиму, и лето, почует под теплыми кедрами, а кормится подачками — кто чего бросит, то и ест. Кости на кладбище — это все остатки его жратвы.

И сразу сделалось заметно, как птица эта, грозная с виду, неопрятна и жалка, а взлететь она выше, чем на

городьбу, не может. Нищая и убогая попрошайка с обликом орла, которую даже собаки не голяют.

Грозно сверкая орлиным взором, может она еще нашего брата — заезжих — напугать, но удивить никого собою не может. Среди людей тоже встречаются такие птицы — по оперенью орел орлом, а питается отбросами со столов и летать вовсе не умеет...

Ребятишки важно сообщили, что магазин открылся, и мы пошли в поселок.

А орлан, не получивший подачки, недовольно стуча круто изогнутым клювом, хрипя сердито и простуженно, хромя, как кладбищенский сторож-инвалид, заподпрыгивал к могилам и спрятался в тихом надгробном кедраче.

КРЕСТЬЯНИН

Мы ехали из Красноярска в село Казачинское и достигли уже Большемуртинского района, где села сплошь почти именуются по-татарски и живет здесь много обрусевших татар.

Земля была вся в цвету. «Вся!» — я произнес не как литературный образ, земля в самом деле цвела в три, в четыре, в пять этажей! Она буйствовала, она, озоруя, мазалась красками, безудержно, по-детски радуясь самой себе, теплу и солнцу. Попизу земля была опрыскана белыми цветами клубники и земляники, гусиной лапкой, ветреницами желтыми и белыми, блестками травы-муравы, звездочками любки и майника. Выше синели ирисы, качались ландыши белые и лесные — орехового цвета, и кое-где уж птичьим яичком выкатывались из сдвоенного листа рябенькие кукушкины слезки, робко и просительно открывая ротик, обметанный молочной пеной, а еще выше — и цветы эти, и землю всеохватно и яростно захлестывал пожар сибирских жарков. Огненное буйство умиряли только спокойные цветы медуницы, синеющие по опушке леса, и уверенные, крупно растущие по мокрым логам и склонам гор марьяны коренья с уже забуревшими, кругло выпирающими бутонами.

Глаз радовался, душа пела, восторг передавался ей от ликующей природы.

Так вот, с восторженным настроением, громким говором, мы и вкатили в какое-то сибирское село с приземис-

тыми, крепко рубленными избами, приветливость которым придавали, пожалуй, только ставни, пестро, как у теремов, покрашенные, да цветы на окнах.

Машина наша ехала бойко по улице, и от нее в панике разлетались на стороны курицы и от каждого двора, сатаея, гнались псы, пытавшиеся ухватить зубами за колесо наш транспорт.

Впереди показалась белая лошадь с распущенной гривой и буйно разметавшейся челкой. На ней сидел человек с предостерегающе поднятой левой рукой, в правой он крепко держал повод обороти.

— Я объезжаю молодую лошадь, — с чуть заметным татарским акцентом сказал он и тихо, уважительно прибавил: — Извините!

Лошадь грызла удила, косила коричневые глаза на машину и круглила гибкую шею, как бы обтекая собой автомобиль, и в то же время не двигалась с места, а лишь пританцовывая, щелкала подковами.

Парень — по лицу это был парень, но крупный, с мужицким раскрыльем плеч, с прямым доверительным взглядом и тем достоинством в каждом движении, в слове и в улыбке, которое дается истинным труженикам земли, ничем не запятнавшим свою жизнь во многих поколениях, не дрогнувшим в лихолетье, уверенным в себе и в той пользе, какую они дают миру и людям, — парень этот не горячил молодого жеребца, чуть порябленного серыми пятнами по ногам и по груди, он как бы давал полюбоваться конем и собою, и мне показалось, лошадь понимала его и, гарцуя, немножко кокетничала перед нами, но страх все же жил в ней, она боялась машины, у которой стучало сердце и выбрасывало душный дым, и людей, сидящих в машине, боялась, не понимая, отчего они сидят в ней, а не на ней, и вообще жеребец был еще молод, ему хотелось мчаться, лететь над землей, и он вдруг понес, трусовато закидывая ноги и зад, как это делали когда-то беспородные, дураковатые крестьянские копи, не видавшие никаких машин, как мы когда-то в детстве, ополоумев от страха, очумело мчались в сумерках мимо деревенского кладбища.

Парень, откинувшийся в седле, выровнял себя, сжал бока лошади стремянами, что-то ей сказал, наклонившись, и она вроде как поняла его, перешла на красивый, стелющийся намет.

Унес жеребец парня за околицу села, в пылающие

жарким веселым цветом поля, в паржающееся лето, к солнцу, а мы еще долго смотрели им вслед, и мне посеичас еще видится белая-белая лошадь и ладно, уверенно сидящий в седле паренъ с приветливо и предостерегающе поднятой рукой. Рука была большая, узловатая, величипут с совковую лопату, с мозолями на ладоши. А лошадь — пугливая, юная, с шелковистой, нежной гривой и звонкими, серебряно свержающими копытами.

МЕРТВЫЙ ТАЙМЕНЬ

Меж бревен вверх брюхом плавал по Енисею огромный таймень, и замусоренная вода пузырилась вокруг мертвой рыбыны.

По древнему зову пришел таймень осенью к тому месту, где был Манский бык, который безо всякой надобности смахнули гидростроители, стал за камни — ближе к живым донным ключам.

Весной таймень начал пасти стаю ельцов, выедаая тех, что большы и ослаблены.

Забылся в охоте таймень. Увлекся. А возле займища в Овсянскую запань разгружалась железная лесовозная баржа — колымага, разом обрушив в воду весь лесной груз топи в семьдесят весом, и, как глупого мелкого ельца, хряпнуло бревнами, оглушило речного красавца, быть может, последнего из тех речных богатырей, что стояли веками за Манским быком зимней порой в холодной, тихой яме и украшали жизнь реки, продляя богатырский тайменшый род, разжигали рыбацью удаль и страсть.

ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА

Узники любят глядеть на звезды. Да более им и глядеть-то не на что.

Один бывший узник рассказывал мне, как однажды увидел летящую по небу звезду. И спустя время узнал, что это был спутник.

«Так можно и жизнь пропустить», — подумал он и попросился на тяжелую работу, в забой, где шли «зачеты», хотя до этого он был вором в законе и лихим арестантом — бездельником во многие годы.

Тот человек давно уж на свободе. Давно живет законной жизнью, но глядеть на звезды привычки не утратил. И часто плачет он, глядя на них, потому что каждая звезда кажется ему бесцельно, зазря прожитым годом.

СТАРЫЙ КОРАБЛЬ

Он стоит, сиротливо прислонившись к берегу острова Отдыха, усмирённый, тихий, с неработающей машиной, педымящей трубой и навсегда умолкшим гудком, по все с той же окраской, какая на нем была в тридцатые годы: желтые палубные надстройки, рубка и жилые каюты с коричневыми прогонами, черно-смоленый корпус с алой лентой вдоль борта, труба в три цвета — красная, черная полоса и остальное бревно трубы — желтое — национальные цвета Германии, еще фашистской. Фашисты, как и их собратья по борьбе за общее счастье человечества, коммунисты, обожали кровавый цвет, и знамена у тех и у других были красные, лишь знаки на полотнах были разные: у первых — свастика, у вторых — серп и молот. Собираясь завоевывать мир, фашисты и коммунисты прибегали к древним, мирным знакам труда. Без обмана и лжи они не могли обойтись даже в символикe.

В 1938 году, в связи с развитием Крайнего Севера: строительством Норильска, Игарки, Диксонской базы, Усть-порта и Дудинского порта и невиданно возросшими по Енисею перевозками, укреплялось речное пароходство. В Германии было закуплено пять первоклассных по тому времени теплоходов — два пассажирских и три буксирно-транспортных. Их перевели из Гамбурга через северные моря и Ледовитый океан на великую сибирскую реку и сразу же прилепили к ним имена достославных и скромных советских вождей. Пассажирские теплоходы были названы именами Сталина и Орджоникидзе, один буксир — именем первого маршала Климa Ворошилова, а вот два оставшихся чужестранца удостоились имен по тем годам неожиданных, как бы брошенных сибирскому народу в виде подачи — ешьте, мы добрые. А может, и не хватило на ту пору вождей, достойных исторической памяти. Многие из них уже сидели в тюрьме или находились под здоровым подозрением. «Восточная Сибирь» и «Красноярский рабочий» — такие исключительные названия получили два германских судна. И самый мощный

теплоход — в честь местной газеты, начавшей выходить еще в 1905 году. Газета жива до сих пор, и теплоход, старостью томимый, жив еще, хотя и не дышит. Дети Севера, вечно ждущие вестей, гостей и приключений, бегали на берег Губенской протоки в Игарке, чтобы полюбоваться чужестранными кораблями-гигантами, по сравнению с которыми наши, колесные, еще дореволюционных времен, пароходы казались нам унылыми, тихоходными лапотниками. Один пассажирский пароход из «стариков» прибыл на Енисей с милым названием «Дедушка», но потом конфузливо менял имена пламенных революционеров, которые, как на подбор, оказывались людьми «не нашими», стало быть, врагами народа. Успокоился «Дедушка» лишь на «Марии Ульяновой», сестре Ленина — эта успела умереть раньше начавшейся кампании против вредителей и изменников, а то б и ее переименовали.

У старых речных трудяг, прежде всего у пассажирских пароходов, были дивно-музыкальные гудки, и слушать их было сплошное удовольствие. У гамбургских кораблей гудки чужие, угрюмо-басовитые, отчужденные, как бы с того света, из запредельности быком ревущие. Чалдонь-ребятишки чужестранных гудков боялись и говорили, ежась: «У-у, запел, фашист».

Лихтеров, барж и паузков штук до двадцати-тридцати нацепляв на толстый, ершисто полопавшийся трос, чужестранцы, привычно уже ставшие на Енисее «своими в доску», вели в Игарку, в Дудинку, до Диксона огромные караваны с грузами, обратно — руду и заморские товары плавил, с надсадой одолевая Осиновские пороги, рассчитывались на непроходимых Казачинских порогах.

Однажды довелось мне видеть, как, спасая караван, заводил во время яростного шторма в Губенскую протоку баржи «Красноярский рабочий». Тревожно, трагично басил гудок буксира. Баржи наваливало на камешные мысы, две из них свалило на бок, переломило и из глубоких недр, точно из темного мешка, вывалило в бушующие волны живых людей с нехитрым нищим скарбом — и этакий груз непрерывным потоком плыл, доставлялся в невольничьи норильские никелево-медные рудники...

Много пужной и трудной работы исполнили на Енисее теплоходы, построенные в Гамбурге. Но ничто не вечно под луной. Они прожили свою вольную жизнь на реке и которые были порезаны на металл, которые брошены без призора. Как современные старики, затонули и за-

ржавели без догляда. Их заменили другие, более мощные суда. Один лишь «Красноярский рабочий», приспособленный под брандвахту, стоит на Енисее в городе Красноярске и несет какую-то непонятную службу.

Бывая на набережной, я подолгу смотрю на речного работягу. Давнего, приземистого, грудастого портового грузчика с козой на спине напоминает мне он, и чередой предо мною проходят прожитые годы, как бы воедино связанные с нашей великой рекой, с ее неутомимыми речными тружениками, среди которых до войны и долго еще в послевоенные годы флагманом был «Красноярский рабочий». Ах, как много чувств и воспоминаний возникает, когда я вижу корабль моего детства. Грустные, пронзительно печальные думы охватывают меня всякий раз при виде старого корабля, приткнувшегося к берегу, на котором мне мечталось побывать, да так и не посчастливилось побывать, речные картины возникают предо мною — Енисей, то благодушно-тихий, просторный, то стиснутый утесами, то разъяренный, вспененный иль бушующий в шторм белопенными волнами.

Есть что-то щемящее и бесконечно дорогое в этом одиноком, учаленном, умолкшем навсегда, но не утратившем гордого достоинства старике, есть что-то вечное, немеркнущее в его молчаливой, отстраненной от современной жизни осанке, как будто всем своим видом он говорит: «Я отработал свое, много пользы сделал людям. Посмотрим, что сделаете вы? Как проживете жизнь свою? Пока лишь шум с моста доносится, дымы заводские наплывают с берегов да порою пролетят надо мной косяки высоких птиц, поприветствовав меня родными прощальными криками, или с гор принесет ветром одинокий осенний желтый лист. Мне снятся речные просторы и высокое голубое небо над ними. Что снится вам, тревожные люди?..»

МАКСИК

Был я в городе Кельне, а точнее в пригороде, в гостях у директора Кельнского института славистики Вольфганга Казака, которого и студенты, и коллеги зовут профессором. Наши боевые мыслители и идеологи долго кляли его за то, что он «не так» пишет о советской литературе.

Побывши у нас в плену во время войны, зная по книгам и по общению с нашими эмигрантами нравы совет-

ской идеологической машины, Вольфганг Казак относился к поношениям передовой советской критики и ко всему, что у нас происходило, без всякого остервенения, скорее с грустной иронией, как и положено взрослому образованному человеку относиться к проделкам неразумных детей, бьющих посуду, разоряющих гнезда птиц, травящих дворовую собачонку, привязанную на цепь. Но к самим писателям России он всегда относился доброжелательно, многое о них знал, много читал и пытался узнать и прочесть еще больше, и недавно он завершил многолетний труд — собрал, составил и напечатал на немецком и на русском языках словарь или, скорее, энциклопедию современной советской литературы.

На загородную виллу профессора было приглашено несколько добрых его знакомых, соседка, очень милая женщина, помогала хозяйке принимать гостей, был еще переводчик «Евгения Онегина», только что закончивший огромную, многолетнюю работу и еще не остывший от Пушкина. Он с восторгом и самозабвением говорил о поэте, во множестве его громко цитировал и при этом хватался от восторга за голову, разводил руками, чуть не плача от нежных чувств, его обуявших.

Вечер предстоял быть неторопливым, обстоятельным, никто никуда не торопился, телефон не брегчал.

У нас в стране надвигались перемены как в экономической, так и в идеологической жизни. Меня много, с доброй верой в человеческий разум расспрашивали о нашем житье-бытье. И в самих вопросах, и в разговорах звучала надежда на то, что наконец-то наступит «потепление» в России, кончится отчуждение от европейской культуры, приостановится одичание огромной страны, имеющей такие колоссальные достижения во всех сферах жизни и в особенности в литературе.

Мы начали закусывать, когда боковая дверь в притененную гостиную приоткрылась, и возник из нее мальчик, одетый в легкую почную пижамку.

— Ма-аа-аксик! — с укоризной обратилась к нему хозяйка Марта и покачала головой. В следующую секунду мальчик был уже на коленях матери, обнимал ее за шею и что-то шептал на ухо.

— Максим должен спать! — строго сказал отец. Мальчик тут же покинул мать, попытался приластиться к отцу, напускающему на себя строгость, и в то же время чуть заметно улыбающемуся.

— Максик не хочет ложиться спать, и он добьется сво-

его. Мать его балует и не может не баловать, — это сказала мне соседка.

Крепкая, хорошо одетая, умело прячущая свой возраст, она жила на пособие за четверых детей. И как жила! Нашим бы женщинам, волохающим на производстве, дома и на дачном участке да мечтающим о том, чтобы муж домой явился хотя бы с частью полочки, чтобы сахар в магазине выбросили, мыло да картошку завезли, и не снилась жизнь многодетной матери в побежденном нами и союзниками нашими государстве. У нее загородный дом, не хуже, чем у профессора Вольфганга Казака, две автомашины, на одной ездит на работу старшая дочь, на другой — мама по своим делам и за покупками. С соседями немцы очень дружелюбны, внимательны друг к другу.

Однажды под вечер в доме соседки зазвонил телефон, тревожно как-то зазвонил. Соседка подняла трубку и услышала детский голосок:

— Мут-тэр, мут-тэр, мут-тэр!.. — женщина подумала, что кто-то шалит по телефону, но шалит по телефону лишь в России: там, говорят, и облаять могут, и «скорую», и «пожарку» понарошку вызвать. Немецких же детей крепко порют до сих пор, и из них давно выбиты всякие потуги к детским вольностям — десяток колясок возле магазина стоит, и никакого писку, ни один киндер рта не отворяет. В коляске своей образцовый ребенок не позволит себе ни обмочиться, ни тем более обделаться, значит, и орать незачем. Мама, немецкая мама киндера своего тоже не забудет, не заболтается с подружкой, не отведет душу в очереди, потому как очередей у них не бывает.

— Кто говорит? Кто?..

— Мут-тэр, мут-тэр... — продолжает слышаться детский голос в трубке телефона. И, проявляя терпение, женщина встревоженно спрашивает, кто и почему все-таки звонит? И вдруг узнает голос:

— Максик? Максик, ты?

Соседка сказала дочери, что звонит Максик. Нужно сбегать и узнать, не случилось ли что у соседей? Девочка помчалась к соседям и нашла там жуткую картину. На пороге без сознания лежит Марта, у телефона, едва доставая его с подставленного детского стульчика, крутит диск и плачет мальчик. Когда и как малыш сумел запомнить четырехзначный телефон соседа и набрал его? Никто до сих пор понять не может. Уповают на Господа Бога.

У Вольфганга Казака Марта — вторая жена. Первая

умерла так же неожиданно, оставив двоих детей, и вот чуть не пала Марта от скоротечно разящей людей пневмонии, гулявшей в ту весну по Европе.

Строг профессор, и мама строга. Но Максику разрешено было посидеть с нами еще часок. Он показал мне любимые игрушки и свои рисунки, по поуждению старших торопливо прочел какой-то стишок и ушел спать с затрепанной тряпичной обезьянкой в обнимку. Дите и дите, как и все дети. А вот поди ж ты... Европа!

ГЛУХАРЬ

Избушка наша стояла у самого леса. В обрывистый берег мы вкопали баню. Над баней огромная листвень, и к ней березка притулилась. Мы не трогали эти деревья. Они наподобие маяка для пароходов были.

И вот однажды, в конце августа, выхожу я из избушки. Бело кругом от инея. Лес оцепенел, притих. В Заполярье ведь осень рано начинается. Слышу: тэк-тэк-тэк. Глухарь токует. Робко, правда, но токует.. Глянул — на листвени, над баней ходит по суку, распутив крылья, здоровенный бородатый глухарь. Я в избушку, за ружьем.

Дед ружье у меня отобрал.

— Что за корысть — старика ухлопать? Птицы тебе мало, что ли?

Птицы в Заполярье, особенно в эту пору и в самом деле много. «Зачем старого глухаря губить? Мясо у него жесткое», — подумал я и повесил ружье на стену.

И так, каждое утро, на заре, к бане, выходил из лесу старый песельник. Он не прилетал, а приходил и вспархивал на пижний сук листвени. Посидит-посидит, осмотрится и словно бы ненароком уронит «тэк». А потом разойдется, разойдется. Глядит на зарю и напевает. Крылья раскинет, перья у него на зобу дыбом поднимутся — топчется, хорохорится. Может быть, чувствовал старик, что до весны не дотянет, вот и спешил сыграть свою последнюю песню.

Однажды к нам из города приехали ягодники и охотники. Ночевали они в бане. Рано утром выстрел прокатился по лесу, расколол тишину. Подбежал я к окну и вижу: с лиственицы медленно падает старый глухарь. Упал. Забился. Дед из избушки выскочил, поднял за крыло глухаря и сказал с глубокой печалью:

— Эх, дураки. Последнюю песню убили...

ТЕТРАДЬ ШЕСТАЯ



ПОСЛЕДНЯЯ НАРОДНАЯ
СИМФОНИЯ



МЕЧТА

Как бы хотелось, чтобы человек в развитии своем достиг такого совершенства, при котором, покинув сей свет, мог бы он слушать музыку родной земли.

Лежал бы на вечном покое, отстраненный от суеты и скверны житейской, а над ним вечная музыка. Для него только и звучит. И все, что он не смог услышать и дослушать при всей своей бедовой и хлопотной жизни, дослушал бы потом, под шум берез, под шелест травы и порывы ветра...

Вот это и было бы бессмертье, достойное человека, награда за муки его и труда.

РУКАВИЧКИ

Эмиль Гилельс был на гастролях в Вологде и, знакомясь с достопримечательностями города, осматривал Софийский собор, что стоит на Соборной горке, красуется по-над Вологодой-рекой и в ясную погоду куполами отражается в ней.

Строили собор во времена Ивана Грозного и вышел с ним будто бы казус совершенно неожиданный и негаданный. Во время осмотра и перед освящением его на Ивана Грозного, царя суеверного и подозрительного, обрушился сверху изрядный пласт штукатурки.

Царь сразу же из Вологды уехал и по этой или по какой

другой причине дивной красоты и благолепия собор Святой Софии остался холодным.

Даже в середине лета в огромном соборе студено и гулко. И вот ходит знаменитый маэстро по храму, дивуется на фрески, писанные будто бы учениками самого Дионисия или даже под его руководством, и все потирает да прячет руки, отыскивая им теплое место. Забудется, засмотрится, затаив дыхание, на творения дивных мастеров и опять начинает руками суетиться — то под мышками их зажмет, то в карманы спрячет, а все нет грева. Сопутники его из музыкантов, из местных интеллектуалов не обращают внимания на неладность, происходящую с гостем, а вот старушка, березовой метлой и сторожкой кормившаяся подле храма, заметила.

— Поце, милый, рукам место ищешь? Мерзнут?

— Мерзнут, бабушка, мерзнут. А мне вечером играть. Нельзя руки остужать.

— Дак вот возьми мои рукавички. Возьми, возьми, болезнай. Оне хоть и в латках, но чистые — я их каждую неделю мою.

Гость охотно подставил руки, бабушка надела рукавички, согретье своими руками, на бесценные руки пианиста, и маэстро ожил, повеселел, долго еще оставался в Софийском соборе — там есть чего смотреть, говорят, одних фресок около пяти тысяч метров.

Уходя из собора, Гилельс вернул бабушке рукавички и, приложив ладонь к левой части груди, поклонился ей легко и элегантно, как это умел делать только он, без заискивания и ужимок:

— Благодарю вас, родимая! Вы очень, очень мне помогли.

Этот случай мне рассказала работница и заботница вологодского музея Ирина Александровна Пятницкая. Недавно ее не стало, и Эмиля Гилельса уже нет, давно уж нет на свете и бабушки-привратницы — помянем же их добрым словом и пожелаем всем Царствия Небесного — каждый из них умел делать добро на своем месте и служил ему в меру своих сил.

ПОСЛЕДНЯЯ НАРОДНАЯ СИМФОНИЯ

Когда я смотрю и слушаю по телевидению дивное действо под названием «Играй, гармонь», меня всегда душат слезы.

А душат меня слезы не только от восторга, но и от горестного сознания того, что братья Заволокины вместе с остатками нашего замороченного народа творят последнюю радостную симфонию России.

«А Русь в сиреневом дыму и плачет, и поет», — не раз про себя повторил я слова поэта, слушая русскую гармонию, а она переборы льет-заливается, а из груди стон: «Да куда же? Зачем? Почему все это уходит?!»

И братья-крепьши, сибиряки, и подвиг их творческий ужли напрасны? Где, из чего взять веру в завтрашний день, ведь она без народной музыки, без пляски, песни и радости невозможна.

Сброд и шпана рождает сбродное злобное искусство, народ — народное ликующее.

Где же паш народ? Куда он улетел? Куда уехал? Убыл надолго ли и песни с собой унес?

РАЗВРАЩЕНЕЦ

Он был уже изрядно потаскан и жизнью утомлен, когда довелось мне с ним познакомиться на одном из частых в ту пору семинаров молодых писателей. Подавая крупную, но вялую руку, кривя морщинистый рот, он лениво представился: «Развращенец!»

Происходил он из крепкой рабочей семьи коренных уральцев, заимствовал от родителей кучерявую голову, широкую грудь и некую природную силу и стройность, может, даже стать, заметно уже смятую, и нажим на букву «щ» в разговоре, которым охотно, к месту и не к месту он пользовался. Новознакомцев забавляло, когда он, потягиваясь и зевая, говорил: «Дак ще, парни, однако, пора освежиться, лавки-те отворилися, кажись...»

Книги он писал только на злобу дня, и они у него пеклись, как блины на масленицу, а если сказать по-уральскому, как шаньги. Да все книги с броскими, неотразимыми для издательств названиями: «Отблеск пламени» — про металлургов, «Заря негасимая» — про старых революционеров, «Гранит не плавится» — про уральских камерезов. За «Отблеск» получил он премию Ленинского комсомола, был быстренько оформлен в Союз писателей, избран в местное бюро и в редколлегию столичного молодежного журнала, зачислен на Высшие литературные кур-

сы, где беспробудно пил, трепался и путался с какими-то околослитературными дамочками. Поскольку «Отблеск пламени» был инсценирован, экранизирован, превращен в оперу, в его прокуренной, запущенной комнате все время роились люди «от искусства», в открытую дверь лауреата валил сигаретный дым, катился мат и возгласы типа: «Нет, только свободная литература дееспособна!...»; «Искусство задавлено политиками!...»; «Культура гибнет под напором серости!...»; «Но придет, придет конец нашему терпению!...». И стихи, стихи: «По вечерам, над ресторанами»; «Не жалею, не зову, не плачу»; «Шансон-эскамильо, шансон-эскамильо, шансон-эскамильо — святое вин-но!...».

Когда деньги от стипендии подходили к концу, а был «развращенец» вечно в долгах, он выползал в коридор мятый, распухший, в просторно на нем болтающемся спортивном костюме с лампасами и говорил мимо по коридору проходившему курсанту или заезжему богатому товарищу с Кавказа:

— Зайди, старичок, освежись! — и кивал головой со спутанно на ней шевелящимися, давно не стриженными, до плеч проросшими кудрями, которые над его лицом, усохшим, изморщиненным, почему-то с несходящим, почти черным загаром («Жар мартепов, старички, жар мартепов!»), казались париком времени королей Людовиков. «Освежившись», гость, конечно же, выгребал из карманов рублишки, иногда и последние.

Пьянствовал он на курсах год, на второй год был отчислен с курсов и, несмотря на заступничество ЦК комсомола, секретариата правления Союза писателей, влиятельных друзей, выселен из общежития Литинститута.

Какое-то время он пожил у одной, у другой артистки, позимогорил на дачах богатых писателей, поел щей и капусты в подмосковных Домах творчества и уехал собкором центральной газеты в Сибирь, закатив на прощание пир в литинститутском общежитии с песнями, стихами, обниманиями, битьем посуды и морд.

При всей его болтливости, распушенности и отменном цинизме он никому не доверял свою сокровенную тайну, не пояснял своего, выставляемого напоказ и часто охотно самим им произносимого прозвища «развращенец».

А он вкладывал в него особый, можно сказать, тайный, смысл.

Жизнь его искажилась еще в детстве, по той самой причине, по которой браконьерски сгублено, пущено «не по той дороге» уже не одно одаренное советское дитя. В двенадцать лет он написал стихотворение ко дню 8 Марта и был впервые напечатан в многотиражке «Металлург». К пятнадцати годам он уже стряпал стихи, что олады, и печатались они всюду, вплоть до «Пионерской правды». Учиться он стал плохо, учителям и родителям хамил. Отец, зная, как крепко калит горячий металл человеческий характер, выжигая из него всякую скверну, после окончания десятилетки поставил сына рядом с собой к мартену сперва учеником, потом подручным.

Из семьи и от мартена увела его с собой заезжая, курящая журналистка из областной газеты. Сраженная кудрями и горячей страстью молодого металлурга, свято верящая в его большое литературное будущее, она принялась таскать и двигать вперед «народный талант» и, определив на факультет журналистики, лелеяла и вскармливала свое светило.

Она погибла от надсады, недоедов, ревности, абортот и пьянства, так и не дождавшись расцвета ею взлелеянного «уральского цветочка», как нежно кликала она его в первые светлые годы совместной жизни.

Он тяжело перенес утрату, хотел покончить с собой, выпил флакон уксуса. Его промыли и откачали.

За общительность, остроумие, пылкость натуры ему сделан был подарок «круглолиценькой секретаршей», как звал ее сам студент. Он был распределен в одну из самых цветущих и теплых республик, в самую богатую и процветающую газету.

Здесь мало работали, но много пили и часто ходили на пышные, торжественные приемы.

А года-то были суровые, послевоенные, пей, да дело разумеи, не забывайся, не расслабляйся. В Азии находишься, здесь мягко стелют, да жестко спать.

Он быстро, легко вошел в коллектив, но творческая работа скоро его утомила: «С этой работой всю пьянку запустил», острил он и угодливые младшие братья, имеющие много детей и бытовых забот, не задерживая старшего брата на высокогонорарных должностях, скоренько продвинули его в секретариат газеты. Здесь он вконец разленился, «изварлыжился», как говорил его отец, и только из-за лени, дежуря по номеру, однажды зачеркнул «вынос», два лишних абзаца на полях газетной полосы, не

составив труда даже заглянуть, что там, в этом выносе писано.

А означено в этом выносе оказалось аж пятнадцать фамилий космополитов, которые после появления их имен в печати должны были быть разоблачены, обезврежены и устранены.

Святая азиатская простота, во всем видящая то волю аллаха, то хитроумные руководящие происки, восприняла отсутствие пятнадцати фамилий в длинном списке как указание насчет их «оттудова». Кто ж сам-то посмеет этакое сокращать? И не доискивались истины. А тут и перемены в быстро текущей жизни произошли, и те, кто мог бы доискиваться, сами «погорели» и куда-то делись.

Пятнадцать спасенных были особи не простые, но крупно-руководящие, благодарить умеющие. Они нашли молодого газетчика и сказали: «Проси чего хочешь!» И устроили ему от щедрот, не своих, конечно, жизнь такую, что, «изнутри» заглянув в нее, вкусив блага высокого «полета», молодой газетчик из рабочей семьи легко привык к будням великий советский элиты и дошел до того, что однажды, находясь в роскошных садах Семирамиды, потребовал: «Японочку хочу!»

И тут же была где-то добыта и доставлена ему настоящая, живая японочка.

Ах, почему не вечно это самое счастье! Поехал один из им спасенных начальников на родной Урал помогать искусству и забрал его с собой, сказав: «Здесь тебе больше нельзя. Наследил...»

Вот тогда-то он и вспомнил про свой литературный дар и был отправлен работать во вновь открытый на Урале толстый журнал, аж замом редактора. Снова пил, снова гулял, но скоро снова сделалось не на что кутить, и тогда он за два месяца испек знаменитый злободневный роман «Отблеск пламени». И пошел, пошел чесать в гору, нет, нет, не в уральскую, где покоится его отец и вся почти сталеплавильная достославная династия.

В литературную гору пошел.

Подъем в ту гору был тогда неустойчивый, но «развращенца» и это утомило, он потыкался, поискал, где бы можно было ничего не делать, но много пить и сладко есть, однако такие места всегда у нас были нарасхват, и пришлось ему ездить по стране на разные семинары, форумы, совещания. На периферии, особенно в республиках, «выездные бригады писателей» пышно встречали,

угощали и заласкивали и даже заискивали перед нужными народу талантами.

Где-то в этом творческом кочевье он сыскал себе жену, конечно же, красавицу, конечно же, с литературным именем. Белла было ее название. Молодой и удачливый романист быстренько изладил ей сыночка. Поскольку мама и папа пили вперегонки, сыночек был болезненно вял, мало умен, но зато херувим херувимом — весь в кудрях, с печальными глазами в пол-лица. Соседи любили, кормили и доглядывали мальчика.

Со временем папу перестали приглашать на выездные литературные мероприятия. Местные молодые таланты не хотели больше его поить и кормить у себя. Горсточка околлитературных подонков, когда-то «подававших надежды», сшибающая на выпивку внутренними рецензиями, случайными выступлениями и заметками «по поводу» кино иль театра, сделалась его окружением.

И «развращенец», и жена его стремительно опускались, она водила домой денежных кавалеров, сгоняла мужа «со двора». Он слонялся со шлюхами по гостиничным номерам, «прикрываясь» мальчиком, родным сыном, которому приходилось скучать одному возле сердобольных коридорных тетенок иль сидеть в компании пьяных дядей за ресторанными иль за буфетными нечистыми столами...

Природа и порода все же были крепки, он сделал усилие, очнулся, стал ездить от столичной молодежной газеты спецкором, писал пространные очерки о героях труда, о тучных колхозных полях, о вдохновенных лицах металлургов, озаренных ярким пламенем социалистической стали. Но вот раз съездил впустую, другой, по командировке не отчитался, и родной его комсомол вежливо и молча от него отстранился.

Они пропили с женой все, что можно было дома пропить, сдали внаем квартиру. Ему хватило еще сил и ума отвезти мальчика к братьям-металлургам. Когда-то форсистый, учивший молодые дарования «литературному мастерству», умело держаться в изысканном обществе, носить костюм, завязывать галстук, красиво жить и с формом пить, ходил он теперь в куцем пестреньком свитере с надвязанными рукавами, в стоптанных башмаках, но все еще при шляпе, набивался к бывшим семинаристам в гости «заварить чаек», тащил откуда-то редкие книги, добывал билеты в театр, уплыл вдруг на теплоходе сопровождать туристическую группу, привез из поездки рассказ,

который скрепя сердце взяли во многотерпеливый провинциальный журнал.

Осенью, после туристической путины, обнаружилась у него дурная болезнь. Его тайно лечил верный старый друг и сказал на прощание, мол, пить-то ему уже нельзя, писколечко, и «вообще жизнь как-то пора упорядочить, паря, года-годочки».

Он получил гонорар за рассказ, съездил на родительские могилы, навестил своего мальчика, вернувшись, определил жену Беллу в алкоголическую больницу, остатки денег разложил по конвертам, в который — пятерку, в который — десятку, разнес их по многим домам, опустил в почтовые ящики, потом вымолил командировку в местной газете и в единственной районной деревянной гостинице, в единственном отдельном номере, предоставленном ему по привычке как корреспонденту и писателю, вынул из спортивного костюма шнурок, привязал его за прогнутую, но все еще крепкую матицу под потолком...

О нем горевали собутыльники и добрые старые друзья. Написали жалостливый некролог в журнале и в газете с расплывчатой причиной смерти: «ушел из жизни». Скинувшись на похороны и поминки, местные литераторы отвезли гроб с его прахом на родину, поместили рядом с матерью и отцом.

Братья-мартеновцы поставили на могилу его тяжелый, неуклюжий могильный знак местного литья.

ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

В довоенной Игарке, в двенадцатой школе одно время литературу и русский язык преподавал молодой учитель с памятной фамилией — Артикуло.

Был он еще молод, хорошо по тому времени одевался, имел чисто промытый, пышный чуб, который все время ниспадал учителю на крупноносое лицо. Нос слишком широко и вольно вытекал прямо из лба, несколько искажал симпатичное лицо учителя. Отращивая чуб, Артикуло загораживал сей изъян. Волосья он все время отдувал с глаз и при этом раскачивался на стуле. Однажды учащиеся подпилили ножки стула, Артикуло упал на пол, но не расшибся, рассердился на нас маленько и раскачиваться перестал.

Артикуло погиб на войне, командовал стрелковой ро-

той, и Царство ему Небесное, а в ту пору, о которой речь, часто исчезал он из школы на день, когда и на неделю, занимался военной подготовкой. И тогда являлась в класс учительница мужицкого роста, с мужицким голосом, в мужицкой белой рубахе с отложным воротничком, из-под которой на деревянно выпяченную грудь свисал соленой горбушей блестящий галстук с большим узлом.

Артикуло вел уроки весело, с подковыром, с шуточками, а эта баба зычно роняла: «Встань!», «Отвечай!», «Садись!», «Не корчи рожу!», «Не нюнь», «Поразговаривай у меня!», «Кто там шевелится?», «Кого клопы едят?..», «Распустил вас этот Артикуло! Но я подтяну! Я вам покажу, как надо учиться в советской трудовой школе!..».

Класс отвечал ей сплоченной тихой ненавистью. Классный журнал набивался плохими отметками, будто старая шуба блохами, и, когда возвращался Артикуло, мы его встречали чуть ли не аплодисментами.

Однажды Артикуло заболел. Надолго заболел. Почти изжитой в Игарке цингой. «Комиссарша», как мы звали подменную учительницу, читала нам вслух только что вышедшую и уже начинавшую свой достопамятный громкий путь книгу «Как закалялась сталь».

После прочтения началось обсуждение книги, которое шло ни шатко ни валко, однако книга всех проняла, всем понравилась, и ученики, потрафляя «комиссарше», говорили о героическом, беспощадном герое книги, пересказывали особо понравившиеся сцены, а правилось всем и больше всего, как Павка Корчагин напал на полоротого белогвардейского конвоира и освободил большевика Жухрая. «Комиссарша» одобрительно нам кивала головой, классный журнал начал менять свой лик, наполняться положительными отметками, дисциплина в классе подтягивалась. Как вдруг все это дело чуть не испортила тихая девчонка Аришка Прокудина из восьмого переселенческого барака.

Что сказать об этой Аришке? Помню не ее самое, а одежду, в которой она ходила: стеженный серый бушлат, негнущийся коричневый лоскут вместо шали, подрубленная иглой на руках серая юбка, латаная байковая кофтенка; застиранная до того, что цветочков на ней почти не видно было, крупно подшитые грубой драгвой валенки. Как она училась, я тоже не помню, скорей всего на «песики», — таких у нас было большинство и запомнить их невозможно было.

И вот эта Аришка Прокудина вместо того, чтобы восхититься героем книги, похвалить его за подвиги и старания, чего-то замыкала, захрюкала, затыкала.

— Так тебе что, не понравилась книга? — удивилась «комиссарша».

— Да пет, пет, — залепетала Аришка, — поправилась. Но вот... Вот он, Павка, попу в кесто махорки насыпал... ребята смеются... А чего смеяться? В третьем годе голод был — народу скоко вымерло... моя сестра... мой братик... в зыбке... и мама... и бабушка... А он... махорку в кесто... Нехорошо так пад хлебом галиться... Бог накажет...

В пятом классе еще не бывало такой тишины, и никогда еще «комиссарша» не бывала так потрясена и ошарашена. Она чего-то искала, цапала на столе, взглядывала на дверь. Вдруг заиграла пальцами на губе, будто дранкой задрезжала — дыррр, ды-ыррр, ды-ыррр... И это «дыр» да всхлипывания девчонки, испугавшейся своего поступка, только и слышались в классе. Все учащиеся тоже начали озираться на дверь — счас как откроется она, как войдет товарищ в кожаном пиджаке, да в хромовых сапожках, да в галифе-э...

— Тэ-экс! — наконец молвила «комиссарша», — доучились! Прекрати хныкать! Какая твоя фамилия? Отвечай! Ты из спецпереселенцев? Хотя и так ясно. И фамилия-то пакостная, к роже и фамилия лепится.

Прокудина кивала согласно головой.

— Словами отвечай! Голос потеряла? Ты из какого барака? Отвечай! Ну, с тобой еще побеседуем где надо. И с родителями тоже. Чему они тебя учат, узнаем. А сейчас продолжим урок. Я хочу, чтоб вы мне, крапивное семя, открыли идейный пафос романа «Как закалялась сталь». И без контрреволюционных уклонов! Позатесались, понимаешь, в советскую школу... Кулачищци!..

Когда-то в Игарке, сплошь почти заселенной спецпереселенцами, каждый сосланный кулак, умеющий ходить погами, должен был ежемесячно отмечаться в комендатуре, и с трудящегося элемента на содержание НКВД и этой самой комендатуры высчитывали деньги. Ежемесячно. С годами бдительность послабела и в комендатуру ходил отмечать наличие своего населения староста барака. Староста же отвечал за санитарное и пожарное состояние вверенного ему жилища, за наличие поголовья, за выходы и невыходы на работу, за присутствие и отсутствие ссыльных. Так как никаких выборов или там советов не

полагалось спецпереселенцам — они были лишены всяких прав, кроме как на труд, всякого голоса, кроме как на бабу, в старосты шли подневольно, по назначению комендатуры. Как правило, люди сатанели от должности, за которую никто ничего не платил, но спрашивали все. Часто старост уводили и никогда почти обратно не приводили...

Староста восьмого каркасного барака, утекшего одним концом в Медвежий лог и переломившегося на костлявой хребтине пополам, ходил в комендатуру с пухлой истрепанной амбарной книгой. Книга, однако, на сей раз не понадобилась. Скоро и выяснилось, зачем ходил староста барака на вызов.

Вернувшись из комендатуры, староста решительно распахнул обитую тряпьем дверь в комнату Прокудиных, выйдя обратно, так этой дверью саданул-тарабахнул, что звякнули стекла во всех перекошенных рамах восьмого барака.

И тут же барак огласили вопли. — Женившийся вновь пилорамщик Прокудин самолично порол свою дочь смертно, остервенело. Мачеха, сначала в лад порке вторившая: «Вот! Не распускай язык! Не говори чё не следует!..», — закричала, пробуя вырвать веревку у хозяина, но он и ее той веревкой опоясал.

Мужики очурали Прокудина, отобрали веревку, отняли почти насмерть забитую девчущку, принесли водки, палили стакан, другой. Прокудин пил и не хмелел, только скрипел зубами и плевался в таз под умывальником, да поводил шеей, будто давило шею что-то, будто воздух камел в горле.

Через неделю совсем погасшая, навсегда утихшая Аришка Прокудина говорила на уроке литературы:

— Мужественный герой... пафыс... нестигаемый характер, железная воля... книга учит любить человека и почитать Советскую власть... а так же ету. Забыла как? Идею... идею, стальть, коммунистическую и ета... ишшо...

— Громче говори! Чего шепчешь? Чего жуешь? Контру разводила во весь голос!

Прошло много-много лет. Артикуло убили на войне. «Комиссарша» куда-то делась. Аришка Прокудина заменила мачеху на лесобирже, вышла замуж за инвалида войны, родила троих ребят. А я уцелел на войне и в пятидесятые годы начал в писатели выходить, и податливо так, ударно у меня это получалось. Из рабочих потому что. Тогда можно было привечать рабочих в родной литерату-

ре и в передовом искусстве. Многие таланты из народа до старости так и подписывались под стихами и в конце книг: рабочий такой-то, и со сцены, и на всяких разных выступлениях гордо объявляли, что они из рабочих и пишут про рабочий класс.

В литературе я скоро дошел до такого уровня, что мне уже доверено было учить других писать. И однажды, на областном, на творческом «молотовском» семинаре — тогда Пермь еще именовалась Молотовом, — мне поручили вести прозаический семинар. Я его и повел, преисполненный великой ответственности, тайно гордясь тем, что еще недавно в районную газетку едва взяли на работу, я не знал, где в заметке ставить запятые и точки, двоеточия — тем более. И вот уж руковожу творческими силами, помогаю совершенствоваться дарованиям...

Ох-хо-хо-о-о — воистину блажен, кто «смолоду был молод». Мне ж еще только-только тридцать стукнуло! Бьюнош! — по современным меркам литературы — седой и пегой...

На областной молотовский семинар были присланы два почетных гостя из Москвы, два корифея и столпа советской литературы — Анна Караваева и Марк Колосов.

И поскольку почетных гостей было двое, то и прозаический семинар разбился на две секции. Поэты действовали отдельно и самостоятельно.

Я уходил со своими талантами в крыло, над которым взяла шефство Анна Караваева. У нее я читал повесть «Барак», и она мне очень понравилась. Робел я поначалу, но гостя настолько была проста, доступна, по-компанейски говорлива, что скоро расположила весь семинар к себе.

Обсуждали мы интересную рукопись, которая была всамделишной рукописью, то есть не отпечатана на машинке. Автор от волнения потерял голос и самообладание. Пришлось ту рукопись читать вслух мне, и дошел я там до очень пикантного места: жалуется герой, что как увидит во сне, что пашел деньги, так и не сбывается сон, но как увидит, что в штаны наклал, — тут оно, есть! По нынешним временам-то это бы с наслаждением паизусть заучивали, со сцены и в кино во всех деталях показывали, как верх художественного совершенства, как авторское новаторство, как эстетическую воспитанность его, как самые важные достижения слова, благодаря современной демократии произошедшие. А тогда я сбился с текста, за-

явил, что, пожалуй, пропущу смачное место, потому как женщина тут, и вообще.

И тогда гостя наша, Анна Караваева, заявила, что никаких тут женщин нету, а есть писатели, для которых правда жизни превыше всего, как бы груба и жестока она ни была (не правда ли — очень современное заявление, хотя сделано оно в одна тысяча девятьсот пятидесятых годах!). Попутно замечу, что и тогда по таковым заявлениям мы были уже далеко-далеко впереди времени, но не далее пынешнего.

В конце обсуждения рукописи решено было ее доработать, подшлифовать и предлагать к изданию. И гостя почетная наша изъявила желание лично поработать с автором, на что было сделано мягкое возражение, что-де не стоит, наверное, загружать занятого писателя и, извините, человека уже в годах. Мы ее, рукопись-то, подладим, подчистим, в Божий вид приведем, подошлем в Москву вместе с автором. А так все же надсадно...

— А вы думаете, с рукописью Островского легче было? — подбоченясь, спросила гостя и обвела гордым взглядом молотовский творческий семинар.

Ну мы тут, видя, что Анне Караваевой очень хочется поделиться воспоминаниями, зашевелились, с расспросами пристали, просили поведать о значительном событии в жизни страны и литературы, иначе чего бы и подбочениваться, и победоносным взглядом нас, провинциальную творческую мелкоту, одаривать?!

Оказалось, что именно эта московская пара — Анна Караваева и Марк Колосов ездили в Сочи к Николаю Островскому по заданию ЦК комсомола в творческую командировку, помогали больному и слепому автору дорабатывать рукопись будущей знаменитой книги. Писанная по слепым линейкам и под диктовку, она была, «мягко говоря (доподлинное выражение Анны Караваевой), очень далека от совершенства»...

Анне Караваевой и Марку Колосову пришлось будущую знаменитую книгу не просто править, но и дописывать, местами писать. В архивах Николая Островского, да и в сочинском музее должны храниться не только листы с листочками для «слепого письма», но и тексты, сотворенные двумя командированными писателями. А вот хранятся ли? Я не уверен.

Но всякий профессионально читающий человек без труда заметит, что в книге «Как закалялась сталь» яркие,

порой даже самобытные куски прозы соседствуют с тусклым, жеваным текстом — в первом случае — это рука даровитой, но шибко заезженной соцреализмом писательницы Анны Караваевой, во втором — тишайшего и посредственного писателя Марка Колосова. О нем, хорошо его знавший, покойный мой друг Александр Николаевич Макаров как-то с досадою говорил, что в «активе» Марка всего один сборник рассказов, молодой энергией, трудовым энтузиазмом и своим, пусть и наивным взглядом на жизнь наполненный. Однако дали ему недавно отрецензировать этот сборник — для юбилейного издания — там уж ни энтузиазма, ни наивности нету. Двигаясь по воле попутных творческих ветров, автор и его редакторы умело правили этот сборник и до того довыправили, что одна мякина осталась в рассказах. Александр Николаевич отыскал автора, принудил его найти в старом издании книгу и восстановить текст. Чего-то очень смущаясь, страшаясь (себя прежде всего), Марк Колосов сделал «новую редактуру» под нажимом своего рецензента, который всю жизнь, тоже чего-то страшаясь, делал кастрации и обрезанья в своих статьях.

Анна Караваева много нам тогда рассказывала о героическом человеке Николае Островском, по жизнь его, в особенности последние годы и дни, так подробно описаны, записаны и на киноплёнку запечатлены, что нет надобности повторяться. А вот о том, как работалась книга «Как закалялась сталь», и не только двумя командированными писателями, но и в издательстве «Молодая гвардия», и по подсказкам «оттудова!», прежде всего из верхов комсомола, — как-то мало и невнятно говорилось и говорится. И я-то случайно узнал об этом от Анны Караваевой, которая в заключение сказала, что с тех самых пор, с совместной творческой командировки, она очень привязалась к скромному, даже застенчивому, но честному человеку, милому Маркуше, и везде и всюду ездит с ним.

На обильном по питью банкете в честь молодых творческих сил Западного Урала было произнесено много тостов, но отдельно ото всех прозвучали тосты за бессмертную книгу современности «Как закалялась сталь», за светлую память ее автора. Глухим, уже и шибко хмельным вечером Анна Караваева выпила за Марка Колосова, Марк Колосов — за Анну Караваеву, и под дружные аплодисменты гости наши крепко обнялись и поцеловались перед тем как осушить свои бокалы.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

В Пекине тысячи лет стоит храм Неба, а далее — храм Духа.

В храме Неба император со знатью молился Богу об урожае. Сначала он молился в храме, высящемся над остальными сооружениями красоты и изящества невиданного, а вокруг него храмы, по-нашему — отделения ремесел, музыки, наук. Сам храм и невысок вроде бы, но так сооружен, что кажется парящим, готовым взмахнуть крыльями, взлететь в небо. Его венчает огромная, на зерно похожая штукавина, и сооружения вокруг как бы удерживают божественный храм от вознесения.

Во храме, как и всюду сделанном из дерева и крытого трубчатой черепицей, простыми, глаз не режущими красками разрисованном, все предметы искусства связаны с землей, с крестьянским бытом и работой: по обочинам возлежат каменные коровы, дородные, тяжелые от молока. Здесь же расписные кувшины под вино, лари под зерно, а посреди один лишь коврик — для императора, и перед ним вместо трона символы земные — опять коровы, почему-то все безрогие и со свирепо тупыми мордами, атрибуты земледелия, знаки плодородия.

Помолившись во храме, император переходил на круглую каменную площадку с каменной городьбою и здесь, стоя в центре — как бы самой матери-земли, — молился уже небу, просил у него дождя, хлеба, изобилия. Знать, его окружавшая, и народ, запрудивший обширный двор, обнесенный стеною, «возвращающей звук», то есть стеною с эхом, молили небо о том же.

В одном уголке двора, неподалеку от моленного места, был чисто приготовлен клинышек земли, и на нем стояли сытые копи, запряженные в соху. Отмолившись небу, император спускался на землю, брался за соху и показывал Богу и народу свое усердие в земляной работе. Проходил он, надо полагать, всего одну борозду, потому как ждали его более важные дела, забавы и заботы. У одного из них, из древних императоров, как доносит легенда, было три тысячи жен — это ж какую силу, и дух, и терпение иметь надо. Тут с одной управиться и то не всегда приносишься, а там целый табун.

Надо заметить, что жен этих, красивых и молодых, закапывали живьем рядом с опочившим владыкой. Я сам

видел в обширной гробнице огромную плиту, под которой уже тысячи лет покоятся бедные женщины, и спустя тысячелетия можно с точностью предположить, как исто-во, как усердно и искренне молились жены о здравии и долголетьи владыки-мужа. Но от избыточной жратвы, ритуальных дел, повседневных нудных молений, от излишества альковных утех и малой физической работы китайские императоры умирали рано. Даже те из них, что охотились в горах, много воевали, почти не ходили ногами и на войне — их носили на мягких удобных носилках. Пахотой же раз в году — даже если и весь клин запа-шешь — разве укрепиться? Но... все же пахал владыка, учил народ прилежно трудиться, показывал ему пример.

А исторические примеры поучительны. Глядя на тот, доныне сохранившийся клинышек земли, с которого те-перь запускают высоко в небо раскрашенных игрушеч-ных рекламных змеев, вдруг вспомнилось: ведь вот через тысячи лет была перенята мудрость китайских императо-ров на нашей российской земле и комиссарствующий работяга с завода имени Кирова показывал донским ка-закам, как надо пахать землю. И десятки тысяч комисса-ров, никогда в жизни к плугу не встававших, коня не за-прягавших, во множестве и пашни не видевших, по всей отчине российской учили крестьян русских уму-разуму, звали, тащили, гнали его ко всеобщему благоденствию. И вели, и вели свою непреклонную, прямую борозду и дове-ли-таки ее до наших дней и, как опять же говорится в народе, вовсе разучившемся работать, — допахались до тюки, нет ни хлеба, ни муки...

ЩЕЛКУНЧИК

В пятидесятые годы, в хорошем, а по российской про-виции даже выдающемся Пермском театре оперы и ба-лета шел дивный спектакль «Щелкунчик». А дивный он был оттого, что, быть может, с самого сотворения этого совершенно фантастического балета все партии как были написаны Петром Ильичом Чайковским, так и исполня-лись по характеру «и возрасту» ролей — кукол исполняли дети из хореографического училища, давшего миру не одного выдающегося танцора, принцев и принцесс — под-ростки, солдатиков — мальчики, ну и взрослые партии вели испытанные бойцы труппы, незаметно, изумленно

и, как мне показалось, даже с любопытным восторгом солидарствовавшие и помогавшие детям.

Чудесные, яркие краски, сказочные костюмы, декорации одна светлее другой, дети, охваченные порывом вдохновения, всерьез изображающие сказку, играющие себя, и над всем этим, и во всем этом чарующая музыка балета. Где, чему отдать предпочтение? Беспрестанной ли смене мелодий, когда звук и звучание как бы в нескончаемом порыве сменяют и сменяются, да все в лад, все к поре, к месту, все, все сливно с волшебной и чуть смешной, чуть потешной, но буквально везде с упоением, «взаправду», взახлеб воспринимающейся сказкой.

Ах Ты, Господи! Случаются же минуты счастья и восторга, совершенно тебя неменяемым делающие, почти с ума сводящие — так бывает только в театре, и в тайге весною.

На одном из спектаклей, а я ходил на него бесчисленное количество раз, две семилетние девчушки, танцующие кукол в нарядных платьицах, в белых туфельках, в бантах и кружевах, порхали, порхали по сцене, и вдруг одна из девочек упала, легко, немного, как дети падают, она тут же вспорхнула, напарница ей играючи помогла это сделать, и как ни в чем не бывало, с еще большим азартом, веселостью и непринужденностью выполняли девочки нелегкую, нам только порханьем кажущуюся работу. Зал, было охнувший, даже чуть слышно простонавший, награждал такими восторженными, такими неистовыми овациями девочек-тружениц, что в спектакле наступила пауза. Даже дирижер Афанасьев, так всегда любивший нагонять на себя солидность и строгость, палочкой по партитуре постукал, оркестранты — по своим инструментам, публика — в ладоши.

Да после этого жить хотелось, работать, добро людям делать, лучше стать!

Прошло не так уже и много лет, но уже старость наката, беды, хвори, усталость накопилась. Едва волочусь по родному Красноярску, стал улицу переходить, ноги помягчали, архангелом я сделался и по вате пошел, аль по облакам, голова закружилась, фонари с места сдвинулись.

Я никогда не был ни телом, ни духом слаб, недуги свои не люблю, оттого и не соглашаюсь с ними. Ляпнул среди улицы, а натура-дура толкует: «Не может этого быть! Не ты это, неправда...»

Тем временем бывший фронтвик, мужичонка цепкий,

от земли в жизнь ушедший, с дороги выталкивает — задавят ведь полусосиные, полупьяные водители и не извинятся. И хотя внутри весь ливер оторвался и куда-то провалился, ползти не на чем и не с чем, все же тротуара я достиг, голову на поребрик положил — задави теперь попробуй!

Отдыхиваюсь и слышу смех над собой. Открываю глаза — стоят парень с девкой, красивые, ладненькие, все в мехах и в золоте. Девка показывает на меня пальцем, закатывается, парень зубы скалит. Я понимаю, так в наших кинокомедиях людей смешат, упал толстый, неуклюжий дед. Оно и в самом деле смешно. Без шапки, в серенькой грязи-пульпе извоженный и вовсе смешной.

— Что я вам, клоун что ли?! — окрысился я на эту пару, идущую скорей всего в молодежное кафе «Рифей» повеселиться, парядами шикануть — кафе рядом.

— Ой, и правда, правда, Владик, он со щеки-то на Никулина похож!..

Тут вдруг палетел из откуда-то человек, шапку мою поднял, о колено колотит и меня под мышки на тротуар волочит. В болоньевой куртке человек, в штанишках трепаных, по лицу не раз бритвой писанный — за молодежным кафе пункт оргнабора, оттуда мой спаситель, догадался я по виду и по изящности его выражений.

Большую часть монолога из-за непечатности я упускаю, щадя лишь то, что в подцензурной нашей литературе оставляли нам милостиво еще недавно, то есть «главное», херя остальное.

— Я деда поднял, так?! Я помог деду, так?! А вот вам, вам, с-сэки, уже помочь некому будет, когда вы состаритесь. Так я, дед, говорю? Так?!

Модник, видать, каратэ учился или ушу какую-нибудь красноярскую одолел, молодецкую грудь расправив, пошел на моего спасителя, но я спутницу его упредил:

— Уводи кавалера, милая, уводи. Гуляйте! Не видите, что ли, мой кореш из качинских, они приколют человека, высморкаются и дальше следуют.

Пара ушла, озираясь и нас критикуя. Мы посидели с корешком на скамейке, я почти отдышался.

— Ты откуда знаешь, что я каченский?

— Сам с Качи, — соврал я, самую малость соврал, не раз бывал и жил я у своего дяди за Качей, на улице Лассаля.

— Да по-о! — не поверил мне «писанный», пристально

оглядел, покачал головой, укатали, мол, все же Сивку крутые горки.

— Чем я тебе могу помочь?

— Да мне не надо, дед, ничё. Вот на работу бы приняли — пигде не берут, с-сэки.

— Сколько раз сидел?

— Много.

— Чего можешь?

— Все могу. Грузчиком, клепальщиком, слесарем, на дороге асфальт катать, в кочегарке управлюсь, дрова пилить и колоть тоже умею.

— По капализации можешь?

— Ну, если родина прикажет.

И отправился я со своим новознакомцем к моей свояченице, работающей в отделе кадров райжилуправления. Шли мы, шли, мой спутник все на меня сбоку поглядывал и под локоть на всякий случай поддерживал.

— Так ты пачальник, что ли? — наконец спросил он.

— Начальник, пачальник.

— А чё тогда пешком ходишь? Середь улицы валяешься. С народом заодно прогуляться захотелось, н-на мать!

Эх, Щелкунчик, Щелкунчик! Светлый праздник! Был ли ты? Девочки-куколки миленькие, где вы? Что с вами? Как живете-то? С кем живете? Деньги, еда, уголок свой теплый у вас есть ли?

Дай вам Бог вечной радости, какую вы мне и добрым людям дарили когда-то.

БЛАЖЬ

Как и всякий разбродно и пестро читающий человек, с детства жил я двойной жизнью — земной и книжной. В земной — голодуха, очереди, смех и горе среди затурканных и замороченных людей, обретающихся по баракам. В книжной жизни — дворцы, мушкетеры, прерии, пиратские корабли, человеки-невидимки, разбойники, бесстрашные рыцари и, конечно, благородные дамы, из которых нарисуеться одна прищесса такая ли распрекрасная, такая ли умная, пылкая и преданная, что образ непобедимый ее на всю жизнь затаится на задворках памяти, сохраняется там в целости, в сохранности, не старея, не дурнея, не портясь, — этакая петленная мумия памяти.

Был и у меня секретный клад, и суждено было моему

книжному прообразу, пышно выражаясь, претвориться в паглядный образ. Смотрел я однажды какой-то журнал и паткнулся на рассказ о борьбе французского Сопротивления, среди которого было много русских эмигрантов и их детей, воспитанных в любви к своей далекой родине. Большая часть отважных людей сложила головы в неравной и страшной борьбе. Среди них и княгиня Оболенская. Достоправная ли, звучная русская фамилия или какие высшие силы заставили мое сердце дрогнуть и мне захотелось взглянуть на портрет княгини Оболенской.

Я пошел портрет, глянул, и, хотя портрет был шибко «французист» и имя ее писано на французский манер — Вики, я все-таки узнал ее. Это был мой юношеский книжный идеал, «моя» принцесса.

Какой великий дар даден человеку! Память! Воображение! Как хорошо, что они были и остаются свободными, только тебе и никому более не принадлежащими, и ты, деревенский, лапотный мужик, можешь выдумать и полюбить царицу, прицессу или княгиню, и ни хрена никто с этим не сделает. Мое — и все!

Смешно. Конечно, смешно! Да не очень. Есть, есть что-то в природе, соединяющее души или дух помимо чьей-то воли, чьих-то намерений и тем паче указаний.

По указке жить — скотом быть!

Словом, стал я потихоньку страдать по княгине Оболенской — и как представлю башкой своей удалой, как это ее нежную княжескую шейку под чудовищно острый нож гильотины поместили в тюрьме Плётцензе под Берлином, как отсекали ее прекрасную голову, — и нехорошо мне делается, больно и страшно за людей. И ладно, думаю, и справедливо поступил французский король, послав самого изобретателя под пож этой устарелой, но все еще чудовищно-страшной машины, дожившей до наших дней и работающей в застенках просвещенной Европы.

Княгиношка-то Оболенская, урожденная Макарова, могла, кстати, остаться живой, для этого ей надо было сделать малую малость — отказаться от родства своего, написать на тюремной доносной бумажке, что к России и к россиянам она никакого отношения не имеет, княгиня она, дворянского роду она, дитем вывезена гонимыми родителями за кордон. Не написала, ни людей, ни родину далекую, злобной мачехой обернувшейся к детям своим, очутившимся на чужбине не по своей воле, не предала, легла под холодный пож, похожий на увесистый российс-

кий дровокольный колун. На тридцать третьем году отлетело ее светлое, теплое дыхание, отделилась русская головушка от женского тела, знавшего и негу, и ласку. «Налейте, палейте стакан мне вина, рассказывать нет больше мочи...» — пел я в юности звонко, со слезою, до неба высоко голос мой поднимался...

Знаю, знаю, ведаю — половина, если не больше, молодых читателей буркнут: «Ну и дура была!», а то и вовсе небывало всю эту историю посчитают — до княгинюшки-то, до духа ее высокого тянись — не дотянешься, а до себя самой рукой подать...

Год прошел, два, пять, десять лет прошло, а я все явственно вижу, как нож гильотины спокойно, деловито, без скрипа опускается на белую шейку княгини, острая сталь касается теплой кожи, надрезает жилки, в судорожном стоне сжавшееся горлышко...

И не дрогнула, не дрогнула ведь рука палача, как не дрогнуло сердце у пламенных парижских революционеров, ударно эксплуатировавших сей инструмент! После себя они, кажется, и оставили лишь боевую песню «Марсельезу», да гильотину, и горсть исторической вони.

Прошло еще сколько-то лет, может, пять, может, десять — движется жизнь и я с нею вместе двигаюсь, чаще всего не по своей воле и охоте.

Но на кладбище Сеп-Женевьев де Буа — сам поехал мечту свою давнюю исполнять. Привез меня сюда Кирилл Привалов, корреспондент «Литературной газеты», человек, умеющий держать слово, сказал: «Я вас туда повезу», — и повез, хотя и машина у него поломалась, и сын Петруха заболел в тот день, как нам ехать, да и другие мелкие препятствия были, — Кирилл уверял меня — он хорошо знает знаменитое русское кладбище.

Я скоро убедился в том, что он в самом деле досконально изучил кладбище Сеп-Женевьев де Буа.

Главное мне было: посетить могилу великого русского писателя Ивана Бунина, там уж на что сил и времени хватит, то и посмотрю. «К Бунину» меня, как и многих русских людей, особенно литераторов, гонит необъяснимое чувство вины, потребность в покаянии.

Во Францию я прилетел нездоровый, у меня болели ноги. От непрерывного хождения по Парижу они заболели еще больше, и хотя купил я себе мягкие парижские туфли, мало это мне помогло.

Могилы Бунина недалеко от входа на кладбище. Я видел ее на фотографиях, читал о ней и не удивился стро-

гой ее скромности, даже бедности по сравнению с захоронением, скажем, генерала-эзекутора или карателя, как его именуют в наших книгах — Дроздовского, расположенного почти рядом. Похоронен генерал в окружении офицеров своего корпуса, и на мраморном постаменте, золотом писанная, красуется, между прочим, всем нам хорошо знакомая надпись: «Слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость своей Родины».

Но это к слову.

Немногожко корябнуло сердце и глаз на могиле Бунина тяжелым серым крестом лютеранского фасона, отлитым по стандарту из бетона, и обод могилы из того же равнодушного материала цвета русской солдатской шинели, материала, ни глаз, ни тело не греющего. Маленькая мраморная пластинка у подножия креста, на ней значатся имена великого русского писателя и его многотерпеливой жены. В четыре ряда посажены неприхотливые, холода не боящиеся цветы — анютины глазки — вот и вся «рококош», все украшение на чистой, ухоженной могиле.

Я положил цветочки на могилу, приложился губами к шершавому кресту — холоден был чужой камень.

Обошли мы с Кириллом старую часть кладбища Сен-Женевьев де Буа, где сплошь почти росли ели, березы, кедры, и хотя никакой я не историк, все же видел, что здесь покоится значительная, если не большая часть современной российской истории.

Ноги мои послали меня все труднее. Мы часто присаживались передохнуть, и во время такого вот «перекура» я спросил у Кирилла, где же покоятся участники Сопротивления? Он сообщил, что российские повстанцы покоятся здесь. И тогда я рассказал о моей блажи — о неизбывном и вечном, должно быть, наваждении и попросил свести меня к могиле княгини Оболенской. Кирилл с удивлением поглядел на меня, затем с грустью заметил, что сделать это невозможно — участников Сопротивления хоронили за казенный счет или на благотворительные средства, в общих могилах, кои зовутся у нас братскими. Ставился над теми захоронениями общий знак, воздвигалась вокруг стенка или ограда, в стенки вмуровывались мраморные плиточки с фамилией и именем покойного, с датой его рождения и смерти. Могилы те почти забыты, об русских участниках Сопротивления, как и о наших солдатах-страдальцах, вспоминают по торжественным дням да и по круглым датам. Конечно, можно пайти и эту братскую могилку, где покоится знатная княгиня, но для этого

надо проходить день, может, и не один. Для того же, чтоб так долго и много ходить — ведь мы осмотрели лишь частицу старого кладбища, — надо иметь здоровые ноги.

— Ладно, — согласился я со вздохом. Пожимая, что сердце моего спутника болит о Петрухе — сыне и жене, в машине оставшихся, сказал ему, чтоб он сбежал, попроведал их и, если терпимо, мы еще побудем на кладбище. Если же Петруха совсем расхворался, тогда надо будет возвращаться в Париж.

Кирилл стриганул по аллее в сторону ворот кладбища. Я присел на первую попавшуюся скамейку и дал покой своим худым, с детства простуженным ногам. Покоя, который всегда присутствует в сердце человека, посетившего кладбище, не было. Тихая боль угнетала его, было жаль всех живых и мертвых, хотелось заплакать просто так, «для себя» — душа жаждала облегчения. Но ни слез, ни облегчения Бог не посылал, стало быть, так надо — мучиться мне за всех за нас, терпеть телесную и всякую иную боль.

Была вторая половина октября — по французской погоде это выйдет половина нашего сибирского сентября, разгар российского бабьего лета. Именно разгар, когда горы за Еписеем бездымно и ало горят, обагренные осинниками, желтопенной листвой берез, стекает осень по всем распадкам и речкам, клубится по извилинам ущелий солнцезарный лист кустарников и только-только тронуло в горах нежным увяданием хвою на лиственницах. До больших холодов будет алеть лиственница в голом лесу, млея от своей уединенной таежной красоты, и последнюю, неслышную опадь лиственницы уронят к своему подножию уже на снег. До зимних заметей стоять будут гордые, высокие деревья в закатно догорающей сердцевине хвойного кружева.

И здесь, на чужой сторонущке, ряла листом русская осень. Желто было от листа березового, плавно и острожно опадающего. Ярко, пламенно, раскаленно было на дорожках от листа кленового и ясеневое.

На присыпанных сухих аллеях, слоем смешанное, стелилось осеннее пестрое диво. В оградках могил и на надгробьях тоже было нарядно. На оградке, почти глухо забранной легкой алебастровой или каменной стенкой, против которой я сидел, лист лежал пластами, увядая, горько ипряно пахнул он родной российской или сибирской тайгой. Это оттого, что вокруг росли сплошные березы и

ели, уже взрослые, по отчего-то грустные, и хотя ветру не было, светило неназойливое солнце, катился и катился лист с чуть слышным, как и всюду на земле, печальным шорохом, устилая ограду, в центре которой из плиток, похожих на мраморные, может из крошки мрамора, было сооружено что-то отдаленно похожее на одну из кремлевских башенок. По ребрам и стокам башенки игрушечно и любовно наклеены гладкие камешки. И еще там были нехитрые, вроде бы игрушечные вензеля из тех же камешков — кто-то пытался прикрыть бедность захоронения, облагородить последний приют русских людей.

Я догадался, что передо мною и есть братская могила участников Сопротивления, о которых сказывал Кирилл. С пробуждающимся интересом смотрел на карточки, читал даты рождения и смерти покойных, начав озревать их от самого угла, с краю — торопиться-то мне было некуда. Родились русские эти люди все в разное время, большей частью уже здесь, во Франции, но умерли или, как писано на мраморных плитках — «казнены в 1941—45 годах».

Так я скользил глазами по табличкам и наконец уперся взглядом в ту, что была прямо против меня: с фотографии, чуть больше нашей паспортной, смотрела на меня открыто и прямо красавица, причесанная по-русски — гладко, на пробор. Глаза ее были доверительно, даже удивленно распахнуты, приоткрытый рот как бы вопрошал: «Ну, узнаешь?»

Я, конечно же, сразу узнал ее, и сердце во мне, как и полагается в такую торжественную минуту, дрогнуло, куда-то покатилося так быстро, что меня маленько и шатнуло даже со скамьи. Я уже говорил, что видел, встречал ее фотографии, но все они были слишком «французисты». Косметика, наигранная поза, поворот головы, затемненный, где и томный взгляд придавали чужеземный ей вид, имя, и вовсе чужестранное, как-то уж сильно отдаляло ее от людей, привыкших по-тюремному бранно обращаться друг к другу. Именем Вики могли у нас назвать разве что комнатную собачонку. Но на этой карточке жила девушка, похожая на всех песенных русских красавиц, с которых русский художник Венецианов срисовывал единый дивный портрет с вилами сочной капусты под мышками.

На мраморной табличке величиной с тетрадный листок было писано: «Вера Аполлоновна Оболенская, урожденная Макарова» и далее год рождения и казни — все это и, прежде всего, маленькая фотка совпадали с тем,

что было снято в кино, написано в книгах, и сама оградка с окружением русских фамилий, русских лиц, с этим почти игрушечным подобием российской святыни, этой бедной приплюснутой башенки Кремля, которую большинство из покоящихся здесь видели лишь в тоскливых снах, в горьких мечтаниях да на страничках старых книг, затасканных в чемоданах и солдатских мешках, но всегда готовых пострадать за Отечество свое. Умерли русские люди, умерли за нее, за далекую Россию, вместе с пресветлой княгиней Верой.

На мраморной плитке и на карточке княгини легла сыпь от пыли или от сыпких капель дождя. Я ладонью отирал пластинку, как бы издолбленную птичьими клювами, неосознанно надеясь, что она через руку мою в глубокой земле почувствует тепло своей российской земли, такой далекой, такой недосыгаемой и единственной. Вспомнил как что-то совсем необязательное к этому тихому месту, осененному добрым солнцем и заботливо укрываемому перед холодами листом, имеющее отдаленное отношение — из нашей людской суеты, из честолюбия, из дешевого греховодного откупа, называемого благодарной памятью.

Посмертно награждена орденом Почетного легиона, военным крестом и медалью участников Сопротивления и... орденом Отечественной войны — это уж как всегда у нас — с большим опозданием — аж в 1965 году! — равнодушно, в порядке начавшейся кампании всемилостивейшего российского прощения и отмечания заслуг.

А княгиношка того списка не читала и орденов не видела, да и не за них она умерла, не за них на небо улетела.

Читал я позднее, что была Вера Аполлоновна от природы щедро одарена не только женской красотой, но и редкой памятью, образованностью и тем, что зовется внутренней культурой — будучи создательницей организации Сопротивления с длинным и причудливым для русского уха названием — «Организасьон Сивиль Милитэр», — все она — явки, телефоны, адреса, подпольные клички, истинные имена — держала в памяти, в квартире своей хранила секретные документы, копии планов, схемы вражеских оборонительных сооружений — природа щедра была к ней, Бог несомненно примет ее в Царство Небесное, и пусть ей земля эта будет пухом, а земля-то у нас одна, и жизнь тоже одна.

Почаще бы вспоминать нам об этом.

Все книжные выдумки, романтические идеалы рушатся перед насильственными смертями — я много похоронил близких мне людей, двух дочерей похоронил — горем и слезами отмечен мой горький опыт. И до «прищесс» ли мне, седому и старому, — просто Бог и время подарили мне красивую мечту. Спасибо им и за это. Беден и убог тот, кто ничего за душой своею не имеет. И за то, что предаи человек своей мечте, «идеалу» своему, он вознаграждается счастьем, пусть и таких вот запоздалых, пусть и печальных встреч. А княгиношка-то, между прочим, еще и с юмором была: несла чемодан с секретными бумагами, ее и заграчь немецкий патруль: «Что у вас в чемодане?» — «Маленькая бомба, месье». Патруль захохотал и отпустил ее — значит, было отпущено ей еще жить.

Ах ты, ах ты! Что-то все в голову лезет не то. Что-то на свете не так, и сердцу все больно, больно...

По хрусткой рыжей крошке раздались шаги. Вернулся Кирилл и сказал, что Петруха ничего, спит, жена успокоилась, так что мы можем еще погулять, посмотреть:

— День-то, день — чудо!

— А он и не мог быть иным.

Кирилл воззрился на меня.

— Бог есть!

Кирилл забормотал что-то расплывчатое, модно-интеллектуальное, мол, да, несомненно в мире и природе присутствуют какие-то силы, возможно, и высшие, но...

Я сказал, что я не спрашиваю, я утверждаю, и показал ему фотографию русской княгини Веры Аполлоновны Оболенской.

Всю дорогу до самого Парижа мы молчали. Потом «пили чай» по-русски во французской квартире. Кирилл во весь вечер ни разу не упомянул о кладбище Сен-Жезевьев де Буа. О могиле участников Сопротивления тоже не говорил. Но нет-нет и взглядывал он на меня со скрытой значительностью, ровно прикидывал: могла ли чувствовать русская княгиня, знатный человек, героиня Сопротивления такого вот сибирского лаптя с побитыми в походах, порченными застарелой болезнью ногами, далее окопного солдата, так и не выбившегося ни в какие чины? Да еще на таком беспредельном земном расстоянии и пространстве чувствовать?

Но вопрос этот задал сам Господь, сам же на него и ответил.

ПОЭТЫ ПОЮТ

РАССКАЗ ПРОДАВЩИЦЫ ЛАРЬКА

— Ларек-от мой стоял на песчаной косе, в Бело озеро которая вдаётся, пляж на ей был летом вселодной. Зимой ларек запертой. А летом хорошо в ем дело шло. На озере завсегда пароду много бывало, и приезжего, и нашего, здешнего. Вот как-то иду я на утро ларек свой отпирать и замечаю, вроде как он боком стоит. Ларек-от башенкой строен был, о две краски, синей и белой крашенный, издаля заметный. И вот вроде пошатнулась башня-то, падат. «Ой, мамочки мои!» — ахнула я и побежала бегом к своей торговой точке — не злодеяние ли?

Бегу и слышу, с озера песня доносится, дружная такая: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды-ы...» Подбегаю и вижу: в самом деле ларек-то мой нарушен, только не взломан, а подважен. Ларек-от, лавка-то моя, на бревенчатой крестовине строена, и вот два мужика подважили сооружение, камни под крестовины подложили, в киоску поднырнули, чё имя надо — взяли: вино, бутельброды с колбасой да с сыром, два стакана, пачку печенья — тогда ишшо в нашей торговле товары велись, все необходимое, почитай, из продуктов было. Ну вот, два мужика-злодея, оба хорошо одетые, в модных рубахах, один и с бородкой, другой тощей такой, в чесучевом дорогом пиджаке. Сидят оне на той же ваге, которой ларек подломили, обнявшись, и поют во всю головушку. Я было рот открыла орать на них, на взломщиков-то, а оне мне: «Тиха, женщины, тиха! Поэты поют!»

«Вы вот у меня счас запоете, голубчики! Счас я милицию вызову...»

А оне, не прекращая пенья, тычут в замок, отпирай, мол, действуй. Я отперла, поглядела: товару в меру взято, ничё не потревожено, только две еще бутылки с полки свалились и разбились.

Поэты мои все поют, и про чеку, и про любовь, и про танкистов на войне. Я стою и думаю, чё же мне с имя, со взломщиками-то, делать?!

Оне допели песню, приказали мне из ларька выйти, камни из-под крестовины выкатили, вагою заведение мое на место водрузили и говорят: «Торгуй, тетя. И на нас сильно-от не обижайся. Край надо было выпить, за встречу с родиной. А ночь. Чё делать? Вот мы и сообразили,

изловчились. Подсчитай, сколько мы урону нанесли, сколько бою сделали?»

Я посчитала честь по чести. За потрапу и за бой посуды мне все выплатили и еще сверху десятку прибросили, за то, говорят, что хороший ты человек. И пошли вдоль озера по бережку, обнявшись, и все поют, поют: «Уймись, волнения страсти», — поют горемышные.

Я вот с тех пор поэтов люблю и почитаю. Лехкай оне парод. И не жаднай, может, оттого, что денег у их много. Один-от, который наш-от, белозерской, уж неживой, говорят, другой-от часто по телевизору выступат, значит, живой ишшо, красиво эдак ручкой машет и говорит, говорит, про всякое говорит, и про Пушкина, и про друзей своих, и про гласность тоже говорит, и про перестройку. Люди слушают его и не подумают, што он ларек мой на Белом озере злодейски зорил. А я гляжу на его в телевизор-от и плачу, плачу. Господи! Старой-то какой сделался! Не пьет, родимай, и не поет, даже стихов своих боле не читат, все про недостатки да про заботы говорит, и об нуждах народных печалится. А я об ем печалюсь... Вот ведь чё время делат, вот оно как в умственность человека подвигает. Жалко мне его, ох, как жалко. Да и всех нас жалко — чё-то совсем мы заговорились, загопошились — ни песен, ни стихов не слышать, в магазинах шаром покайти, ларек мой давно запертый — нечем торговать сделалось, голым-голо, и подламывать торговые точки незачем — ничем там не разживешься.

МИНИСТР И ПОЭТ

Они никогда не встречались, друг друга не знали — министр всего нашего культурного союза и провинциальный поэт. Тем не менее неисповедимы пути Господни — судьбы их однажды пересеклись самым что ни на есть роковым образом.

Как звали у министра жену — я не знаю, у поэта жену звали Настасьей, она работала продавщицей на окраине огромного промышленного города, денег на выпивку мужу не давала, но всячески презирала и поносила его за безделье, за предосудительное поведение, вредное направление в жизни. Народ, однако, любил поэта, особенно народ пролетарского толка, который вместе с поэтом жил в бараке. Поэт одаривал стишками всех, кто жаждал слова,

сочинял дешю и пощю по любому поводу и без повода, кроме того, он привез с фронта трофейный аккордеон и играл на нем «для себя», так же на свадьбах, именинах и во всякие праздники, как в старые, так и в новые.

Кончилось это все худо. Поэт, хотя и был могуч телом, работал в молодости кузнецом, любил показать свой кулачище, декламируя при этом: «Мы кузнецы и дух наш — молот», однако ж заболел туберкулезом, запустил болезнь, и ему сделали операцию, перерезали горло. Петь под аккордеон поэт уже не мог, но стихи со сцены читал, хотя и с напряжением, хрипло, но читал.

Надо заметить, что к званию поэта и к литературе провинциальный сочинитель относился почтительно, может, даже благоговейно, любил говорить: «Мы, писатели», «наша литература», «творческие замыслы».

Надевши галстук через голову и бережно хранимый костюм, аккуратно посещал он все писательские собрания, семинары, совещания, обожал аудитории, особенно рабочие. Аудитории его тоже любили потому, что он писал обличительного характера басни и хлесткие эпиграммы. Трудящиеся, крепко поджатые в ту пору насчет критики и всякого там свободомыслия, с радостью узнавали в басенных баранах ближнее начальство, в свиньях торговых работников, в попугаях — руководителей местной культуры.

Поэт, балуясь, сорил поэтическими перлами, сочинял их на ходу в пивнушках, банях, на природе, но перед торжественными датами капитально усаживался за стол, переставал пить и на день 8 Марта, 1 Мая, 7 Ноября, ко Дню Парижской коммуны, Конституции, именинам Сталина, Молотова, к датам гибели пламенных революционеров — с патугой кропал и печатал в местных газетах стихотворение, когда и подборку стихотворений, лишенных какой-либо мысли и Божьей искры. Набор штампованных трескучих фраз, одышливая духоподъемность, многословный патриотизм, утомительная идейность, но именно этими стихами гордился поэт, именно их он хрипло выкрикивал со сцены. Обладая превосходной памятью, все свои хохмы и басни в трезвом, в пьяном ли виде читал он наизусть, идейные же свои стихи он не мог запомнить, сбивался, выхрипывая их, заглядывал в скомканные бумаги, отыскивая нужную строчку, потел от напряжения и все ловил ручищей в воздухе очки, опадающие с волглых ушей.

Между тем со здоровьем у поэта становилось все хуже

и хуже. Бойкая торговая жена его все чаще «по благу» сдавала мужа в туберкулезный диспансер, иногда ей удавалось задвинуть его туда аж на полгода. «Тубики» — так называли себя больные местного заведения — обживались тут капитально. Занимались ремеслами, ходили на пристань разгружать арбузы, приторговывали на базаре, кое-что по мелочи крали, играли в шахматы и пинг-понг, в городки и беспробудно пьянствовали.

Поэту нашему тут было полное раздолье. Работой его не неволили, берегли, как ценный культурный кадр, предоставляя ему все возможности для плодотворного творческого труда. Местные литераторы, жалостливый и чуткий народ, считали своим долгом со всякого гонорара отнести болезному собрату по перу бутылку.

Врачи тубдиспансера сквозь пальцы смотрели на эти действия — что с них возьмешь? Поэты!

Вот залез однажды в родной пенат наш поэт и, конечно, по привычке повел там предосудительный образ жизни, того не ведая, что по стране началась очередная кампания за чистоту нравов советского человека, борьба пошла беспощадная, целенаправленная и набирала такую силу, что тогдашний министр культуры самолично указал на безнравственность, угнездившуюся аж среди самой столицы — Долгоруков-князь восседал на коне с яйцами. Министр, побледнев, спрашивал у творцов, топая ногой: «Как советские женщины будут смотреть на такой натурализм?»

И действительно как? Да ведь и немецкие, и английские, и шведские могут посмотреть? Словом, борясь за всеобщую, поголовную нравственность, чуть было не выложили каменного жеребца.

А тут еще и выставка. Фотографическая. Бывший танцовщик Большого театра любил снимать балет и лошадей, потому любил, что не любить не мог. Из-за любви к лошадям и к фото из театра рано ушел, хотя и танцевал ведущие партии, имел звание народного артиста.

И вот среди лошадей, давно снятых балетных сцен и фигур министр увидел голые женские ножки. Дивные ножки на дивном снимке. Очень целомудренном, кстати, и «ракурс-то» взят всего чуть выше колен, однако министр снова затопал ногами: «Развращение! Похабство! Советский народ! Лучшую в мире молодежь портите!»

Но бывший танцовщик и нынешний фотограф не из робких был, резко заметил министру, что ножки эти во время первых, грандиозных гастролей по Америке вытан-

цвали нашей державе целый нефтеперерабатывающий завод.

— Как это? — не усек министр.

Министру на ушко, так, мол, и так, ваше сиятельство, наш балет и прежде всего прима-балерина не только потрясли Америку, но заработали много валюты, и хватило той валюты аж на целый до зарезу нам необходимый завод, поскольку тюменскую нефть открыли, забурили и льют в тундру, в Обь, в озера — неожиданная нефть-то, не готовы мы к ее приему, как оказалось, не готовы и к приему целинного хлеба, сожгли, сгноили его...

— Ну ладно, хорошо, — недовольно пробурчал министр. — Однако ж не всякий разврат снимать, да еще и на стенки вешать...

Эх министр! Министр! Сказал, брякнул и удалился, не думая о дурных последствиях для себя.

Буквально через недели две открылось, что борец этот за целомудрие советских граждан, и за нравственность, и за чистоту рядов самой передовой в мире молодежи сохранил в Подмоскovie платный бардачок для себя и для своих приближенных. Хрущев Никита погами топал на министра, крыл его, не подбирая выражений, и с работы выгнал.

Ну выгнал бы и выгнал. Не первый министр и не последний.

Гнев наших вождей не только грозен, но и целителен. Моли Бога, что живым ноги унес.

А тут буря грохнула, борьба за идейную чистоту наших рядов покатила по стране, волна борьбы за нравственность взялась. Каждый областной деятель самолично спешил доложить на верха и на низа, что под его руководством вычищается духовная грязь, особенно яростно вычищается она из рядов партии. Бардаков никаких нету, есть резиденции для приемов почетных гостей, но там официантками работают добровольки-комсомолки идейно выдержанные, всеми проверенные, и они ни-ни...

На Урале вон повальный гомосексуализм в хореографическом училище открылся, перетряхнули училище и театр. Концы в редакцию областной газеты потянулись — педераста там изловили, так на восемь лет его, злодея, в леса упрятали.

Наш поэт тем временем в тубдиспансере басенки сочинял и ничего про министра и очистительную кампанию не ведал. Наловчился змей-пиит и в тубдиспансере гоно-

раришко вымарщивать — про кого стих составит, с того пол-литра, ежели же из персонала кто в строку угодил — с того мензурка спирта.

Однажды в недобрую минуту и говорит нашему поэту дежурная медсестра, которую тоже Настасьей звали: «А чей-то вы все про всех сочиняете, а про меня дак нет?» — «Так ведь я и хохмы сочиняю, слова в них всякие попадают, еще обидишься?» — «Ничего я не обижусь. Я понятливая. Десять классов и курсы медсестер кончила». — «Ну ладно, коли так, к завтраму заказ будет готов...»

Прибегла назавтра Настасья в тубдиспансер и сразу к поэту. Поэт говорит, все готово, слушай: «В палату каждый день с утра приходит Настя-медсестра, больного жмет она в углу и тычет в задницу иглу, вливает грамм стрептомицина — ну хули сделаешь? Ме-ди-цин-на!»

Тут же, немедленно, за оскорбление самой гуманной в мире медицины вылетел наш поэт из тубдиспансера. Идти домой он боялся, там Настасья-жена, похлеще этой, медицинской стрипулистки. И пошел по городу долю искать и забрался к знакомому художнику в мастерскую. Напились они там, голубчики, с горя до того, что художник пал на дырявую кушетку, поэт же поплелся дальше. Может, и с намерением попасть домой. Но не дотянул до дому, свалился в самом центре города, прямо напротив редакции областной газеты, того ни сном ни духом не ведая, что по городу бдительные партищейки рыщут, морально разложившихся ищут и... вот он, голубчик, лежит! Сам! Пришел! И лег!..

Решили нашего поэта из партии исключить. А вступил он в партию еще тогда, когда кузнецом был, и понимал, что надо каяться. И каялся, горячо каялся. Беспартийные творческие массы тем временем в приемной переживали, на всякой случай за поллитрой сбегали.

Вышел идейно-порочный тип в приемную весь красный, лицо от слез мокрое, носище отчего-то набок своротился, хотя кулаками его никто и не бил. «Ну как?» — бросились к нему сочувствующие творческие массы.

Поэт прикрыл мокрые глаза, пошатался, утвердился среди приемной на погах и продекламировал: «Нас бьют, работников литературы, всыпают крепко мудакам за то, что сам министр культуры ходил по тайным бардакам».

...Брошенный и забытый всеми, в том числе женой и дочерью, провинциальный поэт умер от модной среди

российских писателей болезни и несколько суток, пока не запахло, валялся в своей квартирке.

Как кончил свои дни министр нашей замечательной культуры, не знаю, не ведаю, а то бы дальше писал.

ПЕЧАЛЕН ЛИК ПОЭТА

Итальянец он поет как бы сердясь. Что за жизнь такая?! Кругом песни! В сердце песни, в небе, в воздухе, в воде, в вине, в женщинах, и не хочешь — все равно запоешь. Ешь макароны и пой, раз ты итальянец. Вот и поет о пьяном солдате, о море, о солнце, о Мари и вообще обо всем, что глаз его горящий и озорной видит. Поет все выше, все душевнее, все неистовей и доведет слушателя до того, что плюнет он, покачает головой и скажет: «А пропади ты пропадом!», и самому запеть захочется либо обнять кого-нибудь и сказать: «Брат! Не пропадем, значит, покудова...»

Итальянец, пусть и не всякий, слышал, конечно, что где-то на краю земли живут русские люди, тоже петь гораздые, но петь им некогда, особенно в последнее время — они все ждут хорошего царя, который подарит им хорошую жизнь, и на всякий случай ура кричат, аплодируют каждому встречному и поперечному, потом проклинают ими же вознесенного царя, кипят, кулаками машут в воздухе, ищут виноватого. Отпелись, голубчики, оттого, что цари часто меняются и надо их всех обсудить, осудить, анафеме предать, которых даже из могилы вынуть да на свалку снести...

До песен ли тут?! Напившись по случаю свадьбы, поминок, Троицы иль женского Международного дня, взревет что-то, по телевизору слышанное, совсем новое: «В понедельник в полвторого я уеду в Комарово...» или: «Помогите кенгуру, помогите кенгуру, потому что поутру кенгуру в своем кармане обнаружила дыру...». Молодые в это время в прихожей, если деревенские — во дворе, пободаются, повихляются под магнитофон и уединяются для «кайфа» — так это нынче называется. По российским селам и раньше это дело тоже коротко звалось, но гораздо выразительней.

Другое дело украинцы! Эти посмотрят на тебя, на округу, на свет белый, глаза их вдруг отдалятся, лицо делается строго и печально, весь лик, в особенности жиночий,

выдает долгий и далекий внутренний стон: «А, люди добры! Ну як же нэ заспиваты? А чим ж вас утешить? Чим душу мою гирку высказать, як любовь мою до земли, до нэба, до вас донэсты?..»

И «ой» — обязательно это «ой» — в каждой песне выдох этот, причем в озорной, в искрометной он чаще бывает, чем в печальной, истомной, той пространственной, душу переворачивающей песне, которую еще на Украине только и услышишь, да и то не везде, там, где живо еще материнское дыхание, жизнь не загажена отходами современной культуры и гибельного прогресса: «Ой, на гори, тай жинцы жнуть..»; «Ой, кумэ, нэ журысь...»; «Ой, казала ж мэни маты, щей наказувала...».

И вдруг это, сразу за душу берущее, будто нет на тебе ни лопотины, ни кожи, ни ребер, никакой плоти, будто само собой оголилось сердце для боли, восторга, любви: «Ой, на го-ори, в зэлэний дубрави...»

Мощно, сразу во весь голос начала женщина, так обычно начинает свою песню самец в дикой тайге, во время дикого гона, презрев опасность, страх схватки, смерть, буйно кипящей кровью ослепленный и оглохший от старости, но особенно все ясно зрящий, настроенный на один только нежный, едва слышный призыв, скорее лепет тихой и нежной самки, весь, всеми силами вытянутый, готовый сразиться, умереть ради продления рода своего...

Когда, как на Украине и в Польше, да и в России тоже, женщина взяла всю тяжесть жизни на себя, как она заступила место мужчины и подставила плечо под комель, взвалила тяжкий семейный воз на себя? Ой, боюсь, не одна последняя война и не один вождь тому пособили. Много войн, много гетманов, вождей земных и небесных, голода, холода, страданий и бед заставили женщину, как в древности, выступить вперед, заслонить нас и мир сей неблагодарный своей кормящей и болящей грудью.

Все еще художники рисовали усарых и брюхатых казачков-запорожцев, все еще гайдамаки да шляхтичи поражали копьём страшного змея и рубали шашками друг дружку, все еще русские витязи с копьём в руке, на лихом коне мчались на ворога, а она, женщина, уже почувствовала надобность в укрепе, уже увидела пропасть впереди огнем дышащего коня и копьём балующего всадника. Надо было ладить переправу через пропасть, мосток из женских тел, поток женских слез, чтобы напитать, спасти всадника, напоить коня...

Давно-давно душа в душу перелилась, местом сменилась, и дано было это не понять, нет, лишь почувствовать самым талантливым сынам матерей и благодарно изваять лик ее на иконе, на полотне, винясь, выпеть в кручинной песне, стараясь и не умея до конца выразить всю любовь, всю благодарность женщине, не только вдохнувшей в нас нашу единственную жизнь, но и сохранившую ее для нас.

Где он? Куда запропастился тот безымянный казак-каторжник, крестьянин ли, что выдохнул однажды: «Маю жинку, маю маты, тильки их пэ бачу...»

И откликнулись, не могли не откликнуться современные творцы на тот давний зов, потому что сами они плоть от плоти Кармалюка, его жинки, их маты, из той же белой-белой хаты с садочком...

В сердце Николая Негоды и Анатолия Пашкевича воскресло ответным эхом: «Маты, маты ждэ свого солдата, а солдат спыть вичным сном...»

Великая песня! Великий гимн украинской матери, всем матерям мира, всесветлый крик, стон, выдохнутый поэтом и подхваченный музыкантом...

У Коли Негоды прежде всего запоминаются печальные карие глаза, потом усы, все остальное, как у всякого дядька с Черкасщины, чуть полноватое, рыхлое лицо, рано и вразнокось облысевшая голова. «Долго в газети робыв, горилку и жинок дуже любыв, ось и посывив, ось и облысив», — шутит Коля, а глаза все так же грустно куда-то в пространство смотрят, «вусы» долу висят. Говорит поэт тихо, ходит пэшка ледве-ледве — облик человека в чем-то и пред кем-то виноватого, но взор так и подвинут навстречу, так и вопрошает немо и застенчиво: «Шо я могу для тэбе шановного зробить?..»

Толя Пашкевич — тот весь подвижен, резок, руки, лицо, глаза — все и вся в движении, даже если он молчит, не шевелится, чувствуется его участие в споре, в беседе. Видать, в детстве в потасовке, в проделках и выдумках первым был, и не зря же мать, хватаясь за голову, однажды с горестным восторгом, который часто повторяет Анатолий, выдохнула: «И чому я тэбэ в крапиву не высцяла?!» — Но все лучшие слова, все песни, все сердце композитора навечно отдано ей, матери — «Мамаына вышня» — песнь песней о матери — страдальце, самой великой и мудрой женщине мира из украинского села с криницею и садочком, с белой хатой и мальвами «пид викном». Здесь од-

нажды непоседливый хлопчик, певун, школьный музыкант, обуреваемый ему неведомой тоской и страстью, сказал маме: «Мамо! Музыке хочу учиться». — «А шо ж трэба, хлопче?» — «Баян». — «Та вип же ж корови стоить...»

Утром на столе средь хаты, под рушником стоял баян. Отец свел корову на базар — это было вскоре после войны, в пустой хате одни дети, отец — инвалид войны...

Что это? Подвиг? Безумие? Благородный поступок? Нет-нет! Это все то же стремление матери усилить и улучшить жизнь людскую, укрепить через своих детей мир этот, шатающийся уже от всех ветров. Ему пужны самые сильные, самые одаренные. Их мало осталось. Их истребили раздоры, братоубийство, зависть серой массы, корысть и злоба.

Мать Пашкевича была выше всего этого, она была впереди и над миром, она знала, что хлопчик ее однажды восславит материнское величие и оплачет всю ее скорбь...

— Коля, как вы сочинили эту великую и страшную песню?

— Як? — Коля молчит, долго смотрит вдаль и тихим голосом ведет рассказ. Бусы все вниз, но глаза его, чем более он бледнеет лицом, делаются все ярче, все выразительней, смотрят, смотрят куда-то, изредка смаргивая короткими ресницами эту всесветную печаль, как налетную муху. Да нет мух на Черкасщине. Чернобылем их уморило. — Толя работал в черкасском народном хоре, нынче он называется академичным.

Толю есть Толю. Его вжэ выганялы з хору, вжэ руковопытэль вопыв: «Или он, или я!..» Толю надо было сочинить торжественную ораторию для хора. Позвали мэнэ. Я говорю: «Яка оратория? Нэ вмию». Говорят — попробуй. Я щось поковыряв ручкою на бумаге. Прынис. Толя на роялю бросывся як тигра. Заиграв.

А ничь кругом. Гостиница при Дворце культуры. Усих пидняв Толя. Ходожний руковопытэль опять крычыть: «Или он, или я!». Толя ему: «А пишов ты!» — и до роялю. Грэмыть! Оратория ж нэ получается.

«Мабудь, писню сочиным?» — говорит Толя.

Я попробував. Давно щэ жылы в мэнэ дэсь услышанные або прочитанные слова: «Стэпом, стэпом...» Я слышал: «Степью, степью...» — не то. Именно: «Стэпом, стэпом». Вот от тих слов пишло. Толя пидхватыв. Грэмыть. Но писня не получалася. Щось нэ идэ. Толя мэнэ кляв, ругав, художнэго руковопытэля тэж нэ забув, бывся и од-

нажды взяв и рэгыстр зминыв. «Стэпом, стэпом» — як бы зараз пидрозумовав бас. Толя ж для меццо-сопрано писню начав, и нэ для кого-то там где-то, а конкрэтно — для Павловської. Для Людмылы. Вэлыкой пэвици з вэлыкым голосом. Вышло! Я дописував слова. Толя грэмыть, за чупрышу сэбэ смыкае, мэши за грудкы трясэть. Усих разогнав. Художний руководитэль був чоловик вздорный, але талановытый. Бильш вин нэ вопыв противу Толи, а рэпэтырував и довго рэпэтирував — писня многоголосая, сложная, з пэрэхидамы вид плачу до аду. Толя то вмие, трагэдию и стоишь объеднаты, хормэйстэр усих в мыло загнав, як рысакив.

Когда исполнили песню во дворце культуры, повисла мертвая тишина. Мабудь, минутоу, мабудь дви — тыхотыхо було. Потим взорвалось. Висим раз повторяли тоди «Стэпом, стэпом». Я плакав. Толя плакав. Народ плакав и цилувався. Художний руководитэль рыдав, по лыцям хорыстив слезы катылысь, а воны спивалы.

Коля Негода прерватся, вздохнул и совсем тихо добавил:

— А Толю Пашкевича всэ едно з хору прогналы. До вульци. В Луцк вин вѣхав, капэлою руководав, але оттуда его прогоняють, мабудь, вин вже у Чэрнигови, чи дэсь?.. Ох, Толю, Толю!..

И замолк Коля Негода, и совсем грустно вусы его обвисли, вовсе глаза опечалились — жалко друга-композитора, народ свой, землю забедованную, всех нас жалко — и что ж из печали той, боли и жалости произрастает? Новая песня? Новое стихотворение? А сердце болит, болит. И лик поэта тих и печален.

ПРИГОВОР ФЕДОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Едкий на слово, колочий характером был писатель Федор Александрович Абрамов. Я как-то в совместной поездке спросил его:

— Скажи, Федор, вот когда это кончится?

— Чего?

— Вот начальник какой-нибудь, чин даже невеликий говорит часто глупости, говорит, вздор песет, мусором словесным заваливает, но глядишь на него и вдруг обнаруживаешь: рот твой распялен в улыбке, одобрительной, угодливой.

— Тебе сколько ноне исполнилось?

— Сорок восемь.

— Ну, значит, еще два года. У меня это кончилось в пятьдесят лет. — Подумал, подумал Федор Александрович и добавил со вздохом: — Но может и никогда не кончиться. Тут характер пужок. — Еще подумал и еще добавил: — Да уважение к себе хоть мало-мальское.

ВЫСТОЯТЬ

Я не раз бывал в тайге во время гроз и ураганных ветров, когда вся тайга, каждое деревце клонится долу. Кажется, вот-вот рухнет разом стонущая, скрипящая, ничем и никем не защищенная лесная рать, ломая и рвя себя в щепу и клочья. Но какой-то миг роздыха, какая-то малая доля времени, неуловимая глазом и слухом, наступает в этой страшной стихии — и деревья, поймав древним чутьем милостиво дарованное природой краткое облегчение, выпрямляются, чтобы снова и снова клониться под ветрами, почти доставая кроною землю, готовые упасть, сдаться...

Но снова и снова поднимается и выпрямляется лес — стоит тайга, не сдается, держится корнями за землю, и лишь после бури, после утишения ветра видно делается по всей тайге ломь ветвей, сорванную кору, уроненные шишки и в глуби, ломаной костью белеющие, поверженные деревья — самые слабые, нестойкие сломались, пали...

Смотрю по телевизору фильм о падшей женщине с почти сломанной судьбой и искалеченной жизнью. Слышится музыка, как всегда, красивая, мелодичная, с одним и тем же преобладающим мотивом, высоко начавшимся будто бы колокольным, протяжным звоном, неотвратимым, гибельным гулом накатывающимся на землю, опадающим на нее. Но на самом исходе звука, на последнем его пределе, мощно подхваченная оркестром, силой земной поддержанная, взмывает ввысь, к небу воскрешающая сила. Крепнет мощь человеческая и земная, распрямляет крылья живая жизнь и негасимая лампада добра светит, все еще светит впереди путеводной звездой братства и единения людей.

Почему-то решаю, что это музыка Георгия Васильевича Свиридова. Не такой уж большой я знаток творчества этого замечательного нашего современника-музыканта и

вообще никакой не меломан, но есть звуки и нити, соединяющие русского человека на русской земле, и они звучат в каждом из нас от рождения, да вот выразить их, довести до моря людского, вечно волгующегося и клокочущего под ветрами и бурями бытия, не каждому дано.

Музыка, быть может, самое дивное создание человека, его вечная загадка и улада. Никто так близко, как музыкант, не соприкоснулся с подсознанием человеческим, — той самой неотгаданной материей и вечной тайной, что живет в нас, тревожит и волнует.

Люди плачут, слушая музыку, плачут от соприкосновения с чем-то прекрасным, казалось бы, умолкнувшим, навсегда утраченным, плачут, жалея себя и то чистое, дивное создание в себе, что было задумано природой, но в борьбе за существование человеком же и погублено.

Музыка возвращает человеку все лучшее, что есть в нем и пребудет на земле. Я думаю, что музыка человек, может быть, услышал раньше, чем научился говорить. Возникает крамольная мысль, что вначале был шум ветра, плеск волн, пенье птиц, шелест травы и звон опадающей листвы. И только переняв у природы звук, человек сложил из цего слово.

Музыка и природа — это самое верное, святое и неизменное, что осталось с человеком и не дает ему окончательно одичать. Я имею в виду настоящую музыку, а не то бесовство, не ту оглушающую вакханалию, которая закружила человека в бездумной дикой пляске, ввергла его в какое-то инстинктивное подражание воющему и ревящему зверю, которому пришла пора напомнить, откуда мы взялись, и чей образ и подобие утратили.

Впрочем, Георгий Васильевич Свиридов, так увлекательно умеющий говорить о музыке и ее природе, утверждает, что именно эти современные бесчисленные громокипящие артели, но скорее банды, называемые ансамблями, помогают сохранить изначальную природу музыки, не дают человечеству потерять ключ ее, ибо утеря этого самого «ключа» — есть полное и окончательное разрушение мировой гармонии, без которой оно, человечество, как корабль без руля, быстренько пойдет ко дну, тем более что стремление к разрушению гармонии жило в человеке всегда и особенно агрессивные и катастрофические размеры приняло оно на исходе нашего века.

Я очень люблю слушать Георгия Васильевича и всегда

сожалею, что внимаем мы ему в узком кругу «доверенных лиц», допущенных в дом композитора. Ему бы в аудиторию, на телевидение, внимать бы ему миллионам. Да где там!.. Вели прекрасную передачу наши славные певцы и умные люди, Образцова и Нестеренко, но их незаметно оттерли локтями из телевизора говорухи-политики и другие ребята-молодцы, по их мнению, владеющие словом, мыслью и в особенности юмором. И так нам нынче всем от этого юмора смешно, что уж плакать хочется.

У нас всегда была и до сих пор имеется масса людей, которая угадывает за художника истоки его творчества; и замысел объяснят, и в тайны души его проникнут. Я этого не умею и не хочу делать хотя бы потому, что сам в какой-то мере — человек творческий и самому себе не только объяснить не могу, например, природу творческого замысла, но и понять до сих пор не могу, что это такое. Более того, я, может, и примитивно, но, основываясь на сорокалетнем опыте работы в литературе, пришел к выводу, что и отгадывать сию тайну не надо, потому как, отгадавши ее, что станет делать человек? Кончится же его воображение, и он кончится как существо творческое, сделается механической, заводной штучкой, заранее знающей все и вся.

Однако будучи прошлой золотой осенью на Курщине, изрядно уже оскопленной и оглушенной цивилизацией да бесконечными сельхозновациями, глядя на еще недобитую землю, на древние пологие холмы, на это российское порубежье, в котором еще не все небо закопчено и по балкам да по склонам плавных пашенных холмов, несмело обороняясь от машин и от топора, зеленеют и золотятся российские дубравы, я открывал для себя — отсюда, с этой родной земли унес в сердце и сохранил великий композитор современности тот нежный и непреклонный звук, ту пространственную, высокую мелодию, что стонет, плачет, сжимает сердце русское неизъяснимою тоскою, очистительной печалью. Мощным хором возносится композитор в поднебесье, набатным колоколом зовет Россию и русский народ: выстоять! Выпрямиться, как тот лес, та могучая тайга под ураганами и бурями! Выпрямиться и выстоять во имя будущего наших детей и во имя сохранения того прекрасного, что накопили на земле ее редкие мудрые страдальцы, гении человечества, эти вечные отважные странники, так на одиноком челне и продолжающие до сих пор бесстрашно плыть по бурному морю жизни.

ОТВЕТ АНОНИМУ

В последнее время все чаще и чаще приходят анонимные письма — во время гласности, прозрения и оздоровления общества люди лотеют и подлеют все больше и больше.

В одном письме пишется, что я не Лев Толстой и даже не Юрий Трифонов и вообще не своим делом занимаюсь.

Отвечаю всем моим корреспондентам, явным и неявным! Меру своего Божьего дара я всегда знал и никогда не преувеличивал, не страдал самоздравием и всегда сознавал: чтобы отобразить звериную, собачью жизнь, моего таланта вполне достаточно, а вот когда вы сумеете устроить на земле жизнь человеческую — явится и Лев Толстой, непременно явится, только малая малость от вас требуется: чтобы вы были достойны его явления, его гигантской мысли, его слова, совести, соответствовали бы высоте его духа.

ВСЕ О ТЕБЕ

Она ворвалась в наше искусство, как в старые годы врывался в выжидательно притихшее селение парадный, звонкий, стремительный свадебный поезд.

Высокая, статная, белозубая, как опять же в русском селе сказали бы — «моторная», она не приучала публику к себе, и публика к ней не привыкала. Ошеломленная ее могучим голосом, неотразимым папором, неистовством брызжущего таланта, обаяния и той тайной, которая дается природой лишь избранным. Она была подхвачена и поднята ввысь благодарными руками, да и сама возвысила нас, наше искусство, подняла над обыденностью. Это было взаимной любовью, это было сотворчеством певца и слушателя, подыстосковавшегося по яркому певческому дарованию, слушателя, избалованного избытком талантов в минувшие годы безмерно любящей и нещадно их губящей матушки нашей — России.

Как и полагается яркому таланту, не вмещающемуся даже в крепком теле и всеобъемной душе, разрывающему слабую человеческую плоть, добела раскаленной в кузнечном горне заготовкой искрилась она, сверкала на цепи, сотрясая ее, одряхлевшую было, разметывала серенькие, тихоголосые фигуры во фраках, обвешанных меда-

лями за «умный», своевременный и целесообразный концертный материал. От избытка сил, молодости и русской удали она даже и «пофулюганничала» маленько. Сощурилась и без того острозрящие глаза, сокрушительно, «бесовски» сверкая ими, пела она знаменитую «Хабанеру» с беспощадным всепоглощением и страстью, по-кошачьи тихо подкрадываясь к притихшей публике, выставляя стиснутым ртом: «А-лю-убовь, лю-у-у-убовь», и поздри при этом у нее расширились, как у соболька, почувявшего добычу, трепетали, пульсировали, лоб бледнел. Мой товарищ, еще молодой, жаркий, с примесью азиатских кровей, ерзая подле телевизора, стонал: «Ну, я не могу! Я сейчас пойду и женщину какую-нибудь полюблю или... чего-нибудь разобью!»

Буптарка! Мятажница! Обольстительница! Женщина! Певица!..

Как много от любви и благодарности является слов человеку, одарившему тебя счастьем соприкосновения с прекрасным. Но я не сказал главного слова, по праву ей принадлежащего, да и пришло оно, это главное слово, позднее, когда я понял, что ничего человеку даром не дается, даже избранному, «отмеченному» «там» и к нам на утешение и радость высланному.

Попал я на спектакль «Пиковая дама» в Большой театр и — наконец-то! — увидел ее воочию, не через окошко телевизора. Спектакль был будничным. В зале не было почетных гостей и «представителей», зато было много нерядливо, по-уличному одетых иностранцев. И, может, поэтому состав спектакля оказался более чем скромный, который, может, и украсил бы областной театр, но на сцене Большого выглядел удручающе убогим. Было обидно за театр, все еще благоговейно нами называемый с большой буквы, театр, в котором на этой же сцене накануне совершался великий балет «Спартак» и неземные «звезды» до того ослепляюще сверкали, что дух захватывало от чуда, творимого на сцене. И вот здесь же — плохо двигающиеся, перекрашенные, перезатянутые, слабоголосые люди пытались под музыку Чайковского изобразить страсть, страдание, да ничего не изображалось. На публику со сцены веяло холодом. Иностранцы открыто и демонстративно зевали и резинку жевали. Наши зевать не смели из уважения к стенам этого театра и к билету, который они купили с рук по стоимости месячной студенческой стипендии.

И тут она, «графиня», как рывкнула на бедную свою воспитанницу Полигу, та аж содрогнулась, и публика в зале оробела, иностранцы не только зевать, но и жевать перестали, подумав, видать, что начинается не иначе как «происки большевизма». У одного иностранца с испугу даже бакенбард «штраусовский» отклеился.

И повезла певица спектакль «на себе», как телегу с битым кирпичом, и задвигались вокруг исполнители, и дирижерская палочка над оркестровой ямой живой щепкой замелькала, запереливался свет, засверкали искры снега в холодном Петербурге, даже серпик искусственной луны живей засеребрился, а уж когда она соорудила свою «корону» — романс графини, да еще и на «французском»!.. публика впала в неистовство. «Заглотнула разом и всех!..» — с восторгом ахнул я, отбивая ладоши.

Ее много раз вызывали, осыпали цветами, цветочек-другой перепадал и сотоварищам ее по труду. И не первый раз подивился я благородству настоящего таланта. Может, на собрании «прима» будет разоряться, топтать ногами, но на сцене не придавит собой никого и никогда.

Давно еще приезжал в музыкальный город тех лет Пермь Александр Огивцев и пел Мефистофеля в «Фаусте». Напарнички ему в спектакле угодили из тех, коим годик-другой оставалось допеть до пенсии. В латы закованые, они могли топорщиться, греметь, «отправляясь в поход», да голосок-то — как в одном месте волосок, — его не прибавишь, не убавишь, думалось мне. Ан «ради общего дела» Огивцев малость «припрятывал» голосу и двигался не так сокрушающе, как мог, — я видел и слышал его в «Хованщине» на сцене Большого и возможности певца знал.

Буря оваций была столичному певцу не только за прекрасно исполненную партию, но и за его «партнерство», за то, что не унизил он и без того униженную российскую провинцию. Девчонки из местных меломанок, хлопавшие Огивцеву и «браво!» кричавшие, когда он вышел на седьмой или восьмой поклон уже без парика и склонил свою русую головушку, восторженно вскрикнули: «Дьявол-то еще ничего!» — «Да что там ничего? Молодец!»

Усталую «графиню» с поникшими плечами, изнеможенную, с трудом, казалось мне, раскланивающуюся, — шутка ли, вывезла ведь, вывезла в гору скрипучую телегу

с грузным возом, постояла за честь Великого театра! — наконец отпустили домой, отдохнуть.

Каково же было мое изумление, когда в гостинице явившиеся с концерта из Кремлевского Дворца съездов (было это во время писательского съезда) братья-писатели с восторгом рассказывали, как во втором отделении пела она — царица, демон, сокрушительница, дьявол — «Кармен» с одною серьгою в ухе!.. Ка-ак выдала: «День ли царит... Все, все! Все о тебе!..» Ну я от восторгу чувств прямо обнять кого-нибудь готов был! — ликовал писатель-провинциал с Кубани.

«Это она, ребята, не успела после спектакля в Большом театре впопыхах надеть вторую серьгу!» — махнул я рукой.

Так, быть может, я и думал бы, что могучему этому человеку все нипочем, сила и стихия таланта несли и несут ее по волнам славы. И пусть несут. Только чтоб не опрокинули вниз головой в тухлые воды современного искусства.

Но вот она попала на гастроли в Японию. А японцы — народ не только уважительно-ласковый, но и дошлый. Поет «посланица советского искусства», овации в зале бушуют, а телевизионная камера показывает не только ее белозубый рот, концертное платье и драгоценности в ушах и на шее, как это делают наши «скромные» операторы. Они лицо, непривычно утомленное, показывают и как-то умудряются большое внутреннее напряжение певицы изобразить.

Она выдала еще одну свою «коропу» — арию из оперы Масканьи «Сельская честь». Что в зале поднялось — ни в сказке сказать, ни пером описать! Она раскланивается, раскланивается и все поровит за кулисы усмыгнуть. «Устала», — догадался я. Японский же оператор все не отпускает ее, все гонится за нею с камерой, и за сцену ее сопровождал, чего наши, Боже упаси, никогда не сделают. Впереди певицы пятится пожилой японец интеллигентный — организатор гастролей, тоже аплодирующий и кланяющийся. За сценой какие-то люди поднялись с кресел, зааплодировали певице, она и им слегка поклонилась, одарила их улыбкой, потом увидела чашечку, из которой пила, видать, перед началом концерта, взяла эту чашечку, предусмотрительно подставив под нее ладошку — японцы все замечают, па то у них и глаза вразбежку — надо вести себя «интеллигентно», — отпила глоток остывшего чая и со стоном исторгла: «О-о-о-о!»

И понял я: не так все просто. Великому таланту — великий труд! И когда, будучи в гостях у замечательного русского композитора Георгия Васильевича Свиридова, сказал об этом, он заметил: «А как же! Думаю, что она «Честь» эту самую пела еще студенткой консерватории. В конкурсных программах пела. Да где она и чего не пела?! А все репетирует, репетирует!.. Вот мы готовим с ней концертную программу, так кто кого больше замучил — сказать не берусь...»

Я гляжу на экран телевизора: что-то гремит, вопит, кривляется, где девки, где парни — не разберешь, голоса и волосы неразличимы, сплошь визгливо-бабьи. Знаменитый на всю Европу ансамбль осчастливил нас, «отсталых и сырых». Хитрая, пагловатая девка, напряженная в цирковые штаны, раскосмаченная и покрашенная под шамана, в заключение самого сокрушительного «нумера» перевернувшись через голову, мелькнула сексуально развитым задом и, невинно плясая шальными глазами на ликующую публику, сказала: «Сенк-ю!», сказала той самой публике, над которой в недоступных высях богами реют и звучат Шаляпин, Собинов, Лемешев, Пирогов, Михайлов, Обухова, десятки других российских талантов. Слушая их, охваченный восторгом мир любовью объединился, когда бесстрашно шел на баррикады. И если мы по сию пору не совсем еще одичали, «виновата» в том и наша вокальная русская школа, и новая волна прекрасных певцов-тружеников. Среди них первый запевала — она!

Елена Васильевна Образцова.

ВАМ НЕ ПОНЯТЬ МОЕЙ ПЕЧАЛИ

Болезнь загнала меня в Крым, на лечение, и в заведении под громким названием «Институт имени Сеченова», где не столько лечат, сколько калечат, я познакомился с человеком, который походил сразу на всех иностранцев, но в первую голову на итальянца.

Он и был долгое время «сенсором», да вот снова обрусел и отдыхивался от трудов падающих, но так и не оклемался — сверхнагрузки и образ жизни, простым смертным певедомые, докопали его.

Он читал мне Данта в подлиннике, на том, на древнем языке, который и самим итальянцам уже малодоступен,

как и пам — древнерусский. Какое величие! Какая простота! И какой дух древности, покоя, космическая необъятность и непостижимость в музыке слова! Услышать и «достукаться» до них дано лишь природой наделенным особенным слухом, духом и еще чем-то необъяснимым.

Он прекрасно знал мировую живопись и музыку, но много пил, куролесил, вальгувшись в постель, всегда пел одно и то же: «Ямщик, не гони лошадей, пам некуда больше спешить...»

Однажды мы разговорились на тему искусства вообще и вокального в частности. Среди любимых исполнителей я назвал «пискуху», которую слышал и слушаю давно, люблю неизменно, выражаясь по-старомодному — трепетно.

— Какую пискуху? — переспросил мой новый знакомый.

— Иванову.

— Какую Иванову? У нас сейчас Ивановых больше, чем до революции было.

— Викторию. Отчества не знаю.

— Отчество ее — Николаевна, — отчетливо молвил он и добавил: — Это моя баба.

— Ка-акая баба??! — с возобновившимся от давней контузии заиканием переспросил я.

— Обыкновенная. Жена.

Повергнув меня в ошеломление и доведя до остановки разума, этот истинный москвич — пижон вдруг схватился за живот и так вот, не разгибаясь, поволок меня к междугородному телефону-автомату. Звонить он умел и скоренько «добился Москвы».

— Слу-ушай, Вика, с тебя пол-литра! За что? За поклонника! За какого? А за того, про которого мы час назад говорили. Может, может! Земля круглая. Передаю-у тру-убочку-у-у...

Так мы познакомились с Викторией Николаевной Ивановой. Но встретились не скоро. Несчастья, да все оглушающие, сыпались одно за другим на певицу. Веселый и загадочный муж ухайдакал-таки себя, оставив жену с тяжело больной, взрослой дочерью и на пределе уже век доживающей свекровью.

А певица-то в самом расцвете творческого дарования, и ее ангельски-невишний, в душу проникающий голосок часто звучит по радио, реденько в концертных залах. Выступавшая с триумфальным успехом в парижках, римах и

берлинах, она, чтоб не потерять вакансию в «Москонцерте», значит, и кусок хлеба, мотается по заштатным городам отечества нашего, где уже начался разгул громовоющей эстрады.

В заплывающем зале одного уральского, «много об себе понимающего», чумазого городка, почувствовав невнимание и шумок, она начала говорить об искусстве и петь. По счастью, в зале оказался репортер местного радио и включил запись. Эта импровизированная беседа-концерт долго потом звучала по Всесоюзному радио в программе «Юность».

И вот она собралась на гастроли в Вологду. Я думал, думал, как привлечь слушающую публику в очень уютный, красивый зал бывшего Дворянского Собрания, и додумался: написал заметку в местную газету, о певице не после концерта, а до него.

Концертный зал филармонии был полон. Как пела Виктория Николаевна, как пела в этом старинном, украшенном всевозможной лепотой, с совершенно редкостной акустикой зале!

Пела она Шумана «Любовь и жизнь женщины», «Аве Мария», Шуберта, пела Вивальди, Дебюсси, пела особенно любимые ею русские песни, и целое отделение — романсы, удивительные, русские романсы.

В пятидесятые годы по Всесоюзному радио часто звучали музыкально-драматические радиоспектакли о русских композиторах, и в первую очередь о композиторах полузабытых или вовсе забытых. «Ожили» Евстигней Фомин, Варламов, Булахов, Гурилев, затем Березовский, Бортнянский, Вейдель, даже безвестные, еще «крючком» записанные поморы — певцы ожили.

В радиопостановке о тихом, малоизвестном композиторе Гурилеве, человеке столь же щедро одаренном природой, сколь и несчастном, я впервые услышал романс «Вам не понять моей печали». Пела его еще неизвестная мне тогда певица, пела таким разукрашенным, таким акварельно-чистым, со всех мест и сторон оттепленным осенне-алым, вот именно перво-осенней, вкрадчивой красы полным голосом, что и слезой меня прошибло.

Как-то беседа по радио о вокальном искусстве, тогдашний ведущий солист Большого театра Кибкало признался, что в концертных программах у каждого думающего и песню любящего певца есть «своя программа, состоящая из того, что роднее и ближе его душе. Эту про-

грамму поет солист охотней и чаще, но и в этой или других программах «гвоздем» вбита одна, самая-самая песня, ария или романс, которая лучше всего удастся именно этому певцу, и другие певцы, если они, конечно, не «щипачи» карманного толка, а настоящие певцы, с молчаливого согласия, «джентльменски» уступают ему право на эту вещь, и назвал свою «заветную»: «В тот час, когда на крутом утесе...».

Так вот, «молча», уступили певцы романс «Вам не понять моей печали» Виктории Николаевне Иваповой, лишь сестры Лисициан еще поют его дуэтом, замечательно поют, никого не повторяя.

А я все надеюсь и жду: радио возьмет да и возобновит радиопостановки, телевидение посадит к инструменту знаменитого певца, и он расскажет о своей «заветной» — откуда взялась она, расскажет, да и сам каким образом в искусстве возник, расскажет, да и споет, или сыграет «самую-самую». Глядя на них, мудрый старец Мравинский про Шостаковича и Бетховена поговорит, оркестр его сыграет свое «заветное». Светланов «покажет», отчего и почему ему лучше всех удастся «Пятая симфония» Чайковского, Виктор Третьяков — про Моцарта и Погодини, да по-домашнему, на доступном бы всем языке...

Ах, мечты, мечты, где ваша...

Тогда, в Вологде, Виктория Николаевна спела «Вам не понять моей печали» по программе и на «бис». Она много и вдохновенно пела в тот вечер и к нам домой на чай попала поздно, и я увидел, что мои женщины возятся с певицей в углу, сугулся было туда, но на меня зашикали и прогнали вон. Позднее узнал: отекли ноги у певицы и ее едва «вышули» из тесных концертных лакировок.

С тех пор мы состоим с певицей в переписке. Давит жизнь человека, и не просто давит, можно сказать, расплющивает, но не может с ним совладать — музыка, пение, дар Божий спасают.

В гостинице аэропорта, на краю родного города, я грею руки Виктории Николаевне, натягиваю на нее теплую куртку и шерстяные носки. Плача и смеясь, она рассказывает, что филармония Красноярска — города высокой культуры, отвергла ее «домогания» и из Абакана по небу сразу же перебрасывает в Норильск.

Я уже знаю, что она прежде бывала в Красноярске, пела в каких-то зачуханных зальчиках, что однажды ее загнали на мясокомбинат, где, исполняя Шумана и Шу-

берта, среди людей, одетых в окровавленные куртки и фартуки, она заботилась лишь об одном: чтоб ей не сделалось дурно.

Только что в номере гостиницы, где никогда не светает, побывал администратор местной филармонии — хам с колодками ветерана на пиджаке. Развалясь, сидел он в кресле, обращался ко всем на «ты». «Солистка? Кака солистка? Много вас тут разных солисток ездит. Скажи спасибо, что билет зарегистрировал. Иди и садись. Багаж? Сама ташшы. Барыня кака! Я в грузчики не панимался».

— И сдохни он, сдохни, рыло немытое! — винясь за свой город, за земляков своих, суетился я перед разбитым и усталым человеком. — И хорошо, что сразу в Норильск. Народ там заполярный, благодарный, по искусству стокосовавшийся. Полоп зал будет. И устроят по-человечески, даже цветов принесут. У них там орашжерея. По телевизору показывали, жениху и премьеру Трюдо розы вручали... «Как хороши, как свежи были розы!» — припомнился кстати стишок.

— Да успокойтесь вы, успокойтесь! Я, на вагон взобравшись, пела, и в святых соборах пела, и в зале Чайковского пела, и в преисподнюю однажды угодила!.. Да-да! В каком-то городишке доски проломились, гнилые были. И я... значит, турманом отседова и туда...

По сей день нет-нет да и прилетит парядная открыточка в Сибирь из какого-нибудь городка, исписанная вдоль и поперек, и в конце ее непременно нарисована округлая женщина с широко и озорно открытым «веселым» ртом — поет Виктория Николаевна, звучит, родимая, на родной земле. И никак не удосужится записать хотя бы один концерт на пластинку или на пленку, все недосуг, все беды гнут, жизнь гонит.

Недавно сообщили мне из Москвы — с успехом прошел концерт Ивановой в зале консерватории, усыпали «мою певицу» цветами с ног до головы. Может, и записать догадались? Надо бы. И опоздать можно.

Ну, а насчет печали. Что ж ты с нею сделаешь? Она часть нас самих, она — тихий свет сердца человеческого. Не все его видят и слышат, но я-то слышу твою печаль, дорогой мой соловей в этом мире одиноких и горьких людей. И ты мою слышишь. Разве этого мало?

Утешься и пой! Для того певец и рождается, чтоб одарить людей светом, чтоб разделить богатство свое, свой восторг с ними, ну и поубавить в мире печали, боли и горя. И еще певец является для того, чтоб, страдая вместе

с нами и за нас, сделать людей добрее и лучше. И пусть боль певца не будет никому «видна», но да будет она вечно слышна.

БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВАС

В Вене возле шикарного отеля стоял шикарный «мерседес». Советник нашего посольства с гордостью сказал:

— Нестеренко на гастролях в Вене. Сутками «мерседес» у подъезда стоит, а живет он в номере, где Шаляпин Федор Иванович останавливался, там отдельный зал для репетиций есть, рояль сохранился, еще тот, который при Шаляпине был. Живая пальма в гостиной номера растет. Во как! Знай наших!

Уж так ли это было, не так ли — не проверял, не знаю, но тоже порадовался за певца, за уважение и почтительность к нему.¹ А то попадет в такую российскую гостиницу, после ночевки в которой так испростынет, что петь маленько будет, но уж шевелиться, садиться — нет. Или угодит в гостиницу достославного города Владивостока, стоящую на берегу ослепительно голубой бухты, и придется ему на ночь рот завязывать плохо стираным полотенцем. Иначе совсем петь нечем делается — тараканы поналезут повсюду, куда можно залезть. Братишка таракан тут с кораблей сошел, морские бури — цунами перенес, страху и совести он не ведает, борьбы не принимает, он отравительный порошок жрет и кайфует, будто бичтоксикоман.

Советник же посольства, редкостной приветливости человек, достал мне билет в Вена-оперу на «Дон Карлоса». Я поражен был в самое сердце: билет в боковую ложу стоил аж целый костюм! Мужской! Раз театр знаменитый, стало быть, и цены знаменитые! Глянул сверху в партер, на обнаженные шеи и плечи буржук, увешанные драгоценностями, на самодовольных мужчин в черных

¹ Увы мне, увы — все это кем-то придуманная неправда. Жил Евгений Евгеньевич с миниатюрной своей Катей в пристройке театра, которую милостиво уступил супругам Нестеренко директор Вена-опера, и никаких «мерседесов» перед подъездом не было, и заработанные певцом деньги забирало в свою казну любезное советское государство, оставляя работнику на чай с сахаром и на штаны, чтоб не мелькал певец по европам с «голым задом».

фраках и костюмах, и тоже сплошь в золоте! «Сколько же тут-то билет стоит?! — подумал я и, как истинный сын пролетарского государства, тут же суровый приговор вынес: — С кого и драть, как не с этих паразитов?»

В театральной программке, кроме Евгения Нестеренко, исполнявшего главную роль, значились итальянцы, французы и, помнится, даже одна британка. «Ну, держись, товарищ Нестеренко!» — перекрестился я под пиджаком, когда свет в зале начал медленно угасать и зазвучала увертюра одной из мрачнейших опер композитора, и в других операх не очень-то веселого.

«Дон Карлоса» я слушал несколько раз, и все в провинциальных театрах. Эта опера не по плечу им, но русская театральная провинция, она всегда была очень храбрая и бесстрашная.

Посмотрев однажды в городе Лысьве «Гамлета» Вильяма Шекспира в постановке местного эстета-режиссера, который и ударение в знаменитой трагедии сместил согласно своей культуре, я более уж ничему не удивлялся и с творческими силами периферии в споры не вступал.

Дерзайте!

Мрачная, малоподвижная, каменно-мемориальная — такая закрепились в моей памяти опера «Дон Карлос». Пластинка, приобретенная мной, не развеяла этого моего давнего впечатления. На ней, даже на современной пластинке, ничего не видать.

Молодой еще певец неукротимой энергией своей, отсутствием парализующего внутреннего напряжения и присущего многим россиянам чувства неполноценности, с достоинством уверенного в себе профессионала, ведя совершенно свободно, раскованно, даже гордо трагическую партию, всех в театре «свалил»! Хлопали главной арии, каждому монологу многострадального короля, а потом уж и каждый выход певца встречался овацией.

Я ликовал: «Знай наших! У вас магазины от товаров ломаются, зато Нестеренко нету!» Руками бил до боли в кистях, и казалось мне: соотечественник-певец меня только и видит, мне только и кланяется.

С тех пор я внимательно и даже ревниво слежу за «моим» певцом. Смотрел музыкальные передачи по телевизору, толковые, умные, которые вели они вместе с Еленой Образцовой, да и улетучились с экрана, заменились трескучей шелухой, кому-то, видать, слишком неуместной показалась откровенность и прямота прекрасных артис-

тов — певцов, говоривших о культуре нашей вообще и псевдокультуре в частности.

На рассерженный вопрос современного меломана: отчего это он, Нестеренко, так строг и однообразен в подборе концертного репертуара, певец с чувством достоинства, добытого неустанным трудом — из морской ведь, курсантской самодеятельности в большое-то искусство отплыл, «на дурика» туда не проскочишь, — ответил, что если и будет разнообразить свой репертуар, то не за счет романсов сомнительного свойства.

И правильно! Сомнительные вещи пусть исполняют сомнительные «мастера». Настоящий художник обязан следить за собой и вести себя «опрятно».

Однажды на объединенном творческом пленуме, где разом говорилось обо всем и разом же, под аплодисменты, решались все наболевшие вопросы искусства и литературы, меня познакомили с Евгением Нестеренко. Год спустя увидел я его в Колонном зале на конкурсе имени Чайковского. Сидит за столом жюри все еще молодой, не «раздобревший», в красивый джемпер наряженный, брови строго хмурит. Хорошо!

В толчее Евгений Евгеньевич скорее всего не заметил меня, да это и не важно. Прогресс, который мы клянем за беды и прорухи всякие, подарил современному человеку и великие преимущества перед предками, дал возможность «запросто» приобщаться к чудесам века и к Великому Искусству тоже.

Я протягиваю руку, беру с полки пластинку (так и не могу привыкнуть к пленкам, к телефону, где ничего «не видно»). Пластинка — она живая, кружится, качается, маленько шипит, потрескивает, щелкает где-то, и ты уж вроде бы в зале, с «кем-то» есть), я опускаю иглу — и братский (нет-нет, не пашибратский), родной, российский бас одаривает меня восторгом и горем, «говорит» со мной напрямую, из души в душу, о самом близком, о том, что «сегодня, сейчас вот болит» и чем утешиться хочется.

«Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды...»

И я благословляю тебя, необходимый мне и всей России певец, и труд твой изнурительный, и бремя славы нелегкое, и жизнь твою, и «посох твой» благословляю.

Вместе с тобой радуюсь жизни, которая порой так опостылеет, что уж хочется «удочки смотать». За все, за все благословляю, за каждую былинку в поле и «в небе каждую звезду», а уж «за одинокую тропинку», коих я

исходил столько, что ими Землю опоясать можно, благословляю и благодарю в отдельности.

Много раз в тайге сибирской, в уединении, среди почти, в горах, под живым и вечным небом слышался мне твой знакомый голос и песнь твоя жизнедающая. Они поддерживали и поддерживают меня в этом грозном мире, помогали и помогают работать. Верую, и до конца дней моих звучать будет во мне твоя песнь неумолчно, да и за мной не замрет.

ЕСЕНИНА ПОЮТ

«Над окошком месяц. Под окошком ветер. Облетевший тополь серебрист и светел...» — доносится из приемника. И от пальцев ног, рук, от корешков волос, из каждой клеточки тела поднимается к сердцу капелька крови, колет его, наполняет слезами и горьким восторгом, хочется куда-то побежать, обнять кого-нибудь живого, покаяться перед всем миром или забиться в угол и вырветь всю горечь, какая только есть в сердце, и ту, что пребудет еще в нем.

Голосистые женщины с тихим вздохом ведут и ведут про месяц за окошком, про тальянку, что плачет за околицей, и песнопевиц этих тоже жалко, хочется утешить их, пожалеть, обнадежить.

Какая очищающая скорбь!

На дворе пету месяца. На дворе туман. Выдохнулся из земли, заполнил леса, затопил поляны, прикрыл реку — все утопло в нем. Дождливое пынче лето, полегли льны, упала рожь, не растет ячмень, овсы не вышли даже в трубку. И все туманы, туманы. Может, и бывает месяц, но не видно его, и спать на селе ложатся рано. И голоса единого не слышно. Ничего не слышно, ничего не видно, отдалась песня от села, глохнет жизнь без нее.

За рекой, в опустевшей деревне живут две старухи, летом врозь, зимой сбегаются в одну избу, чтоб меньше тратилось дров. Они и поныне моются в русских печах, едят картошки, которые варят в одном чугуне и себе, и скотине, ждут лета, чтоб повидаться с детками. Те приезжают серединой лета, к грибам, ягодам, жаркому, загарному солнцу, привозят матерям в сетках оранжевые апельсины с алжирскими наклейками да заграничные обноски.

А им бы, матерям-то, обувку покрепче, понепромокаемей, мучки бы белой да сахарку — устали они жевать черствый хлеб, и хоть стряпать за войну разучились, сляпали бы чего-нито свеженькое. К магазину им не пробиться — как ударит падера, заметет снегом поля, заторосит реку — зима и вовсе отрежет их от мира. Пробовали на лыжах — падают, стары больно.

Приезжал к одной бабке сынок из Ленинграда. Зимой отчего-то прибыл, добрел до матери по сугробам, стучит, а она его не пускает — по голосу уж не узнает.

Я спросил у парня: «Сколько зарабатываешь?» — «Мы, строители, хорошо зарабатываем, меньше двухсот не выходит!» — «Помогаешь ли матери-то?» — «А чё ей помогать-то? У ей пенсия двадцать шесть рэ, да кружева все еще плетет...»

Плачет тальянка, плачет.

Только не там, не за рекою, а в моем сердце. И видится мне все в исходном свете, меж летом и осенью, меж вечером и днем. Лошадь вон старая единственная на три полупустых села, без интереса ест траву. Пьяный пастух за околицей по-черному лает заморенных телят; к речке с ведром спускается Анна, молодая годами и старая ликом женщина.

Двадцать шесть ей было, троих детей имела, а муженек лих на выпивку удался, выпивший — скор на руку. Задрался как-то на семейном празднике, братья навалились, повязали, носом ткнули в подушку и забыли про него — утром хватились: холоден. Так без мужа и вырастила Анна детей. Сыны теперь норовят ей на лето внуков сбить, на вино денег просят, «куркулихой» называют. А и правда куркулиха — вдвоем с матерью живут в деревне, где прежде было за сорок дворов: коси кругом — не накосишься, сади овощь — не насадишься, кричи людей зимней порой — не докличешься...

«Дальний плач тальянки, голос одинокий...»

Отчего же это и почему так мало пели и поют у нас Есенина-то? Самого певучего поэта! Неужто и мертвого все его отторгают локтями? Неужто и в самом деле его страшно пускать к народу? Возьмут русские люди и порвут на себе рубаху, а вместе с нею и сердце разорвут, как мне сейчас впору выскрести его ногтями из тела, из мяса, чтоб больно и боязно было, чтоб отмучиться той мукой, которой не перенес, не пережил поэт, страдающий разом всеми страданиями своего народа и мучаясь за всех лю-

дей, за всякую живую тварь недоступной нам всевышней мукой, которую мы часто слышим в себе и потому льнем, тянемся к слову рязанского парня, чтоб еще и еще раз отозвалась, разбередила нашу душу его боль, его всесветная тоска.

Я часто чувствую его таким себе близким и родным, что и разговариваю с ним во сне, называю братом, младшим братом, грустным братом, и все утешаю, утешаю его...

А где утетишь? Нету его, сиротинки горемычной. Лишь душа светлая витает над Россией и тревожит, тревожит нас. А нам все объясняют и втолковывают, что он ни в чем не виноват и паш-де он, паш. Уже и сами судьи, определявшие, кто «паш» и «не паш», сделались «не нашими», вычеркнуты из памяти людской, но песнь, звук, грусть поэта навечно с нами, а нам все объясняют и объясняют необъяснимое, непостижимое, потому что он — «не наш» и «не ваш», он — Богово дитя, он Богом и взят на небеса, ибо Богу и самому хорошие и светлые души нужны, вот Он и пропальвает людской огород — глянешь окрест: татарники одни да лопухи, и на опустелой земле горячая трава да дремучие бурьянники прут вверх, трясут красными головами, будто комиссарскими фуражками, кричат о себе, колются, семенем сорным, липучим сорят...

«За окошком месяц...» Тьма за окошком, пустые села и пустая земля. Слушать здесь Есенина невыносимо. До приторности засахаренную слезу страдальца-поэта вылизывают пошлым языком, плят расшивную русскую рубаху на кавказский бешмет, а она не лезет на них, рвется, цепляется за бутафорские газыри.

«Я и сам когда-то пел не уставая: где ты, моя липа, липа вековая?» И в самом деле, где ты, паша липа, липа вековая? Теплый очаг? Месяц? Родина моя, Русь — где ты?

Лежат окрест туманы, плотно, недвижно, никакой звук не пробивается. Едва-едва просочился из-за реки блеклым пятнышком свет в деревенском окошке. Живы старушки. Нарботались. Ужинают. Вечер еще длится или уже ночь?

На траве мокро, с листьев капает, фыркает конь в мокром лугу, умолк за деревней трактор. И лежит без конца и края, в лесах и перелесках, среди хлебов и льнов, возле рек и озер, с умолкшей церковью посередине, оплаканная русским певцом Россия.

Смолкни, военная труба! Уймись, велеречивый ора-

тор! Не кривляйтесь, повомодные ревуны! Выключите магнитофоны и транзисторы, ребята!

Шапки долой, Россия!

Есенина поют!

НАВЕКИ СПАСИБО

В начале шестидесятых годов я заканчивал литературные курсы в Москве. Зная, что на этом мои «университеты» закопчаты и я никогда уже не смогу иметь «творческой» воли, не будет мне той передышки в жизни, какую получил на два года учебы, я много бродил по городу, пытался удивиться достопримечательностями его, «зарядиться» наблюдениями.

Однажды меня занесло на Арбат, еще старый, не превращенный в проспект Калинина. Был здесь большой магазин с неприютным названием «Военторг». Зная, как привержен к охоте и рыбалке военный народ, зашел я в тот магазин — разживиться крючками, блеснами, лесками. Приобретая искомое, слонялся по полупустому в дневное время магазину и в далеком углу его набрел на отдел грампластинок, где скучала в одиночестве красивая, приветливая девушка. Она обрадовалась мне, что бывает очень редко с нашими продавцами, и мне на эту ее радость и приветливость хотелось ответить чем-нибудь. Я решил купить у нее песколько пластинок общедоступного пользования. Таких тут было много. В магазин я попал после полочки и потому сначала без разбора, потом с выбором откладывал пластинки. Девушка постепенно втянулась со мной в работу, исподволь подкинула мне несколько вопросов и, махнув рукой влево, произнесла: «Может быть, здесь посмотрите?»

В углу, на деревянном стеллажике, стояли большие, строго оформленные пластинки, на прилавке под стеклом оказались списки, читая которые я примолк и оробел, да и выдал свое невежество невольным признанием: «Я и не думал, что все это всем доступно...» — «Давно доступно, — грустно призналась девушка, — да мало кто пользуется музыкальными сокровищницами, оглушили людей бравурными маршами...»

Среди приобретенных тогда в «Военторге» пластинок оказался «Реквием» Верди в исполнении Миланского оркестра и хора под управлением великого Тосканини и

великих певцов «Ла Скала». О «Реквиеме» Верди я больше читал, чем слышал его, как, впрочем, и о многих других классических произведениях мировой музыки. Слушал там, сям, отрывочно, мимоходом, по радио, в кино и даже не знал, что многие музыкальные шедевры уже записаны на пластинки.

«Реквием» Верди я «играл» неделю подряд, во всю мощь, чем возмутил творческий народ в общежитии Литинститута. Выскочив из-за письменных столов, из-за машинок, из разгульных застолий, сокурсники бежали в сто сорок седьмую комнату усмирять новоявленного меломана и, если он не уймется, прибить его. Но, словно споткнувшись о порог моей комнаты, курсанты смирились, кулаки их разжимались. Они тихо входили в комнату, рассаживались на кровати, на стульях, на полу, иные стояли, опершись на косяки двери. И когда кончался «Реквием», молча разбредались по своим комнатам и подолгу из них не выходили.

Случалось, пьяненькие, растроганные люди сами пытались заводить пластинку, тыкали иглой невпопад, роняли на пластинку пепел и слезы. Та израненная, заигранная, оплаканная и поцарапанная пластинка хранится у меня до сих пор.

Учился на нашем курсе Фазиль Абдулжалилов, по национальности ногаец. Как-то отстраненно и неприязненно относился он к своим землякам, больше жался к русским и, когда мы собирались компаниями, просил: «Купите и на меня бутылочку-две фруктовой воды». Он пил фруктовую воду, смотрел на нас печальными глазами, никогда не спорил, не повышал голоса, но, казалось мне, хмелел вместе с нами и порой молча плакал.

Он был первым комсомольцем-ногайцем. Потом их стало двое. Они ездили по горным аулам, сзывали крестьян в колхозы, агитировали за равноправие мужчин и женщин, создавали комсомольские ячейки, писали в газеты, случалось, и редактировали их. В них стреляли в горах бандиты, сулились их повесить, как бродячих собак, земляки перестали здороваться с их родителями, и родители отвернулись от них.

Они прошли сквозь все это с честью, мужеством и достоинством. Но в приснопамятном году друг оклеветал друга. Неправый суд всегда скорый, и первого комсомольца по навету второго приговорили к расстрелу. Народу для расстрела собрано было много, расстреливающих, видать,

не хватало, и Фазиль много дней и месяцев провел в камере смертников. Там и сидеть начал. Он ни о чем и никого не просил, на помилование не подавал, никуда не писал, аллаху не молился. Одно неотступное желание преследовало его: скорее умереть.

Человек, оклеветавший Фазиля, участвовал в допросах и был самым страшным истязателем. Избивая друга, с которым делил хлеб и соль, чурек и кусок козьего сыра, с которым уходил от погонь и заслонял в засадах друга от пуль, он кричал: «Ты — враг! Враг народа! Признавайся, кто твои соучастники?» И когда Фазиль указывал на него пальцем, он сваливал его на пол и топтал сапогами.

Но вот что-то переменялось в жизни страны, и в Баталпашинской тюрьме — тоже. Приговоренных снова начали вызывать на допросы. Фазиль угодил к молоденькому белокурому лейтенанту в новой гимнастерке, с комсомольским значком на кармашке. Он поманил Фазиля к себе пальцем, вытащил из ящика стола кусок хлеба, налил в казенный стакан из казенного графина воды и сказал: «Ешь. А я тебя буду инструктировать».

Фазиль ел хлеб с водой. «Задача твоя такая, — наставлял его младший лейтенант, — как услышишь шаги в коридоре, так и кричи, да погромче: «Аллах! За что бьешь? Пожалей, начальник...» Ну, не мне учить, все вы тут, на Кавказе, артисты. Заслуженные. Если кто войдет в комнату, в особенности чин какой, сразу падай на пол, корчись, вопи, я тебя, извини, пинать буду. Да натурально вопи-то!»

Больше недели разыгрывали спектакль в тюремной камере ногаец Фазиль Абдулжалилов и неизвестный русский офицер. Потом Фазиля вызвали в какую-то большую комнату, где стоял стол, застеленный красным полотнищем, на нем лежали груды папок с делами заключенных. Позднее Фазиль узнал, что вызывали его на партийную комиссию, которую возглавлял человек в кожаной куртке, перепоясанный, как и полагается комиссару, желтым кожаным ремнем с португеей через плечо. Был он устал и сед, горестно-сосредоточен. Когда ему прочитали дело Фазиля, он, слушавший записанное с опущенной головой, распрямился, пристально глянул на молодого, но уже седого парня и сказал: «Ну что, сынок? Сильно били тебя?» И прошедший огонь и воду, голод и холод, ненависть и презрение, предательство друга и смертную камеру молодой парень разрыдался.

В два часа почти его выпустили из тюрьмы и наказали, чтоб он сразу же шел домой и никому ничего не говорил. Это говорилось всем освобожденным, но мера сия была и остается скорее для профформы.

На наших курсах одновременно учились четверо бывших репрессированных, и все они охотно и с подробностями рассказывали, что с ними и с теми, кто остался «там», было.

После их рассказов впечатлительные люди плохо спали, вскакивали по ночам с дурными воплями, а то и вовсе лишались сна.

Фазиль пошел из тюрьмы не домой, не к семье. Он пошел к тому, кто предал его, и задал ему один-единственный вопрос: «Скажи, ты верил, что я враг народа?» Если бы тот сказал: «Нет!», Фазиль убил бы его тут же. Но он сказал: «Да!», и, плюнув ему в лицо, освобожденный отправился домой.

Один из них сделался писателем. Он писал о передовых доярках и консервативно мыслящих председателях колхозов. Он угождал времени и тем ветрам, которые особенно густо веялись над небольшими республиками и малыми нациями, и сквозь эту жидкую словесную загородь привычного в ту пору литприспособленчества даже слабым отблеском не пробивалась ослепляюще яркая, полная драматизма и трагедий жизнь автора. В душе все замерло, окаменело, испепелилось в боли, медленно изжигаящей человека. Я потому так уверенно говорю об этом, что надсадно возился с переводом романа Абдулжалилова, изготовленного по законам тогдашнего соцреализма, и всю ничтожность литературы этого сорта постиг изнутри. Та давняя работа меня многому научила.

Литературная карьера Абдулжалилова шла вперед и в гору. Он сделался главным редактором местного издательства, избирался в президиумы, отчитывался на рукоплещущих собраниях, составлял планы, учился в партийной школе Ростова, затем сам учил людей уму-разуму, натаскивал молодых писателей, отрабатывая у них острый шох на сиомишутные литературные веяния.

И вот угодил даже в Москву, на Высшие литературные курсы, несмотря на приемные ограничения в возрасте, — он оказался самым старшим на курсах, ему было уже за пятьдесят.

А тот, кто его когда-то предал, какое-то время подвизался в местных деятелях, потом его не то повысили, не

то прогнали, словом, он куда-то улетучился, как дым из очага, точнее сказать — выбросили его, словно чадящую угарную головешку, и никто его не помнит, никто не помнит.

Фазиль относился ко мне дружески-пежно, часто вручал деньгами, картошкой, коей запасался впрок. В экстренных случаях Фазиль можно было разбудить среди ночи и попросить займы выпивки. Сам он года уже два не потреблял спиртного, но как человек, понимающий особенности жизни, берег для нас чекушку-другую. Вот этого-то Фазиль, находясь в благодушном настроении, я и пригласил послушать «Реквием».

— Ну что ты! — сказал Фазиль. — Какой реквием? Мне асса, лезгинка, трам-та-ра-рай-рам-йам...

Но я уломал его.

Слушал он сначала рассеянно, лишь из уважения к хозяину, заглядывал в окно, пялился на обрызганные чем-то обои. Но вот издали, будто нарастающая буря, зазвучала тема Страшного суда — «Dies irae», содрогнулась, застопала человеческая душа. Фазиль содрогнулся, изумленно огляделся по сторонам. Я и сам на этом месте всегда переворачиваюсь в себе, мороз коробит спину, душа заходит в испуге и восторге. Словом, про Фазиль я забыл.

Комната снова наполнилась народом, и, когда отзвучала музыка, снова все расходились, притихшие, к себе со вновь возникшим уважением в этому миру, к человеческому величию и страданию. Фазиль сидел на кровати, опершись на колени локтями и стиснув лицо руками.

Я уже собрался было разрядить обстановку и сказать: «Ну, как? Вот тебе и асса! Вот тебе и трам-та-ра-рай-трам-па...», но увидел, как беспомощно обозначившаяся узкая спина Фазиль вздрагивала под тонкой полосатой пижамой, и осекся.

Он вскочил с кровати, лицо его было залито слезами, искажено мукой. Тыча в пластинку пальцем, он пытался что-то вымолвить:

— Он... он... он... он играл мою жизнь, — наконец исторгнулся крик из его груди, и, громко зарыдав, схватившись за голову, Фазиль стремительно вышел из моей комнаты.

Через день или два он пришел ко мне вечером тихий, бледный и попросил:

— Заведи, пожалуйста, «Реквием». А сам уйди. Дай мне ключ. Я закрою комнату.

Когда я вернулся, проигрыватель был аккуратно закрыт, две пластинки с «Реквиемом» лежали на столе, и на конверте одной из них было написано: «Спасибо! Навеки спасибо!..»

САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ ГОНОРАР

Книга «Царь-рыба» писалась с натугой. Какими-то непредвиденными событиями надолго отрывало меня от стола. Мелодия начинала утихать в сердце, возобновлять же в себе, точнее, воскрешать «звук» или ритм почти невозможно. Может быть, гениям это удавалось, мне — нет, поэтому в книге много перовностей, провалов, непрописанных кусков. Чего ж из мертвого-то звука извлечешь?

Но еще трудней проходила «Рыба» в печать. Из первой части в журнальной публикации исчезла целиком глава, много строк, кусков и кусочков. Еще сложнее шла вторая часть. Я к той поре, надсаженный работой и редактурой, лежал в больнице, но и здесь мне спасенья от клятвой «Рыбы» не было. Меня вызывали к телефону и «согласовывали» со мной кастрации, просили «дописать» строки и куски в те места, которые в результате сокращений зияли ранами, пелестями, обрывами, и однажды я в два часа ночи, по телефону, «сочинил» кусок-затычку. Сочинял, понимая, что делать этого нельзя, но в редакции-то журнала работали сплошь мои добрые друзья и товарищи, они мне «хотели добра», кроме того, у всех семьи, квартирные и семейные неурядицы, и если они сорвут помер, их лишат всех благ, кого и с работы погонят.

Когда-то я работал в городской газете и наострил казенные передовицы и трафаретные информации диктовать прямо на машинку. Вот и тут продиктовал что-то казенное, трескучее, что потом, меня жалеючи, критики назвали публицистикой. Продиктовал, сел на стул и заплакал — напряженная работа, болезнь, лекарства сказались. И тогда почная дежурная сестра, юная еще, наивная, схватила трубку и гневно закричала на секретаря журнала: «Как вам не стыдно! У нас эвоп важные какие люди лежат — инструкторы и завыв отделов обкома, даже начальник птицепрома лежит — и никто их не смеет ночью тревожить, режим нарушать. А вы? А вы... доклад заставляет человека составлять. Это бесчеловечно! Это...»

Я отнял у сестры трубку. Мы вместе с нею выпили

«копьячку» — валерьянки, смешанной со спотворным. Поцеловав милое существо в щеку и махнув рукой, я уковылял в палату.

Книги как дети — каждая со своей судьбой, и тут ничего не поделаешь. Может, так и падо, так и должно быть? Не знаю.

«Царь-рыба» вдруг получила, как приятно говорить в благоправной печати, «резонанс». Пресса вокруг повести была шумная, и повесть вошла в читательский и критический обиход.

Но мучения мои, раздражение, душевные травмы и обиды не прошли даром — я не люблю «Царь-рыбу». С трудом, насилуя себя, читаю верстки для переиздания. Надо бы вернуться к повести, восстановить куски и страницы, поработать над текстом, выровнять прогибы в книге, но не могу заставить себя сделать эту работу, нет ни желания, ни сил. Много хороших, даже восторженных писем лежит в моем столе, газеты и журналы со статьями и дискуссиями лежат. Жена, первый ценитель моей писчебумажной продукции, говорит по поводу «Царь-рыбы»: «Ты сам не понимаешь, что написал!»

Может, и не понимаю. Может, мне вовсе и не хочется понимать.

Но именно эта книга принесла мне однажды редкостную радость и самый трогательный гоппорар.

В восьмидесятом году переехал я из Вологды на родину и поселился жить за городом Красноярском, на Гремячей горе, в Академгородке. В ста метрах от дома крутой скалистый обрыв, на отвесе которого была когда-то протесана дорога, и в детстве я несколько раз ходил ею из деревни в город и обратно.

Подойдешь к обрыву, глянешь вниз, и дух захватывает — так круто. Внизу Енисей, как раз напротив нашего дома Лалетинский шивер, отмеченный двумя бакешами, на другой стороне Енисея речка Лалетина и далее — причудливые очертания гор и скал, знаменитые Красноярские Столбы.

И всегда, в любое время года на берегу стоят рыбаки, машут удилицами. В самом перекате, чаще ниже его — лодки на приколе, и в них истуканами чернеют фигуры. Сутками сидят, пронизанные пасквозь сырм от воды холодом, зимой и летом ждут удачу. А она, удача, на рыбной когда-то реке сделалась редкостью. Даже самые уме-

лые рыбаки иногда паловят на уху, иногда и ничего не добудут.

Первое время после переселения жил я в Сибири один. Не работалось, тревожно на сердце было, и от одиночества я часто ходил к обрыву, смотрел на реку, на горы. Отсюда, с Гремячей горы, видно Шалуин бык — место, где пашли мою утопнувшую маму, — и это тоже не способствовало радужности настроения.

Был ноябрь. Снег пробрасывало, от голой, какой-то серо-темной воды Еписея веяло холодом и отчуждением. Реденькие, самые стойкие рыбаки торчали на реке и ходили по берегу.

Я почувствовал, что шибко озяб, и поспешил домой. Поднялся на свой этаж, смотрю: к ручке двери привязан полиэтиленовый мешочек, в нем несколько рыбок и записка. Два харюзка-карандашика, две сорожки с ложку, три окунька-хунвейбина — свеженькие, только что из воды, чуть примороженные.

Разворачиваю записку, читаю несколько раз подряд: «Автору «Царь-рыбы» от рыбака». Подписи нет. Читаю и чувствую, как слезы начинают жечь глаза.

Я засуетился, зазвонил в телефон, созвал моих друзей на уху.

Какая это была уха!

До позднего часа сидели мы за столом, разговаривали, хвалили наш русский парод, были сердечны друг к другу, душевно спаяны, потом музыку слушали, сами попели.

Ах, рыбак, безвестный рыбак! Если б ты знал, как помог мне в трудные, тревожные дни, и в работе помог, в проклятой, надсадной и прекрасной работе!

Спасибо тебе, земляк мой, за такой неожиданный и самый дорогой в моей жизни гонорар!

И клев тебе на уду!..

КЛЕНОВАЯ ПАЛОЧКА

Всегда думал, что дирижерская палочка изготавливается из какого-нибудь редкостного, скорее всего заморского, может, даже и волшебного материала.

И однажды спросил у знаменитого дирижера об этом. «Из разного материала изготавливается дирижерская палочка. Я люблю кленовую».

Так просто! С тех пор и без того любимый мною дирижер, очень простой и доступный человек, да еще и заядлый рыбак, сделался еще более любимым и доступным. Все, что исполняет его большой оркестр, кажется мне особенно близким, пробирающим до озноба сердца.

И все это происходит от палочки, принесенной из обыкновенного шумного леса! Был я на Востоке и на берегу Тихого океана выкопал тошосенький росточек клена. Долго возил его за собой, таскал по машинам, вокзалам и самолетам, смял я красные листочки и с большим сомнением поздней осенью, почти под снег посадил в огороде гостя с Тихоокеанского побережья. Думал, засохнет росточек, помрет. Но он утвердился в земле, окреп, почки крепкие наружу высунул, принохался, примерился и листьев горстку выродил. Листья сразу же краснеть заторопились, деревце будто детскими праздничными флажками украсилось.

Встанешь на колени, прижмешься ухом к листку, и кажется, оттуда, из листика, младенческое дыхание слышно, а из плоти деревца, впившегося корешком в живую, древнюю землю, доносится тихая-тихая музыка.

СЧАСТЬЕ

Если вы не бывали под заполярной выюгой глухой северной зимою, считайте, что и горя не ведали. Она не просто бьет и треплет мир Божий, она его перетряхивает, как старую рухлядь, и все поровит поднять вверх, перепутать, свить в клубок и укатить невесть куда. Блажен, кто в такую пору сидит под крышей у жарко патапленной печи и, попивая чаек, ведет неторопливые беседы.

Но если в детдомовском «семисезонном» пальтишке — это значит, в летнем и в зимнем одновременно, — в куцей шапчошке, уши которой стянуты тесемками под нижней губой, потому что до подбородка не достают, в полусукошных штанах, под которыми тлеело шевелятся тонкие кальсошники, засунутые в жесткие голенища валенок, низко обрезанных из-за того, что загибал ты их для форсу, по строгие учителя отпластали половину обуви с воспитательной целью, — если во всем этом снаряжении, натянув на щеку воротничкишко и затыкая мокрый задыхающийся рот казенной рукавицей, через лога, через сут-

робы переть на окраину города, во тьму кромешную — лампочки на столбах лишь в центре города, у ресторана, под козырьком магазинов и у кинотеатра едва светятся сквозь тучи снега, дальше и вовсе провал, конец света, голосящая преисподняя?

Вот так-то волокся я однажды наперекор стихиям домой, не помню уж откуда, и остановился передохнуть за углом старого кинотеатра. Отдышался маленько в заветрии, давай на рекламу глазеть, а она снегом запорошена. Обметаю рекламу рукавицей, и мне открывается невиданно красивая картина. На бордово-бархатном фоне парит женщина в белом платье с поющим, сахарно белеющим ртом, с полузапахнутыми глазами, сквозь которые томно и маняще светится взгляд. Ниже поющей женщины, навалившись щекой на скрипку, играет музыкант с бабочкой на рубашке, с белоснежными манжетами, высушившимися из-под черных рукавов. Глаза у него тоже полуприкрыты, и он вроде бы тоже в забытии находится. Дальше на рекламе видны кибитка, запряженная в нее лошадь, какой-то дяденька на облучке, лес, солнце, трава.

Словом, картина, совершенно не похожая на ту, что окружала меня, властвовала надо мной. Что-то зануло, зануло у меня в середине, какой-то властный зов мне послышался, и я подумал: вот зайти бы сейчас в кинотеатр, найти у кассы рубль, да и увидеть бы все это...

Дума о рубле еще не завершилась, но я уже был в деревянном пристрое кинотеатра, в стене которого крепостной бойницей светилось морозное окошечко кассы с еще не задвинутым вовнутрь пеналом. Тем, у кого имелись деньги, подлежало их положить в пенал, и тогда невидимая за мерклым стеклом рука кассира утягивала пенал к себе и тут же высовывала его обратно с синеньким лоскутком билета, поверх которого лежала сдача. Но опять же, повторяю, это для тех, у кого водились деньги. У меня их не было.

И ни одного человека у кассы. Я понял, что скоро грянет третий звонок, а мне еще надо успеть найти рубль. Снег, натасканный на валенках, толстым слоем лежал на полу. Он был свеж и бел, этот принесенный из лесотундры и обрушенный на город снег, и в нем еще дымилось несколько окурков, пестрели разноцветные бумажки от конфет, и у самой кассы, под некрашеной доской, изображающей барьер, лежал золотисто-желтый катышек. Это был рубль! Я как ни в чем не бывало поднял его, распра-

вил на колене и, парабатывая дальнейшую тактику поведения — сеанс-то последний, самый взрослый, мне еще и пятнадцати лету, — схватил дымящийся окурок, расчмокал его, пустил в бойницу кассы дым и хриплым «мужичким» голосом потребовал билет «на одно лицо». Пенал засунулся, издали послышалось: «Ой, торопись, парень. Третий звонок...»

Я сгрел в горсть билет и мелочь; катанулся от входа в кинотеатр по склизкому полу и едва не миновал контролершу. Свет в коридоре был уже погашен, я весь снегом занесен, и контролерша не стала устанавливать мой возраст. Она поспешно оторвала корешок билета и подтолкнула меня: «Садись на свободное место. Кино началось».

Увидев, что коричневая занавеска в зале уже задернута, что вторая контролерша запахивает створчатые двери, я стриганул в еще не совсем затворенную дверь и долго стоял ошеломленный возле занавески. «Чего стоишь? — зашикали на меня. — Садись!» Не отрывая глаз от экрана, я ощупью пробирался по узкому междурядью, нащупывая чьи-то колени, наступая на ноги, затрепичу уж получил и несколько тумачков в спину, но все глядел, глядел на экран, где говорилось не по-русски, внизу мелькали строки перевода, которые я не успевал читать, да и читать их было незачем — то, что совершалось на экране, было так высоко, что слову недосыгаемо и словом не объяснимо — понял я скоро.

Вот говорят, «красивенькая» литература и роскошная киношная жизнь отвлекают людей от суровой действительности, лишают их точных ориентиров, обезоруживают, в особенности молодых, делают благодушными и равнодушными, стало быть, и слабыми перед жизнью. Но если люди устали от бурной деятельности, оступили от речей и маршей, от ежеутренней «молитвы», исполняемой по радио Марком Осиповичем Рейзенем: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...» Если мороз, пурга, круговерть снежная, зима бесконечная, отторженность от земли обетованной, забитые «под завязку» бараки спецпереселенцев со старостой во главе, который раз в месяц должен в комендатуре отчитываться «по головам» за свое «поселение», называлось это вежливо — «отмечаться», и в первые годы переселения каждый «элемент», достигший шестнадцатилетнего возраста, отмечался сам, отдельно, потом послабление вышло. Слухи, один другого страшнее, высылки, перемещения, всеобщие ко-

лотухи во имя светлого будущего. Если существует человек, как деревянная игрушка на пилке — в подвешенном состоянии... Кто эту пилку дернет? Куда потянет? Так вот, если в такую среду, в такую глушь врывается искусство, подобное фильму «Большой вальс», оно становится не просто лучом в темном царстве, но и глотком живительного воздуха. Люди на фильме «Большой вальс» плакали о другой жизни, которая, пусть и в кино, все же была. Фильм «Большой вальс» сделал в ту пору большую работу, чем все наше плакатное, крикливое, судорожное искусство «новой эры».

И на войне, да и после войны, бывало, как только зайдет разговор о кино, так непременно кто-нибудь, чаще всего из парней, мягкая взглядом и лицом, спросит: «А ты помнишь?» — и если забыл название, умеет, не умеет петь, имеет, не имеет голос, непременно напойет: «Нарай-нарай, нарай-пам-пам...» — «Сказки венского леса», Карла Дюннер в широкополой шляпе и великолепный Шани, Йоганн Штраус, лес, озаренный утренним солнцем, полный пения птиц, кибитка, музыкально постукивающая колесами, чудаковатый и добрый извозчик, зарождение мелодии, полной любви и утреннего света, вальс, вырвавшийся из двух сердец: «Гро-ос волс. Дас ис волс».

Ну, а в моей жизни фильм «Большой вальс» — особая статья. Когда меня спрашивают, был ли я когда-нибудь счастлив, твердо отвечаю: «Да! Был!» — и рассказываю про тот день, точнее, про зимнюю заполярную ночь, когда брел, гонимый пургой, и прибрел к кинотеатру, как увидел рекламу фильма, как дрогнуло во мне что-то, как я решил найти рубль и пошел его, как смотрел «Большой вальс» и почти весь фильм уливался слезами от умиления и еще от чего-то, мной тогда, да и по сию пору до конца не отгаданного.

Фильм этот был еще и тем хорош, что познакомил нас, уставших от маршей и барабашного боя, с нежной музыкой, и она стала часто звучать по радио и в залах. И после, где бы я ни слышал вальсы Штрауса, в первую голову «Сказки венского леса», закрою глаза, и вот оно, небо и земля, замешенные в белом тесте пурги, деревянный городишко на краю света, парнишка, бредущий куда-то и зачем-то, и музыка, музыка над всем этим, радостная, сияющая, красивая музыка!

Как-то среди трофейных фильмов в потрясающей американской картине «Я — беглый каторжник» увидел вдруг

знакомое, да нет, уже родное лицо и вздрогнул: «Оп!» — и смотрел картину ту как продолжение картины давней.

Фернан Граве — фамилия артиста с прекрасными глазами, о каких Лев Толстой сказал неповторимо — «как мокрая смородина». Карлу Доннер, эту шикарную обольстительницу, умеющую так страстно любить: «О-о, Шани!» — и красиво страдать, играла Милица Корьюс. Совсем не играла, а жила подлинной жизнью, преданная, все понимающая и все прощающая жена композитора Польди с бархатно-прокиновенным голосом и обволакивающим взглядом — Луиза Райшер. Нашел их всех, объединил в «Большом вальсе» режиссер Жюльен Дювивье, снял на студии «Метро-Голдвин-Майер» Джозеф Руттенберг, у которых я больше ни одной картины не помню. Да больше и не надо. Хватило и этой. На всю жизнь.

Я много раз смотрел кинокартину «Большой вальс» и перестал на нее ходить после того, как она была дублирована. Классный фильм, он тем и отличен от плохого фильма, что в нем все целесообразно, продумано до мелочей, подобрано к месту и снято «очко в очко». После дублирования погасли подлинные голоса исполнителей, их интонации и, наконец, тайна самого непонятного языка — фильм «онемел» и во многом потерял привлекательность, сделался простеньким и даже слащавым. Ну, может, это произошло еще и оттого, что к той поре мы уже досыта посмотрелись иностранных фильмов, среди которых было немало киношедевров.

...Жила-была на свете киноактриса Елена Алексеевна Тяпкина. Была она родом из Замоскворечья, начала сниматься еще в немом кино и дни свои закончила совсем недавно, не потерявшей памяти и обаяния.

Судьбе угодно было свести меня с нею еще во дни моей литературной молодости, о чем я и поведал в «Затесах». Я охотно, да, к сожалению, не так часто, как мог бы, навещал старую актрису и подолгу вел с нею занимательные беседы, гоняя ароматные чай.

И вот в одном уже поздневечернем разговоре ухо мое царашуло раз, другой, третий слово «Милка». Я заострил внимание и спросил у занимательной рассказчицы, что за Милка? «Да та самая Милка, что в «Большом вальсе» снималась», — махнула рукой хозяйка и пошла чесать дальше. Но я приостановил вдохновенный рассказ Елены

Алексеевны о том, как к ней в повую измайловскую квартиру повадились цыгане, «и всякий раз поровят что-нибудь стащить, прохиндеи!». «Так насчет Милки-то, Елена Алексеевна, голубушка, пояснили бы...» — «Ну, видели вы «Большой вальс»? Там Милица Корьюс играет. Она была моей школьной подругой, вот я ее потому Милкой и зову...»

Этим известием и дальнейшим рассказом старой актрисы я так был ошарашен, что позднее хватился вспомнить что-нибудь и не мог восстановить в памяти ничего связного. Тогда я попросил Елену Алексеевну изложить мне в письме все, что она когда-то рассказывала.

И вот оно, это письмо, передо мной, письмо с прыгающими от тика буквами, пришедшее уже из дома престарелых актеров, что на улице Нежинской в Москве, где тогда жила в комнате помер пять моя милейшая знакомая актриса.

«...Пишу вам о Милице Корьюс — постараюсь подробно, — о самой Милице и всей ее семье.

Когда началась первая империалистическая война, я и моя сестра учились в Елизаветинский гимназии — институте, половина учащихся были приходящие, половина живущие. Семья Корьюс жила тогда в Варшаве, где отец Милицы (глава семьи) был преподавателем музыки в Варшавском корпусе. Отец был швед, а мать полька (настоящая польская красавица — панна). Детей было пять человек: один сын и четыре дочери, старшая Нина, затем Милица (Милка, как мы ее называли), Тамара и Аня.

Во время войны Варшавский кадетский корпус эвакуировали в Москву, отца перевели также преподавателем музыки в Лефортовский кадетский корпус, а девочек поместили в Елизаветинскую гимназию, где учились и мы с сестрой. Нина, старшая дочь, попала в один класс с моей младшей сестрой, а другие сестры Корьюс, в том числе и Милка, — в более младшие классы. Мы очень подружились. Чаще всех бывала у нас Нина и на праздники оставалась у нас почевать. Познакомиться с нашей семьей приезжала к нам мать семейства Корьюс.

Первое время жили спокойно, тихо, все шло хорошо, но затем в семье их разыгралась трагедия. В числе переведенных из Варшавы преподавателей был очень известный математик (немец), он влюбился в мать Корьюс, меж-

ду ними разыгрался бурный роман, она бросила мужа, забрала четырех дочерей, сына оставила мужу и уехала с этим немцем в Киев, и там все они поселились — жили они в Киево-Печерской лавре. Вначале все шло как будто хорошо, но затем новая трагедия. За это время подросла Нина — старшая дочь, стала красоткой, была уже скрипачкой и работала в оркестре под управлением Рахлина. И вот этот немец, муж матери, влюбился в Ницу. А она была действительно красоткой, по-моему, красивей Милицы. Он стал преследовать ее своей любовью. Нина, конечно, никак ему не отвечала, старалась все скрыть от матери. Но та про все это как-то узнала, произошло бурное объяснение и затем разрыв. И этот негодяй (иначе я назвать его не могу) бросил всю семью без всяких средств и уехал в свою Германию, где стал знаменитым математиком. Всю семью вытягивала на своих плечах Нина (работала скрипачкой в оркестре и брала какие-то работы на дом). А у Милки к тому времени открылся хороший голос, она пела уже в «Думке» — так назывался киевский ансамбль.

Обо всем случившемся узнал отец Корьюс и прислал бывшей жене письмо, где писал, что он обо всем знает, понимает, как им тяжело материально, и предлагает прислать к нему одну из дочерей, чтобы он мог дать ей образование. Он в то время жил с сыном в Ковно. И вот на семейном совете было решено послать Милку — так она и попала за границу, а через год с небольшим Нина стала получать из Эстонии от Милицы афиши — объявления о концертах в небольших залах со следующим сообщением: «Heute singt Milicha Korjus» (сегодня поет Милица Корьюс). А некоторое время спустя была задумана постановка «Большого вальса». Год целый режиссер искал актрису на главную роль фильма. Милка стала знаменитостью. И когда в Москве я увидела объявление, что главную роль играет Милица Корьюс, я глазам своим не поверила: неужели эта та самая Милка, которая училась когда-то вместе со мной в московской Елизаветинской гимназии, а затем уехала с матерью в Киев?! К этому времени Скоропадского в Киеве уже не было, и наша связь с семьей Корьюс, главным образом с Ниной, возобновилась. Мы переписывались, встречались (я приезжала в Киев с театром Всеволода Мейерхольда на гастроли), Нина мне рассказывала, что она переписывается с Милицей, что та вышла замуж и у нее двое детей, и со смехом мне

рассказывала об одном письме Милицы, где та писала, что они с мужем купили виллу, но им тесновато — у них всего-навсего восемнадцать компат. Милица писала, что в сороковом году она собирается приехать в Москву. Но война тому помешала.

В дальнейшем судьба семьи Корьюс сложилась очень печально. Ниша вышла замуж, но неудачно и скоро умерла. Тамара вышла замуж и уехала в Ленинград. Я с ней встречалась. Во время блокады Ленинграда Тамара и мать Милицы погибли.

Аня, с которой у меня никогда связи не было, по слухам, вышла замуж и ведет обычную серенькую жизнь...

Однако ж на этом мои воспоминания о кинокартине «Большой вальс» не закончились. Мне предстояла еще одна встреча с фильмом, совсем уж неожиданная.

Я был в Югославии в дни юбилейных торжеств, посвященных освобождению Боснии от фашистских оккупантов, и в столице ее Сараеве ехал однажды на машине с друзьями к горе Игман. Что-то знакомое «зацепило» мой глаз. Присмотрелся внимательней: аллея с ровню и высоко вознесшимися деревьями, дорожка меж них, по дорожке катит очень знакомая кибитка со знакомой лошадыо и давно знакомым извозчиком. Я и сказал моим спутникам, что нечто подобное видел в одном знаменитом фильме. А они мне в ответ: ничего, мол, удивительного — знаменитые кадры той знаменитой картины снимались здесь, в Сараеве, на этой самой аллее, и с тех пор кибитка из «Большого вальса» катается и катается взад-вперед по аллее, и кто хочет посидеть и прокатиться под звуки вальса в кибитке Карлы Доннер и ее возлюбленного Йоганна Штрауса — плати денежку.

«Я хочу! Я хочу!» — заорал я во всю глотку и, бросив горсть мелочи в руку старенького и приветливо улыбающегося извозчика, взобрался на сиденье кибитки. Скопление туристской братии, грохот и вой музыки, шум машин на шоссе, идущем параллельно прогулочной дороге, современный содом и суета мешали мне отдаться блаженной картине — услышать поскрипывание рессор, стук лошадиных копыт, пение птиц, шум воды, шелест листьев над головой и рождение вальса.

Кибитка доехала до подножия горы Игман, повернула обратно, но не возникла музыка. Давняя картина засло-

пилась ближними впечатлениями, встречами, рассказами о войне, речами на митингах, посвященных освобождению многострадальной земли — горной Боснии, где погиб в войну каждый четвертый житель.

Поздним вечером перед сном я пришел на аллею Штрауса и Карлы Дошпер. Движение на дороге замерло, унялись туристы, лишь где-то вдалеке стойко звучал транзистор, мелькал радужный свет водопада под горою, и туда, мимо брызжущего света, мимо взвигченной, на цирк похожей туристской жизни удалялась одинокая кибитка, и на облучке ее едва различимо маячила фигурка одинокого старенького извозчика.

Глаза мои провожали кибитку до тех пор, пока она не скрылась в совсем уж темном, ночью накрытом подгорье. И пока кибитка, словно в тихом, бережно хранимом сне уплывала в такую покойную, такую манящую вечную даль, в вознесении, на горе и за горой Игман, в небе, у самых звезд, пронзая время, пространства, тяготы жизни, обманутые надежды, горести и утраты, звучала музыка, звучал вальс любви, кружа меня в волнах светлого света, еще не погасшего в усталой душе.

ПОСТСКРИПТУМ

Среди многих постыдных поступков, которые я совершил в жизни, более всех памятен мне один. В детдоме в коридоре висел репродуктор, и однажды в нем раздался голос, ни на чей не похожий, чем-то меня — скорее всего как раз непохожестью — раздражавший.

«Ха, блимба! Орет как жеребец!» — сказал я и выдернул вилку репродуктора из розетки. Голос певички оборвался. Ребяты сочувственно отнеслась к моему поступку, поскольку был я в детстве самым певучим и читающим человеком.

...Много лет спустя в Эссентуках, в просторном летнем зале, слушал я симфонический концерт. Все повидавшие и пережившие на своем веку музыканты крымского оркестра со славной, на муравьишку похожей, молоденькой дирижершей Зинаидой Тыкач терпеливо растолковывали публике, что и почему они будут играть, когда, кем и по какому случаю то или иное музыкальное произведение было написано. Делали они это вроде как бы с

извинениями за свое вторжение в такую перепасыщенную духовными ценностями жизнь граждан, лечащихся и просто так жирующих на курорте, и концерт пачали с лихой увертюры Штрауса, чтоб подготовить переутомленных культурой слушателей ко второму, более серьезному отделению.

Но и сказочный Штраус, и огневой Брамс, и кокетливый Оффенбах не помогли — уже с середины первого отделения концерта слушатели, набившиеся в зал на музыкальное мероприятие только потому, что оно бесплатное, пачали покидать зал. Да кабы просто так они его покидали, молча, осторожно — нет, с возмущениями, выкриками, бранью покидали, будто обманули их в лучших вожделениях и мечтах.

Стулья в концертном зале старые, венские, с круглыми деревянными сиденьями, сколоченные порядно, и каждый гражданин, поднявшись с места, считал своим долгом возмущенно хлопнуть сиденьем.

Я сидел, ужавшись в себя, слушал, как надрываются музыканты, чтоб заглушить шум и ругань в зале, и мне хотелось за всех за нас попросить прощения у милой дирижерши в черпешком фраке, у оркестрантов, так трудно и упорно зарабатывающих свой честный, бедный хлеб, извиниться за всех нас и рассказать, как я в детстве...

Но жизнь — не письмо, в ней постскриптума не бывает. Что из того, что певица, которую я оскорбил когда-то словом, имя ей — великая Надежда Обухова, — стала моей самой любимой певицей, что я «исправился» и не раз плакал, слушая ее.

Она-то, певица, уж шикогда не услышит моего раскаяния, не сможет простить меня. Зато, уже пожилой и седой, я содрогаюсь от каждого хлопка и бряка стула в концертном зале. Меня бьет по морде матерщина в тот момент, когда музыканты изо всех сил, возможностей и таланта своего пытаются передать страдания рано отстрадавшего близоручого юноши в беззащитных кругленьких очках.

Он в своей предсмертной симфонии, неоконченной песне своего изболелого сердца, более уже века протягивает руки в зал и с мольбой взывает: «Люди, помогите мне! Помогите!.. Ну если мне помочь не можете, хотя бы себе помогите!..»

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ

Мне в детстве повезло. Очень повезло. Литературе обучал меня странный и умный человек. Странный потому, что вел он уроки с нарушением всех педагогических методик и инструкций. Начал он с того, что положил перед собою карманные часы и заставил нас читать вслух из «Хрестоматии».

Каждый ученик читал минуту, и через минуту следовал приговор:

— Истукан! До пятого класса дошел, а читать не умеешь!

— Ничего. Для второго класса годен.

— На каком языке говоришь? На русском? Это тебе кажется...

— Что ты читаешь? «Богатыри Невы»? «Богатыри — не вы!» Значит, не ты, не вон тот, что в носу ковыряет и палец скоро сломит... Ясно? Ни черта не ясно! Чтобы Лермонтова понять — любить его надо. Любить, как мать, как родину. Сильнее жизни любить. Как любил учитель из Пензенской губернии...

И он рассказал.

Узнавши о гибели Лермонтова, учитель из глухого пензенского села в одну ночь написал стихотворение «На смерть поэта», а сам пошел после этого и повесился.

Позднее я прочитал у Цвейга об авторе «Марсельезы», о гении, вспыхнувшем и погасшем в одну ночь, и вспомнил урок литературы, сердитого нашего учителя и последние слова стихотворения безымянного поэта:

В ту ночь свирепо буря бушевала,
Ревела на высотах Машука.
Казалось, что Россия отпевала
Поручика Тенгинского полка.

Так я и не знаю, был или не был учитель в Пензенской губернии, из потрясения и горя которого вылилось единственное стихотворение. Но Лермонтова с тех пор люблю, как мать, как родину. Больше жизни люблю...

ДЕД И ВНУЧКА

На другом уроке литературы мы проходили Некрасова, и наш учитель, к этой поре окончательно сломивший

сопротивление буйного класса пятого «Б», в полной и благоговейной тишине рассказывал:

— Одна девочка зубрила стихотворение «Железная дорога». Помните: «Труд этот, Ваня, был страшно громаден, не по плечу одному. В мире есть царь, этот царь беспощадеи — голод назваше ему»? Изумительно! — Учитель повернулся к окну, снял очки, проморгался и махнул рукой: — Ни черта вы не помните! Так вот, в то время, когда учила девочка стихотворение, на печке лежал древний дед. Слушал он, слушал да свесился с печи и спрашивает: «Что это ты, внучка, бормочешь и бормочешь? Деду спать не даешь!» — «Стихотворение учу, дедушка, — ответила внучка, — стихотворение поэта Некрасова...» — «А-а! — махнул рукой дед. — Поразвелось этих поэтов! Ни складу у них, ни ладу. Вот ране поэты были, так поэты. Я неграмотный, а наизусть стих какого-то поэта знаю: «Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели, только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она».

Много разных историй говорил нам учитель. Про Некрасова, может быть, он выдумал, а может, и вычитал где. Но я помню все так, как рассказывал учитель, и если эта притча известна, пусть простят меня за повторение. Однако, думается мне, такие истории нынче напоминать почаще надобно.

ДУДА

Я сидел на берегу травянистой реки, в залуках и по тихим протокам разукрашенной белыми лилиями, улыбающимися яркому новому утру и своим соседкам — тугим, на воде пупом завязанным кувшинкам.

Утренний клев давно прошел. Удочку лениво трясли ерши да мелкота, подвалившая к берегу. Солнце было уже над лесом, за пустышной заречной деревней. Река блестела и шевелилась меж шелестящими хвощами, беспрестанно махая кому-то гривкой сизых метелок.

Начало пригревать. Обсохла роса по лугам. Едва ощутимо парили пески и галечные мысы, с почти зябко влажные. Тальники по берегам, однотонно-серые от мокроты, все явственней проступали по бровкам берегов, отделяясь свежим, зеленым цветом и от гулевой воды и от не-

подвижных лугов, отгорающих летним цветом. Лишь ромашки светились в логах с открытой доверчивостью, да колокольцы, стыдливо склонившись к земле, тихо позванивали кому-то назревшими молоточками семян; оттесненные к лесу сивец, мята, валериана, подморешник, шалфей и всякий дудочник цвели в тени все еще свежо; меж ними сине: почти обугленно темнели могильные соцветья фиолетового лугового чебреца.

Надвигался сенокос. Инвалид за рекой уже сделал первые, поперек угора лежащие прокосы — он всегда раньше всех пачипал здесь сенокос и всегда позже всех кончал его; деревяшка у него вместо правой ноги, детей хотя и четверо, но помощники из них никакие — то шибко грамотны и по этой причине склонны к чистой, конторской работе, то еще малые или прикидывались малыми.

Я видел на склоне болотистого косогора глубоко вдавленные в болотину дыры — это инвалид метал сено, шел к стогу с павильником, резко выдергивая вязнущую деревяшку. Баба его, плоская спереду и сзади, прижимая павильники, зло их бросала под ноги и притаптывала. С вызовом кричала она мне, бредущему с корзиной по ольховой бровке сенокоса: «Посмотри, посмотри, городской человек, как нам молочко-то дешево достается!..»

А оно всегда и все в крестьянстве так вот нелегко доставалось и достается. Хлеб лишь у дармоедов легок.

Глядя в заречье, исполосованное свежими, пробными прокосами, я вроде бы так вот, с открытыми глазами, и задремал; все вокруг слыша, ощущая и вроде бы даже и видя явственно. Но это были отраженный слух, отраженное зрение и отраженные ощущения, запечатлевшие явь, существующую во мне и передо мной.

Я не умею спать на ходу, стоя и сидя, — у меня ноги подламываются во сне. На фронте от этого я сильно мучился. А вот мой товарищ-фронтовик, так тот наторел спать на ходу, он только в сторону все поровил уйти, и потому я его держал под руку, как барышню; на привале либо на остановках он давал мне за это поспать лишние минуты, выполняя за меня и мою работу.

И вот — старость ли, брешность ли так называемых минувших лет долят к земле — прикемарил я, сидя на берегу реки, и начал отдаляться от себя и от всего, что было вокруг. И совсем уж свалило бы меня спом и упал бы я с бревна, на котором сидел, по какой-то древний

звук, извлеченный из древнего музыкального инструмента, не давал мне вовсе погрузиться в сон. «Что за звук? Откуда?» — угадывал я последним отблеском сознания и не мог отгадать. Звук раздражал меня. Мне хотелось отмахнуться от него и слушать тоже хотелось — этот звук погружал меня во что-то еще более глубокое, чем сон, такое знакомое, сердцу близкое, родное. Я силился достать памятью, постигнуть этот звук, я потянулся к нему и, шатнувшись, упал с бревна...

Какое-то время я ничего не видел и ничего понять не мог, меня слепило солнцем, отблесками быстрой воды.

Но вот я увидел, узнал, встрепнулся.

По ту сторону реки, впаяв деревяшку в прибрежный ил, стоял знакомый мне заречный инвалид и широко улыбался, открыв искуренные редкие зубы, улыбался моей озадаченности, моему недоумению. А рядом с ним мальчик в белых лаптях, в белых опучах, в рубашке с поясом — этакий юный Лель из русской складной сказки — играл на повеьком березовом рожке.

— Петрович, дуда! — кричал мне инвалид, показывая на мальчика. — Дуда! Я сам изладил! Петрович, проснись!..

Но мне не хотелось просыпаться. Проснувшись, я увижу заросшее бурьяном и кустарником поле, по-за ним пустую деревушку, которую, резвясь, пожгли отдыхавшие здесь прошлым летом пионеры. Они до этого не видели, как горит человеческое жильё. Все видели: спутник, транзистор, телевизор, даже как человек по Лупе ходит — видели, но живого пожара не видели, вот и подожгли пустую избу — из любопытства. Ветром подхватило пламя и смахнуло половину пустого села. Дети-пионеры не знали, что крестьяне в ветер даже печей не топили, боясь пожаров. Да что им, нашим многоразвитым деткам, чьи-то жилища — это все им чужое. Чужого не жалко.

Мужик-инвалид давно переселился на центральную усадьбу колхоза, но покоса старого все еще не бросал и картошки сажал возле старой избы, в своей старой родимой деревне.

Не один год, не один стог сена чернел среди покоса. «Обошелся. Прошлогодними сенами обошелся. А этот стог пушшай стоит. Дожди пойдут, сена не поставишь — все сгодится».

Картошки инвалид закапывает на зиму в сосновом бору, в песочную ямку. Как-то пришел весною и предла-

гает картошек — пропадают, мол. И я понял: не столь уж пужда, сколь тоска по родному углу тянет его сюда, в родное село.

А заделе крестьянин всегда пойдет.

Вот дуду изладил, лапти сыпу сплел, мать онучки из холста отбелила, рубашечку сшила — нарядили родители парня перазумного под старину, и он, в угоду им, играет на дуде, благо пионеры в джинсах да с транзисторами еще не приехали и стесняться некого.

Это, значит, инвалид с женою прибрались во дворе, пропололи огород, потяпали картошку, пробовали косить, но трава на покосе еще не «подошла» — вот легкой работой они и наслаждаются, отдыхают в родном углу.

Звучит дуда грусаво, придавленно, даже и не звучит, а блеет в неумелых мальчишеских руках, — но все ладнее, все чище звуки ее, и сквозь захлестнутые мокром ресницы я вижу на другом берегу реки как бы раздавленную веками, знакомую мне до боли страну под названием «Русь» и слышу древнюю, все еще не угасшую в моем сердце песнь моей прекрасной и далекой Родины.

ГОРОД ГЕНИЕВ

Каких только неожиданностей не приприсит почта. Вот из зачуханного города Чусового Пермской области, стоящего на одной из красивейших рек Европы, воспетой Маминим-Сибиряком и ныне погубленной до смерти, из города, откуда родом моя богоданная жена, из города, где прошли наши послевоенные молодые годы и выросли дети, пришли необыкновенно острые и интересные заметки вместе с рисунком мною когда-то построенной избушки. Первого послевоенного жилья — только у моей избушки не было ни верандочки, ни сенок: не из чего было их изладить, их пристроил следующий хозяин, был он плотник и столяр.

А город Чусовой всегда отличался не только склонностью к пьянству, дракам, поножовщине, но и потребностью в созидательном труде на предприятиях металлургии, столь загазованных и вредных, что никакой безыдейный необразованный капиталистический труженик не стал бы на них работать, разнес бы впрах заводы и канцелярии заводские, а наши рабочие вкальвают да еще и раду-

ются тому, что заводы не закрылись, и есть возможность заработать па них па кусок хлеба.

Этот городок с крупной узловой станцией, стоящей среди великолепной природы при впадении в реку Чусовую двух красавиц-сестер, рек Вильвы и Усьвы, где когда-то водилась рыба в изобилии и можно было пить из них воду, всегда отличало какое-то старомодное чувство бескорыстности, дружества и преданности друг к другу — попавшего в беду па реке, в тайге человека здесь никто и никогда не бросал, сосед соседа почитал, здесь я впервые услышал местную поговорку: «не живи сусеками, а живи с соседями».

...И еще этот город отличала непобедимая тяга к чтению и сочинительству, из него, этого городишка, вышло 10 членов СП, из чего я сделал вывод, что советский писатель лучше всего заводится в саже, в копоти и дыму...

И всегда в этот город заезжали (или судьбой их заносило) интересные люди, чудики, непризнанные гении, и вились тут если и не тучей, то кружились выводки графоманов, музыкантов и изобретателей. Завелся здесь даже человек, предложивший реформу музыкального образования, подвергнув сомнению мировую музыкальную грамоту и всякую гармонию, считая, что семь нот в музыкальной системе мало. Слишком устарелая и малодоступная система. Сделав новый музыкальный инструмент всего из нескольких клавиш, он изобрел и изобразил общедоступные знаки записи музыки, пытаясь добиться того, чтобы музыка, как арифметика, была бы доступна всякому ребенку, любому смертному землянину. Изобретая новую музсистему, человек этот предложил попутно и новую живопись, сам обучился прекрасно писать маслом, акварелью, цветными опилками па стекле, па стали. Замахивался и па всю пашу систему образования, предложил преподавать бесплатно физику и философию, в итоге обучившись, опять же попутно, прекрасно играть на рояле, сочинять музыку. Он пробовал учиться сразу в двух университетах Москвы, но заболел туберкулезом, и его отправили домой умирать. Но он своей же методой сам себя и вылечил, ходил по городу раздетый и босиком зимой и летом, покорив экстравагантным видом и поведением самую красивую деваху в городе, так что стали они ходить по городу босиком уже парюю...

Но это уж было слишком даже для такого к дарованиям терпеливого города. Гения, как водится па Руси, объ-

явили сумасшедшим и отправили в Пермь. Родители жены его едва выхватили из чудовищных лап гения чуть не погубленную дочь. Город вздохнул освобожденно. Родители же гения, простые рабочие, плакали, считая, что на младшего сына напущена порча, и скоро умерли с горя, а неистовый кипящий ум чусовлянина переметнулся на космос и многое там постиг.

А еще в детской техстанции Чусового, где зимами собирались рыбаки, охотники и шахматисты на «токовище», умельцами был сделан электромзыкальный инструмент задолго до тех, под которые сейчас в дыму и пламени мечутся хрипящие бесы. Инструмент тот свезли на ВДНХ, на какую-то выставку и присвоили. Здесь могли подковать не только блоху, но и лошадь, починить любой мотор, инструмент. У меня до сих пор хранятся самодельные блесна и ящичек под них — произведения искусства! Городу Чусовому исполнилось уже 60 лет, и в нем все еще дополна водится гениев.

ТЫ ПОД КАКОЙ ЗВЕЗДОЙ БЫЛА?

Однажды очень несчастный человек и поэт, угнетенный бедностью, замученный бедами, читал мне восторженные стихи о женщине, которая его отметила, поняла и полюбила.

Ты под какой звездой была?
Ты по какой земле ходила?

Взмахивая единственной уцелевшей в боях войны рукою, читал поэт, и слезы душили его, а под конец стихотворения неудержимо хлынули из васильковых глаз, которые не знали, что такое хитрость, обман, коварство...

Через какое-то время, на каком-то концерте он подвел ко мне неряшливо одетую молодую женщину с искусственным лицом, со ссохшимися губами, с удаленным куда-то взглядом и благоговейно прошептал «Это она!..»

Она уже побывала в психиатричке, от нее прятался муж с дочкою. Малограмотная, похотливая, она еще избражала из себя экстрасенса, говорила что-то о линиях судьбы, о небесных волнах и непознанных силах, о том, кому и как помогала она и помогла, и что баба московс-

кая, занимающаяся тем же делом, — никакой не экстра-сенс, настоящая она халтурщица и говно. Вот она обладает тайной! К ней предметы льнут!..

Она говорила, а поэт, открыв рот, смотрел на нее, и лицо его сияло, светились небесным светом глаза, и в них загорались и осыпались звезды.

Вот под какой звездой была женщина, но ей не дано было понять и почувствовать этого. Да и зачем? Она пришла в бедную, тяжкую жизнь человека, озарила ее, наполнила восторженным светом слово поэта — разве этого мало?

...На коленях подгулявшего художника, поднявшего бокал с вином, сидит полуголая девка с веселыми ляжками, с хмельным и пустым водянистым взглядом. Круглое лицо, чувственные губы, приветливый взгляд, обращенный в пространство, и более ничего. Но она сидит на коленях человека, познавшего бедность, утраты, нищету, несчастье и горе, которого хватило бы на целую роту, и нет ей дела до его бед, до прошлого и будущего. Он и она веселы, пьют вино, сидят вольно, но не развязно, и все забыто, все отдалено от них.

Пройдут столетия, бури и революции сотрясут землю, и человечество, люди покорят земные и небесные пространства, придумают искусственное осеменение и водородную бомбу, умрут тысячи и тысячи знатных дам, крутивших судьбами царей, королей и государств, и не оставят по себе ни худой, ни доброй памяти. А молодая аппетитная девка с хмельным приветливым лицом, пробудившая в художнике радость жизни, воскресившая его яростную плоть, значит, и жажду творчества, омоложившая его тело, дух, кровь, обострившая взгляд, чувства, пагубу ревности, сожжение всего вещего вокруг, — эта женщина, девочка ли, осталась на веки вечные с нами, и художник, протягивая прозрачный бокал к нам, требует, зовет, умоляет выпить за ее здоровье да и просто выпить за то, что они были и есть и им очень хорошо вместе.

Так пусть и нам вместе с ними будет весело и хорошо. А под какой звездой она была, из какой земли явилась — это не наше дело, нам этого и не надо узнавать. Ясно, что с небес, ясно, что из тех пространств, где обитает лишь дух добра, веселья, братства, где горит негасимая лампада любви, этого вечно обновляющегося чувства, которое только и приносит истинное счастье человеку, не дает ему опуститься до животного и порой поднимает в запредель-

ные высоты на легких белых крыльях, которые дано почувствовать, а кое-кому даже ощутить их за своими усталыми и сдутыми от житейских тягот плечами.

ПОСЛЕДНИЙ ТРАГИК РОССИИ

Так мой знакомый называет Великого русского артиста Николая Константиновича Симонова. Он снимал его в среднепьемом кинофильме «Где-то есть сын» по мотивам тоже среднепьемой повести Дмитрия Холендро.

Николай Константинович не только охотно снимался в этой картине, но и являл собой пример скромности, учтивости, товарищеского участия, на съемочной площадке сидел в стороне, под палящим крымским солнцем, терпеливо ждал, когда его пригласят на работу. Ни режиссеру, ни младшим братьям по работе мэтр нашего театра и экрана не сделал ни одного замечания, не позволил ни одного каприза, лишь, если как старший, более опытный, что-то подсказывал молодым, то, смущаясь, потирая руки, говорил: «Извините, мне кажется, это сделать вот таким образом...», или: «Я бы вам советовал произносить эти слова помягче...», па что однажды молодая актриса — этакое бойкое дарование из новой плеяды, отшила Николая Константиновича следующим образом: «Я ВГИК кончила! И Вы еще будете мне указывать!..». После этого Симонув никому уже ничего не подсказывал, а режиссер вышиб из съемочной группы это юное дарование, окончившее ВГИК.

Я видел Николая Константиновича в городе Чусовом, задолго до встречи с кипорежиссером и до всех тех давних событий. Было это в ту невероятную пору, когда во все русские, в том числе и захолустные города наезжали столичные кино- и театральные знаменитости, ансамбли, хоры, капеллы, чтецы, юмористы, танцоры, даже футбольные команды из высшей лиги, и однажды местная команда «Металлург» чуть было не разгромила мое любимое московское «Торпедо», поведя в счете уже в первом тайме четыре — ноль, но после перерыва взяли за дело Ворошиц, Маношиц, Ленев, и матч завершился со счетом четыре — четыре. В соседний же город Лысьву явившееся почти дублирующим составом киевское «Динамо» и вовсе проиграло с разницей в два мяча.

Вот такие времена были на дворе.

И вот в богоспасаемый город Чусовой явился Николай Константинович Симонов. Не веря глазам своим, я несколько раз прочитал скромную рекламу на черном от копоти деревянном заборе: да тот ли самый с «Петра Первого» всем известный и любимый артист выступает в клубе металлургов. Клубишко этот деревянный с покатою, почти опрокинутой сценой, с покатым полом, доживал свой век. Пахло в нем не металлом, хотя город весь металлом запесен, хомутами пахло, прелыми хомутами и еще лаптями лыковыми пахло, хотя в лаптях здесь уже давно никто не ходил. Именно в этом клубе произошел случай, который сделался историческим анекдотом, свидетельствующим о том, как пропизано было наше передовое общество единым коллективным сознанием. Выступал в клубе металлургов какой-то цыганский ансамбль, цыгане в нем были сплошь картавы и больше смахивали на евреев, кавказцев, молдаван и еще на какие-то чернявые и смуглые нации.

Тишина в клубе, благоговение — и вдруг вопль: «Помотай! Помотай, говорю, гад!..» — Включили свет и зрят: сверху мочится пьяный директор клуба, перепутавший балкон с галлюном, и попадает мощной струей на голову одного и того же трудящегося. Вот трудящийся, жаждущий справедливости, орет, чтобы и другим братьям по классу попало.

Вот в этом-то полусгнившем клубе выступать знаменитому артисту! Господи, помилуй, пошто же это он, сердечный, согласился-то? Ну, может, выйдет, поговорит маленько, остальной же концерт поведут его спутники, товарищи его по искусству.

«Все равно пойдем, — решили мы с женой, — хоть на живого Симонова поглядим».

Легкой походкой, стройный, изящный, в сталисто-сером костюме, с вольно расстегнутым воротом рубашки, улыбаясь такой знакомой по «Петру Первому» широкодушной улыбкой вышел артист на сцену и низко-низко поклонился народу, по-русски коснувшись рукой земли, этой же рукой коснулся лица с крупными, по-мужицки выразительными, былинными чертами, которые, однако, не стирали с лица того утопченного благородства, которое дается не отборным питанием, но хорошим воспитанием, чаще — самовоспитанием, отмеченным умом, которым еще надобно умело и пользоваться.

Он работал на сцене почти три часа, и я был потрясен на всю жизнь умением его владеть аудиторией, слушателем, сольясь воедино с этой самой что ни на есть простецкой-распростецкой рабочей публикой, не фамильярничая, не подделываясь под нас, не угождая ей и, тем более, не потрафляя дурным вкусам. Пребывая на сцене вроде бы отдаленно, он все время был с нами, проникнув в наши души, доверчиво и преданно ему открытые. Когда он резковатым голосом с хрипотцой, наполненным мощью страстного дыхания, прочитал монолог Петра, чувовская публика какое-то время сидела обмерши и не вдруг заплодировала.

Я понял, что Великому таланту дано умение не только самому перевоплощаться, но и преобразовать нас, зрителей, народ наш, доверчивый слову и мольбе о добре и счастье доступном, только вот отстрашили нас от милостивого Божьего слова, вместо проповедника и гения сатану подсушили, и она или оно с обликом сатаны крикливое, полуграмотное существо под названием пропагандист засоряло нам мозги шлаком и мусором новых идей, нового передового, визгливого искусства.

В ту пору я работал в местной городской газетке и написал заметку о прошедшем в клубе металлургов концерте Великого артиста. Ныне, собираясь писать о Симонове, я попросил прислать мне ксерокопию с того давнего материала и убедился в том, что опус мой достоин того времени и газеты, в которой он был напечатан, — жалкие слова, провинциальный лепет о таинстве, о волшебстве слова и вдохновенной работе гениального человека, которому совершенно было наплевать, где он выступает: в клубе ли, пахнущем хомутами, или в посредственном фильме — он не умел жить и работать недостойно того дарования, которым наградил его Создатель, и в даровании том первое место занимали почтительность и уважение к человеку, которому он служил, дарил всего себя без остатка, будь тот человек из достославного Петербурга или из закопченного уральского городишка Чусового, давно забытого Богом и до боли любимой нашей советской властью.

Я живу в провинции, по духу своему провинциал и оттого смотрю телевизор много и внимательно. Мельтешит и мельтешит на нем пробойный люд от искусства, часто эксплуатирующий лишь свои природные данные. Вот уехал один дурак за море, дурака у нас изображавший, и там дураков играет, русских дураков, только оде-

тых в американский пиджак. Не успел этот дурак нас покинуть, тут же замельтешил другой, и тут же стал любимцем публики. Дураков мы всегда любили и жалели больше, чем умных. Вовсе не выходит из «окна» в преисподнюю один верткий артист, режиссер и общественный деятель, от хлопот и забот вовсе облысевший, оседлал телевизор, как рысака. Два деятеля из ближнего зарубежья, из Грузии и Узбекистана, научившиеся бапальности выдавать за поваторство, и одна, якобы все время давимая, гоимая режиссерша все вынимает и вынимает из-под прилавка киношедевры, которые народ наш не понимает и не смотрит, дамочка с детским личиком подделывалась под детсадовку, удостоилась телетраспекции. Все, все, маломальски произносящие чего-то, через голову кувыркающиеся, с намазанными румянами щеками, искажая русские слова, чего-то говорят смешное, храбро выкрикивают под гитару иль музыкальный ящик что-то критическое — про власти и порядки наши. Кто спорит, может, все это и пужно? И люди на экране иногда появляются достойные, с умными мыслями...

Но, люди добрые, почему же не уступите вы место, не отодвинете, не уберете острые локти, чтобы пропустить на экран, а значит, и к нам великих людей недавнего прошлого?!

Я уверен, что все современные артисты, когда речь пойдет о Симонове Николае Копстаггиновиче, освободят от себя экран. Иль вы боитесь, что они, наши любимцы, вас затмят? Но вот же то же телевидение начало разбавлять бесовство современных шаманов искусства классической музыкой — и ничего: одно другому не мешает... Так покажите же хоть раз все фильмы и спектакли с участием последнего трагика России. Помогите нашему преображению!

РАЗДУМЬЯ В НЕБЕ

Домой, домой! Становится на душе спокойней. В Германии одиночество ощущается почему-то острее, чем еще где-либо.

Поднялись с огромного ультрасовременного аэродрома Франкфурта-на-Майне — непривычная картина: над городом смог, пожиже, чем над уральскими городами, но

все же разреженная туча плавает над громадами причудливых современных строений, с вызовом выпирающих из россыпи домов и усадеб.

В этом городе живет и работает русский человек, по духу, по сердцу, по перу. Я знал его прежде. Он был тих, но внутренне напряжен, потом — вызывающе зол. Уехал. Точнее, его «уехали». Редактирует журнал. Говорит: «Сделаю из него «Новый мир» Твардовского».

Ох-хо-хо — Твардовский среди родного языка и пусть затурканного, несчастного, по своему парода творил и журнал делал. У него «чужие» только направители сверху, по тут вокруг — все чужое, пусть и сытое, богатое, по чужое. Невольно думаешь, как тут копится, прибавляется дешь по дно бессильная, слепая злоба от тоски по Родине, неизбывной, жгучей, необъяснимой, по-русски болезненной тоски.

А быть здесь, во Франкфурте, похоронену? Боже мой! От одного этого сознания запить можно...

Бог с тобой, русский человек. Мы не властны в своей судьбе. Я не хулю тебя и не презираю, и ты не хули меня и не презирай. Остайся русским. Это трудно. Очень трудно. Но это дает хоть какую-то веру в будущее, хоть какое-то укрепление мысли от сознания принадлежности к своему пароду, к забедованной нашей земле.

Не знаю, радоваться или печалиться тем, что нынешним молодым межедомкам нашим все равно где жить — у них утрачено чувство дома родного. Но мы-то всегда были большы этим и нам не отболеть за всех, по пострадать возможно, а страдать Россия всегда любила, до тех пор, правда, пока эти страдания, как пыне в России, совсем уж не вспемятся через край, не угнетут душу до нестерпимости, не пригнут человека до земли.

Живи с миром в душе на чужой стороне, русский человек, не дай почерпеть и обуглиться своему сердцу. Я в чем-то виноват перед тобой, и вина эта летит со мной по облачному небу.

А во Франкфурте ясное солнце, пахнет весной, как на Руси в апреле. Но у нас пока середина зимы и до тепла, до солнца еще далеко. Однако нам не привыкать терпеть и ждать.

Бог поможет дожждаться нам ясной, доброй погоды, на Него и уповаем ныне, более не на кого и не на что уповать и надеяться.

Вчера сторел «Челленджер». Я вошел в номер гости-

пицы, ткнул в клавишу телевизора — на экране взлетает и загорается космический корабль. Думал, реклама фантастического фильма, но крики людей были натуральны, и я, бывший фронтовик, вздрогнул, насторожился, сердце во мне сжалось от худого предчувствия.

Через полчаса по телевизору выступал космонавт Мессершмитт, сын того самого конструктора, истребитель которого гвоздил и поливал нас пулями на фронте с воздуха. Говорит нынешний Мессершмитт веско, убедительно, мол, открытие новых земель и морей, освоение Америки — требовало столько жертв, а тут — мироздание, бесконечность и то ли еще будет...

Немцы сегодня везде читают о гибели американских космонавтов. Степенно пьют, неторопливо жуют и читают. Молча, обыденно, со спокойными лицами, и не узнаешь — жалко им космонавтов или нет. У наших все на мордах написано: жалеют угнетенных негров и голодных эфиопов, страдают за вьетнамцев и американских космонавтов, тебя, русский человек на чужой стороне, — жалеют, так истово русские люди всех жалеют, что себя пожалеть им времени не остается.

Не будь чужестранцем, не сделайся равнодушным и сытым, жалея и ты всех людей на свете, и тогда не озлобишься, не заблудишься во тьме души своей. Это я, кажется, повторяю уже Христову заповедь на свой доморощенный лад. Значит, надо закругляться.

А самолет летит, гудит миролюбиво, в дрему посылает, и чем ближе до нашей русской, тревожной и несчастной земли, тем на сердце спокойней.

До встречи на родной земле!

МУЛЬТАТУЛИ

В далеком-далеком детстве, на далеком-далеком Севере, в длинненькие заполярные ночи, читал я книги, какие мне посылала судьба, какие я мог достать, выпросить и даже украсть. Какими судьбами, откуда попала мне книга из серии «Жизнь замечательных людей» — о голландском писателе Эдварде Деккере, по прозвищу Мультатули, что значит в переводе с малазийского — мученик, а с латинского — «много пережил», по-нашему выходит почти Максим Горький, сейчас не вспомню. По трудности, загогулистости и прихотливости судьбы Эдвард Дауэс Деккер

может сравниться разве что с одним еще писателем — Мигелем Сааведрой Сервантесом, но о том столько написано, что уж кажется и сообщить более печего.

Об Эдварде Деккере я нигде и ничего более не читал и не слышал, книги той более не встречал, и, когда однажды заикнулся о ней на предмет переиздания во все той же библиотеке, продолжаемой издательством «Молодая гвардия», ответом мне было неопределенное молчание и пожимание плечами: и здесь никто не слышал о Мультатули.

И стало мне казаться, что приспилось мне все, что касается Эдварда Деккера, или я сам и его, и судьбу его придумал невзначай...

А годы шли, жизнь перевалила за середину, и сам я в чем-то повторял судьбу Мультатули, сделался литератором, и отчего-то обратило на меня внимание голландское издательство «Мехелен», принадлежащее Мартину Ашеру. Пробно напечатал «Царь-рыбу» и быстро ее распродав, издатель закатил второе, совсем уж роскошное издание этой книги и сказал переводчику, что он все, мною сочиненное, отыскал и предложил для перевода, коли сам не справится. И «Мехелен» выпустило почти все мои сочинения, можно сказать, предложив голландским читателям целое собрание изящно напечатанных книг.

Однажды издатель решил пригласить меня в гости, в Голландию, и сделал это не через Союз писателей, где была мода вместо приглашенных писателей ездить в гости секретарям, консультантам и вообще «своим людям». Приглашение он послал в контору по защите авторских прав, где меня и спарядили в путь-дорогу, даже гульденов дали, не своих, конечно, а мною же заработанных и на мое имя за книги переведенных. И хотя гонорар был весь оципан и обрезан родным государством и верными его слугами, я все равно чувствовал себя если не богатым, то хотя бы относительно независимым человеком.

В Голландии, в Амстердаме меня хорошо встретили и разместили в небольшом уютненьком отеле Амбассад, давши ключ от подъезда, где размещалось несколько номеров, в том числе и мой, но никакой бумаги, никаких программ мне не вручили, и я, привыкший жить по указке и согласно плану, на котором указано: когда спать ложиться, когда вставать, когда завтракать, обедать, какие и где мероприятия проводить, — несколько даже растерялся от

такой воли и, пикем и ничем «не охваченный», почувствовал себя почти неуютно.

В номере моем, состоящем из прихожей, кабинета и спальни, имелся небольшой бар-холодильник. Я заглянул в него: он был набит от низу доверху бутылками и бутылочками, банками и баночками, с пивом, соками, водкой, коньяками, напитками да еще парядными кошельками с соленым миндалем, сухим картофелем и еще чем-то. Я выпул банку пива, подумал, и пузырек с коньяком достал, пиво поставил к батарееке — греться — не могу ничего студеного потреблять, коньяку пабулькал в хрустальный стаканчик, отхлебнул и почувствовал, как он неторопливо катится по нутру, хорошо его согревает и бодрит.

В это время раздался веселый стук в дверь и в прихожую вошли трое: долговязый молодой парень в сером крапчатом пальто и длинно распущенном шарфе, голоухий, во весь простодушный рот улыбающийся. С ним человек поплотнее, с фотоаппаратом, кожаной сумкой, выдавшей вида, и девушка с обличьем, чем-то сразу же в ней выдававшим русского человека. Пока длинный парень обнимал меня и что-то весело говорил, радостно хлопал по плечу, человек с сумкой представился — фотограф-журналист. Девушка назвалась вроде бы Ритой и сказала, что будет вместо переводчика, станет меня сопровождать, когда у нее окажется свободное время, — об этом ее любезно попросил господин Ашер, который сейчас очень занят, извиняется, но потом все мне покажет, расскажет и даже развлечет маленько.

Я предложил гостям коньяку, они, не церемонясь, выпили по глоточку, и долговязый парень, вежливо поклонившись, удалился, оставив меня в распоряжении гостя и гостьи. И только вышел парень, я пощупал себя за лоб:

— Ашер? Ашер? Да это уж не мой ли издатель?

— Ну, конечно. Я же вам его представила...

Это был второй мой прокол насчет издателей — вот так же, приехав в Японию по приглашению издательства «Гундзеса», я совершенно не обратил внимания в аэропорту на скромно одетого, все время учтиво в сторону отодвигающегося, совсем уж небольшого ростика японца, застенчиво и приветливо всем улыбающегося, головой согласно кивающего. В автобусе уже, едуци в Токио, спросил я, где же издатель-то, меня пригласивший, не явился, что ли?

— Да вот он, рядом с вами. Икамура-сан его имя.

Привыкли мы к породистому, везде впереди шагающему, шумно, братски улыбающемуся, громко выражающему общественное мнение начальству. А эти вот проклятые капиталисты маскируются, что ли, — в толпу войдут — и от народа не отличишь.

Человек с фотоаппаратом маленько помучал меня вопросами и сказал, что завтра еще придут, из журнала и из газеты — отказывать в Голландии не принято, здесь давать интервью считается делом почетным, да и издательству «Мехелен» какая-никакая реклама, господин Ашер просил потерпеть ради дела.

Переводчица тем временем заказала по телефону в ресторане легкую закуску, бутылку пресной воды — для меня, сказав, что из крахов пить в Амстердаме не принято, и между делом рассказала, что вышла замуж за голландца, учившегося в России, что сейчас сама учится в университете, но муж, пока учился в Москве, пристрастился пить и, наверное, придется возвращаться домой.

Они ушли, пообещав завтра вплотную заняться мной после завтрака, который накрывается внизу в буфете, ключ от подъезда портье сдавать не нужно, но во время завтрака надо его положить на стол и официант запишет мой номер, а офис господина Ашера за все потом переведет деньги.

— Если пойдете гулять, будьте внимательны, от отеля не удаляйтесь — здесь все каналы одинаковы...

Я долго смотрел в окно на канал, подле которого среди многих маленьких отелей, магазинчиков и кафе располагалось и мое уютное пристанище, несколько уже прокуренное моими гостями. По каналу туда-сюда двигались застекленные, низко осевшие суденышки с туристами, от суденышек ловко увертывались утки, поднявшись на лапах, радостно махали крыльями вслед суденышку и смело качались на поднятой маленькой машиной некрутой волне, шлепко бьющейся о гранитные стены канала. Скоро утки забрались на довольно уже ими загаженные лодки, причаленные к стене. Одна лодка затопилась кормой, и уткам особенно уютно дремалось на закругленном носу этой посуды.

По ту сторону канала виднелась витрина магазинчика с кишжалами, саблями, пожиками и тонкоствольными винтовками. Рядом, нависнув над улицей, погрудно вырезанный из дерева, глазел на канал и на пешеходов непод-

вижными выпуклыми глазами солдат в российском зеленом мундире, над кафе свстилось — «Петр Великий». Герр Питер, как я потом убедился, был здесь в довольно большом почете.

Я прилег на постель, заправленную знаменитым голландским бельем, и убедился, что белье в самом деле очень хорошее, пробовал подремать, но что-то не дремалось мне и делалось все более одиноко в этом чужом нешумном городе.

Захлопнув дверь номера, еще раз пощупав себя за карман — не забыл ли ключи и деньги, я спустился вниз, постоял возле канала, к парапету которого плотно, одна к другой были припаркованы легковые машины, в основном бедорогие и не очень ухоженные. Еще полюбовался на уток, мирно и тесно рассеившихся по лодкам. Но всем им места для посадки не хватало, многие птицы уютно дремали на воде, спрятав головы под крыло.

Я пошел вдоль канала, постоял на крутом, игрушечно выглядящем мостике, любуясь негромкой и неброской, но изящно выполненной рекламой, переливчато и радужно отражающейся в стоячей воде канала, и замер, оглянувшись на отель, на императорского солдата, нависшего над дверью кафе, под которым в старинном жестяном фонаре горела лампочка, излаженная наподобие свечи. Обошел канал с обратной стороны; облокотясь на перила еще одного освещенного мостика, поплевал в воду и двинулся дальше, веруя, что так близко от столь приметного отеля и кафе я не заблужусь, забыв о том, что в лесу я всегда ориентировался лучше, чем в городе. Но Рита сказала мне, что если заблужусь, ничего страшного нет, были бы деньги — садись в такси, называй имя Рембрандта — и тебя мигом доставят домой, потому как отель «Рембрандт» располагается рядом с моим пристанищем.

Добро! Ладно! «Будь смелым, будь храбрым, отважным в бою, за землю родную сражайся, и помни про дом, про невесту свою, с победою к ней возвращайся», — вспомнил я лирическую песню боевой юности и, махнув на все рукой, побрел по вечернему городу и скоро понял, что удаляюсь от центра города: машин все меньше и меньше, каналов все больше, и перелетных птиц на них — что сору на наших российских реках; каналы видоизменились, теряя геометрическую форму, то длиннее, то короче становясь и закругляясь, понижались в берегах, бетонных и каменных парапетов совсем почти не осталось. Я думал,

что каналы вылились в какую-то реку, над которой уже неочесанной гучкой темнели кустарники и над ними стерегущей стеной плотно стояли серебристые тополя, вязы, клены и всякие другие деревья, вдоль воды желтыми полосами светились камыши с растрепанными в лоскутье шишками.

И чем далее я углублялся в дебри города, тем причудливей, тем ажурней становились мостики через каналы, большей частью уже отделенные от улиц, неосвещенные или освещенные совсем скупю. Так вот перейдя один мостик, кружевным литьем перекинутый замостьем далее, чем другие мостики, я заметил меж квадратно посаженных кленов чуть освещенную, листьями присыпанную, сиротливую скульптуру, прошел уже было ее, как вдруг что-то заставило меня замедлить шаги, остановиться, затем и вернуться.

Скульптура была откована из меди в виде кленового листа и вся уже озеленела под лист летнего налива, покрылась купоросной плесенью, по стокам и завалам совсем отемпелой. Кто-то, скорес всего садовник или дворник, обмел скульптуру мягкой, просяной или тростниковой метлою — на медном пояске, в который острием листа упиралась скульптура, читалось отчетливо: «МУЛЬТАТУЛИ».

Более никаких здесь сведений об Эдварде Деккере не содержалось, ни столбиков, ни табличек, ни загороди, ни велеречивых слов, даже скамеек никаких не было, только мостик да недвижимый канал с пестро в нем плавающей листвою, да белые чайки и утки, спящие на воде.

«И правильно! — думал я, — зачем национальному герою или родному дитю писать паспортные данные на могиле — его и так должны знать, любить и помнить...»

Я долго всматривался в оплывший зеленую памятник. Неяркое освещение, пападавшие листья усиливали мотив одиночества этого человека-скитальца, как бы укрывшегося в тень и гущу деревьев от людей и городского шума. Благородные черты усталого, испитого лица с темными от зелени, почти уже почерневшими глазами, притемненные усы и узкая, клинышком борода придавали скульптуре вид древней, покорной молчаливости, но сквозь наслоения окиси, сквозь толщу листьев на плечах и на голове блестящими просверкивала яркая медь, мокро блестело слово «МУЛЬТАТУЛИ», как бессмертное дыхание неугасающего, хоть и умолкшего времени.

«МУЛЬТАТУЛИ», — как сказано в энциклопедическом словаре, показавший правдиво в своих романах, в повелках и сказках угнетение коренного населения в голландских колониях, обличавший преступления капиталистов и колонизаторов, призывавший к свержению власти и угнетателей, разделявший муки с миром и людьми, был нестираемым напоминанием о том, что все благополучие, покой и сытость этой страны оплачены и его жизнью, его мученической судьбой, тяжким трудом, и если страданий Мультатули не хватило для того, чтобы избавить всех людей в мире от несчастий, то пусть на его место придут более сильные, более отважные, самоотверженные и спасут этот мир, помогут всем людям жить счастливее. Благодарное человечество поставит им более величественные памятники на самых освещенных площадях, на шумных улицах. Его же место здесь, на берегу заросшего канала, возле родного мостика, с любовью отлитого и установленно его земляками.

Первый же попавшийся таксист посадил меня в ухоженную, скоростную машину, на слово «Рембрандт» кивнул головой и помчал к огням во многолюдье, мимо гуляющих толп, мелькающей рекламы, мимо увеселительных кварталов, мимо полураздетых девиц, кукольно маячащих в высоких окнах с сиреневыми занавесями, вымученно улыбающихся, призывно кивающих головами. Я понял, что еду не туда, но не говорил об этом водителю, пока он не остановился и не сказал: «Рембрандт!» — я понял, что центральная площадь Амстердама названа именем Рембрандта — а как же ей иначе и называться? — сказал: «Момент!» — выскочил к ближайшему ларечку, купил шкалик коньяку и, показывая изящной посудинкой вперед, добавил: — Отель «Рембрандт».

Шофер сердито всадил скорость, что-то забормотал, и я без переводчика понял: чего и голову-то морочить? Нужен отель «Рембрандт», так и называй отель «Рембрандт», а то катается... Я показал ему два пальца и он успокоился — за двойную плату пожалуйста, он готов хоть к отелю, хоть к черту на кулички кого угодно отвезти.

Я скovyрнул покрывшечку шкалика, отпил глоток коньяку, обратившись к шоферу:

— За Мультатули, Царство ему Небесное и память пресветлая.— Шофер посмотрел на меня подозрительно — он не понимал, о чем бормочет иностранец.— Эдвард Деккер. Мультатули! Понимаешь?

Назавтра я спросил у журналиста, у русской переводчицы, наконец, у своего издателя о Мультиатули, об Эдварде Деккере — замечательном путешественнике и писателе — никто ничего не знал и не слышал о человеке редчайшей судьбы и даже о памятнике ему, найденном мною почью в глубинах старого Амстердама, никто ничего внятно сказать не мог.

В последующие дни мне предстояло открыть маленькую, ухоженную страну, погруженную в сытое равнодушные ко всему, что не касалось домашнего очага, семейного благополучия, своего кормного корыта, в том числе и истории своей.

АВЕ МАРИЯ

Поет, страдая. А если б не было на земле страдания? Что стало бы с художником, певцом, сочинителем, композитором, да и просто с человеком? Страдание, ставши массовой болезнью, опростится, сделается привычным недугом, примет, да уже и принимает неожиданные формы, многие люди на земле ныне охотно страдают чужим страданием, как своим.

Но певец, небесами посланный, Богом нам дарованный, поет мою душу и моей душою. А я чем страдаю? Его страданием? Нет, страдать небесно, возвышенно я не научился, но сострадать, слава Богу, дорос...

Страдание — высшее проявление человеческой души, материя, раскаленная до последнего градуса — еще искорка, еще зга, еще чуть-чуть огня — и душа испепелится, сердце разорвет в клочья загадочная, страшная и страшная сила. Песню же человек перенял у ветра, у птицы, у шумной волны.

Но мы привыкли думать: у певца и художника силы от небес, от высочайшего света, и страдание певца «не такое», как у нас, оно «красивше», оно целительно, свято, оно не земное и потому бессмертное.

В районную больницу, прямо от горячей домны привезли обожженного горювого. Больно ему было и жутко, как всякому попавшему в беду, израненному человеку. Он глушил боль в себе, терпел и по русской, по крестьянской еще привычке, извинялся, что вот грязен, закопчен, все «простыни и салфетки испатрал»...

«У нас работа тоже грязная», — сказал хирург, успокаивая больного.

«Что вы, доктор, у вас и грязь-то белая», — возразил горновой.

И страдание художника «белое», возвышенное. Отчего же тогда гениальные певцы и художники всех времен падали и падают в ранней поре? Рафаэль, Моцарт, Лермонтов, Пушкин — нет им числа, земным гениям, сгорают и сгорают они на ими же возженном огне.

Создатель «Аве Марии» покинул сей неласковый к нему мир, едва перевалив за тридцать. Он с детства работал, не замечая времени, творил, задохнувшись губительным даром. В угаре вдохновения, в ладанном чаду истекающей жизни успел еще встретить ту единственную, что была назначена ему судьбой, но соединиться с любимой ему не позволили. Сердце его, вздрогнувшее от счастья, покружилось парящим листом, упало на клавиши инструмента и растворилось в музыке, в том чистом молении об утраченной любви, которое смиряет страсти, утешает в сердце все, что мучало и мучает его и нас. В последней, неоконченной симфонии звучит вечная печаль расставания, вечная мечта о несбыточной любви, которую все мы ощущаем каким-то вторым сознанием или неразгаданным еще чувством и стремимся, вечно стремимся дотронуться до небес, где и сокрыто все самое недостижимое, все самое пресветлое, то, что зовется печалью, горькой сладостью, которой вознаградил нас Создатель.

Певец ближе к небесам, к великой очищающей тайне. Плененные высотой его полета, мы пытаемся вознестись вместе с ним, дотронуться до сияющих звезд, ощутить гибельное сияние, готовы сгореть вместе с ним, трепеща от прикосновения к ослепляюще-вечному, к тому, что всегда звало, манило, увлекало нас.

Благословен будь тяжкий и прекрасный труд певца! Благословен будь тот миг, когда, растворенный в пространстве, сам еще будучи частицей небесного пространства, капелькой света, дождейкой ли, мчащейся в облаке, семечком ли дикого цветка, отблеском луны, летящим над землей, ломким ли лучом солнца, он ощутил земной зов, откликнулся на него.

Слава Творцу за то еще, что Своего вестника послал Он к нам, чтобы возвысить нас, утешить нас, все далее и далее уводя от животного. Не его вина, что, забыв о заветах Творца, о гласе его вещем, мы сами, по дикой воле

своей, по необузданной злобе, устремляемся к животному, мычим вместо того, чтобы петь, молиться, славить Господа за дарованное счастье жизни.

Иногда нам, благодарно внимающим певцу, кажется, что где-то, когда-то мы слышали и сами пели многое из того, что умиляет и потрясает нас в музыке. Может, там, где мы задуманы и сотворены до появления на свет, все общее: и страдание, и печаль, и звук, и слово, все слышат всех, все понимают всех, отмаливают сообща все наши грехи? Может, и я думал песней, звучал на ветру вместе со всеми будущими братьями, еще не ощущая их, песясь вместе с ними каплей дождя, белой снежинкой, диким семечком, проблеском света над землею?

Что за вечный зов в груди человека? Что за томление памяти? Почему так хочется отгадать неведомую тайну? Волшебство беспредельно сияющего света обратить в материальную пылинку? Стереть с лица жизни таинственный знак? Сдернуть певца с небес в нашу обыденность, погасить всевечную молитву о воскресении нашем.

О чем же плачем мы, слушая «Аве Марию»? О себе? О тех, кто никогда еще не слышал и не услышит эту дивную молитву во славу рождения Сына Божия? Может, оттого, что жить по заветам Божиим, быть честным и чистым очень трудно, так много нынче желающих смахнуть с небес избранного Богом Сына Божия? Вот и орут глухие для глухих, топает по земле стадо. Рев одичавшего исчадья, потерявшего себя и свой стыд.

Но истинный певец, посланец неба — все с нами, все парит и парит над землей, ангельские крыла его все белы, все чисты, несмотря на смрад масскультуры, на дым, на пыль, на копоть, поднятую самоубийцами, коих природа обделила не только голосом, но и умом.

Но уже не повторить песни Шуберта, не дотянуться до высших чувств создателя «Аве Марии». Познавший человеческую муку, он все убивается в тоске по рано угасшей жизни, по незавершенному делу, по несбывшейся любви, убивается, плачет и стонет о нас, грешных. Живи создатель «Аве Марии» сто лет, он бы сто лет и страдал, и чем далее, тем пронзительней страдал бы, убавляя горя в мире, беря его на себя, поднимая дух людей до своего духа, до прозрения, до своей мечты о прекрасном.

Верую, если бы люди не замучивали, не убивали своих гениев, мы были бы так высоки, что злобе нас было бы не достать.

«Аве Мария» — кто вдохнул эти звуки, эти слова в человека?! Если это дар небес, то пусть небеса и станут для творца тем местом, тем раем, о котором он мечтал на земле. И пусть единственной наградой за труды и муки земные будет ему та единственная, которой он достоин, все такая же юная, чистая, какую он знал на земле, какую любил он и воспел, превратившись в божество, пусть протянет ему руки у голубых небесных врат и пусть уведет его в простраство, лишь для них двоих наполненное песмолкаемой песней любви, уведет туда, где рай, где ждут их покой и свобода, где сокрыта тайна, всегда влекущая человека, туда, туда, где все вечно. Звучит молитва о прощении, о любви, и горит, все горит негасимой свечою «Аве Мария».

АФГАНЕЦ У НОГ ПРЕЗИДЕНТА

Среди депутатов Союза ССР был депутат, избранный от «афганцев», стало быть, от комитета ветеранов войны в Афганистане. Был он без одной руки, молодежавый, изможденный, очень застенчивый парень — более я о нем ничего сказать не могу, более ничего не знаю.

...Шел многолюдный прием в советском посольстве в честь прибытия двух делегаций в Америку — делегации Верховного Совета, вторую назовем покороче, если получится — миротворческой, направляющейся в Питсбург, на многолюдное и представительное говорильное действо и задержавшейся на два дня в Вашингтоне.

Я припоздал на прием в посольстве — был на встрече в каком-то университете, и в делегации нашей оказался депутат Паша — тезка «афганца». Когда Паша-депутат говорил — другим делать нечего. Переговорить его мог разве что Юрий Черниченко или депутатша одна, борец за правое дело. Но Черниченко с нами не было, депутатша же — в делегации Верховного Совета — говорила на другом приеме, и так говорила, что никому больше слова вставить в беседу не удавалось, да и незачем его было вставлять — она всегда говорила за всех и обо всем, исперывала тему до дна.

Пришли мы, значит, на прием, а там уж пир горой, гул, как на стадионе имени товарища Хрущева, когда там встречались в старые, дружбой овеванные времена, киев-

ское «Динамо» и московский «Спартак». Гул, значит, в посольстве и дым, как на всех модных приемах, коромыслом. Какие-то крепко поддавшие дамочки в декольте, с жемчугами и вообще в чем-то блестящем на тугих грудях, с красными от помады сигаретами громко говорили про политику, литературу и балет. Их снисходительно слушали подвыпившие, скорее, притворяющиеся подвыпившими и пешпионами работники посольства и руководители делегаций. Одна дама с совсем уж выразительно обнаженным бюстом, схватив за галстук зам. министра иностранных дел, упиралась настойчивыми выпуклостями в представительную грудь дипломата, горячо его в чем-то убеждала. Опытный, хорошо воспитанный, сдержанный на слова и выпивку дипломат, страдая и мучаясь, слушал дамочку, которая хотела немедленно высказать все сокровенное, наболевшее, грудь ее дроченую истерзавшее. При этом она все время поровила облить собеседника вином из фужера. Но выдавший виды дипломат и не от таких бойцов отбивался: только дама наклонит фужер, чтобы вылить содержимое на бордовый галстук, как он поймает ее руку и выправит рюмку в вертикальное положение. Дама, глянув на руку дипломата, затем на свою, в кольцах, браслетах, схватившись за жемчужное ожерелье, чего-то хочет понять, а поняв, вернувшись на землю, шлепает размазанным ртом: «Извините!» И, отхлебнув из рюмки, снова громит империализм:

— Но эта стервова Тэчир. Но этот сука Кисинжир!..

— А-а, Виктор Петрович! — будто ближайшего родственника увидев, вскричал дипломат и подхватил меня под руку. Я удивился такой его братской приветливости — мы лишь в пути познакомились.

— Где побывали? Чего повидали? — спросил он, хитро потирая руки. Я хотел сердито сообщить, что приехал в Америку не Пашу-депутата слушать несколько часов подряд, он мне еще в «эссэсэре» надоел, не слезая с трибуны съезда, как казак с боевого коня. Но сообщение сие совсем было не надобно дипломату. Он все так же хитровато потирал руки:

— Вы вовремя подоспели! Выручили! — и опасливо оглянулся на воинственную даму — не преследует ли? Дама в жемчугах разряжала политический заряд уже в другого, тоже солидного представителя нашей страны, кивающего головой и беспомощно оглядывающегося по сторонам. Спасенный мною дипломат, как человек дели-

катный, при всех переворотах и ветрах не колеблющийся, твердо стоявший на ногах, пыле воп представляет Россию аж в Организации Объединенных Наций — так вот, человек он не только деликатный, но и благодарный, просто так уйти в толпу не мог, узнав, что из-за неудержимого борца за нашу отечественную экономику остался я непитым и неетым, подвел меня ко глубокому корыту, сделанному из хрусталя, в глубинах которого, в корытцах поменьше и продолговатей виднелась полуразобранная, полурастерзанная еда, розочки, изготовленные из моркови, свеклы, редиса, листьев зеленых салатов и съедобных трав — цветочки помяты, раздавлены, однако и добра еще много оставалось. Там и сям из разноцветных, бело вспененных водоворотов сплавными сваями торчали тупые концы обжаренных сосисок, поздрясто дышали котлеты, может, бифштексы, рыба в крошечке моркови, и салаты, салаты из крабов, креветок, овощей.

Вина уже не разносили на подносах, как это бывает в начале приема, осмелевшие гости паливали всяк себе, держа бутылку, как застреленную птицу, за горло; кое-кто и пил по-иностранному, из горла.

Махнув рукой на корыто, более плоское, с синими цветами, изготовленное уже из фарфора, где грудились фрукты, ананасы, бананы, я нашел тарелку, вилку, нож и рюмку самостоятельно, принялся накладывать себе еду. Никто на меня, слава Богу, не обращал внимания. Дипломат, исполнив свой долг, вежливо удалился. Паша-депутат уже чокался с кем-то, гляжу — в рюмочке-то у него светленькая. Когда и успел?! Ну, ловкий парень! Я направился к Паше-депутату и, поскольку он своим красноречием истомил меня в университете, бесцеремонно его перебил.

— А-а! — воззрился на меня Паша-депутат близорукими глазами сквозь толстые стекла очков. — Это вы, Виктор Петрович? Чего вы хотите?

— Водки!

— Там, там, Виктор Петрович, в другой комнате.

И тут же Паша-депутат забыл обо мне, снова заговорил, заработал мозолистым языком. Тарелки у него в руке не было, из рюмки он не пригублял — голодом бился за прогресс, за политику и, судя по телевидению, по газетам, до се не выдохся, все бьется и бьется.

Водку я таки нашел, в богатой комнате, где в полутьме сдержанно беседовал с кем-то из представителей нашей делегации совершенно трезвый посол. Один мой свеже-

знакомый захотел непременно меня представить послу и представил. Заметив в моей руке тарелку с нетронутой едой, посол после трех-четырех дежурных фраз насчет моих впечатлений об Америке кивнул головой в сторону перламутрового стола с зажженными на нем свечами, сказал, что там есть все, чего душе угодно, даже водка.

«Умный какой человек!», — похвалил я посла и, пробившись к столу, подле и вокруг которого толклось многовато уже пьяненького народа, взял чуть испитую бутылку «Столичной».

— Мне сам посол разрешил.

Никто на мою шутку и на уносимую поллитровку не обратил внимания. Все гости говорили про все, и один громче другого.

Теперь мне предстояло самое важное: найти место, где можно было бы пристроиться поесть. Стоя я есть могу с грехом пополам, хотя и рожаю еду на галстук и пиджак, но чтобы есть и одновременно пить — это уже выше моего умения. Хожу, причалу ищу в огромном зале, где дым от курева набрал такую плотность, что его можно было резать, как студень. Говор, смех, кое-где занимающиеся песни — весь этот бедлам был бы уже в зависть и одесскому базару. Ходил я, ходил по залу, на полу склизко от упавшей еды и пролитого вина, всюду грязные тарелки, недопитые фужеры и рюмки. Зал с зеркалами, люстрами, картинами, скульптурами напоминал уже копошню, и в ней всюду чего-то доказывали друг другу потные люди, словно блатные в Игарке тридцатых годов из Нового города тырились на блатных из Старого города...

«Пропадешь тут нежрамши!» — подумал я. И только я так подумал, глядь, возле Вашингтона или Авраама Линкольна, в пищу вставленного, лепится пародный депутат, однорукий «афганец», и невозмутимо потребляет пищу. Тарелка его стоит у ног мраморного президента, здесь же рюмочка синего немецкого стекла с вишишком, здесь же груша, виноград и апельсин на другой тарелке. И все это по одну сторону ног президента, а по другую-то свободно.

— Я с тобой, неустрашимый наш воин! — воскликнул я и, чокнувшись с «афганцем», выпил, съел сосиску, хорохористо добавив:

— Мы, бывалые солдаты, пигде не пропадем!

На что воин-«афганец» согласно кивнул головой. Он и дальше ничего не говорил, все смотрел, смотрел издали на человеческое коловращение, слушал гул большого зала,

лицо его от вина зарумянилось, но в глазах стояла осевшая в глубь тоскливая мгла.

А по залу, запруженному народом, бегал с рюмочкой в руке воитель за демократическое переустройство страны, за экономическое и политическое усовершенствование и обновление ее, со всеми он чокался, как друг и брат, всем чего-то говорил, сверкая очками. Народу в непродыхаемом зале приемов посольства все прибавлялось, прибавлялось. Слух дошел — еще одна делегация из Союза прилетела, как потом оказалось, та самая делегация Верховного Совета СССР. Она уже отгостевала на каком-то важном приеме и торопилась в посольство, стараясь ничего не прозевать, почетно охватить все поильно-кормильные говорильные мероприятия.

Появились молчаливые люди в черном, укатили одни хрустальные корыта с растерзанной, смешанной пищей, убрали пустые бутылки, подмели пол щетками на длинных ручках и тут же вкатили чинно снаряженные, празднично сверкающие корыта с новой, не менее нарядной закусью, выставили кокетливо крашенные тележки с повязывающими на них бутылками.

И, словно по сигналу, тут же возникла многолюдная делегация Верховного Совета. Громко говорящая, стремительная, умелая, опытная делегация по-хозяйски взлетела по мраморной лестнице в зал приемов. Впереди всех, о чем-то разгоряченно споря, следовал депутат от рабочего класса, довольно молодой мужик с непримиримым взглядом и яростным лицом, — большой борец за переустройство и честь России, готовый в любую минуту переломать ребра несогласным с ним. Обгоняя его, спешила, култыхая сдобными грудями вечной блудницы, не менее яростная борчиха за честь, за возрождение и процветание не только России, но и всего мира, в чем-то горячо убеждая, как ей казалось, на английском языке деликатно ее за локоток поддерживающего иностранца. Я увидел, как пуливо попятился за колонну и стриганул в глубь зала уже истерзанный зам. министра иностранных дел, боясь, видимо, попасть в руки этого унтера в юбке. Конопатое лицо пропырливой крестьянки пролетарского происхождения, ворующей яйца из-под чужих куриц и огурцы с общественного огорода, приставлено к могучим сапкам выдающегося ирландского боксера, блудливые глазки желтоватого цвета и кошачьего разреза перебежали с одного мужика на другого, профессионально их отстреливая. Под-

нявшись по лестнице, она тут же бросила спутника-иностранца, вскрикнув, воздела руки к потолку и заключила в объятия какого-то лысеющего члена нашей делегации.

Обпившаяся, обкурившаяся, не переставая охотничьи-м, промысловым взглядом оценивать и обдирать шкуры с публики, это существо, которое еще в пионерах начало со всеми и за все бороться, во всем активно участвовать, все за всех говорить, набрало такой разгон, что не остановить — самое ей подходящее место в стране трепачей и пустобрехов. И за перламутровым главным столом, конечно же, она водрузилась не колеблясь рядом с усталым посланцем. Там, в Союзе, в зале съезда, куда меня тоже как депутата занесли черти, раздавались стоны, уличная брань и хохот, когда эта бессменная ораторша снова и снова, порой никого не спрашивая, прорывалась на трибуну или к микрофону, презрительно бросая оробевшему спикеру Лукьянову: «Слово не просят, слово берут!» — и что-то непреклонное, поучительное вышлепывала красно-размазанным, лягушачьим ртом.

За посольским столом неутомимая заступница за всех бедных и угнетенных братски перецеловала всех мужиков, перетискала их, избидала горячей большевистской грудью и взметнула вверх наполненную рюмку. Паша-депутат услужливо и громко стучал вилкой по полупустой бутылке с водкой, требуя внимания для приветственной речи невиданного трибуна, этой доморощенной Душки-активистки.

Боже милостивый! Даже за океаном не спрячешься от наших борцов за правое дело — везде достанут, начнут воспитывать. А уж дома-то, дома-то они так всем надоели, что почамы ведь спят в виде рогатых блеющих козлов.

Напарник мой по трапезе, печальный «афганец», насытился, меланхолично ковырял зубочисткой во рту, без интереса наблюдая за все более густеющей, все громче гудящей толпой гостей, кое-где уж начинающей братание. Я тоже насытился, потяжелел от вина, спать мне захотелось. И предложил я собрату по советской армии идти домой, благо гостиница наша была неподалеку от посольства. Солдат солдата всегда поймет. «Афганец» молча мне кивнул, мы спустились вниз, получили в гардеробе куртки и вышли на улицу.

Над Вашингтоном простерлась темная американская почва с единными для всех земель и народов звездами, но

только здесь они были крупнее грузинских мандаринов, с алжирские, пожалуй что, апельсины они величиной были, которыми нас потчевали в посольстве. Такие к нам, в российскую провинцию, и не привозят. А воздух, воздух после жаркой, липкой тесноты прокуренного зала был так прохладен, так свеж, что грудь встрепенулась, сердце обрадовалось, и, казалось мне, никогда моему сердцу так легко и сладко не дышалось.

И все время, пока мы шли до гостиницы, пытался я воссоединить двух человек, двух народных слуг — однорукого «афганца», вкушавшего в ногах президента, и выдающуюся депутатку, затесавшуюся за посольский стол. Она хорошо бы вписалась в бурные российские «мероприятия» тридцатых годов, в президиумы того времени, в тройки, в комиссарские продотряды, и кожанка на ней сидела бы ладней, чем цветастое платье. Словом, ничего у меня не получалось — дети одной земли, одного государства никак не соединялись, не смотрелись вместе, хотя и вынуждены были заседать в одном помещении, вкушать бесплатные яства в одном зале.

ТЕТРАДЬ СЕДЬМАЯ



РУКОЮ
СОГРЕТЫЙ
ХЛЕБ



РУКОЮ СОГРЕТЫЙ ХЛЕБ

Глухим зимним метельным утром в окопы доставили мерзлые буханки хлеба. Нож не брал хлеб, топора с собою не было, а есть бойцам хотелось нестерпимо.

Тогда кто-то из находчивых бойцов бросил кирпичи хлеба на дно траншеи и разбил их короткими очередями из автомата.

Бойцы подходили, молча собирали раздробленные куски хлеба и со злой жадностью хрустели ими.

Меня постоянно мучила ангина в окопах, и к месту, где расстреливали булки, я подошел последним, набрал крошек и стал греть их в ладони. Крошки раскисли в кулаке, слиплись в комок, и когда я поднес мякиш ко рту и взял его на язык, он уже мало походил на хлеб и пах тротилом, землей, мочою, потом и еще чем-то. Но я валял мякиш во рту и с болью проталкивал кислую жижуху в себя — дело привычное, горло болело у меня еще до фронта, а здесь я мучился все зимы насквозь.

Доевши мякиш, я еще глотал сытую слюну, делая спазмы горячим, как бы только что олуженным горлом. Вдруг чую, кто-то шарит в темноте по телефону, возле которого я дежурил, по рукаву шинели шарит и всовывает в руку согретый хлеб. Всунул, отодвинулся в глубь блиндажа и затих.

Я ел и по лицу моему катились слезы, от боли в горле, от жалости к себе и еще от чего-то, тогда мне совсем непонятного.

Шла зима сорок четвертого, было холодно и тоскли-

во — это я помню, а вот место и лицо человека, отделившего мне хлеба от своего фронтového пайка, запомнить не удалось.

БРИТОВКА

В Корсунь-Шевченковском музее славы, как его пышно называют привыкшие все пышно называть деятели нашей культуры, забитом как кунсткамера всевозможным военным барахлом, утомленное мое внимание остановили бритвы, поднятые на местах боев и найденные в окопах.

Перво-наперво своим не просто убогим, но даже каким-то жалким кустарным видом. Проржавелое лезвие, покрытое двумя пластмассовыми пластиночками, скрепленными двумя почерневшими заклепками.

Я не знал, что на фронте выдавали бритвы, пусть и с этой нищенской облицовкой из еще несовершенной пластмассы. Быть может, не знал оттого, что еще нечего было брить на лице, быть может, бритвы те выдавали еще в кадровой армии до войны. В пору освободительных боев на Украине их, скорее всего, выдавали штабникам и политотдельцам, чтобы хорошо, грациозно они выглядели и девицам нравились на ошастливленной земле.

Чаще всего у старших наших солдат, пусть и реденько, бритвы велись еще из дому прихваченные или где-то, по пути, купленные, на мыло выменянные. Работы у тех бритовок, как ласково именовали сии изделия солдаты, было в окопах много, и почтительность к ним была особенная.

Запомнилась мне на всю жизнь одна такая трудовая бритовка...

Мчался я со связистской катушкой по полю, увязая по щиколотку в грязи, — из-за холма ударил пулемет. Я упал за ближний холмик, и тут же меня обрызнуло грязью от ударивших пуль, забросало клочьями серой материи и сине-черного мяса, — оказывается, я прятался за трупом. Мне хотелось стереть вонючие брызги с лица и губ, но я даже плюнуть не решался, чтобы не выдать себя. Усыпляя бдительность немецкого пулеметчика, я не шевелился. Очередь — раз-другой дернуло на спине, звякнуло пулями об катушку, пулеметчик увидел, что попал, и унялся. Я

еще полежал чуток, поизучал местность, составляя план, куда и как мне бежать дальше, где запасть в случае чего, и на славянина, еще не совсем оттаявшего, не вовсе доглевшего, не шибко еще пахнущего, глазел.

Солдат был убит зимою на чистом снегу, весной оказался в пашенной грязи и в плесени. Рот и провалившиеся глазницы его были залиты жидкой грязью, лицо засветило солнцем, и оно подернулось купоросно-синим, скорее даже ядовитым зеленым налетом. Мертвого солдатика пошмапали мирные советские граждане, может, и свои собратья по окопам — водился за ними такой грех, с большой охотой обдирали они вражеские трупы, не брезговали и своими.

Одна нога убитого была разута, из грязи торчали кривые пальцы. Переда ботинок были сотворены из кожеми-та, подошвы из рыхлой резины, верха из клееного брезента — они дюжили в великом походе неделю, от силы — две. На большее, видать, и не рассчитывалась боевая жизнь солдата. Судя по бугоркам, лежало тут наших многовато, особенно густо бугрилась земля ближе к пологой высоте, где рос ломаный кустарник и бурьян. В том выгоревшем бурьяне, уронив хобот, стоял в глубоком раздумьи танк с опаленным крестом на щеке башни, и более никаких заметных предметов поблизости не было. Одни полу-вросшие в грязь трупы.

Через денек-другой совсем хорошо пригреет и трупы зашевелиятся — под жалкой солдатской одежкой начнут работать черви — эти вечные и неутомимые санитары земли. Потом местные бабы во главе с каким-нибудь престарелым дядьком-инвалидом выедут с конными граблями и соскребут туда вон к сорной меже, к сторевшему танку с этого поля в воронки от взрывов остатки трупов, прикопают тряпье и кости, очистят пашню для посева, травой затынет могильные холмики, в бурьяне и в кустах упрячет их земля.

Взять у этого солдатика печего было, снять с него можно разве что шипеленку. Наступление захлебнулось в середине зимы, зимнее обмундирование выдавалось в начале ноября, к великому празднику революции. Солдатик успел повоевать, пообноситься, но все же карманы его галифе были вывернуты, нагрудный самодельный кармашек с мясом оторван, вмят в грязь рюкзак с оторванной веревочкой, в нем виднелись какие-то тряпочки, бумажки, серая алюминиевая ложка. Я тронул ногой рюкзачок,

и под закинутой его кромкой обнаружили бритвенные принадлежности — похожая на ресницу кисточка, вделанная в виштовочный сплюснутый патрон, обмылочек тонкий-тошкый розовел сквозь вышитый посовой платочек и бритовка, бережно завернутая в ту же тряпицу. Я подгрел грязным ботинком тряпицу, развернул ее, привел бритовку в «рабочее состояние».

Да-а-вняя, может быть, еще с той, германской войны привезена была бритва из стали, воистину нержавеющей. Заграничная ручка спосилась давно, и этот парень, но скорее всего отец или дед его приладили самодельную ручку к бритве из талового прута. Может, в степи жили люди, и никакого леса вокруг не росло, может, считали, что таловый мягкий черенок не растрескается от шурупов, накрепко в него ввинченных, с обратной стороны расклепанных, надровое разрубленных, на два конца отогнутых.

Лезвие бритвы, напоминающее нарождающийся месяц, сточено почти до ободка. Под ребрышком ободка еще угадывались половинки букв, черточки какие-то и значок, напоминающий снежинку. Вещь эта знатно послужила людям, пообиходила молодых и старых, живых и мертвых, может, целую деревню или улицу старинного городка в праздничном виде держала, бравости и молодости людям добавляла.

Какая вещь заслуженная! Отдать бы, передать ее кому-то. Но кому?

Пулемет, уложивший меня за буторок, забурбонил, что косач на току, хлестнул по другому месту, вспузырил грязь в поле. Во время заделья я все время неусыпно следил, ждал этого момента и стриганул, раскидывая тяжелыми ботинками комья грязи на стороны, тут же забыв и про убитого солдата, про все предметы, с помощью которых отвлекался, отгонял страх и коротал время.

Когда свалился в окопчик и прополз в осевший блиндажик к связисту, которого надо было сменить, обнаружил бритву убитого солдата зажатой в руке. Осмотрев бритовку, связист вздохнул, замахнулся выбросить ее, но я приостановил его, мол, будут поле пахать селяне, станут немецкий блиндажик разбирать, может, найдут бритовку, пригодится, может, еще кому нужный инструмент.

Связист подумал, подумал, завернул бритовку и засунул под дощатое перекрытие, над самым лазом в блиндажик, да еще и срез на доске сделал, крестик ножом нацертил, чтобы заметно было.

КОРОТКИЙ ПРИВАЛ

По пути на передовую линию остановился на коротком походном привале пехотный взвод. Новое обмундирование, испытанные лица, недавняя кормежка по третьей порции в запасном полку отличали солдат из пополнения от усталых, сплошь старых видом и одеждой, битых фронтовиков.

Как докатились команды о привале до взвода, так сразу же все бывалые солдаты рассредоточились по опушке леса, спиной и головами к деревьям, и без намеренной цели, по одной лишь привычке,— ближе к выкопанным и кем-то покинутым щелям. Не теряя ни минуты, закурили старики и задремали вполглаза.

Молодняк же рассеялся на ветерке, по горбине кювета, распоясал ремни и хотя тоже устал в переходе, перешучивался, где и похохатывал.

Вдруг низко над лесом прошли, словно выпрыгнули из сосен, два наших истребителя, вытряхнув из себя и рассыпав по опушке грохот, шум и свист.

— Воздух! — закричал долгошей солдат из пополнения, и дремавшие под соснами пехотинцы, побросав мешки, котелки и лопатки, попадали кто в кюветы, кто в щели, кто в раскорячье деревьев — что поближе.

Грохот и гул самолетов, ударившись в стену леса, разошелся в обе стороны, его растащило по лесу и заглушило зеленой глубиной. Из кювета поднялся сержант с тремя медалями на обмахрившихся лепточках, в наспех зашитой на коленях амуниции, вымазанной пылью, охлопывая себя на ходу, подошел, спросил:

— Кто горланил?

— Я! — беспечно, с некоторым даже вызовом отозвался долгошей солдат, этакий завзятый вольнонаемный острослов и заводила какого-нибудь десятого «б» класса. Он и теперь задиристым петушком смотрел на сержанта и, не глядя по сторонам, видел ухмылки на лицах своих корешков, понимал их презрительное отношение к папикарам, упивался вместе с ними своей невозмутимостью и бесстрашием.

Сержант обвел беглым взглядом повобращенцев, лицо его поскорбело еще больше. Качнув раз-другой головою, он коротко и вроде бы пехотя взмахнул кулаком, треснутым в сгибе пальцев до мяса, темным, литым, похожим на деревенский чугунок. Снисходительный, но увесистый удар

пришелся на затылок повобранцу, в то самое место, куда чаще всего и отвешивают поучительные оплеухи и деды. Подотощал все же весельчак повобранец в запасном полку, он перевернулся от удара через голову с бровки кювета и лягушонком стоял в пыли на передних лапах, таращась выпученными глазами на сержанта. Растянутые ухмылкой рты повобранцев так и смерзлись на морщинистых лицах, а сержант шел к своему сидору и котелку, оставленным под сосною, потирая ушибленную руку о карман выцветших, вяло на нем обвисших галифе. «Старички» отыскивали свои манатки, прицепляли котелки, лопатки, надевали вещмешки, закидывали винтовки и, снарядившись, деловито двинулись дальше, послышалась хрипая команда: «По-одтяни-ись!»

Десятиминутный привал кончился.

ИСКУШЕНИЕ

Среди многих фронтовых, чудовищно-диких случаев и происшествий застрял в памяти один совсем почти пустяковый эпизод окопной жизни...

Окопы только что отбиты у противника, солдаты обшаривают их, устраиваются. Чуть в стороне от траншеи откопана минометная позиция. Миномет немцы унесли, но мины осталось много, иные ящики с минами открыты, приготовлены для стрельбы.

Здесь, на минометной позиции, я хорошо устроился с телефонами взвода управления артиллерийского дивизиона. Их у меня три — связь со штабом бригады, связь с батареями и пехотой. Устроился я, проверку сделал, решил мины из ящика вытряхнуть и приспособить его под сиденье.

Глядь... прямо на минах колбаски лежат. Топенькие, коротенькие, подкопченные — четыре штуки. Поздее я узнаю название этих колбасок — охотничьи. А тогда...

Путем не пробовавший не только этих вот колбасок, но и простой, вареной колбасы досыта не едавший, я не мог оторвать взгляда от этого аппетитного трофея.

Но ведь не так просто оставлены эти колбаски на виду. Вокруг никаких признаков еды, какой-либо трапезы, а они, колбаски, тверденькие, распертые изнутри комочками сала, зажаристые, блестящие лежат! Конечно же, прикреплены

к минам либо отравлены, иначе зачем же им тут красоваться?

Бог с ними, пусть лежат себе. Я опытный уже солдат. Переборю искушение.

Поерзал я на ящике, какую-то работу поделал, но глаза все отыскивают эти проклятые колбаски, рот полон слюны. Приподнимаю эти колбаски пальцем, остороженько, не дыша. Нет никаких проволочек, никаких соединений. Значит, отравлены. Бог с ними, с колбасками! Не голодный ведь, пусть картошкой, хлебом, но пабито неприхотливое солдатское брюхо.

Но годов мне было... восемнадцать. Куда ни кишь, дитя еще и побороть соблазн детскому сознанию непосильно.

Словом, дюжил я, дюжил, преодолевал изо всех сил искушение и не преодолел, схватил колбаски и схрумкал их, как морковки. Были они очень вкусные...

Съел я колбаски и испугался, стал вслушиваться в себя. Вот вроде бы где-то... в животе что ли, забурлило, потом выше кольнуло, потом жирным дымом отрыгнулось...

Помирать, однако, скоро придется.

Но тут началась стрельба, пошла работа до седьмого пота, немцы открыли ответный огонь, прицельно бьют по своей оставленной позиции, знай поворачивайся да в землю скрывайся.

Не успел я опомниться, вечер наступил, ужиш принесли. Поел. Попил чаю. Выспался. Ничего не болит.

Впе-эред, на Запад! Живы будем — не померем!

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Каждую весну, когда в лесу засишет снег, вспучатся речки и появятся первые проталины, начинает выстреливать мохнатыми шишечками веснянка-верба.

И этот первый привет расцветающей земли в вербное воскресенье люди несут на кладбище близким своим и прикрепляют венки к крестам, звездам, обелискам.

Кладбище уральского городка, в котором я прожил много лет, расположено на крутой и голой горе. Почва здесь неприютная, каменистая, и потому на кладбище мало растительности. Есть только крючковатые приземистые пихтачи, обожженные ветрами, да взлелеянные памятными людьми липки и несколько березок. Зато всюду на могилах железные памятники и оградки. И уже по этому

можно заключить, что в городе живут металлурги. Среди множества захороненных на кладбище людей закопан и кусочек металла.

В войну мастер мартеновского цеха упал в шестидесятитонный ковш с металлом. По древнему обычаю железоделателей, полагалось весь этот ковш вылить и схоронить, но шла война, и стране очень нужен был металл.

Тогда почерпнули из огромного ковша маленький ковшичек стали и унесли на кладбище.

Были здесь и такие могилы, возле которых люди опускали глаза и проходили быстро, виновато. Завалившиеся холмики, и падшими десятка два наспех сколоченных из досок и фанеры пирамидок и ни одного деревца. Только песколько диких кустов шиповника ершились на этих могилах. В июне они роняли сморщенные лепестки цветов на вымытый дождем камешник.

Но однажды пришли школьники, комсомольцы, бывшие фронтовики и убрали жалкие пирамиды и сделали братскую могилу тем, кто умер от ран в госпиталях этого города. Местный скульптор-самоучка слепил из глины памятник, и местные же заводские рабочие, всю жизнь варившие только чугун и сталь, своеручно сделали форму и отлили из чугуна фигуру солдата.

Он стоял, горестно насупив брови, с каской в руке. На спине у него топорщился не то вещмешок, не то плащ-палатка. Он был неуклюжий, этот чугунный солдат. Но сработал от всего сердца, и потому приняли его как родного, не замечая корявиш.

А принимали его не по акту.

Наши женщины считают, что неоплаканная могила бывает только у сирот. Ну а всякий человек хочет, чтобы его родные даже после смерти не были одинокими.

Усталые от выплаканных слез, прижимая платки к глазам, женщины покидали кладбище. Но вот одна из них свернула к чугунному бойцу, положила у подножия памятника песколько веточек вербы и тихо сказала:

— Неоплаканные, нецелованные вы, сыпочки, и жестка-то вам могила сиротская. Где же это ваши матери-страдалицы? — Она замолкла на минуту, и по лицу ее сыпнули слезы. — Ведают ли, знают ли они: где ваш приют последний? Могила моего Степанушки в болгарской стороне. Пусть матери тамошние умягчат ему землю слезою своею, а я вас, милые, оболью, омою слезьми вдовьими...

К голосу этой женщины присоединился второй:

— Где ты, где ты похоронен, сокол ненаглядный, Паптелей ты мой Иванович? Есть ли у тебя могилка, у любезного? Мягка ли тебе мать-земля?..

— Чьи вы, деточки, чьи вы? — уже спрашивал третий голос.— А не видали ли вы сыночка мово? Не встречали ли его в битве с ворогом? Улетел, спокинул меня, горемышную, и не знаю-то я о нем малой весточки...

Оградка, посреди которой стоял неуклюжий и всем родной человек, все заполнялась. Рос ворох верб возле памятника. Не осталось уже места в оградке, и тогда женщины пачали становиться возле нее на колени, и кланялись земле, и целовали ее мокрыми от слез губами, чтобы мягче и ласковей она была.

...Каждую весну, когда заснеет в лесах снег, и высвободит проталинки, когда распустится верба-веснянка, раздается плач на этом кладбище. И всякий раз, когда я слышал его, этот плач, сердце останавливалось у меня, и думал я: если все женщины земли соберутся на солдатские кладбища, мир содрогнется и падет ниц перед этим горем.

КРОВЬЮ ЗАЛИТАЯ КНИЖКА

На улице Предместной ткнул в меня человек в помятом пиджаке:

— Восемь копеек,— хрипит.— До дому доехать...— И сует мне красную книжку. Пригляделся — инвалидный билет.— Восемь копеек. Ну, гривешник! — и все сует и сует книжку.

— Ты что? — растерялся я.— Ты что?

Хотел крикнуть: «Кого позоришь? Чего позоришь?..»

Да ведь бесполезно. Не поймет. И только повторялось и повторялось, беспомощно, растерянно: «Ты что? Ты что?..»

У меня у самого под грудью лежит инвалидная книжка — самый горький и дорогой документ. Я его редко достаю — нас мало осталось. Скоро и книжки, и инвалиды войны исчезнут...

А этот людям в лицо тычет, на выпивку серебришки вымогает кровью облитой книжкой.

Стыдно-то как, Господи!

ГОРСТЬ СПЕЛЫХ ВИШЕН

— Куда ты прешь? — кричал дежурный по комендантуре города Винницы на сержанта в хромовых сапогах и с портупеей и одновременно отстраивал его от барьера, стеной ставшего между властью и посетителем.

— Не имеешь права орать! — тоже громко возражал сержант с портупеей и стучал кулаком по медали «За боевые заслуги». — Я кровь проливал!

— А я что? Сопли? — еще больше завихрялся дежурный.

— Кто тебя знает? — сомневался сержант. — Вон личность-то отъел...

— Отъел?! — подсказывал на стуле дежурный. — Давай померяемся.

Было неловко слушать дежурного с офицерскими погонами. Злил и сержант, который лез на рожон и не уступал ни капельки старшему по званию. Он был наглый, этот сержант, и думал, что нахальством можно всего добиться. Глядя на него, осмелели и другие, задержанные на улице и на станции военные без увольнительных, а то и без документов. Они стали посмеиваться, курить без разрешения и вообще вести себя вольно.

Я отошел от барьера в угол и сел. Надоели. Все надоело. Черт меня дернул отстать от эшелона в этой Виннице! Ни ближе, ни дальше.

Нас, шестьдесят пестроевиков, ехало куда-то или в Никополь, или в Джамбул, на какую-то работу. Никто нам толком ничего не рассказал, паек на станциях мы добывали с боем. Нас, пестроевиков, всюду оттирали, ставили в хвост очередей, и вроде бы уж и за людей не считали: дескать, и без того дым коромыслом, а тут еще путаются под погами какие-то доходяги.

На земле наступила большая неразбериха, и на кого обижаться, невозможно было понять. Военные отвоевались и ехали по домам как придется: на крышах вагонов, в тендерах, на машинах, в спецэшелонах, на лошадях. Один старшина покатила даже в фаэтоне.

Доконали солдаты врага и поровили как можно скорее попасть домой. И это было сейчас для всех главным.

Шел август. А День Победы я встретил на госпитальной койке. Но до сих пор мне снился фронт, до сих пор меня все еще мотало, вертело огромным колесом, и война

для меня никак не кончалась, и пружины, нажатые до отказа там, внутри, никак не разжимались.

А тут еще умудрился отстать от эшелона! Возьмет этот горлопан дежурный и ухнет меня вместе со всей задержанной публикой кирпичики таскать либо рельсы. Потом доказывай, что ты не верблюд. Уйти отсюда, что ли, пока еще не поздно?

— Ты видишь, в углу солдат сидит? — услышал я голос дежурного и не сразу понял, что это обо мне. А когда понял, вскочил и такую выправку дал, что медали звякнули и разом испуганно замерли. — Орел! — восхитился мной дежурный. Я ел его глазами. — Час сидит, другой сидит и ни мур-мур! — продолжал хвалить меня дежурный. А почему? Потому, что дисциплину знает, потому, что доподлинный фронтовик-страдалец. И он сидит и череду ждет, хотя у него вся грудь в заслугах, а у тебя всего одна медалишка, и ту небось на тушенку выменял. Выменял ведь? Ты меня не проведешь! Вольно, солдат! — скомандовал мне дежурный. — Сколько ранений?

— Четыре, товарищ лейтенант!

— Дай человеку сесть! — гаркнул лейтенант на развалившихся по лавке военных, и когда те испуганной стойкой отлетели в сторону и я сел подле барьера, он, не спрашивая, курю я или нет, дал мне папиросу, и этот знак величайшего внимания привел в уныние всю остальную публику.

— Отстал от эшелона? — уверенным тоном всевидящего и всезнающего человека спросил дежурный.

— Отстал, — упавшим голосом подтвердил я и закашлялся, потому что был некурящим. Я был твердо уверен, что надвигается буря и что буду я кипут в общую массу, как и все прочие разгильдяи, раньше времени освободившие себя от оков военной дисциплины.

— Куда ехал? — уже скучным и усталым голосом продолжал дежурный.

Я и увидел, что у него красные от недосыпов глаза и щеки с сиреневым отливом.

— В Никополь, кажется.

— В Никополь! — поднял палец дежурный. — Никель копать, на тяжелую работу, после четырех ранений, весь испростреленный, а сидит ждет! — снова закипел дежурный и позвонил в школьный звонок.

Вошел патрульный.

— А ну всю эту шуштуру спровадь на губу, — кивнул он

в сторону задержанных вояк.— Потом разберемся. А тебе,— пригрозил он пальцем сержанту,— тебе я особое внимание уделю! Я еще дознаюсь, с кого ты снял сапоги и где ты взял портупею и по какому закону ее носишь...

Я не стану рассказывать, как и о чем мы разговаривали с дежурным. В памяти моей он сохранился в общем-то добрым, но до крайности издерганным человеком. Слишком много было тогда работы у комендатуры на Украине, слишком много, и не все это сразу понимали. Случались дела смешные, трогательные и трагические. Озоровали и резвились ехавшие по домам солдаты, зверствовали бандеровцы, пытались укрыться от властей разные подонки. Пока мы разговаривали с лейтенантом, я услышал несколько докладов. Два из них запомнил, очевидно, потому, что были они потешными. Один о том, что какой-то солдат с проходящего эшелона забрал на станции у тетки самогон, а деньги уплатить забыл. Другой о том, как демобилизованный старшина Прокидько, примериваясь к гражданской жизни, напился и дал в глаз первому встречному милиционеру.

Дежурный грустно и устало улыбался, разъясняя патрульному, что Прокидько уже никакого отношения к комендатуре не имеет, и что задерживал он его зря, и что милиция за один глаз спросит, как за два,— тогда старшина почувствует себя окончательно демобилизованным. А что касается самогона, то тетка эта пусть лучше не орет на всю улицу. Если она торгует запрещенным товаром втихую, то пусть рот широко не открывает.

Дежурный лейтенант определил меня ночевать в комендатуре и на прощание сказал:

— Отсыпайся, солдат, завтра или послезавтра отошлем тебя на пересыльный пункт. Эшелон все равно тебе уже не догнать.— Он подумал и прибавил: — Захочешь побродить, иди гуляй, скажешь часовому — я велел пропускать. Ну, будь здоров, вояка. Завидую.— И уже другим тоном крикнул: — Есть там еще кто-нибудь?

— Есть, есть, накопились,— недовольно проворчал за дверями постовой.

Дежурный продолжал работать.

Я поел на кухне каши, взял в комнате у патрулей толстую книгу «Кобзарь», вышел в ближайший скверик, лег на траву и стал читать:

Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий,
Сэръдэтый витер завыва...

Днепр широкий. Ветер сердитый. Как это все знакомо. Как это все еще близко. Закроешь глаза, и вот оно, продырявленное висячими фонарями черное небо, и внизу распоротая очередями трассирующих пуль черная вода, и крики, крики, крики.

Десятки тысяч людей кричали разом. Им надо было добраться до другого берега, а плавать умели не все, и добирались совсем немногие...

Ревет и стонет Днепр широкий!

Широкий, очень широкий Днепр, особенно когда переплываешь его под пулями и минами, в одежде и с автоматом. Нет тогда на свете шире реки!

Не переплыли эту реку, в ночи кажущуюся без берегов, мои друзья Ванька Мансуров, Костя Выгонов, Венька Крюк. Мы вместе росли, вместе учились. И чьих только друзей нет в этой реке!

Кипит вода от пуль, гноем и кровью оплывают фонари в небе, и гудят, гудят самолеты.

Когда же они перестанут гудеть? Когда перестанут выть? Ведь должна же, должна когда-то заглохнуть война в сердце, раз она замолкла на земле!

В голову лезут строчки из однажды услышанного и на всю жизнь врезавшегося в память стихотворения:

Сменят вспышки ракет зарницы,
Зарастут окопы травой,
А солдату все будут снится
Рев мотора и бомбы вой.

Неужели всегда? Устал. К черту Днепр! К черту самолеты! К черту фонари!

Я смотрю на двух девочек, играющих неподалеку на лужайке возле поврежденного клена, замазанного какой-то густой смесью. Девочки в беленьких платишках, обе черноглазые и в веснушках. Должно быть, сестренки. Я незаметно наблюдаю за ними, чтобы не спугнуть. В руках у девочек по пакетику с вишнями. Они достают по ягодке за тоненькой стебелек и губами срывают темные, поблескивающие на солнце вишни. Губы девочек в вишневом соке. Розовеют их худенькие мордашки.

Мне уже двадцать три года, и если бы не было войны... Тьфу ты!

Девочки наклонились друг к другу, о чем-то пошептались и взглянули на меня.

Я опустил глаза. Я не слушаю. Я не знаю, о чем вы шепчетесь, девочки. Совсем не знаю! Я не слышу робких

шагов по траве. Я читаю «Кобзаря»: «Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий!.. Рэвэ тай стогнэ...»

Никак не могу уйти дальше этой строчки.

Шаги замирают возле меня. И долго, долго ничего не слышно. Потом меня осторожно трогают пальцем за плечо, и слышится:

— Дяденька, покушайте вишен.— И ко мне протягиваются сразу два пакета, сделанные из листочков ученических тетрадок, и я удивляюсь тому, что эти девочки уже ходят в школу. Нет, они еще не ходят, они еще малы. Эти листы из тетрадей их брата или сестры, и, возможно, они, тоже, как Вапька и Вепька...

— Вишня? — переспрашиваю я и сажусь на траву.— Ну что ж, с удовольствием.

Я запускаю два пальца в пакетик и достаю кисточку в пять ягод. Но девочки протестуют:

— Нет, нет, возьмите уси!

И я вижу два пакетика, протянутые ко мне, и умоляющие, доверчивые и чистые-чистые глаза.

Я долго раздумываю. Стараюсь сделать так, чтобы они не заметили моей улыбки, и наконец решаю:

— Ладно, давайте пополам.— Я беру у них один пакетик и вдруг ловлю себя на том, что мне очень хочется им что-нибудь подарить. Но у меня нет ничего. Совсем никакой безделушки. Тогда я прижимаю их к себе и целую в худенькие, кислые от вишневого сока щеки и говорю чуть слышно: — Спасибо вам!

Они, видимо, что-то уловили в моем голосе. Одна из сестренок припала к моему уху и требовательно попросила:

— Не падо грустить, дяденька, война-то кончилась.

Они упорхнули от меня и снова стали играть под изуродованным кленом.

А я ел вишни.

Их было очень мало в пакетике, всего горсточка, и я подолгу держал каждую ягоду во рту и осторожно нажимал на нее языком, чтобы этой горсточки мне хватило как можно на дольше.

ПОРОСЛИ ОКОПЫ ТРАВОЙ

Темнело ошеломляюще быстро. Вечер не выползал с опаской из буераков и ложбин, как у нас на Севере, а сваливался сверху, сухой и душный.

Южный вечер — безмолвный и немного жуткий. Непривычный вечер. Ни зари, ни звука. Темнь и тишь.

Кузьма прибавил шаг. Я попросил:

— Не торопись.

Мы жили с Кузьмой вторую неделю в санатории и уже знали друг о друге все. Он знал, что я воевал под Ленинградом и немецкой миной мне вырвало четыре ребра и половицу легкого. А Кузьма отступал здесь, по южной степи. И в какой-то придорожной канаве осталась его рука.

И вот мы бродили по степи, искали ту дорогу, ту канаву, и ничего не нашли. Люди уже перепахали военные дороги, обвалившиеся блиндажи, траншеи и неглубокие военные могилы без крестов. На полях, будто навозненные, блестели безжизненно спикшие листья кукурузы, вслед солнцу поворачивались подсолнухи, мягко колыхались и шуршали кисти проса да задумчивыми, утихомирными волнами плескалась пшеница.

И все-таки следы недавних битв здесь еще можно было увидеть. Меж стеблей то тут, то там зелели гильзы, ржавыми пятнами расползались осколки, торчали поседевшие от времени косточки.

Чьи они? Наши или чужеземные? Время, тлея, плуг пахаря и рука сеятеля все сделали для того, чтобы упрятать смерть в землю. Земля умела хранить, земля умела молчать, земля умела печалиться.

Земля.

Мы шли медленно. Кузьма молчал. Наверное, и я вот так же буду молчать, если мне когда-нибудь придется побродить по местам, где я воевал. Я тяжело волочил ноги и задыхался. Не с моим здоровьем бродить целый день по знойной и безводной степи.

— Сейчас будет место, где раньше стояла деревня, — приостановился Кузьма. — Обойдем?

— Давай прямо, далеко обходить-то.

Я не сказал — трудно, но Кузьма понял меня, и мы пошли напрямик.

Поля остались позади, в темноте, и мы шли по степной дороге, угадывая ее подошвами сапдалий. На дороге еще с весенней распутицы остались и закамешели тележные колеи.

Неожиданно дорога повернула влево, должно быть, в обход заброшенной деревни, и мы пошли сначала по хрусткой траве, а потом влезли в бурьян...

В небе наконец-то прорезались синеватые звезды, рас-

сыпались крошеным льдом, и далеко-далеко возник краешек луны. Белым грибом прорастала луна из черной, возпешейся в поднебесье горы. Светлело небо, вырисовывались дальние перевалы, звоном цикад наполнилась степь. Сделалось веселей.

Бурьян становился все выше и выше, мы брели по нему, будто по чаще. Я выбирал из волос шишки репья, какие-то колочки и чувствовал, как тяжелеет на мне одежда, обрастающая репьем.

— Не зря говорят, что самая длинная дорога та, что кажется короткой,— как бы оправдываясь, проворчал Кузьма и показал на темные бугры.— Дома были здесь когда-то...

Должно быть, Кузьма видел лучше меня. Я, сколь ни силился, не мог угадать здесь никаких признаков жилья. Темнели бугры, и на них однообразно шуршал густой бурьян да что-то потрескивало чуть слышно, и с бесконечным шумом звенели цикады. Так звенит в голове от контузии.

Вдруг совсем рядом, в лопушнике, кто-то заорал:

— Ау-ау! А-а-а-а!..

Кузьма отскочил ко мне.

— А-у-ау, а-а-а-а! Ау-ау-ау! А-а-а-а...— повторился вопль сзади и спереди. Это было похоже на вой сирены. Это было похоже на крик леших, которых мы никогда не видели. Это было похоже...

Я не знаю, на что это было похоже. Вой, визг, вопли неслись уже со всех сторон, и всюду мелькали зеленые огни, возникая то тут, то там. Они метались по бурьяну, пропзали темноту, эти живые и в то же время какие-то призрачные огни.

Я закрыл глаза и сжался. Но Кузьма рванул меня за руку, и мы побежали. Я не знаю, сколько и куда мы бежали. Не помню, когда кончился этот визг и вой, который рвал уши, вопзался в мозг, останавливал сердце.

Очнулся я на земле. Кузьма тряс меня.

— Еще немного, еще... воп огни...

Но я уже не мог идти. Кузьма схватил меня и поволок. Мы кое-как добрались до жилых огней. Кузьма бросил меня на крыльцо и забарабанил в дверь. Нам тотчас открыли, и чей-то голос, обыкновенный, человеческий, земной, проговорил:

— Проходите, проходите.

Придерживаясь за притолку, я шагнул в сени, потом

в избу, где горел яркий электрический свет и пахло ребячьими пеленками.

— Ну что, перетрусил, курортники? — с улыбкой разглядывал нас хозяин. — Не бродите, где не следует, да еще почью,— зачерпывая воды из кадушки, добавил он.

Кузьма немного отпил из ковша, подал его мне, утер рукавом лицо.

— Что же это было?

— Кошки.

— Кто-о-о?!

— Кошки,— пояснил хозяин. Он вытер нос мальчишке, ходившему подле скамейки, и продолжал: — Они, заразы, загрызут, если оплошаешь...

Похолодела у меня мокрая спина. Кошки? Неужто те шаловливые друзья детства, мирные лептяи?

— И те и не те,— с тяжелым вздохом сказал хозяин и начал рассказывать.

...Было на свете село Славянывка. Спалили его фашисты. Разбрелись жители кто куда. А кошки остались. Людям было не до кошек. И фашистам было не до кошек.

А кошки плодились. Они забивались в разрушенные печи и на холодных подах, на остывших загниетах рожали детенышей. Уж никто не забирал украдкой котят у кошек и не топил их, как это делалось испокон веков, и никто их не кормил. Кошки выловили и съели всех мышей, крыс, добрались до сусликов, караулили птиц, и те уже не решались вить гнезда вокруг Славянывки. А если и вили, боялись подать голос.

Потом кошки раскапывали могилы, и люто грызлись, сатанея от мертвечины.

Когда жители вернулись в родной омертвленный край и поставили новую Славянывку в стороне от прежнего места, кошки припоровились таскать из дворов цыплят. Весной, во время мартовского разгула, они насмерть забили тех кошек, которых славянывцы привезли с собой.

Неуловимые, злые, стремительные, шлялись они по деревне почью, царапались под окнами на чердаках, а утром куда-то исчезали.

Люди обращались в сельсовет за помощью, из сельсовета обратились в райисполком. Председатель райисполкома вначале подумал, что его дурачат. А потом пришел в неопишное изумление и растерянность. Еще никто и никогда не воевал с кошками. И никто не знал, как это делать...

Наговорился хозяин и услуж. Утомились и затихли дети. Управилась с делами хозяйка, закрыла накрепко дверь, загородила ставнями окна и тоже легла спать.

Я не могу уснуть. Сдавило горло, заложило грудь. Судорожный кашель перешиб дыхание, подхватил меня с постели.

— Плохо тебе? — шепотом спросил Кузьма.

— Ничего, Кузьма, ничего...

Утром меня на подводе повезли в санаторий. И снова по обочинам дороги усатилась и плескалась пшеница, снова шуршали сыпучие кисти проса, и тысячами солнц горели вислоухие подсолнечники, дружно повернувшие головы к востоку, туда, где поднялось над краем поля спокойное светило.

Я попросил Кузьму приподнять меня. Он пристроил мою голову к себе на колени, и мне стало легче дышать и было дальше видно. Я видел поля и огороды, обнесенные колючей проволокой, оставшейся от войны, гнутыми спинками кроватей и рамами автомашин. Я видел калитки, сделанные из дверок бронетранспортеров и крыльев самолетов. Подле них играли дети, в оградах женщины варили еду.

И новые деревни с молоденькими, но уже плодоносящими садами встречались нам. В одном из них одиноко ударил житель этих мест — соловьишко. Он еще боялся петь ночью, но днем, при солнце и людях, пробовал свой голос. Соловей без песни не может жить. И он еще раз ударил по струне и долго ждал, чтобы ему откликнулись. И когда укатился в хлеба его дробный свист, оттуда, с полей, донеслось: «Спать пора! Спать пора!» Перепелка! Соловью откликнулась перепелка. Совсем другая птица, призывающая людей спать в неурочный час.

Но и этой малой поддержки достало соловью. Он разошелся, затрещал, защелкал, рассыпая звонкие горошины в надежде, что они прорастут на земле многими песнями.

Я слушал этого, видно еще вдового, соловья, и сердце мое начинало биться ровней, и силы во мне прибавлялось, и я чувствовал, знал, что пересилю хворь и на этот раз, поднимусь и поживу еще.

*Бывшему пехотному разведчику и верному другу —
Евгению КАПУСТИНУ.*

МАКАРОНИНА

На перекрестках военных дорог, в маленьком городке, в каком-то очередном учебно-распределительном, точнее сказать, военной бюрократией созданном подразделении, в туче народа, сортируемого по частям, готовящимся к отправке на фронт, кормили военных людей обедом, завтраком ли — не поймешь. Выданы были котелки, похожие на автомобильные цилиндры, уемистые, ухлебистые, словом — вместительные, и мы, бойцы временного, пестрого соединения, тая в своей смекалистой мужицкой душе догадку, думали, что уж такая посуда дадена не зря, что мало в нее не палют, иначе будет видно дно и голая пустота котелка устыдит тыловые службы снабжения.

Но были люди повыше нас и посообразительней — котелок выдавался на двоих, и в паре выбору не полагалось: кто рядом с правой руки в строю, с теми получай хлебово на колесной кухне и, держась с двух сторон за дужку посуды, отходи в сторону, располагайся на земле и питайся.

В пару на котелок со мной угодил пожилой боец во всем сером. Конечно, и пилютка, и гимнастерка, и штаны, и обмотки, наверное, были полевого, защитного цвета, но запомнился мне напарник по котелку серым, и только. Бывает такое.

Котелок от кухни в сторону нес я, и напарник мой за дужку не держался, как другие напарники, боявшиеся, что связчик рванет с хлебовом куда-нибудь и съест или выпьет через край долгожданную двойную порцию супа один.

Суп был сварен с макаронами, и в мутной глубине котелка невнятно что-то белело.

Шел май сорок третьего года. Вокруг зеленела трава, зацветали сады. Без конца и края золотились, желто горели радостные одуванчики, возле речки старательно паслись коровы, кто-то стирал в речке белье, и еще недоразрушенные церкви и соборы поблескивали в голубом небесном пространстве остатками стекол, недогоревшей ли позолотой куполов и крестов.

Но нам было не до весенних пейзажей, не до красот

древнего города. Мы готовились похлевать горячей еды, которую в пути из Сибири получали редко, затем, в перебросках, сортировках, построениях, маршах, и вовсе обходились где сухарем, где концентратом, грызя его, соленый и каменно спрессованный, зубами, у кого были зубы.

Мой серый папарник выгул из тощего и тоже серого вещмешка ложку, и сразу я упал духом: такую ложку мог иметь только опытный и активный едок. Деревянная, разрисованная когда-то лаковыми цветочками не только по черенку и прихвату, но и в глуби своей, старая, заслуженная ложка была уже выедена по краям, и даже трещинками ее начало прошибать по губастым закруглениям, обнажая какое-то стойкое красноватое дерево, должно быть, корень березы. Весной резана ложка, и весенний березовый сок остановился и застыл сахаристой плотью в недрах ложки.

У меня ложка была обыкновенная, алюминиевая, на ходу, на скаку приобретенная где-то в военной сутолоке, вроде бы еще из ФЗО. Как и всякий современный человек, за которого думает дядя и заботится о нем постоянно государство, я не заглядывал в тревожное будущее и не раз и не два был уже объедаем, обхлебываем на боевых военных путях, потому что, кроме всего прочего, не научился хватать еще с пылу с жару. Тепленькое мне подавай!.. Вот и сейчас возьмется этот серый метать своей боевой ложкой, которая мне уж объемнее половника начинала представляться — и до теплого дело не дойдет, горяченькие две порции красноармейского супа окажутся в брюхе. В чужом!

Мы начали.

Суп был уже не впрогоряч, и я засуетился было, за таскал свою узкорылую ложку туда да обратно, как вдруг заметил, что папарник мой не спешит и заслуженной своей ложкой не злоупотребляет. Зачерпывать-то он зачерпывал во весь мах, во всю глубину ложки, но потом, как бы пенароком, вроде от целовкости, задевал за котелок, из ложки выплескивалась половина обратно, и оставалось в ней столько же мутной жижицы, сколько и в моей ложке, может, даже и поменьше.

В котелке оказалась одна макаронина. Одна на двоих! Длинная, правда, дебая, из довоенного теста, может, и из самой Америки, со «второго фронта», — точно живое создание, она перекачивалась по котелку от одного бока к другому, потому что, когда дело подошло к концу и лож-

ки пачали скрести дно, мы наклоняли котелок: напарник мне — я черпну, наклон к напарнику — он черпнет.

И вот на суху осталась только макаронина, мутную жижицу мы перелили ложками в себя, и она не утолила, а лишь сильнее возбудила голод. Ах, как хотелось мне сцапать ту макаронину, не ложкой, нет — с ложки она соскользнет обратно, шлепнется в котелок, может, и в клочки разорвется ее слабое белое тело, нет, рукою мне хотелось ее сцапать — и в рот, в рот!

Если бы жизнь до войны не научила меня сдерживать свои порывы и вожеления, я бы, может, так и сделал — схватил, заглотил, и чего ты потом со мной сделаешь? Ну, завезешь по лбу ложкой, ну, может, пнешь и скажешь: «Шакал!»

Я отвернулся и застланными великим напряжением глазами смотрел на окраины древнего городка, на тихие российские пейзажи, ничего, впрочем, перед собой не видя. В моих глазах жило одно лишь трагическое видение — белая макаронина с порванным, как у беспризорной, может, и позорно брошенной пушки-сорокапятки, жерлом.

Раздался тихий звук. Я вздрогнул и обернулся, уверенный, что макароны давно уж на свете нет, что унес ее, нежную, сладкую, этот серый, молчаливый, нет, не человек, а волк или еще кто-то хищный, ненавистный, мне на донышке котелка снисходительно оставив дохлеть ложечку самого жоркого, самого соленого и вкусно-го варева. Да что оно, варево, по сравнению с макарониной?!

Но... Но макаронина покоилась на месте. В тонком, беловатом облачке жижицы, высоченной из себя, лежала она, разваренная, загнутая вопросительным знаком, и, казалось мне, сделалась еще дородней и привлекательней своим царственным телом.

Мой напарник первый раз пристально глянул на меня — и в глубине его усталых глаз, на которые из-под век вместе с глицеринно светящейся пленкой наплывали красненькие потеки, я заметил не улыбку, нет, а какое-то всепоимание и усталую мудрость, что готова и ко всепрощению, и к снисходительности. Он молча же своей зазубренной ложкой раздвоил макаронину, но не на равные части, и... и, молодехонький салага, превращенный в запасном полку в мелкотравчатого кусочника, я затрясся внутри от бессилия и гнева: ясное дело — копец макаронины, который подлиньше, он загребет себе.

Но деревянная ложка коротким толчком, почти сердито подсунула к моему краю именно ту часть макаронины, которая была длинше.

Напарник мой безо всякого интереса, почти небрежно забросил в обросший седоватой щетиной рот белешку лепточку макаронины, облизал ложку, сунул ее в вещмешок, поднялся и, бросив на ходу первые и последние слова: «Котелок сдашь!» — ушел куда-то, и в спине его серой, в давно небритой, дегтярно чернеющей шее, в кругло и серо обозначенном стриженном затылке, до которого не доставала малая, сморщенная и тоже серая пилотка, чудилось мне всеокрушающее презрение.

Я тихо вздохнул, зачерпнул завиток макаронины ложкой, жадно допил через край круто соленую жижицу и поспешил сдавать на склад котелок, за который взята была у меня красноармейская книжка. До отправки во фронттовую часть я все время не то чтобы боялся, а вот не хотел, и все, встречаться со своим серым напарником по котелку.

И никогда, нигде его более не встретил, потому что всюду тучею клубился военный люд, а в туче подика отыщи, по современному говоря, человеко-единицу.

Но, как видите, я не забыл случайного напарника по котелку и не забыл на ходу мне преподавшего урока, может, самого справедливого, самого правдивого из всех уроков, какие преподала мне жизнь.

ПОСЛЕДНИЙ ОСКОЛОК

Помню отчетливо: кухня артдивизиона, вкопанная в косогор, а я, согнувшись в три погибели, под ней лежу и плачу. Повар заглядывает под кухню и хохочет. Друг мой, Слава Шадрин, с досадой и сочувствием спрашивает: «Ну, чего ты орешь-то? Чего? Все уж!..»

Это значит — опасность миновала и папиковать не надо. А я все равно плачу. Ведь и солдат уже опытный, битый, медали на груди, но слезы бегут, бегут.

Гипастерка на мне разделена в распашонку, булавкой на груди схвачена. Перебитая рука толсто примотана к двум ольховым палкам и за шею подвешена. Биты промокли, гимнастерка, штаны, нижняя рубаха и даже сапоги в кровище. Утирая слезы, я и лицо в крови увозил.

Друг машину попутную ждет, чтоб оттаргать меня в санроту и досадует: «Да не трись ты рукой-то, не трись!..»

Больно. Конечно, больно. Иголкой ткнут — и то больно, а тут рубануло так, что и кисть руки назад передом обернулась. Однако реву-то я не только от боли, но и от непонятной обиды, растерянности и усталости — недоволевал вот, а так хотелось до этого самого «логова» добраться, от ребят отрываюсь — от семьи, можно сказать. Как быть без них и жить? Не знаю, не ведаю, разучился жить один. Инвалидом, наверное, стану. Кому же охота быть инвалидом? Со Славкой расставаться жалко. И вообще все как-то не так, несправедливо, неладно...

Повар кашу горячую в котелке сует. «Пошел ты со своей кашей!» — взревел я.

Потом было несколько писем в госпиталь, карточка от друга из Австрии пришла — добрались-таки до «логова» мои однопольчане, в штурме Берлина участвовали, на Прагу ходили, в Австрии завершили боевой путь.

И на этом оборвались связи.

Закрутила гражданская жизнь нашего брата пуще военной. Лишь один друг фронтовой — этого я сам раненого выручал, — Валя Гергель из Орска, пашел меня еще в сорок шестом году, и мы, старомодно выражаясь, состояли в переписке.

Но, слава Богу, литература не только надсаживает и терзает. Изредка она и помогает писателю.

Пришло письмо из Караганды. Что-то знакомое забрезжило в почерке, тревожной радостью сжало сердце: так и есть! Письмо от Славки! От Вячеслава Федоровича Шадринова. Попалась ему на глаза рецензия на мою книгу в журнале «Москва», и он сразу порешил, что это я и есть: уж больно горазд был в молодые солдатские годы приврать, письма заочникам сочинял, книжки в солдатском мешке таскал...

Но как же угодил мой друг в Караганду? Он родом вроде бы из Рыбинска или Калинина?

В письме изложен послевоенный путь, и какой!.. Вернулся с фронта Вячеслав — ни профессии, ни образования, ни кола ни двора. Начал работать и учиться. Вкалывал, как и я когда-то, составителем поездов, кончил техникум, затем железнодорожный институт, был дежурным по станции, маневровым диспетчером, начальником станции, избирался секретарем парткома, а после нескольких созывов был секретарем райкома в Караганде. Ныне он

заместитель директора Нижне-Тагильского металлургического комбината по транспорту. На каком-то совещании друг столкнулся нос к носу с бойцом своего отделения Равилем Абдрашитовым — на Карагадинском комбинате инженером работает.

Был как-то Равиль в командировке в Череповце и ко мне в Вологду заглянул — и вот уже четверо нас из одного взвода пашлось!

У Ваши Гергеля в Орске я-то уже побывал, и он ко мне в гости приезжал.

Наконец-то и Вячеслава вдвоем с Вашей встречаем в Ленинградском аэропорту — в этом городе в Артиллерийском музее хранится часть реликвий и знамен нашей 17-й артиллерийской дивизии, жили в Ленинграде комбриг наш, Алексей Кондратьевич Дидык, командир дивизиона Евгений Васильевич Бахтин, несколько командиров батарей и всякого другого народа, чином поменьше, потому и выбрали местом встречи ветеранов нашей дивизии Ленинград.

А самолет все не летит, все не летит! Отлучился я по делам, Валя у выхода дежурить остался. Возвращаюсь, смотрю: плачут и обнимаются Валя и Слава. Я узнал давнего друга сразу, хотя он, конечно, сильно изменился. Он меня тоже узнал: «Помнишь, как под кухней ревел?» — смеется.

И пошло: «Помнишь?», «Помнишь?», «Помнишь?»...

Оказалось, плохо я тот день помню, кое-что с другими днями перемешиваю, чего и вовсе забыто — время работает. Но постепенно разобрались: один то помнит, другой — это. Слава помог мне отчетливей восстановить в памяти тот проклятый день — 17 сентября 1944 года.

...Сзади горели нефтеносные промыслы в районе польского города Кросно. Наши части углубились в горы по направлению к Словакии. Немцы пускать нас вперед, естественно, не хотели. Шли упорные бои. Было сухо, душно и очень напряженно. Войска, втянувшиеся в расщелину гор, находились в полуокружении.

В тот день мы окапывались на склоне горы, обочь которой бежал ручеек, а на оподоле рассыпались дома деревушки. Нас все время обстреливали. Я был связистом, копал тяжело, и я это дело не любил, но все же копал, помня заповедь: чем глубже в землю, тем дольше жизнь. Вот и рубил я кайлом каменистый склон, подчищал лопаткой щель, на бруствере которой стояли два телефона.

Ударил разрыв, я спрятался в щель, подождал, пока

осколки пролетели надо мной, и, вставши, потянулся к трубке телефона, чтобы проверить связь. И в это время зафурчал рябчиком надо мной осколок на излете да как саданет под правую лопатку, ну ровно молотком. Боль оглушительная, тупая, такой при ранении не бывает. При ранении сквозняком вроде бы прощьет все тело, в голове зазвенит, и сразу горячо и тошнораво делается — потекла кровушка.

В тот раз лишь просекло гимнастерку, оцарапало кожу, под лопаткой картофелиной набух синяк. Копать не могу, руку едва поднимаю, а тут еще жрать не несут, и печет, печет солнце, что тебе в июле!

За полдень все же приволокли термос размазни-горошницы с белыми питками тушенки, которая, по замыслу повара, супом должна была зваться. Только мы есть расположились — бомбежка! Какой-то приبلудный солдат, вовсе не из нашего подразделения, бултых в яму, которую копали наши бойцы под блиндаж и где устроились поест, да сапожищем-то прямо в термос!

Солдата проклинали, высадили пинкарем из ямы, обливали ложки — и давай дальше землю копать.

Контратака! Час от часу не легче! Сигнали пехоту с высоты. В окопы, нами вырытые, народу всякого набилось, шарят всюду, того и гляди чего-нибудь сопрут, а главное — такое скопище непременно бомбить и обстреливать станут. Солдаты в деревне картошек парыли, огонь нороят возле ручья развести.

Опять контратака! Стрельба поднялась, крики. Наши орудия лупят почти на пределе, своими же осколками может посесть.

Отбили и эту контратаку. Я по телефону орал, аж охрип. Славка — ему до всего дело — вместе с пехотой отгонял противника, в поту весь, грязный явился, я ему попить из фляги дал. «Всех, — спрашиваю, — фрицев сокрушил?» — «Фрицев? Кабы фрицев! Власовцы, заразы, атаквали! Один раненый зажался в овражке: «Не стреляйте, я советский...» — «Ну, и?...» — «Чего, ну? Понятно! Я б его сам, подлюгу!..»

Хорохорюсь, хотя представить в общем-то не могу: как это «я б сам»? — ведь русский же, советский, наш бывший... И атакует, сволота! Да еще как атакует! Осатанело. Народу сколько за один день перебило!

Смута на душе. Жрать хочется, спина болит, плечо и рука онемели. А тут снова здорово: «фокке-вульфы»

прилетели, по две бомбы фуганули и давай из пулеметов нас поливать. Но уж и пашим тоже падоело — палят из всех ячеек и щелей кто во что горазд. Неподалеку, слышу, даже из пистолета кто-то щелкает. И я со зла карабин свой сгреб, хотя и знал, что «фокке-вульф» из такого оружия сбить — все равно что пытаться в озере Байкал однуединственную, будь она там, кильку выудить. Палю с левого плеча, в раж вошел. Глядь: «фокке-вульфы» ходу дают! Мне блазнится, что это я их отпугнул. «А-а-а, стервы! А-а-а, коршуны! Получили! Я-а вот вам!..»

В это время как шапдарахнуло! Ложка карабина в щепки, телефон вдребезги, и сам я — не то на том свете, не то на этом лежу, дым шохает. Земля на меня сыплется, живо засыпает. Страшно сделалось. Как выскочил из полуразвороченной щели и к ребятам рванул — не помню.

«Свалился,— рассказывает уже в Ленинграде Слава,— все в тот же педокопанный блиндаж. Глядим: рука навыверт, кровина хлещет ручьями. Пробуем перевязать — бьешься, кричишь: «Самолет! Где самолет! Я же его!..» А того не соображаю, что другие самолеты прилетели, может, и снаряд ударил,— немцы пачали артподготовку перед последней в тот день атакой.

Мы со Славой бежали под гору, к деревне. Голова кружилась. Я пить просил. Друг пить не давал — опытный он уже был, десантную школу кончил. Его за Днепр на плацдарм с десантом выбрасывали, да неудачно. Весь тогда почти десант погиб. Слава в наше расположение ночью выполз с другом одним со страшным и запоминающимся именем — Япварист. С перепугу наш часовой чуть было их не уложил. «Мне,— говорит Слава, оставшись в нашей артиллерийской части,— после того десанта ничего уже не страшно, теперь меня не раят и не убьют».

Так оно и вышло!

А меня вот ранило, дурака! И зачем мне этот самолет сдался? Зачем я только рыло свое грязное из ячейки высовывал?!

Какие-то две девушки военные третью девушку, раненую, волокли. У нее, у бедной, голова моталась, ноги подгибались. Пить просила.

«Вот она, вода-то!» — показал Слава на ручеек. Девки пищат: «Как же пить такую воду!» Ручей и правда точно с бойни течет, бурый от крови и мути. «Зажмурьтесь!» — гаркнул Славка и потартал меня дальше.

Со всех сторон в деревню раненые текли, поодиночке

и группами. Смотрим, минометчики из нашей дивизии, человек восемь. Среди них лейтенант, повис на забинтованных солдатах, зубами от боли скорочет.

«Привет!» — «Привет!» — «Отвоевались?» — «Отвоевались! Так-перетак в Гитлера, в Геббельса, в маму ихнюю и в деток, если они у них есть!..»

Завыло, запело вдали густо, пронзительно. Остановились, замерли все, и вдруг посыпались кто куда. Накрыло нас минометным палетом. Слава успел столкнуть меня в придорожную щель, сам сверху на меня обрушился. Я упал на раненую руку, потемнело в глазах.

Сколько времени прошло — не знаю. Помню как во сне: сумрачно, дымно, пыль оседает, и на развороченном бульжнике дороги, вперемешку с серым лоскутьем — землей и корнями — серые скомканые трупы минометчиков. Меж ними побитые девчонки валяются. Одна кричала истошно, предсмертно, до самого неба. Лейтенант, сделавшийся вдруг коротеньким, упираясь лбом в землю, молча приподнимал себя и пашаривал что-то руками, искал чего-то.

Лежа под кухней, в относительной уже безопасности, я догадался, отчего лейтенант был коротенький — обе ноги ему оторвало, а искал он скорее всего пилотку. Вот и ревел я обо всем вместе видешном и от жути ревел...

...Совсем недавно, почью, зачесалась рука, та самая. Даже не зачесалась, а запыла, зазудела. Начал я со сна царапать ее. Слышу под пальцами твердо. Из дальних времен, из глубины тела, обкатанный кровью, вылезал осколок с привычной уже болью. Совсем маленький, сделавшийся кругленьким, как картечина, он натянул кожу и остановился. Но раз чешется, значит, скоро выйдет.

Думаю, это уже последний. Дай Бог, чтоб последний осколок ушел из меня, из всех нас, бывших воинов, и никогда, ни в чем теле больше не бывал.

ТРАВИНКА

Человек склонился над землей и увидел беловатое копые всходящей травинки, трогнул ладонью острие травинки — и она не уколола кожу, она уперлась вершинкой в ладонь, и человек почувствовал, что травинка, пробившая тугие недра земли, твердь камней, спайку глины, трупелые тела

павших деревьев и листьев, пройдет сквозь любую преграду, взойдет под солнцем в зеленом сиянии и займет свое место на лугу, среди огромной планеты...

Однажды он, человек, видел в одичавшем, заброшенном саду цветущее деревце, которое росло из зажатой человеческой горсти, точнее из того, что было горстью, а стало сплетенными в горсть белыми, мелом рассыпающимися костями.

А еще раньше, сто, а может быть и тысячу лет назад, тут все было поднято вверх: пыль, листья, земля, дым, дерева и корни, и в смеси этого черного ада, называвшегося когда-то землей и небом, черные, с коршуны расцепленными когтями, ревели и кружились машины и, сделав страшную работу, изрыгнув из себя всю сатанинскую злобу, они исчезли в клубящейся темени, уступая место все более стервенеющим машинам...

Они убивали пехотный полк на марше, и чем больше они убивали, тем больше хотелось им убивать, истреблять, калечить, и летчики, бело оскаливая зубы, валили ревущие машины прямо на головы, на лица, на груди — они раздавливали людей, унижали их страхом, они превращали их в ничто. Им было весело это делать.

А когда не стало машин, когда они, жалеясь огнем пулеметов, улетели, скрылись в клубящейся пыли и дыму, сделалось так тихо, что стоны, вопли и крики раненых нисколько ее не нарушали, а как бы еще более углубляли, очеркивали собой. И, поднявшийся из грязной, скорее всего под картошку вырытой ямы, человек вслушивался в себя и в мир, протирая глаза, прокапывая отверстия ушей, возвращая себя в мир и впуская этот мир в себя.

В нем не было ни страха, ни отчаяния, ни злости, — ничего не было, потому что он был уничтожен сам в себе и находился в каком-то доселе неизвестном месте или измерении, где все есть пустота, где даже смерть и память отсутствуют, где только ужас правит всем и всеми.

У человека были сорваны погги — рыл ими землю, изо рта текла вместе с грязью кровь — перекусывал и выдираал корни трав и деревьев, чтобы влезть глубже, дальше в грязную яму, до немоты судорожило колени — это в конвульсии ужаса он так сжался, что мышцы его затвердели, ссохлись, а кости словно бы смялись в суставах и сделались короче — он был убит, выключен из себя и как человек какое-то время не существовал вовсе, и не сознание, не память, не разум, а инстинкты правили и уп-

равляли им, те самые инстинкты, которые владели им и тысячи, и миллионы лет назад, те самые инстинкты, что заставляют страусовое яйцо катиться от приближающейся опасности, западать цыпущке в канаву, ребенку содрогаться во чреве матери вместе с матерью от страха или радоваться ее радостью.

Пыль оседала, дым растекался по небу, рой самолетов кружился уже далеко и беззвучно, лишь блески огней прожигали там и сям небесное пространство, да выше и выше вздымалось облако пыли, дыма и сажи.

Накопец-то человек сделался способен видеть все вокруг себя. Земли поблизости не было. На том месте, где был сад-огород, — что-то вывернутое, израненное, в клочья разбитое, скомканное, разверстое — следы чудовищно-громадной силы и злой, бессмысленной работы.

Неподалеку лежало существо, еще недавно бывшее человеком. Оно только что шло рядом, в пехотном строю, только что, всего несколько минут назад, имело номер, имя, а до этого было маленьким, марало пеленки, плакало, требуя к себе внимания, болело, училось, познавало труд, боролось с нуждой, добивалось места под солнцем, билось за добавку супа в запасном полку, училось маршировать, стрелять, переносить трудности и лишения — все это никому и нигде не пригодилось, и все его радости, муки, стоянье в очередях, школьные и юношеские страдания — все-все оказалось ни к чему, жизнь его не получила смысла, хотя он и все вокруг его пытались наполнить ее смыслом, одушевить само существование сознанием продолжения его рода и помыслов на земле.

Ничего уже нет и не будет. Что-то еще зовут черные от земли губы и меж хилых белишек на верхней губе дрожат капли пота или скорее — последней выступившей из тела живой влаги, еще сжимает рука обрубленный осколком ствол яблоневого саженца, еще шевелится, бьется на груди белая полоса бумаги, вырванная осколком из кармана — недавно полученное письмо, но это уже стало отлетом, последним всплеском жизни, и нетрудно было догадаться — кого молят, кого призывают мертвые губы.

Мать! Маму! Но вот самая крупная капля на верхней губе перестала дрожать, начала высветляться изнутри, в ней, ничем уже не тревожимой, оседала на дно тяжкая земная плоть, и скоро капля сама по себе иссохла, растворилась, тоже стала плотью, и человеку сделалось ясно, что и сотоварищ его по строю и жизни на земле тоже

сделался плотью, так и не докликавшись матери, которая выпустила его на белый свет. Зачем в муках и крови рождался он? Зачем лежит здесь? На чужой стороне, в чьем-то чужом, одичалом саду, всеми брошенный, никому уже не пужный?

И зачем, зачем на краю картофельной ямы пучком растет цветок мать-и-мачехи? Закрывшийся было от пыли и дыма, приняв ее за тьму почвы, цветок снова раскрывал робкое личико с лампадно светящимся сердечком! Обман! Все обман! Притворство! Ложь! Не падо цветков! Не падо яблонь, травы, тепла, света, солнца!

Не падо такой жизни!

Пусть это обиталище, пазываемое земным раем, будет всегда по-осешнему сыро, глухо и темно, пусть в нем и на нем ничего не растет, пусть гремят на нем и над ним громы, пусть огонь и дым будут его воздухом, его климатом, его небесным проклятьем, и пусть в огне и в дыму бредут в одиночку, строем ли, ротами, полками, сами себя забывшие существа обратно, в небытие, в геенну огненную, и если достигнут они своего предела, то пусть снова окажутся на четвереньках, без одежд, без разума, утерев в пути всякое знание, обронив то, чем они убивали друг друга — пусть грядет кара, давно ими заслуженная!

Человек выдрал мать-и-мачеху с цепким корнем, с тряпичными листьями, бросил цветок себе под ноги, топтал его кованым ботинок, мичкал в грязной земле, неистово, безумно плясал и плакал, проклиная все живое, живущее и недостойное жить на земле.

Черная пригоршнями разбитую землю, он забросал товарища, не прикрыв ему даже лица — не мог найти поблизости пилотку, не отняв руки от яблоневого пенька, и, оглушенный, полуслепой, побрел следом за рассеянным табуном бредущими существами, побрел туда, где сгущались дым, пыль, огонь и грохот, куда так давно и упорно идут земные существа под пазванием — люди.

И вот росток травинки!

Белый, птичий клювик летящей в пространство птицы под пазванием — Земля. Какие муки, какую силу и терпение испытывал этот росточек, прежде чем воспрянул на свету дивным, горящим стебельком?! Каков путь его от мокрого корешка до того, что зовется травинкой? И сколько силы, терпения, могущества падо употребить природе, чтобы сделать из травинки луг? Земной, зеленый луг!..

И как отрадно, что растерзавший когда-то во злобе и

отчаянии воевшим ботишком весенний цветок, а пшине, на старости лет, радостно лелеющий восход раншевшей травинки — было и есть одно и то же существо — это я, Господи!

ШРАМЫ

Что с человеком происходит? Он живет, стареет, копятся его года, редеют волосы и густеет седина, трещат и болят кости, прибавляется в сердце грусти, настигает бессопница и... накапливаются рапы. И не только сердечные.

Где я ни погляжу, где ни пощупаю себя, то рубец, то отметиша на теле есть — с детства от деревенских и домовских драк доставшиеся, одна на затылке, складничком ударил какой-то оголец из городского игарского барака. Ребяшня на уроках шутя водила пальцем, царапала ногтем шрам, пазывала его Ладожским озером. С детства же перелом на ноге, ожог на руке — увеличительным стеклом палили живое тело, испытывая, как выдержит человек пытки, если попадетя в руки фашистов...

Повезло, не попал в плен, но вот на теле отметины остались, и на лице, и на ноге, и на руке, да куда ни глянешь, то кости покрошены, то мякоть изорвана, то палец расплющен, то красный стручок на плече.

О жизни человека можно судить и по шрамам на теле. Если пересчитать их — поющие, чешущиеся, болящие по почам — ох, какая жизнь-то у нас разнообразная была! Не приведи Господи таких примет жизни нашим внукам, такого смятения в душе, такой боли в теле.

КАКОЕ СЫРОЕ УТРО

За окном мутно. Каплет с крыши. Каплет с черемух. Окна залеплены серым снегом. Он медленно сползает по стеклу, лепится к рамам, пабухает...

Как болят кости! Ах, как болят кости! Но надо вставать. Надо вставать и работать.

Наступило утро. Все люди работают. И мне тоже надо работать.

Но как болят кости! И старые рапы болят.

Полежу еще маленько, чуть-чуть...

Я ведь заработал право полежать?

Но мало ли кто и чего заработал! Кто подсчитывал? Надо вставать. Вставать! Вставать!..

Все то же сырое утро, пет, уже дещь, мутный, промозглый, родившийся из морока и стыни. Все так же каплет с черемух. Мимо окон проехал дядя Федор на мокрой лошади к ферме — он везет вопочий силос.

Я вожу ручкой по бумаге. И дяде Феде, и лошади, и мне не хочется работать.

Но бегут строки все быстрее, быстрее, и мимо окон бежит лошадь с пустыми сапями. Бежит, фыркает — разогрелась.

Может быть, завтра наступит ясное утро и перестанут болеть кости. Да и сейчас они уже глуше болят.

ГЕМОФИЛИЯ

Я решил започевать там, где вечером гонял рябчиков, в крутом еловом косогоре, с боков обрезанном распадками, в которых выше человеческого роста плотно стояли бледная крапива, подсохший лабазник, молочай, вехотник и всякий разный дудочник, чуть только присмиривший от первых холодов, но все еще пагло зеленеющий, напористо растущий. В распадках густо клубился ольшаник и ивняк. По откосам плотными рядами наступали осинник, березняк, липа, но, упершись в плотную еловую ступу, как бы ожегшись о раскаленную, огнем полыхающую полосу рябинника, окаймляющего зоревым ожерельем сумрачный хвойняк, остапавливался, покорно и согласно замирал, оттекая в вершины ключей, в сумрачную прель логов.

Взлобок косогора был почти гол, лишь вереск, боярышник да таволжник разрозненной, потрепанной в боях ротой наступали снизу от реки, и чем далее в ночь, тем более походили кустарники, в особенности можжевельные, на человеческие фигуры. Самым подолом, на край которого памыло и павалило камешнику, косогор уходил прямо в речку Усьву, за которой широко и медленно отцветала вечерняя заря, и ключи, выдавленные горой из моховых и камешных щелей, слезливо взблескивали, расчертили поперек бровку берега, а сама река, словно бы вылитая в изложницу русла, остывала, покрывалась окалипой от земли, но в середине все еще переливалась, ярко

мерцала последними красными отблесками с седоватой просиной пламени. Над поверхностью тяжелой, свищовой воды поплясывал и все плотнее оседал горелый воздух и жар.

Я еще засветло принес с берега Усьвы сена из стога, зачерпнул котелок воды, паломал прутьев смородишника, заварил, напарил чаю, петоропливо поел, прибрался у огня и, навалившись спиной на ствол чадно пахнущей, плотно падо мной сомкнувшейся пихты, грел разутые ноги, пежил их, патруженные, со вздутыми жилами, и чувствовал, как отходит мое тело, как оно распускается, кости, словно бы вывороченные в суставах и узлах непосильной работой, выпрямляются, прилегают всякая к своему месту, и весь я делаюсь отмякший, как бы даже и отдаляюсь чуть от самого себя, погружаюсь в медленную, доверчивую дрему, только спина, взмокшая от пота и горячего чая, еще ежится, вздрагивает, вжимаясь в сено, паходя удобное ей место.

Я дремал, но засыпать не торопился, зная, какая длинная и покойная почь впереди, сколь много еще отдыху мне предстоит и какое блаженство знать об этом и никуда не торопиться. Можно смотреть, смотреть и каждую минуту замечать вокруг в природе перемены и ощущать вместе с нею чуткое, в почь переходящее за вечерье. Все еще видно внизу остывающую реку, за нею зароды сена сделались отчетливей на осветившихся лугах, перелески по-за лугами, означавшиеся на последнем небесном свету, совсем отемнели, сцепившись в тихом испуге стволами и листвой. Ничего не слышно, и потому, должно быть, в ушах у меня все еще переливается рябчинный пересвист. Уже без азарта и злости вспоминал я, как хитрили рябчики, не подпуская меня близко, а заряды слабые, старые, стегнутые дробью рябчики ушибленно подскакивали вверх и оттуда мячиками катились в дурнину распадков. Обжигаясь о крапиву, царапаясь о сучки, я спешил вниз и паходил на дудках и ягодниках живо качающихся три-четыре легких пестрых перышка — пух остался, мясо улетело.

За весь вечер я взял трех рябчиков, хотя палил раз шестнадцать — ослаб хваленый бездымный порох. Э-эх, то ли дело древний черный порох! Громко, дымно, зато убойно. Лежи он, порох, хоть год, хоть десять, стрелил — дичь в сумке, а за этой вот бегать падо. Ну, ничего, у меня в патронгаше еще есть штук пять патронов с дымным порохом, и завтра утром я дам этим отоспавшимся хитро-

вашам пару! Сяду в сльшике, на граши мелколесья, чтоб видно мне было распадок до самого дна, чтоб влево и вправо слышал я и зрил на рябишиках жирующих птиц... Вот я вам ужо!..

Скорей бы утро! Скорей бы это завтра...

Длинна и благодствна осенняя почь, благодствна прежде всем тем, что ни комар, ни муха тебя не беспокоят, спит-ся на холоду, к утру в особеиности, так крепко, что и чувствуешь: продрог, замерз, надо бы встать и подживить едва тлеющий костер, но нет сил совладать со сном, шевельнуться, вылезти из теплого, тобою свитого и обжитого гнезда на дрожью пробирающий, бодрый ипей, либо знойкий холод, вот и тянешь, как парнишка, на себя одежку, ужимаешься, в калач свиваешься — тут, в лесу, да еще одному, оттого и хорошо, что можно вести себя как тебе хочется, никто не осудит.

Наяву, сквозь сон ли я услышал движение снизу, от реки. Покатился мягко, шорохливо камень, взял разгон, подпрыгнул на кореньях, щелкнул о камни берега раз-другой и плюхнулся в воду. Я приоткрыл глаза. По темной воде гнало медленный, еще более темный круг. «Рыбак небось возвращается домой, в город». Я снова начал успокаиваться, засыпать, однако камешки все чаще и чаще сыпались вниз и булькали в воду, все ближе потрескивали сучки, послышалось тяжелое дыхание — я пододвинул к себе ружье. Совсем близко раздался голос:

— Не беспокойтесь, пожалуйста, я рыбак.

В ту пору, а было это в конце сороковых годов, в тайге можно было опасаться только беглых арестантов: леса, реки, луга и горы еще не ошеломлены, не растоптаны, не замордованы были пашествием отдыхающих горожан. Я наперечет знал в нашем небольшом городке всех, кто охотничал, рыбачил и просто любил бродить в лесу за ягодами, грибами.

Голос человека был незнаком. Я ждал, не поднимаясь с сена, от костра, а незнакомец медленно шевелился меж темных кип можжевельника, все приближаясь и приближаясь. Наконец он возник в свете костра, приблизился к огню и не сел — почти упал на землю.

Долго и неподвижно сидел человек, смежив глаза, уронив в бессилии голову. Я не тревожил его и ни о чем не спрашивал — есть такое неписаное правило: раз человек объявился в лесу на твоём стане, он скажет, о чем хочет, и попросит, что нужно.

Человек был аккуратно и ладно одет в поношенный, ветрами и дождями отбеленный плащ, из-под которого топорщились петельки телогрейки, чуть обросший подбородок упирался в разношенный ворот самовязаного теплого свитера. Резиновые сапоги с высокими голенищами были аккуратно клеены во взъемах и по сгибам голенищ. На боку висела вместительная брезентовая сумка, и от нее слабо донесло запахом той рыбы, которую никогда не спутаешь ни с чем, едва слышный, как бы замешенный на белом лесном снегу, чуть отдающий огуречной свежестью и еще какой-то сквозно струящейся, редкой травкой, но все это вместе пахло просто рекой, хорошей, горной, стремительной рекой.

Харюзятник! Длинная палочка, на которую рыбак опирался, вовсе и не палочка, не сучок, а удилище, вершинка у которого бамбуковая, наконечник же из топкой, стеклышком скобленной черемушки, половинки удилища соединены жестяными трубочками. Удилище прямо и в меру жидко, поплавок на леске не было. Но я только секунду-другую смотрел на обряде рыбака. Заметив, что правый рукав, в который человек все время втягивал руку, тяжело набряк и скоробился, я сначала думал — от мокра и слизи, однако, присмотревшись, обнаружил, что обшлаг плаща, петелька телогрейки, выставившаяся из-под него, даже пуговица в каком-то красном палете, как бы в засохшей кирпичной жиже. И вдруг меня прохватило жаром: «Да это же кровь!»

— Что с вами? — быстро отбросив плащ, приподнялся я. — Вы ранены?

— Нет-нет! — торопливо отозвался человек и, открыв глаза, протянул в мою сторону толсто замотанную руку. — Гемофилия.

Я вопросительно и молча глядел на рыбака.

— Несвертывание крови. Болезнь такая.

Конечно, не таскайся я по тайге с детства, не побывай на фронте, не повидай всяких страстей и чудес, так и сказал бы, наверное: «Какие же черти посят тебя по лесу с такой болезнью?» А тут поскорее поднялся, подшевелил огонь, бросив в него сухих сучков, чтоб ярче горело, подсунул на уголья котелок с остатками чая и спросил:

— Чем я могу вам помочь?

— Если есть сухая и чистая тряпица...

Я достал из кармана носовой платок, протянул его рыбаку, он кивнул — сгодится. Вспомнив про хлеб — он у

меня хранится в холщовом кошельке,— вынул поклажу из рюкзака.

Долго и осторожно разматывал я руку незнакомца, и чем далее разматывал, тем мокрее и тяжелее делались от крови тряпки, и я ожидал увидеть рану большую на руке, но, размотав кисть и вытерев пальцы, нигде ничего не обнаружил.

— Ерш,— слабо и виновато улыбнулся человек.— Клопул, ведь клопул, проклятый! Как я ни остерегался, все-таки ткнулся, и вот...

Осторожно, не очень туго я замотал руку рыбака и дивился этакой оказии: на брюшке большого пальца, едва заметная, возникла бисеринка, и пока я прицеливался обмотнуть на руке платок, налилась со спелую брусничинку, округлилась, лопнула и тонкой ниточкой потянулась по запястью под рукав.

— И ведь когда стараешься не наколоться, не поцарапаться, обязательно наколешься и поцарапаешься,— продолжал уже бодрее говорить человек, как бы оправдываясь передо мною.

— Это уж точно,— поддержал я,— рябчика мапишь — хоть бы не кашлянуть, хоть бы не кашлянуть, а тебя душит, а тебя душит... Ну и забухаешь... Рябчика как ветром сдует...

Рыбак неторопливо попил чаю, сладкого, хорошо упрившего, и, слегка утолив жажду, поведал мне о том, что болезнь эта у него прирожденная, что сам он из Ленинграда, здесь, на Урале, живет его сестра, и он каждый отпуск ездит к ней, да и не столько к ней, сколько подивиться на уральскую, такую могучую древнюю природу, осенями дивную и тихую. Нигде нет более такой осени. Но главное, страсть свою потешить — нет для него большей радости, чем харюзование, особенно осенями, когда хариус катится из мелких речек. Предупреждая мой вопрос — как же с такой болезнью один по тайге? — немало оживленный чаем, рыбак добродушно и все так же чуть виновато и доверительно улыбнулся:

— Ну, а что? Лучше умереть дома? В больничной палате? Нет-нет! Я уж падышусь, насмотрюсь, нарадуюсь за тот век, который мне отпущен. Пусть он недолгий век, но видел я красот, изведал радостей сколько!..

Что с вами, с этими чокнутыми природой, поделаешь? Сам такой! Пока мой новый знакомый говорил о рыбалке, об Урале, реки и леса которого он, к удивлению мое-

му, знал куда как лучше меня, пять лет здесь прожившего, я напрягал память, пытаюсь вспомнить кровоостанавливающие средства, ибо платок мой и поверху примотанный холщовый мешочек уже пробило изнутри репейно ошетиненным пятнышком, но ничего, кроме крапивы, не вспомнил.

Я сделал из бересты факелок, вылил чай до капли из котелка в кружку и спустился в распадок, где и нарвал лесной крапивки, вымочившись в дуршине почти до ворота. Пока бродил во тьме, рвал крапивку, вспомнил о змеевике — кажется, верное кровоостанавливающее средство, особенно корень. Еще бы зверобойчика хоть кустик сыскать — от всех бед и болезней трава, ну а подорожник-то всюду найдется.

Долго шарил я под завесой пихтача, возле покосов побабьи вольготно зеленой юбкой рассеявшегося, отыскивая в невыбитых литовкой углах лечебную траву, повторяя, чтоб не забыть, начало деревенского наговора: «Горец, горец, почечуйный, перечный, птичий, змеиный или еще какой молодец, — покажись мне, откройся...»

Но отсырели, отцвели травки — осень все же, попробуй без цветов и примет отыскать траву, да еще в потемках — все жухлы, бледны. Однако в теньке среди оплывших морковников и мочалкой свитых трав я нашел все же былки бледно доцветающих стрелок змеевика и рядом его собрата — ветвистый перечный горец, для верности пожевал и ощутил с детства не забытую, почти щавельную кислинку.

За пихтачом, отоптанным колхозными коровами, на маленькой кулижке, возле утихшего муравейника сыскал и ветки зверобоя с отгоревшими восковыми цветочками. Подорожник рвал на ощупь возле речной тропы.

Я парил травки в котелке, остужал павар, делал кашичу из подорожника пожиком. Мой повый товарищ смотрел на меня и рассказывал про Ленинград, воспринимая как что-то должное мои хлопоты — верный признак того, что сам он много помогал людям.

— Война кончилась, — как о чем-то обыденном и привычном говорил рыбак. — Утихает горе. Люди, природа — все-все как бы вновь и повой, какой-то певедомой добротой открываются нам... Жить бы да жить...

Я промыл его руку теплым отваром, осторожно и в то же время содрогаясь от бессильного недоумения и внутри запывшегося холода, вытер капельку крови с брюшка

пальца, залепил прокол величиной с игольное ушко кашицей подошника, завязал руку оторванным от пательной рубахи лоскутом и указал на котелок:

— Пейте! Как можно больше пейте — это должно помочь...

Он послушно пил теплый отвар, с вялой настойчивостью поел хлеба с маслом, потом разошелся в еде и прямо с кожуркой утпел пару моих, почти до хруста упекшихся в углях картошек. Я тем временем еще раз спустился к речке с котелком, вернулся с водой, и рыбак убажленно молвил:

— Навязался вот.

— Ничего, пичего, выплюсь. Успею. Мои рябки от меня не уйдут! Рядом, бродяги! — кивнул я на распадок.

— А мои харюзы в реке. Странно, правда? Спят вот и не знают, что мы тут паготове...

— Да, да...

Я растряс сено пошире, подбил его от пихты в головах. Рыбак прилег лицом к костру, выставив завязанную руку на тепло, и быстро утих. Спал он младенчески тихо, не шевелясь, и я порой вскидывал голову, живой ли. Еще один встречный, еще одно удивление человеческой педолей, силой его, величием перед неотвратимой смертью.

Привычное еще с войны, с госпиталя, непроходящее чувство вины перед обреченными угнетало меня. Происходило это еще и от спокойствия человека, от его невысказанной боли и обиды на судьбу. Но общение с ним не давило. Обезоруживала его обыденная, прямодушная откровенность, в которой не было места истерике, зависти и ненависти к тем, кто живет и останется жить после него, — признак здоровой патуры, трезвого ума и незлого характера.

Я подживлял огонек, палкой сгребая уголья к краю кострища, чтобы грело рыбака спокойным теплом, и в поздний час, в студеное предутрие, сам уснул мгновенно и глубоко.

Проснулся и едва не ослеп от белизны: повсюду на лугах, на зародах, на зеленой отаве, вдоль берегов Усьвы, на ельниках и последних листьях осин и берез белел иней. Каждая хвоинка на пихте с той стороны, где не доставало тепло огня, была как бы обмакнута в серебряную краску. Внизу, в распадке, звонко и беззаботно пицал рябчик, у реки трещали дрозды и, отяжелев памокшим пером, коротко перелетали над землей, шарахались в ельниках, осылая иней, — птица тянула на рябишники.

Я вскочил от огня, бойко горевшего сдвинутыми головешками, и не обнаружил рыбака. На сене лежал клетчатый листочек, вырванный из блокнота, и на нем было написано: «Спасибо, брат!» Я осмотрел листочек с обеих сторон — он был чист, не захвачен кровью. «И слава Богу!» — сказал я себе, поскорее собираясь. Под пихтой, подальше от тепла, что-то серебрилось. Я наклонился: три отборных крупных хариуса чуть прикрыты сырым мхом и веткой пихты.

Под горой, ниже охвостки острова, заметно темнела фигура человека — он забродом стоял на струе и редко, плавно взмахивал удилицем — искусник, рыбачит на обманку!

Оставив завтрак на после, на ходу хлебнув из кружки теплого чая, я торопливо падел рюкзак и поспешил из ельников на опушку, к белолесью, вдоль которого уже пели, заливались задиристые петушки, и мама-рябчиха понапрасну сердчала и сипела с земли, призывая неразумных молодцов к осторожности и благоразумию.

Утро, солнечное, бодрящее, белое, звенело примороженным листом, словно били леса в колокола, пробуждая к жизни все сущее на земле.

ДВЕ ПОДРУЖКИ В ХЛЕБАХ ЗАБЛУДИЛИСЬ

Годы проходят, десятилетия, а все не идет из памяти женщина, встреченная мной на уральском лесоучастке, расположенном возле самой отметки: «Европа-Азия», что неподалеку от станции Теплая гора.

Прежде здесь был арестантский женский лагерь. Почему-то, скорей всего от застенчивости, самые мудрые и гуманные правители упрятывали лагерь в самую недоступную глухомань.

Я работал в газете, «вел лес», и, когда меня занесло в этот, среди лесов, на самом Уральском хребте затерявшийся поселок без названия, лагеря в нем уже не было, все ж остальное как было, так и осталось, даже часть «контигенга» сохранилась, та, которой уходить и уезжать было куда и не к кому.

Осталась от лагеря и комната для приезжих, отгороженная в дальнем конце, значит, к ближнему, примитивно рубленному бараку. Довольно обширная комната с большой белой плитой и узкой боковушкой за нею была

заставлена железными кроватями, заправленными двумя простынями, с плоской, стружкой пахнущей, быстро мнущейся жесткой подушкой. Помещение, беленное прямо по бревнам и по мху в пазах, похожем на зазеленелый куржак, по середине комнаты тесовый стол, прикинутый чистеной простыней, по углам две тумбочки с дырками вместо ручек, кем-то давно расковырянными, некрашеный пол хорошо прошеркан голиком с дрсвоею и поверху как бы отполирован водою из проруби. Меж небольших, уже перекосившихся окон портрет Сталина в мундире воешом, с трубкой, и всем известный портрет Ленина с той милой искоркой в беззрачных азиатских глазах, с той детски доверительной улыбкой, которая предназначена была всех обаять и к себе расположить. Суровая опрятность заезжей комнаты как бы усиливалась сиянием громадной электрической лампочки, ввинченной прямо в жестяной футляр, склепанный в виде подноса и прибитый к потолку.

Навстречу мне и начальнику лесоучастка из боковушки вышла женщина, кутающаяся в полушубок, в накинутой на плечи телогрейке, молча выслушала начальниковы распоряжения — сделать все как надо, и предложила мне раздеваться, если надо, умыться и полежать на лобой из коек, она, когда парод после смены схлынет, коли требуется, может сходить в столовку, да хоть и в магазин.

В заезжей было хорошо, почти жарко натоплено, воздух свеж, хотя и приправлен запахом преющего дерева. Я разулся, прилег поверх одеяла, послушал, как подле уха, за кроватью, в подвешенную бутылку по веревочке скатывается вода и под эту, вкрадчиво звучащую, легкую капель незаметно уснул. Ехали-то на санях долго да по морозной тайге, и вообще после дымного и шумного города меня всегда расслабляло, убаюкивало поселковой тишиной, сладью лесного воздуха.

— Эй, постоялец! — кто-то тряс меня за грудь, — спишь, постоялец.

Я открыл глаза, но все продолжал плыть в глуби легко-го сна, по каким-то снежным пространствам и невдурт узнал сторожиху заезжей комнаты.

— Столовка уж закрылась. Скоро и магазин закроют, а ты все спишь.

Я сбросил ноги с постели, сел, крепко потер лицо руками, извилившись, достал из кармана деньги, и женщина — начальник участка назвал ее Гутькой — затягивая

концы полушалка, прихватив сумку, не спрашивая, чего купить, ушла, так громко хлопнув дверью, что моргнула сияющая лампочка и в часто подвешенные к подоконникам бутылки проворней закапало, где и потекло.

Гутька — Гутяка — Августа явилась скоро, поворотливо начала хозяйничать у плиты, внутри которой, под серой пленкой краснели и порой искрились уголья, приказав мне покудова прогуляться по поселку.

Когда я вернулся в заезжую, стол был уже накрыт и вокруг него, наводя последние штрихи, хлопотала Гутя. Фуфайку и полушалок она спяла, оказалась при довольно окладистой, но осаженной и как бы омужиченной фигуре, руки ее были крупны с простудой траченными бабками, голова вразброс седа. Щеки женщины слегка разгорелись от румянца, впрочем, никак не стершего с лица прикипелой серой обветренности, пыльно осевшей в глубоких морщинах.

Средь стола в сковороде горячо пузырилась разогретая картошка, меж чашек, блюдец и тарелок, наполненных магазишной снедью, на хлебной доске крупно было нарезано холодное мясо и в алюминиевой, от лагеря оставшейся посудине, присыпанные перцем и луком, выкинули мокрые хвосты малосольные харюзы.

— А-а,— разрешая мой молчаливый вопрос, махнула рукой Гутя,— по осени охотничало тут начальство из Теплой горы, сохатого застрелили, рыбы нарыбачили, гуляли, конечно, и вот,— она глянула на меня пристальней, засунула руку под стол и выудила поллитровку,— не спросясь купила, начальник сказал, с устатку полагается. Он зайдет.

Я сказал, что все правильно, с устатку оно очень даже полезно, и по тому, как Гутя быстро и радостно налила в стопки, да броском, едва успев сказать «На здоровье!» — выпила водочку — понял я, заятие это ей привычное и выпивает она к душе.

Проголодавшись в долгом пути, я ел с большой охотой и легко, с удовольствием выпил еще рюмочку, не сразу заметив, что Гутя, выпивая, ничего почти не ест и делается все мрачнее и мрачнее.

— Ты ешь, ешь,— подсовывала она мне посуду с едой.— Я? Я сыта. Всем сыта. Во как сыта! — черкнула она себя ребром руки по горлу.

Забегал начальник лесоучастка, поинтересовался, все ли у нас тут в порядке, умело вылил в себя и одним глот-

ком проглотил стопку водки, погрозил пальцем Гуте — «смотри у меня!» — и умчался — дела.

Гутя проводила его затяжелевшим взглядом и одними губами, как бы делая вдох в себя, обозвала его поганым словом. Заметив, что я чего-то все же расслышал, ворчливо пояснила:

— В лагере шестерил, в начальники вот вышел, но без шестерства не может.

Дело клонилось к тому, чтобы хозяйка казенного дома все же поведала мне о себе, хотя я ее и не просил об этом, но чувствовал, однако, что исповеди мне все равно не миновать. От кошоха, везшего меня на лесоучасток, из мимолетной беседы с начальником лесоучастка, из поездок по здешним лесам я знал много всякой всячины, и об этом поселочке тоже кое-что ведал. Тут, в лесной затени властвовал произвол, был он почему-то особенно свиреп в самых незащищенных местах, в детских исправительно-трудовых колониях, в лагерях для инвалидов. Но самый, самый позорный, самый страшный разгул свирепствовал в женских лагерях и, ой, какие жуткие истории слышал я на лесоучастках, по баракам, от случайных спутников.

Лишь сама первопричина попадания под советскую воспитательную кару для Гуты и ее подруги Зои была чудна, почти романтична, остальное, как у всех мучениц любезного отечества нашего.

Гутя с самого начала войны по всеобщей мобилизации работала на военном химкомбинате, что неподалеку от Перми, он так бесхитростно-точно и называется по сию пору — Кислотный. Соседкой по конвейеру и по койке в общежитии Гуте угодила детдомовская девчонка Зоя, беленькая, фигуристая — «приглядненькой» назвала ее Гутя. Родная деревня Гуты была неподалеку — проехать несколько станций на пригородном поезде, пройти пять верст — и вот, под горой, на берегу реки Сылвы она, родимая, среди полей и хлебов, со старыми тополями по улицам, с палисадниками подле домов, со скворечниками по дворам, с тихой, теплой Сылвой за огородом. Мать часто приезжала в общежитие, привозила картошек, молока и всего, чего Бог пошлет, но и в колхозе работы все прибавлялось, свободного времени все меньше делалось, и мать сказала, чтобы девчонки как-то подладились, заработали себе день — работали-то без выходных, и приезжали сами домой.

Так и сделали. Поехали в деревню. От поезда шли полями, хлеба почти уже поспели, картошка отцвела, огороды полны плодов. Зойка — стихийное дитя все поровила влезть в чей-нибудь огород и нарвать огурцов. Нарвали огурцов, надергали молодой морковки и репы дома, пошли на Сылву — мыть овощи, да и искупались гольшом. Зойка плавала как парень, вразмашку, визжала, брызгалась, дурела. К вечеру натопили баню, мать пошла с девками, напарила их, поровня попасть горячим венником в щекотное место, промывала дурные девчачьи головы со щелоком и всплакнула тут же — обовшивели девки, с тела сошли, а ведь им еще замуж идти, детей рожать.

Вечером пиروвали. Ели свежую картошку, овощи, пили молоко и свежую овсяную бражку. Мать Гути по происхождению коми-пермячка и хорошо варила кумышку — так называется овсяная брага.

Утром считали, считали, когда выезжать, и досчитались до вечерней электрички. А раз так, можно и еще поспать, на коровнике, на свежей траве. Проснулись бодрые, веселые, еще бражки дернули по ковшу, да и в путь-дорогу неохотно подались. Дорогой развезло — решили клип клипом вышибать и отпили бражки из бутылки, которую несли мастеру и коменданту общежития. Увидели свежий, примятый след в желтых сухих хлебах, решили, что через поле путь короче до поезда и пошли хлебами. Но след, кем-то пачатый, возьми и кончись. Девчонки стали метаться, совсем потеряли путь — дети же еще, совсем дети. Слышат поезда, дымы за горою видят, а выйти к станции не могут. Бегали, бегали полями, воздуху не хватает, сил нету, присели в пшенице, обнялись, заплакали да и уснули.

Их судили за опоздание на работу. На всех нормальных предприятиях за опоздание присуживали полгода или год принудиловки с вычетом четверти заработка. На строгом же военном предприятии им дали по году тюрьмы. Но в тюрьме их не держали, направили на общие работы в том же Кислотном, на том же комбинате, на погрузку и разгрузку, на перевалку грузов, раскатку вагонов — на работу, по сравнению с которой работа на конвейере, пусть и в загазованном цехе, но в тепле, была раем, да и не по силам девчонкам, тут и мужики-то не все тянули норму.

Гутю и Зою стали бить, гонять из бригады в бригаду. Дело снова кончилось судом. На этот раз их судили как злостных прогульщиц и саботажниц и дали им по пять

лет. Суд состоялся уже в Перми и оттудова девчонок прямиком отправили на лесозаготовки. Они даже обрадовались, приехав в белый лес из постылого Кислотного, над которым небо покрыто всевозможными дымами, от оранжево-красного до серо-черного цвета.

Но лес и зима только на картинках красивы, для лесозаготовителей, да к тому же еще женщин — место это неподходящее. Начали Гутя с Зоей простывать, доходить, нормы не выполняли. И гоняли их из одной зоны в другую, с лесоучастка на лесоучасток. Урал везде суров, и леса на нем одинаковы, зимний снег по пояс, летом — болота и гнус. А по Уралу болота идут даже и на хребте. И так вот гоняли, гоняли уже ослабленных, отчаявшихся да и притартали их в штрафную зону, сюда вот, к отметине «Европа-Азия». Тут Зоя пашла конец, потому как от непосильной работы и худобы она становилась не страшной, а еще приглядней: глазищи голубые в пол-лица, губы и щеки алы от чахоточного румянца. Завалили ее в сапчасть, там и выглядело ее начальство, стало пользоваться для забав.

Участок возле столбика «Европа-Азия» среди всеобщего произвола и изгальства, будь на то соцсоревнование, по бесчеловечности, по зверству всегда занимал бы первое место. Обслуга здесь не знала уж, что бы еще такое придумать, чтоб еще больше унижить, замордовать, изничтожить женщину. Конвоиры к концам витых ремешных плетей привязывали гаечки и упражнялись: кто с одного удара просечет до костей несчастную жертву. Один крупный специалист просекал женщину до костей сквозь телогрейку и робу. Донага раздетую здесь женщину распинали, привязывали под сторожевой будкой — на съедание комарам, и здесь же, наконец, додумались до того, чтобы садить пагую женщину на муравейник. Палку-распорку привяжут к ногам жертвы, веревками прихватят туловище и руки к дереву да голым-то задом на муравейник. Чтоб муравьям способней было заедать живого человека, во влагище женщине и в анальное отверстие вставляли берестяные трубочки. Кто не слышал крика человека, съедаемого гнусом иль муравьями зажаленного, тот и ужаса настоящего в жизни не знал.

Зоя какое-то время держалась, даже сопротивлялась, как могла, но власть и злое время были сильнее малых Зойкиных сил. Власти тут, в штрафном лагпункте, по работе подбирались, и виду, чтобы наказать, всегда найдут, первая: все за то же невыполнение нормы, затем — пару-

шение режима, месячные не во времени — симулянтка, оправляешься часто — сачок, шаг не удержишь — саботажник, за собой не следишь — себе вредишь, чтоб на работу не ходить, кашель — он и у Сталина кашель, не спит из-за вас, подлюг, думает о вашем счастье дни и ночи отец родной, табаку много курит, вот и кашляет. Особо мстительно карали за месячные, коли они не к сроку, но они тут от простуды, падсады, слабости сплошь почти у всех женщин были не к сроку, гоняли на работу с месячными — ну и что, что заболеешь и сдохнешь, затем и посылают ведь в штрафную команду, тут тебе не курорт.

Злая судьба добивала пригляденькую Зою, сперва ее по начальству таскали, потом уж кому не лень, тот и влох в уголок. Конвойные, сплошь почти нерусские, взяли моду пользоваться Зою в строю: спустят ватные брюки и принародно, на холоду упражняются. Женщине на холоду вообще долго быть вредно, а открытой, мокрой — и вовсе плохо. Они же, конвойные и блатные, сочинили про Зою песню, галясь, хором пели: «Зойка, Зойка, Зойка! Кому давала? Сколько? Начальнику конвоя, не выходя из строя...»

— О-о-о, Господи-ы! — взывала Гутя и, клацая зубами о стеклянную ребристую стопку, выпила водки и какое-то время сидела не шевелясь, уставившись в стол.— Оне ее и в больнице достали, горящую уж с койки стащили, чего они, перепившиеся, очумелые, над ней вытворяли — никто уже не скажет. Веселей забавы у них не было, как, попользовавшись женщиной, для полного уж сраму, затолкать в нее что-либо: огурец, рыбинку, желательнo ерша иль окуня. Зое забили бутылку, и она в ей раздавилась. Я уж в холодном сарае ее нашла — валяется в куче замученных мерзлых женщин и в промежности у нее красный ле-од комками... О-оо, Господи-ы! И за что? За что? На работу девчонки опоздали! Есть Бог? Скажи, ученый человек, есть Бог? Н-нету его, не-е-эту-у...

Еще до того, как опуститься, когда Зоя еще при себе была, успела она определить через начальство, ею ублаженное, свою подружку в комнату заезжих, сторожихой, уборщицей. Гутя потрафляла теплогорскому и другому начальству, наезжавшему в зону позабавиться девушками. Иногда Зою здесь прятала, отогревала, отстирывала, кормила. Сама Гутя, цветущую юность под конвоем проходившая, облика и склада скорее мужицкого, спросом не пользовалась, ну разве что с вышки какой косоглазый

позарится, которому все едино, что женщина, что ишачка. Эти когда за услуги каши дадут, когда и под задницу пнут, выбросят что собаку.

Гутя урелась, погасла, сидела, закрыв глаза, вся обвиснув, черная, страшная. Сходила в боковушку, свернула сигарку и, открыв дверцу плиты, жадно курила, пуская дым в тягу, тягуче кашляла, плевала на веник, за плиту, вдруг хрипло, как бы даже с вызовом, запела своедельную песню:

Две девчонки в хлебах заблудились
И домой не вернулись в срок,
Разгулялись оне, развеселились,
Позабыв про закон и гудок.
Вот настало им горькое горе,
Не дай Бог никому ни за что,
Ах, зачем эта участь такая?
Кто накинул нам эту петлю?

Две последние строчки, заемные из блатных песен, которые мы, дети тридцатых годов, певали еще в детдоме с показной слезой, наигранным рыданием, как бы репетируя спектакль своей будущей жизни.

Я вышел на улицу. Поселок спал и над ним тихие и пухлые поднимались дымы до самых звезд. Вокруг поселка проломленной там и сям стеною стоял, обреченно замерши, лес, высокие вершины елей, вознесясь над тучею леса, крестиками задевали молчаливое небо. Сарай, где еще недавно был эковский морг, набитый колотыми дровами, белел через дорогу, и полная луна серебрила его тесовую крышу. Возле этого поселка, как и возле многих лагпунктов на Урале, не было кладбища. Трупы забитых и замученных людей умело прятали в тайге, и пройдут столетия, а по хребту Уральскому все будут выходить наружу человеческие кости, земляной покров здесь неглубок, сыпуч, заболочен, потоками смывать будет вниз кости в речки и реки, приносить людям, как далекую весть из наших времен. Но давно уж привыкли русские люди к смертям и костям, к мукам, их уж никакими, даже мамонтовыми костями не удивить.

Вон на этом же участке возле отметки «Европа-Азия» лагерное начальство никуда не уехало, замполит лагеря ведает милицией в Теплой Горе, борется с преступностью. Сошки помельче совсем из поселка никуда не девались, по-прежнему здесь руководят, орут, матерятся, замахваются: «Н-ну, погоди, с-суки, дождетесь!»

Не они ли, не воспитатели ль с хребта Уральского, не с сибирских ли каторжных руд начальники и политзаботники бегают ныне по митингам, потертыми мундирами трясут, размахивая красным флагом и неистово раззявив пасть, требуют справедливости, мечтают о возврате к прошлому, чтобы отомстить, довоспитывать, дотерзать недовоспитанный народ, который был так вынослив, так огромен, так приспособился существовать среди зверей, хотя немножко остепенился, ожил, но и сам при этом вызверился, шакалом вокруг смотрит, скалится, воет. Ныне уж кто кого заест, подомнет, изложет, как это делать, осуществлять хорошо его, народ, поднатаскали, теперь вот подуськивают из грязной большевистской подворотни, друг на дружку натравливают, и то-то им радости, то-то веселой потехи будет, когда мы вцепимся в горло братьев своих, а они, радетели наши и заботники, разнимать и перевоспитывать, учить уму-разуму нас возьмутся.

ГЕНЕРАЛ-ХОЛУЙ

Говорят, мертвые сраму не имут. Но у нас и живые не очень чувствительны к сраму — много его, сраму-то, накопилось, вот и приходится сквозить мимо, переступить, отворачиваться...

Во время царствования Брежнева, любившего, как и все советские вожди, подхалимов, шестерок и всякий сброд вокруг себя, возник генерал с топорно тесанным лицом, злой, здоровенный, чего-то все время глазками вышаривающий. Добровольный, штатным расписанием Кремля не предусмотренный, телохранитель Брежнева, холуй в звании генерала-полковника. В нарядном картузе и мундире, возникал он откуда-то и, расталкивая всякий народ, в том числе и членов политбюро, фронтовых друзей и однополчан вождя, помощников, бесцеремонно выстраивал всю эту челядь, обходил, подозрительно осматривал, указывал лапищей туда-сюда. Все и всех осмотрев, все и всех гвоздями глаз проколов, ощупав руками, как куриц, помуржлив вельможный и всякий другой люд, давая всем своим видом понять, что ежели есть тут враги, он их своими собственными руками...

Наконец страж этот беспощадный отодвигался в сторону и кивком головы разрешал приблизиться к его чернобровому божеству, которое снова куда-то улетало —

решать международные ли дела или для торжеств, ровно бы из волшебного сосуда в сосуд переливающихся, может, и на охоту, — но куда бы это светило ни уезжало, ни улетало, его провожали все вожди мирового пролетариата, подобострастно ликующим табуном. Клацая вставными зубами, престарелые мужи целовались, как бабы, взад-вперед, ручкой махали. Суслов платок к глазам подносил, зорко через него и через очки наблюдая: все ли из табуна так же преданно, как он, лобызались с вождем, все ли преданно ручкой делали, все ли пускали слезу.

Генерал-холуй входил в самолет или в поезд последним, опять же оглянувшись, одарив холодящим душу взглядом остающихся служить и вести народ к победам коммунизма, порой пробовал ступеньку, тамбур, отодвигал в сторону бортпроводницу как что-то бесплотное, застывшее солнце.

Однажды в Ташкенте этот чиновный верзила изловил в воздухе своего бога. Напомню, как это было: чернобрый вождь приехал в гости к ласковому вождю Рашидову и среди всяких прочих радостей и достижений ему решили показать новый лайнер, уже намеченный к запуску в серию. Для вождя поставили свежепокрашенный, парадный трап, и он, по-юношески бойконько по нему побежал вверх. Шла прямая телетрансляция столь блистательной победы советского прогресса, показывали сияющий от счастья, рукоплещущий азиатский народ, показывали парадно одетых авиаторов, сбитых в табунок, крупно показывали елею улыбающихся, сладкую слюпу пускающих узбекских заправил — баев, ликующий женский корпус с детскими флажками, осыпающими путь невиданного героя цветами.

И вот, значит, вождь устремился по трапу вверх, в белом костюме, до кармапов обвешанном золотом и, должно быть, не выдержав тяжести металла, вдруг зашатался, ртом воздух захватал и рухнул. Генерал-холуй с детства, видать, вратарем был или в лапту хорошо играл, тигрой метнувшись по воздуху, изловил в воздухе вождя, как тряпичный мячик. Картуз генерала — главная его красота и достоинство при этом, свалился наземь, обнажился седой ежик, по песет холуй в беремени свое божество и скупая солдатская слеза катится по его кирпично-красному лицу.

«Ну как?! — криво и надменно усмехаясь, вопрошает он у буквально оцепеневшей толпы, — что бы вы без меня то значили?!»

С тех пор генерал-холуй — по фамилии будто бы Александров — тенью приклеился к вождю, никто уж не мог отрицать его полезности, незаменимости в государственном деле, он по праву считал себя главнее всех среди придворной челяди. На роду писано всякому генералу, советскому тем более — ненавидеть демократов, и он их люто ненавидел, хотя по рылу видно, не понимал, что это такое: не то коньяк под названием таким, не то гулящая баба, не то овощ. Грамотеи, видать, ему подсказали, что самые наивреднейшие демократы были на свете и остались — журналисты, еще, мол, Гоголь — писатель такой на Руси был — называл их «бумагомарателями», «писаками», и, получив неограниченную власть при дворе, грубо презирая все политбюро и цека вместе с ним, считая, что он вполне справится в этом послушном государстве сам, один, без всякой высокооплачиваемой челяди, генерал-холуй расталкивал всю семенящую номенклатуру, партийную шушеру, щадя лишь одного Косыгина — за болезненный его вид, боясь угадывающейся в этом правителе конторской солидности и грамотности, которою он не владел, хотя и кончил политическую, техническую и еще какую-то военную академию. Да и считал он вместе со многими советскими генералами, что от грамоты этой одна пагуба происходит, порча всего общества, и все раздоры, все разброды от нее, от грамоты этой треклятой. Генерал-холуй не просто презирал грамотеев-демократов, он решительно с ними боролся, лупил их где только возможно было. Как появится на люди выздоровевший вождь, ртом паралично хватающий воздух, но бодро при этом выпячивающий грудь со звездами Героя, тут же и возникнут рукоплещущие толпы, ликующие женщины, угадывающие в вожде угасшего сладострастника, ругающие родителей за то, что сотворили они их не в то время, на фронте вот тоже угодили не в восемнадцатую, самую героическую армию...

Ну и тут как тут орда эта пишущая, снимающая, но как начнут они щелкать аппаратами, жужжать кинокамерами, палетит на них агромадным коршуном военный истребитель, выхватывает аппараты, говорящие, снимающие, и по башкам, по башкам этих идейных дристунов — диссидентов — не ослепляй вождя, у него здоровье неважное. Как нахватает остервенелый холуй аппаратов и камер целое беремья, хрясь всю эту вредную аппаратуру об асфальт — идет победителем по стеклам, по железу

оскалившись, точно лагерный сытый кобель, человеческой кормленый.

До наших дней дошел миф о том, что, когда великий монгольский хан проезжал на коне по завоеванным странам и городам, все миряне обязаны были лежать лицом в землю, и если кто из наиболее любопытных поднимал голову — ее тут же сносили кривой саблей с плеч: «Не гляди на солнце — ослепнешь!»

У хана был поврежден позвоночник, к старости он плохо смотрелся на коне и не хотел, чтобы его, мира владыку, пастуха алаха на земле, лицезрели жалким и беспомощным. Генерал-холуй тоже не хотел, чтобы записывали вождя — видно делается не только выдающаяся умственность неумолимого марксиста-ленинца и писателя, но и всю дряхлость его, затасканность — века и эпохи разделяли владык, но, гляди-ко, ничего не переменилось в их обращении с черню.

Был да жил один человек в Москве, который хотел убить генерала-холуя. Человек этот работал кинооператором на киностудии, ему выдали дорогую американскую камеру, чтобы уж заснять так заснять вождя, достойно его немеркнущего образа заснять. И эту-то вот камеру верноподданный страж, ошалевший от важности своей миссии, хрястнул об перрон, а она, камера, стоила более ста тысяч на не очень еще ущербные деньги. Кинообъединение требовало возместить убыток, грозилось полоротого сотрудника упечь в ближайшую тюрьму. Кинооператор был гол и беден, как и многие труженики нашего передового искусства, он запил с горя, плакал и грозился: — Достану пистолет и застрелю падлу.

В ту пору достать пистолет было трудно, да и кинооператор-то, работник передового искусства, шибко усложнил свою задачу. Он задался целью не просто уложить обидевшего и унизившего его военного кидалу, но, как человек творческого труда, хотел это сделать непременно художественно — эффектно, чтоб получилось, как в заморском боевике: расстрелять холуя на глазах самого хозяина, в присутствии всей высокоумной кремлевской хевры. Но пока кинооператор доставал пистолет, пока выжидал подходящее время, определял место для эффектно-киношного действия, вся досада его иссякла, мстительные чувства, как и водится у русского человека, в сердце остыли, да и вождь вскорости взял и помер.

Генерал-холуй, отскорбев, отплакав, уединился в своей

богатой подмосковной вилле, слышно, обзавелся презренной говорящей машинкой, редкостные по ценности материала воспоминания диктует на машинку, потому как не советский вовсе тот генерал, который мемуаров о себе не пишет. Обработчиков уже дюжину нанял — обработчиков у нас генералу найти легче, чем грамотой овладеть.

...Ничего не видели вы, люди русские? Генерала-холуя не запомнили? Дела и подвиги тех прежних, некогда любимых вождей уже забыли? Или вам, как прежде, хочется «ура» покричать, ручкой помахать вслед любимым отцам-вождям, их карточки обмуслить поцелуями. А не хочется ли прикопчить холуя? В себе прикопчить?..

В ПОЛЬШЕ ЖИВЕТ «СИБИРЯК»

«Дорогой Виктор Петрович!

Я просто не понимаю, как эти годы быстро текут! Здоровья тебе крепкого — как сибирский мороз! Тебе и всем твоим. И России, стране добрых, душевных, отзывчивых людей, — спокойствия и добра. А нуждается во всем этом твоя многострадальная страна. Я ведь сибиряк, и все это понимаю, стараюсь понимать и переживаю все это по-своему. Но, как и ты, глубоко убежден: рано или поздно все будет хорошо. Россия не из таких бед выходила победителем.

Я уже писал тебе, как я обрадовался письму и одной из твоих новых «затесей» — «Открытие костела». Одно еще добавлю: спасибо, друг, что ты не только не забываешь моей поэзии, но и прекрасно ее понимаешь. Спасибо! Я не теряю надежды, что рано или поздно мне удастся что-то твое не только перевести на польский, но и у нас напечатать.

А пока еще раз большое спасибо!

У нас в Польше, как знаешь, — перемены большие. Но беда в том, что мы, поляки, — народ упрямый и своевольный: социализма уже не имеем (был ли таков?), а капитализма еще не имеем, не научились. Трудно людям жить. Богатые все богаче, а бедные все беднее. Во многом спасает нас то, что, как ты знаешь, у нас всегда мужик, деревня была единой. Хлеба у нас всегда был достаток. И частенько с маслом.

И спокойно пока у нас, брат в брата не стреляет...

Мне трудно даже думать, как ты, старый солдат, россиянин, переживал то, что осенью случилось в Москве... Просто горе. Мне кажется, что это не без глубоких, дай Бог, чтоб не трагических, последствий...

В культуре — плохо! Писатели разбежались кто куда — налево и направо. Но это не беда. Это политика. Но беда в том, что не пишется. Нет книги польского автора, которую можно бы назвать не только современной, но и важной. Но, может, еще поэзия у нас неплохая. А в книжных магазинах книг — множество! Прекрасно, во все цвета радуги, на хорошей бумаге изданы, но тема!? Извини, друг, как германцы говорят — «один большой шанс»... всюду деньги, всюду деньги без конца...

Так и живем помаленьку.

На здоровье пока не жалуясь (сибирская закалка с детских лет!), семья тоже пока держится.

С весны до осени иду твоим следом — почти все время сижу в своей родной деревне. Там я построил маленький домик и занимаюсь садом, огородом.

И писать не бросаю, это само собой ясно. Уже второй год упорно пишу свою сибиряду. Кому же это написать, ежели не мне? В феврале 1940 года наш транспорт спецпереселенцев остановился на станции Канск, в твоём родном Красноярском крае. Мороз, зима, тайга и... сибиряки! А потом были речки Пойма, Бирюса, Она, Тайшет и т. д. и т. п... Не знаю, что это будет: роман, повесть, воспоминание, не знаю... Но по мере таланта, по мере возможности хочу и сделаю все, чтобы эта вещь была правдивая и художественная. Думаю, хочу, чтобы это было дело жизни моей. Пишу, пишу, пишу... Как знаешь, там, в далекой Сибири, спит сном вечным в тайге над Поймой моя мама... Что это за писатель, который судьбу своей матери не запишет? Эх, друг мой, стараюсь, как умею...

Иду, застегнутый веревкой,
Сажусь под сосны на лужок.
На мне дырявая поддевка,
А поводырь мой — батожок...

Не знаю другого поэта, так русского из русских, как Есенин!

Если крикнет рать святая:
Книзь ты Русь, живи в раю!
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою!..

Виктор, дорогой!

Еще раз всех тебе благ. И творческой весны. Ждать буду твоего словечка. Надеюсь, что зимой ты в Красноярске, а мое письмо успеет до весны, когда ты отправишься на Енисей в родную Овсянку.

Крепко обнимаю, всегда твой,

Збышек ДОМИНО».

Вместе с войсками 1-го Украинского фронта наша артиллерийская бригада перешла государственную границу в районе Перемышля, далее Бжозув, Ярослав — первые зарубежные города, по-нашему, районного масштаба. Много похожего на нашу Украину и украинцев, роскошное поместье со всякого рода природными, скульптурными и архитектурными чудесами. Но рассматривать эти чудеса, узнавать, где поместье, некогда — идут бои, надо работать. Запомнилось лишь множество мраморных скульптур по аллеям, одна из которых была повреждена прямым попаданием мины или снаряда, и два человека, поляк и красноармеец, пытались починить скульптуру над прудом, в котором сверху брюхом плавали оглушенные декоративные рыбки.

Затем был город Жешув — это уже город солидный, центр воеводства, но идут бои, город во многих местах горит, идет работа, глазеть некогда.

Вскоре — я помню и никогда не забуду эту дату: 17 сентября 1944 года — меня тяжело ранило в предгорьях Карпат, и выводил меня, раненого, из полуокружения мой фронтовой друг Вячеслав Шадрин, умерший год назад в городе Темиртау. Из моих фронтовых друзей Слава был самым титулованным — он прошел путь от сцепщика вагонов до заместителя директора по транспорту Карагандинского металлургического комбината, отключившись лишь на два созыва в Железнодорожный райком Караганды, на должность первого секретаря. Ему светил и третий раз, и в перспективе высокий кабинет в обкоме, но, считая партийную работу бесполезной и даже вредной, мы, его фронтовые друзья, отговорили его от этой затеи, и он по настоянию министра путей сообщения поехал налаживать транспорт на Нижне-Тагильском металлургическом комбинате. Но на преодоление «бардака» и налаживание работы на двух промышленных гигантах даже его неистовых сил не хватило. Надсадился. Умер.

Но еще до того, как не стало моего замечательного друга, побывал я в Польше, в тех местах, где довелось

воевать, и в том предгорье, где волок меня вниз с горы мой друг. Я успел ему об этом не только рассказать, но и написать.

Тогда-то, во время первой поездки в Польшу, я и познакомился со Збышеком Домино, работавшим в ту пору секретарем Союза писателей Жешувского воеводства. Говорливый, подвижный крепыш с приветливым лицом и незамутненным взором честного и доброго человека, он взял меня под свою опеку и сопровождал за город Санок, к месту, где я пролил последний раз кровь на войне, и которое тянет к себе так же, как и место рождения, как родительские могилы и вообще все самое родное и святое на земле.

В пути Збышек рассказал мне простую и в то же время редкостную, почти диковинную историю своей семьи. Но перед этим он свозил меня в ту роскошную усадьбу, на пути указав мне памятник Ивану Туркеничу — молодогвардейцу, здесь погибшему в бою, и показал остатки своей родной деревеньки, ютящейся на бедных суглинках, среди бедных садочков и огородов.

Зато усадьба пана Потоцкого, а именно ее мы и видели в войну, древнего, богатейшего шляхетского рода, известного на всю Европу и Россию, была восстановлена, прибрана, и только теперь я подивился ее роскоши и красоте. В панских покоях, в дивном музыкальном зале композиторов, шел концерт — играли Шопена, Генделя, Моцарта, Баха, Бетховена, — ежегодно сюда съезжаются со всего мира выдающиеся музыканты, чтобы блеснуть своим искусством. И беломраморная богиня над прудом, целомудренно прикрыв ладошью низ живота, гляделась в пруд с цветущими лилиями, и рыбки красивыми теньями скользили меж ними...

В 1939 году после «освобождения» польских окраин от капиталистического и прочего гнета, наше мудрое правительство и Великий Учитель сделали широкий жест, разрешив бедным польским крестьянам занять тучные украинские земли «по ту сторону» границы, с которых были согнаны и куда-то увезены (а куда — Збышек скоро узнает) неблагонадежные украинские крестьяне.

Отец Збышека Домино долго думал, но быстро собрался, потому как, кроме детей, никакого обременительного багажа не имел, да многие польские семьи ехали обживать украинские земли налегке, забрав с собою лишь коров и коней, у кого они были.

Им дали возможность отссытаться, вырастить урожай, но убирать его им не довелось, поляки-переселенцы не уверены, что урожай тот тучный, падсадной работой доставшийся, кто-либо вообще убирал. Уже имеющие богатый опыт переселений, изгнаний, изводов, истребления крестьян, советские молодцы сбросали полячишек в вагоны и повезли вперед, на восток. «Ах, какая же большая страна Россия! Как длинны ее дороги и необъятны земли!..» — годы и годы спустя, качая головой, восклицал Збышек. Они ехали долго, голодая, бедствуя, привыкая к мысли, что не все доедут до места и совсем уж, совсем не все узнают счастье возвращения на свою истерзанную и обманутую родину.

Их привезли в Капск — разбросали по глухим селам, вид которых, однако, был и приветлив, и небеден, а земли вокруг, пу точь-в-точь, как на Украине, хоть на хлеб ту землю мажь вместо масла.

Семью Збышека свалили во дворе, где хлопотала по хозяйству и на кого-то ругалась еще довольно молодая, крепкая, белозубая хозяйка. «Чё сидите-то середь двора, на самом пекле?» — закричала хозяйка и не пригласила, а прямо-таки скидала гостей в зимовье с закрытыми наглухо ставнями. В зимовье было чисто и прохладно. На большом деревянном столе в ряд на ребре стояли вынутые из печи хлебные караваи, по окнам и на полках — ряды кринок и горшков с молоком, сметаной.

«Дети! Ничего не трогать, пусть умрем с голоду, ничего не трогать! — сказал отец Домино. — Вы же видите, какие тут люди? Хозяйка — зверь!» Дети тихо плакали, мать, обняв их, отвернулась, чтобы не видеть ни хлеба, ни кринок.

«Хозяйка-зверь» пришла, встала в проеме дверей и, подняв фартук к глазам, показывала на хлеб, на кринки, и бедные, запуганные люди понимали это так: «Попробуйте тропьте! Я с вас шкуру сдеру!..»

Но хозяйка оказалась ангелом небесным по сравнению с хозяином. Он налетел на самое хозяйку коршуном, оттолкнул ее, и слышалось только сплошное: «Дура!», «Мать!», «Дура!», «Мать!» — потом налетел на старшего Домино, затряс его за грудки: «Ты-то чё сидишь? Дети голодны!..» — и снова: «Мать! Мать! Мать!»... — «Пан не разумие по-российску», — заступилась за отца мать: — «А-а не разумие. Да-а он ить не русской!» — тут пан-хозяин стукнул себя кулаком по голове, схватил со стола кара-

вай, переломил его через колено, разорвал на куски и — детям их, детям, теплый, ароматный. А хозяйка теперь уж громче громкого ругала папа-хозяина и себя заодно, плача, паливала молоко в кружки...

Как они смеялись потом, вспоминая эту встречу на выселении, на сибирской-то, на «каторжной» земле. Здесь и выросли дети Домино, здесь и возмужали. Збышек поначалу попал подпаском к колхозному пастуху Матвею, ну и, конечно, старался изо всех сил. А Матвей был большой плут и выпивоха. Перевоспитав кадр, попавший под его начало с чужих, малоидейных земель, научив его матерно ругать скотину, Матвей посчитал на этом воспитательное дело законченным, передоверил всю работу малому полячонку, ложился спать в тень, осушив перед этим чекушку водки.

Там, за Канском, осталась навечно мать Домино, а все остальные вернулись в Польшу, на родину, сохранив чувство признательности и любви в сердце к Сибири, к сибирским людям.

Збышек подарил мне свои книги, одна из них называется «Кедровые орехи». Я, еще учась в Москве, передал ее для перевода — и с тех пор ни книги, ни переводчика. Такое у нас, к сожалению, тоже бывает, и чем дальше, тем чаще.

Иногда наши пути со Збышеком перекрещивались — одно время он работал советником при польском министерстве культуры и недолго работал в польском посольстве в Москве, тоже по культуре, чего-то возглавлял.

В те дни, когда в Красноярске был Горбачев, в Киеве встречались ветераны 17-й Киевско-Житомирской армидивизии. Я почти наверняка знал, что встреча эта — последняя, состарились все мы, ветераны войны, и потому предпочел встречу с ветеранами родной дивизии пестрой свите Президента. И однажды в гостинице нос к носу столкнулся со Збышеком. Братски обнялись мы с ним, равно бы чувствуя грядущие события в судьбах наших стран, долго сидели, говорили. Збышек ездил в Сибирь, искал могилу матери. Не пошел, но не терял надежды пайти. А пока что вез горсть земли с сельского кладбища.

Изредка я получаю письма от Збышека Домино из Жешува. Вот перед вами последнее, на днях мною полученное письмо. Стоит оно четыре тысячи злотых, у нас пока письмо в зарубежье еще 165 рублей стоит, может, уже и больше, но зато и письма идут месяцами до Моск-

вы, а отправленное мною в августе прошлого года деловое письмо из Овсянки пришло в Калугу аж в декабре! Совсем изварлыжился трудящийся наш народ, совсем рассыпается телега, оставленная нам в наследство Страшной Советов,— никуда уж ничего не везет, зато партийного, постановлений об улучшении жизни и того больше, коммунисты, чуть в сторону отодвинувшись, руки довольно потирают, фашисты зубами кладают. Пусть не очень весело, зато разнообразно живем — об этом вот я и пишу другу Збышеку в Польшу и знаю, он погорюет за нас, о Сибири погорюет так же, как горюет и о своей родной, до боли любимой Полонии.

ОТКРЫТИЕ КОСТЕЛА

Куда только не заносило меня в этой пестрой жизни! Однажды занесло в польской стороне на открытие костела в Новой Хуте, на комбинате имени товарища Ленина.

Польское католическое объединение «Пакс», которому уже в то время в стране принадлежали многие промышленные предприятия и коммерческие службы, в том числе и знаменитая на весь мир «Поллена», выпустило книжку моих «Затесей» в переводе Халины Клеминьской и пригласило меня в гости. В ту пору между журналом «Наш современник» и издательством «Пакс» существовало постоянное и тесное сотрудничество, которое осуществлял и поддерживал «заклопотаны» поляк Ян Ярцо, и опто, этот, до костей избеганный, постоянной суетой одержимый и, несмотря на суету, уже патворивший пятерых детей, да и шестого уже заказавший, Янек все, что мне желалось, выполнил, куда надо — свозил, чего надо — показал, и все грозился показать «грандиозное событие».

И вот мы двинулись из Варшавы в Краков. Шумный, говорливый Ян, перекрестившись, умолк надолго, сделал вид, что дремлет, потом и в самом деле задремал. Второй Янек — шофер, который утверждал, что ниже ста километров ему ездить скучно и что по этой причине он не любит больших и длинных машин, предпочитает им маленький, уютный польский «фиатик», в котором вроде бы погами дорогу достаешь и не тебя машина, а ты машину везешь, точнее, летишь на ней. Янек этот, а Янеков в Польше все равно, что Ванек в России, поднял в воздух машину и мы полетели, обгоняя всех и все, не обращая никак-

го внимания на встречных и поперечных, на поляков, на иностранцев, сверлящих пальцем у виска.

В прошлый мой приезд мы посетили места боев в Карпатах, где меня ранило, и за нами увязался ехать секретарь Союза писателей Жешувского воеводства Збышек Домино, который больше восьмидесяти километров не держал. Янек, отдалившись от него на многие километры, небрежно бросал нам, как в пынешней модной передаче телестудии Останкино: «Отдыхайте!»

В одну из таких передышек он рассказал нам, что недавно на этом же шоссе убил машиной «крову», маленько испугался, но приехала полиция и признала виноватым «водителя крови», а то бы сидеть Янеку в краковской тюрьме, в садах среди города стоящей, напоминающей древний замок. Поглядев на ту тюрьму, я мечтательно сказал: «Вот бы сюда в одиночку попасть! Во где писателю идеальное место для работы...» И поляки вежливо меня заверили: «Ешчэ ниц не страcono, вензене вечыстэ, зачэка» — я и без переводчика понял, о чем речь: еще не все потеряно, мы временны, тюрьма вечна, она подождет.

Мы почевали в Кракове, в гостинице паксовского филиала, где царил деловая обстановка, и я тогда уже начал понимать, что власть, лозунги, речи, болтливые трескучие газетенки в Польше принадлежат коммунистам, все же остальное деловые люди, в том числе и могучее католическое объединение, из-под них давно вынули. Коммунисты пробовали пойти против течения, вмешаться в жизнь и настроение народа, при закладке костела в Новой Хуте и освящении камня, привезенного из Ватикана, с могил древних святых Петра и Павла, Гомулка напустил полицию на народ. Случилось столкновение, было убито двое или трое верующих. И такая волна возмущения покати-лась по стране, что смысла она с поста товарища Гомулку вместе с его приспешниками.

Костел, деньги на который по грошу, по золотому соби-рал народ, в основном с комбината имени товарища Ле-нина, главного безбожника и проходимца нашего века, был построен. Ожидались волнения при его открытии. Вот отчего Ян Ярцо молчал всю дорогу, молчал в Кракове, его костистое лицо делалось все более остроуглым, мрачным и даже скорбным. Все распоряжения он отдавал тихим, как бы даже пригасшим голосом. А тут еще с почти пошел мелкий, по густой дождь и тревожная дошла весть: сильно заболел кардинал Вышинский — глава католической

польской церкви, и едва ли сможет быть на открытии костела в Новой Хуте, но поручил он это важное дело не менее авторитетному в Польше человеку — краковскому кардиналу Войтыле, который был родом из этих земель, где-то тут работал в шахте, воевал с фашистами, учился, служил, проповедал.

Важность и величие события заключались в том, что открывался первый в послевоенное время костел на польской земле и едва ли не первый во всей Европе, воздвигнутый в пышные времена на всем народом собранные деньги.

Двадцать пять тысяч человек собралось на открытие своего костела. Двадцать пять тысяч зонтиков загрозило площадь перед костелом и прилегающие к нему улицы. Две с лишним тысячи сестер милосердия с новыми сумками на груди, в новых белоснежных фартуках и белых чепцах, снежными лепестками, напоминающими сибирские подснежники, выстроились на обочине площади, готовые в любую минуту к любому мирянину прийти на помощь. Регулировало и порядок соблюдало оцепление из военных, все отряды были из Войска Польского и все, как на подбор, молоденькие парни — «сыночки», и ни одного полицейского, на которых был зол народ за прежние кровавые дела.

«А-а, чэрвопэ было! — ворчал Ян. — А-а, пся крев, испугались!»

Площадь и улицы все заполнялись и заполнялись. Неугомонному же Янеку нашему непременно надо провести машину к самому костелу. Не сигналив, не ерзая, ехал он почти по ногам в неохотно расступающейся толпе, малейшая искра, малейшая ошибка, как толпа и идущие следом машины опрокинут и растопчут наш «фиатик», что спичечный коробок, о чем я и сказал Янеку. Он сквозь стиснутые зубы ответил, что хоть и дурен, невоздержан нравом, но тоже хочет жить, потому что молодой и у него пусть не такой выводок, как у старателя Яна Ярцо, но все же есть «дзецко», прелестная дочка Марышька.

Наконец, мы притиснулись в каком-то закутке, вышли из машины и услышали тихое пение — поляки пели псалмы, пели паподобие наших романсов, пели все, малые и старые, инвалиды и рабочие, богатые и бедные, пели и плакали. С неба лился дождь, с зонтиков лился дождь, по лицам людей лился поток слез, омывающих душу, иногда высокий чей-то голос срывался на рыдание, возносился

пад толпой, пад этим морем зонтиков, качающихся и плавающих в дожде людской стихии, и тут же голос отчаяния и боли опускался с высот, соединялся с гласом народным — единый хор славил Пресвятую Деву Марию, Господа Бога, благодарил за деяния Его и милости, просил прощения, просил даровать счастье покаяния и любви к ближнему.

Ничего подобного никогда мне еще не приходилось слышать, никогда более не доводилось видеть такое единение, внимать такому могучему и смиренному сердцу молитвой объединенного народа.

В воздухе, в пелене дождя послышался громкий щелчок, и пад костелом, на крышах домов и на балконах зашумели экраны — по телевидению зазвучало напутственное слово и благословение главы всепольского духовенства кардинала Вышинского.

В праздничной сутане вишневого цвета, в алой шапочке, прибранный, парадный, большой кардинал возлежал на белой постели и тихим голосом поздравлял польский народ, трудящихся краковской земли и комбината в Новой Хуте с великим событием, призывал к спокойствию, к смирению, напоминая, что при закладке костела пролилась кровь, и ныне небо оплакивает светлыми Господними слезами те невинные жертвы, о которых Господь наш всегда помнит, всегда страдает за нас, грешных. «Модлеше, жэбы мою и вашэ офярэ пшыёл Буг, Вшэмогонцы» (я молюсь, чтобы мою и вашу жертву принял Всемогущий Бог)». И далее кардинал говорил о том, что человечество устало от крови, братоубийства и страданий, человечество нуждается в покое, в мире, молитва должна заменить на земле боевые военные марши... «Так будьте же достойны слез и прощения Господа нашего, уймите в сердце гнев, не опускайтесь до мести тем, кто сеет на земле зло. Гордо, смиренно и достойно ведите себя при открытии храма Господнего, не допустите кровопролития, бунта и братоубийства. Господь един. И он за нас, страждущих, о милости и мире молящихся...»

Вот примерно то, что перевел мне Ян Ярцо из речи и напутствия умирающего кардинала Вышинского и что сохранила память, ведь было это уже давно, может, более двадцати лет назад.

Затем началось какое-то движение на площади, словно бы шла перегруппировка войск, наводился порядок у входа в костел, который я никак не мог ухватить взглядом из толпы. Но вот откуда-то свалился совершенно захо-

поташый Ян Ярцо, сунул мне в одну руку несколько гвоздик, в другую — картонную карточку, сказал, что это пропуск в ложу, и потянул меня за собой. Мы очутились на трибунке, собранной из легких металлических трубочек. Меж рядов трибуны, на самом верху стояло кресло с высокой резной спинкой, крашенное черным, с вишневым бархатным сиденьем и спинкой. Люди подходили к этому креслу, клали на него цветы и на минуту присаживались. Подведя меня к креслу, Ян Ярцо многозначительно улыбнулся, велел мне проделать то же самое и в заключение загадочно сказал: «Будешь со временем гордиться, что сидел в этом кресле...»

Расспрашивать Яна Ярцо и разгадывать его слова было некогда — открылась верхняя боковая дверь и нас попросили поспешить на определенные нам места.

Новый костел был нов и по архитектуре: он не возносился в небо островерхими крышами, на которых малой птичкой сверкали крестики. Новый по архитектуре, из современных материалов строенный, веселее древних храмов крашенный, он совмещал в себе и стиль кубизма, и барокко, да и от современных убогих зданий в нем что-то было. Спаружи костел казался небольшим сооружением, несколько даже и потерявшимся в толпе и как-то ужавшимся в себе застенчиво от такого к нему всеобщего внимания.

Но внутри костел, несмотря, опять же, на строгую, расчетливую архитектуру, поражал взор роскошным великолепием в недорогом убранстве. Ложа прессы располагалась действительно в ложе, прилаженной наподобие балкона вдоль глухой, торцовой стены, там уже толпился народ, жужжали многочисленные кино- и телекамеры — открытие костела в Новой Хуте было событием не местного значения, шла трансляция чуть ли не на все страны Европы, кроме нашей, безбожной, снимались ленты для Латинской Америки. Католики на исходе двадцатого века оказались не столь разобщены и подавлены большевистско-гитлеровскими режимами, как православные христиане, они активно объединялись, используя для этого любую возможность, показывали красочные спектакли с изображением истовой веры в Господа, так что гордо дремлющим православным оставалось лишь сердито хмуриться и ворчать.

Огромный зал костела, полный света и огней, несмотря на все продолжающийся паволочный дождь, серо опе-

ленавший большие стекла, сверкал, переливался разноцветьем, еще не потускневшим, ярким золотом на канделябрах, абажурах, подсвечниках и росписях. До потолка возносились в нем окна, пористый камень, искусно тесаный, красиво уложенный; серебристые алюминиевые конструкции — все-все создавало ощущение легкого полета ввысь, в небо среди переливающегося волнами небесного света. Капкан, или как его там, в черной длинной одежде и в черном головном уборе, излаженном в виде огромной бабочки со сложенными крыльями, отпер двухстворчатый вход в помещение, на улице шевельнулась и прихлынула волна плотно спрессованных, мокрых от дождя людей. Вот уж к стенам, к окнам кого-то придавили; вот уж кто-то смертно вскрикнул пронзительным детским голосом. Но капкан загородил собою вход, властно вскинул вверх руку с двумя сложенными пальцами, что-то негромко крикнул — и все унялось. Тут же строгий этот человек, руководивший всей торжественной церемонией, отступил в сторону. В храм вошла пожилая женщина в одежде и с номером узницы Освенцима, ведя за руки двух мальчиков-ангелочков — к Телу Господню, вытесанному из розового мрамора и возлежащему на невысоком помосте. Я сперва подумал, что это сцена и на нее вот-вот вынесут стол с красной скатертью, поставят на него графин, на стену повесят приветливо улыбающегося плешивого Ленина. За тот стол, в президиум усядется местное начальство вместе с кардиналом Войтылой, и начнется тяготное торжественное заседание.

Женщина, бывшая узница концлагеря, мальчики-ангелочки обочь ее опустили на одно колено, поклонились мраморному Телу Господню, затем женщина приложила к нему губами, за нею все так же точно проделали и мальчики-ангелочки.

«Ну вот сейчас-то и войдет местное начальство вместе с кардиналом, и затешется на сцену», — думал настойчиво я и снова ошибся. Вместо начальства в храм вступило сто бывших узников фашистских лагерей, и я решил, что еще сто узников вступят — из советских лагерей, но их или не оказалось вживе — советские палачи работали «чище» немецких, или еще не наступило время для подобных демонстраций.

Все мученики, вступившие в храм, были одеты в основном в концлагерные одежды, шли на костылях, катились на тележках, вели друг друга под руки, и пестрой

кучей свалились они на полу у подножия гроба Господня, издав единый душераздирающий стон. Воплями, громкими рыданиями мольбы и раскаяния откликнулась огромная толпа возле храма.

И все текли, текли по высоким стенам — стеклам, все не иссыхали слезы небесные...

Следом за бывшими узниками в храм величаво, как это умеют делать только папешки, ступили немногочисленным строем послушницы, так чисто и нарядно одетые в кремового цвета мягкие одежды, голубыми глазами сияющие, с русыми волосами до плеч, все, как на подбор, красавицы славянского типа. Люди невольно поднялись навстречу им, заулыбались сквозь слезы умиления, инвалиды, кто был зряч, вызывавшие у людей боль и слезы, расступились, пропуская вперед дивных этих девочек, вселяющих надежду в сердце, что очистится еще мир Божий от скверны, народит еще красивых детей, вырастит людей, достойных звания чада Господня, и успокоится, наконец, взбесившееся человечество красотой и верой.

Следом вошли стройными рядами маленькие послушники, за ними подростки, юноши, строгость одежда которых смягчали лишь белые воротнички и узенькие манжеты.

И, наконец-то, вступил в храм величественный кардинал во всем великолепии: в золотой короне, с золотым крестом, прижатым к груди. Длинную мантию с золотым шитьем и белым шелковым подкладом поддерживали за полы два белоголовых мальчика, тоже похожие на ангелочков. За кардиналом сосредоточенной свитой шли строгие священнослужители высоких рангов, дальше — капеланы, священники, и, наконец, храм начал заполняться верующим людом.

Ни одного не только пьяного, но и выпившего в толпе не было. Несколько раз подъезжали машины «скорой помощи», кому-то деловито и сноровисто оказывали помощь сестры милосердия. Народу возле костела, несмотря на непогоду, не убыло, а прибыло — подъезжали люди из Кракова, из Варшавы и других городов.

Ян Ярцо, обязанный представить отчет об открытии костела в газету католического объединения, метался между мной и паствой и затерялся совсем. Переводить было некому, да и незачем. Я увидел и понял главное: польский народ, несмотря на все его потери, невзгоды и падетое на него коммунистическое ярмо, в порядке. Так истово пре-

дашний Богу и вере народ печистой силе не одолеть. До содрогания в сердце, до блевотины насмотревшийся в течение жизни, как наши вожди и прочие партийные ярыжки, сминая друг друга, лезут на мавзолей по праздникам и во всякие почетные президиумы, куда их выбирали под аплодисменты даже заочно, я подумал, что, может, и мы когда-нибудь доживем до того, что в храмы и дворцы будут первыми входить мученики и дети, трудовые люди и старики, а не партийные авангардисты и всякие идейные проходимцы.

Кардинал Войтыла освящал новый храм, построенный на трудовые деньги, что-то говорил, молился, припадая на одно колено и прищипывая к мраморному Телу Господню. Говорили и крестились также и другие священнослужители. Вот и колокол зазвучал вверху, и под звуки его вознеслось к нему многоголосое пение, умиленно плакали дети, женщины, старики. Народ, объединенный верой, единой радостью и печалью, торжествовал и праздновал свое возрождение в храме Божиим.

А рядом со мной молилась, утирала слезы шелковым платочком, одновременно показывая кулак своим трудягам-операторам хозяйка какой-то частной швейцарской компании — не то и не так, по ее мнению, снимающим.

Появился Ян Ярко. Я попросился «домой» — ноги мои совсем онемели, я устал, промок от пота, мне хотелось побыть одному, и, коли еще не совсем разучился, молча помолиться Господу за дарованное мне счастье прикосновения к Нему и начинающегося пробуждения в сердце веры и надежды на лучшие дни.

Через год или чуть позже кардинал Войтыла был избран папой римским и назван Иоанном-Павлом Вторым. Я видел по телевидению, как встречали папу римского в Южной Америке. «Бедная» страна Перу объявила трехдневное празднование в честь приезда светлейшего человека, и в столице Перу — Лиме из каких-то материалов, чуть ли не серебряных, было сотворено к приезду высокого гостя ажурное сооружение, осыпанное звездами огней аж до самого неба. За время своего пребывания на почетнейшем и ответственнейшем посту бывший кардинал Войтыла объездил почти весь мир и остановил немало столкновений, войн, кровопролитий. Усмирив красную сатану, сам пролил при этом кровь, и совсем уж точно — предотвратил свалку между Польшей и Советским Союзом, которая неизбежно обернулась бы мировой войной.

Да пошлет ему сил Господь!

Никогда больше не повторю своей давней шутки моим друзьям:

— А я сидел в кресле папы римского!

БОГАТЫЕ ЗА БЕДНЫХ

Смотрю, как, окатив грязью трудящихся, терпеливой толпой ожидающих автобус или какой другой транспорт, наш отечественный, повоявленный бизнесмен — богач надменно удаляется на иностранной вылизанной машине вдаль, и вспоминается мне Колумбия, Богота, где много живет богатых людей, но еще больше бедных, безработных. Они, безработные, изобретают всяческие способы, чтобы добыть копейку, хоть как-то заработать на кусок хлеба.

Один старый человек в форменной фуражке железного дорожника прирабатывал тем, что помогал частным машинам припарковаться в узком горном переулке, и полный у него тут был порядок: машины отходили, подходили, и когда заполнялся весь переулок, старик просил подождать три или пять минут, зная, кто и на сколько времени завернул сюда и остановился. Платили старику кто сколько может, чаще всего сыпали в протянутую горсть мелочь, но случалось, подгулявшие и оттого щедрые владельцы машин бросали и бумажки. «Грацио, сеньор, грацио!» — слегка кланялся старик, приподняв фуражку, и снова суетился по «своему» переулку, показывал, кому куда встать и помогал это сделать как можно ловчее и скорее.

В зеленом переулке располагался небольшой китайский рестораник. Знатоки города и всех его кормных, веселых и значных мест, работники нашего посольства именно здесь предложили отобедать в день нашей Победы, потому как кормят китайцы отменно, тихо здесь, зелено, малоллюдно в рестораничке, есть в записях русская музыка, в том числе даже песни периода Отечественной войны.

Все-все было в рестораничке здорово, все сделано на таком уровне, который нам, советским гражданам, кажется райским и даже не верилось, что так вот мило, пеназойливо, почти родственно можно относиться к своим посетителям. Отец и сын — китайцы, обслуживавшие нас,

вовремя и незаметно подавали вкуснейшую еду. Помню, что ударным блюдом была здесь замечательная, на огне подаваемая рыба с хрустящей корочкой, сами китайцы вроде бы радовались нам, русским людям, победе нашей, шумному разговору и, когда мы попытались затянуть российскую песню, заулыбались, закивали головой. Старый китаец говорил на ломаном языке, помню, мол, все помню и ценю.

Яростное, слепящее южно-американское солнце, редко здесь выходящее из-за туч, иначе бы все сторело на этой земле, вдруг лучами засверкало в щелях тростниковой циновки, высветило зальчик, заставленный, завешанный, кругом обвитый цветами таких роскошных форм и оттенков, что воистину сделалось по-весеннему празднично и радостно. Хотелось благодарить и благодарить хозяев за радушие, за обед, за уют, за цветы, за радость общения, чего мы и делали изо всех сил и возможностей, а китайцы все улыбались нам, все кланялись и приглашали всегда заходить к ним.

На улице тоже было солнцезарно, хорошо дышалось, хотелось петь, обниматься и говорить добрые слова.

Вдруг в переулке раздался визг тормозов. Мы кинулись на шум и замерли: снизу въезжающие в переулок машины столпились в беспорядке, вверху переулка плотной стеной, загораживая выезд, стояло несколько машин, из них выскакивали разъяренные люди и бежали к косо стоящей, чуть было не выскочившей, дорогой, лакировано сверкающей машине, которую заслонял собою старик-припарковщик и что-то торопливо говорил, умолял, не допуская к ней взбешенных сеньоров.

— Чего это там? — поинтересовался я у наших польских ребят.

— А есть курвы не только в России. Какой-то богатый хапурик-сеньор попытался смыться, чтоб не заплатить старику. Ну-ну, сейчас ему дадут! Здесь не Россия. Сейчас! Сейчас!..

А гомонящие, все больше горячеющие сеньоры тащили уже из богатой машины схлюздившего сеньора, и кто-то успел ему сунуть в рыло, и потекло из носа сеньора красное мокро. Старик все оборонял его машину и кричал, кричал. Ребята торопливо переводили: «Сеньоры! Сеньоры! Не трогайте его! Не трогайте. Пусть он едет. Пусть едет! Я беден, сеньоры, но честен! Я не хочу беды...»

Богатый сеньор совал старику горсть серебра, но тот

не брал деньги, боясь, видимо, хоть на минуту оставить его без защиты. Хозяин машины бросил мелочь на траву, к ногам старика и тут же поспешно выхватил дорожную банкноту и тоже бросил на траву.

Машины на выезде все скапливались, толпились и, видимо, зная нравы богатых, орали на них и махали кулаками неистовствующие колумбийцы. Они пригудили крепко раскошелиться перетрусившего хозяина дорогой машины, дружно собрали с травы все деньги в фуражку старика и опрокинули ее на коротко стриженную, седую голову бедного человека, похлопали его по спине, по плечу, неохотно расступаясь, выпустили из плена богатую машину, крича что-то во след и грозя пальцем. — Я присмотрелся и обнаружил, что не все там пальцы, там были и стволы пистолетов — здесь не забалуешься!

Улыбающийся и в то же время рыдающий старик выгребал деньги из картуза, прятал их в специально для этого сшитую брезентовую сумочку и, утирая слезы, объяснял нам, что больше всего на свете он не любит скандалы, однако находятся ж люди, которые ради несчастных копеек готовы на любую пакость. Наши ребята успокаивали старика, тоже хлопали его по плечу и по спине, толковали что-то миротворное, сыпали в горсть деньги. А старик все утирал слезы и твердил:

— Грацио, сеньоры, грацио!

Я смотрел, слушал и думал: «Вот бы и у нас так — за бедных богатые заступались, так сколько бы российского свиинства вывелось...»

Случилось это уж лет десять назад, в Колумбии, в Боготе, и не знаю, как там, за океаном, а у нас за это время бедные сделались еще беднее, богатые же еще свинее.

ЭХ, СУДЬБА-СУДЬБИНА...

В таком обширном государстве, как Россия, чего только не навидаться, с какими судьбами не повстречаешься, тем паче, если их, судьбы, все время, как игральные карты, тасуют, путают, перемешивают. Но и в этой мешанине, во вселенской путанице, в беспомощном обмолоте человеческой жизни выпадают людям такие судьбы, что невольно ахнешь, остановишься перед нею, покачаешь головой: «Эх, судьба ты, судьба, кобыла крива, куда завтра увезет — не знаешь!»

Эту фразу я услышал на Урале, от поселкового пасечника, сказавшую по поводу доли соседа своего, русского парня Степана Павлова, которому оторвало обе руки взрывчаткой на шахте, но девушка, с которой он гулял, тем не менее пришла за ним в больницу, сделалась его женой, родила ему сына, а сам он, хоть и безрукий, обучился вести хозяйство: косил сено, пилил дрова, изладил деревянный самолетик — флюгер на крышу и, самое главное, сделался охотником-промысловиком. Люди, работающие в тайге, на промысле пушнины, знают, что в тайге и с двумя руками управляться одному ой как несладко, порой надсадно и страшно, но сей факт или исключительный случай — был на самом деле. Я писал о семье Павловых очерк, затем рассказ «Руки жены», и даже пьесу соорудил под названием «Черемуха», которая шла на многих русских сценах и даже в столице, в театре имени Ермоловой.

Стороной, отголоском, далекой зарницей доносило до меня, что парень у Павловых уже вырос, сходил в армию, что Надя и Степан уже дважды дедушка и бабушка. Словом, люди устояли, не дали судьбе замотать себя — Господь за чьи-то грехи наслал им испытание, и они его выдержали, не посрамили имя Господне, ни Его завета, ни своего человеческого образа.

И эта судьбина — «кобыла крива» — вскоре наехала на меня тоже на Урале, в городе Перми. Кто-то из студентов или преподавателей университета принес мне исписанные карандашом линованные листки. На тех листках были написаны стихи и прозаические опыты, похожие на бытовые зарисовки. Я сказал, что писанину эту, да еще карандашную, читать не возьму, мне с моим поврежденным зрением и печатные-то тексты в тягость. Но мне пришлось читать те тексты — автор Валя Перовская, писавшая на этих тетрадных страничках, заламывала судьбу свою, училась писать, ходить, жить. У этой Вали, студентки-заочницы Пермского университета, не было ни рук, ни ног. Горькая, но довольно распространенная в ту пору история: Валя сделалась жертвой неудачного самоаборта. Не презирайте ее мать, не спешите судить несчастную женщину, не качайте головой — жизнь послевоенных лет при бесчеловечной и беспощадной советской власти выпуждала советских женщин уродовать себя, уничтожать в себе зародившуюся жизнь иногда такими варварскими способами, что о них и писать рука не поднимается. Пусть

миллионы ранних могил, в которых истлевают косточки молодых российских женщин, как пепел Клааса, стучат в патриотические сердца тогдашних правителей, из лягушачьей икры которых вывелось новое, к власти рвущееся, оголтелое потомство.

Валя оказалась в ту пору на сессии в Перми, и подружки-студентки помогли ей добраться до моего дома, благо был он не так далеко от университета. Валя училась уже на четвертом курсе филфака, беленькая, голубоглазая, с тем типично русским скромным лицом, которое так любили изображать русские художники — Вепецианов, Савицкий, Мясоедов. Она поднялась на третий этаж сама, у нее немощно припотел вздернутый нос и бледный лобик. Беспризорщишный, детдомовский, госпитальный да и журналистский опыт помогли мне сгладить, не показать, по-ученому говоря, смикшировать невольную неловкость, мою и гостей моих настороженность. Дети и хозяйка моя в кабинет ко мне не совались.

Я порасспрашивал Валою и приехавшую с ней из города Березники подружку и с ними же вместе пришедшую пермячку о том, о сем. Милые, скромные, нарядно приодетые по случаю встречи с писателем, девушки рассказали мне про университет, удивлялись, что я «ничего не кончал» и в университете здешнем ни разу не был, да и засобирались «домой», в общежитие, неудобное и холодное, забытое Богом и властями.

— Вы постарайтесь не обращать внимания на мои физические недостатки, — попросила меня Валя. — Я пришла посоветоваться с вами не столько по рукописи, сколько о жизни.

— Но все же давайте сперва по рукописи, — скорее попросил, чем предложил я.

И мы с Валею начали смотреть — читать мелко испианные странички, рассуждая о замечаниях, поправках. Валя раза два извинялась за то, что писано карандашом — ручкой и чернилами ей пока писать трудно, к новым протезам надо еще привыкать.

Марья Семеновна принесла на подносике чаю и горстку сухешек, познакомилась с гостьей и сказала, что, пока мы занимаемся, она приготовит обед, у нее «кстати» оказались в морозилке пельмени и она мигом развернется. Эти «кстати» замороженные пельмени у Марьи Семеновны велись круглый год и всегда нас очень выручали.

Стихи у Вали были самодеятельные — такие стихи в

России, как говорится, не пишет только ленивый, некоторые пенсионеры и разные бездельники до сих пор упиваются ими. Валины стихи отличались грустной девичьей искренностью, но ни в одном из них ни слова о своей горькой судьбине и титаническом преодолении недугов.

И по стихам, и по прозаической писанине, и по поведению гостьи угадывалось, что она изо всех сил старается считать себя обиденной, ничем от других людей не отличимой женщиной. Глядя на пластмассовые кончики протезов рук, одним из которых она придавила листок, другим слышно поскрипывающим, зажимала «меж пальцев» карандаш и вносила поправки, я думал, что жизнь этого человека состоит из сплошных преодолений.

Одна из прозаических зарисовок у Вали отдаленно смахивала на очерк, я предложил ей поработать дома и затем прислать этот очерк мне, потому как чуткое к молодым дарованиям Пермское книжное издательство время от времени формирует и выпускает сборник «Молодой человек», и я постараюсь его туда определить.

Марья Семеновна, баба чуткая, угадала, что «творческий» наш разговор проще и удобней вести за столом, на кухне, и скоро позвала нас туда. Она усадила за стол и деток наших, находившихся в самом что ни на есть разрезвом состоянии и возрасте. Было их в ту пору трое: сын, дочь и племянник жены. «Педагогический» прием Марьи Семеновны сначала вызвал некоторое замешательство. Ребятишки присмирели, дивясь на искусственные руки гостьи, на то, как она ими управляет. Прием удался и вообще иногда действовал умиротворяюще на чад моих. Дочка даже как бы и подружилась с Валею, ездила к ней в общежитие, иной раз выполняла кое-какие ее поручения и просьбы.

После обеда Валя еще какое-то время посидела в гостевой убогой хрущевской квартиры и, заметив, что я тревожусь, что не едут за ней девочки, сказала, что она сама дойдет до общежития, лишь бы парнишки наши помогли ей спуститься вниз — протезы-то новые...

— Господи! Каково же матери-то? — горько и скорбно сказала Марья Семеновна, проводив гостью, и, как всегда в такие щекотливые минуты в квартире повисло тяжелое молчание — оснований для скорби и вечной непростительной вины в этом смысле и в нашей семье было достаточно.

Очерк Валентины Перовской после серьезной правки,

дописок и прописок был напечатан в сборнике «Молодой человек». Я радовался этому потому, что Валентина уже заканчивала университет, получит хоть какие-то деньги. Звонил в издательство, просил составителя сборника быть пощедрее.

Закончила университет Валя и стала искать работу. Поняв к той поре, не без моих убеждений, что поэтесса из нее не получится, журналисткой быть трудно — надо много ходить и ездить, девушка решила поступить корректором в березниковскую местную газету. В этом трудоустройстве я ей старался помочь как только возможно, писал просительные и рекомендательные письма.

О, Россия-мати! Велика ж ты была всегда добрыми людьми. Валентине Перовской помогали везде и всюду, почти не упирая ее достоинства. Мать возила с работы и на работу полосы газеты для печати, да и сама Валентина двигалась и двигала себя по жизни, но что-то постоянно не ладилось у нее с протезами, по этой причине ей надо было куда-то надолго отлучаться, и работу, как понял я из писем, она со временем потеряла.

Я уже покинул Урал, переехал в Вологду. Из Березников реденько приходили от Валентины поздравительные открытки, иногда вырезки из газет с заметками и стихами. Потом был долгий перерыв. И вдруг толстое письмо, а в письме фото, а на нем красивая женщина с белокурым малым на руках — это была Валентина. Не миновала она инвалидного дома. В инвалидке Валентина познакомилась с парнем, тоже инвалидом, и вот результат этого знакомства — молодой, жизнерадостный строитель коммунизма, ради которого надо жить и работать.

Кажется, в многотиражке химкомбината Валентина работала снова корректором, растила парня. «А папаша наш,— писала она,— испугался трудностей».

Боже, помоги русской женщине Валентине Перовской в редкостной ее судьбе! Не дай ей ослабеть, сломаться. Укрепи дух ее, смилуйся над ее сыном, продли в нем жизнь, чуть было не уничтоженную злом земным! Вдохни в наши слабеющие русские души стойкий дух Перовских «и дум высокое стремленье», поддержи во времени сегодняшнем и будущем.

Там же, на Урале, на этот раз в городе Свердловске, ныне Екатеринбурге — еще одна судьба-судбина, исключительная по несчастью и величию свила себе гнездо.

Евгений Фейерабенд, поэт, тридцать с лишним лет пролежал в кровати, на плоской и жесткой постели без подушки. Полиомиелит. Свалил он еще не начавшего ходить человека. Восемь лет в гипсовой форме-кроватьи (такую же «процедуру» когда-то выдержал или перенес Владимир Лакшин и друг его по несчастью, рано ушедший в могилу, критик Марк Щеглов).

Но Лакшин и Щеглов встали со своей постели. Владимир Лакшин повесть написал о той больничной маяте. Кажется, его единственное биографическое произведение. Дано ему было реализоваться в критических работах, в публицистике и вместе с Твардовским стойко и верно послужить журналу «Новый мир». Облегчая нагрузку на ноги, ходил он, опираясь на пеказистую деревянную трость. И совграждане, паверное, думали: «Вот еще один интеллигент-пижон!»

Жене Фейерабенду не довелось восстать из гипсовой формы-постели. Он выпал из нее. Ему уже назначен был день — великий в его жизни день — когда его вынут из гипсовой формы, переложат в нормальную постель, там уж тренировки, спецупражнения, массажи и, глядишь, можно будет пробовать становиться на ноги. Можно только догадываться, как ждут час воскресения большие дети, как они мечтают начать жить настоящей жизнью, не замурованной в гипс, свободной от оков, полной воли и высокого смысла.

В ту последнюю ночь перед освобождением Жени из формы палатная пияшка уснула именно в те часы, когда у мальчика начались судороги от нервного перенапряжения, он упал вместе с гипсовой кроватью, выпал из «формы» и у него вывернуло суставы из таза, то есть ноги сделались задом наперед.

Мать Жени звали Матрешей Ивановной. И она, которую я не постыжусь назвать теперь уж испоганенным, замызганным, безответственно затасканным словом — героиня — сделала все, чтобы ее мальчик, ее горькая кровиночка, жил по возможности наполненной, интересной жизнью, ни в чем не знал бы крайней нужды, не так остро испытывал тяготы ущерба, уничтожающего плоть и суть жизни.

Когда мы познакомились, ему было под тридцать. В квартире на нижнем этаже в центре Свердловска встретила нас с женою бодрая, с мужским разлетом в плечах и

с мужиковатой, приосадистой фигурой, крепенькая, горливо приветная женщина.

— Проходите, милые, проходите к Жене, а я тем временем закусточку спроворю.

Женя пожал пам руки крепким мужским рукопожатием, чуть подзадерживая руку, как бы выражая этим расположение и приветливость, но, главное, понял я, чтобы чувствовали мы себя в гостях не у квелого инвалида — здесь живет мужик в порядке и держитесь с ним, как с мужиком. Я сел на стул у изголовья кровати Жени и после, попадая в гости к Фейерабендам, стремился садиться всегда на это место.

Квартира и место работы Жени были осмысленно заполнены необходимыми вещами и предметами: телевизор, радионаушники, на высоко взятом столике бумага, ручка, книги на подставке, на полу гантели, эспандер, еще какие-то предметы для физических упражнений. Выше и далее — полочка с книгами, журналами, словарями, которые были в ходу. Береза натуральная, лесная в кадке возле окна, много домашних цветов в горшках и всюду всевозможные фигурки из дерева — их резал сам Женя и некоторыми, наиболее выразительными и забавными даже иногда хвалился. К потолку и близко к кровати были подвешены клетки с птицами: канарейками, попугайчиками, синицами, щеглами, которые при нашем появлении пришли в громкое возбуждение, перелетали с места на место, чирикали. А на кухне, через коридор «общалась» с нами Матрена Ивановна, чего-то громко, почти непонятно тараторила.

— Видали, какой концерт! — рассмеялся Женя и тут же громко спросил: — Мама! Ты чего там? Гости-то с мороза...

У Матрены Ивановны был столик — самокат собственной конструкции. Она ловко вкатила его в комнату, звякнув бутылками и тарелками на порожке. В середине стола вызывающе гордо возвышались бутылки. Вокруг — тарелки с закуской, в основном, сводельной выпечки и изготовления, капуста «фирменная» Матренихой звалась, непревзойденного посла, о которой знала вся городская творческая интеллигенция, грибы, огурцы, базарная зелень, словом, много было аппетитной, разнообразной закуски. Жене была палита серебряная рюмочка, серовато-зеленым видом напоминавшая древний экспонат, перед нами хрустальные стаканчики. Женя повернул голову чуть

набок и, не уротив ни капли мимо, выпил из своей рюмки, поставил на грудь тарелку с закуской и хорошо, аппетитно ел...

Наливание повторилось. Женя выпил и вторую, потом и третью рюмаху.

Дело шло. Разговор сделался непринужденным и уже более громким. Затем мы смотрели фотографии, много фотографий. На все лето Матрена Ивановна увозила сына за город, и жили они там до глубокой осени. Везила не раз она его и на юг, в Дом творчества, в Коктебель. С гордостью была нам показана фотография, где Женя «купался в море». Упершись руками в дно на мелководе, он, скрытый водою, улыбался в объектив. Братья-писатели, особенно поэты — чуткий народ. Опохмелившись у Матрены Ивановны, а вместе с ними и сама она принимала маленько — для артельности, — волокли Женю к воде, «сваливали» в волны. Тут главное, чтоб поэты не забыли в море человека, ибо к вечеру поэтов в строю оставалось мало, тащить обратно больного иногда было некому, но и тут Матрена Ивановна с кем-то договаривалась.

На прощанье Женя сфотографировал нас, достав фотоаппарат с боку, из-под подушки, и сам, настроив и передав фотоаппарат маме, как бы подгрел нас к себе, и сфотографировался с нами.

Шли годы. Женя много писал. У него выходили книжки одна за другой, чаще всего в «Детгизе» — для детей. Дожил он до «Избранного». Даже завистники начали у него появляться.

Дома, высоко поднятый, стоял новый телевизор, появилась кинокамера, проектор и нашлись средства нанять женщину в помощь, на «санитарный день». В ванной была приделана какая-то замысловатая конструкция — приспособление. В доме по-прежнему пели-чирикали птицы, ухоженная кошка в отдалении щурилась на них и облизывалась. Как-то проговорила Матрена Ивановна с глубокой грустью, что пошла она женщину и для Жени, чтобы он себя мужчиной-то познал, да гостя, к сожалению, оказалась не очень порядочной, начала тащить из дома.

В Свердловске бывал я не так уж часто, но почти всегда находил время навеститься к Фейерабендам. И, конечно же, видел, что, несмотря на все усилия Матрены Ивановны и Жени, дела у них шли все труднее, все хуже. Немного как бы отечное лицо делалось у Жени бледно-желтым, взор блеклый, оживлявшийся от радости встречи, вдрут

западал в полутень, становился неподвижным. С большим уж трудом взбадривал себя Жеия, но духом все еще был крепок. Его окрестили, и в его комнате появилась икона. В комнате у Матрены Ивановны был целый иконостас. Много часов простаивала русская женщина перед иконами, просила Бога о милости болезному сыну.

Жеия Фейерабенд продолжал много работать. Писал стихи. Одного из попугайчиков научил разговаривать, резал из дерева сказочные фигурки и немало в этом преуспел: попадали его изделия и на выставки народного творчества.

Как-то я похвалил его за насыщенную жизнь, заполненную такими интересными делами, сказал, что иные молодые и здоровые русские люди гробят себя, топчут жизнь свою...

Жеия вдруг замолк, закинул руки за голову, полежал, потом обвел рукой все, чем заполнена была его комната, всю живность, цветы, картины, фотографии и, не жалуясь, а протяжно, с выношенным и давно погасшим горем сказал:

— Эх, Петрович! Все это, все-все отдал бы за один день, за один только день — походить по городу на собственных ногах, немного бы походить по лесу, по парку, посмотреть на ходячих людей, как они выглядят в жизни... И все!.. И был бы согласен умереть без сожаления, без оглядки... А-а, да чего уж там... Налей-ка, Петрович, по рюмахе.

Я уже жил вдали от Урала, когда не стало Жеии. Было письмо от Матрены Ивановны, тихое, горестное, в котором она изо всей-то Богом ей данной немалой силушки старалась сдерживать крик боли и отчаяния. Она родила сына и всю жизнь, каждодневно, творила для него возможное и невозможное, няичила его, лучше сказать по-украински — кохала.

Не стало болезного дитяти, и потерялся смысл материнской жизни. Заезжавшие свердловчане сказывали, что, обустроив могилку Жеии, прибрав его творческое наследство, совсем уединилась Матрена Ивановна, стала крепко попивать, когда и как отправилась на покой, легла рядом с сыном — мало кто знает.

Все по-нашему, по-российски...

Когда мы с одним поэтом собирали «Антологию одного стихотворения» российских поэтов, то выбрали из книжки Евгения Фейерабенда — «Муравья» — на мой взгляд,

это стихотворение нужно уже не только поэтам, от нас ушедшим в бесконечность, но и всем русским людям оно нужно.

МУРАВЕЙ

Уже он чуял —
Пахнет жиготом,
Но, миной скошен наповал,
Солдат считал себя убитым
И даже глаз не открывал.

И, оглушенный,
Он не слышал,
Как пушки били за рекой
И как в норе копались мыши
Под окровавленной щекой.
Как ездовые драли глотки...

Но вот разведчик-муравей
На лоб солдату слез с пилотки
И заблудился меж бровей.

Он там в испуге заметался
И, энергичен, полон сил,
Защекотал и затоптался.
И вдруг —
Солдата воскресил.

И тяжело открылись веки,
И смутно глянули зрачки,
И свет забрезжил в человеке,
Поплыл поверх его тоски.
Вздохнул он глубоко и тяжело,
И небо хлынуло в глаза.
И понесла к земле мурашку
Большая круглая слеза.

г. Свердловск

ОРДЕН СМЕРТИ

ПИСЬМО ФРОНТОВИКА

Пришло письмо от ветерана Отечественной войны — туляка, в письме лежала невзрачная алюминиевая пластинка овальной формы. На пластинке можно прочесть клеймение: 2Fahv Egs. Avt. 2.459. В самом низу овала выбита буква А. С волнением прочел я сопроводительное письмо фронтовика: «23 апреля 1944 года, после госпита-

ля я пробирался в свою воинскую часть, от станции Великие Луки до Ново-Сокольников.

Часть пути мы ехали поездом с паровозной тягой. Повсюду, куда ни кинешь взор, страшные следы войны.

И полное безлюдье...

Наш воинский эшелон, состоящий из товарных, полуразбитых вагонов, так называемый «пятьсот веселый», двигался еле-еле. Едва дотянув до Плескачевской будки, наш тихоходный состав, испустив дух, устало загремел буферами: кончились дрова.

Последовала команда: «Всем в лес, на заготовку дров для паровоза!..»

Пассажиры, вооружившись пилами, топорами — народ в основном военный, высыпал из теплушек и направился в густой смешанный лес. Мы — небольшая группа офицеров-попутчиков, на всякий случай соблюдая осторожность — война была рядом, решили в своей полосе тщательно осмотреть близлежащую местность, так как ранее слышали о «бродячих» фрицах, которые разбежались при отступлении.

В лесу все дышало покоем, пробовали голоса первые весенние птички, где-то далеко барабанил дятел, сильно пахло хвоей и прелыми листьями. Воздух был и чист, и свеж.

Весна, невзирая на войну, вступала в свои права.

Соблюдая осмотрительность, мы все дальше уходили в лес. Неожиданно шедший впереди громко крикнул: «Ребята! Смотрите: мертвые немцы!» — И верно, недалеко от лесной тропинки, по которой мы шли, в яме, похожей на воронку от крупной авиабомбы, в самых различных позах, как застала их смерть, лежали пять немецких солдат, пять замерзших трупов.

Мы подошли ближе к кромке ямы, которая со всех сторон была окружена высокими, темно-зелеными, разлапистыми, мрачными елями, припорошенными шапками белого, пышного снега. Снег в яме и на трупах еще не растаял и прикрывал мертвецов, будто одеялом. Погибшие лежали, как на леднике, и хорошо сохранились, никем после гибели не тронутые, в полной своей полевой форме.

Пораженные страшной картиной, мы долго молчали.

Хорошо помню: бросилась мне в глаза одна деталь, поразила мое воображение — мертвецы, видимо, тяжело раненные, были очень небрежно, неумело и, наверное,

второпях, наспех перевязаны грязными бинтами. У каждого солдата виднелась на шее, на тонком шелковом шнурке алюминиевая бирка — пластинка, о назначении и устройстве которой я узнал позднее. А в тот момент мне невольно подумалось: на родине погибших, там, в далекой Германии, никогда не узнают, где встретили свой последний, смертный час солдаты вермахта — отцы и сыновья, семьи которых будут долго и безутешно плакать и ждать. Плакать и ждать погибших не за правое дело в лесных русских дебрях...

Мне запомнился один из убитых — атлетически сложенный, светловолосый солдат средних лет с породистыми чертами красивого, крупного мужского лица. Его широкая грудь, прикрытая внакидку серо-зеленым мундиром с оторванными погонами и черно-красной муаровой лештой на борту куртки, знаком «За зимовку в России» — существовала такая награда в гитлеровской армии — была перевязана крест накрест серо-грязными бинтами, которые спереди потемнели от запекшейся крови.

Мертвец лежал на боку, и алюминиевый жетон на тонком шнурке свешивался с шеи великана. Я долго смотрел в открытые голубые глаза убитого войной немца, которые были устремлены в высокое голубое небо, и, тихо сказав, более себе, чем стоявшим рядом товарищам: «Судите меня, люди, суди меня, Бог», — вынул из пожен черный армейский пож-финку и... одним движением срезал шнурок с жетоном. — «Потомкам на память», — сказал я своим попугачкам.

Так оказался смертный жетон безвестного солдата в 1944 году накрепко вшитым в мой фронтовой дневник, который я, вопреки известному запретительному приказу Генштаба, вел всю войну шифром, известным лишь мне одному.

«Конструкция» этого жетона весьма продумана и представляет собой следующее: внизу и вверху пластинки выбиты клеймами по-немецки сокращенное наименование воинской части, в которой служил солдат вермахта и его личный номер. В середине жетона расположены три узких продолговатых щели для того, чтобы при необходимости можно было его быстро, без особых усилий разломить на две равные половинки. Кроме того, на обеих частях жетона были пробиты отверстия небольшого диаметра — для хранения в военном архиве.

Бирка строжайше носилась на шее каждого немецко-

го солдата и была своеобразным солдатским «орденом», который германский вермахт вручал каждому военнослужащему, отправляемому в действующую армию. В случае гибели товарищи погибшего тут же, на поле боя, обламывали одну половинку жетона и предъявляли ее в воинскую часть, как свидетельство смерти солдата «За фатерлянд»...

Вторую половинку смертного жетона могла спрятать с покойного только похоронная команда. Таким образом в гитлеровской армии, кроме обычного списочного учета в подразделениях, убитые еще дважды учитывались овальными бирками.

И здесь, с железной обязательностью, неумолимо действовала известная немецкая пунктуальность: «ordnung ist ordnung» — «Порядок есть порядок».

Сей немецкий орден я отослал в музей войны, как напоминание о безумии человеческом, в которое оно впадает не по разу в каждое столетие земного существования».

КОММЕНТАРИЙ

Я никогда не вел дневников, и оттого у меня не появилось постоянной усидчивости. По этой же причине небрежно и нерегулярно работаю с записной книжкой. С одной стороны, это хорошо — тренируется и постоянно работает память, к сожалению, с возрастом никакие, даже самые привычные «сверхтренировки» не помогают, память начинает уставать и делаться непослушной.

Однако в любом возрасте у человека, тем более у творческого, есть желание запомнить и рассказать доверительно, в узком кругу, увиденное, поразившее воображение, интересные факты из жизни, истории или явлений природы, дорожные впечатления, мимолетные разговоры, просто поделиться интересной мыслью, мелькнувшей или застрявшей в голове, быть может, и интересной-то лишь одному автору, надеясь при этом, что если тебя не поймут, то хотя бы внимательно выслушают.

Впрочем, собеседник нужен всякому здравомыслящему человеку, иначе его задавит одиночество, и если его нет, собеседника, тогда человек склоняется к беседе с самим собой, доходит до бездонных глубин бытия, до отгадывания непостижимых вещей, необъяснимого, как мироздание, брэнного и простого с виду человеческого существования, короче говоря, его одолевает вечная дума о смысле жизни. Эта сложнейшая работа человеческой души и разума и есть самопознание, но в силу дремучего непонимания чужой беды, боли, да и сути жизни, вечной неудовлетворенностью ею и самим собою доверительные раздумья, интимные откровения человека встречаются в наше время с недоверием, а то и с высокомерной насмешкой, презрением к «малохольенькому и блаженному». Особенно преуспела в этом наша провинциальная — не по географическому принципу, — сама себя

заморочившая и оскопившая критика, смело, но безответственно называя сии раздумья «самокопанием». И надобно глядеть на «самокопателя» как на явление антиобщественное, чуждое героической и бурной действительности. При этом забывается, что настоящая поэзия вообще, а могучая, трагическая мировая поэзия была бы немыслима, невозможна без «самокопания», как, вероятно, немыслимо понимание и самой жизненной сути, ибо каждый человек есть отдельный мир, плохой ли, хороший ли, преступный, больной ли, но мир, и процесс самопознания есть процесс постижения смысла жизни «через себя». При этом процесс понимания мира титаном мысли, разрываемым внутренними противоречиями, скажем, Львом Толстым, постижение им архисложных философских глубин, и духовное напряжение неграмотного крестьянина, задающего себе вопрос: «Что есть я и земля?» — не менее сложен и не менее мучителен.

Жизнь, лишённая мысли, стремления «мыслить и страдать» и, страдая, открывать, пусть в зрелом возрасте, вроде бы рядом лежащие, будничные, но наполненные высочайшим смыслом Истины: «Всё и все, кого любим мы, есть наша мука»... Жизнь пустая, жвачная.

В литературе, в искусстве, в музыке, в живописи, особенно в кино, у нас понимают все и всё, толкуют обо всем с таким напором и самоуверенностью, что порой уж начинаешь думать, что не дорос, не улавливаешь «нового», отстал, не постиг «вершин», но появляется режиссер и ставит картины и спектакли на уровне нэпмановских «шедевров», выбрасывается на экран восточная, засахаренная до приторности мелодрама, вывешиваются «полотна» живописи, варьирующие все ту же тему «утра», в рамку которого вставляется та или иная «великая» личность, врывается в жизнь лохматая бесовщина, когда не отличаешь ни по голосу, ни по виду, кто баба, кто мужик, издают все, по совместительству вольному сами себя определившие в композиторы, песенники и поэты какой-то таежный ор заблудившегося в непроходимых дебрях человека, а им пригопывает, прихлопывает, визжит, топчет друг дружку дикое стадо. И валом валящая, читающая, смотрящая, слушающая толпа обнажает уровень восприятия искусства, «накопления» по линии культуры.

Однако человек во все времена остается человеком, и потребность его в задушевной беседе никогда и никуда не исчезала и, надеюсь, не исчезнет. И пусть писатель — сам себе «поп и прихожанин», но жажда исповеди, в особенности у пожилых писателей, острее чувствующих одиночество, в наш суетный век томит их, заставляет искать новые пути к собеседнику, и не случайно в последнее время очень разные писатели начали общаться с читателем посредством коротких записей-миниатюр — таким образом можно скорее «настичь» бегущего, занятого работой, затурканного бытом современного читателя.

Меня часто спрашивают на встречах и в письмах: что такое

затеси? Откуда такое название? Чтобы избежать объяснений, первому изданию «Затесей» («Советский писатель», 1972 г.) я дал подзаголовок «Короткие рассказы». Но это негочню. Рассказов, как таковых, в той книге было мало, остальные миниатюры не «тянули» на рассказ, они были вне жанра, не скованные устойчивыми формами литературы.

«Затеси» — писались и пишутся всю жизнь, печатались в разных изданиях, в местных и центральных газетах, чаще всего в тонких журналах: «Смена», «Огонек», «Сельская молодежь», «Студенческий меридиан» и других. Появлялись и в «толстых» — в «Нашем современнике», «Новом мире», «Знамени», «Молодой гвардии», «Урале».

Первое издание книги было сделано в Москве в «Советском писателе» в 1972 году благодаря стараниям и мужеству редактора В. П. Солнцевой, которая где хитростью и опытом, где и мощной грудью защищала и отстаивала эти далеко не мятежного характера малютки-произведения, но и ей, человеку недоужинного характера, не удалось полностью отстоять книгу и обойтись без кастрации и подчистки текстов.

Когда работает и царит здоровая общественная жизнь и мораль, нет места индивидуальности, тужащейся что-то измыслить и сказать свое, да еще и сокровенное.

Второй раз книга вышла в более полном составе, с новыми «затесями», уже разделенными на шесть тематически объединенных тетрадей, в 1982 году на моей родине — в Красноярске. И опять потребовалось мужество и стойкость издателей, гибкость и сноровка местной цензуры. Книга вышла с неощутимыми потерями и совсем почти «невинными» по тому времени подчистками и поправками. Тем не менее главный редактор издательства потерял из-за нее место работы, цензору же в партийной конторе долго и популярно объясняли, что он просмотрел и подписал в печать.

И, тем не менее, все же популярно объясняющие смысл литературы и жизни партийные товарищи большую часть стотысячного тиража спрятали в им лишь известные укромные места, и книги выдавали лишь почетным гостям в качестве сувенира, приобретая, разумеется, книги для себя и для библиотек своих детей и родичей.

Мне бы гордиться этим, ликовать, да что-то не хотелось, все это очень уж надоело, уж очень ото всего этого я устал.

Книга рассчитана на «разового» читателя, предназначена вроде бы для интимного чтения и общения, но я получил сотни писем от разных людей, воспринимающих ее как что-то «личное», к собеседованию и размышлению не только наедине предрасположенное.

В моей библиотеке хранится экземпляр «Затесей», посланных по просьбе зимовщиков на Северный полюс, — книга вернулась ко мне сплошь в благодарных подписях, в изречениях,

как выписанных из книг, так и собственного сочинения пилотов, зимовщиков, их спутников и друзей.

Так вот книга, писанная вроде бы «для себя», сделалась нужной людям, и я продолжаю писать «затеси», когда есть хоть день, хоть минута для собеседования с собой и людьми. Ныне «затеси» охотно печатаются всеми периодическими изданиями, местными и центральными, издаются и за рубежом, и ничего уж такого, шибко крамольного в них никто не усматривает, потому что это моя и «наша» жизнь, наблюдения и размышления, и если уж крамольна сама жизнь, то к ней надо и претензии обращать, а не к автору, не к издателям. Течет жизнь, и книга эта течет и продолжается вместе с нею. Вот «затеси» дожили и до собрания сочинений, в 7-й том они включены наиболее полно. В этом томе их уже около двухсот, среди них впервые печатающиеся и «по следам» поездок за рубеж. Я и за рубежом ничего не записывал, в блокноты не записал, но то, что застряло в памяти, поразило воображение, просилось обозначиться, тревожило память и предрасполагало к рассуждениям, иногда мимоходным, написалось сразу же или спустя годы.

Но прежде всего, настойчивей всего ломится из сердца и памяти, из нашего отечественного «леса», наш материал — вопиет он голосом одинокого, заблудшего русского человека, которому кто только не указывал пути к «светлому будущему», но он, российский человек, оказывался еще глубже в тайге, ныне вот и в буреломе. Голоса его как не слышали в период более напряженной борьбы за его же спасение, так не слышат и поныне. «Слушают», но не слышат как левые, так и правые, но все дружно борются за русского человека и за его спасение, как и за спасение России, не понимая и не желая понять, что нам, утратившим веру в Бога, нам, со смещенным сознанием, пониманием добра и зла, надо прежде всего бороться за самих себя и спасаться трудом и молитвой, и в этом разбежавшемся зверинце самим обрести свободу и достойную жизнь.

Едва ли нынче возможно спасти русского человека посредством слова, но утешить этим словом можно, поговорив с ним по душам, хотя бы на минуту приостановившись в этом житейском бедламе, вспомнив о себе, а значит, и о нем.

Судя по письмам и откликам на «затеси», человек русский сделался за последние десятилетия еще более одинок и всеми покинут, и если мои «затеси», эти мимоходные зарубки и меты на стволах «древа жизни», хоть немножко, хоть чуть-чуть обозначат ему просвет впереди, укажут тропинку к собеседнику, утешат его в горькой этой и все более и более духовно и материально нищающей жизни, а кого, быть может, и образумят, заставят вспомнить о Боге и ближнем своем, значит, не зря началась и продолжается во мне эта беседа и работа, как выяснилось, необходимая чаще всего совсем одиноким, неутешенным, всеми забытым, всеми покинутым людям.

СОДЕРЖАНИЕ

Тетрадь первая. ПАДЕНИЕ ЛИСТА	7
Поход по метам (<i>Вместо предисловия</i>)	8
Хлебозары	13
Родные березы	16
И прахом своим	19
Сильный колос	20
Лунный блик	21
Хрустальный звон	21
Сережки	22
Дождик	23
Предчувствие осени	23
Весенний остров	24
Марьяны коренья	26
Герань на снегу	28
Хвостик	30
Костер возле речки	31
Ах ты, ноченька!	32
Земля просыпается	35
Летняя гроза	37
Зеленые звезды	38
Падение листа	39
Паутина	43
Перовестник	44
Синий свет	44
«Синичка»	44
Знак милости	45
Вкус талого снега	46
Мелодия	47
Строка	47
Приветное слово	47

Тетрадь вторая. ВИДЕНИЕ	49
Как лечили богиню	50
Домский собор	55
Кладбище	57
Звезды и елочки	58
Печаль веков	62
Миленький ты мой!	63
Окно	65
Голос из-за моря	66
Видение	66
Заклятье	69
Источник	74
Раньше здесь звонил колокол	77
Тоска по вальсу	79
Песнопевница	82
Гимн жизни	87
Одинокий парус	91
Божий промысел	104
Не запрягайте женщин в плуг. Рассказ деревенской женщины	112
Никто нас не слышит	115
Непонятная жизнь	116
На дне реки	119
Пойти к Жуковскому	121
Манская грива	126
Ужасная дыра	133
Современные украшения	136
Отмщение	137
Лес Аденауэра	137
Праздник солидарности	143
Монблан	150
Тетрадь третья. ВЗДОХ	153
Вздых	154
Запоздалое спасибо	154
Тура	160
За что?	162
Тот самый Комаров	167
Кружево	172
Записка	175
Старая, старая история	176
Белое и черное	179
Старое кино	185
Медвидевы	191
Будни	198
Ужас	199
Задвижка	200
Первый комиссар	201
Временное жилище	202
Страх	202

Заморское чудо	203
Смерть охотника	203
На кого беда падет	205
Положительный образ	206
Вопрос ребенка	206
Предел	206
Из далекого сна	207
Послание во вселенную	207
Мне еще многое нравится	207
Долбят гору	207
Четыре плиточки жмыха	208
Ярцево-Ерцево	209
Как моя теща блюла нравственность	216
Одна мишута	221
Тетрадь четвертая. ИГРА	225
Большой стратег	226
На закате дня	228
Деревенское приключение	230
Жучина	239
Бесплатный спектакль	243
У знаменитого профессора	247
Пила	249
Раскопки	249
Хреновина	251
Урбанизация	255
Достойный ответ	256
С кусоцкём	256
Такая се ля ми	258
Злая собачонка	259
Чужая обутка	260
Шопениана	260
Если это любовь	262
Дуга	263
Игра	265
Экзотика	266
Тоска	266
Современный жених	266
Нет, правильно!	267
Стоящая надпись	267
Вышний подхалмаж	268
Шуточка	268
Восторженный идиотизм	271
Гоголевский тип	272
Острижки-профессионалы	273
Разговор вологодского поэта с рязанским прозаиком	273
Сила искусства	274
Все про всех знает	276
Заинтересованность	276

Наклейки	277
Сдались мне эти сапоги!	279
Эпидемия	280
Тетрадь пятая. ДРЕВНЕЕ, ВЕЧНОЕ	287
Древнее, вечное	288
Унижение	290
Крик в тайге	292
Кузяка	294
Тихая птица	301
Гнездышки	305
Алеха	306
Больные ламы	309
Жизнь Трезора	311
Ягодка	316
Бедный зверь	318
И милосердия...	325
Он живой!	326
Удар сокола	329
Радость первого полета	332
Зачем я убил коростеля?	334
Вороны-охотницы	336
Орлан-могильник	340
Крестьянин	342
Мертвый таймень	344
Летающая звезда	344
Старый корабль	345
Максик	347
Глухарь	350
Тетрадь шестая. ПОСЛЕДНЯЯ НАРОДНАЯ СИМФОНΙΑ	351
Мечта	352
Рукавички	352
Последняя народная симфония	353
Развращенец	354
Так закалялась сталь	359
Исторический пример	366
Щелкунчик	367
Блажь	370
Поэты поют. Рассказ продавщицы ларька	378
Министр и поэт	379
Печален лик поэта	384
Приговор Федора Александровича	388
Выстоять	389
Ответ анониму	392
Все о тебе	392
Вам не понять моей печали	396
Благословляю вас	401
Есенина поют	404
Навеки спасибо	407

Самый памятный гонорар	412
Кленовая палочка	414
Счастье	415
Постскриптум	423
Больше жизни	425
Дед и внучка	425
Дуда	426
Город гениев	429
Ты под какой звездой была?	431
Последний трагик России	433
Раздумья в небе	436
Мультиатули	438
Аве Мария	445
Афганец у ног президента	448
Тетрадь седьмая. РУКОЮ СОГРЕТЫЙ ХЛЕБ	455
Рукою согретый хлеб	456
Бритовка	457
Короткий привал	460
Искушение	461
Вербное воскресенье	462
Кровью залитая книжка	464
Горсть спелых вишен	465
Поросли окопы травой	469
Макаронина	474
Последний осколок	477
Травинка	482
Шрамы	486
Какое сырое утро	486
Гемофилия	487
Две подружки в хлебах заблудились	494
Генерал-холуй	502
В Польше живет «сибиряк»	506
Открытие костела	512
Богатые за бедных	520
Эх, судьба-судьбина	522
Орден смерти	531
Комментарии	535

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том седьмой

Художественное оформление **А. Озеревской, А. Яковлева**

Редакторы **А. Ф. Гремицкая, Т. М. Загребина**

Художественный редактор **Е. В. Корнеева**

Технический редактор **Н. Н. Шабля**

Корректоры

А. Ф. Пантелеева, Л. С. Павленко, В. Н. Ключина, Е. М. Гаврилина

Оператор компьютерной верстки **Л. С. Васьковская**

ЛР № 010162 от 06.03.97

Подписано в печать 29.05.97. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 28.56. Уч. изд. л. 29.06. Тираж 10 000. С — 014. Заказ 66

Отпечатано на производственно-издательском комбинате
«ОФСЕТ»

660049, Красноярск, ул. Республики, 51



